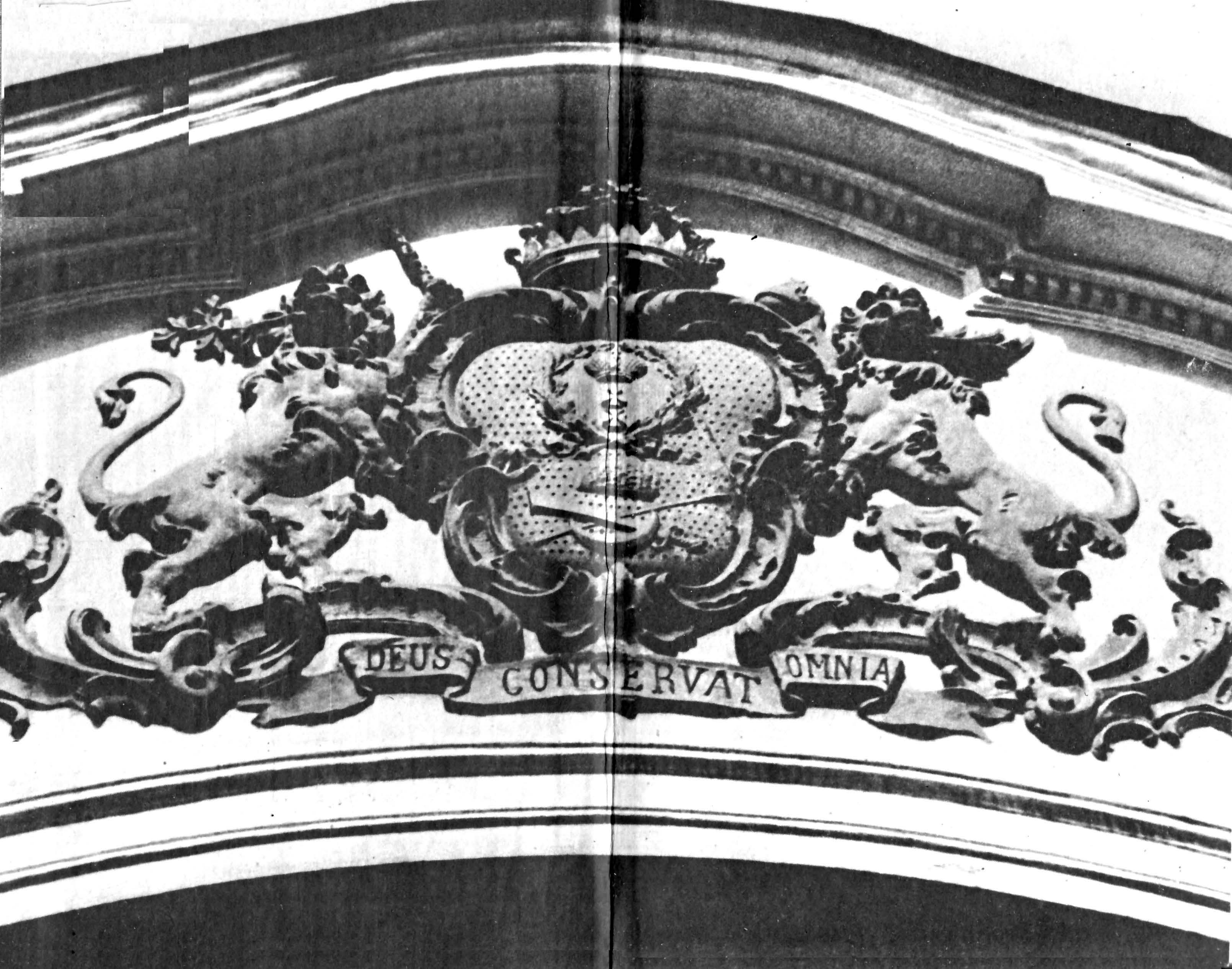
ВОСПОМИНАНИЯ ОБ АННЕ АХМАТОВОЙ

ВОСПОМИНАНИЯ ОБ АННЕ АХМАТОВОЙ


DEUS CONSERVAT OMNIA

ВОСПОМИНАНИЯ ОБ АННЕ АХМАТОВОЙ

МОСКВА
СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ
1991

ББК 83. 3Р7
В 77

Составители *В. Я. Виленкин и В. А. Черных*
Комментарии *Л. В. Курт и К. М. Поливанова*

Форзац 1. Фронтон Фонтанного Дома. Девиз: «Бог хранит всё» (лат.)
Форзац 2. «Будка». Комарово

В книгах этой серии в качестве иллюстративного материала, наряду с фотографиями последних лет, используются архивные и любительские, плохо сохранившиеся фотографии Публикуя их, издательство стремится показать читателям редкий фотоматериал из жизни поэта, представляющий несомненный исторический интерес

Художник
Владимир МЕДВЕДЕВ

4603020000—469
В ———————162—90
083(02)—91
ISBN 5—265—01227—3

Д. С. Лихачев

ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО

Личность Ахматовой как бы отбрасывает отраженный свет на всех, кто о ней вспоминает, на все, что о ней пишется.

Мемуарная проза вообще зависит не только от самого мемуариста, но и от того, кому и чему она посвящена.

Об Анне Ахматовой решиться писать не так-то просто. Надо писать с оглядкой на то, какие слова она могла бы употребить в своей собственной прозе, о чем бы она сочла писать невозможным или банальным и что сама ценила в себе. В этом последнем не было тщеславия. Просто в ней была царственность. Скромная царственность.

Она не смешивалась со своим окружением. И не потому, что выделяла себя среди других. Не по своей воле. Не смешивается тот, кто невольно привлекает к себе внимание. А Анна Андреевна привлекала к себе внимание всегда — именно внимание, а не любопытство.

Обостренно внимательной к ней остается и проза, ей посвященная.

Поэтому мемуары об Ахматовой — это особый вид мемуаров: ахматовская проза, я бы назвал ее. Мемуары о ней не только отражают в себе частицы ее языка, но частицы ее личности. Собирают вокруг нее всех тех людей, которые составляли круг ее общения.

Образ Ахматовой всюду один. Создавая этот образ, мемуаристы не разноречат друг другу. Но ведь мемуаристы не повторяют друг друга! И здесь мы сталкиваемся с удивительным явлением: как же богата должна быть личность Анны Ахматовой, чтобы во всех ситуациях, в сознании всех о ней писавших образ ее складывался в единый, целостный, почти скульптурный и вполне графичный портрет!

Сама Ахматова знала силу своей личности, всего того, что она говорит и пишет. Поэтому она не суесловила и не любила писать «зря», вообще не любила писать, а говорила всегда очень точно.

Ахматовскую поэзию было бы создать невозможно: поэзия должна быть целиком *своя,* она не терпит вторичности. Ахматовская же проза получилась — если не целиком, то частично, кроме той части нашего сборника, где печатаются документы: отрывки из дневников, из писем, приводятся чужие слова. Может быть, потому получилась «ахматовская проза», что сама Ахматова не была прозаиком по существу. Она была поэтом — даже в прозе. Все, чьи воспоминания об Ахматовой

собраны в этом сборнике, ориентировались не столько на ее язык, сколько на ее образ, на ее мнение — *возможное* мнение. Для всех она была еще живой.

Сборник воспоминаний, само собой разумеется, посвящен Анне Ахматовой. Но не только ей: он о ее эпохах, а пережила она их несколько, и очень несхожих. К сожалению, первая из эпох, в которую формировалась поэзия Ахматовой, представлена в сборнике слабее, чем остальные; значительно слабее. Но такова воля времени. Время безвозвратно. И не потому только, что его нельзя воротить, но и потому еще, что воспоминания о прошлом уходят вместе со своими носителями. Тем сильнее должно быть наше чувство благодарности к тем, кто запечатлел Анну Андреевну в ее последующие, поздние годы. Ведь лучший свидетель Серебряного века и свидетель, сияющий собственным блеском,— сама Ахматова. Через нее в мемуарах о ней начинаем понимать — что такое царственная эпоха ее жизни, та, которая слабо закреплена в воспоминаниях о ней, и каким было ее восшествие на престол поэзии в Царственном Селе* и Царственном Петербурге.

---

* Царственным Селом — так иногда еще на моей памяти полушутливо-полуторжественно называл Царское Село исследователь этого «города муз» Николай Павлович Анциферов.

В. С. Срезневская

ДАФНИС И ХЛОЯ*

I

Уже близко то время, когда я не смогу ни сказать, ни написать ничего. Может быть, меня упрекнут этим. Ведя мои записи без плана и системы, я никогда не думала и не хотела делать их достоянием истории. Я много видела, много испытала, много знаменитых современников встречала на своем пути, одних ближе к моей жизни, других дальше; наконец, третьи просто в беглых встречах оставили чисто зрительное и слуховое впечатление. Но ведь истина, даже юридически, возникает из перекрестных взглядов и мнений, а значит, каждый свидетель ценен по-своему,— только бы он не лгал и не выдумывал фактов. Постараюсь следовать этому правилу и как можно точнее восстановить в моей, еще совсем не угасающей памяти образы далеких, милых, а иногда и вовсе далеких, но запомнившихся мне людей.

А. А. А[ХМАТОВА]

С Аней мы познакомились в Гунгербурге[1], довольно модном тогда курорте близ Нарвы, где семьи наши жили на даче. Обе мы имели гувернанток, обе болтали бегло по-французски и по-немецки, и обе ходили с нашими «мадамами» на площадку около курзала, где дети играли в разные игры, а «мадамы» сплетничали, сидя на скамейке. Аня была худенькой стриженой девочкой, ничем не примечательной, довольно тихенькой и замкнутой. Я была очень подвижной, веселой, шаловливой и общительной. Особенной дружбы у нас не возникло, но встречи были частые, болтовня непринужденная, и основа для дальнейших отношений возникла прочно. Настоящая, большая, на всю жизнь тесно связавшая нас дружба возникла позже, когда мы жили в одном и том же доме в Царском Селе, близ вокзала, на углу Широкой улицы и Безымянного переулка — в доме Шухардиной, где у нас была квартира внизу, а у Гóренко наверху. В этот дом мы переехали после пожара, когда потеряли всю обстановку, все имущество, и наши семьи были очень рады найти квартиру, где можно было разместиться уютно, к тому же близ вокзала (наши отцы были связаны с поездками в Петербург на службу, а перед старшими детьми уже маячило в будущем продолжение образования). При доме

---

* Публикация И. Н. Пуниной и О. В. Срезневской.

был большой хороший сад, куда обе семьи могли спокойно на целый день «выпускать» своих детей, не затрудняя ни себя, ни своих гувернанток прогулками.

Вот когда мы по-настоящему подружились и сошлись с Анечкой Горенко. Аня писала стихи, очень много читала дозволенных и недозволенных книг и очень изменилась внутренне и внешне. Она очень выросла, стала стройной, с прелестной хрупкой фигурой чуть развивающейся девушки, с черными, очень длинными и густыми волосами, прямыми, как водоросли, с белыми и красивыми руками и ногами, с несколько безжизненной бледностью определенно вычерченного лица, с глубокими, большими светлыми глазами, странно выделявшимися на фоне черных волос и темных бровей и ресниц. Она была неутомимой наядой в воде, неутомимой скиталицей-пешеходом, лазала как кошка и плавала как рыба. Почему-то ее считали «лунатичкой», и она не очень импонировала «добродетельным» обывательницам затхлого и очень дурно и глупо воспитанного Царского Села, имевшего все недостатки близкой столицы без ее достоинств, как и полагается пригородам.

Наши семьи жили замкнуто. Все интересы отцов были связаны с Петербургом; матери — многодетные, обремененные хлопотами о детях и хозяйстве. Уже дворянского приволья не было нигде и в помине. Прислуга была вольнодумная и небрежная в работе. Жизнь дорогая. Гувернантки, большею частью швейцарки и немки, претенциозные и не ахти как образованные. Растить многочисленную семью было довольно сложно. Отсюда не всегда ровная атмосфера в доме; не всегда и ровные отношения между членами семьи. Немудрено, что мы отдыхали, удаляясь от бдительных глаз, бродя в садах и гущах прекрасного, заброшенного в своих бывших затеях, меланхолического Царского Села.

Аня свои ранние стихи, к сожалению, не сохранила, и потому для исследователя ее творчества навеки утеряны истоки ее прекрасного таланта. Могу сообщить одну, и довольно существенную, черту в ее творчестве: предчувствие своей судьбы. Еще совсем девочкой она писала о таинственном кольце (позже «черном» бабушкином кольце), которое она получила в дар от месяца:

Мне сковал его месяца луч голубой
И, во сне надевая, шепнул мне с мольбой:
«Береги этот дар! Будь мечтою горда!»
Я кольца не отдам — никому, никогда!

Правда, много позже, живя у меня в ⟨19⟩15—16 гг., она его отдала — и при каких обстоятельствах! Память! Память! Сколько черных глубин ты таишь в себе!

Много судеб сплеталось с судьбою Анны Ахматовой. Но надо быть последовательной.

С Колей Гумилевым, тогда еще гимназистом седьмого

класса, Аня познакомилась в 1903 году, в сочельник. Мы вышли из дому, Аня и я с моим младшим братом Сережей, прикупить какие-то украшения для елки, которая у нас всегда бывала в первый день Рождества. Был чудесный солнечный день. Около Гостиного двора мы встретились с «мальчиками Гумилевыми»: Митей, старшим — он учился в Морском кадетском корпусе,— и с братом его Колей — гимназистом императорской Николаевской гимназии. Я с ними была раньше знакома, у нас была общая учительница музыки — Елизавета Михайловна Баженова. Она-то и привела к нам в дом своего любимца Митю и уже немного позже познакомила меня с Колей. Встретив их на улице, мы дальше пошли уже вместе, я с Митей, Аня с Колей, за покупками, и они проводили нас до дому. Аня ничуть не была заинтересована этой встречей, а я тем менее, потому что с Митей мне всегда было скучно; я считала (а было мне тогда уже пятнадцать!), что у него нет никаких достоинств, чтобы быть мною отмеченным. Но, очевидно, не так отнесся Николай Степанович к этой встрече. Часто, возвращаясь из гимназии, я видела, как он шагает вдали в ожидании появления Ани. Он специально познакомился с Аниным старшим братом[2] Андреем, чтобы проникнуть в их довольно замкнутый дом. Ане он не нравился; вероятно, в этом возрасте девушкам нравятся разочарованные молодые люди, старше 25 лет, познавшие уже много запретных плодов и пресытившиеся их пряным вкусом. Но уже тогда Коля не любил отступать перед неудачами. Он не был красив,— в этот ранний период он был несколько деревянным, высокомерным с виду и очень неуверенным в себе внутри. Он много читал, любил французских символистов, хотя не очень свободно владел французским языком, однако вполне достаточно, чтобы читать, не нуждаясь в переводе. Роста высокого, худощав, с очень красивыми руками, несколько удлиненным бледным лицом,— я бы сказала, не очень заметной внешности, но не лишенной элегантности. Так, блондин, каких на севере у нас можно часто встретить.

Позже, возмужав и пройдя суровую кавалерийскую военную школу, он сделался лихим наездником, обучавшим молодых солдат, храбрым офицером (он имел два «Георгия» за храбрость), подтянулся и, благодаря своей превосходной длинноногой фигуре и широким плечам, был очень приятен и даже интересен, особенно в мундире. А улыбка и несколько насмешливый, но милый и не дерзкий взгляд больших, пристальных, чуть косящих глаз нравились многим и многим. Говорил он чуть нараспев, нетвердо выговаривая «р» и «л», что придавало его говору совсем не уродливое своеобразие, отнюдь не похожее на косноязычие.

Мне нравилось, как он читает стихи, и мы всегда просили его об этом. Он часто бывал у нас и, когда я была уже замужем, очень подружился с моим мужем, по старой памяти и со мною.

И наша ничем не омраченная дружба (я знала его с десятилетнего возраста) прошла сквозь всю жизнь, вплоть до трагической гибели Николая Степановича. С Аней длится всю жизнь, и по сегодняшний день.

Но вернемся к ранней юности. В 1905 году Горенко уехали из Царского Села по семейным обстоятельствам. И этот короткий промежуток наших жизней держался только на переписке, к сожалению затерянной нами, благодаря потрясениям наших нелегких судеб.

Аня никогда не писала о любви к Гумилеву, но часто упоминала о его настойчивой привязанности, о неоднократных предложениях брака и своих легкомысленных отказах и равнодушии к этим проектам. В Киеве у нее были родственные связи, кузина[3], вышедшая замуж за Аниного старшего брата Андрея. Она, кажется, не скучала. Николай Степанович приезжал в Киев. И вдруг, в одно прекрасное утро, я получила извещение об их свадьбе[4]. Меня это удивило. Вскоре приехала Аня. И сразу пришла ко мне. Как-то мельком сказала о своем браке, и мне показалось, что ничего в ней не изменилось; у нее не было совсем желания, как это часто встречается у новобрачных, поговорить о своей судьбе. Как будто это событие не может иметь значения ни для нее, ни для меня. Мы много и долго говорили на разные темы. Она читала стихи, гораздо более женские и глубокие, чем раньше. В них я не нашла образа Коли. Как и в последующей лирике, где скупо и мимолетно можно найти намеки о ее муже, в отличие от его лирики, где властно и неотступно, до самых последних дней его жизни, сквозь все его увлечения и разнообразные темы маячит образ его жены. То русалка, то колдунья, то просто женщина, «таящая злое торжество»:

...И тая в глазах злое торжество,
Женщина в углу слушала его.

Это стихотворение* стоит того, чтобы процитировать его в подтверждение моих высказываний, основанных не только на впечатлениях, но и на признаниях и фактах.

Конечно, они были слишком свободными и большими людьми, чтобы стать парой воркующих «сизых голубков». Их отношения были скорее тайным единоборством. С ее стороны — для самоутверждения как свободной от оков женщины; с его стороны — желание не поддаться никаким колдовским чарам, остаться самим собою, независимым и властным... над этой, вечно, увы, ускользающей от него женщиной, многообразной и не подчиняющейся никому. Если говорить о любви (я не совсем понимаю, что подразумевают многие люди под этим словом),

* Стихотворение «У камина» («Наплывала тень... Догорал камин...») из сборника «Чужое небо».

если любовь — навязчивый, порою любимый, порою ненавидимый образ, притом всегда один и тот же, то смею определенно сказать, что если была любовь у Николая Степановича, а она, с моей точки зрения, сквозь всю его жизнь прошла,— то это была Ахматова. Оговорюсь: я думаю, что в Париже была еще так называемая «Синяя звезда». Во всяком случае, если нежность — тоже любовь, то «Синяя звезда»[5] была тоже им любима, и очень нежно. Остальное, как бы это ни называть, вызывало у него улыбку не без иронии и шутливый тон.

Но разве существует на свете моногамия для мужчин? Я помню, раз мы шли по набережной Невы с Колей и мирно беседовали о чувствах женщин и мужчин, и он сказал: «Я знаю только одно, что настоящий мужчина — полигамист, а настоящая женщина моногамична». «А вы такую женщину знаете?» — спросила я. «Пожалуй, нет. Но думаю, что она есть»,— смеясь ответил он. Я вспомнила Ахматову, но, зная, что ему будет это больно, промолчала.

У Ахматовой большая и сложная жизнь сердца,— я-то это знаю, как, вероятно, никто. Но Николай Степанович, отец ее единственного ребенка[6], занимает в жизни ее сердца скромное место. Странно, непонятно, может быть, и необычно, но это так.

Великий сердцевед Л. Н. Толстой отметил эту черту в Анне Карениной... Но не надо аналогий, они ни к чему. Люди очень различны, в этом повинны и жизнь и время. И, несмотря на то что часто в больших и сложных биографиях всегда звучит тема «роковой любви», как у Пушкина, Байрона, Тютчева, Блока и даже Лермонтова,— не будем до поры до времени касаться ее! А пожалуй, у меня есть что сказать о ней... Так уж мне довелось вчитаться в чужие жизни. Могу сказать еще то, что знаю очень хорошо: Гумилев был нежным и любящим сыном, любимцем своей умной и властной матери[7], и он, несомненно, радовался, что сын растет под крылом, где ему самому было так хорошо и тепло. Не берусь оспаривать, где он находился в момент рождения сына. Отцы обычно не присутствуют при этом, и «благочестивые» отцы должны лучше меня знать, что если им и удалось соблазнить своего приятеля сопровождать их в место своих обычных увеселений, то из этого лишь явствует, что их приятель решился (пусть не совсем понятным способом) скоротать это тревожное время, выпивая и заглушая внутреннюю тревогу. Мне думается, что, подвернись Гумилеву другие приятели, менее подверженные таким «весельям»,— Коля мог бы поехать в монастырь, мужской или женский, и отстоять монастырскую вечерню с переполненным умиленным сердцем.

Знаю, как он звонил в клинику, где лежала Аня (самую лучшую тогда клинику профессора Отто, очень дорогую и очень

хорошо обставленную, на Васильевском острове). Затем, по окончании всей этой эпопеи, заехал за матерью своего сына и привез их обоих в Царское Село к счастливой бабушке, где мы с мужем в те же дни обедали и пили шампанское за счастливое событие... Все как полагается.

...Смею высказать еще одну до конца продуманную мною мысль: не признак ли это мужского характера — совмещать в себе много крайностей, иногда совершенно полярных, и, несмотря на эти крайности, иметь свое глубокое чувство единого, самого заветного, самого нужного — одного. А голые факты — это только свидетели, отданные во власть толкования по мере способностей самого толкователя. Они должны быть точны — все, что от них можно требовать.

Рождение сына очень связало Анну Ахматову. Она первое время сама кормила сына и прочно обосновалась в Царском.

Не думаю, что тогда водились чудаки отцы, катающие колясочку с сыном,— для этого были опытные няни. И Коля был как все отцы, навещал своего сына всякий раз, когда это было возможно, и, конечно, был не хуже, если не лучше, многих образцовых отцов. Разве все эти нити не могут называться любовью? Роли отцов и матерей так различны, особенно в первые годы ребенка. Понемногу и Аня освобождалась от роли матери в том понятии, которое сопряжено с уходом и заботами о ребенке: там были бабушка и няня. И она вошла в свою обычную жизнь литературной богемы. Ни у того, ни у другого не было каких-либо поводов к разлуке или разрыву отношений, но и очень тесного общения вне поэзии (да и то так различно понимаемой) тоже не было.

У Ахматовой под строками всегда вполне конкретный образ, вполне конкретный факт, хотя и не называемый по имени. У Гумилева всегда мечта и фантазия, за которой только близкий, знающий человек может увидеть причину чувств, родивших эту мечту и фантазию. И, как всегда, реальность принимает причудливые формы, ощущения разрастаются до пределов галлюцинаций и ведут к бесконечному, к ощущению смерти, так часто присутствующей в поэзии Гумилева, и рождают тоску по неизведанному, куда-то влекут, и поэт уходит за ними в мечты о неизвестных ему краях и встречах, и вот тревожные строки полнозвучных стихов завораживают слушателя или читателя.

Я тело в кресло уроню —
Я свет руками заслоню
И буду думать долго, долго...

Гумилев — поэт раздумий и предчувствий. Может быть, в этом жутком мире он если и не знал, то провидел свою трагическую судьбу.

Семья Горенко. И. Э. Горенко, А. А. Горенко, на руках — Рика, Инна, Анна, Андрей. Около 1894 г.

II

АНЯ

Совсем маленькой девочкой она писала стихи. И отец[8] в шутку называл ее поэтом. Непокорная и чересчур свободолюбивая, она в семье была очень любима, но не пользовалась большим доверием. Все считали, что она может наделать много хлопот: уйти на долгое время из дома, не сказав никому ни слова, или уплыть далеко-далеко в море, где уже и татарчата не догонят ее, вскарабкаться на крышу — поговорить с луной,— словом, огорчить прелестную синеглазую маму[9] и добродушную и веселую фрейлейн Монику. Вот мое первое впечатление от высокой, слишком тоненькой стриженой девочки.

Когда в четырнадцатилетнем подростке я снова узнала Аню Горенко, она была совсем другая; она как-то рано сформировалась — высокая девичья грудь, тонкая талия, длинные черные волосы, прозрачные большие глаза на бледном личике... Все в моей семье сказали, что она красива, но опять не совсем одобрительно отнеслись к нашей возродившейся, гораздо более глубокой дружбе.

Со мной и так было довольно хлопот в семье. Я была упряма и замкнута. Но, в конце концов, нас было очень трудно контролировать: Царское было почти «дачей», семьи были большие, и свобода как-то рождалась сама собой.

В своей семье Аня больше дружила с братом Андреем, года на два старше ее. Очень бледный, не по летам развитой и одаренный мальчик. Привыкнув говорить в семье по-французски (мать Ани иначе не говорила с детьми), они, то есть Аня и Андрей, были на «вы», что меня удивляло вначале. У нас в семье ни о каких «вы» не могло быть и речи, несмотря на иностранных гувернанток. До англичанки, приходившей к старшей сестре, гулявшей с ней и читавшей ей, которую мы видели только за завтраком,— моя любимая мадам Регори мне всегда говорила «ты», вероятно, оттого, что я была еще очень мала; к старшим, естественно, она обращалась на «вы».

В доме Горенко не было большого чинопочитания,— у нас оно было очень развито, и мне доставляло много удовольствия бывать у них. Правда, красавец черноморец «папа Горенко» любил пошуметь, но был так остроумен, так неожиданно весело-шутлив (а то ведь был период, который мы характеризовали периодом «Schwieriger Väter»*,— все папы были грозами семьи, все орали на весь дом и были деспотами; таков был быт). Мне кажется, что Аня в семье пользовалась большой свободой. Она не признавала никакого насилия над собой — ни в физическом, ни, тем более, в психологическом плане.

---

* «Тяжелых отцов» *(нем.)*. — *Ред.*

Мать Ахматовой, Инна Эразмовна, урожд. Стогова

Наши отношения были необыкновенно далеки от какого-либо институтского «обожания», которое часто встречаешь в литературе, особенно во французской, и это преобладание интеллекта над физиологией осталось на всю жизнь. Без всякой натяжки могу сказать, что в наших отношениях была та чистейшая, бескорыстная дружба, которую так неохотно приписывают поэты и прозаики женщинам. И все же она, как видите, бывает и даже сохранилась на всю жизнь.

Мы много гуляли, и в тех прогулках, особенно когда мы не торопясь шли из гимназии домой, нас часто «ловил» поджидавший где-то за углом Николай Степанович. Сознаюсь... мы обе не радовались этому (злые, гадкие девчонки!), и мы его часто принимались изводить. Зная, что Коля терпеть не может немецкий язык, мы начинали вслух вдвоем читать длиннейшие немецкие стихи, вроде «Sängers Fluch»* Уланда (или Ленау, уж не помню...). И этого риторически цветистого стихотворения, которое мы запомнили на всю жизнь, нам хватало на всю дорогу. А бедный Коля терпеливо, стоически слушал его всю дорогу и все-таки доходил с нами до самого дома! Ну, не гадкие ли это, зловредные маленькие женщины! Мне и сейчас и смешно и грустно вспоминать об этом.

И как же надо стремиться к своей цели, чтобы вынести такую издевку! Настойчивость Коли в отношении «завоевания близости Ани» была, по-моему, одной из «мужских черт» Гумилева. Она сказывалась как-то во всем: в стремлении к «Леванту», к войне, к солдатской карьере — эта черта его отчасти воображаемого, отчасти врожденного «я».

В нем было много честолюбия:

Древний я отрыл храм из-под песка,
Именем моим названа река.

И в стране озер пять больших племен
Слушались меня, чтили мой закон...

И конец честолюбию и власти:

Но теперь я слаб, как во власти сна,
И больна душа, тягостно больна...

Единоборство? С чьей победой?

И тая в глазах злое торжество,
Женщина в углу слушала его.

А есть ли что-либо похожее в лирике Ахматовой? Нет и быть не могло. Во всяком случае, только один раз в жизни я подумала, что Аня побеждена и сломлена... Но это продолжалось недолго:

* «Проклятие певца» *(нем.).— Ред.*

Аня Горенко. Около 1896 г.

...Руками я замкнула слух,
Чтоб этой речью недостойной
Не осквернился скорбный дух.

Женщина — слабый пол... Чушь какая! Женщина почти всегда сильнее мужчины.

Мы с Аней всегда любили *Россию.* Я — через няню и отчасти через Пушкина и Блока. Аня, конечно, через Пушкина, а также через Слепнёво[10].

И те неяркие просторы,
Где даже голос ветра слаб,
И осуждающие взоры
Спокойных, загорелых баб.

О моей необычайной, великолепной няне — «подвижнице в миру», монолитной, как драгоценная глыба какого-то чисторусского порфира, я когда-нибудь отдельно расскажу. Это стоит сделать сейчас, когда все сдвинулось, сломилось, почти нет ни одного четкого очертания, почти всё «im Werden»*, в будущем.

Память... память... ты мучаешь меня своими нагромождениями. Но вернемся к Коле: «Ты, для кого искал я на Леванте // Нетленный пурпур королевских мантий, // Я проиграл тебя, как Дамаянти // Когда-то проиграл безумный Наль». Но ведь у Жуковского Наль все же обрел Дамаянти...

Сидя у меня в небольшой темно-красной комнате, на большом диване, Аня сказала, что хочет навеки расстаться с ним[11]. Коля страшно побледнел, помолчал и сказал: «Я всегда говорил, что ты совершенно свободна делать все, что ты хочешь». Встал и ушел.

Многого ему стоило промолвить это... ему, властно желавшему распоряжаться женщиной по своему желанию и даже по прихоти. Но все же он сказал это!

Ведь во втором браке, меньше чем через год, он отправил свою юную жену[12] к своей «маме» в Бежецк, в глушь, в зиму, в одинокую и совсем уж безрадостную жизнь! Она была ему «не нужна». Вот это тот Гумилев, который только раз (но смертельно) был сражен в поединке с женщиной. И это-то и есть настоящий, подлинный Гумилев.

Не знаю, как называют поэты или писатели такое единоборство между мужчиной и женщиной... Мне кажется, что это секс. Только в каком-то очень широком плане. Если это «любовь», то как она не похожа на то, что обычно описывают так тщательно большие сердцеведы, как Толстой и Тургенев, Флобер и Шекспир, и поэты, как Пушкин и Блок. И даже Тютчев, который, правда, совсем иначе описывал женские чувства, как свои собственные настроения и эмоции. У него была холодная душа

---

* В становлении *(нем.)*. Ассоциация из «Фауста» Гёте: «Wo ich noch selbst im Werden war» (в переводе Б. Л. Пастернака: «Когда все было впереди»). *Примеч. составителей.*

Аня Горенко. Около 1900 г.

и горячее воображение. И у Гумилева, пожалуй, во многом было тоже что-то от пылкого воображения. Ему не хотелось иметь в своей жизни просто спокойную, милую, скромную жену, мать нескольких детей, хозяйку дома... А возможно, что только так он нашел бы другую судьбу. Но у человека ведь всегда *одна* судьба — его судьба, и праздные догадки ни к чему.

Во всяком случае брак Н. С. Гумилева был браком по *своей* воле и по своей любви... А что его нельзя назвать счастливым браком... Но кто скажет, в чем заключается счастье каждого индивидуального человека? Пушкин ведь не без горечи сказал: «На свете счастья нет, но есть покой и воля...» Правда, покоя у Коли было мало, а воли много. А у Ахматовой? Женщины с таким свободолюбием и с таким громадным внутренним содержанием, мне думается, счастливы только тогда, когда ни от чего и, тем более, ни от кого не зависят. До некоторой степени

и Аня смогла это себе создать. Она не зависела от своей свекрови, не зависела от мужа. Она уже рано стала печататься и имела свои деньги. Но счастья я в ней никогда не наблюдала. Покоя? Да, внутренний покой в ней чувствовался гораздо больше, чем в ее муже. Временами, пожалуй, я назвала бы ее состояние «светлым покоем». Откуда он шел? Я думаю, отчасти извне, больше всего изнутри. «И слаще всех песен пропетых // Мне этот исполненный сон, // Качание веток задетых // И шпор твоих легонький звон». Гумилев?.. О нет, совсем нет, Гумилев здесь ни при чем. Но как мало надо для поэта, да и для женщины, чтобы это сказать. А она это сказала, и я тому свидетель, сказала от всей души.

«Много тому простится, кто много любил»,— сказал Христос. А отказать образу Христа в великом учении и любви — это быть не только болваном, но и гадким болваном.

Есть одна черта у Ахматовой, ставящая ее далеко от многих современных поэтов и ближе всего подводящая ее к Пушкину: любовь и верность сердца к людям... за редким исключением, всегда глубоко обоснованного, презрительного равнодушия к некоторым. Осуждения и ненависти я в ней не видела ни к кому из окружавших ее. Кроме «врагов человечества», вообще жестоких к человеку как таковому и считавших себя «сверхчеловеками».

А насмешлива она была очень, иногда и не совсем безобидно. Но это как-то шло от внутреннего веселья. И мне казалось, насмешка даже не мешала ей любить тех, над кем она подсмеивалась, за редкими исключениями — таких на моей памяти были единицы. Стоит ли называть их?

...Мне кажется, что уживчивости в характере Ани было достаточно, чтобы жизнь с нею рядом не была несносной. У меня она жила в небольшой (остальные комнаты были очень большие), но теплой и приятной комнате, с окном, выходящим в наш тенистый, тихий сад при клинике. Дверь в мою комнату была почти всегда открыта, так что мы разговаривали, не выходя из наших комнат. У меня был очень хороший слух, и иногда ночью я окликала Аню: «Отчего ты не спишь?» — «А почему ты это знаешь?» — «По ритму дыхания». И тогда она часто входила ко мне и, сидя у меня на кровати, рассказывала мне причину своей бессонницы. Она часто бормотала стихи по ночам, прислушиваясь, как они звучат.

Милое время! А кругом грохотали выстрелы, тарахтели пулеметы. Ведь мы жили на первой из восставших окраин Петрограда, на Выборгской стороне. Но в нашей клинике, в глубине большого сада, было очень тихо и спокойно. Жизнь с ее жестокостями и бурями была от нас отделена высоким каменным забором. Это, конечно, не значит, что мы ничего не переживали. Наоборот, сквозь все запоры жизнь иногда врывалась и сюда...

Анна Горенко. Евпатория 1905 г.

И. Н. Пунина

ОБ АННЕ АХМАТОВОЙ И ВАЛЕРИИ СРЕЗНЕВСКОЙ

В последние годы жизни Анна Андреевна иногда повторяла: «На земле только три человека говорят мне «ты»: Валя, Ирка и младшая Акума»[1]. Валя — это Валерия Сергеевна Срезневская, подруга Анны Андреевны с детских лет. Не только их обращение на «ты» было уникальным среди всех знакомых Анны Андреевны, но Валерия Сергеевна была единственным человеком, дружеские отношения с которым Анна Андреевна поддерживала всю свою жизнь, и это запечатлено в стихах:

ПАМЯТИ В. С. СРЕЗНЕВСКОЙ

Почти не может быть, ведь ты была всегда:
В тени блаженных лип, в блокаде и в больнице,
В тюремной камере и там, где злые птицы,
И травы пышные, и страшная вода.
О, как менялось все, но ты была всегда,
И мнится, что души отъяли половину,
Ту, что была тобой,— в ней знала я причину
Чего-то главного. И все забыла вдруг...
Но звонкий голос твой зовет меня оттуда
И просит не грустить и смерти ждать, как чуда.
Ну что ж! попробую.

9 сентября 1964
Комарово

Аня Горенко и Валя Тюльпанова познакомились еще в прошлом веке, по их рассказам, на детском пляже в Гунгербурге, куда их увозили на лето из сырых петербургских пригородов. Вспоминая об этом в конце жизни, они перебивали и дополняли друг друга, называя имена нянек и гувернанток и посмеиваясь над ними.

Они вместе учились в Царскосельской Мариинской гимназии, часто вместе возвращались после уроков, посещали одни и те же детские праздники, гуляли в парках. Многие значительные в жизни Ани Горенко события и встречи произошли на глазах Вали Тюльпановой-Срезневской.

В своем творчестве и в человеческой судьбе Анна Ахматова шла твердо, уверенно, целеустремленно, интересовавшие ее в юности, в молодости поэты, друзья, знакомые[2] в дальнейшем, как бы исчерпав ее интерес к ним, отстранялись ею, иногда даже безжалостно. Ее душа, ее творческая сущность жаждали нового общения, новых открытий. Почти до самых последних

лет жизни она редко обращалась к прошлому, прежние знакомства и дружеские связи поддерживала лишь иногда, временами.

И это было не только в силу сложившихся обстоятельств:

> Меня, как реку,
> Суровая эпоха повернула.
> Мне подменили жизнь. В другое русло,
> Мимо другого потекла она,
> И я своих не знаю берегов...

Огромная личная сила, направленная, главным образом, на творчество, как будто заставляла ее выпивать до дна, исчерпывать взаимоотношения с людьми и затем отстранять со своего жизненного пути тех, кто ей больше не был интересен.

Многие отношения, конечно, были разрушены неумолимым ходом событий, но, как бы то ни было, Валерия Сергеевна была единственным человеком, дружбу с которым А. А. сохраняла на протяжении всей жизни.

В конце двадцатых годов А. А. охотно устраивала для меня лыжные прогулки по Фонтанке. В такие дни, бодро встав, она одевалась, брала легкие беговые мамины лыжи, а я — свои неуклюжие детские, и мы спускались на лед реки. На лыжах Акума шла легко, свободно скользя по лыжне. Я отставала, падала, мерзла. Самые счастливые прогулки кончались заходом к Срезневским.

У них была большая квартира на Моховой, 11, в бельэтаже: прихожая, налево — гостиная-приемная Вячеслава Вячеславовича и его маленький кабинет. Врач-психиатр, он в те годы имел большую частную практику. В глубине — проход в полутемную столовую, окна в ней с цветными стеклами выходили во двор. Детская и спальня окнами на Моховую.

В двадцатые годы их семья жила благоустроенно и уютно. В 1924 г. у них родилась долгожданная дочь Ольга, дома ее называли Люля, в 1929 г.— сын Андрей, Дидя. У детей была няня, в квартире жили еще две женщины: одна помогала доктору Срезневскому организовывать прием пациентов, другая занималась хозяйством.

У Срезневских я наслаждалась игрушками и покоем. Валерия Сергеевна и Акума в соседней комнате пили кофе и разговаривали, часто переходя на французский язык. В их разговоре я улавливала две главных интонации. Одна, более громкая, звучала, когда дело касалось воспитания детей или бытовых проблем. Здесь царствовала Валя. Громким, хорошо поставленным голосом, не давая себя остановить, она говорила подруге, какой режим лучше для детей, чем их полезно кормить, сколько часов при любой погоде они должны гулять, какими выносливыми и крепкими физически они должны вырасти. Здоровье детей было главной жизненной заботой Валерии

Сергеевны. В этом, как и во многом другом, она была женщиной, казалось, совсем не близкой А. А. Но вместе с тем во многих и печальных, и радостных событиях они искали и находили друг у друга понимание и поддержку.

Другими были разговоры «взрослые», эти велись вполголоса, с недомолвками. Если я слышала что-нибудь непонятное, недосказанное, я думала потом об этом и надолго запоминала. Эти разговоры часто касались арестов, в частности родственников Вали, ее родной сестры Зины*. Зинаида Сергеевна была одинокая, неустроенная и неуравновешенная женщина. Валерия Сергеевна называла ее просто сумасшедшей: во-первых, она была убежденная вегетарианка, не ела «кого убивают» и много философствовала на эту тему. Валерия Сергеевна красочно рассказывала, как Зина, если поймает блоху, бежит к окну ее выпустить на волю — нельзя же блоху прищелкнуть; во-вторых, ее рассуждения о том, что нельзя никого притеснять — ни блоху, ни комара, ни цыпленка (про человека уже не говорилось), носили эмоциональный и агрессивный характер. Зину несколько раз арестовывали и забирали в ОГПУ. Но при относительной либеральности тех лет, после хлопот Срезневских, ее довольно быстро выпускали из тюрьмы, но в 1930-е годы она исчезла из Ленинграда уже окончательно.

В ноябре 1929 г. у Срезневских родился сын Андрей. Я в ту зиму тяжело болела, несколько месяцев была на грани смерти. Летом 1930 г. Срезневские снимали дачу на ст. Горская — весь нижний этаж с верандой. Валерия Сергеевна уговорила Анну Андреевну поехать со мной к ним на дачу. Акуме выделили небольшую комнату, и я жила с ней там все лето. Трудно передать, до какой степени Анна Андреевна не любила, презирала дачную жизнь. В то лето, видимо, она сочла необходимым поехать: здоровье мое было еще очень слабым. Я не могла бегать с детьми, много лежала. Акума постоянно мерила мне температуру и чертила график.

Часто приезжал папа, и мы ходили с ним гулять в дальний конец улицы, покупать клубнику.

У Срезневских мне было хорошо. Хотя дома у меня был свой сад и меня любили, но взрослым было всегда некогда, и как ни любила я одиночество, дома его было слишком много, и я всегда чувствовала себя взрослой. А у Срезневских к детям было повышенное внимание. Игры были детские, и свобода была достаточная. Валерия Сергеевна рассказывала нам по вечерам интересные истории, иногда из своего собственного детства. Когда приезжал Вячеслав Вячеславович и у него было свободное время, он играл с нами. Тихий, веселый, он ходил, чуть

---

* Сохранилась записка Анны Андреевны к Н. Н. Пунину: «Милый, прости, что уехала. Опять беда. Арестована Зина, сестра Вали. Еду к ней на дачу. Буду дома в $11^1/_2$ ч. Не ворчи.— А.» (Наиболее вероятно, что это лето 1928/29 г.)

В. С. Срезневская. 10-е годы

прихрамывая, носил широкий пояс, к которому был прикреплен перочинный ножик. Он вырезал нам кораблики и лодочки из коры, мастерил лук и стрелы, потом мы играли в индейцев. Изредка Вячеслав Вячеславович доходил с нами до моря, на Горской оно далеко от станции. Было очень интересно, но я так уставала, что на обратном пути Вячеславу Вячеславовичу иногда приходилось сажать меня на спину. Люля была сильнее и выносливее меня, хотя почти на три года младше.

Акума не принимала участия ни в прогулках, ни в домашних заботах, не играла с детьми. Утром она подолгу спала, проснувшись, лежа читала. Помню том Шекспира на английском языке, в чудесном зеленом кожаном переплете. Как только стало заметно, что я вполне сжилась с обстановкой и начала поправляться, она все чаще стала уезжать в город. Я уютно чувствовала себя около Валерии Сергеевны, мне доверяли коляску с маленьким Андреем. Я полюбила дачную жизнь и очень обрадовалась, когда Срезневские пообещали на будущий год снова взять меня на дачу.

В следующем, 1931 году профессору Срезневскому предоставили летнюю квартиру в служебном корпусе, на территории Сестрорецкого курорта. Тогда это была пригCраничная зона, нам выписали пропуска, которые давали право на приобретение железнодорожных билетов и вход в парк санатория. Квартира состояла из двух комнат: спальни и проходной кухни — столовой. По сравнению с тридцатым годом быт изменился разительно. На Горской нас, детей, не касались никакие заботы — все было приготовлено, подано, убрано. В Курорте основные заботы легли на Валерию Сергеевну, а нам, девочкам, приходилось помогать. Всем приходилось довольствоваться казенным питанием из санаторной столовой, которое дома заправляли, улучшали, а маленькому Диде готовили отдельно. Вячеслав Вячеславович, кроме консультирования больных в Курорте, служил еще в двух больницах в городе. Мы его редко видели. Папа бывал чаще, привозил деньги, продукты, игрушки, ходил с нами гулять.

Анна Андреевна приезжала редко, но обычно на целый день. В хорошую погоду все вместе ходили на пляж. Акума охотно купалась, заплывала от нас очень далеко. В Курорте море и пляж гораздо лучше, чем в других пригородах. В ясную погоду А. А. показывала нам Кронштадт, лежащий почти напротив, и далекий финский берег, который с правой стороны вдавался мысом в море. Они с Валей опять вспоминали пляж в Гунгербурге и молодость.

В те годы граница проходила по реке Сестре, которая за нашим корпусом впадала в залив. Деревянный мост через реку был загражден колючей проволокой. На том берегу ходили редкие часовые. В сухую погоду после обеда мы все укладывались в тихий час на берегу Сестры. Болтая вполголоса с Люлей, мы

мысленно отправлялись в путешествие по столь близкой Финляндии и мечтали там иметь дачу.

...К середине тридцатых годов А. А. уже не приезжала в Курорт. Быт становился все труднее. Была карточная система. У Срезневских в их ленинградской квартире отнимали одну комнату за другой. Их квартира стала коммунальной. Частной практикой врачам запретили заниматься. Когда зимой мы с Акумой приходили на Моховую, Валерия Сергеевна обстоятельно рассказывала, как она добывает продукты для детей. Когда открыли Торгсин[3], она стала регулярно относить туда свои вещи. Возвращалась возбужденная и по нескольку раз рассказывала Анне Андреевне, как приемщица определяет пробу, взвешивает принесенную ею серебряную ризу от иконы или шейную цепочку.

Жизнь становилась все неустроенней и труднее. Однажды, когда мы пришли на Моховую, Валерия Сергеевна сидела около ванной колонки и подбрасывала в топку опилки:

— Вот видишь, Аня, мне принесли два мешка опилок, и я топлю ванну. Конечно, скучно все время подбрасывать опилки, но ведь дров все равно нету.

Может быть, склонность к трезвой практичности была одной из тех черт, которые ценила в ней Ахматова.

Вместо мудрости — опытность, пресное
Неутоляющее питье,
А юность была как молитва воскресная...
Мне ли забыть ее?

Незадолго до войны Валерия Сергеевна все-таки потеряла душевное равновесие, и с ней стали случаться нервные припадки. Однажды Акума вернулась от нее, позвала папу и меня, рассказала, что пришлось отправить Валю в больницу, дома никак нельзя было оставить ее в таком состоянии. Через некоторое время Люля взяла ее из больницы, и они уехали к знакомым на Сиверскую. Квартиру в Курорте уже не давали даже на лето. С 1938 года санаторий для нервнобольных в Курорте закрыли и передали в ведомство НКВД. Приграничная зона стала совершенно закрытой.

В июне 1941 года Люля кончила девятый класс, и это — все образование, которое она смогла получить.

Вячеслав Вячеславович умер в блокаду 25 марта 1942 г. Валерия Сергеевна с детьми из своей квартиры перебралась в комнату на четвертом этаже того же дома, окнами во двор, чтобы меньше слышать гул обстрелов. Люля поступила работать санитаркой в детскую больницу, а потом перешла на хлебозавод, работницей на конвейер. Как ей пригодилась физическая закалка и выносливость! Работу на конвейере мало кто выдерживал. Она же проработала там всю блокаду, оставшись единственным кормильцем семьи, и всех вытянула.

Анна Андреевна была вывезена из Ленинграда 28 сентября

1941 г. Мое общение с Срезневскими поддерживалось через мою двоюродную сестру Марину Пунину, которая училась в школе вместе с Люлей. У них были общие друзья, они нередко собирались в квартире Александра Николаевича Пунина. С наступлением зимы мы стали встречаться все реже. Война разлучила нас.

После нашего возвращения в Ленинград, с осени 1944 г., к нам на Фонтанку, 34 стали заходить Валерия Сергеевна, Люля и Андрей, которому было только пятнадцать лет, а он уже давно работал. Марина Пунина, иногда и я с ней, заходили к Срезневским на Моховую. Наши разговоры тогда были о пережитой войне, кто где был, с кем виделся, вспоминали наших погибших сверстников. Глубокой осенью 1945 года вернулся из госпиталя один из школьных товарищей Марины Пуниной — Володя Мовшович, израненный, без обеих ног... Вскоре Ольга Срезневская вышла за него замуж.

Акума иногда ходила на Моховую, тогда она еще свободно преодолевала лестницу на четвертый этаж. Но чаще приходила на Фонтанку Валя, подолгу сидела около Акуминой кровати. Они обсуждали текущие события, улучшавшуюся понемногу жизнь города, литературные новости. Однажды, в начале 1946 г., на Фонтанку пришла Люля и сказала, что маму арестовали. Видимо, у нее снова обострилось психическое расстройство, накануне вечером она, утомленная, голодная, стояла в очереди, с кем-то поспорила, сказала что-то не то, и ее забрали. Никакие хлопоты и свидетельства о ее расстроенном здоровье не помогли. Ей дали 7 лет лагерей. А. А. давала деньги для передач и посылок, но вскоре и в нашей жизни все изменилось. Люля продолжала к нам приходить, и, чем могли, мы помогали друг другу. Муж ее оказался человеком мужественным, начал работать в инвалидной артели. На редкость счастливая вышла у них семья. В 1948 г. у них родилась дочка Лена, а через четыре года маленькая Ольга. В нашем поколении таких счастливых, хороших семей было очень мало.

В 1952 г. Анну Андреевну и нас выселили из Фонтанного Дома на улицу Красной Конницы. Марина вышла замуж. В тот год мы реже встречались с Срезневскими.

В 1953 г. возвратилась в Ленинград Валерия Сергеевна. После долгих забот о прописке Люля принялась хлопотать ей пенсию. Это было очень сложно. Она могла получить только вдовью пенсию, а для этого требовались десятки справок. А. А. и здесь, и в Москве добывала ходатайства и письма, в которых было написано о всех заслугах Срезневских, начиная со знаменитого академика Измаила Ивановича.

Когда мы летом 1961 г. переехали на улицу Ленина, Валерия Сергеевна стала чаще к нам приезжать, но в то время к Ахматовой уже шел поток посетителей; «ахматовка» распустилась пышным цветом. Валерия Сергеевна чаще сидела у меня или

слушала Романа Альбертовича[4]. Он читал ей стихи, и они пускались во вдохновенные разговоры о поэзии.

В 1962 г. Анне Андреевне дали прочитать воспоминания о поэтической жизни Петербурга первых послереволюционных лет, написанные на Западе. Многое в них ей не понравилось, но особенно возмутило ее то, что было написано о Николае Степановиче Гумилеве и об их отношениях. В то время, исподволь нащупывая благоприятную почву, она хотела добиться реабилитации Гумилева. Она вызвала к себе Павла Николаевича Лукницкого, который в двадцатые годы много занимался изучением биографии и поэтического наследия Гумилева, а в последние годы переехал в Москву и не виделся с Анной Андреевной.

По просьбе Анны Андреевны Лукницкий, через прокурора Малярова, познакомился в архиве с делом Н. С. Гумилева, и казалось, что можно было ходатайствовать о снятии запрета с имени Гумилева, что появляется возможность публиковать его стихи. В этих хлопотах большую поддержку Анне Андреевне постоянно оказывал Валентин Петрович Гольцев (тогда один из редакторов газеты «Известия»). Но появившиеся западные публикации снова бросили тень на имя Гумилева. Анна Андреевна хотела противопоставить тем мемуарам воспоминания своих современников, знавших ее еще в десятые годы. Она убедила написать воспоминания Веру Алексеевну Знаменскую[5], но, познакомившись с ними, не нашла в них того, что ожидала. Вера Алексеевна вспоминала больше Н. В. Недоброво[6] и его жену Любовь Александровну. С Анной Андреевной Вера Алексеевна познакомилась в 1913—1914 гг. и мало могла вспоминать о более ранних годах, которые особенно интересовали Анну Андреевну.

А. А. сердилась и даже ссорилась с Верой Алексеевной, но затем мудро вспомнила, что о самом начальном периоде отношений ее с Гумилевым помнит Валя. Акума просила меня поехать за Валей и привезти ее к нам домой. Встретившись, они стали дружно вспоминать. Акума напоминала отдельные факты, стихи Николая Степановича. Валерия Сергеевна вспоминала по-своему. Разговор был очень интересный, но писать Валерии Сергеевне было трудно. Она и раньше не была к этому склонна, а в то время она часто хворала. Акума торопила, объясняла Люле, как это важно для Валерии Сергеевны, говорила, что рукопись купит Пушкинский Дом.

Наконец Валерия Сергеевна написала, но ее записки не понравились Акуме. Она говорила, что все это не то, хотя многое было написано со слов самой Анны Андреевны. Кое-что они вместе поправили, и Валерия Сергеевна еще раз переписала все своей рукой, как настаивала на этом Акума.

Тетрадь, написанную Валерией Сергеевной, Анна Андреевна отвергла, и Валерия Сергеевна подарила ее мне с надписью: «Ире, для ее неподкупного суждения».

В. А. Беер

ЛИСТКИ ИЗ ДАЛЕКИХ ВОСПОМИНАНИЙ

Киевская весна. Синие сумерки. Над площадью густо, медленно разносится благовест. Хочется зайти в древний храм св. Софии, но я ведь принадлежу к «передовым», и в церковь мне не подобает ходить. Искушение слишком велико. Запах распускающихся листьев, золотые звезды, загорающиеся на высоком чистом небе, и эти медленные торжественные звуки — все это создает такое настроение, что хочется отойти от обыденного.

В церкви полумрак. Народу мало. Усердно кладут земные поклоны старушки-богомолки, истово крестятся и шепчут молитвы. Налево, в темном приделе, вырисовывается знакомый своеобразный профиль. Это Аня Горенко. Она стоит неподвижно, тонкая, стройная, напряженная. Взгляд сосредоточенно устремлен вперед. Она никого не видит, не слышит. Кажется, что она и не дышит. Сдерживаю свое первоначальное желание окликнуть ее. Чувствую, что ей мешать нельзя. В голове опять возникают мысли: «Какая странная Горенко. Какая она своеобразная».

Я выхожу из церкви. Горенко остается и сливается со старинным храмом. Несколько раз хотела заговорить с ней о встрече в церкви. Но всегда что-то останавливало. Мне казалось, что я невольно подсмотрела чужую тайну, о которой говорить не стоит.

(Весна 1907 г.)

* * *

Урок психологии в выпускном (седьмом) классе Киево-Фундуклеевской женской гимназии. Предмет трудный, но преподается он интересно — учитель Шпет, Густав Густавович[1], заставляет задумываться над рядом вопросов, сложных для нас, юных девушек, и на многое, бывшее прежде неясным, туманным, проливается яркий свет.

Сегодня урок посвящен ассоциативным представлениям. Густав Густавович предлагает нам самостоятельно привести ряд примеров из жизни или из литературы, когда одно представление вызывает в памяти другое. Дружным смехом сопровождается напоминание, как у мистрис Никльби из романа Дик-

Дом, где жила Анна Горенко. Киев. Меринговская ул.

кенса «Николас Никльби», пользовавшегося у нас тогда большим успехом, погожее майское утро связывается с поросенком, жаренным с луком. И вдруг раздается спокойный, не то ленивый, не то монотонный голос:

«Столетия-фонарики! О, сколько вас во тьме,
На прочной нити времени, протянутой в уме!»

Торжественный размер, своеобразная манера чтения, необычные для нас образы заставляют насторожиться. Мы все смотрим на Аню Горенко, которая даже не встала, а говорит как во сне. Легкая улыбка, игравшая на лице Густава Густавовича, исчезла.

«Чьи это стихи?» — проверяет он ее. Раздается слегка презрительный ответ: «Валерия Брюсова». О Брюсове слышали тогда очень немногие из нас, а знать его стихи так, как Аня Горенко, никто, конечно, не мог. «Пример г-жи Горенко очень интересен»,— говорит Густав Густавович. И он продолжает чтение и комментирование стихотворения, начатого Горенкой. На ее сжатых губах скользит легкая самодовольная улыбка. А мы от желтых квадратных фонарей переносимся в далекий знойный Египет. И мистрис Никльби с ее майским утром и жареным поросенком кажется нам такой неинтересной и обыденной.

(1906/07 учебный год)

* * *

В классе шумно. Ученицы по очереди подходят к толстой, добродушной, очень глупой учительнице рукоделия Анне Николаевне и показывают ей бумажный пластрон рубашки и получают указания, как его приложить к материалу для выкройки. Почти у всех дешевенький, а следовательно, и узенький коленкор; приходится приставлять к ширине клинья, что мы не особенно-то любим. Очередь дошла до Ани Горенко. В руках у нее бледно-розовый, почти прозрачный батист-линон, и такой широкий, что ни о каких неприятных клинчиках и речи быть не может. Но Анна Николаевна с ужасом смотрит на материал Горенко и заявляет, что такую рубашку носить неприлично. Лицо Ани Горенко покрывается как бы тенью, но с обычной своей слегка презрительной манерой она говорит: «Вам — может быть, а мне нисколько». Мы ахнули. Анна Николаевна запылала как пион и не нашлась что сказать. Много дипломатии и трудов пришлось приложить нашей классной даме, Лидии Григорьевне, чтобы не раздуть дела. В конце концов ей удалось добиться, чтобы Горенко попросила у Анны Николаевны извинения. Но как она просила! Как королева.

Анна Горенко с братьями Андреем, Виктором и сестрой Ией. В центре — мать Инна Эразмовна. Киев. 1909 г.

* * *

Даже в мелочах Горенко отличалась от нас. Все мы, гимназистки, носили одинаковую форму — коричневое платье и черный передник определенного фасона. У всех слева на широкой грудке передника вышито стандартного размера красными крестиками обозначение класса и отделения. Но у Горенко материал какой-то особенный, мягкий, приятного шоколадного цвета. И сидит платье на ней как влитое, и на локтях у нее никогда нет заплаток. А безобразие форменной шляпки — «пирожка» на ней незаметно.

* * *

Киев — город цветов, и мы весною и осенью являлись в класс с цветами. Осенью мы любили поздние розы, пышные астры, яркие георгины. Аня Горенко признавала тогда только туберозы.

В. А. Пяст

ИЗ КНИГИ «ВСТРЕЧИ»

На первых же осенних собраниях Академии[1] стала появляться очень стройная, очень юная женщина в темном наряде... Нам была она известна в качестве «жены Гумилева». Еще летом прошел слух, что Гумилев женился и — против всякого ожидания — «на самой обыкновенной барышне». Так почему-то говорили. Очевидно, от него, уже совершившего первое свое путешествие в Абиссинию, ожидалось, что он привезет в качестве жены зулуску или, по меньшей мере, мулатку. Очевидно, подходящей к нему считалась только такая невеста. Иначе бы, конечно, об Анне Ахматовой никому бы не пришло в голову сказать, что она «самая обыкновенная женщина». Эта «самая обыкновенная женщина», как вскоре выяснилось, пишет «для себя» стихи. «Комплиментщик» Вячеслав Иванов заставил ее однажды выступить «в неофициальной части программы» заседания Академии. Я помню стихи, которые сказала Анна Ахматова,— то есть помню, что среди них было:

У пруда русалку кликаю,
А русалка умерла...

Это стихотворение, кажется, и все другие, читанные Ахматовой в тот вечер, были в скором времени напечатаны. Между тем, как слышно было, она вообще только что начала писать стихи. Дело в том, что эта «самая обыкновенная барышня» сразу, выросши, выросла поэтессой и с первых шагов стала в ряды наиболее признанных, определившихся русских поэтов.

Года через два «ахматовское» направление стало определять чуть ли не всю женскую лирику России. Ее «беличья распластанная шкурка», как правильно говорил когда-то Виктор Шкловский, стала «знаменем» для пришедшей поэтической поры,— послужив ключом для некоего возникающего направления... Самое слово «акмеизм», хотя и производилось будто бы от греческого «акмэ» — «острие», «вершина»,— но было подставлено, подсознательно продиктовано, пожалуй, именно этим псевдонимом-фамилией[2]. «Ахматов» — не латинский ли здесь суффикс «ат», «атум», «атус»... «Ахматус» — это латинское слово по законам французского языка превратилось бы именно во французское «акмэ»,— как «аматус» в «эме», во французское имя «Aimé», a armatus в armé.

Недавно об Анне Ахматовой выпущена книжка[3], превосходно изданная в небольшом количестве экземпляров Госиздатом. Э. Голлербах собрал несколько дюжин стихотворений из числа тех, в которых русские поэты воспели или изобразили поэтессу. Интереснейшая у нее «иконография». Не только портреты, но и прелестные статуэтки[4], с замечательным изяществом воспроизводящие ее фигуру, выпущены были фарфоровым заводом. Блестящие (действительно блестящие, а не только из лести или снисхождения могущие быть так названными) критические очерки, этюды, речи и целые книги посвящены ее творчеству. Но еще никто не вспомнил, под каким — вот парадокс жизни! — под каким скромным именем она вошла в литературу,— не вспомнил о том, что ей предшествовало по прихоти судьбы прозвание «самая обыкновенная женщина».

Анна Ахматова осталась такой же скромной, как «вошла». С течением месяцев и лет голос и движения ее становились только тверже, увереннее, но не теряли изначального своего характера. Так же и темные платья, которые она надевала совсем юной, так же и манера чтения, которая производила и оригинальное и хорошее впечатление с самого начала. Но мне стороной известно, что чтение Ахматовой с самого начала не было случайным, импровизационным бормотанием стихов, как у большинства выступающих — и безнадежно проваливающих свои вещи и самих себя на эстраде — поэтов. Она подолгу готовилась, даже перед большим зеркалом, к каждому своему «выступлению» перед публикой. Всякая интонация была продумана, проверена, учтена. Под кажущимся однообразием у нее, как и у Блока, скрывалась большая эмоциональная выразительность голоса и тона. (Не поймите моих слов метафорически: я говорю о произнесении стихов, а не как Мандельштам, не приписываю стихам, как таковым, стихам на бумаге, тона или голоса.) Но только чрезвычайно сдержанная, вся в оттенках,— отнюдь не в «цветах» (а это я говорю уже метафорически). Я считал и считаю Ахматову образцовым исполнителем стихов. Но это оттого, что у нее прекрасная, выработанная техника.

Г. И. Чулков

ИЗ КНИГИ «ГОДЫ СТРАНСТВИЙ»

Однажды, на вернисаже выставки «Мира искусства»[1] я заметил высокую, стройную сероглазую женщину, окруженную сотрудниками «Аполлона», которая стояла перед картинами Судейкина. Меня познакомили. Через несколько дней был вечер Федора Сологуба[2]. Часов в одиннадцать я вышел из Тенишевского зала. Моросил дождь, и характернейший петербургский вечер окутал город своим синеватым волшебным сумраком. У подъезда я встретил опять сероглазую молодую даму. В петербургском вечернем тумане она похожа была на большую птицу, которая привыкла летать высоко, а теперь влачит по земле раненое крыло. Случилось так, что я предложил этой молодой даме довезти ее до вокзала: нам было по дороге. Она ехала на дачу. Мы опоздали и сели на вокзале за столик, ожидая следующего поезда. Среди беседы моя новая знакомая сказала между прочим:

— А вы знаете, я пишу стихи.

Полагая, что это одна из многих тогдашних поэтесс, я равнодушно и рассеянно попросил ее прочесть что-нибудь. Она стала читать стихи, которые потом вошли в ее первую книжку «Вечер».

Первые же строфы, услышанные мною из ее уст, заставили меня насторожиться.

— Еще!.. Еще!.. Читайте еще,— бормотал я, наслаждаясь новою своеобразною мелодией, тонким и острым благоуханием живых стихов.

— Вы — поэт,— сказал я совсем уж не тем равнодушным голосом, каким я просил ее читать свои стихи.

Так я познакомился с Анной Андреевной Ахматовой. Я горжусь, что на мою долю выпало счастье предсказать ей ее большое место в русской поэзии в те дни, когда она еще не напечатала, кажется, ни одного своего стихотворения.

Вскоре мне пришлось уехать в Париж на несколько месяцев. Там, в Париже, я опять встретил Ахматову. Это был 1911 год.

Н. Г. Чулкова

ОБ АННЕ АХМАТОВОЙ

Я впервые встретилась с Ахматовой в Париже в 1911 году. Она приехала туда в одно время с моим мужем, а я приехала месяцем раньше с сестрой Г. И. ⟨Чулкова⟩ Л. И. Рыбаковой[1]. Г. И. писал мне из Петербурга, что он открыл нового поэта. Она тогда еще не печаталась. Он присылал мне ее стихи, и, правда, они были очень оригинальны по форме и глубоки по чувству. В Париже мы вместе совершали прогулки и посещали иногда вечерами маленькие кафе, где обыкновенно слушали незатейливые шутливые выступления эстрадных певцов и танцоров. Ахматова была тогда очень молода, ей было не больше двадцати лет. Она была очень красива, все на улице заглядывались на нее. Мужчины, как это принято в Париже, вслух выражали свое восхищение, женщины с завистью обмеривали ее глазами. Она была высокая, стройная и гибкая. (Она сама мне показывала, что может, перегнувшись назад, коснуться головой своих ног.) На ней было белое платье и белая широкополая соломенная шляпа с большим белым страусовым пером — это перо ей привез только что вернувшийся тогда из Абиссинии ее муж — поэт Н. С. Гумилев.

Мы посетили однажды какой-то ресторан на Монмартре и дивились на увеселения иностранцев в этом злачном месте. Вышли оттуда под утро и любовались Парижем, просыпающимся от сна и готовящимся к наступающему дню. Бесконечные обозы со свежими продуктами направлялись к Центральному рынку — то был деловой утренний Париж. Несмотря на ранний час, мы почему-то зашли на молочную ферму и пили парное молоко. Приятно было освежиться от ночного пьяного дурмана в шумном собрании Монмартра.

Эти ночные увеселительные места посещаются главным образом иностранцами,— парижан там не увидишь. Но маленькие кафе, которыми изобилует Париж, совсем другого стиля. Здесь за столиком французы проводят время отдыха за чашкой кофе и скромной выпивкой, иногда целой семьей или компанией друзей. На маленькую эстраду выходят рассказчики и певцы и незатейливо и простодушно развлекают посетителей своими песенками и остротами, слегка приправленными нескромными словечками и намеками. Помню, как Анна Андреевна снисходительно отнеслась к шутке ее соседа по столику: он незаметно положил ей записочку в туфлю.

В 1915 году весной, после нашей поездки в Швейцарию, мы поселились в Царском Селе на Малой улице. На этой же

Анна Ахматова. 10-е годы

улице, недалеко от нас, жила и Анна Ахматова. С мужем, кажется, она тогда уже разошлась. Жила она в доме своей свекрови со своим маленьким сыном лет трех. Она приходила к нам с этим мальчиком — Левой. Приходила и одна и читала нам свои стихи. Однажды, когда я похвалила особенно понравившееся мне ее стихотворение, она предложила посвятить его мне, и я была очень рада этому.

Перед весной бывают дни такие:
Под плотным снегом отдыхает луг,
Шумят деревья весело-сухие,
И теплый ветер нежен и упруг.

И легкости своей дивится тело,
И дома своего не узнаешь,
А песню ту, что прежде надоела,
Как новую, с волнением поешь.

В 1916 году Георгий Иванович уехал на войну. Ахматова уехала с сыном в имение своей свекрови, куда-то в другую губернию. В марте, пережив начало революции в Царском Селе, я уехала с нашим ребенком в Москву, где по возвращении Георгия Ивановича с войны мы остались жить навсегда. Ахматова изредка бывала в Москве и всегда неизменно посещала наш маленький домик на Смоленском бульваре. Подолгу беседовала с моим мужем. Всегда читала нам свои новые стихи.

Когда я, кажется в 1922 году, была в Петрограде у сестры Георгия Ивановича — Ходасевич[2], Анна Андреевна, узнав, что я приехала, пришла к Ходасевич и пригласила меня побывать у нее. Это было время голода. Анна Андреевна угощала меня лепешками своего печения. От Анны Андреевны нельзя было ждать особенных кулинарных способностей,— тем трогательнее было ее усердие приготовить своими руками вкусное кушанье из сомнительного материала (настоящая мука в то время была редкостью). Тогда она жила в большом мрачном доме на Фонтанке.

Позднее — не помню, кажется, в 1935 году — она приехала в Москву в большом горе, арестовали ее второго мужа и ее сына[3], уже студента. Ночевала она у нас. Всю ночь не спала, а наутро отправила с одним из своих друзей письмо тов. Сталину — и на другой же день после этого муж и сын были освобождены, о чем они сами сообщили ей по телефону в Москву. Накануне разбитая горем, она вдруг ожила и расцвела от радости.

В 939 году умер мой муж. Анна Андреевна каждый раз, приезжая в Москву, навещала меня, иногда неожиданно появляясь на пороге нашего дома, иногда предупредив о приезде по телефону, и опять охотно радовала меня чтением своих стихов.

Я полюбила Анну Андреевну, и, подолгу не видаясь с ней, я с радостью встречала выход каждой книги ее стихов. На книгах,

подаренных ею мне, она всегда делала дружескую надпись. Все ее книги с надписями, как и книги других поэтов, я бережно сохранила и передала в Государственную библиотеку имени Ленина, в Отдел редких книг.

Книги Ахматовой издавались по нескольку раз и покупались нарасхват. За ее сборником «Из шести книг» с утра, задолго до открытия книжной лавки, стояла громадная очередь по Кузнецкому мосту. Я только благодаря услуге знакомой девушки могла купить для себя этот сборник.

Наступила война 1941 г. Вот что я записала тогда в своем дневнике:

«9-ое окт. 1941 г. Сейчас была у меня Анна Андреевна. Ее эвакуирует государство из Ленинграда в Чистополь. Она пробыла у меня час. Я угостила ее яичницей и кофе со сливками. Она удивилась, что я предложила такое угощение, и сказала: «Вы даже теперь угощаете меня такими вкусными вещами...» В Ленинграде в это время уже голодали. Она провела все это время с начала войны в Ленинграде и, видимо, очень настрадалась. Сказала, что по дороге в Москву в самолете она сочинила стихотворение — оно начинается так: «Черные птицы летают в зените...»[4] (птицы — это самолеты). «Слышен стон Ленинграда: «хлеба, хлеба...», и сыны его на дне Балтийского моря грезят и просят во сне: «Помогите, помогите Ленинграду!..»

Летела она вместе с писателем Зощенко[5]. Их самолет эскортировали семь самолетов. Она сказала: «Надо было давно уехать. Мы, ленинградцы, были легкомысленны, когда отказывались от эвакуации. Но в то время там было так тепло, все были нарядные, было много цветов, и не верилось в возможность этого ужаса, какой теперь переживают ленинградцы!»

Она еще рассказывала мне: «Когда мы сидели в «щели» в нашем садике — я и семья рабочего, моего соседа по комнате (его ребенок был у меня на руках), я вдруг услышала такой рев, свист и визг, какого никогда в жизни не слыхала, это были какие-то адские звуки, мне казалось, что сейчас я умру». Я спросила: «Что вы подумали в это время?» «Я подумала,— сказала она,— как плохо я прожила свою жизнь и как я не готова к смерти». «Но ведь можно и в один миг покаяться и получить прощение?» — сказала я. «Нет, надо раньше готовиться к смерти»,— ответила Анна Андреевна.

Вспоминали покончившую с собой в Елабуге несчастную поэтессу Марину Цветаеву.

Перевезли Ахматову из Ленинграда бесплатно в Москву, а в Москве Литфонд снабжает ее в дорогу продуктами. Анна Андреевна сказала, что она надеется на хороший прием у татар благодаря своей татарской фамилии.

Но Ахматова не попала в Чистополь и жила все время в Ташкенте в числе других московских писателей. В одном с нею доме жили Цявловский с женой[6] и Городецкие.

Вернулась она в 1944 году и опять была у меня проездом. В стихах говорила о своих погибших ленинградских друзьях, что она не увидит их больше, но что они живы, потому что «у Бога мертвых нет — все живы». И еще говорила: «Я боюсь ехать в Ленинград одна. Я жду попутчиков, мне страшно попасть туда одной».

В это время сын ее был на войне.

О своем пребывании в Ташкенте говорила так: «Я себя чувствовала там как у себя дома. Ведь я чингизидка». В стихотворении, написанном ею в Ташкенте, есть такая строчка: «Я не была здесь лет пятьсот, но здесь ничто не изменилось...»

В 1946 году у меня в дневнике записано:

«*1946—1/IV*. В Москву ждут Ахматову. Есть слух, что она выступает 3-го в Колонном зале Дома союзов, 2-го и 5-го в Клубе писателей».

Мне рассказал очевидец, как принимали Ахматову 2 апреля в Клубе писателей: «Это был настоящий триумф. Ей долго не давали начать чтение стихов, такой был оглушительный гул аплодисментов». 3-го то же повторилось и в Доме союзов, а предполагавшийся вечер Ахматовой в Клубе писателей 5 апреля был неожиданно отменен.

2 апреля Анна Андреевна была у меня вечером и привезла букет нарциссов. Я ни на одном из этих ее вечеров не была.

Анна Андреевна всегда делилась со мною своим горем и скорбями и называла себя моим старым другом. Я видела ее и в расцвете славы и в постигших ее несчастьях и обидах. Она все переживала с достоинством и несла мужественно тяготу и горечь житейских невзгод. Редко кому выпадало такое множество перемен и испытаний в жизни, как досталось ей.

Она несколько раз соединяла свою жизнь с полюбившимся ей человеком, но эта связь, иногда довольно продолжительная, обрывалась, и снова одиночество, и снова стихи, полные горечи и мужества. Должно быть, никогда не была она понята любимым человеком до конца, а может быть, поэту и не суждено быть понятым?

Я как-то, услышав стороной, что она опять полюбила кого-то, спросила: любит ли она теперь кого-нибудь. Она сказала: «Живу я одна», делая ударение на слове «живу».

Еще однажды я спросила ее: «У вас уютно?» Анна Андреевна ответила: «Я как Евгений у Пушкина, помните?»

«Он оглушен был шумом внутренней тревоги». И я вспомнила при этом еще одну строфу из ее стихотворения:

Ты уюта захотела,
Знаешь, где он — твой уют?

Я видела ее и в старых худых башмаках и поношенном платье, и в роскошном наряде, с драгоценной шалью на плечах (она почти всегда носила большую шаль), но в чем бы она ни была, какое бы горе ни терзало ее, она всегда выступала спокойной поступью и не гнулась от уничижающих ее оскорблений.

Александр Блок

ИЗ ДНЕВНИКОВ, ЗАПИСНЫХ КНИЖЕК И ПИСЕМ

20 октября 1911 г.[1]

⟨. . .⟩ Пришел Пяст. ⟨. . .⟩ Потом мы втроем (с Любой[2]) пошли к Городецким. ⟨. . .⟩ Безалаберный и милый вечер. Кузьмины-Караваевы. ⟨. . .⟩ Толстые ⟨. . .⟩. Молодежь. Анна Ахматова. Разговор с Н. С. Гумилевым и его хорошие стихи[3] о том, как сердце стало китайской куклой. ⟨. . .⟩ Было весело и просто. С молодыми добреешь.

А. Блок. Соч., т. 7, с. 75—76

7 ноября 1911 г.

В первом часу мы пришли с Любой к Вячеславу[4]. Там уже — собрание большое. Городецкие, ⟨. . .⟩ Кузмин, ⟨. . .⟩ Кузьмины-Караваевы, ⟨. . .⟩ А. Ахматова (читала стихи, уже волнуя меня; стихи чем дальше, тем лучше). ⟨. . .⟩ Все было красиво, хорошо, гармонично.

Там же, с. 83

17 декабря 1912 г.

Придется предпринять что-нибудь по поводу наглеющего *акмеизма* и *адамизма.*

Там же, с. 193

25 марта 1913 г.

Футуристы в целом, вероятно, явление более крупное, чем акмеисты. Последние — хилы.

Там же, с. 232

7 января 1914 г.

Письмо и стихи от А. А. Ахматовой[5].

А. Блок. Записные книжки. М., 1965, с. 200

18 января 1914 г.

Глубокоуважаемая
Анна Андреевна.

Мейерхольд будет редактировать журнал под названием «Любовь к трем апельсинам». Журнал будет маленький, при его

студии, сотрудничают он, Соловьев, Вогак, Гнесин. Позвольте просить Вас (по поручению Мейерхольда) позволить поместить в первом номере этого журнала — Ваше стихотворение, посвященное мне, и мое, посвященное Вам. Гонорара никому не полагается. Если Вы согласны[6], пошлите стихотворение Мейерхольду (Площадь Мариинского театра, 2), или напишите мне два слова, я его перепишу и передам.

Простите меня, что перепутал № квартиры, я боялся к Вам звонить и передал книги дворнику.

Преданный Вам Александр Блок

Литературное наследство, т. 92, кн. 4, с. 577

25 марта 1914 г.

«Четки» от А. Ахматовой[7]. 〈. . .〉 Дважды (без меня) звонила А. Ахматова.

А. Блок. Записные книжки. М., 1965, с. 218

26 марта 1914 г.

Многоуважаемая
Анна Андреевна.

Вчера я получил Вашу книгу, только разрезал ее и отнес моей матери. А в доме у нее — болезнь, и вообще тяжело; сегодня утром моя мать взяла книгу и читала не отрываясь: говорит, что не только хорошие стихи, а по-человечески, по-женски — подлинно.

Спасибо Вам.

Преданный Вам Александр Блок

А. Блок. Соч., т. 8, с. 436—437

9 июля 1914 г.

Мы с мамой ездили осматривать санаторию за Подсолнечной.— Меня бес дразнит.— Анна Ахматова в почтовом поезде.

А. Блок. Записные книжки, с. 234

5 августа 1914 г.

Встреча на Царскосельском вокзале с Женей, Гумилевым и А. Ахматовой.

Там же, с. 236

13 декабря 1914 г.[8]

Вечером, едва я надел телефонную трубку, меня истерзали: Л. А. Дельмас, Е. Ю. Кузьмина-Караваева и А. А. Ахматова.

Там же, с. 250

29 мая 1915 г.

Вчера мы с Пястом и Княжниным провели весь день и вечер у Чулковых в Царском Селе. ⟨. . .⟩ Ходили с визитом к А. Ахматовой, но не застали ее.

Письма А. Блока к родным, т. 2. Л., 1932, с. 267

14 марта 1916 г.

Многоуважаемая
Анна Андреевна.

Хоть мне и очень плохо, ибо я окружен болезнями и заботами, все-таки, мне приятно Вам ответить на посылку Вашей поэмы[9].

⟨. . .⟩ Прочтя Вашу поэму, я опять почувствовал, что стихи я, все равно, люблю, что они — не пустяк, и много такого — отрадного, *свежего,* как сама поэма. Все это — несмотря на то, что я никогда не перейду через Ваши *«вовсе* не знала», «у *самого* моря», *«самый* нежный, *самый* кроткий» (в «Четках»), постоянные *«совсем»* (это вообще не Ваше, общеженское, всем женщинам этого не прощу). Тоже и «сюжет»: не надо мертвого жениха, не надо кукол, не надо «экзотики», не надо уравнений с десятью неизвестными; надо еще жестче, неприглядней, больнее.— Но все это — пустяки, поэма настоящая, и Вы — настоящая. Будьте здоровы, надо лечиться.

Преданный Вам Ал. Блок

А. Блок. Соч., т. 8, с. 458—459

8 мая 1917 г.[10]

Встреча с Гумилевым и Ахматовой.

А. Блок. Записные книжки, с. 322

13 мая 1918 г.

Вечер «Арзамаса» в Тенишевском училище. Люба читает «Двенадцать». *Отказались* Пяст, Ахматова и Сологуб[11].

Там же, с. 406

21 января 1919 г.[12]

В столовой отдела: Ахматова, А. Гиппиус, Книпович.

Там же, с. 446

Из статьи А. Блока «Без божества, без вдохновенья (Цех акмеистов)» (апрель 1921 г.)

Настоящим исключением среди них была одна Анна Ахматова; не знаю, считала ли она сама себя «акмеисткой»; во всяком случае «расцвета физических и духовных сил» в ее усталой, болезненной, женской и самоуглубленной манере положительно нельзя было найти.

Е. Б. Чернова

СЛЕПНЁВО

Летом 1912 года я встретилась со многими членами семьи отца в имении Слепнёво. Имение это, как мне помнится, принадлежало Льву Ивановичу Львову (отец его называл дядя Лёля), бывшему морскому офицеру; кажется, он участвовал в обороне Севастополя. Смутно помню его очень старую фотографию (она была уже тогда какая-то коричневато-желтая). Он был снят у столика: высокий, с баками à la Александр II, в офицерской морской форме. Он завещал имение Слепнёво своим сестрам Варваре, Агате и Анне, а так как Агата умерла, то часть ее наследства перешла к отцу. Мы оказались совладельцами Слепнёва и договорились с Анной Ивановной Гумилевой, что приедем на лето в Слепнёво.

...Я впервые в жизни видела русскую деревню, меня поражали избы и бесконечные поля, поражали воротца при въезде в деревню, которые бросались нам открывать белоголовые ребятишки, мы давали им пакеты с пряниками и конфетами и мелкие деньги. Дорога была пыльная, солнце пекло, мне показалось, что ехали мы долго. Но вот и Слепнёво.

Проезжая дорога разрезала приусадебный участок и проходила очень близко от «барского» дома. Если ехать со стороны Бежецка, то дом оказывается справа, а слева был фруктовый сад.

Дом был большой, со старинной мебелью, но внутреннего расположения его не знаю, так как бывала в нем редко и, пожалуй, только на веранде, которая выходила в цветник, или в столовой.

В это лето в доме жила Варвара Лампе́, ее дочь Констанция Фридольфовна и ее внучка Ольга Кузьмина-Караваева.

...Вместе с Анной Ивановной Гумилевой приехали в Слепнёво Николай Степанович с Анной Андреевной Ахматовой и Александра Степановна Сверчкова (тетя Шура) со своими двумя детьми — Колей лет 18—19 и Марусей лет 15—16. Александра Степановна, дочь С. Я. Гумилева от первого брака, после смерти мужа, художника Сверчкова (он великолепно изображал лошадей), жила постоянно у своей мачехи Анны Ивановны Гумилевой. Была она добрая, милая и очень хозяйственная, в Царском Селе она вела все хозяйство, на ее попечении был и общий любимец — зеленый попугай. Тетя Шура научила его говорить «Попочка-душечка» и «Попочка-птичка»

Слепнево Сидят слева по часовой стрелке: третья — А. И. Гумилева, одиннадцатая — Анна Ахматова. Лето 1911 г.

и танцевать, если ему подпевали и прихлопывали в ладоши: «Попочка, попляши!» Этот Попочка в Слепнёво жил рядом с моей комнатой и будил меня по утрам ни свет ни заря, выкрикивая свои приветствия.

Коля Сверчков назывался Коля-маленький, хотя он в то время был уже весьма сильным и крупным юношей со светлыми усиками. Позднее осенью, когда в Царском Селе беременной Анне Андреевне было трудно ходить по лестнице, именно Коля-маленький носил ее на руках вверх и вниз по лестнице, так как в Царском Николай Гумилев и Анна Ахматова жили во втором этаже, а обедала вся семья внизу в большой столовой.

Я и Маруся больше всего играли в крокет, иногда, если не хватало игрока, меня принимали в партию в теннис. Главные игроки были Гумилев и Ольга Караваева, а также Неведомские. Николай Степанович играл очень хорошо, особенно у сетки, а я же в теннис играла неважно, да и какая я была взрослым компания — девочка 12 лет!

Анна Андреевна никогда и ни во что не играла. Она обычно гуляла одна, накинув на плечи большой темный платок, вместе со своей собакой-бульдожкой Молли.

По утрам мимо дома обычно ехала почта, Николай Степанович бегал ее встречать, колокольчик был слышен издали. К

Слепнево. Стоят: вторая справа — Анна Ахматова, третья — Е. Ю. Кузьмина-Караваева (будущая «Мать Мария») 1912 г.

ним в то лето приходило много журналов, и они с Анной Андреевной сразу бросались их просматривать. Помню, однажды я завтракала не во флигеле у родителей, а в большом доме. Николай Гумилев и Анна Ахматова опаздывали. Когда они вошли, Анна Ивановна спросила: «Ну, Коля, что пишут?» Николай торжествующе ответил: «Бранят».— «А ты, Аня?» Опустив глаза, тихо и как-то смущенно Ахматова ответила: «Хвалят».

Вообще жизненный уклад в большом доме был несколько старомодный и даже торжественный. Все члены семьи собирались в столовой, но не садились на свои каждому определенные места, пока не входила Варвара Ивановна. Она была старшая, и разница в возрасте между нею и Анной Ивановной была большая. Анна Ивановна рассказывала, что на свадьбе у Вареньки она сидела у невесты под юбкой. Варвара Ивановна немножко стилизовала себя под Екатерину II, и в семье любили отмечать это сходство. Была она ниже ростом, чем Анна Ивановна, полная, но не расплывшаяся, держалась прямо и величественно, волосы седые, совершенно белые, и на них черная кружевная наколка; когда она входила в столовую, к ней подходила Анна Ивановна, старшая сестра обнимала ее, а остальным делала общее приветствие. Тогда можно было садиться за стол. Разговор был общий, но младшие не начинали его, а только отвечали на вопросы старших. В то лето погода стояла хорошая, поэтому праздники с приглашенными гостями отмечали на террасе, но я на них не присутствовала, заходила только поздравить, поднести цветы и уходила к родителям во флигель.

Корней Чуковский

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ

Анну Андреевну Ахматову я знал с 1912 года. Тоненькая, стройная, похожая на робкую пятнадцатилетнюю девочку, она ни на шаг не отходила от мужа, молодого поэта Н. С. Гумилева, который тогда же, при первом знакомстве, назвал ее своей ученицей.

То было время ее первых стихов и необыкновенных, неожиданно шумных триумфов. Прошло два-три года, и в ее глазах, и в осанке, и в ее обращении с людьми наметилась одна главнейшая черта ее личности: величавость. Не спесивость, не надменность, не заносчивость, а именно величавость: «царственная», монументально важная поступь, нерушимое чувство уважения к себе, к своей высокой писательской миссии.

С каждым годом она становилась величественнее. Нисколько не заботилась об этом, это выходило у нее само собой. За все полвека, что мы были знакомы, я не помню у нее на лице ни одной просительной, заискивающей, мелкой или жалкой улыбки. При взгляде на нее мне всегда вспоминалось некрасовское:

Есть женщины в русских селеньях
С спокойною важностью лиц,
С красивою силой в движеньях,
С походкой, со взглядом цариц...

Даже в позднейшие годы, в очереди за керосином, селедками, хлебом, даже в переполненном жестком вагоне, даже в ташкентском трамвае, даже в больничной палате, набитой десятком больных, всякий, не знавший ее, чувствовал ее «спокойную важность» и относился к ней с особым уважением, хотя держалась она со всеми очень просто и дружественно, на равной ноге.

Замечательна в ее характере и другая черта. Она была совершенно лишена чувства собственности. Не любила и не хранила вещей, расставалась с ними удивительно легко. Подобно Гоголю, Аполлону Григорьеву, Кольриджу и другу своему Мандельштаму, она была бездомной кочевницей и до такой степени не ценила имущества, что охотно освобождалась от него, как от тяготы. Близкие друзья ее знали, что стоит подарить ей какую-нибудь, скажем, редкую гравюру или брошь, как через день или два она раздаст эти подарки другим. Даже в юные

Николай Гумилев, Лева, Анна Ахматова. Царское Село. 1915 г.

годы, в годы краткого своего «процветания», жила без громоздких шкафов и комодов, зачастую даже без письменного стола.

Вокруг нее не было никакого комфорта, и я не помню в ее жизни такого периода, когда окружавшая ее обстановка могла бы назваться уютной.

Самые эти слова «обстановка», «уют», «комфорт» были ей органически чужды — и в жизни и в созданной ею поэзии. И в жизни и в поэзии Ахматова была чаще всего бесприютна.

Конечно, она очень ценила красивые вещи и понимала в них толк. Старинные подсвечники, восточные ткани, гравюры, ларцы, иконы древнего письма и т. д. то и дело появлялись в ее скромном жилье, но через несколько дней исчезали. Не расставалась она только с такими вещами, в которых была запечатлена для нее память сердца. То были ее «вечные спутники»: шаль, подаренная ей Мариной Цветаевой, рисунок ее друга Модильяни, перстень, полученный ею от покойного мужа,— все эти «предметы роскоши» только сильнее подчеркивали убожество ее повседневного быта, обстановки: ветхое одеяло, дырявый диван, изношенный узорчатый халат, который в течение долгого времени был ее единственной домашней одеждой.

То была привычная бедность, от которой она даже не пыталась избавиться.

В 1964 году, получив премию Таормина, она закупила в

Италии целый ворох подарков для своих близких и дальних друзей, а на себя истратила едва ли двадцатую часть своей премии.

Единственной утварью, остававшейся при ней постоянно, был ее потертый чемоданишко, который стоял в углу наготове, набитый блокнотами, тетрадями стихов и стихотворных набросков — чаще всего без конца и начала. Он был неотлучно при ней во время всех ее поездок в Воронеж, в Ташкент, в Комарово, в Москву.

Даже книги, за исключением самых любимых, она, прочитав, отдавала другим. Только Пушкин, Библия, Данте, Шекспир, Достоевский были постоянными ее собеседниками. И она нередко брала эти книги — то одну, то другую — в дорогу. Остальные книги, побывав у нее, исчезали.

Вообще — повторяю — она была природная странница, и в последние годы, приезжая в Москву, жила то под одним, то под другим потолком у разных друзей, где придется.

Никого нет в мире бесприютней
И бездомнее, наверно, нет,—

очень точно сказала она о себе.

И чаще всего она расставалась с такими вещами, которые были нужны ей самой.

...Однажды в Ташкенте кто-то принес ей в подарок несколько кусков драгоценного сахару.

Горячо поблагодарила дарителя, но через минуту, когда он ушел и в комнату вбежала пятилетняя дочь одного из соседей, отдала ей весь подарок.

— С ума я сошла,— пояснила она,— чтобы *теперь* (то есть во время войны.— *К. Ч.*) *самой* есть сахар...

В Москве и сейчас проживает писательница, у которой лет пятнадцать назад не было средств, чтобы закончить свою трудоемкую книгу. Писала она эту книгу уже несколько лет. Анна Андреевна как раз в то время — после долгого безденежья — получила наконец небольшой гонорар, кажется, за свои переводы, на который купила писательнице пишущую машинку, чтобы та, пользуясь дополнительным заработком, могла довести свою книгу до конца.

Не об этой ли необычайной своей доброте проговорилась Анна Ахматова в нескольких строках «Предыстории», где она вспоминает свою покойную мать:

И женщина с прозрачными глазами
. . . .
. . . .
С редчайшим именем* и белой ручкой,
И добротой, которую в наследство

* Мать Ахматовой звали Инна Эразмовна *(примеч. автора)*

Анна Ахматова. Шарж художника В. Милашевского. 1922 г.

Я от нее как будто получила,—
Ненужный дар моей жестокой жизни...

Такой же значительной чертой ее личности была ее огромная начитанность. Она была одним из самых начитанных поэтов своей эпохи. Терпеть не могла тратить время на чтение модных сенсационных вещей, о которых криком кричали журнально-газетные критики. Зато каждую свою любимую книгу она читала и перечитывала по нескольку раз, возвращаясь к ней снова и снова.

Ее отзывы о книгах, о писателях всегда восхищали меня своей самобытностью. В них сказывался свободный, проницательный ум, не поддающийся стадным влияниям. Даже не соглашаясь с нею, нельзя было не любоваться силой ее здравого смысла, причудливой меткостью ее приговора.

В одной из ее статей есть такая строка — «мой предшественник Щеголев». Для многих это прозвучало загадкой. Щеголев не поэт, но ученый-историк, специалист по двадцатым — тридцатым годам XIX века, замечательный исследователь биографии Пушкина. Если бы она написала «мой предшественник Тютчев» или «мой предшественник Баратынский», это было бы в порядке вещей. Но не многие знали тогда, что ее предшественниками были не только лирики, но и ученые: Пушкина знала она всего наизусть — и так зорко изучала его и всю литературу о нем, что сделала несколько немаловажных открытий в области научного постижения его жизни и творчества. Пушкин был ей родственно близок — как суровый учитель и друг.

Историю России она изучала по первоисточникам, как профессиональный историк, и когда говорила, например, о протопопе Аввакуме, о стрелецких женках, о том или другом декабристе, о Нессельроде или Леонтии Дубельте,— казалось, что она знала их лично. Этим она живо напоминала мне Юрия Тынянова и академика Тарле. Диапазон ее познаний был широк. История древней Ассирии, Египта, Монголии была так же досконально изучена ею, как история Рима и Новгорода.

И при этом она никогда не производила впечатления книжницы, ученой педантки. Живую жизнь со всеми ее радостями, страстями и бедами она ставила превыше всего. Об одном современном поэте, который, черпая вдохновение из книг, пытался запечатлеть свои чувства в лирике, она с улыбкой жалости сказала:

— Он пишет так, будто у него за спиной была жизнь.

Так как в поэзии и в жизни Анны Ахматовой было много скорбей и обид, читатели могут, пожалуй, подумать, будто характер у нее был угрюмый и мрачный.

Ничто не может быть дальше от истины. В литературной

среде я редко встречал человека с такой склонностью к едкой иронической шутке, к острому слову, к сарказму.

Странным образом эта насмешливость совмещалась в ней с добротой и душевностью.

Из больших поэтов, наделенных столь же язвительным юмором, я могу назвать только Тютчева. Помню, как в юности я удивился и даже обиделся, когда мне впервые довелось прочитать, что этот космически грандиозный поэт был в то же время записным остроумцем, откликавшимся смешными (и не смешными) остротами на всякую злобу дня.

Остроты Тютчева сохранились и в письмах и в записях, и, конечно, было бы очень печально, если бы знавшие Анну Андреевну не записали по свежим следам ее иронических (иногда очень хлестких) отзывов о тех или иных книгах, событиях, людях, вещах. Эти шутки были мало похожи на тютчевские: Тютчев, дипломат и придворный, был далек от литературных кругов, Ахматова же, можно сказать, взлелеяна ими. Ее собеседниками с первых же ее девических лет были Николай Гумилев, Михаил Лозинский, Осип Мандельштам. Еще в «Белой стае», перечисляя те немногие радости, которые тешили ее в ранние годы писательской славы, она с особенной любовью вспоминает:

Веселость едкую литературной шутки.

В ее книгах «едкая литературная шутка» долго не находила никаких отражений, покуда не была создана «Поэма без героя» («Девятьсот тринадцатый год»), на многих страницах которой преобладает патетико-иронический тон.

...Никогда не забывала она того почетного места, которое ей уготовано в летописях русской и всемирной словесности. Это сознание укрепляло ее в самые безотрадные периоды жизни. Только оно дало ей моральную силу перенести тяжелые удары судьбы.

Отсюда же ее горячий протест против нынешних Лаур и Беатриче, рабски имитировавших ее новаторский стиль. Когда в «Вечере» появилось двустишие:

Я на правую руку надела
Перчатку с левой руки,—

Анна Андреевна сказала смеясь: «Вот увидите, завтра такая-то,— она назвала имя одной из самых юрких поэтесс того времени,— напишет в своих стихах:

Я на правую ногу надела
Калошу с левой ноги».

Предсказание ее вскоре сбылось: правда, имитаторша не прикоснулась к перчаткам Ахматовой — зато похитила у нее всю ее лексику, ее интонации, внешние приемы ее мастерства.

И таких подражательниц было в те времена очень много. Тотчас же после появления в печати «Вечера» и «Четок» на страницы журналов так и хлынули дамские вирши — жеманные, безвкусные, истеричные, пошлые, лишенные чувства меры и того благородного стиля, которые сделали поэзию Ахматовой одним из лучших достояний русской лирики...

Устных эпиграмм я слышал от нее очень много, а иные записал с чужих слов. Вот одна из них — чрезвычайно типичная.

Приехал к ней из Стокгольма почтительный швед, писавший о ней какую-то ученую книгу. Через два-три дня ее спросили, пришлись ли ей по душе те суждения, какие он высказал об ее даровании.

Анна Андреевна мгновенно ответила:

— Я никогда не видела такой ослепительной белой рубашки, как та, что была на нем. Мы тут воевали, устраивали революцию, голодали, снова воевали, а шведы все эти годы сти-и-рали и гла-а-дили эту рубашку...

Последние слова она произнесла очень протяжно. Они показались мне исчерпывающей характеристикой ее отношения к мыслям ее иноземного гостя.

Как-то заспорили при ней о каком-то ленинградском литераторе. Одни говорили, что он широко эрудирован и очень умен, другие — что он глуповат.

— Нет, он умен, и даже очень,— сказала Ахматова.— Но из осторожности он предпочитает жить не своим умом, но чужой глупостью.

Эта эпиграмма, применимая не только к тому литератору, о котором случайно зашел разговор, но и ко многим из нас, именно в силу своей обобщенности, произвела на меня впечатление народной пословицы.

Когда Анна Андреевна была женой Гумилева, они оба увлекались Некрасовым, которого с детства любили. Ко всем случаям своей жизни они применяли некрасовские стихи. Это стало у них любимой литературной игрой. Однажды, когда Гумилев сидел поутру у стола и спозаранку прилежно работал, Анна Андреевна все еще лежала в постели. Он укоризненно сказал ей словами Некрасова:

Белый день занялся над столицей,
Сладко спит молодая жена,
Только труженик муж бледнолицый
Не ложится, ему не до сна.

Анна Андреевна ответила ему такой же цитатой:

...на красной подушке
Первой степени Анна лежит*.

---

* Некрасов разумел орден Анны, который в похоронной процессии несли на подушке из алого бархата за гробом сановных покойников. Цитаты заимствованы из двух некрасовских стихотворений: «Маша» и «Утро» *(примеч. автора)*.

В другом месте я уже рассказывал, что было несколько человек, с которыми ей особенно «хорошо смеялось», как любила она выражаться. Это были Осип Эмильевич Мандельштам и Михаил Леонидович Лозинский — ее товарищи, самые близкие...

...Пишу эти строки и все время боюсь, что у читателя составится превратное мнение, будто я пытаюсь изобразить Ахматову, наперекор всем фактам ее биографии, жизнерадостной, беспечно-веселой.

Конечно, я далек от подобных намерений. Но я так часто видел ее изнуренной бессонницами, болезнями, бедностью, тяжким трудом, что мне, естественно, захотелось напомнить себе и другим ее улыбку, ее юмор, ее радостный смех, так как нельзя же характеризовать человека одной-единственной чертой его личности, одним периодом ее биографии.

В характере Ахматовой было немало разнообразнейших качеств, не вмещающихся в ту или иную упрощенную схему. Ее богатая, многосложная личность изобиловала такими чертами, которые редко совмещаются в одном человеке.

Порою, особенно в гостях, среди чужих, она держала себя с нарочитою чопорностью, как светская дама высокого тона, и тогда в ней чувствовался тот изысканный лоск, по которому мы, коренные петербургские жители, безошибочно узнавали людей, воспитанных Царским Селом. Такой же, кстати сказать, отпечаток я всегда чувствовал в голосе, манерах и жестах наиболее типичного из царскосёлов Иннокентия Анненского. Приметы этой редкостной породы людей: повышенная восприимчивость к музыке, поэзии и живописи, тонкий вкус, безупречная правильность тщательно отшлифованной речи, чрезмерная (слегка холодноватая) учтивость в обращении с посторонними людьми, полное отсутствие запальчивых, резких, необузданных жестов, свойственных вульгарной развязности.

Ахматова прочно усвоила все эти царскосельские качества. В двадцатых — тридцатых годах среди малознакомых людей, в театре или на парадном обеде, она могла показаться постороннему глазу даже слишком высокомерной и чинной. Верная царскосельским традициям, навеки связавшая свое имя и судьбу с Ленинградом, с его каналами, улицами, дворцами, музеями, кладбищами, она представляется многим воплощением северной русской культуры.

Один напыщенный критик даже назвал ее «Звездой Севера». Почему-то все охотно забывали, что родилась она у Черного моря и в детстве была южной дикаркой — лохматой, шальной, быстроногой. К немалому огорчению родителей, по целым дням пропадала она у скалистых берегов Херсонеса, босая,

веселая, вся насквозь опаленная солнцем — такая, какой она описала себя в поэме «У самого моря»:

Бухты изрезали низкий берег,
Все паруса убежали в море.
А я сушила соленую косу
За версту от земли на плоском камне.
Ко мне приплывала зеленая рыба,
Ко мне прилетала белая чайка,
А я была дерзкой, злой и веселой
И вовсе не знала, что это — счастье.

«Вы и представить себе не можете, каким чудовищем я была в те годы,— вспоминала она четверть века спустя.— Вы знаете, в каком виде барышни ездили в то время на пляж? Корсет, сверху лиф, две юбки, одна из них крахмальная,— и шелковое платье. Разоблачится в купальне, наденет такой же нелепый и плотный купальный костюм, резиновые туфельки, особую шапочку, войдет в воду, плеснет на себя — и назад. И тут появлялось чудовище — я, в платье на голом теле, босая. Я прыгала в море и уплывала часа на два. Возвращаясь, надевала платье на голое тело... И, кудлатая, мокрая, бежала домой»*.

В каких бы царскосельских и ленинградских обличьях ни являлась она в своих книгах и в жизни, я всегда чувствовал в ней ту «кудлатую» бесстрашную девчонку, которая в любую погоду с любого камня, с любого утеса готова была броситься в море — навстречу всем ветрам и волнам.

И еще один облик Ахматовой — совершенно непохожий на все остальные. Она — в окаянных стенах коммунальной квартиры, где из-за дверей бесцеремонных соседей не умолкая орет патефон, часами нянчит соседских детей, угощает их лакомствами, читает им разные книжки — старшему Вальтера Скотта, младшему «Сказку о золотом петушке». У них был сердитый отец, нередко избивавший их под пьяную руку. Услышав их отчаянные крики, Анна Андреевна спешила защитить малышей, и это удавалось ей далеко не всегда.

Уже во время войны до нее дошел слух, что один из ее питомцев погиб в ленинградской блокаде. Она посвятила ему эпитафию, которая начинается такими словами:

Постучись кулачком — я открою.
Я тебе открывала всегда.

Для него, для этого ребенка, ее дверь была всегда открыта.

Та же младшая современница[1] Анны Ахматовой, которая любезно предоставила мне свои памятные заметки о ней, пишет:

---

* Цитирую по неизданному дневнику одной из младших ее современниц *(примеч. автора)*.

«Я уже не раз замечала, что с ребенком на руках она (Ахматова) сразу становится похожа на статую мадонны — не лицом, а всей осанкой, каким-то скорбным и скромным величием» (2 августа 1940 года).

Это «скорбное и скромное величие» Ахматовой было — повторяю — ее неотъемлемым свойством. Она оставалась величественной всегда и везде, во всех случаях жизни — и в светской беседе, и в интимных разговорах с друзьями, и под ударами свирепой судьбы,— «хоть сейчас в бронзу, на пьедестал, на медаль»!

1964—1968

ИЗ ДНЕВНИКА

1920

19 января. Вчера — у Анны Ахматовой. Она и Шилейко[2] в одной большой комнате,— за ширмами кровать. В комнате сыровато, холодновато, книги на полу. У Ахматовой крикливый, резкий голос, как будто она говорит со мною по телефону. Глаза иногда кажутся слепыми. К Шилейке ласково — иногда подходит и ото лба отметает волосы. Он зовет ее Аничка. Она его Володя. С гордостью рассказывала, как он переводит стихами — à livre ouverte* — целую балладу,— диктует ей прямо набело! «А потом впадает в лунатизм».

25 января. Мороз ужасный. Дома неуютно. Сварливо. Вечером я надел два жилета, два пиджака и пошел к Анне Ахматовой. Она была мила. Шилейко лежит больной. У него плеврит. Оказывается, Ахматова знает Пушкина назубок — сообщила мне подробно, где он жил. Цитирует его письма, варианты. Но сегодня она была чуть-чуть светская барыня; говорила о модах: а вдруг в Европе за это время юбки длинные или носят воланы. Мы ведь остановились в 1916 году — на моде 1916 года.

30 марта. На днях Гржебин[3] звонил Блоку: «Я купил Ахматову». Это значит: приобрел ее стихи. Дело в том, что к Ахматовой принесли платье, которое ей внезапно понравилось, о котором она давно мечтала. Она тотчас же — к Гржебину и продала Гржебину свои книги за 75 000 рублей.

Мы встретили ее и Шилейку, когда шли с Блоком и Замятиным из «Всемирной». Первый раз вижу их обоих вместе... Замечательно — у Блока лицо непроницаемое, и только движется, все время зыблется, «реагирует» что-то неуловимое вокруг рта. Не рот, а кожа возле носа и рта. И у Ахматовой то же. Встретившись, они ни глазами, ни улыбками ничего не выразили, но *там* было высказано много.

---

* С листа *(франц.).— Ред.*

1921

3 февраля. Вчера в Доме ученых встретил в вестибюле Анну Ахматову: весела, молода, пополнела! «Приходите ко мне сегодня, я вам дам бутылку молока — для вашей девочки». Вечером забежал к ней — и дала! Чтобы в феврале 1921 года один человек предложил другому — бутылку молока!

13 февраля. Только что в 1 час ночи вернулся с Пушкинского празднества в Доме литераторов. Собрание историческое. Стол — за столом Кузмин, Ахматова, Ходасевич, Кристи[4], Кони, Александр Блок, Котляревский[5], Щеголев[6] и Илья Садофьев[7] (из Пролеткульта)...

24 декабря. Сейчас от Анны Ахматовой: она на Фонтанке, 18, в квартире Ольги Афанасьевны Судейкиной[8]. «Олечки нет в Петербурге, я покуда у нее, а вернется она, надо будет уезжать». Комнатка маленькая, большая кровать не застлана. На шкафу — на левой дверке — прибита икона Божьей Матери в серебряной ризе. Возле кровати столик, на столике масло, черный хлеб. Дверь открывает служанка-старуха: дверь у нас «характерная». У Ахматовой на ногах плед. «Я простудилась, кашляю». Мы беседовали долго... «Меня зовут в Москву, но Щеголев отговаривает. Говорит, что там меня ненавидят, что имажинисты устроят скандал, а я в скандалах не умею участвовать, вон и Блока обругали в Москве...» Потом старуха затопила у нее в комнате «буржуйку» и сказала, что дров к завтрему нет. «Ничего,— сказала Ахматова.— Я завтра принесу пилу, и мы вместе с вами напилим». (Сегодня я посылаю к ней Колю[9].) Она лежала на кровати в пальто — сунула руку под плед и вытащила оттуда свернутые в трубочку большие листы бумаги. «Это балет «Снежная маска» по Блоку. Слушайте и придирайтесь к стилю. Я не умею писать прозой». И она стала читать сочиненное ею либретто, которое было дорого мне как дивный, тонкий комментарий к «Снежной маске». Не знаю, хороший ли это балет, но разбор «Снежной маски» отличный. «Я еще не придумала сцену гибели в третьей картине. Этот балет я пишу для Артура Сергеевича[10]. Он попросил. Может быть, Дягилев поставит в Париже».

Потом она стала читать мне свои стихи, и когда прочитала о Блоке — я разревелся и выбежал.

1922

14 февраля. Был вчера у Ахматовой. На лестнице темно. Подошел к двери, стукнул — дверь сразу открыли: открыла Ахматова — она сидит на кухне и беседует с «бабушкой», кухаркой О. А. Судейкиной. «Садитесь! Это единственная теплая комната...» Я стал говорить, что стихи «Клевета» холодны и слишком классичны. «То же самое говорит и Володя (Ши-

лейко). Он говорит, если бы Пушкин пожил еще лет десять, он написал бы такие стихи. Не правда ли, зло?.. Дала мне сардинок, хлеба. Много мы говорили об Анне Николаевне[11], вдове Гумилева... «Предлагали мне Наппельбаумы стать синдиком «Звучащей раковины»[12]. Я отказалась».

Я сказал ей: у вас теперь трудная должность — вы и Горький, и Толстой, и Леонид Андреев, и Игорь Северянин — все в одном лице, даже страшно.

И это верно: слава ее в полном расцвете; вчера Вольфила устраивала «Вечер» ее поэзии, а редакторы разных журналов то и дело звонят к ней — с утра до вечера: «Дайте *хоть что-нибудь*».

26 марта. Сегодня сдуру я назначил свидание Анне Ахматовой — ровно в 4 часа. Покупаю по дороге (на последние деньги!) булку, иду на Фонтанку. Ахматова ждала меня. На кухне все убрано, на плите сидит старуха, кухарка Ольги Афанасьевны, штопает для Ахматовой черный чулок белыми нитками. «Бабушка, затопите печку!» — распорядилась Ахматова, и мы вошли в ее узкую комнату, три четверти которой занимает двуспальная кровать, сплошь закрытая большим одеялом. Холод ужасный. Мы садимся у окна, и она жестом хозяйки, занимающей великосветского гостя, подает мне журнал «Новая Россия», только что вышедший... «А рецензию вы читали? Рецензию обо мне. Как ругают!»

Я взял книгу и в конце увидел очень почтительную, но не восторженную статью Голлербаха[13]. Бедная Анна Андреевна. Если бы она только знала, какие рецензии ждут ее впереди! «Этот Голлербах,— говорила она,— присылал мне стихи, очень хвалебные. Но вот в книжке о Царском Селе[14] — черт знает что он написал обо мне. Смотрите! Оказывается, что девичья фамилия Ахматовой — Горенко!! И как он смел! Кто ему позволил! Я уже просила Лернера передать ему, что это черт знает что!..»

Мне стало страшно жаль эту трудно живущую женщину... Показала мне тетрадь своих новых стихов, квадратную, большую,— вот, хватило бы на новую книжку, но критики опять скажут: «Ахматова повторяется»...

«Ну что, у вас теперь много денег?» — спросил я. «Да, да, много. За «Белую стаю» я получила сразу 150 000 000, могла платье сшить себе, Левушке послала, вот хочу послать маме, в Крым. У меня большое горе: нас было четыре сестры, и вот третья умирает от чахотки[15]. Мама так и пишет: «Умирает». В больнице. Я знаю, что они очень нуждаются, и никак не могу послать. Мама пишет: «По почте не посылай!»...»

Заговорили о голодающих. Я предложил ей свою идею: детская книга для Европы и Америки. Она горячо согласилась.

В комнате стало жарко. Она сварила мне в кастрюле кофе, сама быстро поставила столик, чудесно справилась с вьюш-

ками печки, и тут только я заметил, как идет ей новое платье. «Это материя из Дома ученых!»

Я достал из кармана булку и стал уплетать. Это был мой обед...

Потом она предложила: «Хотите послушать стихи?» Прочитала «Юдифь», похожую на «Три пальмы» по размеру[16]. «Это я написала в вагоне, когда ехала к Левушке. Начала еще в Питере. Открыла Библию (загадала), и мне вышел этот эпизод. Я о нем и загадала».

25 апреля. Сегодня с 10 ч. утра хожу по городу, ищу три миллиона и нигде не могу достать. Был у Ахматовой — есть только миллион, отдала. Больше нет у самой. Через три-четыре дня получает в Агрономическом Институте 4 миллиона[17]. Дав мне миллион, она порывисто схватила со шкафа жестянку с молоком и дала: «Это для маленькой».

15 декабря. Вчера забрел к Анне Ахматовой. Описать разве этот визит? Лестница темная, пыльная, типический черный ход. Стучусь в дверь. Оттуда кричат: не заперто! Открываю: кухонька, на плите какое-то скудное варево. Анны Андреевны нету: сейчас придет... Тут вошла Анна Андреевна с Пуниным Николаем Николаевичем... Мы пошли в гостиную бывшую Судейкиных с иконами на стенах и завели разговор. Но уже не светский, а домашний... Я видел ее в виде голодной и отрекшейся от всего земного монашенки (она жила тогда на Литейном в 1919 г.), видел светской дамой (месяца три назад) — и вот теперь она просто... девушка из мещанской семьи. Тесные комнаты, ход через кухню, маменька, кухарка «за все»,— кто бы сказал, что это та самая Анна Ахматова, которая теперь — одна в русской литературе замещает собою и Горького, и Льва Толстого, и Леонида Андреева (по славе), о которой пишутся десятки статей и книг, которую знает наизусть вся провинция...

Я ушел, унося впечатление светлое. За всеми этими вздорами все же чувствуешь подлинную Анну Ахматову, которой как бы неловко быть на людях подлинной, и она поневоле, из какой-то застенчивости, принимает самые тривиальные облики... А между тем это только щит, чтобы оставить в неприкосновенности свое, дорогое. Таков был тон у Тютчева, например.

1923

19 марта. Был у Ахматовой. Она со мной — очень мила. Жалуется на Эйхенбаума — «после его книжки обо мне мы раззнакомились»[18]. Рассматривали Некрасова, которого будем вдвоем редактировать. Она зачеркнула те же стихи, что в издании Гржебина зачеркнул и я. Совпадение полное. Читая «Машу», она вспомнила, как она ссорилась с Гумилевым, когда ей случалось долго залеживаться в постели, а он, работая у стола, говорил:

Только *му*женек *труж* белолицый...

29 марта. У Ахматовой. Щеголев. Выбираем стихотворения Некрасова. Когда дошли до стихотворения:

В полном разгаре страда деревенская!
Доля ты русская, долюшка женская,
Вряд ли труднее сыскать! —

Ахматова сказала: это я всегда говорю о себе. Потом, наткнувшись на стихи о Добролюбове:

Когда б таких людей
Не посылало небо —
Заглохла б нива жизни,—

Щеголев сказал: «Это я всегда говорю о себе». Потом Ахматова сказала: *одного стихотворения я не понимаю.— Какого?* — А вот этого: «На красной подушке первой степени Анна лежит». Много смеялись, а потом я пошел провожать Щеголева и чувствовал, как гимназист, что весна.

7 мая. Был вчера у Анны Ахматовой. Кутается в мех на кушетке. С нею Оленька Судейкина. Без денег, без мужей,— их очень жалко. Ольга Афанасьевна стала рассказывать, что она все продала, ангажемента нету, что у Ахматовой жар, температура по утрам повышенная, я очень расчувствовался и взял их в театр на «Чудо святого Антония».

14 мая. Был у Ахматовой. Она показывала мне карточки Блока и одно письмо от него, очень помятое, даже исцарапано булавкой. Письмо — о поэме «У самого моря». Хвалит и бранит, но какая правда перед самим собой[19]... Я показал ей мои поправки в ее примечаниях к Некрасову. Примечания, по-моему, никуда не годятся. Оказывается, что Анна Ахматова, как и Гумилев, не умеет писать прозой. Гумилев не умел даже переводить прозой и, когда нужно было написать предисловие к книжке Всемирной Литературы, говорил: я лучше напишу его в стихах. То же и с Ахматовой...

Я не скрыл от нее своего мнения о ее работе и сказал, что, должно быть, это писала не она...

13 октября. Был я вчера у Анны Ахматовой. Застал О. А. Судейкину в постели. Лежит изящная, хрупкая — вся в жару... При мне она получила письмо от Лурье (композитора), который сейчас в Лондоне. Это письмо взволновало Ахматову. Ахматова утомлена страшно. В доме нет служанки, она сама и готовит, и посуду моет, и ухаживает за Ольгой Афанасьевной, и двери открывает, и в лавочку бегает.

— Скоро встану на четвереньки, с ног валюсь.

Она потчевала меня чаем и вообще отнеслась ко мне сердечно. Очень рада — благодаря вмешательству Союза она получила 10 фунтов от своих издателей — и теперь может продавать новое издание своих книг. До сих пор они обе были абсолютно без денег... У Ахматовой вид кроткий, замученный.

— Летом писала стихи, теперь нет ни минуты времени.

Показывала гипсовый слепок со своей руки. «Вот моя левая рука. Она немного больше настоящей. Но как похожа. Ее сделают из фарфора, я напишу вот здесь: «Моя левая рука» — и пошлю одному человеку в Париж».

Мы заговорили о книге Губера «Дон-Жуанский список Пушкина» (которой Ахматова еще не читала).

— Я всегда, когда читаю о любовных историях Пушкина, думаю, как мало наши пушкинисты понимают в любви. Все их комментарии — сплошное непонимание (и покраснела).

О Сологубе:

— Очень непостоянный. Сегодня одно, завтра другое... Павлик Щеголев (сын) говорит, что он дважды спорил с Сологубом о Мережковском — в субботу и в воскресенье. В субботу защищал Мережковского от Сологуба, а в воскресенье напал на Мережковского, которого защищал Сологуб.

28 октября, воскресенье. У Анны Ахматовой я познакомился с барышней Рыковой. Обыкновенная. Ахматова посвятила ей стихотворение: «Все разрушено»[20] и т. д. Критик Осовский в «Известиях» пишет, что это стихотворение — революционное, т. к. посвящено жене комиссара Рыкова[21]. Ахм[атова] хохотала очень.

Ноябрь 14, среда. Был вчера у Ахматовой. Она переехала на новую квартиру — Казанская, 3, кв. 4. Снимает у друзей две комнаты. Хочет ехать со мною в Харьков. Теплого пальто у нее нет: она надевает какую-то фуфайку «под низ», а сверху легонькую кофточку. Я пришел к ней сверить корректуру письма Блока к ней — с оригиналом. Она долго искала письмо в ящиках комода, где в великом беспорядке — карточки Гумилева, книжки, бумажки и пр. «Вот редкость»,— и показала мне на французском языке договор Гумилева с каким-то французским офицером о покупке лошадей в Африке. В комоде много фотографий балерины Спесивцевой — очевидно, для О. А. Судейкиной, которая чрезвычайно мило вылепила из глины для фарфорового завода статуэтку танцовщицы — грациозно, изящно. Статуэтка уже отлита в фарфоре — прелестная. «Оленька будет ее раскрашивать...» Со мною была Ирина Карнаухова[22]. Так как Анне Андреевне нужно было спешить на заседание Союза писателей, то мы поехали на трамвае № 5. Я купил яблок и предложил одно Ахматовой. Она сказала: «На улице я есть не буду, все же у меня — гайдуки*, а вы дайте, я съем на заседании». Оказалось, что в трамвае у нее не хватает денег на билет (трамвайный билет стоит теперь 50 миллионов, а у Ахматовой денег всего 14 миллионов). «Я думала, что у меня 100 миллионов, а оказалось десять». Я ска-

* «Гайдук» упоминается в ее стихах о царе («Призрак».— *Ред.*). Теперь критики, не зная, о ком стихи, стали писать, что Ахматова сама ездит с гайдуками[23] *(примеч. автора)*.

зал: «Я в трамвае широкая натура, согласен купить вам билет». «Вы напоминаете мне,— сказала она,— одного американца в Париже. Дождь, я стою под аркой, жду, когда пройдет, американец тут же и нашептывает: «Мамзель, пойдем в кафе, я угощу вас стаканом пива». Я посмотрела на него высокомерно. Он сказал: «Я угощу вас стаканом пива, и знайте, что это вас ни к чему не обязывает»...»

25 ноября. ...по дороге зашел к Ахматовой. Она лежит, подле нее Стендаль «De l'amour»*. Впервые приняла меня вполне по душе. «Я,— говорит,— вас ужасно боялась. Когда Анненков мне сказал, что вы пишете обо мне, я так и задрожала: пронеси, Господи». Много говорила о Блоке: «В Москве многие думают, что я посвящала свои стихи Блоку. Это неверно. Любить его как мужчину я не могла бы. Притом ему не нравились мои ранние стихи. Это я знала — он не скрывал этого. Как-то мы с ним выступали на Бестужевских курсах — я, он и, кажется, Николай Морозов[24]. Или Игорь Северянин? Не помню. (Потому что мы два раза выступали с Блоком на Бестужевских: раз вместе с Морозовым, раз вместе с Игорем. Морозова тогда только что выпустили из тюрьмы...) И вот в артистической Блок захотел поговорить со мной о моих стихах и начал: «Я недавно с одной барышней переписывался о ваших стихах». А я дерзкая была и говорю ему: «Ваше мнение я знаю, а скажите мне мнение барышни»... Потом подали автомобиль. Блок опять хотел заговорить о стихах, но с нами сел какой-то юноша-студент. Блок хотел от него отвязаться. «Вы можете простудиться»,— сказал он ему (это в автомобиле простудиться!). «Нет,— сказал студент,— я каждый день обливаюсь холодной водой... Да если бы и простудился — я не могу не проводить таких дорогих гостей!» Он, конечно, не знал, кто я. «Вы давно на сцене?» — спросил он меня по дороге».

1924

14 января. Дней десять назад Ахматова, встретив меня во Всемирной, сказала, что хочет со мной «посекретничать». Мы уселись на особом диванчике, и она, конфузясь, сообщила мне, что проф. Шилейке нужны брюки: «Его брюки порвались, он простудился, лежит». Я побежал к Кини, порылся в том хламе, который прислан американскими студентами для русских студентов, и выбрал порядочную пару брюк, пальто — с меховым воротником, шарф и пиджак — и отнес все это к Анне Ахматовой. Она была искренне рада.

6 мая. Ахматова переехала на новую квартиру — на Фонтанку. Я пришел к ней недели три назад. Огромный дом — бывшие придворные прачечные[25]. Она сидит перед камином,

* «О любви» *(франц.). — Ред.*

на камине горит свеча — днем. «Почему?» — «Нет спичек. Нужно будет затопить плиту — нечем». Я потушил свечу, побежал к малярам, работавшим в соседней квартире, и купил для Ахматовой спичек.

7 июня. Ахматова говорит обо мне: «Вы лукавый, но когда вы пишете, вы не можете соврать, убеждена».

1954

8 марта. У Всеволода Иванова (блины). Встретил там Анну Ахматову впервые после ее катастрофы. Седая, спокойная женщина, очень полная, очень простая. Нисколько не похожая на ту стилизованную, робкую и в то же время надменную, с начесанной челкой, худощавую поэтессу, которую подвел ко мне Гумилев в 1912 г.— сорок два года назад. О своей катастрофе говорит спокойно, с юмором: «Я была в великой славе, испытала величайшее бесславие — и убедилась, что, в сущности, это одно и то же».

«Как-то говорю Евгению Шварцу, что уже давно не бываю в театре. Он отвечает: «Да, из вашей организации бывает один только Зощенко». (А вся организация — два человека.) Зощенке,— говорит она,— предложили недавно ехать за границу... Спрашиваю его: куда? Он говорит: «Я так испугался, что даже не спросил»...»

Я опять испытал такое волнение от ее присутствия, как в юности. Чувствуешь величие, благородство, огромность ее дарования, ее судьбы.

1955

30 июня. Ахматова приехала ко мне в тот самый день, когда в СССР прилетел Неру. Так как Можайское шоссе было заполнено встречавшим его народом, всякое движение в сторону Переделкина было прекращено. Перед нами встала стена милиционеров, повторявших одно слово: назад. Между тем в машине сидит очень усталая, истомленная Ахматова, которую мне так хочется вывезти из духоты на природу...

Ахматова была, как всегда, очень проста, добродушна и в то же время королевственна. Вскоре я понял, что приехала она не ради свежего воздуха, а исключительно из-за своей поэмы. Очевидно, в ее трагической, мучительной жизни поэма — единственный просвет, единственная иллюзия счастья. Она приехала — говорить о поэме, услышать похвалу поэме, временно пожить своей поэмой. Ей отвратительно думать, что содержание поэмы ускользает от многих читателей, она стоит за то, что поэма совершенно понятна, хотя для большинства она — тарабарщина... Ахматова делит мир на две неравные части: на тех, кто понимает поэму, и тех, кто не понимает ее.

Георгий Адамович

МОИ ВСТРЕЧИ С АННОЙ АХМАТОВОЙ

Не могу точно вспомнить, когда я впервые увидел Анну Андреевну. Вероятно, было это года за два до первой мировой войны в романо-германском семинарии[1] Петербургского университета. К этому семинарию я прямого отношения, как студент, не имел, но часто там бывал: был он чем-то вроде штаб-квартиры молодого, недавно народившегося акмеизма, а заодно и местом встречи первых формалистов, еще не уверенных в себе и разрабатывавших свои теории скорей по отталкиванию от всякого рода нео-Скабичевских, чем по твердому убеждению. На русское отделение историко-филологического факультета романо-германцы посматривали свысока, и не без основания к этому. Гумилев, например, с насмешливым раздражением рассказывал, что на экзамене по русской литературе — экзамене, на котором он собирался блеснуть знаниями и остротой своих суждений,— профессор Шляпкин спросил его:

— Скажите, как вы полагаете, что сделал бы Онегин, если бы Татьяна согласилась бросить мужа?

В романо-германском семинарии беседы и споры велись на другом уровне, и для меня лично он был окружен особым, таинственным, неотразимо-обаятельным ореолом. Несколько раз в год устраивались там поэтические вечера — не для публики, а для «своих»,— и быть причисленным к «своим», пусть и не без снисхождения, казалось великим счастьем. Однажды К. В. Мочульский[2], мой будущий близкий парижский друг,— по своему порывистому, несколько зыбкому душевному строю и болезненной впечатлительности не способный стать формалистом подлинным,— сказал мне: «Сегодня приходите непременно... будет Ахматова. Вы читали Ахматову?»

Читал ли я Ахматову! С первых ее строк, попавшихся мне на глаза, с обращения к ветру:

Я была, как и ты, свободной,
Но я слишком хотела жить.
Видишь, ветер, мой труп холодный,
И некому руки сложить...—

с этого ритмического перебоя «и некому руки сложить» я был очарован и, как тогда любили выражаться, «пронзен» ее стихами,— почти так же, как несколькими годами раньше, еще в гим-

назии, был очарован, «пронзен» первыми попавшимися мне на глаза строчками Блока в «Земле в снегу»:

О, весна без конца и без краю,
Без конца и без краю мечта...

Ахматова была уже знаменита — по крайней мере в том смысле знаменита, в каком Малларме, беседуя с друзьями, употребил это слово по отношению к Вилье де Лиль-Адану: «Его знаете вы, его знаю я... чего же больше?» В тесном кругу приверженцев новой поэзии о ней говорили с восхищением. Гумилев, ее муж, на первых порах относился к стихам Анны Андреевны резко отрицательно, будто бы даже «умолял» ее не писать,— и вполне возможно, что тут к его оценке безотчетно примешались соображения и доводы личные, житейские. Не литературная ревность, нет, а непреодолимая, скептическая неприязнь, вызванная ощущением глубокого, коренного отличия ахматовского поэтического склада от его собственного. Признал он Ахматову как поэта, и признал полностью, без оговорок, лишь через несколько лет после брака. А «вывел ее в люди» — если такое выражение в данном случае уместно — Кузмин[3], безошибочно уловивший своеобразие и прелесть ранних ахматовских стихов, как уловил это и Георгий Чулков, «мистический анархист», приятель и подголосок Вячеслава Иванова, когда-то рассмешивший пол-России вступительной фразой к большой, программной статье: «Настоящий поэт не может не быть анархистом,— потому, что как же иначе?» Авторитет Кузмина был, конечно, гораздо значительнее чулковского, и, главным образом, именно он способствовал возникновению ахматовской славы. Помню надпись, сделанную Ахматовой уже после революции на «Подорожнике», или, может быть, на «Anno Domini», при посылке одного из этих сборников Кузмину: «Михаилу Алексеевичу, моему чудесному учителю». Однако к концу жизни Кузмина, в тридцатых годах, Ахматова перестала с ним встречаться, не знаю из-за чего.

Анна Андреевна поразила меня своей внешностью. Теперь, в воспоминаниях о ней, ее иногда называют красавицей: нет, красавицей она не была. Но она была больше, чем красавица, лучше, чем красавица. Никогда не приходилось мне видеть женщину, лицо и весь облик которой повсюду, среди любых красавиц, выделялся бы своей выразительностью, неподдельной одухотворенностью, чем-то сразу приковывавшим внимание. Позднее в ее наружности отчетливее обозначился оттенок трагический: Рашель в «Федре», как в известном восьмистишии сказал Осип Мандельштам после одного из чтений в «Бродячей собаке»[4], когда она, стоя на эстраде, со своей «ложно-классической», «спадавшей с плеч» шалью, казалось, облагораживала и возвышала все, что было вокруг. Но первое мое впечатление было иное. Анна Андреевна почти непре-

рывно улыбалась, усмехалась, весело и лукаво перешептывалась с Михаилом Леонидовичем Лозинским, который, по-видимому, наставительно уговаривал ее держаться серьезнее, как подобает известной поэтессе, и внимательнее слушать стихи. На минуту-другую она умолкала, а потом снова принималась шутить и что-то нашептывать. Правда, когда наконец попросили и ее прочесть что-нибудь, она сразу изменилась, как будто даже побледнела: в «насмешнице», в «царскосельской веселой грешнице» — как Ахматова на склоне лет сама себя охарактеризовала в «Реквиеме» — мелькнула будущая Федра. Но ненадолго. При выходе из семинария меня ей представили. Анна Андреевна сказала: «Простите, я, кажется, всем вам мешала сегодня слушать чтение. Меня скоро перестанут сюда пускать...» — и, обернувшись к Лозинскому, опять рассмеялась.

Потом я стал встречаться с Анной Андреевной довольно часто — чаще всего в той же «Бродячей собаке», где бывала она постоянно. Этот подвальчик на Михайловской площади, с росписью Судейкина на стенах, вошел в легенду благодаря бесчисленным рассказам и воспоминаниям. Ахматова посвятила ему два стихотворения: «Все мы бражники здесь, блудницы» и «Да, я любила их, те сборища ночные». Сборища действительно были ночные: приезжали в «Бродячую собаку» после театра, после какого-нибудь вечера или диспута, расходились чуть ли не на рассвете. Хозяин, директор Борис Пронин, безжалостно выпроваживал тех, в ком острым своим чутьем угадывал «фармацевтов», то есть людей, ни к литературе, ни к искусству отношения не имевших. Впрочем, все зависело от его настроения: случалось, что и явным фармацевтам оказывался прием самый радушный, ничего предвидеть было нельзя. Было очень тесно, очень душно, очень шумно и не то чтобы весело: нет, точное слово для определения царившей в «Собаке» атмосферы найти мне было бы трудно. Не случайно, однако, никто из бывавших там до сих пор ее не забыл.

Бывали именитые иностранные гости: Маринетти, бойкий, румяный, до смешного похожий на «человека из ресторана»,— не хватало только сложенной белоснежной салфетки на руке! — Поль Фор, многолетний «король» французских поэтов, Верхарн, Рихард Штраус и другие. Для Штрауса, по настойчивому требованию Пронина, Артур Лурье, считавшийся в нашем кругу восходящей музыкальной звездой, сыграл гавот Глюка в своей модернистической аранжировке, после чего Штраус встал и, подойдя к роялю, сказал по адресу Лурье несколько чрезвычайно лестных слов, но сам играть наотрез отказался. Бывали все петербургские поэты: символисты, акмеисты, футуристы, еще делившиеся на «кубо», во главе с Маяковским в желтой кофте и Хлебниковым, и «эго», последователей Игоря Северянина, которых полагалось сторониться и слегка презирать. Хлебников уже и тогда казался загадкой.

Сидел он молча, опустив голову, никого не замечая, весь погруженный в свои таинственные размышления или сны. Присутствие его излучало какую-то значительность, столь же непонятную, как и несомненную. Помню, Мандельштам, по природе веселый и общительный, о чем-то оживленно говорил, говорил — и вдруг, оглянувшись, будто ища кого-то, осекся и сказал:

— Нет, я не могу говорить, когда там молчит Хлебников!

А Хлебников находился даже не поблизости, а за стеной, разделявшей подвал на два отделения,— второе полутемное, без эстрады и столиков, так сказать «интимное».

Никогда не бывал в «Бродячей собаке» Блок, вопреки распространенным в эмиграции утверждениям. Кстати, надо было бы категорически опровергнуть и другие россказни, сложившиеся в эмиграции и до сих пор прочно держащиеся: о каком-то «романе» Блока с Ахматовой, о чем-то вроде «amitié amoureuse»*, между ними возникшей. Никогда ничего подобного не было, никто об их взаимном влечении в Петербурге не слышал и не говорил. На чем эти выдумки основаны, не знаю. Вероятно, просто-напросто на том, что слишком уж велик соблазн представить себе такую любовную пару — Блок и Ахматова, пусть это и противоречит действительности.

Анна Андреевна была в «Собаке» всегда окружена, но уже не казалась мне такой смешливой, как тогда, когда я ее увидел впервые. Может быть, она сдерживалась, чувствуя, что на нее с любопытством и вниманием смотрят чужие люди, а может быть, мало-помалу что-то начало изменяться в ее характере, в ее общем складе. К ней то и дело подходили люди знакомые и мало знакомые, «полуласково, полулениво» касались ее руки,— в том числе и Маяковский, который однажды, держа ее тонкую, худую руку в своей огромной лапище, с насмешливым восхищением во всеуслышание приговаривал: «Пальчики-то, пальчики-то, Боже ты мой!» Ахматова нахмурилась и отвернулась. Бывало, человек, только что ей представленный, тут же объяснялся ей в любви. Об одном из таких смельчаков Анна Андреевна, помню, сказала: «Странно, он не упомянул о пирамидах!.. Обыкновенно в таких случаях говорят, что мы, мол, с вами встречались еще у пирамид, при Рамсесе Втором,— неужели вы не помните? Были у нее две близкие подруги, тоже постоянные посетительницы «Бродячей собаки»,— княжна Саломея Андроникова[5] и Ольга Афанасьевна Глебова-Судейкина, «Олечка», танцовщица и актриса, одна из редчайших русских актрис, умевшая читать стихи.

В первый Цех поэтов меня приняли незадолго до его закрытия, и был я только на пяти-шести его собраниях, не больше. Но круговое чтение стихов часто устраивалось и вне Цеха,

---

* Любовная дружба *(франц.)*.

то в Царском Селе, у Гумилевых, а иногда и у меня дома, где в отсутствие моей матери, недолюбливавшей этих чуждых ей гостей и уезжавшей в театр или к друзьям, хозяйкой была моя младшая сестра[6]. За ней усиленно ухаживал Гумилев, посвятивший ей сборник «Колчан». Ахматова относилась к сестре вполне дружественно.

За каждым прочитанным стихотворением следовало его обсуждение. Гумилев требовал при этом «придаточных предложений», как любил выражаться: то есть не восклицаний, не голословных утверждений, что одно хорошо, а другое плохо, но мотивированных объяснений, почему хорошо и почему плохо. Сам он обычно говорил первым, говорил долго, разбор делал обстоятельный и большей частью безошибочно верный. У него был исключительный слух к стихам, исключительное чутье к их словесной ткани, но, каюсь, мне и тогда казалось, что он несравненно проницательнее к чужим стихам, чем к своим собственным. Некоторой пресности, декоративной красивости своего творчества, с ослабленно-парнасскими откликами, он как будто не замечал, не ощущал. Анна Андреевна говорила мало и оживлялась, в сущности, только тогда, когда стихи читал Мандельштам. Не раз она признавалась, что с Мандельштамом, по ее мнению, никого сравнивать нельзя, а однажды даже сказала фразу,— это было после собрания Цеха, у Сергея Городецкого,— меня поразившую:

— Мандельштам, конечно, наш первый поэт...

Что значило это «наш»? Был ли для нее Мандельштам выше, дороже Блока? Не думаю. Царственное первенство Блока, пусть и расходясь с его поэтикой, мы все признавали без споров, без колебаний, без оговорок, и Ахматова исключением в этом смысле не была. Но под непосредственным воздействием каких-нибудь только что прослушанных мандельштамовских строф и строк, лившихся как густое, расплавленное золото, она могла о Блоке и забыть.

Мандельштам ею восхищался: не только ее стихами, но и ею самой, ее личностью, ее внешностью,— и ранней данью этого восхищения, длившегося всю его жизнь, осталось восьмистишие о Рашели-Федре. Вспоминаю забавную мелочь, едва ли кому-нибудь теперь известную: предпоследней строчкой этого стихотворения сначала была не «так негодующая Федра», а «так отравительница Федра». Кто-то, если не ошибаюсь, Валериан Чудовской[7], спросил поэта:

— Осип Эмильевич, почему «отравительница Федра»? Уверяю вас, Федра никого не отравляла, ни у Эврипида, ни у Расина.

Мандельштам растерялся, не мог ничего ответить: в самом деле, Федра отравительницей не была! Он упустил это из виду, напутал, очевидно по рассеянности, так как Расина он, во всяком случае, знал. На следующий же день «отравительница

Федра» превратилась в «негодующую Федру». (В двухтомном эмигрантском издании 1964 года я с удивлением прочел в том же стихотворении такие строчки:

Зловещий голос — горький хмель —
Душа расковывает недра...

Не знаю, воспроизведен ли этот текст по одному из прежних изданий. Но слышал я эти стихи в чтении автора много раз, и в памяти моей твердо запечатлелось «зовущий голос», а не «зловещий». Да и ничего зловещего в голосе Ахматовой не было, и не мог бы Мандельштам этого о ней сказать. Кроме того, не «Душа расковывает недра», а, конечно, «Души расковывает недра».)

После революции все в нашем быту изменилось. Правда, не сразу. Сначала казалось, что политический переворот на частной жизни отразиться не должен,— но длились эти иллюзии недолго. Впрочем, все это достаточно известно, и рассказывать об этом ни к чему. Ахматова с Гумилевым развелась, существование первого Цеха поэтов прекратилось, «Бродячая собака» была закрыта, и на смену ей, хотя и не заменив ее, возник «Привал комедиантов» в доме Добычиной на Марсовом поле, где сначала бывал Савинков, военный губернатор столицы, а потом зачастил Луначарский, другая высокая особа. Умер Блок, был арестован и расстрелян Гумилев. Времена настали трудные, темные, голодные. Моя семья, по каким-то фантастическим латвийским паспортам, уехала за границу, а я провел почти два года в Новоржеве — пушкинском «моем Новоржеве»,— изредка наезжая в Петербург. С Анной Андреевной виделся я реже, чем прежде, и ни одна из этих встреч отчетливо мне не запомнилась, кроме самой последней.

Было это в годы нэпа. В Доме искусств на Мойке был какой-то многолюдный вечер — не то музыка, не то чтение одного из «серапионовцев»,— по окончании которого все расселись группами за маленькими столиками. Водка, закуски, пирожки, торты: после первых революционных лет — настоящее пиршество. Анна Андреевна сидела с друзьями вдалеке от меня, в другом конце зала. Аким Волынский[8], зная, что я люблю балет, руками показывал мне, как должны делаться «фуэте» и как возмутительно небрежно сделала их вчера или третьего дня в «Лебедином озере» приезжая из Москвы балерина. Было поздно. Бутылка водки на нашем столе была уже почти опорожнена.

Я увидел, что Ахматова встала и, по-видимому, собирается уходить. Та же шаль на худых плечах, тот же грустный и спокойный взгляд, тот же единственный облик... Не дослушав хореографического монолога с цитатами из Платона и Шопенгауэра, я не без труда пробрался между тесно составленными столиками, подошел к Анне Андреевне и торопливо, вероятно

даже чуть-чуть лихорадочно, стал ей говорить о ней — не о ее стихах, а о ее внешности. Не знаю, ошибся ли я тогда, но мне показалось, что было это ей скорей приятно. Она ласково улыбнулась, протянула мне руку и, наклонясь, будто поверяя что-то такое, что надо бы скрыть от других, вполголоса сказала:

— Стара собака становится...

Передавая чужие слова на расстоянии нескольких десятков лет, передаешь их поневоле приблизительно, сохраняя лишь общий смысл. Но эту «собаку» я запомнил вполне точно. Почему она так себя назвала? Вспомнила, может быть, письма Чехова к жене? Или что-нибудь другое? Не знаю. Но это были последние слова, которые я слышал от Ахматовой в России. Вскоре после этого вечера я уехал в Ниццу, к своим, рассчитывая вернуться не позже как через полгода.

Прошло, однако, около тридцати лет. Мысли о возвращении я давно оставил. Имя Ахматовой мелькало в печати все реже, слухов о ней доходило мало. После войны появился грубейший и глупейший ждановский доклад, о ней и о Зощенко,— и за участь Ахматовой стало страшно. Никто ничего о ней не знал. Я был убежден, что больше никогда ее не увижу.

С наступлением «оттепели» кое-что изменилось. В газетах появились сведения о том, что Анна Андреевна собирается в Италию. На следующий год она приехала в Оксфорд, где университетскими властями была ей присуждена степень доктора honoris causa. Из Англии до Парижа недалеко,— будет ли она и в Париже? Можно ли будет с ней встретиться? Не зная, в каком она настроении, как относится к эмиграции и к тем, кто связан с эмигрантской печатью, не зная и того, насколько она свободна в своих действиях, я сказал себе, что не сделаю первого шага к встрече с ней, пока не уверюсь, что это не противоречит ее желанию.

Ночь. Телефонный звонок из Лондона. Несколько слов по-английски, а затем:

— Говорит Ахматова. Завтра я буду в Париже. Увидимся, да?

Не скрою, я был взволнован и обрадован. Но тут же, взглянув на часы, подумал: матушка-Россия осталась Россией, телефонный вызов во втором часу ночи! На Западе мы от этого отвыкли. Откуда Анна Андреевна знает номер моего телефона? — недоумевал я. Оказалось, ей дала его в Оксфорде дочь покойного Самуила Осиповича Добрина, профессора русской литературы в Манчестерском университете, где я одно время читал лекции.

На следующий день я был у Ахматовой в отеле «Наполеон» на авеню Фридланд.

У Толстого, среди бесчисленных его замечаний, читая которые думаешь: «Как это верно!» — есть где-то утверждение,

что в первое мгновение после очень долгой разлуки видишь всю перемену, происшедшую в облике человека. Однако минуту спустя изумление слабеет и порой даже кажется, что таким всегда человек и был. Не совсем то же, но почти то же было и со мной.

В кресле сидела полная, грузная старуха, красивая, величественная, приветливо улыбавшаяся,— и только по этой улыбке я узнал прежнюю Анну Андреевну. Но, в согласии с утверждением Толстого, через минуту-другую тягостное мое удивление исчезло. Передо мной была Ахматова, только, пожалуй, более разговорчивая, чем прежде, как будто более уверенная в себе и в своих суждениях, моментами даже с оттенком какой-то властности в словах и жестах. Я вспомнил то, что слышал незадолго перед тем от одного из приезжавших в Париж советских писателей: «Где бы Ахматова ни была, она всюду — королева». В осанке ее действительно появилось что-то королевское, похожее на серовский портрет Ермоловой.

Мало-помалу Анна Андреевна оживилась, стала вспоминать далекое прошлое, стала что-то рассказывать, о чем-то расспрашивать, смеяться, спорить, короче — как-то «опростилась», перейдя на прежний наш легкий, прерывистый петербургский тон и склад беседы, в которой все предполагалось понятым и уловленным с полуслова, без пространных объяснений.

О чем мы говорили? Главным образом, конечно, о поэзии, о стихах, и мне жаль, что, придя домой, я не записал беседы. Но так как было это сравнительно недавно, то почти все сказанное Анной Андреевной я помню довольно твердо и мог бы передать ее слова без искажения. Смущает и связывает меня только то, что, воспроизводя разговор, надо привести и то, что сказал ты сам: иначе не все окажется ясно. Постараюсь, однако, уделить самому себе внимания как можно меньше.

Анна Андреевна провела в Париже три дня. Был я у нее три раза. При первой же встрече я предложил ей поехать на следующее утро покататься по Парижу, где дважды была она в ранней молодости, больше чем полвека тому назад. Она с радостью приняла мое предложение и сразу заговорила о Модильяни, своем юном парижском друге, будущей всесветной знаменитости, никому еще в те годы не ведомом.

Был чудесный летний день, один из тех ранних, свежих, прозрачно-ясных летних дней, когда Париж бывает особенно хорош. За Ахматовой мы заехали вместе с моими парижскими друзьями, владеющими автомобилем и заранее радовавшимися встрече и знакомству с ней. Прежде всего Анне Андреевне хотелось побывать на рю Бонапарт, где она когда-то жила. Дом оказался старый, вероятно восемнадцатого столетия, каких в этом парижском квартале много. Стояли мы перед ним несколько минут. «Вот мое окно, во втором этаже... сколько раз

он тут у меня бывал»,— тихо сказала Анна Андреевна, опять вспомнив Модильяни и будто силясь скрыть свое волнение. Оттуда поехали в Булонский лес, где долго сидели на залитой солнцем террасе какого-то кафе, и наконец отправились на Монпарнас, завтракать в «Куполь», шумный, переполненный народом ресторан, до войны бывший местом ночных встреч парижской литературной и художественной богемы, в том числе и русской, эмигрантской.

Ахматова села, внимательно оглядела огромный квадратный зал, улыбнулась, вздохнула и наконец сказала:

— Если бы вы знали, что это!.. вот так сидеть... а вокруг все эти люди, эта молодежь... входят, выходят, смеются, веселые, оживленные, беспечные...

Фразу она оборвала, своего «если бы вы знали» не договорила, не объяснила. Но объяснений и не нужно было, и недопустимо было бы на них настаивать. Все было понятно. Вскоре разговор перешел на литературу: иных тем Анна Андреевна, по-видимому, избегала, касаясь их лишь случайно и нехотя. Еще до завтрака она, например, несколько раз произнесла слово «Ленинград». Я спросил ее:

— Вы говорите Ленинград, а не Петербург? — спросил потому, что слышал, будто советская интеллигенция, по крайней мере большая часть ее, предпочитает теперь говорить не Ленинград, а Петербург или иногда по-простонародному — Питер. Ахматова довольно сухо ответила:

— Я говорю Ленинград потому, что город называется Ленинград.

Я почувствовал, что о многом ей говорить трудно и больно, тут же пожалев, что задел один из таких предметов. В ее голосе мне почудился упрек, даже какой-то вызов: «Зачем задавать мне такие вопросы?» Не думаю, чтобы я ошибся в своей догадке.

Встретился я с Анной Андреевной во время ее пребывания в Париже, повторяю, три раза. Разговоров было много. Приведу некоторые их обрывки,— не стремясь через два года к искусственной, поддельной последовательности и связности. Помню общее содержание бесед, но не помню их порядка.

Меня интересовало отношение Ахматовой к Марине Цветаевой. В далекие петербургские времена она отзывалась о ней холодновато, вызвав даже однажды недовольное восклицание Артура Лурье:

— Вы относитесь к Цветаевой так, как Шопен относился к Шуману.

Шуман боготворил Шопена, а тот отделывался вежливыми, уклончивыми замечаниями. Цветаева по отношению к «златоустой Анне всея Руси» была Шуманом. Когда-то Ахматова с удивлением показывала письмо ее из Москвы, еще до личной встречи. Цветаева восхищалась только что прочитанной ею

ахматовской «Колыбелью» — «Далеко в лесу огромном...» — и утверждала, что за одну строчку этого стихотворения — «Я дурная мать» — готова отдать все, что до сих пор написала и еще когда-нибудь напишет. Ранние цветаевские стихи, например цикл о Москве или к Блоку, представлялись мне замечательными, необыкновенно талантливыми. Но Ахматова их не ценила.

Судя по двум строчкам ее стихотворения 1961 года:

Свежая, темная ветвь бузины,
Это письмо от Марины,—

я предполагал, что отношение Анны Андреевны к Цветаевой изменилось. Однако Ахматова очень сдержанно сказала: «У нас теперь ею увлекаются, очень ее любят... пожалуй, даже больше, чем Пастернака». Но лично от себя не добавила ничего. В дальнейшей беседе я упомянул об «анжамбеманах», которыми Цветаева злоупотребляла с каждым годом все сильнее,— то есть перенос логического содержания строки в начало строки следующей. «Да, это можно сделать раз, два,— согласилась Ахматова,— но у нее ведь это повсюду, и прием этот теряет всю свою силу».

(Проверяя и пересматривая многолетние свои впечатления, я думаю, что безразличие Ахматовой к стихам Цветаевой было вызвано не только их словесным, формальным складом. Нет, не по душе ей было, вероятно, другое: демонстративная, вызывающая, почти назойливая «поэтичность» цветаевской поэзии, внутренняя бальмонтовщина при резких внешних отличиях от Бальмонта, неустранимая поза при несомненной искренности, постоянный «заскок». Если это так, то не одну Ахматову это отстраняло, и не для одной это делало не вполне приемлемым творчество Цветаевой, человека редкостно даровитого и редкостно несчастного.)

. . . .

О Достоевском.

— Знаете, читать его мне ужасно трудно. В молодости я не прочла ни одного его романа до конца. Не могла. Начинала читать, не сплю, ночь провожу над книгой... и чувствую, что надо бросить, иначе заболею. И действительно, я когда-то едва не заболела, читая «Бесы». Не могу выдержать всех этих мучений, этого горя, этих обид. Нечего делать, значит, у меня слабые нервы.

. . . .

— Наконец-то вы признались, что не любите Гумилева! А ведь я всегда это знала. Но согласитесь, у него есть прекрасные стихи... «Сумасшедший трамвай»[9], например. Разве не хорошо? «Остановите, вагоновожатый...»

— Это — литература, «литература» в кавычках. Правда, хорошая.

— Литература, литература!.. Но кто-то давно сказал, и правильно сказал... не помню кто... что у нас в России был только один поэт, которому иногда удавалось быть вне литературы или над литературой,— Лермонтов.

. . . .

— Нет, эмигрантской литературы я почти совсем не знаю. До нас все это плохо доходит. Знаю, например, имя Алданова, но не прочла ни одной его строчки. Бунин? Я не люблю его стихов, никогда их не любила. Но есть у него один рассказ, который я прочла еще до революции, очень давно, и никогда его не забуду. Удивительный рассказ... о старом бродяге, пропойце, шулере, который тайком, сам себя стесняясь, приезжает в Москву на свадьбу дочери.

— «Казимир Станиславович»?

— Да, да, «Казимир Станиславович»... вы тоже помните?

(Упоминание о «Казимире Станиславовиче» меня поразило. Мне всегда представлялось, что это — одно из самых замечательных и притом сравнительно ранних произведений Бунина, гораздо значительнее, острее, глубже, чем «Господин из Сан-Франциско», который, в сущности, есть не что иное, как мастерски написанная вариация на тему «Смерти Ивана Ильича».)

. . . .

— Сколько сложилось легенд, в которых нет ни слова правды, все выдумано! Сколько раз я читала и слышала, будто Вячеслав Иванов на каком-то большом собрании поэтов восхитился моей «перчаткой»... знаете, этой «перчаткой с левой руки»?.. подошел ко мне, поздравил, сказал что-то о новой странице в русской поэзии... Никогда ничего подобного не было! Помню, при встрече он действительно сказал мне, что, по его мнению, это стихотворение удачно. Но и только. Без всяких поздравлений и восторгов.

. . . .

— Был недавно серебряный век русской поэзии, а теперь опять будет золотой. Я не преувеличиваю. У нас множество молодежи, которая только поэзией и живет. Пишут отличные стихи, но не желают печататься. Целыми днями, вечерами, ночами спорят о стихах, обсуждают стихи, читают стихи,— как бывало прежде, даже больше, чем прежде! Бродского вы читали? По-моему, это замечательный поэт, и уже почти совсем зрелый.

В разговоре я назвал имя Евтушенко. Анна Андреевна не без пренебрежения отозвалась о его эстрадных триумфах. Мне это пренебрежение показалось несправедливым: эстрада эстрадой, но не все же ею исчерпывается! Ахматова слегка пожала плечами, стала возражать и наконец, будто желая прекратить спор, сказала:

— Вы напрасно стараетесь убедить меня, что Евтушенко очень талантлив. Это я знаю сама.

О «Реквиеме».

Анне Андреевне хотелось знать, как была принята эта книга, какое произвела впечатление.

Я вспомнил давнее признание Цветаевой насчет «Колыбельной» и того, что за одну строчку оттуда она отдала бы все ею написанное,— и сказал, что последние строчки «Реквиема»:

...И тихо идут по Неве корабли —

должны бы у многих поэтов вызвать такое же чувство. Ахматова забыла о цветаевском письме, и, как мне показалось, напоминание это доставило ей удовольствие.

— Трудно судить о своих стихах. Надо отойти от них, отвыкнуть, как будто разлучиться с ними: тогда яснее видишь, что хорошо, что слабо. «Реквием» еще слишком мне близок. Но кое-что в нем, по-моему, удачно: например, эти два вставных слова «к несчастью» во вступительном четверостишии.

— А другое четверостишие, о Голгофе, «Магдалина билась и рыдала...»?

— Да, это, кажется, тоже неплохие стихи.

. . . .

— Довольны вы, что побывали в Париже, довольны ли оксфордскими торжествами и всем вообще?

— Да, все было хорошо, слава Богу, грешно было бы жаловаться. Но без ложки дегтя никогда не обходится... Вот посмотрите, что в ваших газетах обо мне пишут! Я только вчера прочла это.

Анна Андреевна протянула мне недавно полученный номер «Нового Русского слова» с большой статьей о ней. Я наскоро пробежал статью и не без недоумения спросил:

— Что же вам тут неприятно? Статья доброжелательная, ни одного дурного слова...

— Да, совершенно верно, похвалы, комплименты, ни одного дурного слова... Но между строк можно прочесть, что я какая-то мученица, что я страдалица, что я в современной России всем и всему чужда, повсюду одинока... Вы не знаете, как это мне вредило и как может еще повредить! Если у вас хотят обо мне писать, пусть пишут как о других поэтах: такая-то строка лучше, другая хуже, такой-то образ оригинален, другой никуда не годится. И пусть забудут о «мученице».

— Анна Андреевна, могу я передать ваши слова редакторам эмигрантских газет и журналов?

— Не только можете, но окажете мне большую услугу, если сделаете это. Я настоятельно вас об этом прошу. Не надо делать меня каким-то вашим знаменем или рупором. Неужели эмигрантским критикам трудно это понять?

. . . .

В день своего отъезда из Парижа Анна Андреевна была не совсем такой, как накануне: казалось, она чем-то озабочена или опечалена. Даже как будто растеряна. На вокзал я ехать не хотел — у меня были для этого основания — и пришел проститься с ней в отель. Она сказала:

— Да, не надо быть на вокзале. Я вообще боюсь вокзалов.

Боялась она их не по суеверию, а по состоянию здоровья: два или три раза при отъездах у нее был сердечный припадок.

О литературе, о поэзии мы, конечно, больше не говорили. Я спросил Ахматову, как живется ей в материальном, денежном отношении: «Поверьте, я спрашиваю об этом не из простого любопытства».

— У нас хорошо платят за переводы. Теперь я перевожу Леопарди... Так что ничего, концы с концами свожу.

— А если вы больны, если работать не можете?

— Тогда хуже. Пенсия, но очень маленькая.

И в первый раз, за все три дня, она заговорила о себе, о своей личной жизни, о том, что пришлось ей пережить в прошедшие десятилетия.

— Судьба ничем не обошла меня. Все, что может человек испытать, все выпало на мою долю.

В дверь постучались. Вошли люди, с цветами, с конфетами. Пора было собираться, укладывать в чемодан последние мелочи. До поезда оставалось не больше часа.

Анна Андреевна как-то беспомощно стояла посреди комнаты, стараясь улыбнуться.

— Ну, до свидания, не забывайте меня. Не прощайте, а до свидания! Бог даст, я на будущий год опять приеду в Париж. Спасибо.

Скорей движением рук и недоуменным выражением лица, чем словами, я спросил: за что спасибо?

— Да так, за все... Не за прошлое, так за будущее. Все мы друг другу чем-нибудь обязаны. Особенно теперь.

Выходя, я в дверях обернулся. Анна Андреевна помахала рукой и сказала: «Христос с вами, до свидания».

Но свидания больше не было — и не будет.

Юрий Анненков

ИЗ КНИГИ «ДНЕВНИК МОИХ ВСТРЕЧ»

Я встретился впервые с Анной Андреевной в Петербурге в подвале «Бродячей собаки» в конце 1913 или в начале 1914 года. Анна Ахматова, застенчивая и элегантно небрежная красавица, со своей «незавитой челкой», прикрывавшей лоб, и с редкостной грацией полудвижений и полужестов,— читала, почти напевая, свои ранние стихи. Я не помню никого другого, кто владел бы таким умением и такой музыкальной тонкостью чтения, какими располагала Ахматова. Пожалуй — Владимир Маяковский. Но если чтение Ахматовой, полное затушеванной напевности ее тихого голоса, было чтением «под сурдинку», Маяковский скандировал свои поэмы «во весь голос».

...Грусть была, действительно, наиболее характерным выражением лица Ахматовой. Даже — когда она улыбалась. И эта чарующая грусть делала ее лицо особенно красивым. Всякий раз, когда я видел ее, слушал ее чтение или разговаривал с нею, я не мог оторваться от ее лица: глаза, губы, вся ее стройность были тоже символом поэзии.

...Печальная красавица, казавшаяся скромной отшельницей, наряженной в модное платье светской прелестницы! Я сделал с Ахматовой в 1921 году два портретных наброска: один — пером, другой — в красках, гуашью. Ахматова позировала мне с примерной терпеливостью, положив левую руку на грудь. Во время сеанса мы говорили, вероятнее всего, о чем-нибудь весьма невинном, обывательском, о каком-нибудь ни о чем... Непосредственность, простота, порой — застенчивая шутливость (с грустной улыбкой) и полное отсутствие претенциозности всегда удивляли меня при встречах и беседах с ней.

* * *

5 июня 1965 года на мою долю выпал счастливый случай присутствовать в амфитеатре Оксфордского университета на торжественной церемонии присуждения Анне Ахматовой звания доктора honoris causa. Трудно сказать, кого было больше среди переполнившей зал публики: людей зрелого возраста или молодежи, в большинстве, вероятно, студенческой. Появление Ахматовой, облаченной в классическую «докторскую» тогу,

Анна Ахматова. Рисунок Ю. П. Анненкова. 1921 г.

вызвало единодушные аплодисменты, превратившиеся в подлинную овацию после официального доклада о заслугах русской поэтессы.

Часа через два после этого события в моей отдельной комнате раздался телефонный звонок: говорил по-русски женский голос от имени Ахматовой. Узнав, что я нахожусь в Оксфорде, Ахматова просила меня возможно скорее приехать к ней. Я не замедлил исполнить ее желание.

— Страшно подумать: почти полных полвека! — сказала Ахматова, протянув мне руку.

Наша беседа длилась более двух часов. Воспоминания, вопросы, разговор обо всем... Меня чрезвычайно тронуло, что Ахматова вспомнила даже о том, как в 1921 году она позировала мне в моей квартире, сказав, что это происходило в яркий, солнечный июльский день и что она была одета в очень красивое синее шелковое платье.

...Ахматова приехала в Оксфорд в сопровождении очень симпатичной молоденькой Ани Каминской, внучки Николая Пунина... Второй спутницей была американская студентка, проживающая в Англии, Аманда Чейс Хейт, изучающая русский язык и уже неплохо говорящая на нем. Теперь она готовит книгу о поэзии Ахматовой[1].

Я виделся с Ахматовой в Оксфорде три раза. Само собой разумеется, наши разговоры сводились главным образом к взаимным расспросам о литературе, об изобразительном искусстве, о музыке, о театре — в СССР и за рубежом, а также — о наших общих друзьях, живущих там и живущих здесь.

Мы расстались очень дружески, и я вернулся в Париж 8 июня. Но 17 июня неожиданно Анна Ахматова тоже приехала в Париж, где пробыла четыре дня. По случайному совпадению она поселилась в отеле «Наполеон» на авеню Фридланд около площади Этуаль, отеле, управляемом Иваном Сергеевичем Маковским, сыном С. К. Маковского, поэта и основателя знаменитого художественно-литературного журнала «Аполлон», где были напечатаны ранние стихотворения Ахматовой.

...Я пригласил Ахматову приехать ко мне к обеду на следующий день с Аней Каминской и с американской студенткой. Ахматова сразу же согласилась, и суббота 19 июня останется для меня одним из незабываемых дней.

...В рабочем кабинете и в библиотеке на стенах — мои портреты Бориса Пильняка, Исаака Бабеля, Сергея Эйзенштейна, Всеволода Пудовкина, Казимира Малевича, Алексея Толстого, Никиты Балиева, Леонида Андреева, Валерия Инкижинова, а также — гуашный портрет Ахматовой, знакомый ей лишь по фотографиям, так как он был закончен мною уже в Париже.

— Мне кажется, что я вернулась в мою молодость,— прошептала Ахматова, оглядываясь на эти рисунки.

Н. В. Недоброво. 10-е годы

— Мне тоже, потому что *вы* здесь,— ответил я.

21 июня в 11 часов утра Ахматова и Каминская уезжали в Москву с Северного вокзала. Я приехал туда проводить их. Анна Ахматова была уже в купе спального вагона Париж — Москва. Она сказала мне, что утром вследствие усталости и сильных душевных волнений у нее начались боли в груди и что ей пришлось принять специальные пилюли, но что теперь все уладилось и она чувствует себя хорошо. Я спросил, какое у нее осталось впечатление от этого почти трехнедельного пребывания за границей? Ахматова сказала, что она никак не ожидала такого радушного, такого теплого приема со стороны всех, кого она встретила и с кем ей удалось беседовать, и что она никогда не забудет этого путешествия. Мы трижды поцеловались.

Когда поезд тронулся, Ахматова и Аня, стоя у открытого окна вагона, очень ласково махали нам руками, пока вагон не скрылся...

Борис Анреп

О ЧЕРНОМ КОЛЬЦЕ

...Кольцо было золотое, ровной ширины, снаружи было покрыто черной эмалью, но ободки оставались золотыми. В центре черной эмали был маленький бриллиант. А. А. всегда носила это кольцо и приписывала ему таинственную силу.

Н. В. Недоброво познакомил меня с А. А. в 1914 г. по моем приезде из Парижа перед моим отъездом на фронт. Н. В. восхищенно писал мне про нее еще раньше, и при встрече с ней я был очарован: волнующая личность, тонкие, острые замечания, а главное — прекрасные, мучительно-трогательные стихи. Недоброво ставил ее выше всех остальных поэтов того времени.

В 1915 году я виделся с А. А. во время моих отпусков или командировок с фронта. Я дал ей рукопись своей поэмы «Физа» на сохранение; она ее зашила в шелковый мешочек и сказала, что будет беречь как святыню...

Мы катались на санях; обедали в ресторанах; и все время я просил ее читать мне ее стихи; она улыбалась и напевала их тихим голосом.

Часто мы молчали и слушали всякие звуки вокруг нас. Во время одного из наших свиданий в 1915 году я говорил о своем неверии и о тщете религиозной мечты. А. А строго меня отчитывала, указывала на путь веры как на залог счастья. «Без веры нельзя».

Позднее она написала стихотворение, имеющее отношение к нашему разговору:

Из памяти твоей я выну этот день...

Так это и было. Но от нее я не получил ни одного письма, и я не написал ни одного, и она не «пришла на помощь моему неверью», и я не звал.

В начале 1916 г. я был командирован в Англию и приехал с фронта на более продолжительное время в Петроград для приготовления моего отъезда в Лондон. Недоброво с женой жили тогда в Царском Селе. Там же жила А. А. Николай Владимирович просил меня приехать к ним 13 февраля слушать только что законченную им трагедию «Юдифь». «Анна Андреевна тоже будет»,— добавил он. Вернуться с фронта и попасть в изысканную атмосферу царскосельского дома Недоброво, слушать «Юдифь», над которой он долго работал, увидеться опять с А. А. было очень привлекательно. Н. В. приветствовал меня, как

всегда, радушно. Я обнял его и облобызал и тут же почувствовал, что это ему неприятно: он не любил излияний чувств, его точеная, изящная фигура съежилась — я смутился. Любовь Александровна (его жена) спасла положение, поцеловала меня в щеку и сказала, что пойдет приготовлять чай, пока мы будем слушать «Юдифь».

А. А. сидела на диванчике, облокотившись, и наблюдала с улыбкой нашу встречу. Я подошел к ней, и тайное волнение объяло меня, непонятное болезненное ощущение. Я их испытывал всегда при встрече с ней, даже при мысли о ней...

Я слушал, но не слышал. Иногда я взглядывал на профиль А. А., она смотрела куда-то вдаль. Я старался сосредоточиться. Стихотворные мерные звуки наполняли мои уши, как стуки колес поезда. Я закрыл глаза. Откинул руку на сиденье дивана. Внезапно что-то упало в мою руку: это было черное кольцо. «Возьмите,— прошептала А. А.— Вам». Я хотел что-то сказать. Сердце билось. Я взглянул вопросительно на ее лицо. Она молча смотрела вдаль. Я зажал руку в кулак. Недоброво продолжал читать. Наконец кончил... Подали чай. А. А. говорила с Л. А. Я торопился уйти. А. А. осталась.

Через несколько дней я должен был уезжать в Англию. За день до моего отъезда получил от А. А. ее книгу стихов «Вечер» с надписью:

Борису Анрепу —

Одной надеждой меньше стало,
Одною песней больше будет

Анна Ахматова

1916. Царское Село
13 февраля

...Несколько времени перед этим я подарил А. А. деревянный престольный крест, который я подобрал в полуразрушенной, заброшенной церкви в Карпатских горах Галиции.

...Я уехал в Лондон, откуда должен был вернуться недель через шесть. Но судьба сложилась иначе...

Я никогда не писал. Она тоже отвечала полным молчанием... Престольный крест, подаренный мною А. А., оставил след в ее стихах:

Когда в мрачнейшей из столиц...

Меня оставили в Англии, и я вернулся в Россию только в конце 1916 года, и то на короткое время. Январь 1917 года я провел в Петрограде и уехал в Лондон с первым поездом после революции Керенского.

В ответ на то, что я говорил, что не знаю, когда вернусь в Россию, что я люблю покойную английскую цивилизацию

О. А. Глебова-Судейкина. Портрет К. Юона. Государственная Третьяковская галерея. 1915 г.

разума (так я думал тогда), а не религиозный и политический бред, А. А. написала:

Высокомерьем дух твой помрачен...

И позже в том же году:

Ты — отступник...

Революция Керенского. Улицы Петрограда полны народа. Кое-где слышны редкие выстрелы. Железнодорожное сообщение остановлено. Я мало думаю про революцию. Одна мысль, одно желание: увидеться с А. А. Она в это время жила на квартире проф. Срезневского, известного психиатра, с женой которого она была очень дружна...

Я перешел Неву по льду, чтобы избежать баррикад около мостов... Добрел до дома Срезневского, звоню, дверь открывает А. А. «Как, вы? В такой день? Офицеров хватают на улицах».— «Я снял погоны».

Видимо, она была тронута, что я пришел. Мы прошли в ее комнату. Она прилегла на кушетку. Мы некоторое время говорили о значении происходящей революции. Она волновалась и говорила, что надо ждать больших перемен в жизни. «Будет то же самое, что было во Франции во время Великой революции, будет, может быть, хуже».— «Ну, перестанем говорить об этом».

Мы замолчали. Она опустила голову. «Мы больше не увидимся. Вы уедете».— «Я буду приезжать. Посмотрите: ваше кольцо». Я расстегнул тужурку и показал ее черное кольцо на цепочке вокруг моей шеи. А. А. тронула кольцо. «Это хорошо, оно вас спасет...»

С первым поездом я уехал в Англию. Я долго носил кольцо на цепочке вокруг шеи.

Война кончилась. Большевики. Голод в России. Я послал две съестные посылки А. А., и единственное известие, которое я получил о ней, была ее официальная карточка с извещением о получении посылки:

«Дорогой Борис Васильевич, спасибо, что меня кормите.
Анна Ахматова».

Хотел писать, но меня предупредили, что это может ей повредить, и я оставил эту мысль. Я остался в Лондоне и мало-помалу вернулся к своей работе по мозаике. Как-то раз, раздеваясь, я задел цепочку на шее, она оборвалась, и кольцо покатилось по полу. Я его уложил в ящичек из красного дерева, обитый бархатом внутри, в котором сохранялись дорогие для меня сокровища...

Гумилев, который находился в это время в Лондоне и с которым я виделся почти каждый день, рвался вернуться в Россию. Я уговаривал его не ехать, но все напрасно. Родина тянула его. Во мне этого чувства не было...

Анна Ахматова. 1915 г.

...Шли годы... Опять война... Немецкие бомбы упали совсем близко от моей студии и разрушили ее. Я потерял сознание, но отошел и выбрался. Это случилось ночью. Наутро вернулся, чтобы спасти что осталось. Не могу найти драгоценного ящичка. Боже! Как я рад — вот он! Но что же это? Он взломан и пуст. Злоба к ворам. Стыд. Не уберег святыни, слезы отчаяния наполнили глаза...

...В 1945 году и эта война кончилась. Я послал А. А. фотографию в красках моей мозаики Христа: «Cor sacrum»*. Его грудь вскрыта, и видно его пламенное сердце. Я не знал ее адреса и послал в Союз писателей в Ленинграде с просьбой переслать конверт по ее адресу. На фотографии я написал: «На добрую память». Ответа не было, и я не знал, получила ли она пакет.

Жизнь текла... Я читал почти все, что А. А. печатала и что печаталось за границей...

В 1965 году состоялось чествование А. А. в Оксфорде... Я был в Лондоне, и мне не хотелось стоять в хвосте ее поклонников. Я просил Г. П. Струве передать ей мой сердечный привет и лучшие пожелания, а сам уехал в Париж... Я оказался трусом и бежал, чтобы А. А. не спросила о кольце...

Теперь она международная звезда! Муза поэзии! Но все это стало для меня четвертым измерением.

Так мои мысли путались, стыдили, пока я утром в субботу пил кофе в своей мастерской в Париже. На душе было тяжело...

Громкий звонок. Я привскочил, подхожу к телефону. Густой мужской голос звучно и несколько повелительно спрашивает меня по-русски: «Вы Борис Васильевич Анреп?» — «Да, это я».— «Анна Андреевна Ахматова приехала только что из Англии и желает говорить с вами...» — «Борис Васильевич, вы?» — «Я, Анна Андреевна, рад услышать ваш голос...» — «Приходите в восемь часов вечера...»

...Весь день я был сам не свой — увидеть А. А. после 48 лет разлуки! и молчания! О чем говорить?..

...В кресле сидела величественная, полная дама. Если бы я встретил ее случайно, я никогда бы не узнал ее, так она изменилась.

«Екатерина Великая»,— подумал я. «Входите, Борис Васильевич». Я поцеловал ее руку и сел в кресло рядом. Я не мог улыбнуться, ее лицо тоже было без выражения.

«Поздравляю вас с вашим торжеством в Англии».— «Англичане очень милы, а «торжество» — вы знаете, Борис Васильевич, когда я вошла в комнату, полную цветов, я сказала себе: «Это мои похороны». Разве такие торжества для поэтов?»

---

* «Священное сердце» *(лат.)*. — *Ред.*

Анна Ахматова. В доме Кардовских. 1915 г.

Мы заговорили о современных поэтах. Только бы не перейти на личные темы!..

...Я слушал, изредка поддерживал разговор, но в голове было полное безмыслие, сердце стучало, в горле пересохло — вот-вот сейчас заговорит о кольце. Надо продолжать литературный разговор!..

...Разговор не клеился. А. А. чего-то ждала...

Тысячу раз я спрашивал себя: зачем? зачем? Трусость, подлость. Мой долг был сказать ей о потере кольца. Боялся нанести ей удар? Глупости, я нанес еще больший удар тем, что третировал ее лишь как литературный феномен. Пока я думал, что я еще могу сказать или спросить о поэтах-современниках, она воскликнула: «Борис Васильевич, не задавайте мне, как все другие, этих глупых вопросов!» Ее горячая душа искала быть просто человеком, другом, женщиной. Прорваться сквозь лес, выросший между нами. Но на мне лежал тяжелый гробовой камень. На мне и на всем прошлом, и не было сил воскреснуть...

М. А. Зенкевич

У КАМИНА С АХМАТОВОЙ

Михаил Александрович Зенкевич, талантливый поэт и великолепный переводчик, обладал безукоризненным литературным вкусом. Его мнению доверяли литературные мэтры, молодежь в нем имела доброжелательного наставника.

...В начале семидесятых годов мне довелось познакомиться с этим интересным человеком.

Он рассказывал, как солнечным мартовским утром, подрядив извозчика, отправился в типографию. Улицы Петербурга были полны света, блеска зеркальных витрин, счастливых улыбок нарядно одетых людей, стремительного движения экипажей, из-под колес которых разлетались брызги. Скоро они подъехали к типографии и набили багажный ящик экипажа книгами — триста экземпляров «Дикой порфиры» Зенкевича и столько же книги Ахматовой «Вечер». Это был дебют начинающих поэтов. Шел 1912 год.

...— Да, в литературу мы вошли одновременно. В начале десятых годов стали участниками Цеха поэтов, который и издал наши первые сборники,— рассказывал Михаил Александрович.— В тот мартовский вечер, когда я забрал из типографии наши книги и отвез их в книжный магазин «Товарищество М. О. Вольф», состоялось собрание Цеха.

Чествовали нас, дебютантов. Сергей Митрофанович Городецкий сплел лавровые венки и возложил на наши головы. Первой читала свои стихи Анна Андреевна...

— Почему вы не напишете воспоминания? — спрашиваю я.

Михаил Александрович многозначительно молчит, затем весело произносит:

— Написал еще в двадцать восьмом году. Дал почитать Александру Фадееву — чтоб помог напечатать. Тот удивился, прочитав написанное: «Зачем все эти Ахматовы, Гумилевы, Нарбуты, Сологубы?.. Сейчас нужно не прошлое ворошить, а творчески устремляться в будущее».

Мне ничего не оставалось другого, как прислушаться к этому полезному совету.

Я набрался духу и нахально произнес:

— Дорого я дал бы, чтобы почитать эти воспоминания!

Михаил Александрович улыбнулся и ничего не ответил.

Но воспоминания я не только прочитал, но даже получил в свое распоряжение — после смерти мужа рукопись любезно уступила мне вдова Зенквича, милейшая Александра Николаевна.

Внимание мое привлекла глава, которая называлась «У камина с Анной Ахматовой». В ней речь идет о первых годах после революции.

ВАЛЕНТИН ЛАВРОВ

Анна Ахматова служит библиотекаршей в Агрономическом институте[1], и ее собираются уволить за сокращением штата! Для меня это не менее неожиданно, чем то, что она, оставив Гумилева, стала женой горбоносого ассириолога Шилейко.

В библиотеке института тоже холодно, но не так, как в Публичной. В небольшой комнате толпится кучка мужчин и женщин, одетых по-зимнему — очевидно, библиотекари.

— Скажите, пожалуйста, где я могу найти здесь Анну Андреевну Ахматову?

При этих словах из хмурой кучки библиотекарей отделяется высокая женщина и с улыбкой протягивает мне руку: Ахматова!

— Здравствуйте. Мне Лозинский сообщил вчера о вашем приезде. Очень рада вас видеть. Идемте ко мне.

Тут же, через коридор, ее комната с двумя высокими окнами, золоченым трюмо в простенке и большим камином. В комнате холодно, нет ни печи, ни даже «буржуйки».

— Затопите, пожалуйста, камин и подайте нам какао,— отдает Ахматова распоряжение какой-то немолодой интеллигентной женщине, вероятно ухаживающей за ней из любви к ее стихам.

Мы оба в зимних пальто усаживаемся в кресла, от дыхания идет пар, но камин вспыхивает и празднично трещит сосновыми дровами, и в руках у нас дымятся поданные на подносе фарфоровые чашечки.

Да, она осталась все той же светской хозяйкой, как и в особняке в Царском!

— Это какао мне прислали из-за границы. Получили посылки я и Сологуб, и от кого-то совсем незнакомого. Ну, рассказывайте о себе.

По лицу Ахматовой, освещенному при дневном свете золотистым пламенем камина, проходят тени.

— Последние месяцы я жила среди смертей. Погиб Коля, умер мой брат и, наконец, Блок! Не знаю, как я смогла все это пережить!..

— Говорят, вы хотите ехать за границу?

— Зачем? Что я там буду делать? Они там все сошли с ума и ничего не хотят понимать.

Она рассказывает о последнем вечере Блока в Большом драматическом театре, вспоминает о веселых и шумных собраниях Цеха поэтов с дешевым красным вином и молодыми стихами, о Гумилеве...

— Для меня это было так неожиданно. Вы ведь знаете, что он всегда был далек от политики. Но он продолжал поддерживать связи со старыми товарищами по полку, и они могли втянуть его в какую-нибудь историю. А что могут делать бывшие гвардейские офицеры, как не составлять заговоры? Но довольно об этом. Давайте читать стихи.

— С условием, что вы читаете первая.

Анна Ахматова. Фотография М. С. Наппельбаума. Начало 20-х годов

— Хорошо, я прочту стихотворение о смерти Блока. Лурье написал к нему музыку, и оно скоро будет исполняться на вечере памяти Блока.

И опять, как когда-то на собраниях Цеха,— «Звенящий голос, горький хмель души расковывает недра» — и четко вырезается на белой стене строгий, дантовский женский профиль с неизменной челкой на лбу.

При чтении Ахматовой передо мной проносятся обрывки воспоминаний. Вот она в первый раз, в отсутствие Гумилева, уехавшего в Абиссинию, читает в редакции «Аполлона» свои стихи, и от волнения слегка дрожит кончик ее лакированной туфельки, а Вячеслав Иванов ее за что-то отечески журит. Вот я везу ее «Вечер» вместе со своей «Дикой порфирой» на склад к Вольфу, и на собрании Цеха поэтов мы сидим с ней в нелепых лавровых венках, сплетенных Городецким...

А Смоленская нынче именинница...
...Принесли во гробе серебряном
Александра, лебедя чистого...

И мне мерещится зеленое Смоленское кладбище, и я вижу, как поднимают упавшую после похорон в рыданиях на могилу Блока Ахматову.

— Скажите, Анна Андреевна, ведь это выдумка о вашем будто бы романе с Блоком?

— Кто-то сочинил эту легенду. Я ведь почти не виделась с Блоком и только недавно узнала, что он любил мои стихи...

— Простите, Анна Андреевна, нескромный вопрос. Но я уже слышал о начале вашего романа с Николаем Степановичем, и даже то, как он раз, будучи студентом Сорбонны, пытался отравиться из-за любви к вам, значит, мне можно знать и конец. Кто первый из вас решил разойтись — вы или Николай?

— Нет, это сделала я. Когда он вернулся из Парижа во время войны, я почувствовала, что мы чужие, я объявила ему, что нам надо разойтись. Он сказал только — ты свободна, делай что хочешь,— но при этом страшно побледнел, так, что даже побелели губы. И мы разошлись...

Пламя в камине замирает, чашечки с какао стынут, стихи прочитаны, в окнах синеют сумерки — пора!

Я прощаюсь у наружной двери с провожающей меня Ахматовой и целую ее узкую руку.

Как она сильно выросла, вместо прежнего женского тщеславия у ней появилась какая-то мудрость и спокойствие. Да, как ни стараются ее опошлить поклонницы и подражательницы и женолюбивые критики, она все же остается Анной Ахматовой.

Мимо Инженерного замка вышел я на площадь Лассаля, бывшую Михайловскую, но, прежде чем сесть на трамвай, мне вдруг захотелось посмотреть «Бродячую собаку». В конце второго двора нашел я знакомый заколоченный вход в подвал. Как теперь было бы жутко спуститься туда, в сырость и темноту, и постоять там одному!..

Анна Ахматова. Фотография М. С. Наппельбаума. Начало 20-х годов

Д. Е. Максимов

ОБ АННЕ АХМАТОВОЙ, КАКОЙ ПОМНЮ

I

В первый раз я увидел Ахматову в 1923-м или в 1924 году на вечере поэтов, устроенном Союзом писателей. Это было на Фонтанке, недалеко от Невского, в тогдашней резиденции Союза. Ахматова стояла в фойе и оживленно разговаривала с двумя или тремя неизвестными мне дамами. Она была в белом свитере, который туго охватывал ее фигуру, выглядела молодой, стройной, легкой. Разговор также казался легким и непринужденным, с улыбками. От Ахматовой веяло свободой, простотой, грацией.

На эстраду она взошла такой же и вместе с тем другой, в новом облике. Она прочла всего два коротких и острых стихотворения. Было похоже на то, что она не хочет дружить с аудиторией и замыкается в себя. Прочитав стихи, не сделав даже краткой паузы, не ожидая аплодисментов и не взглянув на сидящих в зале, она резко и круто повернулась — и мы перестали ее видеть. И в этом жесте было уже не только изящество, но сила, смелость и вызов.

Человеческий образ Ахматовой с того вечера крепко запомнился и соединился с давно уже сложившимся образом ее поэзии.

Я был тогда студентом-первокурсником. В жизни моей и моих сверстников, товарищей по университету этих и последующих лет, стихи занимали огромное место, затопляли наши досуги, мешали ученью. Они, между прочим, почти заменили нам ушедшую из культурного обихода 20-х годов философию. Мы читали их днем и ночью, в одиночку и друг другу, списывали их в тетради и писали сами. Эпоха расцветала невиданной поэзией, связанной с поэзией предшествующей и противопоставленной ей. Блок, Мандельштам, Пастернак, конечно Маяковский, подальше — Хлебников, позже — Заболоцкий притягивали с особенной силой. Любопытствовали к Вагинову, интересовались символистами, Гумилевым, Анненским, Клюевым и наряду с ними — Тихоновым, Асеевым, Сельвинским. Широкие волны есенинского влияния проникали и в наш круг, но не имели в нем определяющего значения. Цветаеву почти не знали. Но тех, кого знали, действительно любили, иногда — до страсти, а в спорах о них — до ссор.

Но уже тогда, то есть к середине 20-х годов, в умах стихо-

Анна Ахматова. Фотография М. С. Наппельбаума. Начало 20-х годов

фильствующей студенческой молодежи, обычно начинавшей с повторения последних этапов дореволюционной поэзии, отношение к этим — частью уже удаленным во времени — поэтам перестраивалось и мера притяжения к каждому из них менялась. Я говорю не об исторической оценке их таланта, не о признании их историко-литературной значимости — их ценили и уважали. И не о массовых газетно-журнальных репутациях. Я говорю о личном, индивидуальном, интимном отношении к ним тех, кто действительно питался и жил поэзией. И здесь, в сфере пристрастий чутких и открытых поэзии читателей, смена поэтических притяжений, возвышение или крушение поэтических влияний, подъемы и затемнения любимых когда-то имен представляли собой обычные явления. В этом действии исторического времени, как и всегда, заключались и радость открытий, и нечто жесткое, вызывающее грусть, но неотвратимое.

Прежними «властителями дум», скорее, «властителями вкусов» были Блок, Белый, Сологуб, Гумилев, Брюсов, Ахматова. Из них на наших глазах под действием времени больше всех пострадал Брюсов, едва ли не больше Сологуба. К Брюсову сохранился историко-литературный интерес, но в нашем кругу его читали «для себя» лишь редкие любители стихов. Менее, чем на других, действие времени сказалось на восприятии Блока. Он был любим, горячо любим многими, особенно старшим поколением. Он оставался для читателей, выросших в сфере его влияния, не только пленительным и пленяющим поэтом, но отчасти в самом деле «властителем дум». Однако на студенческих вечеринках и сборищах в Ленинграде его уже не часто читали, а подражавшие ему молодые поэты могли показаться чуть ли не архаистами.

Для меня лично и для моих сверстников, близких по духу, Блок присутствовал и тогда, и позже, и до сих пор где-то в самых глубинных пластах души, определяя возможные для времени масштабы поэзии. Образ его, как совесть, освещал окрестности жизни, участвуя в каких-то важных жизненных решениях. Блок, стоя высоко над повседневным обиходом, был на страже духа и культуры. Чувство личности, ее достоинства и свободы сочеталось у него, в отличие от многих других поэтов, малых и больших, с редкостным умением подыматься над собой, «выходить из себя», с острым переживанием истории и своего долга перед людьми. И это было связано с самыми высокими учительскими заветами русской классической литературы.

До такой широты многие из нас не могли дойти и уходили то в одну, то в другую из односторонних поэтических правд. Но в их позиции и в их исканиях было и другое. Блоковский романтический максимализм не соответствовал возможностям жизни и, сталкиваясь с нею, приводил к трагическому конфликту,

Анна Ахматова. Середина 20-х годов

а мы были молоды и не хотели трагедии. Но и это не все. Там, где глубина сознания требует современных, прежде всего предметных, форм выражения, плотного словесного вещества, я и некоторые из моих сверстников чувствовали себя уже вне блоковских измерений, оторванными в чем-то важном и от этого дорогого нам, сформировавшего многих из нас поэта. Особенно это относилось к тем из наших товарищей, кто писал стихи, то есть переживал этот сдвиг без всяких дистанционных смягчений. Мы, пишущие, также и непишущие, чувствовали, что «блоковская фактура» в наше время и для нас слишком красива, порою декоративна («Ты в синий плащ...» и т. д.), недостаточно сурова, как-то беззащитна в своей исповедальной обнаженности, уводящей, в пределе, к расслабляющей «лирике души» (жесткими словами это называли «поэзией романса»). Помню, как Николай Семенович Тихонов, мой тогдашний литературный советчик, однажды, полушутя, приглашал меня, студента-второкурсника, к себе домой, на Зверинскую улицу, поговорить, «как бороться с Блоком».

Мы продолжали нуждаться в Блоке, видеть в нем великого поэта. Он был нужен нам, быть может, и для каких-то последних разговоров с совестью, и для понимания подступов к сегодняшнему «эстетическому сознанию». Но теперь перед нами возникали и притягивали к себе, а для кого-то и заслоняли Блока не вполне привычные еще имена Мандельштама и Пастернака, поэтов трудных, создавших новые типы миропереживания в слове, непосредственно приближенных к нам и вместе с тем (парадокс!) влекущих к себе своей полупостижимостью, таящейся в них заманчивой неизвестностью.

Хочется сказать, кстати, что и теперь, через 50—60 лет, вся эта ситуация, круто изменившаяся в новую эпоху, в какой-то мере повторяется в соответствии с новыми витками спирали, которая раскручивается во времени. Среди многих оппозиций, характеризующих наше отношение к поэзии на сегодняшний день, существует и эта, хотя и лишившаяся прежней напряженности, вырастающая из живого прошлого, скорее духовная, чем эстетическая. Я имею в виду противостояние Блока, подновленного в поворотах, зигзагах и откровениях времени, с одной стороны, и Мандельштама, Пастернака, Цветаевой — с другой. Две стадии развития поэзии в ее высочайших вершинах, с явным преобладанием в настоящий момент, конечно без ориентации на количественные показатели, второго поколения поэтов. (Могучая, изначально трагическая поэзия Маяковского находилась и находится вне этой оппозиции, и судьба ее в наше время — совсем особая.)

Может быть, Блоку суждено в восприятии будущих поколений движение приблизительно по такой же линии (скажем, кривой), которая в свое время определила путь развития роман-

Анна Ахматова. Фотография М. С. Наппельбаума. Начало 20-х годов.

тизма начала XIX века, после того как он сдал свои боевые, наступательные позиции. Как известно, традиция европейских романтиков в литературе и в философии еще в первой половине прошлого столетия в значительной мере ушла «под воду», «в почву», в боковые литературные русла. Творчество Блока не уходило «под воду». Блок широко и громко признан не только юбилейным признанием. Но контакт с ним современного эстетического сознания ограничен. Многое в Блоке для многих из нас невоспринимаемо, а сам Блок, «нынешний Блок», как это обычно бывает, воспринимается лишь в определенных его аспектах.

Среди читаемых и чтимых поэтов 20-х и начала 30-х годов, конечно, большое место в наших студенческих душах занимала и Анна Ахматова. В тех кругах молодежи, к которым я принадлежал, не только знали ее книги, но и чувствовали сердцем и кожей артистическую остроту, точность и художественную неопровержимость ее совершенных, кристаллических, как будто своенравных, порою капризных, покоряющих строчек. Они казались врезанными в память. Никого из других поэтов не напоминали и никого из них не повторяли. Тогда нам были еще неведомы ее трагические, суровые, граждански направленные стихи поздних лет — этих стихов еще не было. Мы не предчувствовали, что Ахматова, сохранив и преобразовав свои прежние темы, станет в свой час замечательным гражданским поэтом, умеющим с необычайной силой выражения приобщаться к исторической судьбе своей родины. Но и то, что было ею тогда уже создано, врезалось в сердце и оставалось в нем надолго,— стихи о трудной, напряженной, извилистой любви, о своем поэтическом даре, о Петербурге, городе «славы и беды», о войне 1914—1917 гг., о незабвенном для нее и для русской поэзии «приюте муз» — Царском Селе, где протекали ее детство и юность,— стихи, наполненные «терпкой печалью», горестные, почти всегда — тревожные, изредка — уютные, проникнутые болями и радостями сложной, много испытавшей женской души.

И все же Ахматова не стала для нас тогда источником исключительного притяжения, «магнитным полем», равным по силе воздействия Мандельштаму и Пастернаку, а для пишущих, если они не были девушками-ахматовистками, не превратились в источник творческих импульсов. Одна из причин этого явления, бесспорно, заключалась в том, что Ахматова писала в то время мало и почти не печаталась. Но главное основание известной сдержанности в нашем отношении к ней следует искать в самом содержании ее творчества, в объеме и характере явленного в ее стихах мира, в ее сравнительной отдаленности от того, что притягивало нас в общей жизни, в жгуче переживаемом нами моменте истории.

И, кроме того, сыграла роль целомудренная осторожность,

Анна Ахматова. Фотография М. С. Наппельбаума. Начало 20-х годов

даже приглушенность ее исканий — духовных, существенных для одних, для меньшинства, и эстетических, важных для других — для тех, кто в 20-х и в начале 30-х годов рвался к демонстративной новизне и остроте. Эти энтузиасты художественной остроты, конечно, находили ее не у Ахматовой, а у иных поэтических вождей или у поэтов-островитян авангардистского толка, любимцев малых аудиторий, таких, как обериуты, молодой Заболоцкий, каким он тогда являлся, или Вагинов. Не случайно Лиля Брик рассказала в печати, что Маяковский любил стихи Ахматовой и в то же время в кругу друзей пародировал ее. Это было гиперболическим выражением и нашего отношения к ее поэзии, хотя мы, по-видимому, любили ее больше, чем Маяковский, и, разумеется, обходились без пародий.

Разъясняю: говоря «мы», я остаюсь, как и до сих пор, субъективным и не претендую на то, чтобы выразить мнение всех читателей Ахматовой в средний период ее жизни, а выражаю лишь то, как смотрел на нее я сам и некоторая часть близких мне молодых читателей, может быть не очень малочисленная. И еще оговорка: такой представлялась нам Ахматова в 20-е и отчасти в 30-е годы. Но пришло новое время, изменилось и ее творчество, и читатели, и их запросы, и их отношение к ней. Многие из этих изменений объединяются характерным для наших дней процессом «наведения мостов», направленным к сближению, в известных пределах, оторвавшихся друг от друга, хронологически смежных поэтических эпох, к установлению относительной непрерывности культур, связи времен. Но нечто очень важное в этом восстановлении поэзии Ахматовой нужно отнести и к ее кончине, освещающей новым светом, как всегда в таких случаях, образ ушедшего:

Когда человек умирает,
Изменяются его портреты,—

писала Анна Ахматова в 1940 г.

За последнее время интерес к поэзии Ахматовой резко повысился. Читатели повернулись к ней с признанием и любовью: одни — с любовью-уважением, другие — с любовью-страстью. И эта любовь распространилась не только на ее недавнее настоящее, но и на ее прошлое. Все отчетливее формируется мысль о том, что Ахматова — один из больших поэтов России.

Как следствие этой новой ситуации, умножилась литература, связанная с именем Ахматовой. Выходят сборники ее стихов и прозы, пишутся диссертации о ней, книги, статьи, мемуары. К голосам младших современников Ахматовой, вспоминающих о ней, и я хотел бы присоединить свой голос.

Вечер М. А. Кузмина у Наппельбаума. В центре — сидит М. А. Кузмин, стоит Анна Ахматова, 1922 г.

2

Мне посчастливилось много и долгое время встречаться с Анной Андреевной Ахматовой, знать ее — не очень близко, но достаточно хорошо, в той мере, которая дает мне право о ней рассказать.

Одной из предпосылок нашего общения явились общие воспоминания о Царском Селе. Эта тема нередко всплывала в наших беседах и подспудно связывала нас, пожалуй, не меньше, чем все остальное. В Царском я родился и провел свое детство, а она — и детство, и юность, и часть своих зрелых годов. В этом отношении мы были земляками-соотечественниками. В Царском Селе, по малости лет, я не знал даже о ее существовании, но мои старшие братья были знакомы с нею и с ее первым мужем. Были и другие общие знакомые по Царскому.

Но уже взрослым я долго не пользовался возможностью встретиться с Анной Андреевной. Я не был настолько тщеславен и настолько любопытен, чтобы активно стремиться к знакомству со «знаменитыми современниками», форсировать его. Поэтому, живя с Ахматовой в одном городе, теперь уже не в Царском, а в Ленинграде, я познакомился с нею впервые лишь в 1936 году (22 января). И встретился с нею не «просто так», а по делу. Я пришел к ней в Фонтанный Дом с определенными вопросами, связанными с моими занятиями литературой ее времени.

Уже при первом моем посещении Анны Андреевны, с первых же слов было подтверждено наше «родство» с нею по Царскому Селу, которое мы оба считали своим отечеством. В нашем разговоре сразу замелькали милые нам старые имена царскосельских улиц. Мы почему-то вспомнили о царскосельских аптеках Каска и Дерингера и об источнике самых сладких (в буквальном смысле) воспоминаний — о находящейся в угловом доме на Леонтьевской улице кондитерской Голлербаха, из семьи которого, кстати сказать, вышел известный искусствовед Э. Ф. Голлербах. Я признался Анне Андреевне, что Царское Село мне часто снится — Новая улица, где я родился.

— И я часто вижу во сне Царское,— ответила Ахматова.— Но не дом, где я жила у свекрови, а Безымянный переулок у вокзала, с лопухами и крапивой,— там прошло мое детство.

Тогда же я услышал от нее:

— А я помню, когда в Царском сказали: «А у Максимовых родился сын». Это были вы.

Памятью о моей связи с Царским Селом объясняется и ее надпись на одном из поздних изданий «Четок»: «Дмитрию Евгеньевичу Максимову последнему Царскоселу стихи из его города смиренно Ахматова. 23 апр. 1961». Хотя звание, присвоенное мне Анной Андреевной («последний Царскосел»), бесспорно, было завышено и слово «смиренно» нужно отнести

за счет игры и лукавства, но все же эту надпись мне не хотелось бы признать насквозь ироничной,— стародавних, «ископаемых» царскоселов осталось на свете в самом деле очень мало.

Моей первой встрече с Анной Андреевной в Фонтанном Доме суждено было стать началом нашего многолетнего общения, длившегося — с большими перерывами — до самой ее кончины. Я посещал ее не только на Фонтанке, но и на улице Красной Конницы, куда она переехала, и в ее дачеобразной хибарке в Комарове (в «будке», как она ее называла), и в Доме творчества писателей в том же Комарове, и в больнице на Васильевском острове, где она лежала, и, конечно, в писательском доме на улице Ленина, в котором и я жил много лет, в сущности, под одной крышей с нею. Она, в свою очередь, легко и охотно откликалась на приглашения и несколько раз побывала в нашем жилище.

Нужно ли мне рассказывать об этих встречах с Ахматовой подробно, о ее суждениях, словах и словечках? Кажется, не нужно. Прежде всего, я не мог бы этого сделать, если бы даже хотел. Я записывал то, что говорила Анна Андреевна, сравнительно редко, от случая к случаю. Кроме того, как известно, существуют исключительно подробные, почти протокольные воспоминания о ней[1], с которыми мне состязаться нет возможности. Мне легче сейчас вспомнить об Ахматовой как о человеке и поэте в целом, чем приводить отдельные ее высказывания и реплики. Конечно, они очень важны, но так ли уж поможет нам понять Ахматову в главном присоединение ко многому уже известному ее новых высказываний? Умножение количеств — необходимо и полезно, и все же оно — далеко не единственный способ познания. Каждый человек и тем более такой большой, сложный и глубокий, как Анна Андреевна,— загадка, и разгадыванию ее, всегда относительному по результатам, иногда может помочь не столько количественное накопление высказываний этого человека, а какой-нибудь поступок его, какая-нибудь случайная, проникающая, уводящая вглубь интонация, деталь или наша объединяющая все впечатления интуиция.

Первые же встречи открыли мне Анну Андреевну именно такой, какой я ожидал ее увидеть,— совсем в другом облике, чем тогда, на эстраде в 20-х годах, в белом свитере. Теперь это была величавая женщина, уже не молодая, с лицом благородным и, как прежде, ни на кого не похожим. Возраст, полнота, некоторая грузность, болезненность не лишали ее грации и не стирали следов былой, очень своеобразной, хорошо знакомой по портретам и фотографиям красоты. Своими движениями, речью, глазами она управляла с неизменным самообладанием, уверенно и спокойно. Она держалась внимательно к собеседнику, была тактичной, в меру обходительной и в меру приветливой.

Фон, на котором выступает образ Ахматовой,— строжайший минимум бытового реквизита. Не просто безбытность, а великолепное, хотя и совсем не подчеркнутое, не «поданное», но осуществленное на деле презрение к быту. Скудный, пунктирный интерьер дома Анны Андреевны, если позволено употребить это слово, не имел ничего общего с палаццами писателей-нуворишей, владельцев двухэтажных дач, автомобилей и гарнитуров красного дерева. Бывая у Ахматовой везде, где она жила за последние 30 лет в Ленинграде, я всегда сталкивался с редчайшей, «студенческой» скромностью или даже, называя вещи своими именами, бедностью. Маленький, еле существующий письменный столик, кровать, шкаф (?), книжная полочка (?), «укладка» или чемодан для рукописей, кресло, стул или стулья — все это, с некоторыми вариантами, можно было встретить во всех жилищах Анны Андреевны. И с этим связывалось впечатление неухоженности, жизненного неустройства, наводящее на вопрос, не то реальный, не то риторический: обедала ли Анна Андреевна сегодня или ограничилась чаем и яичницей? Так думалось об Ахматовой даже в самые последние годы ее жизни, когда она стала получать приличные гонорары и, казалось, могла обновить свою обстановку и изменить образ своей жизни.

Но с такими мыслями и в этой обстановке мы, посетители Анны Андреевны, становились свидетелями поразительного явления, которое ошеломляло бы нас каждый раз, если бы мы не ожидали увидеть его и, видя, к нему не привыкли. В комнатной беспредметности и щемящей бесприютности перед нами возникала, встречая и провожая нас до передней, повелительница мощной державы — поэтической или иной — не в этом суть.

Да, где бы Ахматова ни находилась — дома, на прогулке, на эстраде, в гостях, ее сопровождал ореол значимости и значительности. Я видел ее оживленно разговаривающей, больной, даже плачущей, но всегда она оставалась человеком необычайно сильным («всех сильней на свете»). С болью, порожденной не только жизнью, но и самим устройством ее души, ее «изначальным замыслом», она мужественно несла посланный ей судьбой «дополнительный» тяжелейший груз бед, который для других был бы непосильным. Не будучи аристократкой по рождению, она была аристократически простой, естественной в обращении, слегка торжественной, но без чопорности и надменности. Это был аристократизм человеческого достоинства, ума и таланта.

Не забуду, когда, сидя у нас дома на диване, Анна Андреевна величественно слушала граммофонную запись своего голоса (первую или одну из первых). Голос читал размеренно, на очень ровной интонации, без резких звуковых сдвигов и модуляций. Голос был низкий, густой и торжественный, как

Анна Ахматова. 20-е годы

будто эти стихи произносил Данте, на которого Ахматова, как известно, была похожа своим профилем и с поэзией которого была связана глубокой внутренней связью. Мгновенные спуски в этом чтении (оттенок усталости) не нарушали общего впечатления от него. Ахматова сидела прямо, неподвижно, как изваяние, и слушала музыкальный гул своих стихов с выражением спокойным и царственно снисходительным.

— Ну как, Анна Андреевна, нравится вам это чтение?

— Ничего.

Эту монументальную, мистериальную и единственную в своем роде сцену — Ахматова наедине с эхом своего голоса — я прочно запомнил. Звуковой двойник поэзии Ахматовой, ее поздней сумрачной лирики, и ее пластичный человеческий образ соединились в этом таинственном, неповторимом, величественном диалоге ее с собой: звучащего голоса и поэта, который отвечает ему своим говорящим молчанием.

Вообще Анна Андреевна отнюдь не казалась молчальницей, хотя была склонна скорее к молчанию, чем к разговору. Я не слышал от нее длинных монологов или продолжительных рассказов. Она любила сжимать свои мысли в афоризмы, часто меткие, яркие и остроумные. Отзывалась на шутку и сама хотела и умела шутить. Но иногда среди беседы неожиданно замолкала.

— Да...— говорила она в каком-то слегка печальном, медленном раздумье.

И становилось тихо и грустно. А она казалась не большим поэтом, а просто старым, усталым человеком.

И думалось о том, как мало мы знаем, что занимает и мучит ее в такие минуты молчания и отъединения. О чем ее печаль? О неотвратимо иссякающей жизни, о близости смерти, о своей житейской бездольности, о сложностях своих и чужих, об одиночестве в кругу друзей, о бездомности в своем доме и в гостях? Или о сыне, о котором она не переставала волноваться и мучиться не только в то время, когда он был в беде, но и тогда, когда, живя в одном городе с нею, он был внутренне оторван от нее и разобщен с нею? Может быть, обо всем этом вместе.

3

Ахматова по праву считалась эрудитом, человеком на редкость начитанным, знатоком не только Пушкина (предмет ее специальных исследований), но и Шекспира, Достоевского, новой и новейшей литературы. В наших разговорах о зарубежных писателях чаще других она называла имена внимательно прочитанных и высокооцененных ею Марселя Пруста, Кафки и Джойса. Ее собеседники, даже хорошо осведомленные, могли узнать от нее много интересного и неожиданного. В этих раз-

говорах с Анной Андреевной особенно поражала ее блистательная, феноменально точная память, которая распространялась на явления культуры в такой же мере, как и на мелочи жизненных отношений. (Мне приходилось, например, слышать от нее приблизительно такие фразы: «А прошлым летом вы говорили мне то-то и то-то».)

Анна Андреевна была органически гуманна, человечна в самом высоком и ответственном смысле слова. Как можно думать, она никогда не соблазнялась распространенным в начале века слишком подвижным отношением к добру и злу и тем более лозунгами ницшеанского аморализма. Она тихо и целомудренно, без показных восторгов, фанфар и сентиментальностей любила свою родину, но была совершенно чужда дурному национализму и нетерпимости к другим нациям.

Много думавшая и глубоко переживавшая «личное» и «общее», то, что относилось к исторической и духовной жизни, она была человеком с позицией, с убеждениями, с принципами. Но все это, как часто бывает у людей артистического строя, не приобретало у нее характера системообразных построений. В этом отношении она была далека от символистов, которые редко обходились без концепций или систем — собственных или заимствованных у их предшественников. И однако это отнюдь не лишало мировоззрение Ахматовой направленности и постоянства.

Анна Андреевна была доброй, как об этом сама, просто, без всякой позы, писала в первой из «Северных элегий». Эта доброта питалась в ней волей ее широкого сердца, в котором Красота, в смысле моральной эстетики, и Добро (добро как благодать и добро как долг) сливались в одно.

К людям она относилась благожелательно и старалась выделить и подчеркнуть в них то, что признавала хорошим и ценным. Нередко от нее можно было услышать такие определения: замечательный ученый, знаменитый художник, неслыханный успех, дивные стихи (слово «дивный» она особенно любила). Подобные этим оценки были рассеяны и в ее лирике («мой знаменитый современник», «белокурое чудо» и др.). Это изначальное желание Ахматовой видеть в людях прежде всего хорошее, их «актив», если не ошибаюсь, первым в литературе отметил в статье о ней как о поэте ее близкий друг Николай Владимирович Недоброво («Русская мысль», 1915, № 7), в статье, которую она считала едва ли не лучшим из того, что было о ней написано. От Анны Андреевны уходили чаще всего с облегченным сердцем, не смущенными и растерянными, а ободренными. Даже слабых поэтов, которые в большом количестве несли или посылали ей слабые стихи, она предпочитала не огорчать резкими оценками, ограничиваясь нейтральными репликами или несколькими маловыразительными словами о частных уда-

чах. Если же поэт был действительно достоин похвалы, она рада была преувеличить его достоинства.

Так было с хорошими, но отнюдь не блистательными стихами Марии Сергеевны Петровых, которые Ахматова, на мой взгляд, сильно перехвалила. Мало того, это стремление — хорошее в людях и ценное в поэтах — называть прекрасным могло превращаться у нее в широкие обобщения. Так, например, хотя она и утверждала, вернувшись из Италии в 1964 году, что «поэзия в мире кончилась», но вскоре, не боясь противоречия, говорила мне о пышном расцвете нашей современной поэзии (она имела в виду нескольких ближайшим образом окружавших ее молодых ленинградских поэтов. Она считала даже, что нужно собирать черновики их стихов «для потомства»).

Ахматова бесспорно владела даром дружбы: когда она хотела встретиться с кем-нибудь, она этого не скрывала. У нее начисто отсутствовало то ложное самолюбие, которое нередко мешает делать первые шаги, чтобы повидаться со своими друзьями и приятелями. Почувствовав такое желание, она звонила сама, не ожидая инициативы со стороны ее знакомых. Она поддерживала долгие и прочные дружеские связи с близкими ей людьми. И она старалась, как могла, быть им полезной. В первый раз я пришел к ней на Фонтанку накануне или незадолго до того дня, когда она должна была отправиться в далекий и чреватый жизненными осложнениями путь в Воронеж к своему другу О. Мандельштаму. И она действительно ездила к нему. И сколько таких жестов дружбы и внимания к людям от нее исходило! Сама бессребреница, она была щедрой. В границах своих малых возможностей, совсем не будучи филантропкой, а только по своему душевному устройству, она оказывала помощь, моральную и даже материальную, своим близким, а иногда — почти посторонним! Когда в последние годы ее обстоятельства изменились к лучшему, с какой легкостью она раздаривала деньги из своих гонораров, книги и вещи! И за всем этим можно было увидеть не только душевную широту, но и сознание добровольно принятого на себя долга, как бы чувство круговой поруки, которое связывает людей и обязывает их помогать друг другу. И она хотела бы, чтобы это чувство разделяли с нею ее близкие и знакомые.

Вспоминаю один случай. В 60-х годах мы собирали «с миру по нитке» деньги в пользу тяжело больной и совершенно не обеспеченной вдовы Андрея Белого — Клавдии Николаевны Бугаевой. Ахматова пожертвовала больше других. Когда же, узнав, что один из наших хороших знакомых, человек вполне обеспеченный, отказался участвовать в сборе, она в порыве гнева воскликнула:

— Он для меня больше не существует!

Нужно добавить, что этика Ахматовой не имела ничего общего с прекраснодушием. О тех людях, которые не отвечали ее

моральным требованиям, она говорила с уничтожающей резкостью и совершенно бескомпромиссно. Из имен этих осуждаемых ею лиц можно было бы составить «проскрипционный список». Не все в этом списке представляется бесспорным. На его состав в каких-то случаях могли влиять трудно уловимые для посторонних мотивы, в том числе личные антипатии Анны Андреевны. В какой-то мере этот список уже известен. Так, говоря о поэтах прежних поколений, она высказывала свое отрицательное отношение к Брюсову, человеку и поэту, а Волошина называла «дутой величиной». Однако наибольший гнев она обрушивала на Кузмина: не отказывая ему в таланте, она считала его злым, завистливым и вообще аморальным (судить об этом отзыве не берусь). Но чаще всего и особенно темпераментно она негодовала на эмигрантских поэтов-мемуаристов, касавшихся в своих писаниях ее личной жизни,— на Г. Иванова, К. Маковского, И. Одоевцеву. В их воспоминаниях она находила измышления и искажения («вранье», как она говорила), а их самих как авторов едва ли не отождествляла с их книгами. Редактору журнала «Аполлон» К. Маковскому она предъявляла исключительно тяжелое обвинение, считая, что его неуважительное отношение к стихам Иннокентия Анненского (отказ напечатать их в одном из номеров журнала), крайне взволновавшее этого глубоко почитаемого ею поэта, послужило одной из причин его смерти.

4

Труднее всего сказать о самом главном в жизни Ахматовой — о том, как рождалась ее поэзия. Ее домашние рассказывали, что, сочиняя стихи, она ходила по своей комнате и, как они выражались, «гудела». Это значило, что она повторяла и проверяла вслух возникавшие в ней слова и строки (Маяковский называл эту изначальную стадию своего стихосозидания «мычанием» — «Как делать стихи?»). Она обращалась к бумаге чаще всего лишь тогда, когда в ней складывалось все стихотворение, и записывала его на одном из случайных листочков. Самую суть зарождения и протекания творческого процесса и его природу она лучше всего характеризует сама в большом лирическом цикле «Тайны ремесла» (1936—1959) и примыкающих к нему стихотворениях. Однако откровения этого цикла относятся не столько к ранней, сколько к поздней поэзии Ахматовой, которая от ее ранней лирики сильно отличается. Анализ цикла и выводы из него — очень серьезная задача, которую не решить в моих кратких заметках. Скажу лишь о том, что видится здесь с первого взгляда.

Ахматова в одном хорошо известном стихотворении этого цикла («Мне ни к чему одические рати...») признавалась, что стихи ее растут из самых малых деталей жизни, из ее «сора», возникают, как «лопухи и лебеда». Но соседние с этим стихо-

творения говорят, что творение поэзии осуществляется у нее и другими путями — не «снизу», а «сверху», не из «земли», а из чего-то иного. Это — пути высокого поэтического наития, той таинственно возникающей или «подслушанной» «музыки», о которой писал Блок и, на своем языке, но, по-видимому, о том же — Маяковский («Как делать стихи?»). В стихотворении «Творчество» (1936) Ахматова говорит о музыкальной первопричине поэзии, «все победившем» первозвуке, таящемся в душе и в мире, в «тайном круге» «неузнанных и пленных голосов», в «бездне шепотов и звонов». В стихотворении 1959 года («Последнее стихотворение») дается целая классификация наитий, порождающих творчество, и о каждом из них говорится как о неведомом, изначально непостижимом, граничащем с полным смысла безмолвием.

Весь этот ряд стихов об искусстве — самоподслушиваний и самопризнаний — ведется в «высоком стиле». Этот стилистический строй не характерен для ранней Ахматовой. Он устанавливается в поэтических мирах сборника «Белая стая» и далее, в ее поздней поэзии.

Читая раннюю Ахматову, мы вбираем в себя ее горькие и светлые, всегда острые стихи-афоризмы, представляющие предельно сжатые психологические сюжеты, новеллы о любви и о жизни:

Сколько просьб у любимой всегда!
У разлюбленной просьб не бывает.

Я знала, я снюсь тебе,
Оттого не могла заснуть...

Доля матери — светлая пытка,
Я достойна ее не была...

Заблудилась я в длинной весне...

Или — стихи, открытые во внешний мир... «Царскосельские», насыщенные тихим и задумчивым лиризмом:

С колоколенки соседней
Звуки важные текли...

И — «петербургские», в которых ситуация может превращаться в символическое признание-изречение о «вечной» связи с нашим городом:

Ведь под аркой на Галерной
Наши тени навсегда...

Поздняя Ахматова во многом — другая. Ее поэзия становится сумрачней, трагичней. Вместе с тем в ней намечаются два полюса или две ориентации. Отчетливое стремление к истори-

Анна Ахматова Из собрания Г. П. Струве. 20-е годы

ческому мышлению, к историческим сюжетам и гражданским темам, а рядом — поворот от прежней прозрачности, от прежнего единоборства с символистской поэтикой — к творческому сближению с нею в основных ее атрибутах (атмосфера тайны, намеков, недосказанности, призраки, образы двойников, зеркал и т. д.). При этом обе линии позднего поэтического творчества Ахматовой сливаются в магистральной для нее, синтетической «Поэме без героя». Но во всех сферах своей поэзии — и в своем историческом живописании, и в своих трагических стихотворениях, и в своих лирических медитациях — Ахматова остается поэтом высокого строя и гармонии, которая преодолевает дисгармонию ее поэтических тем. Эта победоносная красота и просветляющая лирическая сила и явились, по-видимому, одним из главных оснований нашего притяжения к стихам Ахматовой завершающего времени ее жизни.

Вот стихотворение «Летний сад»:

И лебедь, как прежде, плывет сквозь века,
Любуясь красой своего двойника...

Эту красоту не спугнешь коварными домыслами о «наивности» и «архаичности» — она не боится этих размышлений и торжествует над ними.

Или — глубочайший, безбрежный лирический разлив в стихах, посвященных «Городу Пушкина»:

...Щедро взыскана дивной судьбою,
Я в беспамятстве дней забывала теченье годов...

Или — гениальный «Приморский сонет» (1958, Комарово)... При первом чтении он может не войти в душу, не задеть нашего восприятия, как это со мною, к сожалению, и случилось. Зато, вживаясь в него, мы чувствуем, с какой выстраданной, победившей страдание легкостью и потрясающей простотой, с какой примиряющей и светлой скорбью поэт прощается здесь со своей жизнью:

Здесь все меня переживет,
Все, даже ветхие скворешни,
И этот воздух, воздух вешний,
Морской свершивший перелет.

И голос вечности зовет
С неодолимостью нездешней,
И над цветущею черешней
Сиянье легкий месяц льет.

И кажется такой нетрудной,
Белея в чаще изумрудной,
Дорога не скажу куда...

Там средь стволов еще светлее,
И все похоже на аллею
У царскосельского пруда.

«Приморский сонет», стихотворение ахматовское до последней точки, примыкает к тем совершенным созданиям русской лирики, Пушкина и зрелого Лермонтова, где предельная, ошеломляющая простота сочетается с изумительной точностью фиксаций внутренней жизни и бездонным лиризмом.

Но скорбная просветленность «Приморского сонета» соседствует в поздних стихах Ахматовой с поэзией острого и открытого трагического миропереживания. Упоминая о том, что запомнилось мне и полюбилось, я не буду касаться здесь этой поэтической стихии в творчестве Анны Андреевны. Об этой его стороне я писал кратко в своем очерке «Несколько слов о «Поэме без героя». Теперь же, чтобы не оставить без внимания эту черную и резкую линию в стихах Ахматовой, я хочу привести одно из давних ее стихотворений — «Отрывок», которое напоминает мне отчасти знаменитое четверостишие Микеланджело «...мне лучше камнем быть» и пр. Это стихотворение помечено автором 1916 годом (с авторским вопросительным знаком) и, по всей вероятности, отражает отношение Анны Андреевны к первой мировой войне. Здесь — жесткое поэтическое зрение, зрение с открытыми глазами:

. . . .
О Боже, за себя я все могу простить,
Но лучше б ястребом ягненка мне когтить
Или змеей уснувших жалить в поле,
Чем человеком быть и видеть поневоле,
Что люди делают, и сквозь тлетворный срам
Не сметь поднять глаза к высоким небесам.

(Отточие Ахматовой.— Д. М.)

«Отрывок» — ключ ко многому, созданному поэтом в последующие годы. Трагические мотивы и окружающая их атмосфера, родственные тем, которые мы находим в «Отрывке», исключительно важны для понимания глубинного душевного состояния и творчества Ахматовой последних десятилетий.

Однако было бы непростительной ошибкой рассматривать этот трагический строй поздней лирики Ахматовой как свидетельство об ее самоизоляции, об ее отрыве от людей и страны, в которой она жила. Было бы правильней обратное суждение. В поэзии Ахматовой почти отсутствует ведущая к трагическим выводам романтическая борьба одинокой личности с миром или мирозданием. В трагических темах ее лирики последних десятилетий ее беда и скорбь сливаются с народной бедой. Она находит эту беду и скорбь в себе и вокруг себя.

Сейчас же, в связи с этим вопросом в широком его понимании, я хочу напомнить лишь об одном редчайшем феномене ее творчества — о ее поэтических откликах на вторую мировую войну. Они хорошо известны и получили заслуженное признание. Но я, не боясь общих мест, хочу сказать, что в этих сти-

хах — один из высочайших духовно-поэтических взлетов поздней лирики Ахматовой за все время ее существования. Без таких стихотворений, как «Мужество», «Постучись кулачком — я открою...», «Победителям», и примыкающих к ним поэзия Ахматовой выглядела бы не совсем такой, какой мы ее знаем. Читая некоторые из этих стихотворений, забываешь о наших литературоведческих реалиях — о стиле, лексике, фонике, поэтическом синтаксисе. Таково стихотворение о мальчике, соседе Ахматовой по ленинградской квартире, погибшем в блокаду:

Постучись кулачком — я открою.
Я тебе открывала всегда.
Я теперь за высокой горою,
За пустыней, за ветром и зноем,
Но тебя не предам никогда...
Твоего я не слышала стона,
Хлеба ты у меня не просил.
Принеси же мне ветку клена
Или просто травинок зеленых,
Как ты прошлой весной приносил.
Принеси же мне горсточку чистой,
Нашей невской студеной воды,
И с головки твоей золотистой
Я кровавые смою следы.

1942, Ташкент

Толковать и характеризовать это стихотворение не хватает духу.

Что я могу прибавить к этим замечаниям о немногих явившихся в моей памяти стихах Ахматовой, которые мне помогают восстановить для себя образ ее поэзии и ее живой человеческий образ, неотделимый от этих стихов?

Тема об Ахматовой, пишущей и читающей своим собеседникам стихи и говорящей о них, складывается во мне из множества разрозненных атомов, и я вряд ли сумел бы собрать их воедино. Скажу только, что Анна Андреевна охотно читала свои новые стихотворения и в ответ на просьбы ее гостей, и часто по собственному желанию и инициативе, не ожидая, чтобы ее просили и упрашивали. Я слышал в ее чтении много стихотворений, но чаще всего и наиболее последовательно, одно время почти ритуально, она читала мне из «Поэмы без героя». Она знала, что я увлечен этой поэмой, и делилась со мною отдельными ее строфами по мере их возникновения.

Но если не считать моих отношений с этой поэмой, я был все-таки недостаточно осведомлен в ее поздних стихах и скорее склонялся к хорошо знакомой и усвоенной мною ее ранней лирике. Она же сама при мне почти не вспоминала о своих первых сборниках и входящих в них стихотворениях, и моя приверженность к ним, отвлекающая внимание от ее последней поэзии, видимо, не отвечала ее желанию. Она, как и большинство по-

этов, предпочитала свое «новое» своему «старому», отодвинутому временем.

Анна Андреевна принимала с видимым удовольствием выражение удивления и радости (а у экспансивных посетителей — восхищения), вызванных ее стихами. Она относилась к мнению слушателей очень внимательно и, как показал мой опыт, хорошо и надолго запомнила отдельные оценочные замечания. При этом в тех очень редких случаях, когда мои суждения имели критический оттенок, она, в отличие от многих других поэтов, не испытывала или не обнаруживала досады. Бывало и так, что мои сомнения как будто отвечали ее собственным раздумьям, и тогда на мои осторожные советы она кратко отвечала: «Подумаю» — или что-нибудь в этом роде. Но иногда сомнения мои решительно отводились. Когда, например, послушав в комаровской «будке» ее прекрасное стихотворение «Читатель», я позволил себе высказать сомнение по поводу введенного в его текст чужеродного английского термина («Лайм-лайта холодное пламя»), она решительно настаивала на его уместности и необходимости.

5

Мой краткий рассказ об Ахматовой не закончен. Ахматова — большой поэт и человек большого масштаба. Но мы отклонились бы от правды, не отметив в ее прекрасном внутреннем облике некоторых человеческих слабостей, присутствие которых не мешает нам видеть ее во весь рост, во всей ее значительности и благородстве. Образ Ахматовой как человека не нуждается в «возвышающем обмане» и потерял бы частицу своей убедительности, если бы мы не взглянули на него любящими, но трезвыми глазами.

Ахматова еще в молодости пережила искушение, став предметом общего внимания к себе, вскоре превратившегося в славу. Она сама признавалась, что была очень избалована. В первые десятилетия после революции вместе со сменой людей, вкусов и культур эта слава перестала быть громкой — надолго сосредоточилась в узком, ограниченном кругу прежних почитателей Ахматовой. И все же ее забыли не все и не совсем. Пришел и ее час. Я был свидетелем ее триумфа на вечере памяти Блока[2] в Большом драматическом театре (август 1946 г.), когда при ее появлении на сцене все присутствующие в зале, стоя, приветствовали ее полными жара и восторга, несмолкающими аплодисментами. Нечто подобное, говорят, произошло тогда и в Москве. Это была встреча с полузабытым и вновь обретенным поэтом.

Можно думать, что созерцание своей живой еще славы, сознание своей силы и своих возможностей и укрепили в Анне Андреевне ее гордыню. Я не хочу называть эту гордыню mania

grandiosa*, но представляю себе, что это было обоснованное и понятное и все же более, чем хотелось бы, подчеркнутое чувство своей значительности. Ум, такт Анны Андреевны, ее воспитанность приглушали и регулировали проявления этого сознания, но присутствие его в ее манере себя носить можно было заметить. Разговаривать с нею о литературе и о чем угодно всегда было интересно и приятно, но нередко как-то невольно, стихийно она направляла беседу от общего к частному, к темам, касающимся ее лично — ее поэзии или ее жизни,— и это было тоже интересно, но все же ограничивало горизонты общения, отнимало от него какую-то долю свободы и непринужденности.

Люди, стоявшие к Анне Андреевне ближе, чем я, рассказывали, что гордыня доводила ее иногда (вероятно, не часто) до капризов, проявлений несправедливости, почти жестокости. Я не был свидетелем таких эксцессов — Анна Андреевна даже несогласие со мною выражала очень мягко,— но и я вполне отчетливо ощущал полускрытое шевеление в ней этой гордыни. Самоутверждение принимало у нее подчас наивные формы. Както, предлагая мне прочитать письмо к ней какого-то поклонника из Франции, она обратила мое внимание на фразу, в которой она названа grand poët'ом. И, несмотря на то что таких писем приходило к ней немало, она, читая их, не скрывала удовольствия и показывала их своим посетителям.

Да, она ловила знаки признания и почета. Как хотела она, чтобы о ее поэзии писали статьи и исследования! И, однако, можно быть уверенным, что все это было не столько проявлением славолюбия в прямом смысле, которое питается из своих собственных корней, независимо от обстоятельств, но имело и другие источники — понятное желание занять в литературе подобающее ей положение.

Несколько иной характер носило ее слегка ревнивое, в чем-то похожее на соперничество отношение к тем наиболее выдающимся современным ей русским поэтам, с которыми обычно ее сопоставляли. Она отдавала им должное, вполне признавала их талант, их яркое своеобразие и значение, но вместе с тем в ее устных отзывах о них как о поэтах и людях иногда ощущалась какая-то привнесенная сдержанность и временами — перевес обычно справедливых, но порою слишком заостренных критических замечаний.

По моим наблюдениям, Ахматова больше всех из современных ей поэтов одного поколения с нею ценила Мандельштама, своего друга, во многом единомышленника, которого она признавала поэтом «одного направления» с нею (запись 17 мая 1941 г.). Она считала Мандельштама крупнее Пастернака (запись 23 июля 1959 г.). Критических замечаний о Мандельштаме я от нее никогда не слышал. Я убежден, что одной из

* Мания величия (*лат.*).—*Ред.*

причин, вызвавших такое отношение Ахматовой к Мандельштаму, помимо его духовной близости к ней и его реального масштаба, явилась и его трагическая судьба. Нужно сказать, что трагические перипетии в судьбах ее современников, вообще говоря, в высшей степени ее волновали и влияли на ее оценочные суждения. Помню, например, как, прогуливаясь в палисаднике нашего дома на улице Ленина, она сказала мне, что плакала над стихами Елены Михайловны Тагер,— и было ясно, что горестная участь Елены Михайловны[3], между прочим жившей в том же доме, сыграла в этом заметную роль.

Отношение ее к Блоку было сложным. В своих воспоминаниях Виктор Ефимович Ардов писал, что Ахматова «о Блоке говорит подчеркнуто уважительно, но не любит его»*. Я не думаю, что вторая половина этой фразы, слишком прямолинейная и упрощающая, справедлива, но поводы к ней в суждениях Анны Андреевны можно было найти. Высочайшим образом ценя Блока как поэта, она тем не менее предъявляла к нему самому и к его поэзии ряд претензий. Во всяком случае, какую-то долю напряженности, исходящей от Анны Андреевны в разговорах о Блоке, я ощущал. Это заставило меня, кстати сказать, поверить одной из самых близких приятельниц Ахматовой, которая призналась мне, что уловила в ней оттенок недовольства тем, что я занимаюсь не ее поэзией, а творчеством Блока.

О дружеском общении Ахматовой с Пастернаком и о том, что она в полной мере представляла себе размеры его дарования, хорошо известно. Отчасти — из скорбных стихов, посвященных ею памяти поэта. Но известны и ее критические оговорки по отношению к Пастернаку. Могу подтвердить, например, уже отмеченный мемуаристами ее отрицательный отзыв о его романе и о поэме «Спекторский». По ее мнению, Пастернаку роковым образом не удавалось создавать образы персонажей, существующих вне его собственного сознания: он неизбежно превращал их в проекции своей личности. При этом Ахматовой представлялось, что и в жизни Пастернак был заворожен своим *я* и его сферой. Она считала, что Пастернак мало интересуется «чужим», в частности ее поздней поэзией. (Она говорила об этом с некоторым раздражением и до, и после смерти поэта.) Это было ее твердое и устойчивое мнение, в котором, с моей точки зрения, объективное, может быть, и преобладало над субъективным. Но однажды мне показалось, что такое соотношение критериев в словах Анны Андреевны о Пастернаке, вернее, в их тоне приобрело обратный порядок. Как-то, вернувшись из Москвы вскоре после присуждения Пастернаку Нобелевской премии и бурных событий в его жизни, Ахматова в своей обычной афористической форме резюмировала в разговоре со мною свои впечатления от встречи с поэтом: «Знаменит, богат, красив». Все это соответствовало истине. Но истина в таком определении выглядела неполной, какой-то

* Ардов В. Этюды и портреты. М., 1983, с. 60.

недобро сдвинутой. Чего-то очень важного для определения жизни Пастернака тех лет — жизни сложной и не такой уж благополучной — в этой формуле и в интонации, с которой она была произнесена, не хватало. Анна Андреевна могла бы найти тогда и другие слова о Пастернаке — она знала о нем все, что для этого требовалось. Но эти слова не прозвучали — их заслонила какая-то тень, которую порою можно было уловить в несомненном дружественном расположении Анны Андреевны к Пастернаку.

Но особенно заметно привкус чего-то подобного «литературной ревности» ощущался в отношении Ахматовой к Цветаевой. Ценя Цветаеву как поэта, Анна Андреевна не считала и не могла считать ее близкой себе по духу, по эстетике, по фактуре стиха. Духовно-эстетическая чужеродность этих двух замечательных поэтов едва ли не превращалась в противостояние. Как мне кажется, исконная причина этого, помимо глубинно-человеческих оснований, состоит отчасти в принадлежности их к различным «школам», сферам или даже поэтическим мирам, которые издавна давали о себе знать в широком потоке развития русской литературы,— «петербургскому» и «московскому».

Вирусы того, что я условно называю «ревностью», ощущались скорее в интонации упоминаний Анны Андреевны о Цветаевой, чем в сути ее слов. Они присутствовали также и в повышенном интересе к оценкам поэзии Цветаевой, которые исходили от собеседников Ахматовой. Это было в большей мере веянье ревности, чем сама ревность. Вспоминаю отдельные реплики Анны Андреевны, относящиеся к этому «пункту», в общем вполне понятному.

Когда я попросил ее прочитать мне мандельштамовский отзыв об ее поэзии, о котором она только что упомянула, она как будто возразила на это:

— Но ведь вы больше любите Марину?! — (Смысл: зачем же читать о ней, об Ахматовой?)

Это было сказано с лукавством и с другими соседними более или менее различимыми чувствами (запись 15 февраля 1959 г.).

Запомнились и некоторые подробности из рассказа Анны Андреевны о двух единственных ее встречах с Цветаевой в предвоенной Москве. О содержании разговора, который вели между собой впервые увидевшие друг друга поэты, известно мало. Мы знаем в основном, что этот разговор скорее развел их, чем сблизил. Не повторяя известного, прибавлю лишь несколько новых деталей, запомнившихся мне из рассказа Анны Андреевны.

— Марина,— говорила Ахматова,— была уже седая. От прежней привлекательности (хороший цвет лица) в ней уже ничего не осталось. Она была démodé («старомодная» — это французское прилагательное, несомненно, было произнесено.— *Д. М.*). Она напоминала московских символистских дам девятисотых годов. (Запись 15 августа 1959 г.)

Поскольку эта характеристика не только относилась к впечатлениям от внешности Цветаевой, но затрагивала и саму Марину Ивановну, мне показалась она несколько пристрастной. Может быть, подумал я (простите за мой не совсем хороший домысел!), на этот отзыв повлияло и то, что Цветаева не скрыла от Анны Андреевны, что не одобряет «Поэмы без героя» и ее стихов последних десятилетий (очень многих и важных из них она, очевидно, не знала). Так или иначе, мне думается, что в ахматовскую оценку Цветаевой примешивалось здесь и в других ее замечаниях на эту тему, хоть и в малых дозах, то, что называли когда-то «человеческим, слишком человеческим».

6

Я говорю сейчас об этих легких облачных образованиях, набегающих в нашей памяти на прекрасный и величавый образ Ахматовой, чтобы быть до конца правдивым, чтобы не опуститься до излишнего во всех случаях, даже при полном бескорыстии побуждающих мотивов, лакировочного стиля. Думая об этих, в сущности, незначительных штрихах (своего рода «оживках» — не в иконописном смысле) в портрете Анны Андреевны, я вспоминаю одно из писем Льва Толстого к Фету. Толстой, чтобы пояснить свои впечатления от чтения Гомера в подлиннике, сравнивает гомеровскую поэзию (излагаю вольно) с прозрачной, ключевой, пронизанной солнцем водой, в которой плавают попавшие в нее каким-то путем соринки. И присутствие соринок, как бы посланных в прозрачную струю самой жизнью, придает этой свежей, сверкающей воде особенное очарование, пленяющую нас достоверность. Не вносит ли, подумал я, присутствие подобных «соринок», или, скорее, их тени, в живой образ Ахматовой такую же достоверность, не освобождает ли его от выдуманного почитателями холодного олимпийского ореола? Вероятно, так и есть.

Останавливать внимание на этих чертах в нашем переживании памяти Ахматовой я считал бы грехом, нарушением реальных пропорций света и тени. В итоге наших воспоминаний и мыслей эти легкие тени уходят за кулисы, как нечто полусуществующее, приставшее к большой истине. Прибавлю еще, что придавать им превосходящее их самих значение не следует и потому, что в суждениях Ахматовой, о которых идет речь, субъективный взгляд не отрывался от объективного отражения сути вещей и границы, отделяющие субъективное от объективного, определить здесь очень трудно. Ясно одно: целостный образ Ахматовой остается благородным и прекрасным и в поэзии, и в жизни.

При этом необходимо сказать, что очищение, к которому обращено с надеждой все живущее в мире, осуществляется в

этом образе Ахматовой, в нашем представлении о ней не только силами времени, обнажающего во всем преходящем меру заключенных в нем света и тени, но и ее собственной силой, прежде всего — силой ее поэзии. Несомненно, в поэзии она была справедливей, просветленней и окончательнее, чем в своих устных высказываниях. Именно в поэзии она умела подняться над второстепенным и сказать о главном. В поэзии она уходила из зоны «слишком человеческого» в тех случаях, когда оказывалась в ней, и оставалась перед лицом просто человеческого, Человеческого с большой буквы. Поэтому в своих «поминальных» стихах, относящихся к Маяковскому, которого она воспринимала, конечно, более чем сложно, а также к Пастернаку и к Цветаевой, она сказала о них, отбросив все психологические и прочие обертоны, так, как они того заслуживали — голосом высокого утверждения и признания.

Я имею в виду стихотворения: «Маяковский в 1913 году», о Пастернаке — «Памяти поэта» (о нем же в 1936 г.— «Поэт»), «Невидимка, двойник, пересмешник...» (о Цветаевой), «Комаровские наброски», «Какая есть. Желаю вам другую...» (в двух последних — упоминания о Цветаевой). В этих стихотворениях говорится о «грозном» и «буйном» поэтическом строительстве Маяковского, о «вечном детстве», щедрости и зоркости поэзии Пастернака. Резюмирующей формулой этой главенствующей, внутренне санкционированной позиции Анны Андреевны можно признать первоначальный вариант заглавия стихотворения «Комаровские наброски», стоящие в автографе,— «Нас четверо». Выбирая такое заглавие, Ахматова имела в виду четырех больших поэтов: Мандельштама, Пастернака, Цветаеву, себя. Ставя этих поэтов под одно заглавие, она тем самым утверждала их высокое родство и достоинство.

В поэтическом творчестве Ахматовой можно найти и еще одну важную и характерную черту, связанную с тем, о чем только что говорилось. В ее стихах «О себе» присутствует скрытая мысль о самоочищении, критическая самооценка, как бы вложенная в чужое наблюдающее сознание. Эту самооценку можно найти (и ее отчасти уже находили) в ранних стихах Ахматовой и в ее позднем творчестве, например в «Поэме без героя». Но я хочу напомнить и еще одно очень показательное свидетельство, указывающее на эту черту в поэтическом (и жизненном) самопонимании Ахматовой,— на «Песенку слепого» из ее несостоявшейся пьесы «Пролог» (40-е годы):

Не бери сама себя за руку...
Не веди сама себя за реку...
На себя пальцем не показывай...
Про себя сказку не рассказывай...
    Идешь, идешь — и споткнешься.

Не звучит ли в содержании этой с виду незатейливой «песенки», спетой каким-то мудрым слепцом (может быть, странником, «простым человеком», таким же, как тверские «загорелые бабы» в давнем стихотворении Ахматовой), не звучит ли в ней предостережение об опасности, заключающейся в той индивидуалистической стихии («сказки» о своем *я*), которую автор в себе и в своем творчестве, несомненно, ощущал? Иначе говоря, не признает ли автор «песенки» правоты слепца, в наставлениях которого кроется также и упрек? Ответ на этот вопрос представляется мне ясным. И здесь, в «Песенке слепого», и в стихотворениях «Ты знаешь, я томлюсь в неволе...», «Не оттого ль, уйдя от легкости проклятой...», и в «Поэме без героя» мы не можем не различить признаков процесса самопроверки и оценки своей прожитой жизни, который совершается в каждом настоящем, ответственном перед своей совестью человеке и поэте. Образ Ахматовой, человека-поэта, лишенный этого просветляющего душевного движения, был бы неполон.

Мое общение с Ахматовой было, несмотря на его длительность, растянутость в годах, все же ограниченным, и я не могу, при всем желании, опираясь на наши беседы с нею, подробно охарактеризовать ее мнения, вкусы, ее литературные взгляды, приведя их, насколько это можно, в систему. Отказываясь от такой обобщающей характеристики, я нахожу более правильным заменить ее воспоминаниями и некоторыми мыслями, касающимися двух избранных мною тем. В наших беседах с Ахматовой эти темы всплывали чаще других, и я записывал ее суждения, относящиеся к ним, не так редко, как в других случаях. Одна из них — «Ахматова о Блоке», другая — «Поэма без героя».

Этим темам мною посвящены особые очерки*.

---

*См.: Максимов Д. Ахматова о Блоке. Сб. «Художественно-документальная литература». Иваново, 1984, с. 94—111; его же. Несколько слов о «Поэме без героя». Блоковский сборник VI. Тарту, 1985, с. 137—158.

Лидия Гинзбург

АХМАТОВА

(Несколько страниц воспоминаний)

Бóльшая часть появляющихся сейчас воспоминаний об Анне Андреевне Ахматовой относится к позднему периоду ее жизни. Немногие уже могли бы сейчас рассказать об Ахматовой поры «Четок», «Белой стаи». Мои первые воспоминания об Анне Андреевне восходят к периоду сравнительно раннему. Зимой 1926—27 года я познакомилась с ней в доме Гуковских. Ахматова посещала их часто — Наталья Викторовна Рыкова, жена Григория Александровича Гуковского[1], в 20-х годах была одним из близких ее друзей.

В 1926 году, под редакцией Эйхенбаума и Тынянова, вышла «Русская проза» — сборник статей их учеников. Там была напечатана моя первая статья — «Вяземский-литератор». Оттиск этой статьи я, волнуясь, вручила Наталье Викторовне для передачи Ахматовой. Вскоре мы встретились у Гуковских. Наталья Викторовна представила меня: «Вот та, статью которой...»

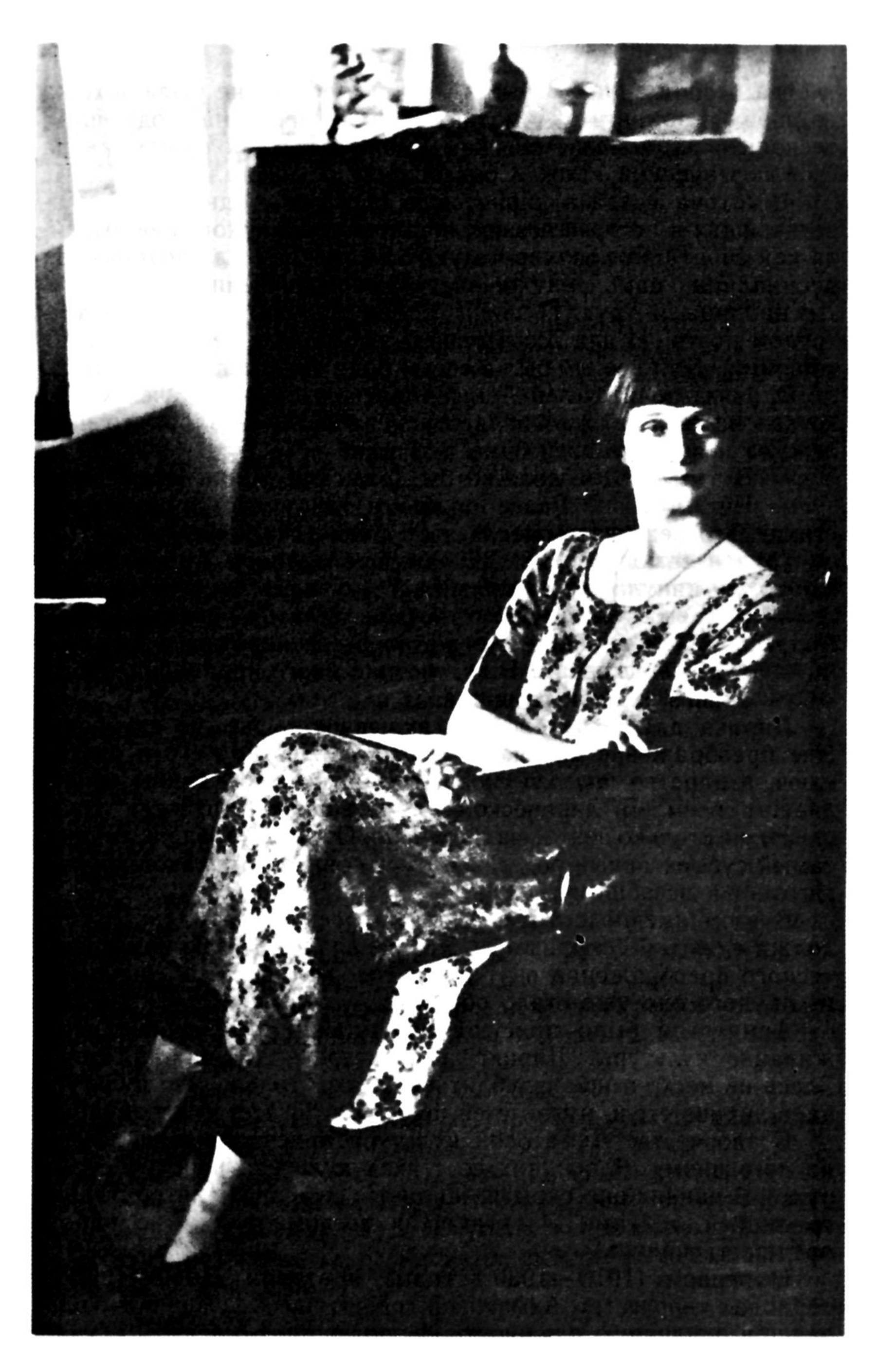
— Очень хорошая статья,— сказала Анна Андреевна.

Это была первая фраза — я очень ею гордилась,— услышанная мною от Анны Андреевны. С тех пор мы встречались в течение сорока лет, до самого конца. Часто — в 30-х годах и после войны, во второй половине 40-х; реже — в 50-х и 60-х, когда Анна Андреевна подолгу гостила в Москве. Вот почему в моей памяти особенно отчетлив облик Ахматовой 30—40-х годов и даже конца 20-х, когда ей было лет 37—38.

Я помню Ахматову еще молодую, худую, как на портрете Альтмана, удивительно красивую, блистательно остроумную, величественную.

Движения, интонации Ахматовой были упорядоченны, целенаправленны. Она в высшей степени обладала системой жестов, вообще говоря, несвойственной людям нашего неритуального времени. У других это казалось бы аффектированным, театральным; у Ахматовой в сочетании со всем ее обликом это было гармонично.

Меня всегда занимал вопрос о сходстве или несходстве поэта со своими стихами. Образцом *сходства,* конечно, был Маяковский — с его речевой манерой, голосом, ростом. Иначе у Ахматовой. В ее стихах 10—20-х годов не отразились ее историко-литературные интересы или ее остроумие, блестящее,



Анна Ахматова. Середина 20-х годов

иногда беспощадное. В быту Анна Андреевна не была похожа на своих героинь. Но Ахматова, с ее трезвым, наблюдающим, несколько рационалистическим умом, была как-то похожа на свой поэтический метод. Соотношение осуществлялось.

Ахматова создала лирическую систему — одну из замечательнейших в истории поэзии, но лирику она никогда не мыслила как спонтанное излияние души. Ей нужна была поэтическая дисциплина, самопринуждение, самоограничение творящего. Дисциплина и труд. Пушкин любил называть дело поэта — трудом поэта. И для Ахматовой — это одна из ее пушкинских традиций. Для нее это был в своем роде даже физический труд.

Один из почитателей Анны Андреевны как-то зашел к ней, когда она болела, жаловалась на слабость, сказала, что пролежала несколько дней одна в тишине.

— В эти дни вы, должно быть, писали, Анна Андреевна...

— Нет, что вы! Разве можно в таком состоянии писать стихи? Это ведь напряжение всех физических сил.

Труд и самопроверка. В разговоре с Анной Андреевной я как-то упомянула о тех, кто пишет «нутром».

— Нутром долго ничего нельзя делать,— сказала Анна Андреевна,— это можно иногда, на очень короткое время.

— А как Пастернак? В нем все же много иррационального.

— У него это как-то иначе...

Лирика для Ахматовой не душевное сырье, но глубочайшее преображение внутреннего опыта. Перевод его в другой ключ, в царство *другого слова,* где нет стыда и тайны принадлежат всем. В лирическом стихотворении читатель хочет узнать не столько поэта, сколько себя. Отсюда парадокс лирики: самый субъективный род литературы, она, как никакой другой, тяготеет к всеобщему.

В этом именно смысле Анна Андреевна говорила: «Стихи должны быть бесстыдными». Это означало: по законам поэтического преображения поэт смеет говорить о самом личном — из личного оно уже стало общим.

Ахматовой было присуще необычайно интенсивное переживание культуры. Лирика и культура — это важная тема. Здесь не место в нее углубляться; скажу только, что культура дает лирике столь нужные ей широту и богатство ассоциаций.

В творчестве Ахматовой культура присутствовала всегда, но по-разному. В поздних ее стихах культура проступает наружу. В ранних она скрыта, но дает о себе знать литературной традицией, тонкими, спрятанными воспоминаниями о работе предшественников.

О первом (1910—1930-е годы) и втором (1940—1960-е) периодах творчества Ахматовой говорю здесь условно, не вдаваясь в подлинную сложность ее эволюции. Во всяком случае, решающие изменения в поэтическом методе Ахматовой очевидны. Для первого периода характерна предметность, слово,

не перестроенное метафорой, но резко преображенное контекстом. Вещь в стихе остается вещью, конкретностью, но получает обобщенный, расширенный смысл. В поэзии Ахматовой это — своеобразное преломление великих открытий позднего Пушкина.

Но ни на что не променяем пышный
Гранитный город славы и беды,
Широких рек сияющие льды,
Бессолнечные, мрачные сады
И голос музы еле слышный.

Об этом стихотворении хорошо говорил когда-то Григорий Александрович Гуковский:

— В стихах о Петербурге всегда упоминалась *река* — Нева. А вот Ахматова увидела в Петербурге *реки,* дельту. И написала: «Широких рек сияющие льды...»

Это стихотворение 1915 года. В поздних стихах Ахматовой господствуют переносные значения, слово в них становится подчеркнуто символическим. Для некоторых старых читателей Ахматовой (для меня в том числе), чей вкус воспитывался на ее первых книгах, книги эти остались особенно близкими. В них им впервые раскрылось неповторимое ахматовское видение мира с его всеобъемлющей точностью — предметной, психологической, даже точностью отвлеченных понятий.

Бывает глаз по-разному остер,
По-разному бывает образ точен.. —

писал об этом Пастернак в стихотворении «Анне Ахматовой» (1928).

Все это отнюдь не попытка сравнительной исторической оценки периодов творчества Ахматовой. Речь идет только о том субъективном восприятии поэта, на которое каждый читатель имеет право.

Анна Андреевна угадывала предпочтения своих читателей, даже если они молчали, и давала им это понять, вспоминая слова Маяковского:

— А помните, что сказал Маяковский: говорите о моих стихах все что хотите, только не говорите, что предпоследнее лучше последнего.

Символическому слову поздних стихов Ахматовой соответствует новая функция культуры. Историческими или литературными ассоциациями культура вступает теперь в текст. Особенно в «Поэме без героя» с ее масками, реминисценциями, ветвящимися эпиграфами.

Функции культуры менялись в поэзии Ахматовой, но ее погруженность в культуру оставалась неизменной. И она обладала особым даром *чтения.* В детстве, в ранней юности мы читаем бескорыстно. Мы перечитываем, перебираем прочитан-

Анна Ахматова. Сиверская. 1924 г.

ное и твердим его про себя. Постепенно это юношеское чтение вытесняется профессиональным, вообще целеустремленным чтением, ориентированным на разные соображения и интересы. Анна Андреевна навсегда сохранила способность читать бескорыстно. Поэтому она знала свои любимые книги как никто.

Готовя комментарий к различным изданиям, приходилось нередко сталкиваться с нераскрытой цитатой из Данте, Шекспира, Байрона. По телефону звоню специалистам. Специалисты цитату не находят. Это вовсе не упрек — по опыту знаю, как трудно в обширном наследии писателя найти именно ту строку, которая вдруг кому-то понадобилась.

Остается позвонить Анне Андреевне. Анна Андреевна любила такие вопросы (их задавала ей не я одна) — она называла это своим справочным бюро. Иногда она определяла цитату сразу, не вешая телефонную трубку. Иногда говорила, что для ответа требуется некоторый срок. Не помню случая, чтобы цитата осталась нераскрытой.

Данте, Шекспир, Пушкин — это был постоянный фон ее чтения. Но охватывало оно очень многое, в том числе злободневное. В середине 30-х годов Анна Андреевна показала мне как-то небольшую книжку со словами:

— Прочитайте непременно. Очень интересно.

Это было «Прощай, оружие!» еще неизвестного нам Хемингуэя. Роман тогда у нас только что перевели.

В культурном мире Ахматовой существовало явление ни с чем не сравнимое — Пушкин. У русских писателей вообще особое восприятие Пушкина. Других классиков можно любить или не любить — это вопрос литературной позиции. Иначе с Пушкиным. Все понимали, что это стержень, который держит прошлое и будущее русской литературы. Без стержня распадается связь.

У Анны Андреевны было до странного личное отношение к Пушкину и к людям, которые его окружали. Она их судила, оценивала, любила, ненавидела, как если бы они были участниками событий, которые все еще продолжают совершаться. Она испытывала своего рода ревность к Наталии Николаевне, вообще к пушкинским женщинам. Отсюда суждения о них, иногда пристрастные, незаслуженно жесткие,— за это Ахматову сейчас упрекают.

Анне Андреевне свойственно было личное, пристрастное отношение даже к литературным персонажам. Однажды я застала ее за чтением Шекспира.

— Знаете,— сказала Анна Андреевна,— Дездемона очаровательна. Офелия же истеричка с бумажными цветами и похожа на N. N.

Анна Андреевна назвала имя женщины, о которой она говорила:

— Если вы, разговаривая с ней, подыметесь на воздух и перелетите через комнату, она нисколько не удивится. Она скажет: «Как вы хорошо летаете». Это оттого, что она как во сне; во сне все возможно — невозможно только удивление.

Здесь характерна интимность, домашность культурных ассоциаций. В разговорах Анны Андреевны они свободно переплетались с реалиями быта, с оценкой окружающих, с конкретностью жизненных наблюдений.

Вспоминая Ахматову, непременно встречаешься с темой культуры, традиции, наследия. В тех же категориях воспринимается ее творчество. О воздействии русской классики на поэзию Ахматовой много уже говорили и писали. В этом ряду — Пушкин и поэты пушкинского времени, русский психологический роман, Некрасов. Еще предстоит исследовать значение для Ахматовой любовной лирики Некрасова. Ей близка эта лирика — нервная, с ее городскими конфликтами, с разговорной интеллигентской речью.

Но все эти соотношения совсем не прямолинейны. «Классичность» некоторых поэтов XX века, вплоть до поэтов наших дней, критика понимает порой как повторение, слепок. Но русская поэзия, сложившаяся после символистов, в борьбе с символистами, не могла все же забыть то, что они открыли,— напряженную ассоциативность поэтического слова, его новую

многозначность, многослойность. Ахматова — поэт XX века. У классиков она училась, и в стихах ее можно встретить те же слова, но отношение между словами — другое.

Поэзия Ахматовой — сочетание предметности слова с резко преобразующим поэтическим контекстом, с динамикой неназванного и напряженностью смысловых столкновений. Это большая поэзия, современная и переработавшая опыт двух веков русского стиха.

В личном общении мы с чрезвычайной ясностью ощущали эту стихию наследственной культуры — и девятнадцатого, и двадцатого века. И притом никакой архаики, никакого разговора на разных языках. Анна Андреевна всегда умела говорить на языках тех культурных поколений, с которыми время сводило ее на протяжении ее долгой жизни.

1977

Далее следуют отдельные записи об Ахматовой 1920—1930-х годов и несколько записей, сделанных в 1950-х.

1927

...Ахматова явно берет на себя ответственность за эпоху, за память умерших и славу живущих. Кто не склонен благоговеть, тому естественно раздражаться,— это дело исторического вкуса. Ахматова сидит в очень спокойной позе и смотрит на нас прищурившись,— это потому, что наша культура ей не столько непонятна, сколько не нужна. Не стоит спорить о том, нужна ли она нашей культуре, поскольку она является какой-то составной ее частью. Она для нас исторический факт, который нельзя аннулировать,— мы же, гуманитарная молодежь 20-х годов, для нее не суть исторический факт, потому что наша история началась тогда, когда ее литературная история, может быть, кончилась. В этом сила людей, сумевших сохранить при себе ореол и характер эпохи.

Анна Андреевна удачно сочетает сходство и отличие от своих стихов. Ее можно узнать и вместе с тем можно одобрительно заметить: «Подумайте, она совсем не похожа на свои стихи». Впрочем, быть может, она как раз похожа на свои стихи — только не на ходячее о них представление. Ахматова — поэт сухой. Ничего нутряного, ничего непросеянного. Это у нее общеакмеистское. Особая профильтрованность сближает непохожих Ахматову, Гумилева, Мандельштама.

Гуковский говорил как-то, что стихи об Иакове и Рахили (третий «Стрелец») он считает, в биографическом плане, предельно эмоциональными для Ахматовой. Эти фабульные, биб-

лейские стихи гораздо интимнее сероглазого короля и проч. Они относятся к Артуру Лурье.

Я на солнечном восходе
Про любовь пою,
На коленях в огороде
Лебеду полю.

А. Ахматова. «Вечер» 1912

В голодные годы Ахматова живала у Рыковых в Детском Селе. У них там был огород. В число обязанностей Натальи Викторовны входило заниматься его расчисткой — полоть лебеду.

Анна Андреевна как-то вызвалась помогать: «Только вы, Наташенька, покажите мне, какая она, эта лебеда».

1928

Шкловский рассказал мне, что Ахматова говорила об одном литературоведе: «Он приходил ко мне и объяснял, какая разница между моими стихами и стихами Блока. Блока нельзя рассказать, а вот ваши стихи я могу передать своими словами так, что выйдет почти не хуже».

Анна Андреевна ездила в Москву, где, между прочим, ей предложили принять участие в руководстве работой ленинградского отделения ВОКСа. Шилейко сказал: «Ну тогда в Москве будет ВОКС populi, а в Ленинграде — ВОКС Dei»*.

1929

Секрет житейского образа Ахматовой и секрет ошеломляющего впечатления, которое этот образ производит, состоит в том, что Ахматова обладает системой жестов. То есть ее жесты, позы, мимические движения не случайны и, как все конструктивное, доходят до сознания зрителя. Современный же зритель-собеседник не привык к упорядоченной жестикуляции и склонен воспринимать ее в качестве эстетического эффекта. Наше время способно производить интересные индивидуально-речевые системы, но оно нивелирует жесты.

Жесты Анны Андреевны, помимо упорядоченности, отличаются немотивированностью. Движения рук, плеч, рта, поворот головы — необыкновенно системны и выразительны, но то

---

* ВОКС — Всесоюзное общество культурной связи с заграницей. Vox populi — vox Dei: Глас народа — глас Божий *(лат.)*.— *Ред.*

именно, что они выражают, остается неузнанным, потому что нет жизненной системы, в которую они были бы включены. Перед нами откровенное великолепие, не объясненное никакими социально-бытовыми категориями.

Анна Андреевна заговорила со мной о Б., нашей студентке, которая приходила к ней читать плохие стихи, ссылаясь, между прочим, на то, что она моя и Гуковского ученица.

Я: Б. говорила мне, что пишет стихи. Но она предупредила меня, что это, собственно, не стихи, а откровения женской души, и я, убоявшись, не настаивала.

А. А. *(ледяным голосом):* Да, знаете, когда в стихах дело доходит до души, то хуже этого ничего не бывает.

Ахматова утверждает, что главная цель, которую поставил себе Борис Михайлович Эйхенбаум в книге о ней,— это показать, какая она старая и какой он молодой... «Последнее он доказывает тем, что цитирует Мариенгофа». (Рассказано Гуковским.)

А. А. сказала, благосклонно улыбаясь: «В двадцатых годах Осип был очень радикально настроен. Он тогда написал про меня: «столпничество на паркете»[2].

Харджиев сказал Анне Андреевне, что у меня есть альбом. Она изъявила желание его посмотреть. Я сказала: «Разве великих актеров приглашают на любительские спектакли?»

— О,— ответила А. А., не дрогнув,— Кшесинская бывала на университетских балах и танцевала со студентами.

А. А. говорит: «Вы заметили, что никто не слыхал о юбилее Блока, хотя он насчитывает и 20 и 25 лет работы,— но Бальмонт всегда был весь в юбилеях.

Анна Андреевна говорит: «Я иногда с ужасом смотрю напечатанные черновики поэтов. Напрасно думают, что это для всех годится. Черновики полностью выдерживает один Пушкин».

Анна Андреевна жаловалась Шкловскому, что сидит по целым дням одна: «Люди, которые меня не уважают, ко мне не ходят, потому что им неинтересно; а люди, которые меня уважают, не ходят из уважения, боятся обеспокоить».

Молодой преподаватель одного из колледжей Оксфорда рассказал Анне Андреевне, что среди молодых английских интеллектуалов принято ездить в Вену к Фрейду лечиться от комплексов. «Ну и как, помогает?» — спросила Анна Андреевна. «О да! Но они возвращаются такие скучные, с ними совсем не о чем разговаривать».

Ахматова сказала Мандельштаму: «Никто не жалуется — только вы и Овидий жалуетесь». (Рассказала А. А.)

Мы с Анной Андреевной говорили о Случевском.

Я: Случевский — это уже декадентство. Сплошь поэтические формулы: розы, облака и пр., но совершенно все разболталось, все скрепы,— система гниющих лирических штампов... на этом фоне возможно все, что угодно.

А. А.: На этом фоне оказывается, что у мертвеца сгнили штаны — и он сам заявляет об этом.

А. А.: По сравнению с Пушкиным, Вяземским символисты кажутся узкими. Те на все смотрели как на свое личное дело — на политику, на светскую жизнь, вообще на жизнь. В их письмах жизнь кажется интересной, а в дневниках Блока и Брюсова она совершенно ненужная.

Я: Но и тогда это быстро прекратилось. Уже в тридцатых годах появились люди, которым ни до чего не было дела.

А. А. *(быстро)*: Это и есть романтизм.

А. А. заключила в ЗИФе договор на перевод переписки Рубенса. Начальник неизвестно почему, вероятно из любопытства, вызвал ее к себе в кабинет. При ее появлении встал и не предложил сесть.

— Мы, кажется, когда-то встречались с вами в Ленинграде.

А. А. посмотрела на него внимательно: «Не думаю. У меня прекрасная зрительная память, а я вас никак не могу припомнить».

Я давала А. А. столь любимую мною кузминскую «Форель» (интересно, что ей пришлось прибегнуть ко мне). Возвращая книгу, она поморщилась:

— Здесь очень много накручено. Кроме того... очень буржуазная книга.

— Какая неожиданная с вашей стороны оценка.

— Совсем нет. Я сказала бы то же самое 15 лет назад.

1932

Анна Андреевна в высшей степени остроумна и безошибочно реагирует на смешное. И это совсем не понадобилось ей в стихах.

По Москве распущены слухи, что скоро выходит собрание сочинений Ахматовой со всеми портретами.

Анна Андреевна: «Подумайте, со всеми портретами... Последний, вероятно,— в гробу».

А. А. очень больна. Три дня лежала под морфием.

— Не понимаю морфинистов. Перед вами опускается вроде темной занавески. И по ней проходят разные вещи — совершенно вам ненужные. Например, большая зеленая муха. Ну к чему это?

Анна Андреевна массами получала письма от незнакомых людей. Еще в Мраморном дворце она как-то получила письмо, в котором человек выражал настоятельное желание с ней встретиться. Письмо заканчивалось: «Если неудобно дома — выйдите на мост» (имелся в виду Троицкий мост).

— Очевидно, он думал, что на мосту удобно,— спокойно говорит Анна Андреевна.

Когда Пастернак уезжал, А. А. было совсем плохо. Она не могла его принять. Пастернак вызвал Пунина на вокзал и заставил его взять 500 р.— на всякий случай. Это, кажется, все, что он получил здесь за два выступления.

А. А. встречается иногда с девяностолетней шведкой, которая была любимой женщиной Дм. Лизогуба и оплакивает его до сих пор. Старуха слыхала о том, что А. А. интересуется Пушкиным. Она сказала ей со шведским акцентом:

— Я встречала когда-то Арапову, и она говорила мне, что ее мать во втором браке была счастливее, чем в первом.

Ахматова говорит, что Олейников пишет, как капитан Лебядкин, который, впрочем, писал превосходные стихи. Вкус Анны Андреевны имеет пределом Мандельштама, Пастернака. Обериуты уже вне предела. Она думает, что Олейников — шутка, что вообще так шутят.

Ахматова говорит о сборнике П-а: «Он там уговаривает жену не огорчаться по поводу того, что он ее бросил. И все это как-то неуверенно. И вообще, это еще недостаточно бесстыдно для того, чтобы стать предметом поэзии».

А. А. говорит о Мандельштаме: «Осип — это ящик с сюрпризами».

Когда Анна Андреевна жила вместе с Ольгой Судейкиной, хозяйство их вела восьмидесятилетняя бабка; при бабке имелась племянница. А. А. как-то сказала ей: «Знаете, не совсем удобно, что вы каждый раз возвращаетесь в два часа ночи». «Ну, Анна Андреевна,— сказала племянница бабки,— вы в своем роде, и я в своем роде...»

А бабка все огорчалась, что у хозяек нет денег: «Ольга Афанасьевна нисколько не зарабатывает. Анна Андреевна жужжала раньше, а теперь не жужжит. Распустит волосы и ходит, как олень... И первоученые от нее уходят такие печальные, такие печальные — как я им пальто подаю».

Первоучеными бабка называла начинающих поэтов, а жужжать — означало сочинять стихи.

В самом деле, Ахматова записывала стихи уже до известной степени сложившиеся, а до этого она долго ходила по комнате и бормотала (жужжала).

А. А. говорит, что всю жизнь с отвращением чувствовала себя врачом, который каждому пациенту говорит: «У вас рак, у вас рак, у вас рак...»

Но месяц тому назад к А. А. пришла московская девушка и прочитала, кажется, хорошие стихи. Это оголтелая романтика, какой давно не было — явно талантливая.

Возможно, что все впечатление — ритмический дурман, или даже эмоциональный? У Маруси Петровых наружность нежная и истерическая. И немного кривящийся рот.

А. А. рассказывает о своих занятиях «Петушком» кому-то из пушкинистов.

— Как интересно! Я тоже как раз думал о «Петушке». Очень интересно там это торговое начало...

— ?

— Как же... «корабельщики в ответ...».

1935

А. А. подписала с издательством договор на «Плохо избранные стихотворения», как она говорит.

В издательстве ей, между прочим, сказали: «Поразительно. Здесь есть стихи девятьсот девятого года и двадцать восьмого — вы за это время совсем не изменились».

Она ответила: «Если бы я не изменилась с девятьсот девятого года, вы не только не заключили бы со мной договор, но не слыхали бы моей фамилии».

При предварительном отборе не включили стихотворение со строчкой «Черных ангелов крылья остры»,— очевидно, думая, что чугунные ангелы (с арки на Галерной) слетают с неба.

Гуковский говорит, что:

Но клянусь тебе ангельским садом,
Чудотворной иконой клянусь
И ночей наших пламенным чадом...—

это — клятвы Демона... Вообще литературная мифология 1910-х годов.

Вообще попытка издательства привести сборник в quasi-цензурный вид — неудачна. Что за принцип — много Бога нельзя, а немножко сойдет? Ахматову следовало бы печатать откровенно, как печатают Жуковского и даже Блока. Для живого поэта это страшно, но она все равно поняла это и уже сказала Левину: «Главное неудобство в том, что я еще не умерла, но это поправимо».

О Мандельштаме разговор с А. А.

— Так что же, рука у него совсем отнялась?

— Нет. Но он диктует, и вообще это неважно: он всю жизнь был такой беспомощный, что все равно ничего не умел делать руками.

Анна Андреевна: «Коля говорил мне: «Ты не способна быть хозяйкой салона, потому что самого интересного гостя ты всегда уводишь в соседнюю комнату».

Ахматова считала Пастернака удачником по природе и во всем — даже в неудачах.

У А. А. был свой вариант (совсем непохожий) эпизода, рассказанного Пастернаком в его автобиографии («Люди и положения»). Излагала она его так: четырехлетний Пастернак как-то проснулся ночью и заплакал, ему было страшно. В ночной рубашке, босиком он побежал в соседнюю комнату. Там его мать играла на рояле, а рядом в кресле сидел старик с бородой и плакал. На другой день мальчику объяснили, что старик — это Лев Толстой.

— Боренька знал, когда проснуться...— добавляла Анна Андреевна.

— Какие прекрасные похороны,— говорила она о стихийных похоронах Пастернака, когда Рихтер, Юдина, Нейгауз, сменяя друг друга, играли на домашнем рояле.

Какие прекрасные похороны... Оттенок зависти к последней удаче удачника.

Анна Андреевна утверждала: «Борис читал Рильке, но не своих сверстников. Мои стихи он никогда не читал».

Я, понятно, не верила этому и возражала. После выхода «Из шести книг» (А. А. послала экземпляр Пастернаку) она сказала мне с торжеством:

— Получила восторженное письмо от Бориса[3] — доказательство, что он в самом деле моих стихов не читал. Он захлебнулся, открыв у меня замечательные строки:

На стволе корявой ели
Муравьиное шоссе.

Так ведь это в «Вечере» напечатано — 1912 год.

Механизм социальной иерархии действует замечательно наглядно и точно. Особенно когда на него не наброшен покров истинной вежливости. Но истинная вежливость уникально редка; да и покровы самой вежливой вежливости прозрачны.

Социальная иерархия, как и всякая иерархия,— это механизм по сути своей формальный. И все, кто к нему прикосновенны — а прикосновенны к нему почти все,— вольно или невольно действуют по его формальным законам. Даже оценивающие по гамбургскому счету. Для текущей культурной жизни характерен небывалый разрыв между действующей иерархией и гамбургским счетом, огромные ножницы. И оказывается: цена по большому счету — это абстракция, тогда как иерархия, хотя бы литературная,— это воплощение силы совершенно реальной, включенной в аппарат управления.

Органы СП, например,— Литфонд в том числе,— очень

хорошо знают, что даже не по гамбургскому, а по открытому сейчас счету Ахматова это мировое имя, вошедшее в историю, и прочее. Они знают притом, что сейчас им не только не возбраняется, но даже вменяется в обязанность ее опекать. Они знают также, что N., скажем,— не бог весть что, и даже те премии получала по третьему разряду. И столь же твердо они знают, вернее, ощущают всем своим существом, что А. А. может жить в безобразнейшей бытовой обстановке, а N. не может, что ей нужно предоставить условия. Что заболевшую N. никак нельзя сунуть в районную больницу, в палату на шесть человек, а Ахматову можно. И сунули.

Мировая слава Ахматовой и ее поэтическое бессмертие — это факт умозрительный; о нем всякий раз приходится вспоминать специально. А положение N. в иерархии — даже не очень значительное — есть частица реальной силы, включенная в общую сеть силы и власти. Об этой силе не нужно вспоминать и помнить. Вещественно воплощенная, она возбуждает соответствующие условные рефлексы у всех — от членов правления до литфондовской медсестры, дежурящей у телефона.

Гумилев был враг всякого ridicule*. Он был недоволен, когда выяснилось (вскоре после свадьбы), что А. А. пишет стихи.

— Муж и жена пишут стихи — это смешно. У тебя столько талантов. Ты не могла бы заняться каким-нибудь другим видом искусства? Например, балетом... (Из рассказов А. А.)

Про издание 1958 года А. А. говорила: «Эту книгу следовало назвать «Сады и парки». Эта дама любила гулять. Все остальное выбросил Сурков[4] — по тем или иным причинам (где — Бог, где — не так про любовь).

А. А. раздражалась, понятно, когда ее называли *поэтессой,* а по поводу рубрики *женская поэзия* (Каролина Павлова, Ахматова, Цветаева) говорила: «Понимаю, что должны быть мужские и женские туалеты. Но к литературе это, по-моему, не подходит».

В феврале 1933-го Мандельштам приезжал в Ленинград; состоялся вечер его стихов. Анна Андреевна позвала к себе на Мандельштама Борю[5] и меня. Как раз в эти дни его и меня арестовали (потом скоро выпустили). А. А. сказала Мандель-

---

* Смешной *(франц.). — Ред.*

штамам: «Вот сыр, вот колбаса, а гостей — простите — посадили». (Рассказала мне Ахматова.)

— У меня все пребывание в санатории было испорчено,— сказала А. А.,— ко мне каждый день подходили, причем все — академики, старые дамы, девушки... жали руку и говорили: как *мы* рады, как рады, что у вас все так хорошо. Что хорошо? Если бы их спросить — что, собственно, хорошо? Знаете, что это такое? Просто невнимание к человеку. Перед ними писатель, который не печатается, о котором нигде, никогда не говорят. Что же хорошо? Да, крайнее невнимание к человеку.

— Нет, все понятно — хорошо, что о вас не пишут.

Это столь верно, что в тот же день Х. при встрече сразу сообщил:

— Знаете, у Зощенки обстоит все блестяще.

— Что же случилось?

— Им там сказали, что ничего особенного не произошло; чтобы его оставили в покое, дали ему работу. Но он сказал... «Ну и что, что сказал,— ответили им,— пусть видят, что каждый говорит что хочет...» Ему предложили работу. Перевод, что ли. Он ответил, что плохо себя чувствует и работать пока не может.

В общем, у Зощенки все очень хорошо.

А. А. права, как, впрочем, правы и поздравлявшие ее академики, девушки и старые дамы. Невежливо, конечно, говорить писателю, что все хорошо, когда он не пишет. Но в разговоре этом было и верное чувство реальности, поскольку он разговор о разрешении существовать.

1957

Ахматова сказала мне как-то, что стихотворение «Не недели, не месяцы — годы // Расставались...» хочет переделать. Вместо «Больше нет ни измен, ни предательств...» — «Больше нет ни обид, ни предательств...»

— Почему, Анна Андреевна?

— Потому что измену простить можно, а обиду нельзя...

Строка, однако, осталась неизменной.

П. Н. Лукницкий

ИЗ ДНЕВНИКА И ПИСЕМ

1924

8 декабря

С утра до 6 часов работал во «Всемирной литературе». В 6 часов пришел домой, поработал еще два часа. Устал, разболелась голова. Решил пойти за материалами. Позвонил Мандельштаму — не оказался дома, Чуковскому — тоже. Тогда собрал часть того, что у меня есть, и пошел к Шилейко[1], рассчитывая там познакомиться наконец с АА*. Стучал долго и упорно,— кроме свирепого собачьего лая, ничего и никого. Ключ в двери,— значит, дома кто-то есть. Подождал минут 15, собака успокоилась. Постучал еще, собака залаяла, услышал шаги. Открылась дверь, и я оказался нос к носу с громадным сенбернаром. Две тонкие руки из темноты оттаскивали собаку... Глубокий взволнованный голос: «Тап! Спокойно! Тап! Тап!» Собака не унималась. Тогда я шагнул в темноту и сунул в огромную пасть сжатую в крепкий кулак руку. Тап, рыкнув, отступил, но в то же мгновенье я не столько увидел, сколько ощутил, как те самые тонкие руки медленно соскальзывали с лохматой псиной шеи, куда-то совсем вниз, и я, едва успев бросить свой портфель, схватил падающее, обессиленное легкое тело. Нащупывая в полутьме ногами свободные от завалов места, я, осторожно перешагивая, донес АА в ее комнату и положил на кровать. Пес шел сзади...

1925

22 января

Когда я читал АА воспоминания Мандельштама о Гумилеве, АА сказала мне: «Вы смело можете не читать, если что-нибудь обо мне. Я вовсе не хочу быть вашей цензурой. Гораздо лучше, если вы будете иметь разносторонние мнения...»

25 февраля

Выступала с чтением стихов на литературном вечере, организованном Союзом поэтов совместно с КУБУЧем[2] в Академиче-

* Так Лукницкий помечал в своих записях имя Ахматовой.— *Примеч. В. К. Лукницкой.*

ской капелле. Приехала после начала. Сразу же вышла на эстраду.

Прочитав три стихотворения, ушла с эстрады, но аплодисменты заставили ее выйти опять. Из зала громкий женский голос: «Смуглый отрок!» АА взглянула наверх и, стянув накинутый на плечи платок руками на груди, молча и категорически качнула отрицательно головой. Стало тихо. АА прочла отрывок: «И ты мне все простишь...» Затем ушла в артистическую и сейчас же уехала, провожаемая К. Фединым, несмотря на все просьбы участников побыть с ними.

27 февраля

По поводу вечера в Капелле: «А мы с Фединым решили, что стихи не надо читать. Доходят до публики только те стихи, которые она уже знает. А от новых стихов ничего не остается». Я: «Вы волнуетесь, когда читаете стихи на эстраде?» АА: «Как вам сказать. Мне очень неприятно до того, как вышла на эстраду. А когда я уже начала читать, мне совершенно безразлично». Я: «У вас бывает, что вы забываете стихи на эстраде?» АА: «Всегда бывает — я всегда забываю...»

Просила сказать, как она держалась на эстраде. Ответил, что с полным достоинством, немного «гордо». «Я не умею кланяться публике. За что кланяться? За то, что публика выслушала? За то, что аплодировала?..»

2 марта

Сегодня утром к АА приходил Шмерельсон[3], принес ей гонорар 15 рублей — за выступление в Капелле. Сказал, что Союз предполагает устроить второй вечер, в котором выступили бы те, кто не участвовал в первом, но с непременным участием АА.

АА, воспользовавшись тем, что Шмерельсон застал ее в постели,— очень кстати вышло,— сказалась больной и наотрез от выступления отказалась.

3 марта

О браке с Шилейко: «К нему я сама пошла... Чувствовала себя такой черной, думала, очищение будет...» Пошла, как идут в монастырь, зная, что потеряет свободу, волю, что будет очень тяжело.

Вечером была у Сологуба. Было очень скучно («Скучнее, чем на эстраде») — было много чужих. АА не выдержала и сбежала вместе с Замятиными[4]. Они ее повели в Союз драматических писателей, где было еще скучней от Вс. Рождественского, от Баршева[5], от Изабеллы Гриневской[6], от всех ужасных, специфических дам...

В ответ на мои слова о большой эрудиции АА, она сказала, что она очень мало знает. «Я знаю только Пушкина и архитектуру Петербурга. Это сама выбрала, сама учила».

Я передал АА существующее мнение о том, что выбор названия «Anno Domini»[7] связан со смертью Гумилева и Блока. АА опровергает это мнение.

О последнем периоде жизни Блока: «Самое страшное было: единственное, что его волновало, это то, что его ничто не волнует...»

Я спросил, как ⟨она⟩ относится к стихотворению О. Мандельштама «Мороженно...». Ответила: «Терпеть не могу! У Осипа есть несколько таких невозможных стихотворений». Не любит еще стихотворение о галльском петухе и гербах всех стран (из Tristia). «Золотистого меду струя» — прекрасное стихотворение».

О стихах Ходасевича отзывается очень сдержанно. Когда я спросил в упор: «Любите?» Ответила принужденно: «Есть хорошие стихи, но все это какое-то деланное, неоправданное...»

6 марта

Дневник Блока (I том) вышел из печати совсем недавно[8], и весь уже распродан. Он был прочитан жадно, прочитан всеми. Невежество, вопиющая безграмотность Медведева, редактировавшего книгу, сильно ей повредили...

А дневник интересен, дает много материала для понимания личности Ал. Блока, да и литературной жизни того времени. Мнения о дневнике различны. АА, отдавая должное дневнику, считает все же, что дневником Блок «разоблачает» свои стихи, показывает нити, скрепляющие их с реальным, с земным, с будничным. Дневник дает возможность судить о непонятном простодушии Блока, считавшего, например, Клюева, этого бога фальши,— своей совестью, всерьез принимавшего «Грааль» Арельского[9], враля всем хорошо известного, принимавшего у себя Г. Иванова (впрочем — раз).

20 марта

⟨О жизни с В. К. Шилейко.⟩ Они выходили на улицу на час, гуляли, потом возвращались — и до 4-х часов ночи работали.

Шилейко переводил клинопись, диктуя АА прямо «с листа» — даже стихи (переводы) АА писала под его диктовку. По шесть часов подряд записывала. Во «Всемирной литературе»

Анна Ахматова. Конец 20-х годов

должна быть целая кипа переводов ассирийского эпоса, переписанных рукой АА... И это при отвращении АА к процессу писания!..

— Осип ⟨Мандельштам⟩ очень нежно к вам относится... Очень... Он заговорил со мной о вас — хотел нащупать почву, как я к вам отношусь. Я расхвалила вашу работу... о вас говорила, восхищаясь, говорила, что работа ведется исключительно...

Мандельштам хочет, чтоб вы стали нашим общим биографом... Конечно, иногда вам придется говорить и не только о Николае Степановиче — просто для освещения эпохи... Но не будьте нашим общим биографом!.. Конечно, попутно у вас могут быть всякие статьи... Но это другое дело...

АА очень огорчилась дневником. «По этому дневнику выходит, что я злая, глупая и тщеславная... Это, вероятно, так на самом деле и есть...»

Эти слова АА заставили меня внимательно прочесть дневник. И вот в чем я убедился. Дневник мой ведется совершенно по-дурацки. Действительно, получается черт знает что! Получается совершенно неверное представление об АА. Я думаю, что это происходит вот от чего: я записываю далеко не все. Из каждого разговора я записываю фразу, или несколько фраз, которые сильнее запали в память, а все остальное окружение этой фразы в дневник не попадает. Те фразы, которыми пестрит дневник,— это не есть ее отношение к данному человеку... Та ирония, которая есть у нее по отношению к другим, еще чаще бывает по отношению к себе самой.

...То же самое должен повторить о тщеславии АА.

АА *не* тщеславна, *не* носится с собой, *не* говорит о себе, *не* любит, когда о ней говорят, как об «Ахматовой», *не* выносит лести, подобострастия... Чувствует себя отвратительно, когда с ней кто-нибудь разговаривает как с метром, как со знаменитостью, робко и принужденно-почтительно. Не любит, когда с ней говорят об ее стихах. Пример — ну хотя бы история с антологией Голлербаха[10]... Ей как-то стыдно было разговаривать о ней. Отсюда отзывы ее о Голлербахе, она иронизирует над ним, острит, шутит, посмеивается. За пониманием желания Голлербаха сделать ей приятное возникает вопрос: «Ну зачем это? К чему это нужно?» Самый факт существования этой антологии ей неприятен, как бывает неловко надеть слишком дорогие бриллианты. Я не хочу, чтоб по моей вине можно было судить об АА ошибочно. Хулителей, не знающих действительного облика АА, найдется много...

24 марта

Сверчкова очень огорчила АА, рассказав, что недавно, когда Леву спросили, что он делает,— Лева ответил: «Вычисляю, на сколько процентов вспоминает меня мама...» Это значит, что у Левы существует превратное мнение (как у посторонних АА, литературных людей) об отношении к нему АА. А между тем АА совершенно в этом не повинна. Когда Лева родился, бабушка и тетка забрали его к себе на том основании, что «ты, Анечка, молодая, красивая, куда тебе ребенка?». АА силилась протестовать, но это было бесполезным, потому что Николай Степанович был на стороне бабушки и Сверчковой[11]. Потом взяли к себе в Бежецк — отобрали ребенка. АА сделала все, чтобы этого не случилось...

АА: «А теперь получается так, что он спрашивает, думаю ли я о нем... Они не пускают его сюда — сколько я ни просила, звала!.. Всегда предлог находился... Конечно, они столько ему сделали, что теперь настаивать на этом я не могу...»*

27 марта

АА разбирала книги Блока с его надписью: «А. А. Гумилевой»[12] (1913 г.). Потом — «Сестра моя жизнь»[13] Пастернака — дарственная надпись АА — заняла две страницы сверху донизу. Усмехнулась: «Вот как люди надписывают!»

АА разбирала свой архив в комнате. Кое-какие бумаги показывала мне... Попался автограф Блока — четверостишие... АА сказала, что сама не знает, откуда оно у нее (оно не от Блока). «Может быть, от Артура Лурье? — он собирал автографы...»

Показывала старинное издание Сафо — подарок Б. В. Анрепа, с его надписью; показав мне надпись, сказала: «Вот из-за чего я берегу эту книжку...»

Показывала фотографии — А. Лурье, Недоброво...

Я прошу АА подарить мне автограф. Говорит, что у нее нет почти рукописей. Я говорю, что пусть она мне подарит то, что я вытащу наугад из пачки бумаг ее архива. Соглашается. Вытаскиваю наугад стихотворение АА «В городе райского ключаря»...

(«Жаркое сердце» — первоначально было: «Тайное сердце». В предпоследней строке слово «всё» вставлено потом.)

Я: «У вас много ненапечатанных стихотворений последнего времени?» — АА: «Есть...» Я спрашиваю о стихотворении

---

* Ахматова часто справлялась о сыне у Павла Николаевича, так как Лева, приезжая с бабушкой или теткой в Ленинград, останавливался обычно у родственников матери Николая Степановича Гумилева — Кузьминых-Караваевых, и Павел Николаевич навещал его там, уделяя много времени не по годам эрудированному, талантливому мальчику и с удовлетворением наблюдая за его развитием. *(Примеч. В. К. Лукницкой.)*

Анна Ахматова. Около 1926 г.

АА, подаренном мне («В городе райского ключаря»). АА отвечает, что это отрывок из поэмы, которую она писала в 1917 году. Поэма не была дописана до конца, существовало несколько отрывков — и подаренный мне — один из них.

Николай Степанович очень хотел, чтобы АА дописала до конца эту поэму, часто повторял ей это.

АА говорит, что, когда Николай Степанович жил один (в 1918 г.), у него был однажды вечер, когда к нему пришли и пили чай Лозинский, Срезневские и она, АА. «Николай Степанович просил... много перед этим просил, а тут говорит: «Вот мы поедем в Бежецк, я ее там заставлю! Живая или мертвая, но она напишет эту поэму». Лозинский сказал: «...Ездок доскакал, в руках его мертвый младенец лежал!..» Потом Лозинский все время спрашивал: «А где Шилей?» — а потом продекламировал: «Зачем король не средь гостей, зачем изменник не на плахе». Это из «Полтавы» — вы помните? Это было очень удачно сказано». (Имело особый отпечаток смысла при том положении, какое тогда было.)

АА надписывает и дарит мне и «Четки», 1-е издание. На книге «Четки», «Гиперборей», 1914, С.-Петербург, написано:

«Владимиру Александровичу Пясту, Анна Ахматова.

Отлетела от меня удача,
Поглядела взглядом ястребиным
На лицо, померкшее от плача,
И на рану, ставшую рубином
На груди моей.

Петербург. Весна. 1914 г.»

«Я купила эту книгу осенью 1922 года в книжной лавке на Литейном. Ахм.» Затем: «Павлу Николаевичу Лукницкому перед моим отъездом в Царское Село в марте 1925 г. Ахматова. 27.III. Мр[аморный] дв[орец]».

28 марта

О Тютчеве, Анненском, Фете. АА очень любит И. Анненского.

Я: «Какую симпатию возбуждает каждое слово Анненского!» АА: «Немногим поэтам дано каждым словом возбуждать симпатии». Я: «Фет, например, не возбуждает симпатии». АА: «Никакой, совершенно». Я: «Вот Тютчев возбуждает... И посмотрите-ка, это оправдано биографией». АА соглашается: «Тютчев больше Анненского, больше как поэт...» — произносит это, но любит больше Анненского. «Но подумайте, при всем этом, как Анненский исполнял все правила общежития. Все, как будто бы он для этого был создан... Когда моего брата перевели из севастопольской гимназии в Царское Село, у него должна была быть переэкзаменовка. Тогда папа поехал к Иннокентию Федоровичу — думал, что он поможет устроить так, чтобы не было переэкзаменовки, и Иннокентий Федорович через несколько дней отдал папе визит... Подумайте!»

16 апреля

Читаю АА стихотворение: «Оставь любви веретено...» АА говорит: «Хороший русский язык...» Я начинаю ругать. АА перебивает меня: «Нет, вы слушайте, что я говорю... Хороший русский язык — это уже очень много... Теперь так мало кто владеет им!»

3 июля

АА, рассказывая нижеследующее, сказала: «Не записывайте этого, потому что выйдет, что я хвастаюсь...» И рассказала, что, когда она первый раз была на «башне» у Вячеслава Иванова, он пригласил ее к столу, предложил ей место по правую руку от себя, то, на котором прежде сидел И. Анненский. Был совершенно невероятно любезен и мил, потом объявил всем, представляя АА: «Вот новый поэт, открывший нам то, что осталось нераскрытым в тайниках души И. Анненского».

АА говорит с иронией, что сильно сомневается, чтоб «Вечер» так уж понравился В. Иванову, и было даже чувство неловкости, когда так хвалили «девчонку с накрашенными губами»...

А делал это все В. Иванов со специальной целью — уничижить как-нибудь Н. С. ⟨Гумилева⟩, уколоть его (конечно, не могло это в действительности Н. С. уколоть, но В. Иванов рассчитывал).

6 июля

Зимой 13—14 г. (в начале 1914) АА как-то, в виде шутки, написала на бумажке (при Николае Степановиче): «Просим закрыть Цех. Мы этого больше выносить не можем и умрем». И подписала — «А. Ахматова», а потом подделала подписи всех членов Цеха. Смеясь, показала это Н. С.; тот отнесся к этому безразлично и тоже смеялся. Потом АА дала эту бумажку С. Городецкому. Тот тоже улыбнулся, но довольно принужденно. И написал резолюцию: «Всем членам Цеха объявить выговор, а А. Ахматову сослать на Малую, 63[14] и повесить».

АА так и не знает — понял ли тогда Городецкий, что это поддельные подписи, или не понял. Хотя АА и не скрывала этого, никак! Все это делалось в виде милой и остроумной шутки.

26 октября

Говорили о Спесивцевой и по ⟨этому⟩ поводу о балете. Спесивцеву АА очень любит и всегда ходила в Мариинский театр, когда там участвовала Спесивцева. АА восхищается ею. Говорит о ее внешности, о ее грации, о тонкости.

Спесивцева сейчас прима в Гранд Опера в Париже. И по заслугам. Вообще АА правильно говорила, что балет как искусство существовал и существует только в России. Искусство, развившееся здесь, здесь культивируемое. И, конечно, не за границей. Только недавно за границей начали понимать его, и этому очень способствовал Дягилевский балет. Я заговорил о Карсавиной. АА заговорила о различии между Карсавиной и Спесивцевой. Первая прекрасна в лирических сценах, вторая — бездушная куколка. Но очаровательная, совершенно очаровательная.

Вопрос о Давиде[15] продолжает интересовать АА. Она обнаружила, что 29 декабря исполняется столетие со дня его ⟨смерти⟩. Сказала об этом Пунину. Тот пошел, заявил в Институт истории искусств, предложил отпраздновать юбилей. Предложение было принято, и юбилей праздноваться будет. Рассказал мне это Пунин, около 10 часов вечера вернувшийся из Института искусств, где он читал лекцию.

АА говорила о Кузмине. Сегодня в Союзе писателей Общество библиофилов празднует его юбилей. Голлербах звал и АА и меня. Но АА больна и, несмотря на желание пойти, не может сделать этого. Хотела послать ему поздравительную телеграмму, но это осталось неисполненным.

7 ноября

...В 6 часов мне позвонил Пунин, спросил, буду ли я дома, и сказал, что часов в 7 ко мне собирается АА.

Я обрадовался, стал приводить комнату в порядок. В половине восьмого АА вошла...

...Не прерывая разговора и отказавшись от второй чашки чая, АА встала, подошла к печке и прислонилась к ней спиной, выпрямившись во весь рост. На ярко-белом, блестящем белизною фоне — еще стройнее, еще изящней казалась ее фигура в черном шелковом платье... Руки за спиной она приложила к жарко натопленной печке. Чувствовалось, что АА радуется теплу — так непривычному для нее... Она даже заметила мне, что в комнате очень тепло. Разговаривая, АА приучала взгляд к комнате... Смотрела быстрыми скользящими взглядами на портреты и картины, висящие по стенам, на книжный шкаф, на все «убранство» комнаты...

Села опять к столу, разбирала опять материалы...

14 ноября

АА читала все, что я выписал из «Чукоккалы»... О Чуковском АА говорила еще, что он, как и она, не дал ничего в журнал, в котором печаталась статья Блока «Без божества, без вдохновенья»[16]. АА знает, что Чуковский возмущался печатанием этой статьи и уговаривал ее не печатать. АА вполне верит словам Чуковского, что он уговорил Блока выкинуть из этой статьи места наиболее обидные для Н. С. ⟨Гумилева⟩.

20 ноября

Заговорили о Николае Степановиче — об его взаимоотношениях с Блоком. Я спросил об основных причинах их вражды. АА сказала: «Блок не любил Николая Степановича, а как можно знать — почему? Была личная вражда, а что было в сердце Блока, знал только Блок, и больше никто. Может быть, когда будут опубликованы дневники Блока, что-нибудь определенное можно будет сказать». А по поводу отрывка из дневника Блока, напечатанного в «Красной газете», сказала, что там особенно сквозит резкий тон, очень резкий тон. И, конечно, Блок стилизует себя в нем, когда пишет о себе, что он был баричем с узкой талией. Ему на примере самого себя надо было

показать, из чего возникла русская революция. Разве он был таким баричем? Тонкий, чуткий, всегда способный понять чужое настроение, чужое страдание, отзывчивый Блок — и вдруг образ такого барича, узкая талия которого «вызывает революцию».

АА заметила про стиль дневника, что он напоминает Льва Толстого,— так и вспоминается какое-нибудь место из «Воскресения» — этот «барич», например.

Я заговорил о стихах Блока, напечатанных во вчерашней «Красной газете».

«Конечно, Медведев очень плохо сделал, напечатав заведомо плохие стихи Блока. Этого не следовало делать. Но может быть, Любови Дмитриевне нужны были деньги? Тогда я, конечно, не могу ничего возражать...»

В том же номере «Красной газеты» статья М. Горького о Блоке. Мнение АА об этой статье: «Освещение этого факта то или иное в зависимости от обстоятельств».

С Горьким АА виделась лично всего раз в жизни.

Рассказала мне: ...Однажды пришла к Горькому и просила его устроить ей какую-нибудь работу. Горький посоветовал ей обратиться в Смольный к Венгеровой, чтобы переводить на итальянский язык прокламации Коминтерна. «Я тогда, не зная достаточно итальянского языка, не могла бы, даже если б захотела, переводить эти прокламации. Да потом, подумайте: я буду делать переводы, которые будут посылаться в Италию, за которые людей будут сажать в тюрьму...»

Дальше заговорила о тогдашних возможностях Горького, о степени его влияния и закончила:

«Он был один, а к нему обращались сотни людей. Не мог же он всех устроить! Но, конечно, по отношению ко мне он поступил недостаточно обдуманно, сделав мне такое предложение...»

2 декабря

По поводу слов Жоры (Г. Иванова) о Блоке. «Можно подумать, что Блок с ним чуть ли не на короткой ноге был. Выходит также, что Блок «любит снимать квартиры в верхнем этаже», и еще много чего выходит по Жоре. Но Жора допускался к Блоку один раз в год. Так уж было заведено: раз в год он звонил Блоку и просил разрешения прийти. Блок разрешение давал, и Жора шел к нему.

Надписи на книгах? Это делаем все мы, грешные: нас просят, и мы подписываем книгу.

Блок очень долго жил на одной и той же квартире. Какая же тут может быть любовь к верхним этажам? Блок, замкнутый, не любивший многолюдства у себя, всегда держал таких

Анна Ахматова и Н. Н. Пунин. Ленинград, Фонтанный Дом. Фотография П. Н. Лукницкого. 1927 г.

людей, как Жора, на большом расстоянии от себя. У него были друзья, которых он выбирал, руководствуясь своими особыми причинами,— Зоргенфрей[17], Иванов-Разумник[18]... Попробуйте пойти к Сологубу, интимно говорить с ним!.. А с Сологубом это легче, чем с Блоком...»

АА говорила о «Письмах о русской поэзии»[19], о том, как они безобразно редактированы Г. Ивановым, показывала мне часть (всех — великое множество) искажений, неверностей, изуродованных цитат, неправильностей в списке фамилий и т. д. и т. п.

6 декабря

...Говорили о работе... Разговор прерывался минутами молчания, когда мы молча смотрели на красные угли, когда по очереди мешали их, когда думали, думали. «В вазах было томленье умирающих лилий...» «Это стихотворение — об Анненском»,— сказала АА и стала мне доказывать и доказала. Потом говорили о биографии Николая Степановича — о том, что мне надо учесть все масштабы. АА сказала, что, по ее мнению, для биографии Николая Степановича нужно самое большее двадцать точных дат... «Как вы думаете?» — АА спросила меня, на какое место я поставил бы Гумилева в историко-литературном плане? Между какими величинами? Я ответил, подумав: «Баратынский значительнее его». АА наклонила голову и ответила утвердительно. Я продолжал: «Языков?.. меньше...» «А Дельвиг?» — спросила АА. Я не смог ответить на этот вопрос, и АА заговорила о применительном к Дельвигу масштабе биографии... «Сколько точных дат для биографии Дельвига нам нужно? Дат десять — не больше...» Я стал спорить, что больше, и что больше надо и для Николая Степановича: надо дату свадьбы, дату рождения Левы... АА посмотрела на меня в упор и промолвила: «Я не знаю, когда Пушкин женился... И вы не знаете!..» И добавила, что не знает также и точных дат, когда у Пушкина родились дети...

Я спросил: «Ну, а какой масштаб вы предпочитаете, например, для Шенье?» — «Шенье прекрасный поэт... больше Баратынского... гораздо!..» И когда АА высказалась о Шенье, я спросил о том, кого она ставит выше — Блока или Баратынского. АА ответила, что «напевная сила» у Блока больше, чем у Баратынского... «А вообще, ведь вы знаете — Блок самый высокий поэт нашего времени...» Я спросил: «На какое же место вы ставите Блока?» АА подумала и медленно проговорила: «За Тютчевым... а Николай Степанович — около Дельвига...»

1926

17 января

...Взяла дневник, стала читать запись за 9 января. Прочла несколько строк. «Видите, как хорошо! И как интересно!..» Стала уже внимательно читать дальше. «Видите, как интересно! И если вы будете так записывать, будьте уверены, что лет через сто такой дневник напечатают...»

А мне надоело смотреть, как АА читает дневник... Я стал трунить и мешать ей шутками... АА взглянула на меня: «Сидите спокойно и занимайтесь каким-нибудь культурным делом!»

«Я занимаюсь «культурным» делом — смотрю на вас»,— рассмешил АА... Опять углубилась в дневник. «Не читайте, бросьте, тут наворочено, а вы вчитываетесь». «Сейчас, сейчас,— не отрываясь от чтения, бросила АА,— тут две странички осталось, и все очень хорошо и не наворочено!..»

22 января

В 9 часов вечера АА позвонила мне и сказала, что через полчаса придет. Пришла. В руках пакетик — сыр и батон: ужин Владимиру Казимировичу, который она ему отнесет на обратном пути. Снял ей шубу. Провел в мою комнату. Белая фуфайка. АА расстегнула ворот и заложила его вовнутрь, открыв шею. На ногах топочущие боты. «У вас по-новому?» — и взглянула на мой приставной стол для работы. На столе навалены бумаги — работа по биографии Гумилева. Села к столу. Зеленый свет лампы залил лицо,— глаза нездоровые, плохо выглядит, лицо усталое, но разговаривает в веселом тоне.

Стала рассказывать о том, как вчера показывала Шилейко свою работу. Шилейко долго не хотел смотреть, чтобы не отрываться от своей работы. Наконец согласился. Внимательно выслушал и «выглядел» все, что АА показывала ему.— «Когда вам пришлют горностаевую мантию из Оксфордского университета, помяните меня в своих молитвах!...»

Шилейко занимается сейчас изучением связи Гомера с Гильгамешем, а АА — Гомера с Гумилевым и Анненским... Интересно было бы, если б треугольник замкнулся.

9 февраля

На столе моем лежала вырезка из газеты — извещение о смерти Ларисы Рейснер[20]. АА поразилась этим известием и очень огорчилась, даже расстроило ее оно. «Вот

уж никак я не могла думать, что переживу Ларису!» Много говорила о ней — очень тепло, очень хорошо, как-то любовно, с большой грустью. «Вот еще одна смерть. Как умирают люди!.. Ей так хотелось жить, веселая, здоровая, красивая... Вы помните, как сравнительно спокойно я приняла весть о смерти Есенина?.. Потому что он сам хотел умереть и искал смерти. Это — совсем другое дело... А Лариса?..» — и АА долго говорила, какой жизнерадостной, полной энергии была Л. Рейснер...

Рассказывала о ее выступлении[21] (кажется — первом). «Возьмите меня за руку — мне страшно»,— сказала 16-летняя Л. Рейснер на вечере (в Тенишевском?).

10 февраля (из письма Лукницкого Л. В. Горнунгу)

Я сделал большую оплошность: сказал А. А. Ахматовой о Пушкинском вечере в ее пользу. АА очень огорчилась и категорически отказалась от денег,— Вы знаете ее щепетильность в этом отношении. Очень я себя браню, и очень это грустно, потому что ее материальное положение, как мне приходится видеть, оставляет желать много лучшего.

20 марта

Я спросил, читала ли она книжку Вагинова? Ответила, что не читала, и спросила мое мнение о ней. Я сказал, что по моему мнению — стихи несамостоятельны, есть чужие влияния — Мандельштама, В. Иванова, Ходасевича,— но культурны и мне нравятся. Сказала: «Теперь буду читать, когда вы сказали...»

Пунин говорил о том, как хорошо он с АА проработал Давида,— сегодня у него был кто-то из Эрмитажа, кто, казалось бы, должен знать о Давиде очень много, и, однако, Пунин превзошел его своими познаниями и дал ему много указаний о Давиде.

Пунин при мне выражал свое неудовольствие по поводу того, что Шилейко не уезжает, потому что его присутствие здесь препятствует АА регулярно работать по Сезанну*.

---

* Это была весна 1926 г. Когда Павел Николаевич пришел к Ахматовой в очередной раз, она лежала в постели с повязанной платком головой и грустно и тихо говорила ему, что совершенно не имеет времени для работы по Гумилеву, потому что все ее время уходит на перевод Сезанна. Что ей приходится работать для Пунина — переводить статьи по искусству с французского, подготавливать доклады для Института истории искусств. Что время у нее разбито из-за того, что она не имеет своего жилища и живет между Шереметевским дворцом и Мраморным.

Вот тогда-то Ахматова и сказала Павлу Николаевичу: «Выходя из дома Гумилева, я потеряла дом!» *(Примеч. В. К. Лукницкой.)*

23 марта

Когда я пришел в Мраморный дворец, Шилейко сказал мне: «Попадет вам от АА за легкомысленное суждение о Вагинове!» Перед моим приходом в Мраморный дворец, сегодня, АА читала книжку Вагинова вслух,— Шилейко слушал и очень зло, в прах раскритиковал ее, и АА к его мнению вполне присоединилась, потому что он приводил справедливые и совершенно неоспоримые доводы.

25 марта

...Лунная ночь. На Марсовом поле — на снегу,— я провалился, АА нет. Снег, как сахар, плотный. Весна. Чу́дная погода. Хороша луна в деревьях. Запомню.

В хорошем, очень хорошем настроении, спокойная, веселая, ласковая. Шутит и юмор, но не ирония.

Прозвище Ахматовой «Олень» пошло от старухи Макушиной. Тогда было очень голодно. На Фонтанке, 2 Макушина, упрекая Ахматову и Судейкину в безделье, обратилась к Судейкиной, сначала выразила свое недовольство ею, а потом сказала про Ахматову: «И та тоже! Раньше хоть жужжала, а теперь распустит волосы и ходит как олень!»

Макушина сказала это не самой Ахматовой. Ее она все-таки стеснялась. Судейкиной сказала. Ее она совсем не стеснялась, часто называла на «ты» и говорила ей в лицо все что вздумается.

Можно представить себе, с каким восторгом Судейкина передала тогда ту фразу про оленя Ахматовой.

30 марта

Вчера я отпечатал для АА фотографии — две снятые мною в Мраморном дворце — в постели (в двух экз. каждый), и «сфинкса» (в одном экз.). Отдал их ей. «Сфинкса» она передала для Пастернака, надписав ее предварительно. Надписывая, АА несколько раз стирала резинкой что-то, писала снова. О том, что хуже му́ки, чем процесс писания, для АА нет, я знаю давно, но каждый раз, когда она что-нибудь пишет, я с любопытством слежу за той мучительностью, с какой она это делает.

16 апреля

Сказала, что Клюев, Мандельштам, Кузмин — люди, о которых нельзя говорить дурное. Дурное надо забыть.

...Манера насмешничать друг над другом, рассказы-

вать друг про друга анекдоты — это исходило из патетических чувств друг к другу, было только внешней оболочкой глубоко дружественных, очень любовных и близких взаимоотношений, и под этим было и большое уважение, и понимание ценности внутренних сущностей друг в друге. Такая насмешливость, любовь к остроте была только способом развлечения. У каждого были свои недостатки, все их знали, но их прощали всецело, потому что все они искупались другим обликом, более глубоким, второй стороной человека.

А когда Г. Иванов, который теперь пишет грязные статьи, не имея за собой ничего, не имея никакой другой стороны, кроме стороны недостатков — и очень грязных недостатков, стал входить в литературный мир, когда, тщетно пытаясь дотянуться до этого кружка, стал подражать его участникам, и подражать неудачно — до пародии, это было противно, потому что он, показывая свои дурные стороны, не имел другого облика, который бы выкупал их.

...И сейчас он обливает помоями больше всего тех, кому больше всего обязан...

10 мая

Сегодня в Филармонии, на вечере Всероссийского Союза писателей, публики было несметное — давно не бывалое — количество... Публика кричала: «Даешь Ахматову!» Так настаивала на ее выступлении, что... Замятина стала звонить АА по телефону. АА пришлось подойти и наотрез отказаться... Это было тем более неприятно, что упрашивала ее именно Замятина, к которой АА так дружески относится.

Спросил АА, почему она так не любит выступать? АА объяснила, что она никогда не любила выступать, а в последние годы это ее отношение к эстрадным выступлениям усилилось. Потому что не любит чувствовать себя объектом наблюдения в бинокли, обсуждения деталей ее внешности, потому что «...Разве стихи слушает публика? Стихи с эстрады читать нельзя. Читаемое стихотворение доходит только до первых рядов. Следующие его уже не слышат, и публике остается только наблюдать пантомиму». Помолчав, АА заговорила и о второй причине — отсутствии у нее платья: «Ведь теперь уже не 18-й год...» Очень существенная причина...

АА не говорила, но по чуть заметным намекам я понял, что АА находит третью причину: публика, по ее мнению, нынче очень груба...

Лева Гумилев, Анна Ахматова, А. И. Гумилева. Фото Н. Н. Пунина. 1927 г.

20 июня

О хвастовстве. «Вот чего не было у Блока... Ни в какой степени! С ним можно было год прожить на необитаемом острове и не знать, что это Блок. У него не было ни тени желания как-то проявить себя в разговоре.

Блок был очень избалован похвалами, и они ему смертельно надоели».

21 июня

Долгий разговор о Леве. Я доказывал, что он талантлив и необычен. АА слушала — спорить было нечего: я приводил такие примеры из моих разговоров с Левой, что против них нельзя было возражать, ...что в 15-летнем возрасте так чувствовать стихи, как Лева,— необыкновенно!

АА раздумывала — потом: «Неужели будет поэт?» (Задумчиво.)

АА хотелось бы, чтобы Лева нашел достойными своей фантазии предметы, его окружающие, и Россию. Чтобы не пираты, не древние греки фантастическими образами приходили к нему... Чтоб он мог найти фантастику в плакучей иве, в березе...

26 июня

АА позвонила. Зашел в Шереметевский дом — в саду встретила... Предложил поехать на острова. Зашла в Мраморный дворец, чтобы надеть жакет. Была в черном шелковом платке, без шляпы. Пошли на поплавок. Пароход был уже полон, решили подождать следующего, на поплавке пили чай с пирожными. Сели у носа. Красный, алый закат. Расплавленное солнце в узкой прорези туч. Вода всех оттенков. По дороге показывала сначала дом — Фонтанка, 2, первый этаж, пятое, шестое окна на набережной Невы, от угла Фонтанки. Там жила... В большой комнате — Судейкина, в маленькой — АА. В окно постоянно любовалась закатом.

...Встречный ветер. АА подняла воротник жакета. Дальше Сампсониевский мост. Знакомые АА места: здесь близко жили ее друзья Срезневские. АА два года у них жила, постоянно ходила по Сампсониевскому мосту. До моста — «чудный старый-старый сарай». Судейкина острила: «У того-то то, у того-то то, а у Анки — сарай». Дальше — на левом берегу — казармы, похожие на Павловские. «Здесь жил Блок».

А. И. Гумилева, Лева Гумилев, Анна Ахматова. Фото Н. Н. Пунина. 1927 г.

Рассказывала о вечере Блока в Малом театре: «Это как богослужение было: тысячи собрались для того, чтобы целый вечер слушать одного».

АА с Л. Д. Блок с трудом, большим трудом устроились в администраторской ложе, не было ни одного свободного приставного стула. «Овации были — совершенно исступленные овации... Когда так бывало?»

8 июля

Говорила о статье Мандельштама «Жак родился и умер»[22]: «Прекрасная статья — дышит благородством». АА говорит, что не может понять в Осипе одной характерной черты: статья по благородности превосходна, но в ней Мандельштам восстает прежде всего на самого же себя, на то, что он сам делал, и больше всех. То же с ним было, когда он восстал на себя же, защищая чистоту русского языка от всяких вторжений других слов, восстал на свою же теорию, идею об итальянских звуках и словах в русском языке (его стихотворение «Итальянские арфы»). «Трудно будет его биографу разобраться во всем этом, если он не будет знать этого его свойства — с чистейшим благородством восстать на то, чем он сам занимался или что было его идеей».

9 июля

Об Эйхенбауме. АА «Лермонтова» считает лучшей его книжкой. «Он может мне ее принести без стыда». Эйхенбауму Тынянов говорил, что АА заинтересовалась этой книжкой, и он мне сказал, что хочет принести ее АА.

Шли по Фонтанке. Говорила, что Пастернак — по три-четыре года не пишет стихов, Мандельштам тоже, Асеев и т. д. и т. д.— тоже.

Есть какие-то «пределы». Если их перейти, то некоторые люди — наиболее чуткие — начинают задыхаться. И тогда им кажется странным, что вообще можно писать стихи, кажется, что писать стихи — немыслимо, и они не пишут, молчат, молчат, по три, по пять лет... И когда потом неожиданно для них самих к ним придет волнующая минута вдохновения и они пишут стихи,— они делают это с таким чувством, как будто в их поступке есть какая-то «греховность».

А разговор начался с того, что я сказал о том, что Н. Тихонов перестал писать стихи — вчера говорил мне — и хочет теперь писать прозу.

15 октября (из письма Л. В. Горнунгу)

Весьма вероятно, что скоро выйдет в изд. «Петроград» двухтомное собрание стихотворений АА[23], то, которое, казалось, погибло в типографии по всяким цензурным причинам. Гессен (издатель «Петрограда») просил АА срочно прокорректировать издание. АА поручила держать корректуру первого тома мне, что я и сделал с колоссальным удовольствием и чувством благодарности к АА за оказанную честь. Собрание это будет называться «Анна Ахматова. Стихотворения».— Так я и буду называть Вам его, если зайдет о нем речь. Стихотворения расположены в хронологическом порядке. Есть два-три стихотворения не напечатанные до сих пор — и превосходные.

1 ноября (из письма Л. В. Горнунгу)

По поводу Вашей фразы о «тайном интересе АА к изданию ее стихов» скажу: АА глубоко огорчена выходом ее стихов, потому что это грозит неприятными материальными (фининспекторскими) последствиями.

11 ноября (из письма Л. В. Горнунгу)

АА не удается найти комнату здесь ⟨в Ленинграде⟩, а потому она будет, вероятно, жить в Ц[арском] С[еле].

18 ноября

АА не любит говорить по-французски, потому что сознает, что не может находить слова с той точностью, с какой находит их, когда говорит по-русски...

Три дня подряд прилежно переводила французскую монографию об одном из художников и составляла конспект лекций для Пунина. Занимается этим постоянно. Так, подготовила старых — XVIII века — французов и французов XIX века. Раньше конспектировала с трудом две-три страницы. Теперь в один присест — страниц по сто пятьдесят. Об одной из школ, о которой были только английские и немецкие монографии, не могла прочесть и сделать конспекта по незнанию этих языков.

22 ноября

Пунин, узнав вчера вечером, что сегодня ему нужно доклад читать ...стал просить АА приготовить его к сегодняшнему дню. Всю ночь АА работала, прочла книгу об Энгре в 120 страниц, и к 7 часам утра все было сделано...

27 декабря (из письма Л. В. Горнунгу)

Анна Андреевна больна — лежит; очень боюсь, что у нее опять обострение туберкулезного процесса.

1927

4 января

Любит очень «Песни западных славян». Самая любимая из них — «Похоронная песня». Очень хороша и «Янко Маркович».

Ритмы этих песен повлияли на ритм «У самого моря».

2 марта (из письма Л. В. Горнунгу)

АА все это время больна; лежит в постели с декабря месяца. Н. Н. Пунин уехал в Токио, как вы, наверное, знаете.

11 марта

По просьбе АА я принес ей сегодня из Мраморного дворца ее Ariosto, который ей нужен был для работы по Пушкину. (АА нашла вчера моменты в «Евгении Онегине», написанные под влиянием Ariosto.) АА читала мне отдельные места из Ariosto по-итальянски и переводила с листа.

Я заметил, что читала АА с удовольствием еще и потому, что ей нравится самый звук итальянской речи в ее голосе.

Характерная черта: о Пушкине, о Данте или о любом гении, большом таланте АА всегда говорит так, с такими интонациями, словечками, уменьшительными именами, как будто тот, о ком она говорит,— ее хороший знакомый, с ним она только что разговаривала, вот сейчас он вышел в другую комнату, через минуту войдет опять... Словно нет пространств и веков, словно они члены ее семьи. Какая-нибудь строчка, например, Данте — восхитит АА: «До чего умен... старик!» — или: «Молодец Пушняк!»

29 марта

АА говорила мне о Томашевском, что, по ее мнению, он во всех своих работах по Пушкину преследует «тайную цель»: «найти Пушкину благородных предков»,— доказать, что Пушкину источниками служили и оказывали на него влияние главным образом перворазрядные поэты,

Анна Ахматова. 30-е годы

классики, а не второстепенные. АА иллюстрировала свою мысль примерами (упоминала Мильтона, Корнеля и других между прочим). И сказала, что такое желание Томашевского, конечно, очень благородно, но, однако, черное все же остается черным, а белое — белым. Предсказывала, что следующее полное собрание произведений Пушкина, если в нем будет участвовать Томашевский (а ему, несомненно, поручат «французскую часть»), будет именно с таким уклоном — со стремлением показать Пушкину «благородных предков».

8 апреля

Сегодня я учинил АА нечто вроде экзамена по знанию Пушкина. Взял однотомного и раскрывал на любой странице. Выбирал какую-нибудь самую малохарактерную для данного стихотворения строчку, читал ее вслух и спрашивал, из какого она стихотворения, какого года... АА безошибочно называла и то и другое и почти всегда наизусть произносила следующие за этой строчкой стихи... Перебрав так пятнадцать — двадцать примеров, я перешел сначала к прозе, а потом к письмам Пушкина. Оказалось, что АА знает и их так же безукоризненно хорошо. Я читал часто только два-три слова, и всегда АА совершенно точно произносила следующие за ними слова, а если это было письмо — подробно пересказывала мне содержание...

Могу утверждать, что и письма Пушкина АА знает наизусть.

10 апреля

Была в Филармонии на концерте О. Клемперера[24] (Стравинский, Дебюсси, Равель) вместе с Н. Данько и Л. Рыбаковой.

11 апреля

Я шел с АА в кинематограф. Сегодня АА весь день работала по Пушкину и утомилась очень. АА сказала, цитируя кого-то: «Как мы непритязательны в выборе развлечений, когда хорошо поработали перед тем».

3 мая

АА с Н. Данько в Камерном театре — «Любовь под вязами». Пьеса не понравилась. Не понравилась и Коонен.

1 июня

Сегодня ночью читала «Звезду» № 5, «Бирюзовый полковник» Тихонова, понравился. Считает, что очень много прекрасных мест. Но считает, что полковник — совсем не верен и нисколько на полковника не похож. «Проверьте меня предметно» — так скажет рабочий-металлист, а не б[ывший] полковник».

Показал ей в этой «Звезде» и «Ночную страну» Н. Брауна. Понравилась, хотя и отметила строки с 14 по 26 и очень блоковское — 46—54. Говорит — стилизация очень удачная.

11 июня

Вчера у Ал. Толстого была вечеринка, нечто вроде чествования артистов МХАТа. Съезд был к 12 часам ночи. Были артисты: Москвин, Качалов, Книппер и еще 2—3 других. Были Замятины, Н. Никитин[25], В. П. Белкин[26].

...За АА в 11 часов заехал К. Федин, и она с ним поехала. Был обильный ужин. Было много вина (пьян, однако, никто не был). Сидели до утра. Замятин произнес нечто вроде речи, в которой сказал: «Из всех писателей, здесь присутствующих, ни один, за исключением только Федина, не удержался от того, чтобы не написать пьесу... Даже Коля Никитин, и тот состряпал какую-то». И — ни тени сомнения! Конечно, если б кто-нибудь спросил его: «А ведь вот, здесь присутствует Ахматова, которая, кажется, как и Федин, не написала пьесы», Замятин спохватился бы и стал извиняться: «Ах да, да, да... Как же это я на самом деле... ну конечно же... Анна Андреевна, простите меня, ради бога».

Никто, однако, ничего не сказал, и Замятин не заметил своей бестактности.

...На вечере были и другие неловкости.

В начале ужина все — Федин, Качалов и кто-то еще — расхваливали АА артистам в тоне: «Вы не знаете, какая она у нас чу́дная!» Федин сказал, обращаясь к артистам: «Вы знаете Анну Андреевну только по стихам. Но этого мало. Стихи — еще далеко не все. А какие у нее познания в архитектуре, а какое...»

АА чувствовала себя неловко и, чтобы прекратить эти излияния, довольно саркастически сказала: «Аттестат с последнего места!»

Очень боялась, что ее будут упрашивать читать стихи. Так и случилось, но АА удалось отказаться.

Качалов читал много стихов и среди них несколько — гумилевских. Вышли вместе с Фединым сегодня в 9 утра. Он проводил АА и пил в Шереметевском доме чай.

Сегодня в 4-м часу дня к АА пришел К. С. Петров-Водкин. Человек, не знающий, что надо уходить. Ушел он только потому, что я уговорил его не опаздывать на поезд, отходящий в 7.40 (он живет в Шувалове). Он совершенно замучил АА своим сидением...

Когда АА жила вместе с Судейкиной, Петров-Водкин приходил, просиживал бесконечное количество часов.

...Разговаривала с ним сегодня с колоссальным напряжением, тем бóльшим, что старалась не показывать этого напряжения ему.

Петрова-Водкина АА считает очень хорошим художником.

Замятин вообще никогда — не было такого случая — не замечает за АА никаких литературных заслуг. Он совершенно игнорирует ее как поэта. Ничего в этом нет удивительного: Замятин не знает поэтов, никогда их не читал, не знает Пушкина. Эта большая узость в нем есть... Замятин считает, что если АА «когда-то писала какие-то там стишки» — то разве это настоящее, писательское? «Ведь она же не печатается в «Круге», в Госиздате и т. д. Разве можно принимать ее всерьез?»

АА не помнит, чтобы у нее когда-нибудь был с Замятиным разговор на серьезную литературную тему. Замятин относится к АА поэтому с каким-то поразительным мужским и литературным высокомерием... Разговоры на серьезные литературные темы, иногда начатые АА, всегда прекращались сразу же, при этом у АА появлялось убеждение, что Замятин в затронутом вопросе не сведущ, а у Замятина — что тема скучна и неинтересна.

Несмотря на это, она Замятина любит за честность, прямоту и многие качества и очень близко дружит с его женой...

13 июня

«Хотите, я вам скажу, как решилась ваша судьба? Январь или февраль 1924 — сон (3 раза подряд видела Николая Степановича). Тогда взяла записную книжку и записала краткую биографию. Перестал приходить во сне. Очень скоро встретила Лозинского, и он сказал о вас. Я почувствовала даже какую-то обиду,— значит, ко мне не считает нужным прийти. Но эта обида очень скоро прошла. А потом — не помню, какого числа (но вы его, кажется, помните), пришли ко мне вы...»

23 июля

АА послала телеграмму в Бежецк: «Бежецк, Гражданская, 15, Гумилевой. Вернулась Кисловодска. Жду вашего приезда. Аня».

1 августа [*Из рассказов АА о Кисловодске*]

Орбели Рубен Абгарович[27], 47 лет. Служит в Академии наук. Армянин.

Ездили в Железноводск. Там в больнице лежит дочь Орбели. Он хотел ее привести к АА, но у дочери был припадок печени. Орбели просил АА зайти в больницу. АА пошла. И долго была там — ждала, потом сидела у больной. Железноводска так и не видала. Из больницы отправилась прямо на вокзал.

Ездили в Ессентуки. Здесь живет жена Орбели. АА была у нее.

Говорила о сущности отношений с Орбели.

Романа не было, вовсе не было.

А было вот что: жизнь АА за последние годы складывалась так, что все окружающие ее люди были так загружены своими жизненными тяготами, так обременены, что стоило их толкнуть, и они могли бы пойти ко дну.

Они наваливались этой тяжестью на АА, и она выносила их тяжести на себе. И так это было тяжело, что ей уже не оставалось сил для своей собственной тяжести. Она считала себя как-то морально ответственной за всех этих людей. Тяжестью ложились на нее: отношения с В. К. Ш[илейко], отношения с Пуниным, отношения с Левой (существование которого она не могла улучшить), отношения с матерью и т. д. и т. д., до мелочей.

АА всюду брала руководящую роль на себя, брала потому, что нельзя было не взять, брала все заботы на себя, все, все...

Ее состояние было подобно стихотворению: «И двенадцать тысяч футов моря...»

И потому ей не хотелось ничего, не хотелось ни лечиться, ни выздоравливать, ни уехать, ничего не хотелось. Пить, пить эту чашу до конца.

И вдруг в Кисловодске встретился Орбели. Она почувствовала, что она может свалить на него свою собственную тяжесть, и он выдержит, потому что он сильный. И она это сделала, и стала легкой, веселой, не обремененной никаким грузом и здоровой.

Это все как-то в разговорах с ним сделалось. И даже не были разговоры эти интимны... Как-то так.

Первый раз за много лет АА встретился человек, который принял ее груз на себя, принял, не заметив этого сам и не зная этого...

12 августа

Приехал Лева из Бежецка.

10 октября

Ясный солнечный день. Холодный ветер с Невы. Утром позвонила мне, в 12 зашел в Шереметевский дом, и вместе пошли гулять по Фонтанке, по Инженерной, бродили по желтому саду, по сухим листьям. Русский музей нравится ей с этой стороны гораздо больше, чем с Михайловской площади... Решетка у Собора на крови ужасна, в ней буржуазная напыщенность. По набережной Мойки прошли на Дворцовую площадь взглянуть на новую окраску Зимнего дворца. Он стал лучше, но площадь потеряла единство, а Александровская колонна своим цветом теперь совсем дисгармонирует с окружающим. Асимметричен кусок дворца, прилегающий к старому Эрмитажу. У нескольких фигур Эрмитажа треснули ноги. «Они в белые ночи бегают на площадь играть в мяч, вот и поломали ноги!» По Миллионной шли. Заходила к Шилейко. Он совсем болен. В трамвае вернулась в Шереметевский дом. Пунин работал, а мы занимались английским языком на диване.

12 октября

Вечер провела у меня. Пришла часов в 9, нарядная, в черном шелковом платье, в ослепительных шелковых чулках... Очень скоро мама нас позвала в столовую. Ужинали, пили чай и вино — Мускат Люнель и Абрау — вчетвером: папа, мама, АА и я.

Потом я с АА вернулся в мою комнату. Потом прочел ей стихотворение «Дикарка милая, скорее забывай...», спрашивал ее мнение. Сегодня высказывала охотно. Потом читала стихи сама: «Ты прости мне, что я плохо правлю...» (сказала, что написала его в августе в этом году), «Здесь Пушкина изгнанье началось...» и другие...

Ушла в 12 с половиной, и я пошел провожать ее в Ш[ереметевский] д[ом].

6 ноября

...1902-й или 1903 г. Анненский читал в университете доклад о К. Бальмонте. Доклад этот был крайне неудачен. Старые университетские профессора тогда еще не приняли модерниста Бальмонта. Анненский был разруган ими до последнего предела. Тем более что доклад Анненского мог быть уязвим по своим формальным качествам.

АА помнит, как к ним, в Царском Селе, пришел с этого

доклада крайне возбужденный С. В. Штейн[28] и рассказал о неудаче Анненского.

Рассказывая мне этот случай, АА добавила, что — это одно из самых ранних ее «литературных впечатлений».

Потом сказала, что, читая в «Фамире Кифареде» то место, где Анненский говорит: «И сладость неудачи», она всегда почему-то сопоставляет этот случай с его докладом в университете.

Говорит, что со времени революции у нее сильно переменилось отношение к крови и смерти... Слово «кровь» вызывает в ней теперь воспоминания о бурых растекающихся пятнах крови на снегу и на камнях и ее отвратительный запах. Кровь — хороша только живая, та, которая бежит в жилах, но совершенно ужасна и отвратительна во всех остальных случаях. И то отношение к крови, какое было во всей дореволюционной поэзии, ей теперь совершенно чуждо.

Так же и «смерть». Смерть — всегда величественна, но прежде казалось, что смерть может быть следствием стечения каких-то обстоятельств, что смерть не приходит сама по себе, и никогда не приходило в голову, что смерть может быть просто от того, что организм износился, что, постепенно разрушаясь и тлея, организм теряет жизнь.

13 ноября

В столовой АА читала мне отрывки из «1905» Пастернака (книгу ей принес Маршак на днях). Отмечали влияние Гумилева, Северянина, Блока, пролетарских поэтов...

14 ноября

Читала мне вслух отрывки из «1905» и «Лейтенанта Шмидта» Пастернака.

Прочла IV главу «Лейтенанта Шмидта», отметила ее как удачную. Сказала, что эта глава напоминает ей хоры античных трагедий в трактовке И. Анненского.

15 ноября

Говорили о Пастернаке. АА сказала, что у него очень развито чувство погоды и способность находить все оттенки для ее описания.

АА любит лирику Пастернака. Поэма «1905» — в целом неудачна, хоть есть отдельные хорошие места.

Пастернак слишком «через вещи» чувствует, слишком нервен, капризен и эмоционален. Это достоинство в лирике, но это же ослабляет эпическую вещь, какой должна быть «1905» и «Лейтенант Шмидт».

19 ноября

Звонил С. Я. Маршак, спрашивал, нет ли у АА в виду человека, которому можно было бы поручить написать детскую книгу о Пушкине. По-видимому, это была скрытая форма предложения самой АА — Маршак знал, что АА ничего не зарабатывает...

«А вы в Москву не раздумали ехать?» — спрашиваю. АА быстро ответила: «Денег нет», но спохватилась и, желая убрать эту причину, заговорила о том, что она больна, да и желания у нее сейчас особенного ехать в Москву нет... «Нашли вы еще что-нибудь интересное в области сравнений произведений Пушкина разного времени?» Сказала, что ничего не нашла, потому что не искала,— ей нужно переводить монографию о Сезанне, она перевела еще очень мало страниц, 20—30, а в книге 400 страниц, и это отнимает у нее все время, и для себя уж ничего не может делать — не остается времени...

8 декабря

В 12 пришел к АА (перед этим она мне звонила), чтоб идти в Мраморный дворец. Взяли корзинку и пошли пешком мимо Инженерного замка... Мягкая зимняя погода, но серо. Разобрав книги и бумаги, с нагруженной корзинкой пришли домой. Проводив АА, я ушел в Дом печати... В 9 вечера пришел, принес полного английского Шекспира в подарок — сегодня трехлетие со дня нашего знакомства, принес груш, маслин — она их любит. Пробыл у нее до 12. Дома никого не было. Пунин — играет у брата в шахматы, а Пунина[29] на ночном дежурстве.

...Сначала АА, сидя на полу, разбирала свой архив и безжалостно вырезала из писем марки. На полу было холодно, и АА перебралась на диван. Показывала мне разные бумаги и письма, некоторые подарила мне... в честь трехлетия нашего знакомства.

10 декабря

В «Tristia» Мандельштама АА посвящено:

1. В стихотворении «Твое чудесное произношение...» (2-я строфа, последняя строка «Я тоже на земле живу»). Фраза эта была сказана АА в разговоре с Мандельштамом, и он ее вставил в стихотворение.

2. Стихотворение «В тот вечер не гудел стрельчатый лес органа...». АА была на концерте в консерватории вместе с О. М., слушали Шуберта.

Анна Ахматова, Осип Мандельштам, Н. Я. Мандельштам, Э. В. Мандельштам, Мария Петровых, А. Э. Мандельштам. 1934 г.

3. В стихотворении «Что поют часы-кузнечики...» 1-я строфа.

Это все говорил Мандельштам.

АА ставит резкую грань между одержимым «священным безумием» Мандельштамом и Ходасевичем, желчность и болезненность которого повлияли и на его психику.

14 декабря

Вчера и сегодня читала по-английски Честертона — «Ужасные пустяки», изд. 1909 г. Считает, что это было бы очень приятно читать в газете,— как фельетоны эти рассказики очень хороши. Есть и знания, и остроумие (правда, не того сорта, какой любит А. А.). А собранные в виде книги они производят более слабое впечатление.

Говорили о Н. Гумилеве, Анне Ивановне и Л. Н. Гумилеве, о Федерации (АА нисколько не удивлена отказом, она ожидала, что будет именно так), о М. Горьком и его прижизненном биографе И. Груздеве, читали газету, го-

ворили о Сологубе, его наследии (о том, как неверно оставить вместо рукописей переписанные на машинке стихи), о Е. И. З[амятине], об Эренбурге и его отношении к современности, о Пунине и его — опять — унылом состоянии, о Федине, о Шмидте из Института истории искусств и его новой книге (об АХХРе, об отношении Шмидта к искусству и т. д.); о том, классово или внеклассово искусство; об Ал. Блоке и воспоминаниях о нем Сологуба (как Сологуб просил у Блока стихов для альманаха в пользу евреев); о Сельвинском (АА не прочь пойти послушать его — не слышала никогда); о Шекспире, о Пушкине, О Честертоне, о Шенье; спрашивала, что делает Кузмин, и о многом другом.

15 декабря

Получила письмо от Е. Данько[30] из Царского Села. Пишет, что Голлербах хочет стать эккерманом Сологуба...

Из всех встреч с Сологубом вынесла впечатление, что Сологуб ненавидел Пушкина и Толстого. Да и вообще почти ни о ком хорошо не отзывался. Никакой системы в его мнениях нельзя было заметить. Блока называл немцем...

...Анненский остался вовсе не замеченным Сологубом. Помнит только один настоящий разговор — о Лермонтове, из которого можно было заключить, что Сологуб любил Лермонтова. По-видимому, любил и Достоевского.

30 декабря

Проводил АА к Замятиным на званый обед. Прощаясь, сказала тихо, неожиданно и грустно: «У меня такое тяжелое сердце... Бывает такое сердце... Тяжелое, тяжелое... Не знаю почему...»

1928

2 февраля

Весь день провел у АА — в Шереметевском доме. Днем к ней приходила какая-то отвратительная личность — по фамилии Данилов — читать стихи. Знает он, что Жуковский жил в 20-м веке, доказывал, что поэзия не искусство, сказал АА, что, если б у нее была сила воли, она должна была бы перевоспитать себя в пролетарскую поэтессу...

Анна Ахматова. 30-е годы

24 марта

П. Е. Щеголев предложил АА собрать, комментировать и проредактировать воспоминания современников о Лермонтове. За эту работу АА могла бы получить 400 рублей. Работу надо было произвести в течение нескольких месяцев — к сроку. АА, прочитав основные материалы, убедилась, что в такой срок работу выполнить она не сможет (если, конечно, не будет халтурить), ибо недостаточно знакома с эпохой (40-е годы). Поэтому от работы отказалась.

Л. Н. Замятина была на днях у АА и, несмотря на полученные ею от АА разъяснения о причинах отказа от работы, намекнув на бедственное положение АА, сказала, что «ведь это же все-таки 400 рублей».

Если вспомнить, что она только что собрала какую-то денежную сумму и послала ее в Бежецк, то слова ее можно понять и еще хуже (пользуется для содержания Левы благотворительностью, а когда предлагают работу — отказывается). Увы, ей не понять, что АА ни в какой крайности не пойдет на халтуру,— это во-первых. А во-вторых, что благотворительность оказывается не только Леве, а и Анне Ивановне, которую формально АА и не должна содержать. Леве же, сколько может,— АА посылает ежемесячно.

28 марта

...Вчера днем получил телефонограмму от АА: «Приехал Лева, Ахматова просит приехать...»

...А. И. Гумилева с Левой приехали, оказывается, еще в субботу, в тот день, когда АА была у меня в Токсово. АА узнала об их приезде только в воскресенье и очень досадовала.

...Весь день провел с Левой.

...Он с безграничным доверием относится ко мне...

...Вечером хотел пойти с ним в театр, но всюду идет дрянь; пошли в кинематограф. Левка остался доволен.

Проводив его домой, зашел к АА. Часа полтора говорил с нею о Леве; она очень тревожится за его судьбу, болеет душой за него...

Конец мая — начало июня (из письма Л. В. Горнунгу)

Умерла ближайшая подруга Анны Андреевны — Наталия Викторовна Гуковская, урожденная Рыкова — та, которой посвящено одно из стихотворений АА. Она была верным и постоянным другом, и АА в очень большом горе. Да и все мы, кто знал ее, любили ее глубокий ум, превосходную образованность и культурность, и редкую жизнерадостность.

АА переживает это потрясение с громадной силой духа и старается быть, как всегда, спокойной внешне. Но мне случилось быть свидетелем очень тяжелых минут ее жизни,— при мне она получила первое известие, я был вместе с АА на панихидах и похоронах, и я знаю, как глубоко пронизала все существо АА эта утрата.

Из письма П. Н. Лукницкого А. А. Ахматовой 6 февраля 1962 г.

Вечер памяти Ольги Мих. Артамоновой[31] в субботу 6 октября 1928 г. (устроен месткомом театра Юного зрителя).

(Из объявленных в программе не было М. Кузмина и С. Маршака.)

АА читала:

«Если плещется лунная жуть...»
«Здесь Пушкина изгнанье началось...»
«Когда я ночью жду ее прихода...»

и на бис (после 10-минутной овации):

«Шепчет: я не пожалею...»

Публика школьная. Кроме сестер Данько, Нины и Лидии Мануйловых, я никого из знакомых не видел.

1929

3 января. (Из письма Л. В. Горнунгу)

Вы спрашиваете об АА. Она относительно здорова. Просит передать Вам ее поклон.

Собрание ее стихотворений разрешено Гублитом на том условии, что из 1-го тома будет выкинуто 18 стихотворений, а из 2-го — 40. Иначе говоря, собрание издаваться не будет (если условия не будут изменены, на что надежды почти нет). Новые стихи там должны были быть — те, которые были напечатаны в различных журналах и не вошли в сборники, а также 7—8 совсем не напечатанных.

8 декабря

4-го был с АА у Шилейко. Он бледен, обильно кашляет кровью — ему недолго осталось жить. Квартира его умирает также — его выселяют, ибо дом перешел в другое ведомство. Но Шилейко уезжает в Москву. Он поручает АА вывезти его вещи и книги вместе с ее вещами и книгами в Шереметевский дом. Коридор Мраморного дворца грязен, забросан мусором...

На следующий день, пятого, с утра я с АА возились в пыли до 3-х часов, разбирая книги и вещи. АА устала смертельно, но дело сделали: отдельными кучами на полу лежат книги В. К. Ш[илейко], АА, мои, ненужные, архивы Судейкиной, А. Лурье...

Тряпки, ошметки, окурки, пепел, пыль, пустые папиросные коробки, обрывки бумаги, рвань, моль, бутылки, склянки, таблички вавилонской клинописи из собрания Лихачева[32]...

В субботу 7-го Шилейко уехал в Москву. АА провожала его с убеждением, что прощается с ним навсегда.

А вчера, в воскресенье, с утра, я вместе с АА отправился в Мраморный дворец закончить «похороны» квартиры. Разобрали последние вещи. В 12 явились упаковщики (за упаковку и перевозку взяли 75 рублей, а увезли все на одной подводе).

Сломанные, ветхие — красного дерева — бюрцо, кровать, 2 кресла, трюмо, столик, буфетик со стеклом...

Когда до революции АА поселилась в Петрограде, одним из первых, у кого она стала бывать, были Судейкины. Вот эта их мебель стояла тогда там, АА глядела на нее и не думала, что через много лет она будет вывозить эти вещи из квартиры Судейкиных. А вот еще через 5 лет — вывожу их я. И пять лет назад,— разве мог я думать, что будет так? Книги — в ящики, мебель — так. Составляли сначала все это на улице, я стерег, и слова прохожих: «Тоже имущество называется!» — презрительный гражданин. «Вещи-то старые, бедные... Куда их везут — продавать, что ли?» — соболезнующим тоном женщина.

Вывезли все, кроме того, что принадлежит дому (даже тарелку, принадлежащую дому, АА не захотела взять). Мокрый, пасмурный день. Теплый воздух... «Как зима в Париже, совсем так бывает зимою в Париже»,— сказала АА, когда утром мы шли через Марсово поле. Зеленая трава, о снеге город еще не мечтает.

А еще, когда шли утром, после моих слов о том, что 8 декабря 1924 года, в день моего знакомства с АА, я впервые вошел в Мраморный дворец, а сегодня, 8 декабря 1929 года, через 5 лет, я войду туда в последний раз,— АА сказала: «Это страшно...» «Сейчас я в кругу каких-то мистических цифр...» И объяснила: в 1921 году погибли ее брат и бывший муж, и это страшно и странно.

Вообще АА в состоянии духовного упадка.

Судьба выдумывает странные юбилеи...

Л. В. Горнунг

ЗАПИСКИ ОБ АННЕ АХМАТОВОЙ

На рубеже 1919—1920 гг. я впервые заинтересовался современной поэзией, когда мне попались книги Валерия Брюсова и Константина Бальмонта. Я увлекся ими и выписывал оттуда многие стихи. Но самое сильное впечатление у меня было, когда я прочел книгу стихов Н. Гумилева — «Колчан». Поэзия Гумилева надолго вытеснила из моей головы всех остальных поэтов. Я искал его стихи и стал собирать его сборники. С тех пор и другие ленинградские поэты стали мне ближе московских символистов. Это были Ахматова, Мандельштам и ранний Блок. Каким-то образом о моем увлечении этими поэтами узнала Анна Ахматова.

Знакомство с Анной Ахматовой зародилось еще в 1924—1925 гг., началась переписка через Павла Лукницкого, но только в марте 1926 года произошла наша непосредственная встреча.

С самого начала у нас установились теплые и даже дружеские отношения, которые продолжались в течение 40 лет, до конца ее жизни.

Конечно, для самой Ахматовой я мог быть только одним из многих ее почитателей, с моей же стороны было особенно сильно увлечение и ею самой, и ее стихами, так как она с самого начала для меня была окружена ореолом своей очень ранней известности и даже славы, и еще своей личной близостью к Гумилеву.

Я никогда регулярно не вел дневников и по условиям жизни, и из-за постоянной нехватки времени. Но в виде исключения, встречаясь и дружа с такими известными поэтами, как Анна Ахматова и Борис Пастернак, я всегда записывал даты и прямую речь, чтобы сохранить это в памяти.

Встречи с Ахматовой тогда были довольно редкими из-за пребывания ее вне Москвы, а также из-за моих отлучек, особенно в летние периоды во время отпусков.

Как-то получилось так, что основные и в какой-то степени значительные встречи с Ахматовой разделились на десятилетние сроки, даты которых мне хочется привести здесь.

1926 г., март. Первая встреча с Ахматовой в Москве.

1936 г., июль. Одновременное с Анной Ахматовой пребывание на даче у Шервинских, где я ее фотографировал.

1946 г., сентябрь. Мой приезд из Новгорода в Ленинград и встреча с Ахматовой.

1956 г., май. Кончина моей жены и присутствие Ахматовой в церкви во время отпевания.

1966 г., март. Кончина Анны Ахматовой.

5.1.1924

Вечером я и поэт Александр Ромм[1] узнали, что из Петрограда от Ахматовой вернулась Софья Парнок[2]. Мы отправились к ней на Тверскую-Ямскую. Софья Яковлевна прежде всего показала нам полученную от Ахматовой в подарок ее фотографию. На снимке Ахматова была в платье мелким горошком и сидела прямо, но голову повернула к плечу, так что виден был ее полный профиль. На паспорту была надпись — «Софии Парнок в долготу дней. Анна Ахматова».

Софья Яковлевна, рассказывая нам о своей поездке, в основном говорила о встрече с Ахматовой.

Очень ее удивило, что свою рукописную тетрадь со стихами Анна Андреевна достала из-под матраца. Стихи были написаны карандашом, и оказалось, что при поправках строки или одного слова Анна Андреевна стирала резинкой старый текст и вписывала новый.

Анна Андреевна объяснила это тем, что после смерти Александра Блока все его черновые рукописи стали доступны посторонним, в них рылись и пытались разобраться уже в первые дни после кончины Блока, и ей видеть это было неприятно.

По поводу рукописи Ахматовой Парнок сказала: «И все-таки это безжалостно по отношению к творчеству, а впрочем, может быть, она и права».

Парнок хотела подарить свою книгу стихов Ахматовой и подписать ее чернилами, как обычно, но у Ахматовой не нашлось чернил, зато на столе лежал огромный карандаш, толстый, длиною около аршина. Он был остро заточен.

С трудом, где-то у соседей нашли чернила, и Ахматова принесла старинную ручку в виде гусиного пера, но в руках Софьи Яковлевны эта ручка вдруг сломалась, но все же надпись была сделана. Впечатление от Петрограда осталось у Софьи Яковлевны такое, что в нем живут сейчас беднее, чем в Москве, но гораздо свободнее в смысле жилплощади.

Ахматова читала свои стихи Софье Яковлевне и просила ее прочесть стихи из подаренной книги.

30.XII.1924

От недавно приехавшей из Ленинграда Надежды Павло́вич[3] мне стало известно, что Ахматова хочет обратиться ко мне с

просьбой в деле собирания гумилевского стихотворного наследия в Москве. Поэтому сегодня я написал свое первое большое письмо Анне Андреевне.

5.I.1925

Сегодня Надежда Павлович дополнительно передала мне записку, в которой снова сообщала о просьбе Ахматовой принять участие в собирании стихотворного наследия Гумилева по Москве. Со слов Павлович я узнал, что в Ленинграде Ахматовой помогает молодой поэт Павел Лукницкий.

21.II.1925

После встречи с Надеждой Павлович и рассказа ее о Лукницком, сегодня написал ему первое письмо.

5.V.1925

В Москву на несколько дней приехал Павел Лукницкий. Он пришел ко мне, рассказывал о своей помощи Анне Ахматовой по сбору поэтического наследия Гумилева. Он передал мне для снятия копии сборник «Французских народных песен», переведенных Гумилевым и еще не изданных. Я ему показал все, что у меня есть из поэтического наследия Николая Степановича. Лукницкий хвалил Ахматову и как поэта, и как человека. И видно было, что он гордится ее дружеским отношением к нему. Лукницкий показал мне фото Ахматовой из книги Бориса Эйхенбаума о ней, которую я еще не видел. Он рассказал, что у него есть несколько рисунков самого Гумилева, сделанных в Африке, и что дом в Царском Селе, в котором жила семья Гумилевых и Анна Ахматова после замужества, был заселен посторонними людьми, которые топили печь бумагами, оставшимися в доме. Что это были за бумаги, он не знал. От Лукницкого я узнал, что переписка Гумилева с Ахматовой-невестой, по их обоюдному решению, была сожжена.

Лукницкий сказал, что с Голлербахом он не встречается[4], так как не может простить его поведения в последние дни Гумилева, особенно его издевательскую рецензию на книгу «Шатер».

10.V.1925

Утром я снова увиделся с Лукницким. Зашел к нему, чтобы посмотреть все, что он привез с собой. Кроме гумилевских стихов я увидел у него альбом с автографами ленинградских поэтов. Сговорились на днях встретиться еще.

13.V.1925

Я пришел к Лукницкому, и мы вместе с ним вышли во дворик, и там он мне читал неизданные стихотворения Мандельштама, Ходасевича и Лавренева. Все они мне понравились.

Он передал мне просьбу Анны Ахматовой посетить Сергея Ауслендера и записать его рассказ о Гумилеве. Я, конечно, обещал исполнить это в ближайшее время. Опять говорили о стихах Гумилева.

14.V.1925

Сегодня Лукницкий выехал из Москвы. Он поехал в г. Бежецк, где сейчас находится семья Гумилевых — его мать, Лева и Лена[5].

25.V.1925

Узнал, что Маяковский, Пастернак и Асеев решили устроить литературный вечер[6] — чтение своих стихов в пользу Анны Ахматовой.

14.VII.1925

Сообщил в письме Лукницкому, что по просьбе Ахматовой я виделся с Ауслендером[7] и записал с его слов воспоминания о первом знакомстве и встречах с Н. Гумилевым.

13.IX.1925

Лукницкий только что приехал из Гурзуфа. Находясь пока в Москве, он решил попытаться через Цекубу устроить Анну Ахматову в какой-нибудь санаторий. Первая попытка не удалась, а сейчас у него с собой ходатайство со многими подписями видных ленинградцев. Все это делается тайно от самой Ахматовой.

30.X.1925

Сообщил в письме Лукницкому о том, что я справился через П. С. Когана[8] в Цекубу о положении дела Ахматовой, о переводе ее из III-й в IV-ю категорию научных работников для большей возможности пользоваться санаторным фондом.

22.XI.1925

Сегодня по просьбе Лукницкого снова справился в Цекубу о санатории для Ахматовой и узнал только, что ее перевели в IV-ю категорию. Написал об этом Лукницкому.

27.I.1926

В письме спрашивал Лукницкого, есть ли возможность у Ахматовой получить путевку в крымский санаторий.

8.III.1926

Сегодня утром мне на работу в ГАХН (Гос. Академия художественных наук) позвонил Борис Пастернак. Он сказал, что в Москву приехала Анна Ахматова, что он виделся с ней, говорил обо мне, и что Ахматова хочет повидаться со мной, и просит меня зайти к ней завтра. Пастернак сообщил мне, что Ахматова остановилась в служебной комнате своего бывшего мужа искусствоведа Владимира Казимировича Шилейко, который сейчас временно выехал в Ленинград. Борис Леонидович объяснил мне, что я найду Анну Андреевну в бывшем морозовском особняке (на Пречистенке, 21), где помещается госмузей «Новой западной живописи», в комнате на первом этаже.

Сердце мое так и билось от волнения при мысли, что я в первый раз увижу Ахматову, живую, овеянную тенью Гумилева. Я мечтал и надеялся увидеть ее в Петрограде, а это теперь произойдет здесь, в Москве. До сих пор мы были знакомы заочно, и я написал несколько писем Анне Андреевне, и получил от нее ответ через Павла Лукницкого.

После работы, когда я шел по Арбату, то думал только о завтрашнем свидании с Анной Ахматовой. Настроение было такое, что я не замечал никого и ничего вокруг. Я даже не шел, а как бы летел по воздуху. Вдруг, переходя Плотников переулок на Арбате (бывший Никольский), около почты, я зацепился за край тротуара, со всего размаха упал на колени среди идущих прохожих и разорвал на обеих коленках брюки. Это меня сразу отрезвило, и я пришел в себя.

9.III.1926

Сегодня с утра я был свободен, вышел раньше времени. Было прохладное солнечное утро. Идти к Ахматовой было еще рано, и я зашел в сквер около храма Христа Спасителя, сел на скамейку так, чтобы мне были видны городские часы у Пречистенских ворот. Время шло медленно, и наконец без десяти двенадцать я отправился в дорогу. Я вошел в подъезд музея. В темном коридоре мне указали на высокую белую дверь. Я постучался и на голос вошел в комнату. В глубине у окна, около маленького столика, освещенная весенним солнцем, сидела Ахматова. Мы поздоровались, я присел на стул против нее. Дух у меня захватило. Анна Андреевна с первого слова была очень приветлива, заговорила со мной так, как будто мы уже давно знакомы. Как-то многозначительно она сообщила

мне, что в этот раз приехала в Москву, чтобы привезти собаку Шилейко, которая находилась временно у нее. Я не спускал глаз с Ахматовой, видел ее знакомые по портретам черты и ее знаменитую челку. Она была еще очень молода, и я сразу подумал, что рисунок Юрия Анненкова совершенно не передает ее внешности и очень старит. У нее был приятный грудной голос. Одета она была очень просто, на ней была светлая кофточка и темная юбка.

Какая-то женщина из служащих музея вошла с пачкой папирос и сказала, что она не успела купить чаю и хлеба. Я вызвался сбегать в магазин, и Анна Андреевна согласилась. Когда она встала, я увидел, что она очень высокого роста. Потом мы разговаривали с самого начала, конечно, о Гумилеве, о его поэтическом наследии. Анна Андреевна сказала, что принимает участие в сборе его рукописей, которые после его гибели разлетелись по всему Петрограду. В этой работе ей очень много помог Павел Николаевич Лукницкий, в Москве же она надеется на мою помощь. Она сказала, что в Москву переехали художники Кардовские[9], которые хорошо знали Гумилева с давних времен. Анна Андреевна обещала меня познакомить с ними и просила записать их воспоминания. Она расспрашивала меня, что мне удалось собрать из гумилевских материалов. Я сказал, что у меня есть почти все его книги, что я разыскал много стихотворений в ранней редакции, разбросанных по разным журналам и газетам. Сказал, что у меня есть авторская рукопись новеллы «Скрипка Страдивариуса», полученная через Г. Г. Шпета от владельца издательства «Скорпион» С. А. Полякова.

Когда Анна Андреевна узнала, что у меня есть фрагмент из неизданной китайской поэмы «Два сна», то выяснилось, что как раз этой части поэмы у нее не хватает, и очень обрадовалась.

В конце нашего разговора она расспросила, как ей найти поэтессу Софию Парнок и как ей проехать на Зубовский бульвар к Кардовским, куда она приглашена на блины, и пообещала предупредить их о моем к ним приходе. Я простился и вышел из музея в каком-то необыкновенном, окрыленном состоянии. Этот день останется навсегда в моей памяти светлым праздником — я в первый раз виделся с Анной Ахматовой.

11.III.1926

Утром зашел к Пастернаку. Мы с ним поговорили об Ахматовой, поделились своими впечатлениями.

Вечером меня известил Мура — Михаил Ильич Ромм, будущий кинорежиссер, что к нему на квартиру звонила Софья Захаровна Федорченко и просила передать, что Анна Ахматова ждет меня завтра утром.

12.III.1926

С утра прекрасная погода с синим небом, но морозно. Из дому вышел раньше, чем нужно,— дома мне не сиделось. Ходил по Арбату. Ровно в двенадцать я был у Ахматовой, как было назначено. Оказалось, что она еще не была готова меня принять. Я прошел в сквер возле храма Христа Спасителя. У меня с собой была «Нечаянная Радость» Блока, но читать от волнения я не мог.

Когда я вошел к Ахматовой, у нее в комнате был Н. Н. Пунин; оказалось, что они приехали вместе. Она нас познакомила.

Анна Андреевна сказала, что виделась с Кардовскими, и просила меня зайти к ним, записать их воспоминания о молодом Гумилеве и переписать два его неизданных стихотворения из их альбома.

Я попросил Ахматову передать мое письмо Лукницкому, когда она вернется домой. Ахматова протянула конверт Пунину, чтобы он спрятал его у себя.

В общем, Анна Андреевна была очень мила и дружелюбна. Провожая меня до двери, как-то смутившись и смеясь, она созналась, что в альбоме у Кардовских есть стихотворение, подписанное ее именем, и добавила, что это стихотворение писала не она, а Гумилев[10], так как ей было тогда лень самой что-то придумывать.

Анна Андреевна сказала, что у Кардовских есть портрет Гумилева 1909 года, написанный маслом Ольгой Людвиговной Делла-Вос-Кардовской в Царском Селе.

Простясь с Ахматовой и Пуниным, я решил сегодня же позвонить Кардовским. Дмитрий Николаевич пригласил меня прийти вечером.

Знакомясь, Ольга Людвиговна пояснила, что ее девичья фамилия — Делла-Вос — испанского происхождения. Однако ничего испанского в ней не было видно, она была очень обрусевшая. Потом мы присели к столу, и я стал записывать их рассказ о жизни в Царском Селе и встречах с семьей Гумилевых. Кроме того, я скопировал два стихотворения Гумилева из альбома и третье, подписанное Ахматовой.

Кардовские рассказывали вместе, но больше говорила Ольга Людвиговна, а ее муж добавлял кое-какие подробности. По ходу рассказа Кардовская отвлекалась в сторону и говорила также об Анне Ахматовой и поэте графе Василии Комаровском[11]. У них на стене среди живописных работ Ольги Людвиговны висел портрет Анны Ахматовой под деревом в черном платье с оранжевой шалью, накинутой на плечо. Я знал этот портрет по цветной репродукции. Тут же был овальный портрет их дочери Кати Кардовской.

Дмитрий Николаевич был график и акварелист и сделал много книжных иллюстраций, из них самые известные —

иллюстрации к комедии Грибоедова «Горе от ума». Вместо мольберта его рабочим местом был стол у окна, а на окне стояло на подставке стекло ультрамаринового цвета. Он сообщил мне, что по природе левша и все пишет и рисует левой рукой.

Ольга Людвиговна вытащила из-за шкафа свернутый в трубочку портрет молодого Гумилева. Почему-то он был не на подрамнике. Она обещала сфотографировать этот портрет для меня.

Случайно я увидел первое издание «Романтических цветов» (Париж, 1908) с дарственной надписью Гумилева и получил разрешение взять книгу на несколько дней.

Когда я вышел от них, было уже одиннадцать часов вечера. Я вспомнил, что Ахматова и Пунин сегодня уезжают в Ленинград ночным поездом, и мне захотелось проводить их. Вскочил в трамвай, но из-за волнений сегодняшнего дня не сразу понял, что провожать было уже поздно. Пересел в другой трамвай, как оказалось, не в ту сторону, и в конце концов отправился домой пешком. Дома я написал письмо Анне Андреевне о визите к Кардовским.

26.III.1926

Сегодня взял билет в Ленинград. Послал телеграмму Лукницкому. Эти дни живу только мечтами о поездке в Петербург-Ленинград.

27.III.1926

Сдал на работе на время моего отъезда дела. Потом зашел к Кардовским взять рукописи их воспоминаний о Гумилеве, которые я записал под их диктовку и давал на прочтение, и от них поехал домой собираться в дорогу. Жена моего брата дала мне книгу Курбатова «Петербург», чтобы я познакомился с городом и его архитектурой. Я приехал на Октябрьский вокзал. У меня верхнее место у окна. Поезд тронулся, и вот Москва позади.

28.III.1926

Подъезжая к Ленинграду, в окно стараюсь увидеть хоть какие-нибудь признаки старого Петербурга, хотя бы купол Исаакия, но вижу одни фабричные трубы. Сердце замирает и рвется навстречу неведомому, хочется выскочить из поезда и бежать вперед.

При выходе из Московского вокзала на площадь было странно увидеть на противоположной ее стороне огромную конную статую Александра III. Подойдя к ней, прочел четверо-

стишье Демьяна Бедного «Пугало». У встречных спросил, где Невский, и пошел по нему.

После Аничкова моста с его «коноводами» Клодта чемодан мне стал казаться тяжелым, и я с трудом тащил его. В доме на Садовой Лукницкий открыл мне дверь квартиры. Я пошел умыться с дороги, и потом мы пили кофе. Вскоре к Павлу Николаевичу начали собираться поэты. Предполагалось издание альманаха «Ларь». Я, чтобы не мешать им, ушел в Русский музей.

Днем обедали в семье Лукницких, а потом мы с Павликом часам к семи пошли к Анне Ахматовой, которая жила на Фонтанке в большом квартирном доме во дворе позади Шереметевского дворца, где развернут историко-бытовой музей графов Шереметевых.

У нее в квартире сотрудника Эрмитажа Н. Н. Пунина отдельная небольшая комната. Столик у окна, а по стене противоположной двери застекленный шкаф с книгами. В глубине комнаты, справа от входной двери — кровать, покрытая старинным вязаным одеялом, очень красивым по расцветке. Ахматова сказала, что это одеяло куплено на распродаже дворцового имущества. Она спросила меня, что я видел в городе, и сказала Лукницкому о том, что мне необходимо еще показать.

29.III.1926

Утром я прогулялся немного по ближайшим улицам. После чего мы с Павлом Николаевичем сверяли текст неизданной трагедии Гумилева «Отравленная туника». Потом начали сверять картотеки по Гумилеву, составленные мною и Лукницким.

По телефону позвонила Анна Ахматова и сказала, что придет к нам. Лукницкий прибрал комнату и приоделся в ожидании ее, вероятно, это было для него все же событием.

Анна Андреевна пришла, поздоровалась и сказала: «Давайте теперь читать стихи». Тут Лукницкий достал неизданные стихи Гумилева, их оказалось у него довольно много, он нарочно скрыл от меня это, чтобы сделать мне сюрприз. Это были два альбома сестер Кузьминых-Караваевых, Марии и Ольги, в которых были только стихи Гумилева.

Я услышал и неизвестные мне стихи и прекрасное чтение. Ахматова при мне читала неизданные стихи Гумилева! Мог ли я надеяться на такое счастье! Часа через два за Анной Андреевной зашел Николай Николаевич Пунин, немного чудной, близорукий, с постоянно моргающими веками, но оживленный и милый.

30.III.1926

...Написал письмо Борису Леонидовичу Пастернаку (он очень сочувствовал моей поездке в Ленинград).

31.III.1926

Сегодня утром Анна Андреевна сговорилась с нами о том, что мы должны быть у нее вечером около 7 часов. Но мы так увлеклись с Павлом Николаевичем, читая собранные им от разных близких Гумилеву людей воспоминания, что спохватились уже в 9 часов вечера.

Мы быстро дошли до Ахматовой и застали ее лежащей на диване. Она встала, предложила поехать куда-нибудь на трамвае. Вошли Пунин с женой, и нас всех пригласили в столовую пить чай. Жена Пунина Анна Евгеньевна сидела за самоваром. Пунин расположился в кресле с книгой в руках, но участвовал в разговоре. Веки его моргали непрерывно (кажется, у него тик). Разговор шел об Эрмитаже, об архитектуре старого Петербурга, о том, что мне надо еще посмотреть.

Из дома вышли все вместе. Пунины уехали куда-то на трамвае. Лукницкий пошел к себе домой, так как Анна Андреевна решила пройтись со мной пешком по ближайшим улицам и еще раз показать мне то, что мы с Лукницким смотрели в первые дни моего приезда. На небе было темно, но повсюду горели фонари. В воздухе чувствовалась весна, и откуда-то со стороны Невы тянул теплый ветер. Когда мы проходили мимо Александринского театра и памятника Екатерине II, освещенных яркими фонарями, я случайно взглянул на небо и увидел на его очень темно-синем фоне большие полосы густого красного цвета. Я спросил Анну Андреевну об этом, и она сказала, что это северное сияние. Народу на улице было еще много, и мы часа два ходили по Ленинграду.

Анна Андреевна говорила, как она любит этот город, хотя в ее жизни в этом городе было много трагического и слишком много было потерь и переживаний.

Анна Ахматова заговорила со мной о Максиме Горьком. Она сказала, что он настолько знаменит, что каждое его замечание и каждая записка будут запоминаться и будут где-то опубликованы. У меня осталось впечатление, что, говоря о Горьком, Ахматова думала о себе. Вообще в эти годы из осторожности она не писала писем и не говорила по телефону.

1.IV.1926

С утра мы с Лукницким продолжали чтение «Трудов и дней» Гумилева. Но дошли только до 1913 года. Потом отправились к Исаакиевскому собору.

...Дома у Лукницкого я карандашом в свой альбом, при-

везенный из Москвы, скопировал фотографию Гумилева, последнюю, снятую в конце его жизни М. Наппельбаумом, так как у Павлика не было такой лишней, хотя он и обещал заказать для меня. В 7 часов вечера мы позвонили Анне Андреевне и отправились к ней. Пробыли до 10 часов вечера. Она читала стихи свои, прежние и новые, и стихи Гумилева из его книг. У меня с собой был небольшой альбомчик, куда мне вписывали стихи разные поэты. В нем уже были написаны Пастернаком четыре стихотворения из сборников «Сестра моя жизнь» и «Темы и вариации».

Анна Андреевна полюбовалась его размашистым почерком, который она назвала «крылатым». Я попросил ее вписать мне что-нибудь. Она согласилась не сразу, как-то колебалась, но Лукницкий сказал: «Ну, напишите, что вам стоит». Она написала мне стихотворение «Как просто можно жизнь покинуть эту...». Она не сказала, чьей памяти оно посвящено, но я подумал, что она имеет в виду судьбы многих русских поэтов.

Анна Андреевна решила немного пройтись и проводила меня с Лукницким до его квартиры и зашла к нему. Я собрал свой чемодан. Вышли из дома все, но на Московский вокзал я отправился вместе с отцом Лукницкого, которому тоже надо было куда-то ехать поездом, а Павел Николаевич пошел провожать Ахматову.

Прощай, Петербург-Петроград-Ленинград! Долго будет в моей памяти первое знакомство с замечательным городом, вероятно, на всю жизнь.

14.IV.1926

Получил почтой от Лукницкого обещанную мне фотографию Николая Степановича с папиросой в руке и окрашенную в тон сепии работы М. Наппельбаума.

Тут же была приложена книжечка стихов К. Вагинова, изданная очень изящно «по-ленинградски» (самого Вагинова я видел у Лукницкого, когда был в марте у него).

22.V.1926

Получил от О. Л. Кардовской две фотокопии портрета Гумилева, написанного ею на холсте маслом в 1909 году.

Одно фото послал почтой в Ленинград Ахматовой.

20.XI.1929

Послал Анне Андреевне в Ленинград недавно написанное и посвященное ей стихотворение — воспоминание о моей первой поездке в ее город.

ЛЕНИНГРАДКЕ

Нам редко видеться дано,
Но наша встреча не случайна,
Значенье прежних дней темно,
А город Ваш — все та же тайна.

Я помню мартовский закат,
И звезды в небе лиловатом,
И опустелый Летний сад,
И памятник перед Сенатом.

Четыре дня, но до сих пор
Я вижу их, как на ладони,—
Вокзал, и Невский, и простор,
И Клодта вздыбленные кони.

А завтра — солнце в синеве,
А к ночи полосы сияний,
И наша встреча на Неве
При лунном блеске снежных зданий.

И будто в воздухе гроза,
И рядом чья-то тень, сурова,
И чьи-то скошены глаза,—
Но пусто вдруг — и снова, снова...

И это всё, чтоб — верный страж,—
Пока года гремят, как танки,
Всю жизнь я помнил профиль Ваш
И дом старинный на Фонтанке.

1929 *Лев Горнунг*

3.I.1930

Анна Андреевна в Москве, я ее сегодня навестил. Она лежит больная. Я рассказал ей, что в Москве в недавнее время начал собираться кружок московских пушкинистов. В него входят: М. А. Цявловский, Г. И. Чулков, жена Цявловского Татьяна Григорьевна, Ю. Н. Верховский[12], И. А. Новиков[13], В. В. Вересаев.

Помещение для кружка предоставил в своем доме участник кружка, актер МХАТа В. В. Лужский.

Однажды Ю. Н. Верховский рассказал мне, что Вересаев задумал написать книгу «Пушкин в жизни». Основанием для книги Вересаев взял стихотворение Пушкина «Пока не требует поэта к священной жертве Аполлон...». Решив, что Пушкин в первой половине этого стихотворения изображает не поэта вообще, а самого себя, Вересаев начал составлять книгу по мемуарам, где говорится о Пушкине в его житейских положениях в отрыве от поэтического творчества. Так создалась эта книга. Когда я рассказал об этом Ахматовой, она сказала, что Пушкина невозможно отделить от поэзии и самую идею

этой книги она считает порочной. «Немыслимо согласиться с тем, что слова:

И средь детей ничтожных мира
Быть может всех ничтожней он —

могут относиться к самому Пушкину».

28.I.1930

Пришел к Анне Андреевне, так как мы с ней думали сегодня идти на «Вишневый сад» в Художественный театр, но не успели собраться, да и за день к тому же Анна Андреевна устала, и было решено, что я ей помогу разобраться в ее книгах. На прощание получил от нее в подарок книгу Кантемира.

8.VI.1931

Я был у Юрия Верховского по случаю дня его рождения. К нему пришли Мстислав Александрович Цявловский с женой Татьяной Григорьевной, Георгий Чулков, Иван Новиков.

За чаем Цявловский сообщил об Анне Ахматовой. Он сказал, что она начала заниматься Пушкиным, для чего она затребовала в Ленинград из Библиотеки им. Ленина рукопись «Золотого петушка». Ей трижды отказывали и, наконец, объяснили, что подлинные рукописи Пушкина на руки не выдаются, причем сообщили, что такой рукописи в рукописном отделе библиотеки нет, но есть недавно приобретенная рукопись Пушкина о Бове-Королевиче, в которой упоминается царь Додон. Цявловский объяснил, что кто-то неправильно осведомил Анну Андреевну о порядке получения рукописей.

9.VII.1932

Сегодня я пришел в Дом Герцена. Осип Эмильевич Мандельштам обещал мне надписать мою любимую книжку его стихов — «Tristia». Когда я шел к нему, то уже знал от Андрея Владимировича Звенигородского[14], что застану там Анну Ахматову. Я пришел ненадолго, чтобы не мешать их встрече. Они были вдвоем, так как Надежда Яковлевна куда-то вышла. Отдав мне книгу, Осип Эмильевич предложил написать одно из своих последних стихотворений — «Дайте Тютчеву стрекóзу...». Я, конечно, обрадовался этому, а он написанный листок передал Анне Андреевне и предложил ей написать что-нибудь на оборотной стороне. Анна Андреевна спросила меня, что бы я хотел, и я попросил написать одно из моих любимых стихотворений — «Не бывать тебе в живых, // Со снегу не встать...».

Я пожалел, что у меня не было с собой фотоаппарата, так

было бы хорошо их снять вдвоем, еще совсем молодых. Но я начал заниматься фотографией только летом 1931 года, не считал себя еще достаточно опытным и не привык носить с собой фотоаппарат. Я простился с ними и отправился домой.

29.XI.1933

Ахматова сейчас гостит у Шервинских.

2.IV.1934

Говорят, что Лева Гумилев вернулся в Москву.

25.IV.1934

Сегодня в ГАХНе был вечер, посвященный античной поэзии, читались переводы из Платона, Архилоха и других древнегреческих поэтов.

Среди присутствующих были Сергей Иванович Соболевский, Владимир Нилендер, Сергей Шервинский и другие. Прошел слух, что на вечер обещали приехать Анна Ахматова и Осип Мандельштам, но их не было.

23.V.1934

Ахматова сейчас в Москве, она еще надеется, что может чем-то помочь Осипу Мандельштаму[15].

24.XI.1934

Узнал от А. В. Звенигородского, что Анна Ахматова опять в Москве, и отправился навестить ее. Мечтаю ее сфотографировать. Она встретила меня очень мило. Мы с ней не видались более двух лет. Она расспрашивала меня, сохранились ли мои работы по творчеству Гумилева и чем я занимаюсь теперь. Рассказала о Павле Лукницком, сообщила о его женитьбе, о том, что он ежегодно ездит на Памир, увлекся путешествиями. Пишет прозу, работает в разных издательствах и временно отошел от работы по Гумилеву.

Ахматова сказала, что стихов сейчас пишет мало, занимается изучением Пушкина.

Мне неудобно было долго задерживаться у нее, поскольку она живет в чужой квартире. На прощание Ахматова просила меня навещать ее в случае моих поездок в Ленинград, дала мне свой телефон и сказала, что живет все там же, на Фонтанке. Повторила: «Очень рада, что вы вспомнили меня». А я-то никогда и не забывал о ней.

14.VII.1936

Из Москвы шестичасовым поездом с Казанского вокзала я наконец отправился на станцию Пески, на дачу Шервинских. Дача Шервинских стоит на берегу Москвы-реки близ ее впадения в Оку. Анна Ахматова живет там уже третью неделю.

Когда я пришел со станции, в доме никого не было заметно. За домом на лужайке я встретил Сергея Шервинского. День был очень жаркий и пыльный, и Сережа предложил мне первым делом умыться холодной водой из колодца.

Было уже поздно, вечерний чай собрались пить не на террасе, а в столовой. За большим круглым столом с шумно кипящим самоваром уже сидели профессор Василий Дмитриевич Шервинский, Анна Андреевна Ахматова и врач Валентина Ивановна Обакевич. Леля (Елена Владимировна — жена Сергея Васильевича) была нездорова и лежала в своей комнате.

Я вошел в столовую вместе с Сергеем, Анна Андреевна встретила меня с дружеской улыбкой как старого знакомого. По просьбе Лели Сережа провел меня к ней, она хотела со мной поздороваться.

В столовой вместо хозяйки разливала чай Валентина Ивановна, но ее тут же позвала Елена Владимировна, и Анна Андреевна встала, чтобы налить мне чаю. За столом говорили мало.

После чая профессор Шервинский удалился в свою комнату. Он привык рано ложиться, ему было восемьдесят шесть лет.

Анна Андреевна со мной и Сережей вышла из столовой на открытую каменную террасу подышать свежим воздухом. Разговор зашел об Осипе Мандельштаме и о нашей предстоящей поездке в Коломну.

Я был в Коломне ранее только один раз. Сережа, конечно, гораздо больше, так как эта дача принадлежала его отцу с давних пор. Анна Андреевна никогда не бывала в Коломне, и она интересовала ее как старинный русский город.

Сидя на террасе, окруженной невысокой балюстрадой и чугунной ампирной решеткой, мы все трое смотрели на звезды и на пробегавшие над нами ночные облака.

На террасу вышла Валентина Ивановна с немецкой овчаркой Баяном, которого она привезла с собой, и предложила Анне Андреевне пройтись по берегу реки.

15.VII.1936

По утрам к чаю на большую боковую деревянную террасу подавали самовар. Сегодня, когда все собрались и сидели за столом, я предложил сфотографировать всю группу.

Во главе стола на своем обычном месте сидел Василий Дмитриевич Шервинский, как всегда повязанный салфеткой. Возле него стояла и резала хлеб его невестка Елена Владими-

Е. В. Шервинская, В. И. Обакевич, Анна Ахматова. Старки. Фотография Л. Горнунга. Лето 1936 г.

ровна. По другую сторону стола сидел Сергей Васильевич и рядом с ним, близко от самовара, Анна Андреевна Ахматова. Еще за столом находилась тетушка Елены Владимировны — Александра Дмитриевна Позднякова.

Анна Андреевна во время съемки повернула голову немножко вправо, и на фото получился ее полный профиль.

После утреннего чая Ахматова предложила мне пройтись по берегу реки. Мы говорили об общих ленинградских знакомых, я расспрашивал ее о Михаиле Кузмине, о Михаиле Лозинском, о Павле Лукницком, и снова она заговорила об Осипе Мандельштаме[16], судьба которого ее сейчас очень беспокоит.

Потом мы отдыхали в тени под ивами.

После обеда я взял свой фотоаппарат, с которым не расстаюсь теперь, и пошел с Анной Андреевной и Валентиной Ивановной, прихватившей с собой Баяна, на прогулку. Я снимал их под теми же ивами. И отдельно Анну Андреевну с Баяном у реки. К сожалению, я не рассчитал выдержку, и эти снимки получились не очень удачно.

За чаем и за обедом, когда Анна Андреевна отказывалась от какого-нибудь блюда, хозяева упрекали ее, что она слиш-

ком мало ест, она смущалась, пыталась как-то оправдаться, и в таких случаях в ней было что-то почти детское, какая-то застенчивость и неловкость. Держалась она в высшей степени скромно и просто.

В этот ее приезд нельзя было не заметить бедности ее одежды. Она привезла с собой одно темное платье с большим вырезом вокруг шеи из дешевой тонкой материи, очень просто сшитое, и еще три ситцевых светлых платья. Туфли были только одни, черные, матерчатые — лодочкой, на кожаной подошве. На голове в солнечные дни она носила небольшой сатиновый платочек бледно-розового цвета.

Анна Андреевна пыталась иногда поиграть и поговорить с двумя девочками — Анютой и Катей, внучками профессора, но выходило это у нее как-то неловко, неумело. Чаще к ней подходила младшая — Катя.

При встрече с Анной Андреевной этим летом я заметил в ней большую перемену, не то чтобы она очень постарела, но она была сплошной комок нервов. У нее какая-то неровная походка, срывающийся, непрочный голос.

Врачи ее сейчас лечат, здесь, на даче, за ней наблюдают профессор Шервинский и его ассистентка Валентина Ивановна — оба терапевты и эндокринологи. Василий Дмитриевич нашел у нее изменения в щитовидной железе. И все же Анна Андреевна говорит, что за последнее время она «перестала чувствовать свое сердце».

Не могу отделаться от мысли, что рядом находится необыкновенный человек, какого можно встретить только раз в жизни, и потому как-то странно видеть Анну Андреевну в самых обыкновенных житейских положениях.

Сергей Васильевич взял с собой из Москвы литературную работу — он редактирует для Гослитиздата перевод «Фауста» Гёте, сделанный в свое время Валерием Брюсовым, по вечерам он решил читать нам вслух отдельные главы. Сегодня после заката он прочел три главы из первой части «Фауста».

16.VII.1936

За утренним чаем Сергей Васильевич сказал, что день, кажется, обещает быть без солнца и не жарким, и мы решили ехать в Коломну. Идти на первый поезд было уже поздно, но Сережа где-то выяснил, что в час дня со станции Пески на Коломну пойдет рабочий поезд. Сережа, Анна Андреевна и я отправились на станцию. Туман расходился, и начинало припекать солнце. После некоторого колебания Анна Андреевна решила, что все равно надо ехать. Обидно было бы возвращаться домой.

...Коломна интересовала Анну Андреевну не только своей стариной. Ей хотелось посмотреть на город, в котором в 1919-м

или 1920 году на Старом Пасаде одно время жил писатель Борис Пильняк. В его книге есть точное описание этого района и Заречья. Там он написал свою повесть «Колымен-град», напечатанную в альманахе «Северное утро». Анна Андреевна дружила с Пильняком в последние годы его жизни.

На Коломну Анна Андреевна смотрела с интересом. Пока мы с Сережей задержались у одного старинного дома XVII века, Анна Андреевна прошла в соседний переулок и присела на скамейку у деревянного домика в тени. Мы с Сережей увидели Ахматову в этом переулке и решили заснять ее на фоне этого пейзажа со старинной шатровой колокольней. Этот снимок у меня получился удачным.

Мы пошли дальше. Я сфотографировал Шервинского и Ахматову на фоне Пятницких ворот, из которых, по преданию, выехал Дмитрий Донской со своим войском, отправляясь на Куликово поле. Я снял ворота во всю высоту, и фигуры около них получились мелкие.

Когда Анна Андреевна присела отдохнуть прямо на траве около большого тенистого дерева, она протянула руку к стволу и оперлась на него. Поза была интересная и необычная, и я заснял Ахматову.

На Соборной площади мы любовались древним собором, старинными церквами и зданиями ампирного стиля. Ахматова сказала, что это место напоминает ей Италию, город Пизу, и Сергей Васильевич с ней согласился. Им обоим довелось в молодости побывать в Италии.

Мы подошли к одной из башен Коломенского кремля, известной под названием «Маринкина башня», так как в ней, по преданию, сидела в заточении Марина Мнишек. Оба входа в башню были закрыты. Я оставил Сережу и Анну Андреевну и отправился искать сотрудников музея, чтобы получить разрешение на осмотр башни. Когда я вернулся и были принесены ключи кем-то из музейных работников, Ахматова и Шервинский сидели возле башни на бревнах.

Осматривали башню недолго. У Анны Андреевны при подъеме по узкой кирпичной лестнице оторвалась у туфли подошва, о чем она со смущением нам сообщила. Она спросила, нет ли у меня перочинного ножа, но Сергей Васильевич на том основании, что Ахматова надела в дорогу туфли его жены Елены Владимировны, смело оторвал отскочившую подошву.

По дороге к вокзалу Анна Андреевна захотела пить, и, когда поравнялись с пивной «американкой», решили выпить пива, к которому продавались только крутые яйца.

На центральной площади зашли в магазин, чтобы купить продукты по заданию жены Сергея Шервинского. В окне соседнего дома увидели необыкновенно красивый цветок. Он был темно-красного цвета и заинтересовал Ахматову. Сергей Васильевич сказал, что это глоксиния.

Анна Ахматова. Старки. Фотография Л. Горнунга. Лето 1936 г.

Дальше Сережа повел нас через цветник — местную гордость — на базарную площадь. В цветнике Сережа показал Анне Андреевне свои любимые цветы — портулаки. Это низкорослые разных оттенков звездочки, обычно сидящие по краю клумбы как декоративный бордюр. Их употребляют в салат. Сергей Васильевич, шутя, советовал Анне Андреевне запомнить эти цветы, чтобы расширить ботанические познания.

На опустевшей в это время площади колхозного базара еще сидели фотографы около живописных декораций, на фоне которых они снимали своих клиентов. На одном полотне был нарисован маслом кавказский конь и на нем всадник в костюме джигита, на месте головы всадника была вырезана дыра. Сзади декорации была лесенка и площадка, встав на которую можно было просунуть в дыру свое лицо и стать джигитом на снимке. Конь был нарисован черной краской, и я по оплошности сказал: «Какой красивый черный конь». «Не черный, а вороной»,— поправила меня Анна Андреевна.

Сергей Васильевич решил, что если бы Анна Андреевна снялась на этом коне, просунув голову в дырку, то это был бы самый замечательный ее фотопортрет. Ахматову даже перепугала эта мысль, и тогда Сережа уверил ее, что он сам снимется таким образом.

Мы отправились на вокзал, купили в буфете мятных лепешек и, изнемогая от жары и жажды, возвратились в Старки — на дачу Шервинских.

В этот день Анна Андреевна заметно загорела. Я ее спросил, избегает ли она загара, и она ответила: «Нет, мне все равно, я сейчас совсем не слежу за своей внешностью».

17.VII.1936

Утром, как всегда, я встал рано и уже в семь часов решил сфотографировать большим аппаратом (13×18) старинную розовую церковь, построенную Баженовым для князей Черкасских, бывших владельцев этих мест. Около церкви стоит домик, в котором живет на даче семья поэта Александра Кочеткова.

Валентина Ивановна прошла мимо меня на прогулку с Баяном. К утреннему чаю все собрались на большой деревянной террасе. Василию Дмитриевичу, соблюдавшему диету, принесли его обычную жиденькую кашу из продельной крупы. При этом он сказал, обратившись к Анне Андреевне: «Вот теперь у себя в Ленинграде вы будете есть такую кашу и вспоминать меня». На что Ахматова с улыбкой ответила: «Я не только от каши буду вас вспоминать». Когда старшую дочку Сережи Анюту послали посмотреть, который час, и она пришла и сказала, Анна Андреевна призналась, что до 14 лет не умела узнавать время.

Анна Ахматова. Старки. Фотография Л. Горнунга. Лето 1936 г.

Сегодня за чаем я уже не в первый раз напомнил Анне Андреевне, что она забыла принять свое лекарство. Она поблагодарила со словами, что ей придется взять меня с собой в Ленинград, так как она каждый раз забывает об этом лекарстве, а здешние врачи дают ей с собой наказ продолжать это лечение.

Сегодня день был не слишком жаркий. От реки шел легкий ветерок. К обеду все собрались на открытой каменной террасе, расположенной по переднему фасаду дома. Я воспользовался минутой, когда обед еще не был подан, и сфотографировал всех, сидевших за столом. Василий Дмитриевич сидел на своем месте во главе стола, он уже повязал свою салфетку. Анна Андреевна сидела слева от него, она была в каком-то напряженном состоянии. Рядом с ней сидел Сергей Васильевич, который обычно старался ее развеселить и отвлечь какой-нибудь шуткой, особенно после разговоров о ее здоровье. По левую сторону стола сидела его жена Елена Владимировна и около нее — ее тетушка Александра Дмитриевна. Валентина Ивановна вышла, чтобы принести лекарство для Анны Андреевны.

После обеда, поскольку все обитатели дома никуда не разошлись из-за наступившей жары, а в каменном доме было прохладно, я и Сережа предложили сфотографироваться в общей группе. Анна Андреевна и Елена Владимировна пошли переодеть другие платья. Василий Дмитриевич снял свой летний пиджак, и все собрались в столовой. Освещение было хорошее.

В столовой близ окон и двери, выходящих на открытую каменную террасу, были поставлены два кресла для Василия Дмитриевича и Валентины Ивановны, к ним присоединились две внучки профессора. За спинкой кресел встали Анна Ахматова и Леля Шервинская.

Анна Андреевна была в своем выгоревшем розовом платочке. Она немного повернула голову в сторону балконной двери. По общему признанию, и она, и Леля вышли на снимке очень удачно, лучше других.

Вторую группу мы с Сережей усадили на тех же креслах у противоположной стены возле двери в комнату Елены Владимировны. Рядом с Анной Андреевной опять была Елена Владимировна, а между ними, немного сзади, встала Валентина Ивановна Обакевич.

Анне Андреевне накинули на плечи шаль Елены Владимировны, потому что из-за жары все двери в доме были открыты настежь и был сквозняк.

Вечером перед ужином Сергей Васильевич на деревянной террасе прочел нам вслух еще пять глав из «Фауста».

Анна Андреевна была в черном платье и Лелиной шали. Стол для ужина накрыли в столовой, так как на террасе было

уже прохладно. При виде яиц всмятку Анна Андреевна вспомнила, как однажды в гостях у одной приятельницы, куда она пришла в хорошем платье, хозяйка почему-то сказала ей: «Анечка, вам нельзя есть ничего цветного».

После чая Сергей Васильевич в той же комнате сел за фисгармонию и, аккомпанируя себе, спел несколько старинных романсов. К этим романсам Анна Андреевна отнеслась как-то равнодушно. Когда же Сергей Васильевич спел романс Глинки «Я помню чудное мгновенье», Ахматова сказала, что не любит этого стихотворения, оно надуманное и неискреннее, как бы «альбомное». Сергей Васильевич согласился с ней. Понравилась Анне Андреевне одна неаполитанская песня, которую Сережа пел по-итальянски, и «Вечерняя серенада» Шуберта, которую Ахматова очень любит.

18.VII.1936

Еще вечером, в присутствии Сережи, я сказал Анне Андреевне, что привез с собой тетрадку своих стихов и хотел бы ей прочесть те, которые она еще не знает. И вот сегодня утром Анна Ахматова предложила мне идти в парк читать мои стихи.

Я сбегал за тетрадкой в дом, и мы с Ахматовой уселись на восьмигранной скамье, окружающей три липы, растущие из одного корня, их называют «Три сестры».

Я прочел около двадцати стихотворений. Анна Андреевна после чтения сказала, что стихи ей понравились и что они вполне зрелые, и если бы можно было их напечатать, получилась бы очень хорошая книга.

После этого мы с Анной Андреевной стали ходить по большой аллее, и как-то так получилось, что Ахматова начала рассказывать о себе. У ее родителей было три дочери и два сына. В детстве они часто жили летом в Севастополе, в то время она очень хорошо плавала и не раз даже переплывала Балаклавскую бухту. Она рассказала, как училась в гимназии в Царском Селе, а последний класс окончила в Киеве. Мы снова вернулись из аллеи на круглую скамейку к липам.

Анна Андреевна заговорила об Анненском. Она его очень ценила. Я сказал: «Вы, конечно, знаете, что из русских писателей прошлого века Иннокентий Федорович больше всех любил Достоевского. Он ему был особенно близок и дорог. У Анненского есть такие четыре строчки:

Оставь меня. Мне ложе стелет Скука.
Зачем мне рай, которым грезят все?
А если грязь и низость — только мука
По где-то там сияющей красе...*

---

* «Трилистник проклятия», 1906 г., из сб. «Кипарисовый ларец».

Мне кажется, что в этих четырех строчках у Анненского весь Достоевский».— «Да, пожалуй, в какой-то степени с этим можно согласиться»,— сказала Ахматова.

Но тут подошла Валентина Ивановна со словами: «Ах, он вам читал стихи?» В голосе ее была ирония. Валентина Ивановна увлекла Анну Андреевну к реке купаться. Стихов Анны Ахматовой Валентина Ивановна не знает и не интересуется ими, и вообще равнодушна к поэзии. Для нее главное — это ее медицина.

После обеда было решено, что мы с Сережей вечером поедем в Москву. Поэтому, когда Ахматова вернулась с реки, я попросил у нее разрешения сфотографировать ее одну в ее комнате. Разговор был на большой террасе, где за столом сидел один Василий Дмитриевич. Анна Андреевна стояла у деревянной колонны, прислонясь к ней. На мою просьбу она ответила с каким-то отчаянием в голосе: «Я не могу больше сниматься, я слишком стара!»

Дело в том, что еще до моего приезда, в начале июля, Ахматову фотографировал друг Сережи Шервинского, философ и преподаватель логики Александр Сергеевич Ахманов, который жил на даче в соседнем селе Черкизово, недалеко от Шервинских. На снимках Ахматова Анна Андреевна вышла плохо и старше своего возраста.

Я старался разубедить Анну Андреевну, хотя замечал, что и в общих группах она снималась не очень охотно, лишь бы не нарушать компании.

Во время обеда Ахматова спросила, в каком платье я хочу ее снять. И снова сказала: «Стоит ли сниматься?» Но меня поддержал Сережа и уговорил ее. Я сказал, что хотел бы снять ее во вчерашнем черном платье.

Она пошла в комнату переодеться, и, когда я вошел к ней с большим деревянным аппаратом, мне показалось, что она немножко рассержена нашей настойчивостью.

Она села на диван, покрытый полосатым тиком, и подобрала под себя ноги. Ей не хотелось, чтобы были видны ее старые туфли. Я сделал только один снимок на фоне светлой стены. Не удержавшись, спросил Анну Андреевну, сердится ли она на меня, и добавил, что мне давно хотелось сфотографировать ее отдельно, что она единственная и других таких нет. Она смущенно пробормотала: «Нет, нет, есть и лучше меня. Но я на вас не сержусь». Я поцеловал ей руку и ушел собираться к отъезду.

Тут вскоре всех позвали на террасу пить чай, и во время чая Ахматова сказала, что хотела утром почитать и мне свои стихи, если бы не помешала Валентина Ивановна, и мы с ней условились, что она исполнит свое обещание, когда я вернусь из Москвы.

20.VII.1936

Вчера в Москве весь день проявлял и печатал дачные снимки. Получилось хорошо, особенно я доволен последним снимком Анны Андреевны в ее комнате.

С вечерним поездом я отправился в Пески, и когда, перейдя реку, подходил к Старкам, то на террасе не было никого. Только за домом на лугу меня первая заметила Анна Андреевна, шедшая с Валентиной Ивановной, и со словами: «Кто приехал, кто приехал!» — пошла мне навстречу. Поздоровавшись со мной, дамы послали меня умываться после пыльной дороги, так как скоро предполагалось чтение «Фауста» Сергеем Шервинским.

Еще до чтения «Фауста» Анна Андреевна попросила меня показать ей привезенные фото. Они с Еленой Владимировной вдвоем смотрели фотографии при свете зажженной свечи, хотя как следует рассмотреть их в полутьме было трудно.

Пришел Сережа поторопить нас, так как на террасе все уже собрались для чтения. Анна Андреевна сказала ему, что ей нравятся фото.

На террасе после чтения VII—XI глав «Фауста», когда гости разошлись, уже за ужином при свете большой керосиновой лампы-«молнии» снова смотрели привезенные фото. Они имели шумный успех.

Анна Андреевна сказала, что она очень довольна большим фото в черном платье и хочет, не дожидаясь отъезда, послать эту фотографию в Ленинград Николаю Николаевичу Пунину, а также обещала надписать такую фотокарточку мне и «нашим гостеприимным хозяевам». Мне Ахматова написала карандашом на обороте этого снимка: «Милому Льву Владимировичу Горнунгу от его модели».

Валентина Ивановна осталась недовольной собой на снимках и вырезáла себя ножницами, несмотря на протест профессора.

Поздно вечером, когда я вошел в кабинет Сережи Шервинского, чтобы устроить себе постель на его диване, мы с ним долго говорили об Анне Ахматовой, обменивались впечатлениями и во многом сошлись в них. Он прочел мне свое стихотворение, написанное здесь и посвященное Анне Ахматовой, и говорил, что ее фото вышли удачно. Особенно ему понравились снимки в Коломне на скамейке и под деревом.

21.VII.1936

Домработница Настя рано утром уехала в Коломну, и ее ждали к чаю со свежим хлебом. Только профессор пил чай в свое обычное время на большой террасе. Остальные ходили без дела в ожидании Насти, и, когда Елена Владимировна с

С. В. Шервинский и Анна Ахматова. Коломна. Фотография Л. Горнунга. Лето 1936 г.

девочками ушла в соседнюю церковь, Анна Андреевна предложила мне послушать чтение ее стихов.

Часть их она успела прочесть еще до чая и докончила читать остальные после чая, в общей сложности это было около 15 стихотворений. Вот перечень нескольких стихотворений из числа прочитанных мне Ахматовой, так как всего прочитанного ею мне запомнить не удалось, а записал я это через полчаса после ее чтения.

1. «Уводили тебя на рассвете...»
2. «Не прислал ли лебедя за мною,
   Или лодку, или черный плот?..»
3. «Если плещется лунная жуть,
   Город весь в ядовитом растворе...»
4. «Сказка о черном кольце».
5. «Последний тост» (Из цикла «Разрыв»).
6. «Борис Пастернак».
7. «От других мне хвала — что зола,
   От тебя и хула — похвала» (Двустишие).

Это чтение снова было в парке на круглой скамейке вокруг трех лип, от которой начиналась большая аллея. И мы снова, разговаривая, ходили с Анной Андреевной по этой аллее, и она опять рассказывала о себе, пока Валентина Ивановна не позвала ее купаться.

К вечеру, когда спала жара, на лужайке собрались играть в волейбол. Набралось человек десять. Народ был приятный, и играли с увлечением. Анна Андреевна с Валентиной Ивановной в это время отправились через мост погулять на том берегу реки, где был заливной луг. Вернувшись, они рассказали, что на опушке леса им пришлось тушить начавшийся от костра пожар, который они засыпали горстями дорожной пыли.

Они вернулись к 9 часам вечера, когда кончился волейбол, и мы готовились слушать чтение «Фауста». На этот раз Сережа прочел последние главы первой части «Фауста».

Когда совсем стемнело и повеяло прохладой, Анна Андреевна предложила мне пройтись по берегу реки.

...Мы повернули обратно, шли медленно, почти не разговаривая. Я спросил Анну Андреевну, где находится собранный нами гумилевский материал. Она ответила, что передала его в очень надежные руки[17]. (Позже я узнал, что это был Сергей Борисович Рудаков, с которым Осип Эмильевич познакомился в Воронеже и очень доверял ему. Мандельштам познакомил с ним и Анну Андреевну. Впоследствии я узнал, что Рудаков погиб на фронте и все материалы остались у его жены.)

22.VII.1936

Из последней поездки в Москву я привез неизданные стихотворения Софии Парнóк, которые я переписал для себя из ее тетради вскоре после ее кончины в августе 1933 года.

Анна Ахматова была знакома с Софьей Яковлевной, но этих стихов знать не могла. Сегодня утром после чая я показал Анне Андреевне эти стихи, некоторые прочел ей вслух. Стихи произвели на нее большое впечатление, и она сказала: «Как мы богаты, если у нас есть еще такие стихи!» О последнем предсмертном стихотворении Парнок, написанном на даче в Каринском, уже в предчувствии конца, Анна Андреевна сказала: «Как это страшно, совсем как у Есенина». Вот это стихотворение:

Будем счастливы во что бы то ни стало...
Да, мой друг, мне счастье стало в жизнь!
Вот уже смертельная усталость
И глаза и душу мне смежит.
Вот уж, не бунтуя, не противясь,
Слышу я, как сердце бьет отбой.
Я слабею, и слабеет привязь,
Крепко нас вязавшая с тобой.

Вот уж ветер вольно веет выше, выше,
Всё в цвету, и тихо все вокруг.
До свиданья, друг мой! Ты не слышишь?
Я с тобой прощаюсь, дальний друг.

София Парнок

31.VIII.1933
Каринское

Во время обеда на большой деревянной террасе со станции Пески пришли Мария Сергеевна Шервинская, первая жена Сережи, и ее подруга Стазя — Анастасия Васильевна Петрóво-Соловóво, приехавшая в отпуск из Ташкента. Машенька встречала ее в Москве.

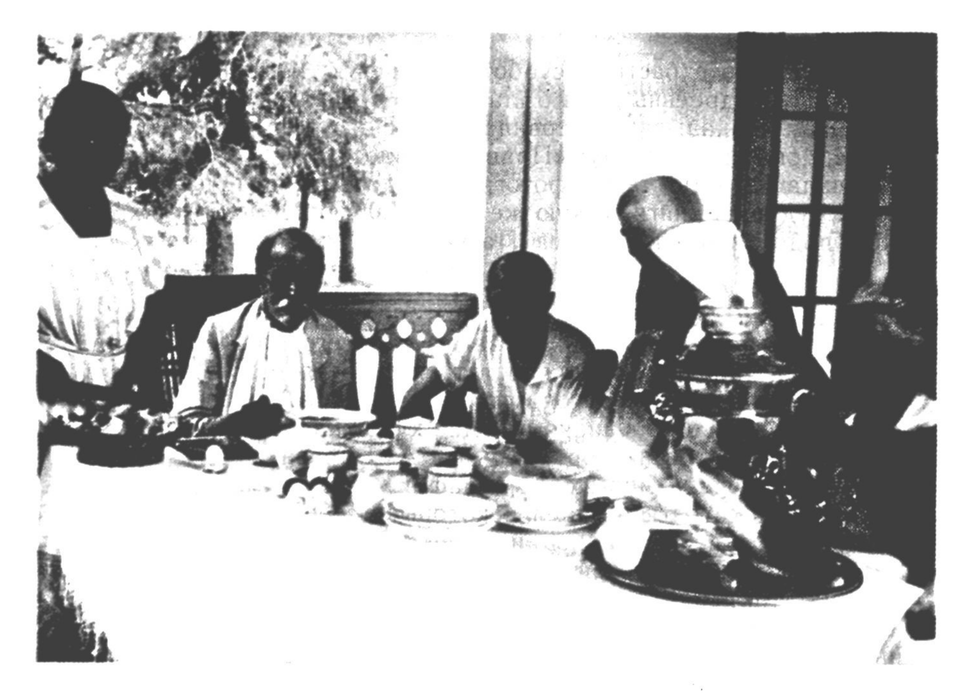
Вечером к ужину было решено ввиду жаркой погоды накрыть стол на открытой каменной террасе. Зажгли керосиновую лампу. Начали собираться гости. Шура Кочетков[18] пришел со своими дамами — с женой Инной Григорьевной и поэтессой Верой Александровной Меркурьевой[19], которая это лето жила у них. Пока Елена Владимировна с помощью Кочеткова делала крюшон с добавлением малины, а домработницы Настя и Христя на кухне готовили все остальное к ужину, Анна Андреевна пришла на террасу к собравшимся.

Было тепло, появились первые звезды. Когда все было готово, уселись за стол, Сережа Шервинский взял на себя роль тамады и провозглашал тосты. Анна Андреевна не пила ни капли, следуя запрету своих врачей.

За столом я оказался рядом со Стазей. Мы с ней как-то быстро познакомились. С ней легко и просто, она необыкновенно симпатичная. (В декабре того же года состоялась уже наша помолвка, а весной 1937 года в Ташкенте мы поженились.)

23.VII.1936

Анна Андреевна за чаем вспомнила вчерашний ужин и гаданье, которое было после него. Ей нагадали в конце жиз-



Е. В. Шервинская, В. Д. Шервинский, С. В. Шервинский, В. И. Обакевич, Анна Ахматова, А. Д. Позднякова. Старки. Фотография Л. Горнунга. Лето 1936 г.

ни большой удар и сумасшествие. Она призналась, что, когда ей было 12 лет, ей кто-то предсказал, что она умрет в тюрьме.

Из привезенных мною ее фотографий она выбрала вчера большое фото в черном платье, надписала снимок для Меркурьевой — «Доброй, мудрой Вере Меркурьевой от Анны Ахматовой» — и сама отнесла ей на дачу Кочеткова. Вера Александровна была на седьмом небе от радости.

29.XI.1939

У Шервинских сейчас гостит Ахматова. Я поехал повидать ее. Обещал быть Борис Пастернак, но при мне не был.

20.IV.1940

Ахматова приехала в Москву 18 апреля и остановилась в этот приезд снова в квартире Сергея Шервинского. Я заходил навестить ее и в день приезда, и сегодня. Обещал ей еще напечатать фото 1936 года.

27.IV.1940

Сегодня, в страстную субботу, привез к Шервинским фото для Анны Андреевны. Она была как-то особенно мила и разговорчива. Показывая Шервинскому фотографию в черном платье, она сказала ему: «Правда, я здесь душка?» Ахматова предполагает одну такую фотографию дать в издательство для своей будущей книги. Такую же фотографию я попросил Ахматову подписать для Бориса Пастернака, что она и сделала.

28.IV.1940

Первый день Пасхи. Ахматова уезжает сегодня в Ленинград. Приехав на вокзал, чтобы проститься с ней, я застал ее уже в вагоне поезда. Около вагона стояло несколько человек провожающих, и среди них знакомый мне художник А. А. Осмеркин, написавший хороший портрет Анны Ахматовой.

Помимо очень многих фотографий Анны Ахматовой, снятых в разные годы, я видел некоторые из ее художественных портретов. Мне нравились и очень реалистический портрет работы О. Л. Кардовской, и немного «ленивый» портрет работы Натана Альтмана в сине-желтых тонах. Портрет, написанный Петровым-Водкиным, мне всегда казался очень опрощенным, плохо передававшим утонченную и необычную наружность Анны Андреевны. Очень хорош акварельный профильный портрет работы художника Тырсы, написанный свежо, он прекрасно передает молодую Анну Ахматову, и я всегда им любовался. Этот портрет она поместила в сборнике «Из шести книг».

Ранее всех перечисленных я увидел портрет, написанный в графической манере художником Юрием Анненковым; он был в самом начале 20-х годов напечатан в журнале «Современное обозрение» (*№ 2, ноябрь 1922 г., Петроград —Москва*). Позже он был помещен в большом сборнике «Портреты Ю. Анненкова» издательства «Петрополис». Тогда я еще не видел Ахматову в жизни, и хотя я в те годы увлекался манерой и мастерством Анненкова и немного подражал ему в своих рисунках, этот портрет мне показался очень сухим в сравнении с другими портретами его работы.

Я в этом убедился, когда увидел живую Ахматову. Портрет Анненкова производил странное впечатление: голова ее казалась неестественно маленькой, и ее нельзя было представить в натуральную величину. Кроме того, еще молодую тогда Ахматову на этом рисунке Анненков очень состарил. Зато как хорош у него молодой Борис Пастернак и как много сходства в других портретах, написанных Юрием Анненковым.

22.V.1940

Николин день. Ахматова снова в Москве. Она попросила меня проводить ее до Черкизова. Это далекий район Москвы,

у нее там есть кто-то из знакомых. Мы поехали на такси во второй половине дня. В дороге лопнула шина, и шофер, сняв колесо, долго возился с ним, пока не поправил. День был сухой и жаркий. В воздухе стояла пыль. Мы добрались до места к закату солнца.

26.IV.1941

Вечером был на Большой Ордынке у Ардовых. Анна Андреевна читала мне свои новые стихи и начальные главы «Поэмы без героя».

В главе, где она пишет о петербургском маскараде, описание его было так завуалировано, что мне было трудно понять и разобраться, кто там был из участников. Я набрался смелости и, может быть, даже нахальства и попросил Анну Андреевну расшифровать мне эти маскарадные маски. Она не обиделась, но сказала: «Не может быть, чтобы вы не разобрались, о ком здесь я пишу».

Анна Андреевна часто упоминала Эрмитаж и подчеркивала, что знает его от начала и до конца как свои пять пальцев. Недаром она и в поэме написала о себе «Звук шагов в Эрмитажных залах». Вероятно, так сроднило ее с этим музеем и то, что Н. Н. Пунин был одним из основных сотрудников этого великолепного музейного собрания в нашей стране.

Не так давно я отнес для Ахматовой тетрадь Стазиных стихотворений. Сегодня Анна Андреевна сказала, что она еще читает их.

27.IV.1941

Сегодня Анна Андреевна сделала мне надпись на паспарту под фотографией в черном платье. Это фото 1936 года.

30.IX.1941

Сегодня из блокадного Ленинграда в числе других была привезена в Москву Анна Ахматова. Самолет летел ночью, очень высоко над немецкими позициями.

Узнал о гибели Марины Цветаевой в Елабуге.

14.X.1941

Анна Ахматова выехала из Казани в Ташкент с эшелоном Союза советских писателей.

6.IV.1946

3-го и 4 апреля в Колонном зале Дома союзов были назначены два поэтических вечера Ахматовой.

Увидев афиши, я бросился в кассы, но, как оказалось, билеты на оба вечера были распроданы. Вечером после первого

выступления Ахматовой мне рассказали, что, когда она вышла на эстраду, публика, поднявшись со своих мест, встретила ее громом аплодисментов и в течение 15 минут не давала ей начать свое выступление. Концерт прошел с исключительным успехом.

Второй концерт был отменен, и кассы Дома союзов возвращали деньги.

13.IV.1946

Сейчас Анна Андреевна еще в Москве. Неожиданно, без предупреждения, может быть, находилась поблизости, она пришла к нам в гости. Анна Андреевна немного рассказала о себе, о Ташкенте. Увидев на столе свой сборник «Из шести книг», она предложила моей жене надписать его, чем очень нас обрадовала. Я прочел на книге: «Милой Анастасии Васильевне Горнунг в знак уважения, с приветом от А. Ахматовой. 13 апреля 1946, Москва».

14.VI.1946

При встрече Анна Андреевна сказала мне, что ее приглашали на дачу в Старки, но пока все так неопределенно, что она не знает, рассчитывать ли ей на это. Я обещал ей выяснить, как обернется дело, и узнал, что из-за приезда в Старки нескольких гостей и родственников комната для Ахматовой не была свободна.

В этот день Анна Андреевна мне рассказала, что после возвращения из Ташкента готовился новый сборник ее стихотворений[20]. Она уже получила на руки сигнальный экземпляр и, рассчитывая получить авторские, с легкостью отдала эту первую книгу библиографу и владельцу замечательной по полноте коллекции поэтических сборников Тарасенкову[21] по его просьбе. Но выход издания не состоялся, и она не получила авторских экземпляров этой книги.

17—19 августа 1946

В начале августа 1946 года, в связи с разрушением во время войны древних архитектурных памятников в Новгороде, Всесоюзная академия архитектуры организовала экспедицию во главе с профессором Н. И. Бруновым для обследования состояния этих памятников. Я в то время был сотрудником академии, и меня включили в состав экспедиции для фотографирования разрушенных новгородских храмов. Главным объектом изучения на этот раз был новгородский Софийский собор.

Вся наша экспедиция на время работы помещалась в одной из новгородских не очень древних церквей. Мужчины были в одном конце, а женщины, главным образом студентки Московского архитектурного института, жили за перегородкой в дальнем конце церкви. Дело в том, что до войны на Софийской стороне кроме каменных церквей были только деревянные постройки, в которых жили новгородцы. Немцы, отступая, сожгли все деревянные дома.

Моя фотолаборатория была устроена в другом храме. Там же в одном из приделов жили две старушки — сотрудницы новгородского музея, сестры Гиппиус[22] — художница Татьяна Николаевна и скульптор Наталья Николаевна. В свое время они обе окончили в Петербурге Академию художеств и продолжали жить в Ленинграде, но после событий 1 декабря 1934 года были высланы[23] и оказались в Новгороде.

Во время моего пребывания в Новгороде Татьяна Николаевна писала для музея с цветной открытки копию картины Виктора Васнецова «Три богатыря», а Наталья Николаевна резала из дерева голову князя Владимира Ярославича — основателя Новгорода.

Наша экспедиция окончила свою работу и возвращалась в Москву. У меня было несколько свободных дней, и я приехал из Новгорода в Ленинград 17 августа. Я знал, что туда уже вернулась Анна Ахматова, и хотел повидать ее.

Уезжая, я еще не знал, где смогу остановиться в Ленинграде, и сестры Гиппиус дали мне рекомендацию к бывшему лакею Мережковского, который пережил блокаду и занимал 2 комнаты в огромной квартире Мережковского близ Таврического сада.

Проезжая по Ленинграду, я видел еще не убранные следы обстрела города, в разных местах попадались разрушенные дома. Я явился 18 августа к Анне Андреевне на набережную Фонтанки загорелый после жаркого августа в Новгороде. Она очень радушно встретила меня и расспрашивала, откуда я появился.

В квартире в это время не было никого, семья Пунина была на даче. Анна Андреевна сказала, что будем пить чай, и добавила: «Вы не знаете, чем я вас сейчас угощу! Сегодня мне подарили банку корюшки в масле, теперь это необыкновенная редкость». За чаем Анна Андреевна расспрашивала меня о Стазе, о ее здоровье. Спросила, пишу ли я стихи. Я прочел ей написанное весной стихотворение — «Поля сражений». Там в середине есть такие строки:

И здесь, где недавно
    Калечились танки и пушки,
Здесь, как Ярославна,
    По рощам горюют кукушки...

В этом месте Анна Андреевна воскликнула: «Так это же как в «Слове о полку Игореве», но только наоборот». Кроме Анны Андреевны, еще никто, читая эти стихи, не обратил на это внимания.

После чаю Ахматова предложила мне пройтись по Ленинграду, и мы прошли в Летний сад. Как оказалось, это была главная цель ее прогулки. Походив по дорожкам, Анна Андреевна привела меня к скамейке, где невдалеке стояла статуя «Ночь». Анна Андреевна рассказала мне, что в первые дни блокады главные памятники города были закрыты мешками с землей для защиты от бомбежек, а в Летнем саду было решено возле всех статуй вырыть ямы. Туда были положены мраморные статуи и засыпаны землей. Так вот, в укрытии статуи «Ночь» участвовала и Анна Ахматова, и об этом ей хотелось мне рассказать. Теперь статуя была уже поставлена на свой пьедестал, и Анна Андреевна показала ее с нашего места на скамейке. Об этой статуе она написала стихи, называя ее «Ноченькой».

Поздно вечером в своей комнате, пока не спалось, я под впечатлением от города, так долго бывшего в блокаде, написал стихи — «Сенатская площадь» и посвятил их Анне Ахматовой.

СЕНАТСКАЯ ПЛОЩАДЬ

Анне Ахматовой

Вдали два сфинкса за Невою
И дальних зданий стройный ряд,
А в дымном небе тучи тьмою
Идут в пылающий закат.

И вот он — Петр! Необычайный,
Вперед — сквозь ветер, сквозь века
Простертый призраком и тайной,
И вдаль протянута рука.

И конь его, подняв копыта,
Взметнулся ввысь, порыв тая,
И, в прах затоптана, зарыта,
Кольцом свивается змея.

Творец и кормчий Петрограда,
В беде свой город видел он,
Когда сжимала круг блокада —
Он рад, что в битве враг сражен.

А там, внизу, в своих гранитах
Нева томится, стеснена,
И языками волн несытых
По верхним глыбам бьет она.

И дышит местью за злодейства
Вся ширь стихии водяной.
А тонкий шпиль Адмиралтейства
Блестит сквозь сумрак надо мной.

1946, Ленинград

На другой день, 19 августа, я еще раз зашел к Ахматовой и пробыл у нее недолго. Анна Андреевна сказала, что за время ее пребывания в Ташкенте ее ленинградским друзьям, даже в условиях блокады, удалось сохранить один из рисунков Модильяни — карандашный ее портрет. Она показала мне его. Раньше, в двадцатых годах, я этого рисунка не видел.

Вспоминая о Ташкенте, Анна Андреевна сказала: «Я одно время была так тяжело больна, что ночью, лежа в одиночестве, уже читала над собой «Отходную», но все же выздоровела».

У меня не хватало на билет до Москвы, и Анна Андреевна дала мне денег. Рюкзак с вещами был при мне, и прямо от нее я поехал на вокзал.

Я увозил с собой новые впечатления от Ленинграда и от встречи с Ахматовой.

Вернувшись в Москву 20 августа, 21-го я узнал о Постановлении ЦК от 14 августа о ленинградских журналах «Звезда» и «Ленинград».

Писательская братия быстро отреагировала на это постановление и исключила Ахматову и Зощенко из Союза писателей. Писатели даже перестарались и лишили ее рабочей продовольственной карточки. Но это вызвало недовольство в верхах, и карточку Ахматовой возвратили.

По этому поводу в Москве многие вспоминали пророческую басню Крылова «Ослы на Парнасе».

17.VI.1948

Сегодня Борис Пастернак сказал мне, что ему удалось выхлопотать в Литфонде пособие в три тысячи рублей для Анны Ахматовой, но для этого необходимо ее заявление в Литфонд, она же не хочет писать такое заявление.

23.VI.1948

Пастернак сообщил мне, что по поводу трудного материального положения Ахматовой он звонил в ЦК партии и в Союз советских писателей.

В результате переговоров было решено выдать ей денежное пособие из Литфонда без ее заявления и рекомендовать московским издательствам предложить ей работу по стихотворным переводам.

Осень 1948

Среди фотографий Пастернака, снятых в июне, была одна, где он стоит перед зеркальным шкафом. Я снял его со спины, а в зеркале было видно полное его отражение. Я отпечатал и

увеличил с негатива только это отражение. Когда я показал Ахматовой это фото и сказал ей, что это не Пастернак, а только его отражение, она воскликнула: «Какой ужас!»

6.IV.1951

По дороге домой, в автобусе я увидел Анну Ахматову. Она ехала к Ардовым. Мы живем близко друг от друга, поэтому я проехал одну остановку мимо своего дома, и мы сошли у Климентовского переулка. Я проводил Анну Андреевну на Большую Ордынку (дом 17). По дороге она сообщила, что Сергей Шервинский должен ей привезти стихотворные тексты для перевода, которые войдут в сборник «Осетинской поэзии».

Еще она сказала, что Всеволод Рождественский выслал ей подстрочники латышского поэта Яна Райниса, хотя сроки сдачи этих переводов уже прошли и у нее слишком мало времени для этой работы. От нее я узнал, что Рождественский работает сейчас в литературной редакции ленинградского радио. От Ардовых я пешком дошел до Чугунного моста, где на углу Балчуга и Садовнической набережной моя квартира.

2.VIII.1951

Я отправился к Ардовым, чтобы повидать Анну Андреевну. Кроме нее дома была только жена Ардова — Нина Антоновна Ольшевская, которая только что вернулась с Украины, где проходили гастроли театра Советской Армии.

Анна Ахматова 27 июля выписалась из 5-й Советской больницы и на днях за счет Литфонда поедет на месяц в санаторий «Удельное» по Казанской железной дороге.

В последнее время она заметно пополнела, и волосы ее сильно поседели. После войны и Ташкента она уже отказалась от своей традиционной челки и теперь зачесывает волосы назад в пучок.

29.V.1954

Зашел к Анне Андреевне на Большую Ордынку. Давно с ней не видался, больше двух лет. Она сказала, что у нее мало свободного времени. Сейчас она одна в квартире, Ардовых нет дома.

Ахматова рассказала, что 8 июня едет в санаторий «Болшево» в третий раз. Никакой книги ее стихов пока не предвидится. Сейчас занимается переводами. Гослитиздат предлагает ей переводы китайского поэта восьмого века Ли-Бо.

Я не стал ее задерживать и простился.

18.V.1956

16 мая скончалась после долгой и тяжелой болезни моя жена Стазя. Сегодня я зашел к Ардовым, чтобы сообщить об этом Анне Андреевне. Отпевание Стази назначено на 19 мая в церкви, что напротив дома Ардовых, на другой стороне Большой Ордынки. Анна Андреевна обещала прийти. Тут же она сообщила мне, что ее сын Лева освобожден и прислал ей телеграмму из Ленинграда.

19.V.1956

В церкви первое время Ахматова стояла, но недолго, а после ей подали стул, и она не ушла до конца церковной службы.

В церкви было много близких, родных и знакомых, и очень много цветов. Потом, когда мы уехали на Ваганьковское кладбище, Анна Андреевна пошла к себе домой.

17.X.1957

Я принес Анне Андреевне тетрадь моих стихов, написанных после кончины моей жены. Это был «Пепел сердца» — большой цикл, посвященный ее памяти и написанный одним порывом под впечатлением такой большой для меня утраты. Эти стихи, как видно, произвели на Анну Андреевну сильное впечатление. Она многим общим знакомым, и особенно в семье у Шервинских, говорила, что это лучшее, что я написал за всю мою жизнь. Лично мне она почему-то ничего не сказала, вероятно боясь коснуться моей душевной раны, не зажившей и до сих пор.

Июнь 1959 года

Не помню, в какой день я зашел к Ардовым, чтобы повидать Анну Андреевну. Она была не в своей комнате, а в большой столовой и там же приняла меня. Она стала рассказывать, что ее посетил какой-то корреспондент и просил разрешения узнать некоторые подробности о ее жизни. Тут, смеясь, Анна Андреевна сказала мне, что когда корреспондент спросил о ее возрасте, то в этот момент Виктор Ефимович Ардов, сидевший в дальней комнате, закричал: «Анна Андреевна! Не скрывайте своего возраста, иначе все будут думать, что Вам уже сто лет!»

Дело в том, что Ахматова всю жизнь скрывала свой возраст. Мне приходилось не раз об этом слышать, и я должен признаться, что сам долго не знал, сколько ей лет.

Мы перешли в маленькую комнату, я спрашивал Анну Андреевну, где она бывает и кого видит. Она сказала: «На днях я была в одном доме, у знакомых. В этой семье маленькая девочка ни за что не соглашалась выйти ко мне поздоро-

ваться. Оказалось, что на девочке было грязное платье и она стеснялась меня. Это меня-то, которая всю жизнь ходила в грязных платьях!»

1961

Вышла книга Ахматовой, которую, как она сообщила мне, предложил ей составить по своему выбору поэт Алексей Сурков. Она согласилась, предоставив в его распоряжение стихи последнего времени.

Вскоре после этого, разговаривая с ней по телефону, я спросил, не готовит ли Анна Андреевна к печати новый сборник стихов. «Так я же недавно выпустила свою книгу!» — воскликнула Ахматова. Я сказал, что это небольшая книга, на что Анна Андреевна ответила: «Я всю жизнь выпускала только маленькие книги стихов».

5.III.1966

Сегодня в полдень мне позвонил Арсений Тарковский и сообщил, что в 11 часов утра в санатории «Домодедово» от паралича сердца скоропостижно скончалась Анна Ахматова.

В феврале Ахматова лежала в Боткинской больнице по поводу инфаркта миокарда. Она выписалась из больницы, кажется, первого марта и на другой день позвонила Арсению Тарковскому от Ардовых. Сообщила, что чувствует себя неплохо, что за время болезни скинула в весе двенадцать килограммов, чему радовалась. Она была полна литературных планов на будущее, намеревалась поехать в Париж по приглашению Международной писательской организации. Третьего марта Анна Андреевна и жена Ардова Нина Антоновна Ольшевская уехали на машине в санаторий «Домодедово».

Пятого марта утром Анна Андреевна почувствовала себя плохо. Нина Антоновна срочно вызвала врачей. В 11 часов врачи, выйдя из палаты, сообщили Нине Антоновне, что Ахматова скончалась.

Нина Антоновна тут же из санатория позвонила об этом домой Виктору Ефимовичу. Ардов сообщил ближайшим друзьям Ахматовой, в том числе и Арсению Тарковскому. Тело Ахматовой из санатория к концу дня было уже перевезено в морг института имени Склифосовского.

Известие о смерти Ахматовой быстро распространилось по Москве. Скульптор Зоя Масленникова позвонила Ардову, сказала, что хочет снять маску с лица Ахматовой, пока еще не поздно, и просила у Ардова содействия. Вечером Виктор Ардов сообщил Зое Масленниковой, что разрешение получено. Масленникова пригласила форматора, и в полночь они были в морге. Форматор приступил к работе, и маска была снята. Зоя

Афанасьевна хотела еще сделать слепок руки, но рука показалась ей немного распухшей, и она не решилась.

В тот же день в 22 часа было передано по радио сообщение о кончине Анны Ахматовой, на другой день это сообщение было напечатано в «Правде».

9.III.1966

Вынос тела из морга состоялся сегодня в 11 часов утра. Гроб с телом Ахматовой был перевезен на Шереметьевский аэродром, а оттуда самолетом в 15 часов 15 минут был отправлен в Ленинград. Гроб сопровождали Вениамин Каверин и Арсений Тарковский.

Утром возле морга собрались друзья и знакомые Ахматовой. С прощальным словом выступили Лев Озеров, Арсений Тарковский и кто-то еще[24].

1969

В конце 60-х годов фирма «Мелодия» выпустила долгоиграющую пластинку с голосом Ахматовой, читающей свои стихи. Запись ее голоса была сделана, к сожалению, очень поздно, примерно за три года до ее кончины — в 1963 году. Мне, которому приходилось много раз слышать голос Ахматовой — приятный, грудной, а я в первый раз его услышал, когда ей было только 37 лет, очень тяжело слушать эту пластинку с таким уже старческим, сухим, не ахматовским голосом.

6.V.1978

Сегодня мне принесли фотографию Анны Андреевны Ахматовой, на которой она поставила дату «1924» и на обороте сделала надпись: «Льву Горнунгу на память от А. Ахматовой. 15.VI.1963 г. Москва».

Пятнадцать лет тому назад и за три года до своей кончины Анна Андреевна решила сделать мне этот подарок и, вероятно, была удивлена, что я никак не реагировал и не поблагодарил ее. А я ничего и не знал в течение такого большого срока. Поручая передать это фото своей близкой приятельнице, поэту и переводчице, Ахматова, вероятно, рассчитывала на более быструю доставку.

Первое чувство, охватившее меня при получении фото, была, конечно, радость, которая позже сменилась горечью, так как я поневоле оказался неблагодарным и за добрую память обо мне после наших долгих дружеских отношений, и за самый подарок.

Позже я написал эти 8 строк как обращение к Анне Ахматовой.

АННЕ АХМАТОВОЙ

В ответ на ее фото с надписью,
полученное мною через 15 лет

Через пятнадцать лет Ваш дар
Я получил совсем случайно,
Все было так необычайно,
Спасибо Вам за добрый дар.

Ответ Вы ждали от меня,
А Ваш уход мне стал бы светел,
Но я не знал и не ответил,
Не осуждайте Там меня.

На этом кончается моя связь, литературная и дружеская, с Анной Ахматовой.

10 июня 1981 г.

Всеволод Петров

ФОНТАННЫЙ ДОМ

...Там, свидетель всего на свете,
На закате и на рассвете
Смотрит в комнату старый клен...

«Поэма без героя»

Николай Николаевич Пунин был похож на портрет Тютчева. Это сходство замечали окружающие. А. А. Ахматова рассказывала, что когда, еще в двадцатых годах, она приехала в Москву с Пуниным и они вместе появились в каком-то литературном доме, поэт Н. Н. Асеев первый заметил и эффектно возвестил хозяевам их приход: «Ахматова и с ней молодой Тютчев!»

С годами это сходство становилось все более очевидным: большой покатый лоб, нервное лицо, редкие, всегда чуть всклокоченные волосы, слегка обрюзгшие щеки, очки.

Сходство, я думаю, не ограничивалось одной лишь внешностью; за ним угадывалось какое-то духовное родство.

Оба — великий поэт и замечательный критик — были романтиками.

Оба более всего на свете любили искусство, но вместе с тем стремились быть, в какой-то степени, политическими мыслителями.

...Самой характерной чертой Пунина я назвал бы постоянное и сильное душевное напряжение. Можно было предположить, что в его сознании никогда не прекращается какая-то трудная и тревожная внутренняя работа. Он всегда казался взволнованным. Напряжение находило выход в нервном тике, который часто передергивал его лицо.

...Осенью 1932 года я был экстерном III курса исторического факультета и поступил на службу в Русский музей.

Состав ведущих работников музея отличался тогда необыкновенно высоким научным уровнем, какого позже, кажется, никогда уже не удавалось достигнуть. Музейную работу возглавляли выдающиеся искусствоведы.

...Художественным отделом (впоследствии переименованным в Государственный Русский музей) заведовал Петр Иванович Нерадовский, историк русского искусства, опытный художник и несравненный знаток музейного дела.

Отдел подразделялся на отделения и секции, во главе которых стояли большие ученые.

Н. Н. Пунин. 20-е годы

Отделение древнерусского искусства возглавлял Николай Петрович Сычев, отделением живописи XVIII—XX веков ведал сам Нерадовский, секцией скульптуры — Григорий Макарович Преснов, секцией рисунков — Николай Николаевич Пунин (назначенный на эту должность после того, как было расформировано возглавляемое им отделение новейших художественных течений), секцией гравюр заведовал Всеволод Владимирович Воинов.

...Под руководством «действительных членов» музея работали научные сотрудники первого и второго разряда. Среди них я был самым младшим по возрасту и званию. Я числился научным сотрудником второго разряда и ведал научным архивом Русского музея, сменив в этой должности семидесятилетнего старика А. А. Турыгина.

...Однажды мне посчастливилось сделать находку, особенно заинтересовавшую Николая Николаевича: в одном из черновых альбомов Бенуа я обнаружил портретную зарисовку, изображающую поэта Иннокентия Анненского на редакционном совещании в «Аполлоне».

Кажется, никто из художников не делал портрета Анненского; находка представляла, таким образом, некоторый общий интерес, для Пунина — особенно большой. Он был учеником Анненского в Царскосельской гимназии и преданным поклонником поэта в течение всей своей жизни.

А. А. Ахматова тоже любила и высоко ценила Анненского.

После этой находки Николай Николаевич пригласил меня в гости, чтобы представить Ахматовой.

Вечером я не без волнения отправился к Пунину в садовый флигель старинного Шереметевского дома на Фонтанке.

В XVIII столетии этот дом называли Фонтанным. Под окнами флигеля рос огромный клен, он упомянут в «Поэме без героя».

Впоследствии я бывал там очень часто. Николай Николаевич жил в этом доме до своего последнего ареста, то есть до осени 1949 года, а Анна Андреевна только в 1950-х годах переехала, вместе с дочерью Н. Н. Пунина, на новую квартиру возле Таврического сада.

Мне навсегда запомнилось первое посещение Фонтанного Дома.

Анне Андреевне было тогда лет 45. Высокая, стройная, очень худощавая, с черной челкой, она выглядела почти совершенно так же, как на портрете, написанном Альтманом.

Я вспомнил тогда строчки из воспоминаний графа Соллогуба о знакомстве с женой Пушкина. Соллогуб писал: «В комнату вошла молодая дама, стройная, как пальма». Так можно было бы написать и об Ахматовой.

Пунин представил меня. Я почтительно поклонился и передал Ахматовой фотографию с рисунка Бенуа.

Меня поразил голос Ахматовой, теперь уже знакомый многим по пластинкам и магнитофонным записям,— голос, глубокий и низкий, прекрасно поставленный, обладающий необыкновенной чистотой и полнотой звука; голос, который нельзя забыть.

Ахматова заговорила о моих архивных поисках и находках.

— Они очень приближают вас к атмосфере той эпохи, нашей эпохи,— сказала она, взглянув на Пунина.

— Архив «Аполлона» чрезвычайно интересен,— ответил я.— Но мне бросилась в глаза одна странность. Там имеются письма Анненского, Гумилева, Кузмина и почти всех других сотрудников журнала. Но нет ни одной строчки, написанной вами. А ведь вы много раз печатались в «Аполлоне».

Ахматова улыбнулась.

— Я никогда не пишу писем,— сказала она.— В случаях самой большой крайности посылаю телеграммы.

За 25 лет моего дальнейшего знакомства с Анной Андреевной я часто с ней виделся; она не раз звонила мне по телефону, но я не получил от нее не только ни одного письма, но даже короткой записки — и только одну телеграмму с выражением сердечного и дружеского сочувствия по поводу кончины моей матери. Но нужно вернуться к впечатлениям первого моего вечера в Фонтанном Доме.

Я с затаенным, но пристальным вниманием всматривался в необыкновенных людей, с которыми свела меня судьба. Они казались мне живым воплощением духа той эпохи, которая совпала с годами их молодости. Эпохи поразительного, небывалого, с тех пор уже не повторявшегося взлета русской культуры. Я полюбил эту эпоху уже тогда, в моей юности, потом изучал ее в течение всей моей жизни и навсегда благодарен Ахматовой и Пунину, которые помогли мне понять их время и непосредственно к нему прикоснуться.

Я пишу это в 1972 году, со своих сегодняшних позиций; тридцать с лишним лет назад я едва ли смог бы сформулировать свои чувства именно в таких выражениях. Но нечто подобное мерещилось и предчувствовалось мне и тридцать лет назад — и это не могло не накладывать известного отпечатка на мои отношения с Ахматовой и Пуниным.

Отношения были вначале не совсем простыми и, как я теперь понимаю, несколько неуютными. Сознание несоизмеримости моих собственных масштабов с масштабами таких людей, как Ахматова и Пунин, смущало меня и держало в каком-то непрестанном напряжении. Должно было пройти немало времени, пока Николай Николаевич и Анна Андреевна стали для меня привычными, милыми и близкими людьми и я смог наконец не только восхищаться ими, но и сердечно их полюбить. Впрочем, они шли мне навстречу и великодушно не замечали моего смущения.

Анна Ахматова. Портрет Н. А. Тырсы. 1928 г.

Они были похожи и не похожи друг на друга.

Тогда, в начале тридцатых годов, они производили впечатление очень нежной влюбленной пары, почти как молодожены, хотя были вместе уже лет десять, если не больше. Пожалуй, Ахматова казалась более влюбленной, чем Пунин.

Их воззрения и вкусы совпадали если не во всем, то, во всяком случае, в главном; я никогда не слышал споров между ними. Но натуры у них были разные, может быть, даже противоположные.

Выше я назвал Пунина романтиком и в дальнейшем вернусь к этой теме. Что касается Ахматовой, то в ней не было романтизма; в ней необыкновенно отчетливо выступал дух высокой классики, в пушкинских и гётевских масштабах. Я думаю, что самым сильным и самым характерным качеством Анны Андреевны можно назвать безошибочное чувство формы; оно проявлялось у нее во всем, начиная с творчества и кончая манерой говорить и держаться.

Не знаю, понятна ли моя мысль и вообще возможно ли определять человеческие характеры стилевыми категориями искусств, но ведь люди, о которых я говорю, сами были явлениями искусства. Прибавлю в пояснение, что под «чувством формы» и «духом классики» я разумею сознательно предустановленную внутреннюю гармонию и такт в самом широком и точном смысле этого понятия. Классически ясному сознанию Ахматовой противостояли романтический хаос и пронзительная интуиция Пунина.

Анна Андреевна казалась царственной и величественной, как императрица — «златоустая Анна Всея Руси», по вещему слову Марины Цветаевой. Мне кажется, однако, что царственному величию Анны Андреевны недоставало простоты — может быть, только в этом ей изменяло чувство формы.

При огромном уме Ахматовой это казалось странным. Уж ей ли важничать и величаться, когда она Ахматова!

Но тут я не смею судить, потому что слишком мало и только со стороны знаю тяжелую и трудную внутреннюю жизнь Анны Андреевны. Что-то извне, из самой эпохи тридцатых годов, такой зловещей и неблагополучной, постоянно вторгалось в ее душу и разрушало предустановленную гармонию. А в тайные уголки своей души Ахматова, я думаю, не допускала никого.

Может быть, одной из причин внешнего самоутверждения, среди множества других причин, могло послужить то отчасти ложное положение, в каком оказалась Анна Андреевна по отношению к семье Пунина. Он жил в одной квартире с первой женой. Тут же жила их маленькая дочь.

Когда мы вечером пили чай, обе дамы сидели за столом вместе. Со стороны могло показаться, что они дружны между собой. Но так ли оно было на самом деле, я не знаю.

Атмосфера неблагополучия, глубоко свойственная всей

Анна Ахматова. Портрет Н. А. Тырсы. 1928 г.

эпохе, о которой я рассказываю, может быть, нигде не чувствовалась так остро, как в Фонтанном Доме. Над его садовым флигелем бродили грозные тучи и несли несчастья, которые падали на голову Пунина и Ахматовой.

Жизнь привела их в конце концов к тяжелому разрыву.

Но случилось это еще не в ту пору, о которой я теперь говорю,— это случилось несколькими годами позже.

А тогда старый клен, описанный потом в «Поэме без героя», еще казался зеленым и свежим.

...Атмосфера неблагополучия, нависшая плотной завесой над всей эпохой, начала сгущаться в Русском музее.

Пунин, со свойственной ему интуицией, чувствовал это острее, чем кто бы то ни было. Он постоянно пребывал в удрученном и сердитом настроении и довольно часто с раздражением огрызался на наших сотрудниц Ротштейн и Нотгафт.

На меня он не огрызался. Однажды я спросил его — почему?

Пунин ответил:

— Во-первых, нет повода, вы умеете обходить острые углы; во-вторых, у нас с вами есть общий язык и не обязательно кричать; а в-третьих, вы вроде Анны Андреевны, всегда «в форме», на вас не рявкнешь.

Обычно мы с Пуниным уходили из музея домой вместе. Нам было по пути, я провожал его до Фонтанного Дома.

...Пунин писал тогда свою замечательную мемуарную книгу «Искусство и Революция». Она, как известно, осталась незаконченной.

...Я думаю, что это — лучшая книга Пунина, написанная с неослабевающим вдохновением, с «натиском восторга», как иногда говорил он сам, повторяя известное выражение Врубеля. Пунин писал ее о самом себе и о своих друзьях — и о том, что любил больше всего на свете — о революции в искусстве. Индивидуальность Пунина, может быть, нигде не воплотилась с такой гипнотизирующей реальностью, как в этой книге. С ней можно разговаривать, как с живым человеком. Когда я читаю сохранившиеся главы «Искусства и Революции», мне всегда кажется, что снова слышу высоко звенящий металлический голос Николая Николаевича, с его характерными интонациями, внезапными запинками и неожиданно обрушивающейся — как будто с каких-то высот мысли — захлебывающейся скороговоркой.

В. А. Мануйлов

ПОДАРОК СУДЬБЫ

Мне посчастливилось встречаться с Анной Андреевной с осени 1927-го по начало 1966 года. Многое вспоминается мне об этих не очень частых встречах — значительное и незначительное, много впечатлений сохранилось в памяти за долгие годы...

Пожалуй, я расскажу о горячей любви Анны Андреевны к Пушкину. Любовь к поэту прошла через всю ее жизнь, и неудивительно, что мы часто говорили о нем — дорогом нам, удивительном человеке и о его творчестве. В первую же встречу мы проговорили около трех часов и больше всего о Пушкине.

В тот день я впервые приехал в Ленинград с кавказского побережья Черного моря, где провел с друзьями моей юности Всеволодом Рождественским и Павлом Лукницким счастливое лето, полное странствий, солнца и грозовых ливней. Я уезжал, а приятели оставались еще на юге. Расставаясь, Лукницкий дал мне письмо к Анне Андреевне и просил отвезти ей корзину с фруктами. Так, около семи часов вечера 1 сентября 1927 года я очутился на Фонтанке у знаменитой решетки и чугунных ворот Шереметевского дворца. Через вестибюль я прошел во двор с могучими старинными липами и кленами, повернул направо и поднялся на третий этаж дворцового флигеля в квартиру искусствоведа Н. Н. Пунина, где в скромной прямоугольной комнатке жила и работала Ахматова. Я волновался, уже тогда я понимал значение этой встречи. И вместе с тем я не подозревал, каким подарком судьбы будет для меня знакомство с Анной Андреевной — донной Анной, как называли мы ее в нашей летней компании.

Простота и доброжелательность приема ободрили меня, и я рассказал о недавних черноморских днях, ответил на вопросы о моем ученье в Бакинском университете, о занятиях поэтикой и Пушкиным под руководством ученого и поэта Вячеслава Иванова[1], о недавно защищенном дипломном сочинении о поэме Пушкина «Граф Нулин». Анна Андреевна вспомнила, как внимателен был к ней мой учитель, когда она впервые в 1910 году появилась на его литературных средах, в так называемой Башне, и как тепло и даже несколько торжественно приветствовал он ее, когда по его просьбе она прочитала свои стихи. Конечно, Анне Андреевне было интересно узнать о Вячеславе Иванове, о его пушкинском семинаре. А потом по ее

настоянию я поделился своими мыслями не только о пародировании Пушкиным поэмы Шекспира «Лукреция», но и тем, что в «Нулине» есть пародийное решение одной из основных проблем «Евгения Онегина», проблемы супружеской верности. Уже тогда, в первую встречу, я понял, как хорошо знает Анна Андреевна не только произведения Пушкина, но и то, что написано о нем.

В следующую встречу, 16 сентября 1927 года, мы говорили с Анной Андреевной опять о Пушкине, о работах П. Е. Щеголева, посвященных великому поэту. Ахматова вспомнила наш разговор о моем дипломном сочинении и спросила, почему я выбрал «Графа Нулина» — поэму не очень значительную, чисто бытовую,— не потому ли, что отсюда пошли «Тамбовская казначейша» и «Сашка» Лермонтова?

Я отвечал, что в этом бытовом повествовании есть глубокие корни, уводящие нас к античной легенде о Лукреции и Тарквинии («К Лукреции Тарквиний новый отправился на все готовый»). Но если Овидий и Шекспир обратились к этой легенде в серьезных историко-эпических жанрах, то Пушкин пародировал этот сюжет. Вместе с тем в его шутливой поэме я увидел автобиографические намеки на историю отношений с Е. К. Воронцовой («Смеялся Лидин, их сосед, помещик двадцати трех лет»).

Анна Андреевна заинтересовалась сопоставлениями с Овидием и Шекспиром, но усомнилась в автобиографических параллелях. Она не согласилась с тем, что Нулин — карикатура на Александра Раевского.

...Потом разговор перешел на «Маленькие трагедии» Пушкина, которыми уже тогда занималась Ахматова. Особенно интересны мне были ее размышления о «Каменном госте». Позднее я прочел ее статью об этой трагедии. Более тонкого проникновения в замысел одного из лучших произведений Пушкина я не встречал.

В этот вечер Анна Андреевна впервые заговорила со мной о Николае Степановиче Гумилеве, о его поэзии, но еще не касалась их личных отношений. Разговор зашел о Владиславе Ходасевиче и о Георгии Иванове. Анна Андреевна говорила, что в жизни была связана с акмеистами, продолжает дружить с О. Э. Мандельштамом. Как и акмеистам, ей свойственно стремление к конкретности, но ее не привлекают исторические мотивы, чужда экзотика. Более всего Ахматова стремилась к пушкинской простоте. Для нее важно отражение мгновенных впечатлений и движений души. Блок во многом был ей ближе, чем акмеисты.

В разговоре незаметно пролетели три часа. Читать свои стихи я уже не решился.

В третий раз я пришел к Ахматовой 26 сентября. Говорили о Павлике Лукницком, о творчестве, о только что прочитанных

Анна Ахматова. Портрет Г. Верейского. 1929 г.

мною книгах ее стихов «Anno Domini» и «Белая стая». Анна Андреевна участливо расспрашивала меня о моих делах. Я рассказал, что пока все по-прежнему очень неопределенно: нет ни постоянной работы, ни жилья, ночую то у сестры, то у друзей. Ахматова посоветовала мне съездить в Детское Село, где живут просторнее, и найти недорогую комнату попроще.

Я решил последовать совету Анны Андреевны и попросил Всеволода Рождественского, который хорошо знал Детское Село, поехать со мной.

Было начало октября. Всеволод Александрович показывал мне город, Лицей, парки, рассказывал о своем детстве. Мы перешли Малую улицу. Мое внимание привлек небольшой деревянный дом под номером 63. Слева от входной двери, наверху, оказалась дощечка с надписью: «Дом А. И. Гумилевой». Это был дом матери поэта Н. С. Гумилева, которая давно здесь не жила. Я подумал, что, может быть, тут найдется свободная комната, и робко дернул ручку звонка. Зазвучал колокольчик. Дверь открыла старушка среднего роста: «Пожалуйста, войдите»,— доверчиво произнесла она. Я не решился сослаться на Анну Андреевну, но спросил, нет ли в этом доме свободной комнаты. Старушка пригласила нас из передней в маленькую гостиную, предложила сесть.

Я рассказал о себе. Оказалось, что свободная комната есть наверху, в мезонине. По внутренней деревянной лестнице мы поднялись. В светлой просторной комнате стояли письменный стол, около него кресло, небольшой книжный шкаф, несколько стульев и диван. Комната мне понравилась. Сама судьба привела меня сюда.

Внизу, в гостиной, нас встретила другая старушка. Цена за комнату оказалась скромной. Мы договорились.

...Я перевез в Детское Село мое нехитрое имущество: чемодан и купленный уже в Ленинграде портфель.

10 октября я пришел с этой новостью к Анне Андреевне. Она хорошо помнила этот дом, где жила с мужем в 1911—1916 годах. Новых хозяев Ахматова не знала.

Вскоре Анна Андреевна навестила меня в Детском Селе, но в доме, где все изменилось и только стены напоминали о прежних хозяевах, ей не захотелось долго оставаться, и мы отправились на прогулку в Екатерининский парк. По пути Анна Андреевна отмечала, как изменился город, и рассказывала, каким он был в годы ее детства и молодости.

Анна Андреевна была в курсе событий моей жизни и очень заботливо вникала во все, даже бытовые сложности. Ахматова стала бывать у нас. Она показывала моей жене Лидии Ивановне город, вместе они посещали Эрмитаж, Лидия Ивановна хорошо знала английский и французский языки, и Анна Андреевна читала с ней Шекспира и французских парнасцев.

Анна Ахматова. Портрет Нины Коган. 30-е годы

Анна Андреевна отлично знала и любила наш город и, конечно, Петербург Пушкина. Тогда еще не было книг А. Г. Яцевича «Пушкинский Петербург». Ее рассказы о людях, домах, быте северной столицы были удивительно увлекательны и точны. Надо сказать, что память у Анны Андреевны была феноменальная, едва ли не пушкинская. Она помнила не только все когда-либо прочитанное и услышанное, но и даты исторических событий, выхода в свет тех или иных книг. Меня всегда удивляли ее точные, с множеством характерных подробностей воспоминания о ее молодых годах в Царском Селе, о встречах с И. Ф. Анненским — директором Царскосельской гимназии, известном поэте, которого она позже назвала своим учителем, о литературной жизни дореволюционного Петербурга.

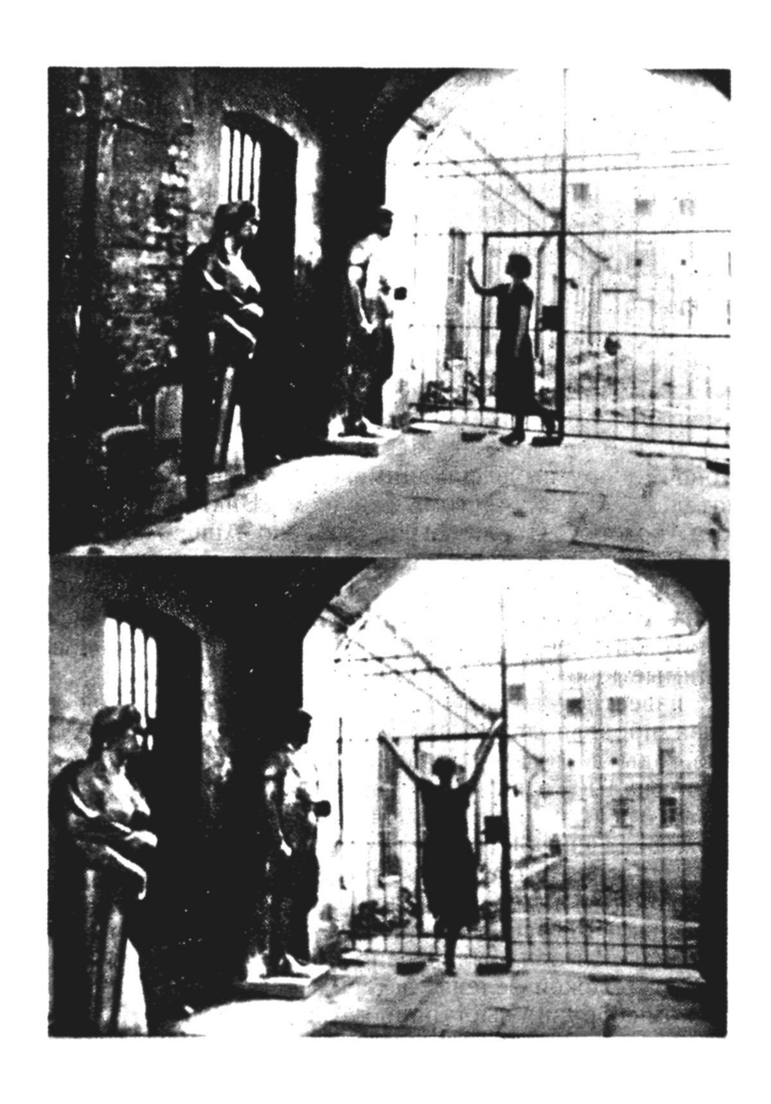
Иногда Анна Андреевна упоминала об известном историке революционного движения в России и пушкинисте Павле Елисеевиче Щеголеве. Она была в добрых, близких отношениях с женой Щеголева, Валентиной Андреевной, воспетой А. А. Блоком («Валентина, звезда, мечтанье. Как поют твои соловьи»). Обе подруги благоговейно любили Блока.

Зная о том, что мне только урывками удается заниматься работой над Пушкиным и Лермонтовым, Анна Андреевна в августе того же 1928 года однажды сказала мне: «А почему бы мне не познакомить вас с Павлом Елисеевичем? Вы могли бы быть ему хорошим помощником. Да и сами многому научились бы. Я поговорю с Валентиной Андреевной».

Через несколько дней Ахматова привела меня к Щеголеву. Так началась моя работа с этим большим ученым. Мы делали двухтомную «Книгу о Лермонтове» (монтаж воспоминаний и документов), вышедшую в свет в 1929 году. Позднее я был секретарем полного собрания сочинений Пушкина, изданного в качестве приложения к журналу «Красная Нива» в 1930 году.

Ахматова живо интересовалась ходом работы над изданием Пушкина, и, когда она бывала у Щеголевых, Павел Елисеевич охотно рассказывал ей о новых текстах и новых прочтениях некоторых слов и даже стихов. Помнится, как была восхищена Анна Андреевна стихотворением «В прохладе сладостной фонтанов». До сих пор остается оно неразгаданным. О ком идет речь, кто этот поэт, воспетый Пушкиным: Адам Мицкевич, Шота Руставели, один из собратьев Саади? Мы этого не знаем.

Уже тогда Анна Андреевна читала и перечитывала книгу Щеголева «Дуэль и смерть Пушкина», вышедшую вторым изданием в 1928 году и, конечно, подаренную ей автором. Уже тогда, вдумчиво вчитываясь в каждую строку этой классической работы, Анна Андреевна кое с чем не соглашалась и прямо высказывала свои возражения Павлу Елисеевичу. Впоследствии эти ее штудии и споры нашли свое завершение в статьях «Гибель Пушкина» и «Александрина», вошедших в ее посмертную кни-



Анна Ахматова. Фотографии из коллекции М. Болцвинника.
Около 1925 г.

гу «О Пушкине. Статьи и заметки». Эта книга не только многолетний труд исследователя-пушкиниста, но и страстное слово любви к Пушкину и ненависти к его врагам. Мы, в свою очередь, можем не соглашаться в чем-то с Ахматовой, в частности, с ее нетерпимым отношением к Наталье Николаевне и ее сестрам. Ахматова любила Пушкина ревнивой любовью. Она не могла быть беспристрастной. Но, как исследователь, она проделала громадную работу по изучению и сопоставлению многочисленных источников. На это нужны годы, терпение и талант. Как бы мы ни относились к некоторым концепциям книги Ахматовой, она стоит на полке рядом с книгой Щеголева, и в ней много нового, о чем не догадывался Павел Елисеевич.

В меньшей степени, более отдаленно я имел возможность знать о другой, не менее существенной «пушкинской дружбе» Ахматовой с другим выдающимся исследователем Пушкина, замечательным текстологом Борисом Викторовичем Томашевским, которого также было суждено Анне Андреевне пережить. Беседы с Томашевским были для Ахматовой всегда значительным событием, и Борис Викторович говорил об Анне Андреевне сдержанно, но за этой сдержанностью чувствовалось благоговейное уважение и восхищение. Он приносил ей необходимые книги, делился своими замыслами.

Как известно, во время Великой Отечественной войны Ахматова провела два с половиной года в Ташкенте. В эти трудные годы до нас, оставшихся в осажденном Ленинграде, доходили скупые, отрывочные известия о ее жизни и работе в Средней Азии. Но 1 июня 1944 года она вернулась в Ленинград. Вскоре, 11 июня, я видел Анну Андреевну в городе Пушкине, в городском Доме культуры. Отмечалась очередная годовщина со дня рождения Пушкина. Город, носящий имя поэта, был освобожден совсем недавно, 25 января. Прошло около полугода. Большой зал был переполнен. В открытые окна врывался запах свежей зелени, ветер шелестел листвой. На торжественном собрании выступала и Анна Ахматова. Анна Андреевна прочла свои всем хорошо известные стихи о Пушкине-лицеисте:

Смуглый отрок бродил по аллеям,
У озерных грустил берегов,
И столетие мы лелеем
Еле слышный шелест шагов.
Иглы сосен густо и колко
Устилают низкие пни...
Здесь лежала его треуголка
И растрепанный том Парни.

Но давние стихи молодой Ахматовой звучали в тот день как-то по-новому. Голос ее звучал еще совсем молодо, и пушкинское это стихотворение как-то особенно взволновало всех. Сколько всего было пережито! И Пушкина, и вещее его слово

Анна Ахматова. Фотография из коллекции М. Болцвинника. 1940 г.

мы пронесли через испытания военных лет, как что-то родное и близкое каждому из нас.

Однажды осенью 1945 года у нас зашел разговор о стихотворении «Памятник». Анна Андреевна сказала, что в прежние годы она читала это завещание Пушкина совсем другими глазами и многого не замечала. Теперь для нее особое значение приобрело предчувствие поэта:

И долго буду тем любезен я народу,
Что чувства добрые я лирой пробуждал...

— Как это верно, как это важно,— говорила она.— Разве не в чувствах добрых к человеку — основной смысл искусства, главное назначение поэзии.

Анна Андреевна была отзывчива и добра. И доброта ее была деятельной. У нее было удивительное дарование и потребность помогать людям. При первом знакомстве она производила впечатление человека замкнутого, даже нелюдимого. Но эта холодность, скованность, недоступность скрывала не только ранимость, но и чуткое внимание к окружающим, бережное отношение к тем, кто нуждается в помощи. Я всегда бывал бесконечно благодарен ей, когда она обращалась ко мне с просьбой позаботиться о ком-нибудь, похлопотать о чем-то. И, может быть, не случайно Анна Андреевна подарила мне однажды свой сборник стихотворений «Из шести книг» («Советский писатель», 1940) с надписью: «Дорогому Виктору Андрониковичу на память о наших общих хлопотах о людях — дружески Анна Ахматова. 1 ноября 1945».

Е. К. Гальперина-Осмеркина

ВСТРЕЧИ С АХМАТОВОЙ

В августе 1927 года я как-то проходила с художником А. А. Осмеркиным по главной аллее ленинградского Летнего сада.

Семь лет я не была в моем любимом городе. Но никогда не изгладится в моей памяти впечатление от тогдашнего Петрограда. Редкие прохожие с озабоченными лицами и пустыми авоськами, немногочисленные трамваи, а с двенадцати часов ночи — патрули на углах главных улиц, задерживающие запоздавших прохожих.

В белые ночи Петроград как будто переставал быть населенным городом. Улицы, дворцы, памятники приобретали еще более «строгий, стройный вид», напоминая опустевший музей. И только Нева сохраняла свое «державное теченье».

Теперь, в 1927 году, город, уже именуемый Ленинградом, как бы вышел из реанимации: много людей, переполненные трамваи, мелькание, правда еще редких, легковых машин, расклеенные объявления и театральные афиши, шум живущего полной жизнью города. В руках прохожих уже не пустые авоськи, а наполненные сумки и тяжелые портфели.

На улицах было душно, жарко, а в Летнем саду тенисто и прохладно. С утра сад еще пустовал, на редких скамейках сидели мамаши с колясками, и ребята копались в куче песка.

Мы повернули в боковую аллею, и я увидела вдали две фигуры: женщину и мужчину. Они сразу приковали к себе мое внимание. Согласная ритмичность их походки, стройность, вернее, статность этих фигур поразили меня. В мужчине я вскоре угадала Н. Н. Пунина, искусствоведа, которого я видела еще в 1920 году в доме художника Ю. П. Анненкова, мужа моей двоюродной сестры. А в этот мой приезд я узнала, что имя Пунина связывают с именем Ахматовой.

Да, это они теперь шли по аллее Летнего сада. Он в светлом костюме, она в легком платье. Мне бросилась в глаза знакомая по портретам челка.

Я никогда еще не видала живую Ахматову, но знала ее изображения — и живописные портреты, и зарисовки, и фотографии. И всегда я читала на ее лице выражение какой-то отчужденности и тщательно скрываемого богатства внутреннего мира. Но теперь к нам приближалась женщина, улыбка которой, сиянье глаз были полны радостью бытия. «Да, я счастлива,— читалось на ее лице,— счастлива вполне». Пунин

был тоже в прекрасном настроении, но в его повадке сквозило самодовольство. Весь его вид, казалось, говорил: «Это я сумел сделать ее счастливой».

Мы постояли несколько минут. Осмеркин представил меня Ахматовой. Потом я встречала ее много раз в течение ряда лет, но никогда уже я не видела в ее облике такого полного приятия жизни.

Месяца через два Осмеркина срочно вызвали в Москву, и он попросил меня отнести Анне Андреевне книгу, чужую книгу, которую надо было срочно вернуть владельцу. Я позвонила Ахматовой по телефону, справляясь, когда ей удобнее меня видеть. «Когда хотите,— ответила она,— я целый день дома». Около пяти часов я позвонила в квартиру Пунина на Фонтанке. Открыла дверь маленькая девочка и оставила меня в передней. Через несколько минут она вернулась и своим детским голосом, поражавшим серьезностью интонаций, сказала: «Пойдемте, я вас к ней проведу». Она проводила меня до комнаты и, приоткрыв дверь, скрылась.

Я впервые оказалась с Ахматовой с глазу на глаз. Увы! Это мое посещение оставило во мне такое чувство неловкости, что я долго не могла от него отделаться. Анна Андреевна полулежала на диване и указала мне на стул: «Садитесь, пожалуйста». Я успела заметить, что диван был здорово потерт, а на столе — беспорядок, часто встречающийся у людей, работающих дома. «Хорошо,— подумала я,— мебель для людей, а не люди для мебели». Я передала книгу Анне Андреевне. «Благодарю». Молчание.

В это время без стука вошла в комнату та же девочка, по-хозяйски взяла оставленную на столе чашку и вышла.

— Я совершенно не умею разговаривать с детьми,— сказала я.

— С детьми надо разговаривать так же, как со взрослыми,— ответила Анна Андреевна.

Молчание.

Мое чувство неловкости все усиливалось.

— Извините, Анна Андреевна, я должна вас покинуть — очень тороплюсь.

Она встала, провожая меня, и вывела по коридору до входной двери.

Я ушла от нее просто подавленная. А через несколько лет я вспомнила об этом неудачном визите вот по какому поводу.

Осмеркин, который стал моим мужем, ездил каждый месяц из Москвы в Ленинград, где он занимался в Академии художеств с дипломниками. Я работала на эстраде, выступала в литературных концертах и имела возможность свободно распоряжаться своим временем. Мы стали жить на два города. Появилось много новых друзей среди ленинградцев. Александр Александрович часто бывал у Ахматовой. Как-то раз он обра-

тился ко мне с неожиданным вопросом: «Скажи, ты давно была в зоопарке? Ходила ли смотреть птиц?» — «Да, и с большим интересом».— «А обратила внимание на какаду? Какая интересная птица! Вокруг нее щебечут, перелетают с места на место разные птицы, подают голоса другие попугаи, а она сидит спокойно, очевидно не слыша и не видя никого кругом, с устремленным вдаль взглядом. Я не раз вспоминал эту птицу, бывая у Анны Андреевны. Она так же замыкается иногда, тоже ничего не видит и не слышит вокруг, погруженная во что-то свое».— «Ну что же, теперь мне понятно ее поведение, когда я занесла ей книгу. Очевидно, я пришла не вовремя. У меня было такое чувство, какое бывает перед светофором: «Красный свет! Не приближайся! Остановись!» — «Да, об этом надо знать. С тех пор как я это понял, я всегда спрашиваю у нее по телефону: «Анна Андреевна, можно прийти? Какаду сегодня не будет?» А она, смеясь, отвечает: «Нет, не будет. Приходите».

Это свойство Ахматовой, видимо, хорошо знал ее друг Н. И. Харджиев. Однажды, когда Анна Андреевна остановилась в Москве у нас, он при мне зашел к ней утром. Я хотела выйти из комнаты, но Анна Андреевна благодушно и весело пригласила меня остаться. Мы оживленно беседовали втроем, как вдруг Анна Андреевна замолчала, глядя куда-то в пространство. Мы тоже замолчали. Прошло несколько минут, молчание не нарушалось. Николай Иванович слегка потянул меня за рукав: «Пойдемте. Наверное, Анна Андреевна хочет...— тут он стал подыскивать подходящее выражение — сочинять». Мы вышли с ним из комнаты в мастерскую. А там собрались друзья Осмеркина. Говорили, смеялись, пили сухое вино. Час пролетел незаметно. Наконец, дверь в мастерскую отворилась, и Анна Андреевна как ни в чем не бывало присоединилась к нам. «Как хорошо,— шепнул мне Осмеркин,— какаду улетел». А я подумала, что зажегся зеленый свет.

Но вернемся к началу тридцатых годов. Как-то раз в Ленинграде Осмеркин мне сообщил: «На завтрашний вечер мы приглашены с тобой к Пуниным. Только, пожалуйста, ничему не удивляйся. В этой же квартире живет прежняя жена Пунина с их общей дочкой. Что ты так на меня смотришь? Там все очень мило, очень семейственно».

...Примерно в восемь часов мы подошли к Фонтанному Дому. Дверь открыл нам Николай Николаевич, помог раздеться и пригласил в столовую. За столом сидела Анна Андреевна, встретившая нас приветливой улыбкой и веселым взглядом, а напротив сидела, как я поняла, прежняя жена Пунина — Анна Евгеньевна. Она поздоровалась с нами с большим высокомерием. Рядом с ней сидел еще совсем молодой человек, которого Пунин представил нам как «доктора N» (фамилию не помню). Анна Андреевна указала мне на стул рядом с нею и предложила попробовать какую-то закуску. Но хозяином явно

был Пунин. Анна Андреевна вела себя как близкий друг дома, часто бывавшая в нем, но отнюдь не как хозяйка.

...Мы просидели за столом довольно долго. Пунин и Осмеркин говорили о делах Академии художеств. В конце концов трапеза завершилась. Анна Евгеньевна со словом «благодарим» вышла из-за стола со своим доктором. Анна Андреевна пригласила нас к себе.

Мы с Осмеркиным стали просить ее почитать стихи. Она согласилась.

* * *

В те «баснословные года» я без конца посещала лекции и концерты, в которых участвовали поэты. Я слыхала несколько раз выступления Андрея Белого, поразившего меня экзальтированностью своей манеры и прозвучавшими на весь зал словами: «Подумайте, мы суть суммы созвездий!» Я присутствовала на выступлениях Блока, который ровным, без всякого акцентирования и эмоционального напряжения голосом не то чтобы читал, а как бы цитировал свои стихи. Слышала экстатического Бальмонта и многих других. И всегда чтение поэтов напоминало мне звучание какого-нибудь музыкального инструмента. При чтении Ахматовой мне послышались звуки отдаленного органа. Она читала ровно, без каких-либо актерских приемов, но стихи звучали торжественно и, казалось, доходили до нас тут же, со всей полнотой ее чувств и размышлений.

Видела я Ахматову и в Москве. В первый раз это было в 1934 году у художника А. Г. Тышлера. Мы жили с ним в одном доме, и наши кухни выходили на общую лестничную площадку черного хода. Поэтому-то я и решилась пойти в гости к Тышлерам, несмотря на то что только три дня тому назад вернулась из родильного дома. По случаю приезда Ахматовой у Тышлеров собралось небольшое общество. Говорили мало. Почему-то все с восторженной сосредоточенностью поглощали домашние кулинарые произведения Настасьи Степановны Тышлер. Хозяин же с удовольствием поглядывал на одну из красивых женщин, бывшую среди гостей. Анна Андреевна, сидевшая близко от меня, сказала: «Елена Константиновна, я непременно хочу посмотреть вашу дочку».— «Но ей же только десять дней».— «Тем более». Мы извинились перед собравшимися и, благополучно пройдя две кухни, оказались в комнате, где мирно спала девочка. Анна Андреевна наклонилась над кроваткой и внимательно разглядывала ее. Вдруг девочка открыла глаза, вперив их в склоненное над нею лицо. «А глазки-то серые...» — с незнакомой мне нежностью сказала Анна

Андреевна. О чем она думала, наклонившись над младенцем, я не знаю, но сосредоточенная нежность ее взгляда мне запомнилась навсегда. Наконец она выпрямилась и своим глуховатым голосом проговорила: «Ну дай Бог, дай Бог...» Такое смиренное, а главное, искреннее обращение к Богу я встречала только в детстве в монастырских стенах, куда меня водила няня, у женщин одетых в черное. Когда Таня выросла и стала читать, я сказала ей: «Никогда не забывай, что первый человек, кроме домашних, который тебя увидел и благословил, была Анна Андреевна Ахматова».

Мы вернулись в квартиру Тышлера. Оказывается, художник Татлин пел под гитару народные песни.

* * *

До самой войны Осмеркин продолжал ездить из Москвы в Ленинград и в эти годы особенно подружился с Ахматовой. Мне приходилось видеть ее неоднократно.

Однажды в Москве Анна Андреевна зашла к нам, а мы, не помню почему, опоздали к условленному часу ее прихода. Моя дочь, как настоящая хозяйка, развлекала ее беседой. И о чем? О Пушкине. Она рассказывала гостье о друзьях поэта, его женитьбе, о Дантесе и дуэли. На наши извинения за вынужденное опоздание Анна Андреевна ответила: «Мне совсем не было скучно, я беседовала с маленькой пушкинисткой». Беседы Осмеркина со старшей дочерью Таней начались, когда ей едва минуло пять лет. Девочка с увлечением рассматривала иллюстрации, слушала чтение сказок и стихов, рассказы отца о жизни Пушкина. Так она и стала «маленькой пушкинисткой».

Мне запомнился рассказ Анны Андреевны о том, как Осмеркин писал ее портрет (назвав его «Белая ночь»). «Все было хорошо,— смеясь, говорила она,— кроме одного: Александр Александрович оставлял на полу бесчисленное количество каких-то бумажек, спичек, уроненных окурков, и после этих сеансов мне приходилось убирать свою комнату».

Когда Анна Андреевна возвращалась из Ташкента в Ленинград, она задержалась на некоторое время в Москве. Александр Александрович сообщил мне, что она поживет некоторое время у нас.

Я освободила для нее свою комнату, а сама стала жить в мастерской. Очень я боялась, что при моей рабочей нагрузке я не смогу быть полезной Анне Андреевне в качестве хозяйки дома, и потому пригласила пожить у нас домработницу моей

матери. Мотя (так звали эту женщину) была тактичным и умным человеком. Она сразу поняла, что имеет дело не с обыкновенной дамой, и с особенным вниманием ухаживала за ней. Со своей стороны Анна Андреевна обращалась с Мотей с уважением и учтивостью, столь характерными для старой русской интеллигенции. И Ахматова и Мотя остались очень довольны друг другом.

К нам вообще часто по вечерам приходили друзья, но «на Ахматову» стало собираться все больше народу. В эти военные годы она была на вершине своей популярности. Это отразилось на ее манере держать себя. Вспоминаю один вечер, когда у нас были Б. В. Иогансон с женой и другие художники. Все старались выразить ей восхищение ее стихами. Один из художников задал ей наивный вопрос, не зная о поэме «У самого моря»: «Анна Андреевна, а вы никогда не писали больших поэм?» Она не ответила прямо, но ограничилась фразой: «Истоками русской поэмы можно считать три произведения,— говорила она,— «Евгения Онегина», «Кому на Руси жить хорошо» и «Облако в штанах». «Ну, а вы-то, вы писали поэмы?» — настаивал тот. «Да, и назвала ее «Поэмой без героя». Хотите, прочту? — обратилась она ко всем нам.— А как отразились в ней традиции русской поэмы, судите сами». Все благоговейно слушали, а у меня возникла настойчивая мысль об аналогии этой поэмы с пушкинским «Домиком в Коломне». Я помнила о чьем-то толковании этого произведения как прощания поэта с молодостью перед женитьбой. И мне показалось, что прощание с прошлым в первой части «Поэмы без героя» и легкий иронический тон в «Решке» продолжают эту традицию. Когда Ахматова кончила читать, я подошла к ней и сказала: «Анна Андреевна, это ваш «Домик в Коломне». Она посмотрела на меня очень внимательно и ответила: «Вы правы. Вы совершенно верно поняли мою поэму».

* * *

При всем своем внутреннем величии Анна Андреевна не оставалась равнодушной к поклонению. Помню ее встречу у нас с Дмитрием Николаевичем Журавлевым. Запомнился мне этот вечер, потому что Ахматова была в несвойственном ей веселом настроении. Журавлев читал стихи Пушкина, и она нежно благодарила его, с улыбкой подавая ему руку ладонью вверх. И он всякий раз неизменно учтиво поворачивал эту руку и целовал ее особенно почтительно. Самое удивительное, что не совпадало с привычным мне образом Ахматовой, было невиданное мною ранее ее веселое кокетство.

В одной из наших утренних бесед, когда у меня выпадали свободные часы, она заметила, что завершение каких-то эта-

пов жизни бывает очень тяжелым. «Вот, когда мы окончательно расстались с Пуниным и я уходила навсегда из его комнаты, Николай Николаевич сказал мне вслед: «Едет царевич задумчиво прочь, // Будет он помнить про царскую дочь». Она сказала это с усмешкой, усмешкой презрительной и горькой. И тут же без перехода сообщила: «А вы знаете, я выхожу замуж за профессора медицины Владимира Георгиевича Гаршина».

В другое утро Анна Андреевна вдруг спохватилась: «Сейчас ко мне должен зайти Пастернак, а здесь как-то не прибрано». Я с беспокойством осмотрела комнату. Хотя Мотя и старательно убирала ее, печать небрежного отношения к вещам, которое царило в нашем доме, была очень заметна. «Пожалуйста, не беспокойтесь,— говорила Анна Андреевна, видя, как я быстро прячу какие-то ненужные вещи.— Впрочем, вот эту подушечку с дивана хорошо бы убрать». Действительно, на наволочке из линялого ситца был ужасно грубый шов. Я быстро унесла ее. «Теперь все-все в порядке»,— сказала Анна Андреевна.

Вскоре раздался звонок, пришел Пастернак. Я проводила его в комнату Анны Андреевны, а сама ушла в соседнюю, в мастерскую Осмеркина. Вначале до меня доносились звуки глуховатого голоса Анны Андреевны и громкое гудение речи Пастернака. Я всегда удивлялась его манере взволнованной и возбужденной беседы. Анна Андреевна, как я услышала из-за двери, стала читать ему свои стихи. Через некоторое время послышался даже не возглас, а выкрик Пастернака: «Это удивительно, поразительно! Ваши стихи скворчат как на сковородке... Они живут сами по себе!» После некоторой паузы опять выкрик: «Скворчат, скворчат стихи!» Очевидно, она долго еще ему читала. Оба вышли из комнаты взволнованные.

Проводив его до двери, Анна Андреевна сказала, что Борис Леонидович принес два билета в Художественный театр на «Марию Стюарт» в его переводе. Я посмотрела на нее с завистью и спросила, любит ли она Художественный театр. Она засмеялась: «Je suis vierge de ça» («Я девственна в этом отношении»).— «То есть как?» — «Я в Художественном театре ни разу не была. Пьесы Чехова я не люблю, и вообще репертуар Художественного театра мне не интересен, да и то, что я знаю о системе Станиславского, мне непонятно».

...В одно из наших «утр» я заметила рядом с книгами, лежащими на столе, фотографию. На ней были запечатлены Николай Степанович Гумилев, совсем молодая Ахматова в большой, по тогдашней моде, шляпе и в середине маленький Лева (ныне известный ученый Лев Николаевич Гумилев). Я довольно долго рассматривала эту фотографию. Анна Андреевна сказала: «Тут Гумилев снят en beau*, в жизни он был несколько иной».

---

* Слишком красивым *(франц.)*. — *Ред.*

Я молчала, думая о его трагической судьбе. Молчание прервала Анна Андреевна: «Знаете, я часто думаю о том, что расставание с жизнью, если человек еще в сознании, должно быть очень страшно».

* * *

Доклад Жданова о журналах «Звезда» и «Ленинград» я прочла в дачном поезде. Мне стало почти дурно, когда я с трудом вникала в грубые фразы, поносящие Зощенко и Ахматову. «Наверное, они оба умрут, не переживут позора и отверженности»,— думала я.

Увидела я Анну Андреевну месяца через два в Ленинграде. Я пришла к ней с какими-то продуктами, захватила с собой даже буханку хлеба. К моему удивлению, Ахматова встретила меня с приветливой улыбкой и бодрым шагом провела в свою комнату. «О, какую тяжелую сумку вы тащите»,— заметила она сочувственно. Я выложила все продукты из сумки на стол. «Анна Андреевна, я принесла вам то, что могла, ведь вы живете без карточек». Она неожиданно рассмеялась и приподняла коробку, стоявшую на столе. Под ней лежали продовольственные карточки. «Что это?» — изумилась я. «Это мне присылают на дом».— «Кто?» — «Право, не знаю, но присылают почти каждый день».

Ни капли раздражения, ни гнева... Я молчала, а в душе моей звучали строки ее стихотворения, обращенного к Музе:

Ей говорю: «Ты ль Данту диктовала
Страницы Ада?» Отвечает: «Я».

* * *

В послевоенные годы жизнь моя круто изменилась. Новая работа, новые встречи, новые друзья. Часто я ездила в длительные дальние командировки. Больше с Ахматовой так запросто я не встречалась.

В. Ф. Румянцева

ИЗ ПИСЬМА К М. Н. ИКОННИКОВОЙ

14 августа 1931 г.

«Дорогая Марэтта... Перед моим отъездом в Ленинград С. М. ⟨Бонди⟩[1], чтобы доставить мне удовольствие, предложил мне исполнить одно поручение — передать письмо Ахматовой. Она занялась сейчас исследованием пушкинского «Золотого петушка», а у С. М. есть кой-какие материалы по этой сказке, и он ей их предлагает. Я, конечно, с радостью ухватилась за такое поручение... Я пошла к ней не сразу — чувствовала себя неважно в первые дни и никуда не ходила. Наконец пошла. С некоторым трудом нашла ее квартиру на Фонтанке, так как номер квартиры мне не указали в адресном столе. Крыльцо выходит в сад. Поднимаюсь по лестнице, надеясь, что на двери будет дощечка с ее фамилией. Наконец на третьем этаже вижу — визитная карточка. Но читаю: «Николай Николаевич Пунин». Это известный искусствовед, и я подумала почему-то, что, может быть, он ее муж. Позвонила. Отпирает пожилая прислуга. Спрашиваю: «Не здесь ли живет А. А. Ахматова?» Говорит: «Здесь, но сейчас ее нет дома, уехала в Сестрорецк». Сказала номер телефона... Звоню вечером по телефону. Мне говорят: «Нет дома, и неизвестно, когда будет, позвоните часов в 11 или завтра утром». На другой день около 11 звоню опять. Подходит. Говорю: «Анна Андреевна, вы меня не знаете, но я должна вам передать письмо из Москвы».— «Пожалуйста, только я должна извиниться перед вами, что вчера вас по телефону приняли не так, как следовало бы». Я немного удивилась: да нет, хорошо. Условились, что я сейчас к ней еду. Сажусь на 51-й трамвай и еду к Фонтанке. Голос по телефону красивый и очень приятный, так что, вероятно, не тяжело будет с ней разговаривать. Приезжаю. Звоню. Отпирает сама. Сразу узнала ее по портретам. Только почему-то не одета: в белом шелковом капоте, широком и длинном, в туфлях на босу ногу, с распущенными волосами. Смотрит незнающим, вопросительным взглядом. Спрашиваю: «Анна Андреевна?» — «Да».— «Я привезла вам письмо от московского пушкиниста Б[онди]». — «Здравствуйте». Подает тонкую руку. Здороваюсь и даю письмо. «Спасибо, пройдите, пожалуйста, ко мне». Пошла вперед. «Извините за мой вид, я только что встала». Идем по коридору. «Мне очень приятно и интересно получить письмо от Бонди». Входим в комнату. Окна выходят в сад, мягкая мебель,

на диване неубранная постель. Говорит прислуге: «Ах, Катя, вы еще не убрали, убирайте скорее». Прислуга уносит простыни, она садится на диван и приглашает меня. Разрывает конверт и читает письмо. Я в это время рассматриваю ее и комнату. Она смуглая, немолодая. Ей лет 36—37, но можно дать больше. Некрасива, но, вероятно, была красива раньше. Но все же и теперь необыкновенно обаятельна. Тонкая, гибкая, красиво поставлен голос. До бесконечности женственна. «Почти доходит до бровей ее незавитая челка». Комната большая, убрана со вкусом. Синий фарфор чашек, много картин на стенах — все рисунки художников типа «Мир искусства» — ее портреты, петербургские пейзажи, разные наброски. Прочитала письмо — «То, что мне предлагает Бонди, очень важно для меня, и знаете — я сама собираюсь в Москву». Я сказала, что Бонди думает приехать в Ленинград. Она встревожилась: «Когда? Как бы нам не разъехаться. Как бы сделать так, чтобы этого не случилось». Я заметила, что он, вероятно, указал свой адрес. «Да, и я, конечно, напишу ему, но боюсь, что сделаю это не сразу и будет поздно». Пришлось мне предложить написать ему. «Ах, пожалуйста, сделайте это, это очень для меня важно».— «Это насчет «Золотого петушка»?» — «Да, насчет «Золотого петушка». Я обещала написать в тот же день и извинилась, что не сразу передала ей письмо, т. к. была нездорова. «А что с вами было?» — «Должно быть, грипп, в дороге простудилась». Я встала, собираясь уходить. «Вы всегда живете в Москве?» — «Да». Пошла меня проводить до дверей. «Вы бледная, видно, что были больны».— «Я всегда бледная».— «Не загораете?» — «Нет».— «А где вы работаете?» — «В Третьяковской галерее». Она остановилась. «Ах, это интересно, расскажите, как там теперь — все хорошо?» — «Нет, неважно».— «Да, здесь тоже печально с музейным делом». «Да,— говорю,— была я в Эрмитаже, так одно огорчение»[2].— «Да, ужасно, просто провинциальный музей, мы уж теперь туда и не ходим».— «Ведь ничего нет, вещей нет, мадонны Д'Альба нет...» — «Перуджино триптиха нет...» — «Боттичелли нет...» — «Да и вообще многого нет. Мы так этой зимой все это переживали».— «Тициановская Венера перевезена в Москву, но ее теперь нет и там».— «Что вы говорите?! А в Русском музее вы еще не были?» — «Нет еще».— «Там пока все есть».— «Ну да это понятно, это никому не нужно».— «Ну конечно». Остановилась, что-то хочет сказать. Вдруг говорит: «Мне бы так хотелось вам что-нибудь сделать, быть вам полезной». Я произношу что-то благодарственное и отрицательное. «Нет, правда, ну например, походить с вами по городу, я петербурженка, все здесь знаю...» Я что-то пробормотала насчет того, что не могу ее затруднять. «Нет, нет, я относительно свободна, и для меня это только удовольствие». Подумав, говорю: «Хорошо, спасибо, Анна Андреевна, может быть, я к вам

обращусь, если понадобится».— «Пожалуйста, непременно». Потом: «Так вы ему напишете?» — «Напишу сегодня же, но он будет очень рад, если и вы ему напишете».— «Я напишу непременно».— «А когда вы собираетесь в Москву?» — «Не знаю точно, за мной должны приехать и увезти меня, и это может случиться со дня на день. Я должна отсюда уехать, не могу больше, но сама не поеду, так что придется меня везти».— «Вы нездоровы?» — «Нет, просто тяжела на подъем». Уходя, говорю, что зайду к ней на всякий случай перед отъездом, может быть, будет какое поручение, если она еще не уедет. «Непременно заходите еще и звоните по телефону». Прощаемся, и я выхожу на лестницу, но не могу захлопнуть дверь. Возвращаюсь и кричу: «У вас дверь не закрывается». Беспечно улыбается: «Ничего, В. Ф., не беспокойтесь». Прислуга запирает дверь, и я ухожу окончательно.

Э. Г. Герштейн

ТРИДЦАТЫЕ ГОДЫ

Анну Андреевну Ахматову я впервые увидела в январе или феврале 1934 г. в домашней обстановке у Мандельштамов. Осип Эмильевич приготовил к ее приезду длинное приветственное послание, в котором были такие фразы: «Если у вас закружится голова, обопритесь о господствующий класс» или «Вы будете говорить, а мы будем слушать, слушать и понимать, слушать и понимать...».

В Москве Анна Андреевна еще вспоминала ленинградское прощанье с Николаем Николаевичем[1]. Последние минуты он стоял на платформе перед окном вагона, но оно замерзло, и он постучал пальцами по стеклу, она ему ответила, и так они перестукивались, пока поезд не тронулся.

Для московского житья она захватила с собой ярко-красную пижаму Пунина, которая подчеркивала ее высокий рост и линейность фигуры. Но матиссовские краски, ренуаровская челка, черные волосы делали ее похожей на японку. Впечатление неточное и, очевидно, неверное, особенно если вспомнить миниатюрность японок, но мы жили так серо, а облик Ахматовой был так необычен, что рождал какие-то неопределенные воспоминания и ложные ассоциации.

Лицо у нее было усталое, немолодое, землистого цвета, однако изящный и нежный рисунок рта, нос с горбинкой были прелестны. Улыбка ее не красила.

Когда Надя[2] представила меня Ахматовой, она лежала, вытянувшись на тахте в своих красных штанах, и сделала особенное лицо: надменное и жеманное. Это меня обидело: ведь я не из тех, о которых, по словам Нади, она говорила недовольно: «Они делают из меня монумент».

Долго еще меня не покидала скованность в ее обществе, и Анна Андреевна любезно подкладывала мне подушку за спину: «Сядьте поудобнее».

Впоследствии я часто замечала, что перед женщинами Анна Андреевна рисовалась, делала неприступную физиономию, произносила отточенные фразы и подавляла важным молчанием. А когда я заставала ее в обществе мужчин, особенно если это были выдающиеся люди, меня всегда заново поражало простое, умное и грустное выражение ее лица. В мужском обществе она шутила весело и по-товарищески.

Постепенно я привыкла к ней и даже стала охотно провожать к ее московским знакомым, к великому удивлению Нади. Зато эти мимолетные беседы на улице были самыми свободными и интересными.

В одно из таких «провожаний» я спросила, чем болен приятель, которого Анна Андреевна идет навестить. «Безумие и сердце,— ответила она не задумываясь.— Все то, что у большинства наших знакомых».

Один раз я заходила с ней к Чулковым: Смоленский бульвар, д. 8, одноэтажный дом, вход через палисадник.

Стены комнаты, заставленные книжными шкафами, этажерками и столиками; диван, поставленный спинкой к окнам, так что нельзя подойти к подоконнику, перед диваном обеденный стол, в дальнем от окон углу — кровать, мягкое кресло у торца письменного стола, упирающегося в книжные полки, густой столб пыли в солнечном луче — старая московская писательская квартира, сдавленная до одной комнаты.

Через несколько лет Чулков умер — «от страха», сказала Анна Андреевна. Чулковы поссорились с домработницей и боялись, что она станет писать на них доносы. После его кончины Анна Андреевна продолжала навещать вдову. Имя Надежды Григорьевны Чулковой входило в ритуальный список друзей, которым Анна Андреевна звонила, приезжая в Москву. Но палисадника уже не было. Маленький оштукатуренный деревянный дом затерялся на оголенной и широкой до сумасшествия улице Садового кольца.

Однажды мне показалось, что Анна Андреевна уже несколько дней находится в Москве, а мне не звонит. При встрече я спросила ее об этом. «Разве это может быть?» — искренне удивилась она. А когда я познакомилась в Ленинграде с Пуниным, он все присматривался ко мне за столом и поднял бокал: «Давайте выпьем за вашу тишину, а я думал, вы мадам Рекамье». Эти мимолетные штрихи мне многое открыли: замкнутость их круга, каждый новый человек на примете, о нем говорят.

Сама Анна Андреевна значила для своих друзей очень много. В один из московских приездов она рассказывала: «Я позвонила N. «Вы приехали вовремя»,— отозвался он таким мрачным голосом, как будто, снимая одной рукой телефонную трубку, другой уже держал у виска дуло заряженного пистолета».

Эту способность Анны Андреевны приезжать вовремя я знала по себе. Бывали минуты, когда казалось — нет, больше нельзя, все дошло до предела в моей жизни, и тогда в телефонной трубке слышалось: «Говорит Ахматова», и ее голос звучал как весть и спасение.

* * *

Иногда она останавливалась у своей приятельницы В. Ф. Румянцевой, библиографа, всю жизнь проработавшей в Третьяковской галерее. После смерти Румянцевой в 1971 г. среди ее бумаг нашлось несколько автографов Ахматовой и фото с дарственной надписью: «...на память о простых и дружеских отношениях...» Эта скромная женщина жила на Б. Якиманке, в коммунальной квартире. Если Анна Андреевна задерживалась в Москве надолго, она старалась найти себе другое пристанище: ее смущало, что Вера Федоровна уступает ей свою кровать, а сама спит на полу.

В те тридцатые годы я навещал Анну Андреевну у Н. И. Харджиева (в Марьиной роще) и в пустой по-летнему квартире Олешей (в Камергерском переулке), у С. А. Толстой-Есениной (в одном из Остоженских переулков), на улице Кирова у Осмеркиных — Александра Александровича и Елены Константиновны, у С. Я. Маршака (в октябре 1941 г.), само собой разумеется, у Мандельштамов (даже когда Осип Эмильевич был уже в Воронеже: на квартире оставалась мать Надежды Яковлевны) и, в ту пору еще изредка, у Ардовых. Гостила Ахматова также у Шервинских, в городе и, главным образом, на даче в Старках. У них я ни разу не была.

Ездила Анна Андреевна двадцать лет подряд с одним и тем же ручным чемоданчиком, перетянутым ремнем из-за отсутствия замка.

И зимой и весной Анна Андреевна носила один и тот же бесформенный «головной убор»: фетровый колпак неопределенного цвета. Зимой она ходила в шубе, подаренной ей умирающей В. А. Щеголевой еще в 1931 г., весной — в синем непромокаемом плаще с потертым воротником. «Вы ошибаетесь,— возразил мне как-то Осмеркин,— она элегантна. Рост, посадка головы, походка и это рубище. Ее нельзя не заметить. На нее на улице оборачиваются». О десятых годах Анна Андреевна говорила весело и небрежно: «Это было тогда, когда я заказывала себе шляпы».

* * *

В первый же ее московский приезд за ней зашел к Мандельштамам Бонди, чтобы везти ее на заседание Пушкинской комиссии. Анна Андреевна была уже автором напечатанной в «Звезде» исследовательской статьи «Последняя сказка Пушкина». Обращение с ней С. М. Бонди было очень почтительным, с чуть-чуть заметным оттенком снисходительности: конечно, она — Анна Ахматова, но и пушкинисты не лыком шиты.

Как-то я сказала Анне Андреевне, что намерена предложить в журнал статью. Профессионализма тогда у меня еще не было. «Вы раньше напишите, а потом предлагайте,— озабоченно сказала Анна Андреевна,— вы не представляете, как трудно писать статьи. Стихи писать легко, а статьи так трудно!..»

Упомянутое исследование о «Золотом петушке» Пушкина ей помогал писать Н. И. Харджиев. «Я лежала больная,— с удовлетворением говорила Анна Андреевна,— а Николай Иванович сидел напротив, спрашивал: «Что вы хотите сказать?» — и писал сам». Дело было к спеху, потому что Харджиев и его друг Цезарь Вольпе, печатавшийся в «Звезде», могли поместить там статью Ахматовой. Она была напечатана в первой книге за 1933 г.

Когда я была летом 1934 г. в Ленинграде, Анна Андреевна при мне не раз уходила в рукописное отделение Публичной библиотеки заниматься Пушкиным. Она говорила, что ей легко там работать, так же как и в Пушкинском Доме, потому что Л. Б. Модзалевский или Б. В. Томашевский охотно подходили к ней, чтобы помочь прочесть неразборчивый текст Пушкина. На нужный печатный источник всегда любезно укажут С. Я. Гессен, Д. П. Якубович. Редактор «Временника Пушкинской комиссии» Ю. Г. Оксман в первом же томе (1936 г.) напечатал новое исследование Ахматовой об «Адольфе» Бенжамена Констана.

Но на торжественное юбилейное заседание памяти Пушкина Ахматовой не прислали даже пригласительного билета. Этот день, 10 февраля 1937 г., она провела бы в полном одиночестве, если бы ее не пришла развлечь В. Н. Аникиева.

Вера Николаевна, искусствоведка (так же как и другая искусствоведка, работавшая в Эрмитаже,— «Лотта» — Рахиль Моисеевна Хай), была завсегдатаем у Пунина и Ахматовой на Фонтанке. Часто бывала и Л. Я. Гинзбург, подобно Харджиеву дружившая не только с Анной Андреевной, но и с Николаем Николаевичем. Пунин был блестящий человек, невероятно экспансивный в домашней жизни («сумасшедший завхоз» — прозвал его Николай Иванович), с порывистой быстрой речью и стремительными движениями (повадка, унаследованная его дочерью и даже внучкой). Его лекции по истории живописи, очевидно, были очень содержательны и увлекательны — до сих пор встречаются бывшие его слушатели, с восторгом вспоминающие эти выступления. При подготовке к ним пригодилось знание языков Анной Андреевной. Она переводила Пунину большие куски из специальной литературы, которую и сама очень любила читать. Да и творчеством своим Ахматова была больше связана с живописью, вообще с изобразительными искусствами, чем с музыкой. В молодости она дружила со многими художниками, в тридцатых годах подружилась с А. А. Осмер-

киным. Он вел педагогическую работу в Академии художеств в Ленинграде и в институте им. Сурикова в Москве. Хотя сам был москвичом, жил на два города, в обоих имел свою мастерскую. (А так как его тогдашняя жена Елена Константиновна — моя подруга еще со школьной скамьи, я постоянно имела свежие новости об Ахматовой, когда Осмеркин возвращался в Москву.)

Тесная личная дружба связывала Анну Андреевну с Борисом Викторовичем Томашевским и его женой Ириной Николаевной Медведевой, философом Борисом Михайловичем Энгельгардтом и его женой Лидией Михайловной Андреевской — «лучшие люди России», отзывался о них Лева, сын Ахматовой. Давние связи были у нее с Гуковским Григорием Александровичем и его первой женой Натальей Викторовной Рыковой (я не застала этого). Как-то уже после войны Анна Андреевна в разговоре упомянула об отношении Томашевского к своим детям, внучкам и даже к собаке. Я заметила, что это неожиданно трогательно, ведь Томашевский славится своей резкостью и суровостью, а в семье так душевен. «Тонны нежности!» — подхватила Анна Андреевна.

* * *

В тридцатых годах все было устроено так, чтобы навсегда забыть и литературную славу Ахматовой и те времена, когда одна ее внешность служила моделью для элегантных женщин артистической среды. Николай Николаевич при малейшем намеке на величие Ахматовой сбивал тон нарочито будничными фразами: «Анечка, почистите селедку» (тогдашний любимый рассказ Надежды Яковлевны Мандельштам). Один эпизод мне с горечью описала сама Анна Ахматова. В 1936—1937 гг. она специально пригласила Л. Я. Гинзбург и Б. Я. Бухштаба послушать ее новые стихи. Когда они пришли и Ахматова уже начала читать, в комнату влетел Николай Николаевич с криком: «Анна Андреевна, вы — поэт местного царскосельского значения»[3]. Если у Пунина это была хорошо продуманная поза (надо полагать, он прекрасно понимал значение Ахматовой), то у его бывшей жены и дочери-подростка пренебрежение к литературному имени Анны Ахматовой было вполне искренним.

Когда в Ленинград приехала из Америки Елена Карловна Дюбуше, она позвонила Ахматовой, но не застала ее дома. Она просила передать Анне Андреевне, что ищет встречи с нею. Никто из Пуниных не сказал об этом Ахматовой ни слова. Так она и не повидалась с героиней известного сборника стихов Н. Гумилева «К синей звезде». Анна Андреевна рассказывала об этом несостоявшемся свидании почти со слезами на глазах.

В ту пору с советскими печатающимися поэтами у Анны Андреевны было мало общего. Пастернак был исключением, но отношения их были еще далекими, хотя я имела уже в 1935 году случай убедиться, с какой любовью он к ней относился.

* * *

Для встречи с Ахматовой к Мандельштамам заходили бывшие акмеисты М. Зенкевич и В. Нарбут, который не одобрял ее пассивности: «Что вы все лежите, Анна Андреевна, встали бы, на улицу бы вышли»,— иронически говаривал он.

В феврале 1934 года умер Эдуард Багрицкий. Прямо с похорон к Мандельштамам пришли Нарбут и Харджиев. Они рассказывали о траурной церемонии, чем-то им очень не понравившейся. И Лева сказал: «Мамочка, когда ты умрешь, я тебя не так буду хоронить».

Я с удивлением прочла в воспоминаниях Ахматовой о Мандельштаме, что в квартире в Нащокинском переулке «стало появляться много мутных людей». Какие? Когда? Разве она могла бы провести несколько недель у Мандельштамов и отпустить туда Леву почти на полгода, если бы этот дом был ненадежным? Это написано Анной Андреевной уже в конце пятидесятых годов, в унисон с воспоминаниями Надежды Мандельштам, которая так прямо и заявила: «По вечерам приходило много народа, половина которого была приставлена». Если бы Осип Мандельштам жил в Москве в таком многолюдстве, как стала жить через тридцать лет его вдова, он не написал бы этих стихов:

Квартира тиха, как бумага,
Пустая, без всяких затей,
И слышно, как булькает влага
По трубам внутри батарей,—

в «литературном салоне» такого не напишешь.

Имущество в полном порядке,
Лягушкой застыл телефон,—

одного этого молчащего телефона достаточно, чтобы понять, как мало людей беспокоило Мандельштама в это время. Когда Осипа Эмильевича в 34-м году арестовали, мы были так наивны, что удивлялись сразу посыпавшимся небылицам о его образе жизни. Несмотря на трагизм ожидания конца следствия, Надя с сарказмом передавала слова Адуева: «У них собирались...» И это разнеслось по всему писательскому дому: «Там были собрания!» Кто «собирался»? Борис Сергеевич?[4] Эмма? — говорила Надя. Или, может быть, Нина Николаевна, приезжавшая в Москву передавать в музей архив умершего мужа, писателя Грина? Она постоянно бывала у Мандельштамов, приезжая из

Старого Крыма. Или Женя, Надин брат? Шура, брат Осипа? Разве что Сергей Антонович Клычков, с которым Осип Эмильевич сблизился в последние годы: они были соседями и в Доме Герцена, и в Нащокинском переулке.

В нашем маленьком кружке относились с ревнивой подозрительностью ко всем преуспевающим писателям, в том числе и к Ардовым. Хотя Нина Антоновна в несколько часов собрала в доме деньги в день отправки Мандельштамов в Чердынь и вручила их через Анну Андреевну Надежде Яковлевне, это не вызвало приязни к ней Нади. А когда в один из ее временных приездов в Москву из Воронежа Анна Андреевна прямо от нее поехала к Пильнякам, Надя буркнула вслед: «На белую скатерть потянуло».

* * *

Говорят, что Борис Андреевич Пильняк был влюблен в Ахматову и делал ей официальное предложение. Анна Андреевна не отрицала этого. Но в тридцатых годах Пильняк был уже женат на Кире Андрониковой, с которой у Анны Андреевны установились весьма дружеские отношения. Году в 1936-м Анна Андреевна совершила с Пильняком экзотическую поездку в открытой машине из Ленинграда в Москву. Знакомым она, бравируя, говорила, что отделалась легким насморком. Не знаю, как другим друзьям, но мне она рассказала о неприятном дорожном происшествии. Где-то под Тверью с ними случилась небольшая авария, пришлось остановиться и чинить машину. Сбежались колхозники. И сама легковая машина, и костюм Пильняка обнаруживали в нем советского барина. Это вызвало вражду. Одна баба всю силу своего негодования обратила на Ахматову. «Это дворянка,— угрожающе выкрикивала она,— не видите, что ли?»

Пильняк жил на улице «Правды», кажется, в особняке, в глубине сада. В тридцать четвертом мы поехали к нему по самой цивилизованной трассе Москвы: в троллейбусе по Тверской и Ленинградскому шоссе. Подъезжая к нашей остановке, я прикоснулась к дверям, намереваясь их открыть. «Не трогайте! Они сами раскроются!!» — в ужасе закричала Анна Андреевна на весь вагон. «Будто уж сейчас током убьет»,— насмешливо проговорил рабочий, спокойно сидевший на мягком стуле. Он разглядывал ее высокую худую фигуру — и эту челку! — и определил для себя: «Бывшая». Я прочла это в его недоброжелательном взгляде.

Сойдя с троллейбуса, мы шли зимним вечером в полутьме, и у нас было достаточно времени до прощанья у подъезда. Мы говорили о всяких любовных коллизиях, протекавших на наших глазах.

Проходим еще несколько шагов под падающим мелким снежком, и без всякой связи с предыдущим, но тем же тоном Анна Андреевна спрашивает меня: «Вы помните агитки Рылеева?» По правде сказать, я не помнила этих стихов поэта-декабриста. Она процитировала:

Ах, где те острова,
Где растет трын-трава,
Братцы?..

Так вот *некто* написал продолжение:

Где Ягода-злодей
Не гонял бы людей
К стенке,
Где Алешка Толстой
Не снимал бы густой
Пенки.

Об этих стихах я впервые напомнила Анне Андреевне в шестидесятых годах, приступая к своим воспоминаниям. Она спокойно поправила допущенные мною неточности и добавила: «Таких куплетов было еще много». Тут моя догадка, что «некто» была сама Ахматова, подтвердилась. Но остальных строф я никогда не слышала.

А с А. Н. Толстым у Ахматовой были впоследствии вполне корректные отношения. В 40-м году он сказал Анне Андреевне, что никакая война не принесла таких грандиозных потерь русскому народу, как ежовщина. Анна Андреевна мне тогда же об этом сказала.

* * *

Надю раздражало, что Анна Андреевна крестится на каждую церковь. Ей казалось это демонстрацией.

Я с удивлением глядела на немолодых дам с высокими воротниками и в шляпах, спускавшихся по лестнице, когда я впервые пришла к Анне Андреевне на Фонтанку. Вероятно, это был день ее рождения — 24 июня[5], но я не знала об этой дате. Очевидно, к ней приходили с поздравлениями. В то лето я ездила в Павловск, Детское Село, Ораниенбаум, и всегда в парке сидела подобная дама, осколок старого Петербурга.

Нина Антоновна неодобрительно относилась к ленинградскому быту Анны Андреевны. А Лева, охотно бывавший у меня, но любивший сказать что-нибудь неприятное, отозвался о нашей московской квартире: «Чувствуется какая-то пустота. У нас хоть черти водятся».

* * *

В ноябре 35-го г. возращаюсь вечером домой. В передней на маленьком угловом диванчике сидит Анна Андреевна со своим извечным потрепанным чемоданчиком. Вся напряженная, она дожидается меня уже несколько часов. Мы заходим в мою комнату. «Их арестовали»[6].— «Кого их?» — «Леву и Николашу».

Она спала у меня на кровати. Я смотрела на ее тяжелый сон, как будто камнем придавили. У нее запали глаза и возле переносицы образовались треугольники. Больше они никогда не проходили. Она изменилась на моих глазах. Потом я отвезла ее в Нащокинский. Целый день я ждала ее звонка. Она меня вызвала только на следующее утро. В чьей квартире она ночевала, я точно не знаю, кажется, у Булгаковых.

Мы встретились у ворот дома. Она вышла в синем плаще и в своем фетровом колпаке, из-под него выбились и развевались длинные пряди волос. Она смотрела по сторонам невидящими глазами. Мы пошли искать такси. Кропоткинская площадь и Волхонка были перерыты и перегорожены из-за строительства метро. Осенняя грязь. Она не могла перейти улицу. Я ее тащила. Вдали показалась машина. «Нет, нет — ни за что».— «Машина далеко, идемте». Она ставила ногу на мостовую и пятилась назад. Я ее тянула. Она металась. Машина приближалась. Рядом с шофером сидел человек в кожаной куртке. Казалось, они уже издалека заметили нас и посмеивались. Приближаясь, человек в кожаной куртке вглядывался в эту странную фигуру, похожую на подстреленную птицу и... узнавал. Узнавал, жалея, ужасаясь почти брезгливо. Вот эта старая безумная нищая — знаменитая Ахматова? Вся эта физиономическая игра продолжалась полминуты. Вероятно, некогда этот человек был ее поклонником, влюблялся в нее на вечерах поэтов, когда она выступала. (А теперь и себя не узнаешь, милый мой, в кожаной куртке, рядом с водителем.) Они проехали.

Кое-как мы перешли улицу и нашли такси. Шофер двинул машину от стоянки, спросил, куда ехать. Она не слышала. Я не знала, куда мы едем. Он дважды повторил вопрос, она очнулась: «К Сейфуллиной, конечно».— «Где она живет?» Я не знала. Анна Андреевна что-то бормотала. В первый раз в жизни я услышала, как она кричит, почти взвизгнула сердито: «Неужели вы не знаете, где живет Сейфуллина?!» Откуда мне знать? Наконец я догадалась — в доме писателей? Она не отвечала. Кое-как добились, да, в Камергерском переулке. Мы поехали. Всю дорогу Анна Андреевна вскрикивала: «Коля... Коля... кровь...» и другие слова. Я решила, что Анна Андреевна потеряла рассудок. Она была в бреду. Я довела ее до дверей квартиры. Сейфуллина открыла сама. Я уехала.

Через двадцать лет, в спокойной обстановке, Ахматова чи-

тала мне и еще одному слушателю довольно длинное стихотворение. Оно показалось мне знакомым, когда-то давно она мне уже читала его. Она сказала, обращаясь ко мне: «А ведь я его сочиняла, когда мы ехали с вами к Сейфуллиной». К сожалению, эти стихи пропали. Никто их не помнит.

Все было сделано быстро. У Сейфуллиной были связи в ЦК. Анна Андреевна написала письмо Сталину, очень короткое. Она ручалась, что ее муж и сын — не заговорщики и не государственные преступники. Письмо заканчивалось фразой: «Помогите, Иосиф Виссарионович!» В свою очередь Сталину написал Пастернак. Он писал, что знает Ахматову давно и наблюдает ее жизнь, полную достоинства. Она живет скромно, никогда не жалуется и ничего никогда не просила для себя. «Ее состояние ужасно»,— заканчивалось это письмо.

Пильняк повез Ахматову на своей машине к комендатуре Кремля, там уже было договорено, что письмо будет принято и передано в руки Сталину.

Я не помнила, сколько дней прошло. Анна Андреевна исчезла для меня. Но вот вечером — телефон: «Эмма, они дома!»

Я поехала к ней — к Пильняку, на улицу «Правды». Там ликованье. Мы с ней сидели в спальне. Из другой комнаты — музыка. Приехали гости. Какой-то важный обкомовец и еще кто-то, «с тремя ромбами», шепчет мне Анна Андреевна. Все они хотят видеть и поздравить Ахматову. Пильняк заходит в спальню, нетерпеливо зовет ее. Она говорит: «Борис Андреевич, это — Эмма!» Но ему ни до чего, ему нужно торжество с гостями в столовой. Он неохотно нас оставляет вдвоем. Она рассказывает мне о письмах к Сталину так, как я передала это выше.

Пильняк опять торопит. Она вышла показаться, оставив меня одну. В соседней комнате заиграл туш: Пильняк завел новую пластинку и торжественно провозгласил: «Анна Ахматова!» Я ждала. Через несколько минут Анна Андреевна вернулась проститься со мной. Я уходила. Она пошла за мной в переднюю. Я открыла входную дверь. Неожиданно она изогнулась, гибкая, высокая, и быстро нежно поцеловала меня.

Э. Г. Герштейн

БЕСЕДЫ С Н. А. ОЛЬШЕВСКОЙ-АРДОВОЙ

Давно замечено, что несчастья, взрывая какое ни есть привычное течение жизни, нередко сплачивают самых разных людей. Вслед за большими потрясениями часто происходит какой-то новый поворот жизни. Таким узловым событием стали для Анны Андреевны Ахматовой два ее приезда в Москву в 1934 году. Она и ее сын, Лев Гумилев, гостили у Мандельштамов в их новой квартире в писательском доме по Нащокинскому переулку. Первое пребывание Ахматовой было довольно длительным (месяц во всяком случае), а второе — коротким; оно теперь известно по ее воспоминаниям о Мандельштаме*. Анна Андреевна приехала утром 13 мая, но успела провести с Осипом Эмильевичем лишь один день. В ночь на 14-е пришли «гости» с ордером на арест Мандельштама. После того как его увели, обыск продолжался всю ночь.

С той минуты Анна Андреевна не покидала Надежду Яковлевну вплоть до отъезда ее вместе с Осипом Эмильевичем в Чердынь, куда он был отправлен по приговору коллегии ОГПУ. В тот же вечер с другого вокзала Анна Андреевна уехала в Ленинград.

С этого года у Анны Андреевны образовались в Москве дружеские связи, длившиеся до конца ее жизни. Среди новых друзей на одном из первых мест нужно назвать Нину Антоновну Ольшевскую, драматическую актрису, жену писателя-сатирика Виктора Ефимовича Ардова. Это ей за четыре дня до своей кончины Анна Андреевна сделала дарственную надпись на «Беге времени»: «Моей Нине, которая все обо мне знает, с любовью Ахматова. 1 марта 1966, Москва», а за пять лет до того на книге «Стихотворения» 1961 года — «Моей светлой Нине ее Ахматова. Дана на Ордынке 13 июля 1961».

«Ордынка» — место, упоминаемое почти во всех московских воспоминаниях об Ахматовой. Но до Б. Ордынки (д. 17, кв. 13) Ардовы жили на первом этаже того же писательского дома в Нащокинском переулке, в том же подъезде, где Мандельштамы жили на пятом. Нина Антоновна рассказывает:

> «Когда она гостила у Мандельштамов и я видела, как она подымается по лестнице, я обалдевала. С Мандельштамами мы уже были знакомы. И однажды мы с Виктором поднялись наверх и представились Анне Андреевне... Это такой случай в моей жизни!

* «Листки из дневника». — «Вопросы литературы», 1989, № 2.

> Даже трудно было себе представить... Как мне повезло!»

После ареста Осипа Эмильевича квартира его еще сохранялась, и Анна Андреевна иногда останавливалась там, приезжая из Ленинграда. Принимала ее мать Надежды Яковлевны, а иногда и сама Надежда Яковлевна, приезжавшая в Москву из Воронежа, куда перевели Мандельштама. Так укрепилась их дружба, начавшаяся еще в двадцатых годах в Детском Селе, но несколько замершая из-за переезда Мандельштамов из Ленинграда в Москву.

Несколько раз в эти годы Ахматова останавливалась уже у Ардовых. Нина Антоновна вспоминает:

> «Виктор вначале так стеснялся, что вскричал однажды: «Надо проверить, есть ли у нее чувство юмора, или я... умру!»

Как известно, чувства юмора у Ахматовой было предостаточно. В общении с Ардовым у нее установился легкий веселый тон. Артистичный и в домашнем быту, связанный своей литературной работой с театром, эстрадой, цирком, любитель-карикатурист, человек быстрых реакций, Ардов был широко образованным человеком, хорошо знал русскую литературу и историю. Это позволило Ахматовой не скучать, беседуя с ним. Оба — «полуночники», они иной раз засиживались до 3—4-х часов утра, затрагивая в своих разговорах самые разнообразные темы. Но эта непринужденность отношений в семье Ардовых установилась у Анны Андреевны позже, по прошествии нескольких лет. В первые годы, когда в квартире Ардовых кроме тахты стоял в большой комнате только трельяж, а в другой комнатке жил маленький пока единственный сын Нины Антоновны от первого брака — Алеша Баталов, такой близости еще не было. Хотя Нина Антоновна была уже очень привязана к Анне Андреевне, круг знакомств Ахматовой и манера жить удивляли ее, а в Ленинграде она отчужденно наблюдала тамошнюю особенную жизнь Ахматовой. От поездки в Ленинград у Нины Антоновны сохранилось одно интересное воспоминание:

> «Там она мне сказала: «Я, наверное, уже все написала. Стихи больше не рождаются в голове».

— Это, вероятно, было в 1935 г.,— замечаю я.— Вскоре стихи стали появляться сплошным потоком, и этот источник уже не иссякал до самой ее смерти. Она отметила в своих записках, что началось это в 1936 году. По-моему, все пошло от стихотворения «От тебя я сердце скрыла». Да вы и сами это знаете.

«Да, да. А Пунин очень обиделся на нее за эти стихи».

— А вы видали когда-нибудь, как Анна Андреевна сочиняет?

«Никогда. Она только говорила: «А в голове вертится, вертится...» — и больше ничего. А дня через два так поманит пальчиком и прочтет новое стихотворение. Я обалдевала и ничего не могла сказать, но думаю, что она читала для себя, сама себя проверяла. Читала медленно, слушая себя, покачиваясь вправо и влево, и лицо у нее было вот такое, как на этой фотографии».

Мы рассматриваем фото, сделанное в ленинградской квартире Ахматовой на Красной Коннице, то есть уже в пятидесятых годах. Анна Андреевна сидит в кресле у угла комода, на комоде зеркало в посеребренной оправе, свечи, вазочки с цветами. Лицо у нее строгое.

Приезды Ахматовой из Ленинграда большею частью вызывались необходимостью хлопотать о судьбе сына, которого преследовали и тогда, когда он был еще на свободе. Ну, а о несчастье, отраженном в знаменитом «Реквиеме» Анны Ахматовой, напоминать не приходится. У Нины Антоновны, родившей за это время еще двоих сыновей, были репрессированы родители. Эти беды заслоняли все остальные чувства. Затем война надолго разлучила Ахматову с Ардовыми. Анна Андреевна, как известно, была эвакуирована в Ташкент, а Нина Антоновна с тремя детьми — еще раньше в Казань, а затем в Чистополь. Ардов был призван в армию, работал во фронтовой печати. Увиделась Анна Андреевна с Ниной Антоновной лишь весной 1944 г. Эта встреча положила начало особой душевной близости между ними. Вернулась Нина в Москву, очевидно, в середине мая. Она ждала ребенка, который вскоре родился, но умер в младенчестве. 31 мая она писала Виктору Ефимовичу:

«Сейчас приехала с вокзала, проводила Анну Андреевну. Очень по этому поводу грущу, она для меня была большой отдушиной и радостью, прямо как в ее же стихах: «Я знаю, ты моя награда за годы муки и труда...» Очень мне было с ней интересно и тепло, а главное, умно, от чего я так отвыкла за эти годы одиночества и одичалости. Совсем тоскливо мне будет сейчас без наших ночных бдений, к которым я так уже привыкла за эти дни. Пишу тебе на бумажке, в которой она вчера сделала приписочку».

Приписка такая:

> «Дорогой Виктор Ефимович, завтра еду в Ленинград. Очень жаль оставлять Нину Антоновну — мы чудесно провели с ней две недели. У Вас в доме все благополучно. Дети хорошие. Напишите мне. Ахм.».

Это возращение в Ленинград отражено в четверостишии Ахматовой, впервые напечатанном совсем недавно*:

Лучше б я по самые плечи
Вбила в землю проклятое тело,
Если б знала, чему навстречу,
Обгоняя солнце, летела.

События, вызвавшие его к жизни, уже известны в литературе как одна из драматических страниц в биографии Ахматовой. Из Ташкента Анна Андреевна торопилась навстречу своему другу Владимиру Георгиевичу Гаршину, который оставался в осажденном Ленинграде. Он так же тяжело переносил разлуку с Анной Андреевной, как и она с ним. Потеряв во время блокады жену, он просил Ахматову окончательно соединить с ним свою жизнь. В их переписке было условлено, что он получит квартиру, где и просил Анну Андреевну поселиться вместе с ним. Она согласилась. Он телеграфно спрашивал ее, согласна ли она носить его фамилию. Анна Андреевна приняла и это предложение. Вот почему в Москве она широко оповещала знакомых, что выходит замуж. Однако в Ленинграде на вокзале Гаршин тут же задал ей вопрос: «Куда вас отвезти?» Но куда же можно было отвезти Анну Андреевну? В брошенный и запущенный дом на Фонтанке? Одну? Сын, хотя и отбыл уже лагерный срок, находился в Туруханске на поселении.

После окончания срока заключения Л. Н. Гумилев устроился техником в Магнитометрическую выездную экспедицию Норильского комбината. Экспедиция базировалась на Хайтынском озере, а затем перебазировалась в Туруханск (сообщено Л. Н. Гумилевым).

Ей пришлось искать убежища у знакомых. Не менее полугода она жила у Лидии Яковлевны Рыбаковой. Московские друзья долгое время ничего об этом не знали. Поэтому Нина Антоновна недоумевала, когда получила 14 июля (то есть через полтора месяца после отъезда Анны Андреевны из Москвы) такую телеграмму:

> «Сообщите здоровье целую вас нежно живу одна благодарю за все Ахматова».

Нина Антоновна рассказывает:

---

*См.: Ахматова Анна. Сочинения в двух томах, т. 1. М., 1986, с. 328 и 456.

«Фраза «живу одна» меня насторожила, но догадаться было еще трудно».

Три недели длилось недоумение, пока 6 августа не пришла новая телеграмма:

«Гаршин тяжело болен психически расстался со мной сообщаю это только вам Анна».

Вслед за этим пришла открытка, написанная через 3 дня, 9 августа:

«Дорогая моя, спасибо за письмо — оно тронуло меня и напомнило Вас и себя, какой я была в мае. Получили ли Вы мою телеграмму, знаете ли мои новости? Я все еще не на Фонтанке, там нет воды, света и стекол. И неизвестно, когда все это появится. Была в Териоках (2 дня) — читала стихи раненым. Крепко целую Вас и детей. Привет маме, думаю об ее мучениях.
Напишите. И пусть мне напишет Николай Иванович.

Ваша Анна

Получила милое письмо от Ардова.
Простужена, лежу. Что-то неладно с сердцем».

«Какая сдержанная открытка,— говорит Нина Антоновна,— и какая способность сострадать и участвовать во всех горестях и заботах окружающих».

Да, верно. В этом послании, уместившемся на одной открытке, можно почувствовать всю силу ахматовского слова. Она вновь обрела свое достоинство поэта и гражданина. Она может сострадать чужому горю — думает о смертельной болезни Нининой матери, актированной из лагеря, чтобы умереть на руках дочери. Она хочет говорить с друзьями, просит писать ей и Нину, и старого друга Николая Ивановича Харджиева. И только в одной полуфразе дано понять о тяжелой травме, перенесенной за эти два месяца. Но теперь с этим покончено. В августе она уже не та, «какая была в мае».

Мы с Ниной обсуждаем эту безобразную историю.

Нина повторяет ту самую версию, которую я уже изложила выше со слов Анны Андреевны. Нина продолжает:

«Но это не совсем так. Вот и вы помните, что Гаршин к ней приходил еще несколько раз, пока она его не попросила прекратить эти посещения».

— Я даже знаю, как это было,— говорю я,— Анна Андреевна мне рассказывала так. Он приходил к ней в дом Рыбаковых и объяснялся. Наконец, Анна Андреевна указала ему, в какое

глупое положение он ее поставил, не посчитавшись с ее именем. «А я об этом не думал»,— ответил он. Вот это и взорвало Ахматову. И никогда она ему этого не простила. А вы знаете, Нина, что в пятидесятых годах, когда Гаршин уже перенес инсульт, он просил через кого-то прощения у Анны Андреевны? Она ничего не ответила. Тем не менее ему самовольно отпустили его грех от ее имени.

Нина:

> «...Не думаю, чтобы она любила Гаршина. Это была уже привязанность старых людей друг к другу».

— А как вы думаете, Нина, кого она любила больше всех?

> «Я так и спросила ее однажды. Она после долгой паузы сказала как бы самой себе: «Вот прожила с Пуниным лишних два года». Это и был ответ».

— Что же он означал?

> «Что с Пуниным надо было уже расходиться, а она еще два лишних года с ним прожила. Значит, любила».

Нина продолжает:

> «Пунин очень любил Анну Андреевну. Я не говорю уже об его письме из Самарканда[1], которым Анна Андреевна гордилась и многим показывала. Но куда они* дели его записку из лагеря? Я сама ее видела, Анна Андреевна мне показывала. На клочке какой-то оберточной бумаги. Он писал, что она была его главной любовью, помню хорошо фразу: «Мы с Вами одинаково думали обо всем».
>
> Он был двойственный, Пунин. То элегантный, в черном костюме, с галстуком (иногда «бабочкой»); таким его знали студенты на лекциях. Одна из слушательниц говорила мне, что более интересных и остроумных лекторов она не слышала. Дома, если он был в форме, был так же обаятелен, любезничал. В другой раз сидит в халате, в тапочках, раскладывает пасьянс, еле кивает и не разговаривает. Как-то я сказала А. Г. Габричевскому: «Вы всё знаете о литературе, об искусстве...» — а он: «Нет, это Пунин все знает».
>
> Лидия Корнеевна Чуковская описала, как Пунин однажды отказал Анне Андреевне в возможности пользоваться сараем для дров — там, мол, все заложено его дровами. Но она не поняла. Это было

* И. Н. Пунина и А. Г. Каминская.

при мне. Это он дразнил Анну Андреевну. Она слушала его с улыбкой. А на другой день все было распилено и уложено. Это было, когда они уже разошлись. Пунин часто забегал тогда к ней в комнату. Называл «Анна Андреевна».

Разговор с Ниной Антоновной перешел на Модильяни. Нина вспоминает:

«О Модильяни Анна Андреевна говорила посмеиваясь, всегда улыбаясь, как при приятном воспоминании. Рассказывала: «Когда я его в первый раз увидела, подумала сразу: какой интересный еврей. А он тоже говорил (может, врал?), что, увидев меня, подумал: какая интересная француженка». Показывала рисунок Модильяни, висевший у нее, когда она еще жила с Николаем Николаевичем, и говорила: «Может быть, он будет самым знаменитым у них художником». Очевидно, это было еще в первые годы нашего знакомства, потому что я тогда и имени Модильяни не слыхала. О Судейкиной я слышала от Анны Андреевны еще до войны, когда она прочла «Ты в Россию пришла ниоткуда...». Она говорила об Ольге, что она была очень красивая, но никогда не говорила ни об ее уме, ни о ней как об актрисе. «К театру я была равнодушна»,— объясняла она. Рассказывала: «Мы обе были влюблены в одного человека», но имени Артура Лурье не называла. Они никак не могли разобраться, в кого же из них двоих он был влюблен. О других больше молчала. О Недоброво и Анрепе не говорила со мной никогда.

Я ее спросила: «Кого вы больше всех цените из поэтов вашего окружения в пору акмеизма?» — «Гумилева». Я удивилась: «А не Мандельштама?» «Ну, это, видно, мое личное особенное дело — любить Гумилева»,— сказала с усмешкой.

В другой раз я ее спросила: «Чьи стихи были для вас переломными?» — «Некрасов. «Кому на Руси жить хорошо». Сейчас я его не люблю, не ценю его стихи о крестьянах, потому что это неправда. Но он — поэт». И она стала читать наизусть «Мороз, Красный нос». «А второй поэт — Маяковский. Ну, это мой современник. Это — новый голос. Это настоящий поэт». И она прочитала, опять на память, его стихи о любви. Никак не могу вспомнить, какие именно.

Тут Анна Андреевна рассказала, как в Ленинграде она шла по улице и почему-то подумала: «Сейчас

Анна Ахматова. 1940 г.

встречу Маяковского». И вот он идет и говорит, что думал: «Сейчас встречу Ахматову». Он поцеловал ей обе руки и сказал: «Никому не говорите». А я,— признается Нина,— не могла говорить с Маяковским. Я даже уходила, когда он был, так я его боялась. Я встречала его с Норой Полонской. Незадолго до смерти он сказал при мне: «Мне бы надо стихи о любви писать. Так хочется».

Вероника Витольдовна Полонская, которую Маяковский в своей предсмертной записке назвал членом своей семьи,— подруга Нины Антоновны с самых первых лет их артистической жизни в Художественном театре. Анна Андреевна часто встречала ее на Ордынке и много говорила с Ниной Антоновной о ее судьбе. Не случайно стихотворение «Маяковский в 1913 году» первоначально было посвящено Ахматовой «Н. А. Ольшевской» с датой: «1940 3—10 марта». Вот почему Ахматова включила в план своей мемуарной книги два самостоятельных очерка — о Полонской и об Ольшевской.

— Нина, а как было с Цветаевой? Вы были дома, когда она пришла к Анне Андреевне?

«Ардов был знаком с Цветаевой по Дому творчества в Голицыне. Он сказал Анне Андреевне, что Марина Ивановна хочет с ней лично познакомиться. Анна Андреевна после большой паузы ответила «белым голосом», без интонаций: «Пусть придет». Цветаева пришла днем. Я устроила чай, немножко принарядилась, надела какую-то кофточку.

Марина Ивановна вошла в столовую робко, и все время за чаем вид у нее оставался очень напряженным. Вскоре Анна Андреевна увела ее в свою комнату. Они сидели вдвоем долго, часа два-три. Когда вышли, не смотрели друг на друга. Но я, глядя на Анну Андреевну, почувствовала, что она взволнована, растрогана и сочувствует Цветаевой в ее горе.

Ардов пошел провожать Цветаеву, а Анна Андреевна ни слова мне не сказала о ней. И после никогда не рассказывала, о чем они говорили».

«Когда Пастернаку было плохо, ну, ссорился с женой или что-нибудь подобное, он уезжал в Ленинград и останавливался у Анны Андреевны. Стелил на полу свое пальто и так засыпал, и она его не беспокоила. На моей памяти это было раза три».

Анна Ахматова. 1940 г.

ПОСЛЕ ПОБЕДЫ

В начале июня 1945 года я получила от Анны Андреевны открытку. Она поздравляла меня с Победой и, как всегда, затрагивала на сжатом пространстве много тем. Между прочим писала: «Живу очень пустынно, вижу мало людей». Она предполагала вскоре увидеться со мной в Москве, «Ардовы зовут меня на дачу»,— объясняла она. Но Анна Андреевна не приехала. Видимо, ждала демобилизации сына, который ушел добровольцем на фронт из туруханской ссылки и дошел до Берлина.

2 августа 1945 г. Анна Андреевна писала Н. А. Ольшевской:

«Дорогая Нина Антоновна, мне очень стыдно, что я не откликнулась на Вашу чудесную телеграмму* и до сих пор не поблагодарила Вас и Виктора Ефимовича за Вашу неизменную доброту и дружескую заботу обо мне.

Право, я всего этого не стою.

Часто и нежно вспоминаю Вас обоих. Будьте здоровы и счастливы. Целую Ваших мальчиков. Напишите два слова.

Ваша Ахматова».

Она приехала в Москву только весной 1946 г. Это было время ее публичных выступлений, проходивших даже не с успехом, а с триумфом. Она привезла с собой «Поэму без героя» и подарила на «Ордынку» один машинописный экземпляр с надписью: «Дому Ардовых, 27 апреля 1946. Москва. Анна Ахматова». Она беспрестанно рассказывала о Леве, который вернулся в Ленинград осенью и жил вместе с ней. Появилась у нее и еще одна тема. Это — встреча с человеком, который занял место в ее лирике на много лет вперед. Началось это с цикла «Cinque» (то есть пять стихотворений). Этот цикл Анна Андреевна отдельно подарила Нине Антоновне с такой надписью: «Дарю Н. А. О. на память о многих ночных беседах. А. 27 апреля 1946. Москва».

— Какая же связь этих стихов с вашими ночными беседами? — спрашиваю я, хотя это было уже ясно.

Нина Антоновна:

> «Это было так. Она протянула мне переписанные ее рукой стихи и ни слова не сказала. Я прочла. Потом она их прочла мне, я была совершенно потрясена. И она сделала эту надпись. Потом она говорила: «Я вам «Чинкве» подарила, но это еще не то. Я о вас напишу, обязательно напишу».
>
> Я ей все о себе рассказала в эти ночные часы. О своем прежнем замужестве, о семейной жизни с Ардовым.

---

* Вероятно, поздравление с днем рождения.

Анна Андреевна выслушала все это и сказала: «Да, да». И больше мы никогда об этом не говорили. Как она умела войти во всякую чужую жизнь и все понять!»

— А вы ходили с ней на ее выступления в этот ее приезд?

«Да. Когда она выступала в Колонном зале Дома союзов, из публики ее просили прочесть из «Четок» и «Белой стаи» и выкрикивали названия самых знаменитых стихотворений. Она делала перед собой отрицательный жест рукой, морщилась и чуть лукаво улыбалась».

— А «Поэму без героя» вы сразу полюбили?

«Мне было дорого, что она ее привезла. Я, как и все ее стихи, ощущала ее всем сердцем. Но воспринимала как воспоминание о прошлом».

— А о «Реквиеме» вы слышали как о поэме?

«О таком названии раньше ничего не слышала. Знала только отдельные стихотворения, так же как, например, «С Новым годом, с новым горем...». Часто Анна Андреевна читала, помахивая рукой — «Это плохо еще».

Очевидно, вскоре после возвращения в Ленинград Анна Андреевна послала Нине Антоновне записку с «новой строфой» для «Поэмы без героя». Это двенадцать строк, начинающиеся стихом: «Звук шагов, тех, которых нету...», но с небольшим разночтением по сравнению с окончательным текстом. Вместо последних трех строк:

Гость из будущего — Неужели
Он придет ко мне в самом деле,
Повернув налево с моста? —

Гость из будущего! — Неужели
Не пройдет и четыре недели —
Мне подарит его темнота?

Далее следует приписка: «Нина, очень Вас люблю и скучаю без Вас. Телеграфируйте, как Ваше здоровье и планы на лето. Целую Вас и детей. Привет Ардову. Ваша Анна. Спасибо за все».

— Нина, а как вы относились к этим постоянным добавкам и переделкам «Поэмы без героя»? Я считаю, что они испортили первоначальную редакцию.

Нина:

«Последние строфы, сделанные уже в поздние годы, я не люблю. Может быть, как отдельные стихотворе-

ния, они и хороши, но в «Поэме» они, по-моему, чужеродный элемент».

Тут уместно будет привести рассказ Татьяны Семеновны Айзенман[2], хотя в нем говорится о более позднем времени (привожу его в моей записи):

«В Комарове, в сумерки, сидели на крыльце — Анна Андреевна, Нина, Н. И. Ильина, я и еще кто-то. Это было в тот день, когда из Дома творчества приходила Маруся Петровых и был еще брат Нины, Толя. Все было очень хорошо: мы с Марусей ходили в продовольственный ларек, купили что-то, был импровизированный ужин. И Анна Андреевна была очень довольна: «Как хорошо, что мы без взрослых» (имея в виду своих домочадцев).

Анна Андреевна сказала: «Я хочу, чтобы Нина прочла вам поэму. Нина читает «Поэму без героя» лучше всех». А Нина говорит Анне Андреевне: «Я при вас не могу, я стесняюсь». «Ну, хорошо, я уйду»,— и она вошла в дом. Мы остались на ступеньках, и Нина своим хрипловатым прокуренным голосом читала действительно очень хорошо, вдохновенно «Ты в Россию пришла ниоткуда...» и другие куски».

Но вернемся к 1946 году. Рассказывает Нина:

«Я была с мальчиками в Коктебеле. И все шлю Виктору письма и телеграммы. Спрашиваю, как Анна Андреевна, приехала ли она уже в Москву или собирается? Получаю от него телеграмму: «Дура читай газеты». И я прочла постановление (о журналах «Звезда» и «Ленинград», о Зощенко и об Ахматовой). Немедленно стала собираться домой. Было трудно сразу достать билеты, с детьми... Приехала, стала пытаться пробраться в Ленинград (тогда еще были пропуска).— Прошло еще несколько дней, пока я приехала к ней. Пробыла у Анны Андреевны три дня и привезла ее к нам в Москву. И когда мы шли по Климентовскому переулку, встречали писателей, они переходили на другую сторону.

Сурков мне говорил: «Как я вам благодарен, что вы ее привезли к себе».

А потом приехал из экспедиции Лева, и они вместе уехали в Ленинград.

Только 19 февраля 1947 года приходит посланная с оказией записка от Анны Андреевны: «Моя Нина, как давно я ничего не знаю о Вас. Это очень скучно. Я долго и тяжело болела осенью, потом встала как ни в чем не бывало, теперь опять хвораю. Занимаюсь Пушкиным — «Маленькими трагедиями» и «Повестями Белкина». Целую Вас — привет Вашему милому дому. *Ваша Ахматова*».

Анна Ахматова с соседом Валей Смирновым. Фонтанный Дом. 1940 г.

Замечательно, что в первые же месяцы после августовского постановления, подвергшего ее остракизму, Ахматова написала свою лучшую исследовательскую работу «Каменный гость» Пушкина». Набело переписанная ее рукой статья датирована 20 апреля 1947 г. Вероятно, к тому же времени относится пока не найденная, может быть незаконченная, статья о другой «маленькой трагедии» Пушкина — «Моцарте и Сальери». Что касается «Повестей Белкина», Ахматова вернулась к ним лишь через десять лет, когда наконец увидела свет работа о «Каменном госте». Вслед за этим Анна Андреевна немедленно захотела сделать к ней ряд добавлений, среди них — ее уникальные наблюдения над психологией творчества Пушкина на материале «Повестей Белкина». Эти дополнения опубликованы посмертно.

Анна Андреевна жила вдвоем с сыном. Рядом, в той же квартире, продолжала жить разросшаяся семья Пунина. Первая его жена Анна Евгеньевна умерла в Самарканде во время войны, теперь у него была другая жена; дочь Ирина была второй раз замужем и воспитывала дочь от первого брака (Аню Каминскую). Семья Ахматовой и семья Пунина жили и хозяйствовали совершенно отдельно. Между тем дела Льва

Гумилева шли все хуже и хуже. Его исключили из аспирантуры, пришлось перебиваться на самых фантастических работах. Однако он не сдавался и добился права защищать диссертацию, защитил, получил степень кандидата исторических наук и место научного сотрудника в Этнографическом музее. Казалось бы, наступило относительное успокоение. Но тень нового несчастья уже коснулась Анны Андреевны. В августе 1949 г. был арестован Николай Николаевич Пунин. А через три месяца был взят Лев Николаевич Гумилев.

В приступе отчаяния Ахматова решилась на такой шаг, к какому она не прибегала еще никогда, ни при каких обстоятельствах. Она написала стихотворный цикл «Слава миру». В него было включено стихотворение, славословящее Сталина. Эти стихи были пересланы ею из Ленинграда Нине Антоновне. А она связалась с А. А. Фадеевым, генеральным секретарем Союза писателей, и затем с А. А. Сурковым, бывшим тогда главным редактором «Огонька».

Нина говорит:

> «Сурков очень любил Ахматову: «Любые ее стихи напечатаю».

Но еще многие годы мы, кроме «Славы миру» в «Огоньке» в 1950 г., ничего из стихов Ахматовой на страницах советской печати не видели. Зато ей позволили стать профессиональной переводчицей, то есть зарабатывать деньги и губить свой великий талант поэта.

Анна Андреевна стала ездить в Москву, чтобы передавать каждый месяц строго определенную администрацией сумму в Лефортовскую тюрьму. Так она узнавала, что сын жив. Следствие тянулось долго. А Льва Гумилева все-таки приговорили к десяти годам заключения в лагере особого режима. Он вернулся только в 1956 году, реабилитированный из-за «отсутствия состава преступления».

После направления его в лагерь у Анны Андреевны началась совсем другая эпоха жизни, резко отличавшаяся от предыдущих лет. Она стала жить на два города.

Еще живя вдвоем с сыном, Анна Андреевна после постановления много и тяжело болела. Сын за ней самоотверженно ухаживал. Теперь, как ни старались Ардовы облегчить ее душевное состояние, Анна Андреевна томилась и страдала. Это кончилось тяжелым инфарктом, перенесенным ею в больнице. Выйдя оттуда, Анна Андреевна перешла на положение полубольной, нуждающейся в постоянном уходе и заботе. Нина Антоновна делала это идеально: умело, решительно и любовно.

Начались настойчивые разговоры о переезде Анны Андреевны в Москву на постоянное жительство. Но Анна Андреевна ни за что не хотела бросать Ленинград. А там были свои сложности.

После ареста Пунина и Гумилева администрация Арктического института стала энергично выселять Ахматову и Пунину из подведомственного ему Фонтанного Дома. Это особенно сблизило обеих женщин. Они стала жаться друг к другу. Борьба с Арктическим институтом длилась долго, пока в феврале 1952 года Анна Андреевна и Ирина Николаевна с мужем и дочерью не переехали в общую квартиру на улице Красной Конницы.

Так у одинокой Ахматовой образовалось сразу две семьи. В обеих росли дети, что всегда вносит свет и жизнь в существование старого человека. К 1950 году у Ирины — десятилетняя Аня, у Нины — тринадцатилетний Миша и десятилетний Боря.

Анна Андреевна жила на оба дома. Вскоре появилась еще литфондовская дачка в Комарове, и появился третий дом, в котором жила и работала Ахматова.

Об этом последнем периоде жизни Ахматовой мы с Ниной не вспоминали. Я сама плотно вошла в этот быт Анны Андреевны, спрашивать Нину мне было не о чем. Но отношения их хорошо иллюстрируют письма Ахматовой к Нине Антоновне. Вот письмо из Ленинграда от 6 февраля (1955):

> «Дорогая моя, нижнее место я получила, когда тронулся поезд. Хорошо спала — приехала бодрая. Вчера мне принесли для перевода корейскую поэму и «Рыбака». Великолепно, но переводить почти невозможно. У меня еще в голове «московская симфония» — Лапа, телефоны, радио, «маз» и т. д. А здесь очень тихо. Анютка ласково меня встретила — обе девочки в восторге от подарков. Целую и благодарю Вас и всех вас. *Ваша Ахматова»*.

Здесь упоминается еще одна домочадка дома Ардовых — собака Лапа и «маз», необходимый компонент вечерней игры в карты.

Вот письмо из Москвы, когда Нина Антоновна была где-то с театром на гастролях:

> «28 января 57 г. Дорогая Нина, вчера звонила Марина и сказала, что получила Ваше письмо. Мне завидно, напишите и мне. Маргарита взяла у меня пять стихотворений для «Литературной Москвы» (№ 3). Посмотрим. Все происходит довольно обычно. Вероятно, 15 февраля поеду в Ленинград — сдавать работу. Моя книга ведет себя все так же загадочно. Дружу с Мишей Ардовым. Наталия Ильинична Игнатова умерла. Жду письма и обнимаю Вас.
>
> *Ваша Ахматова.* Москва».

В этом письме отражено то бурное время, которое получило название «оттепель». Маргарита Иосифовна Алигер взяла

стихи Ахматовой для третьего выпуска «Литературной Москвы», который так и не вышел. Идут нескончаемые проекты, обещания и уклонения от них по поводу новой книги стихов Ахматовой. День своих именин, 16 февраля, Анна Андреевна, как видим, хочет провести в Ленинграде с Пуниными. Безвременно умершая Наталья Ильинична Игнатова — новый друг Ахматовой, с которой она сблизилась так же, как и с ее сестрой Татьяной Ильиничной Коншиной в Болшеве в 1952 г.

Приведу выдержку из письма от 4 июля (год установить не удается):

> «Дорогая моя Нина, в Москве без Вас очень скучно и пусто. Все домашние новости Вы, конечно, знаете от Виктора Ефимовича. Миша стал совсем взрослым, он очень мил, добр и весел. Я с ним дружу. У меня новостей никаких... Не скучайте, звоните и любите меня. *Ваша Ахматова*».

Среди многочисленных новых знакомых и почитателей в начале шестидесятых годов вокруг Ахматовой образовался кружок молодых поэтов. Среди них Иосиф Бродский и Анатолий Найман, приглашенный Анной Андреевной в секретари.

Все возрастающая мировая известность и популярность Ахматовой вылилась в присуждение ей литературной премии в Италии. Она должна была получить ее в г. Таормине в 1964 году. Ехать с ней должна была Нина Антоновна. Но, работая летом в минском театре, Нина Антоновна тяжело заболела. (Вместо нее Анну Андреевну сопровождала в Италию Ирина Пунина.)

13 октября 1964 г. Анна Андреевна пишет ей в больницу из Комарова:

> «Нина, наверно, мне не надо говорить Вам, что я все время с Вами. Я так хорошо себе представляю четырехместную палату, обход врачей, меряние температуры и т. д. Странно мне только, что там не я, а Вы.
> Когда после второго инфаркта я лежала у Вас в маленькой комнате, моей единственной радостью был Ваш сухонький утренний курительный кашель. Сколько ночей Вы из-за меня не спали! А Ваш обморок под Новый год...
>
> Я написала несколько стихотворений, из них выживут, по-видимому, два.
> Посылаю Вам фотографию: это я читаю стихи «Наследница», а Толя слушает...
> Уверена, что этой зимой так или иначе я буду около Вас... По мере развития сюжета буду писать Вам письма — если Анатолий Генрихович даст милости-

вое согласие и впредь печатать их на машинке... Низко кланяюсь тому, кто сейчас с Вами.
Целую Вас. *Ваша Анна*».

Через некоторое время Нину Антоновну перевели из Минска в Москву, в Загородную больницу 4-го управления. Туда ей была послана телеграмма:

«Запоздало но от всего сердца поздравляем самую дорогую Ниночку с ее днем — Ахматова, Найман».

А в письме от 5 января 1965 г. из Ленинграда читаем:

«Я очень скоро приеду в Москву... О том, что было в Италии, расскажу при свидании, хотя особенно интересного ничего не было... Нина, я люблю Вас, и мне без Вас плохо жить на свете. Целую Вас. *Ваша Анна*».

И следующее за этим письмо:

«Вы, наверное, уже знаете, что меня выбрали в Правление Союза. Для меня это была большая неожиданность... Толя написал для «Moscow News» мой портрет[3]. Мне бы очень хотелось, чтоб Вы видели эту прозу. Думается, что никто, как Вы, не мог бы оценить некоторые ее качества. Во всяком случае такого портрета у меня еще не было и едва ли будет. Так или иначе мы Вам ее доставим. 10 февраля на пушкинском вечере мой голос прочтет два стихотворения, а Володя Рецептер прочтет мою маленькую прозу «Пушкин и дети»... Получили ли нашу телеграмму к Св. Нине? Сколько раз я проводила этот день с Вами? Целую Вас нежно».

Перед поездкой в Оксфорд Анна Андреевна писала Нине Антоновне осенью 1965 г.:

«Нина, мне и самой скучно, что я Вам так давно не писала. Это происходило единственно из-за отсутствия поблизости моего секретаря... По-видимому, в ноябре мне придется быть в Москве, там, конечно, узнаю обо всем подробнее, но и этого мне мало. Изо всех сил хочу Вас видеть...
Последние дни здесь гостила Надежда Яковлевна, она рассказывала что-то московское.
Вы будете смеяться, вчера мне подали телеграмму из Оксфорда с сообщением, что я приглашена принять почетную степень доктора литературы. Вот».

И последнее: письмо, написанное летом 1965 г.

«...Всегда мысленно беседую с Вами, Ниночка. У нас столько тем, правда? Я, кажется, мало и плохо рассказала Вам про Лондон и Париж. Может быть, еще напишу Вам об этом, когда окончательно приду в себя».

Осенью Анна Андреевна в последний раз приехала в Москву. Тут она тяжко заболела, еще раз инфаркт. В Боткинской больнице Анна Андреевна пролежала четыре месяца. А когда ее выписали, слабенькую-слабенькую, поехала с Ниной Антоновной в санаторий в Домодедово. Но, не пробыв там и трех дней, скончалась 5 марта 1966 года.

1983—1984, 1987

С. Б. Рудаков

В ВОРОНЕЖ — В ГОСТИ К ОСИПУ МАНДЕЛЬШТАМУ

В феврале 1936 г. Анна Андреевна провела неделю в Воронеже. Она поехала навестить ссыльного поэта, своего друга Осипа Эмильевича Мандельштама.

Поэт с женой Надеждой Яковлевной снимали комнату в чужой квартире. Ахматовой негде было ночевать. Договорились с семейством агронома Федора Федоровича (?) Маранца, тамошнего приятеля Мандельштамов. Но все дни Ахматова, разумеется, проводила со своими друзьями.

Свидетелем их общения был Сергей Борисович Рудаков (1909—1944), литературовед и поэт, ссыльный ленинградец, ставший в Воронеже домашним человеком у Мандельштамов. Беседы на главные темы велись Ахматовой с «Осипом» и «Наденькой», конечно, не при нем, но в письмах к жене он описал свои ежедневные встречи с Ахматовой, что тоже представляет определенный интерес. К сожалению, ее приезд совпал с периодом взаимного раздражения между Рудаковым и Осипом Эмильевичем, отсюда и недоброжелательный тон в рассказе о Мандельштаме. Но это пропадает, когда Рудаков излагает слова Мандельштама о творческом пути Ахматовой. Суждения эти чрезвычайно значительны.

В предшествовавших письмах к жене Рудаков не раз упоминал имя Ахматовой. Ожидание ее приезда отмечено уже в апреле 1935 года. Седьмого числа Рудаков пишет: «Наверное, 9-го приедет Анна Андреевна. Надежда Яковлевна приедет позднее». 21 апреля — «Завтра приезжает Н. Я. А. А. приедет позднее (в мае?). Выяснилось это только сейчас, вечером после его звонка в Москву. Он пришел просто в отчаяние: он хотел ей сейчас показать новые вещи, вообще она была необходима». 23 апреля — «Анна Андреевна приедет во второй половине мая (ее задержали учебные осложнения сына в Ленинграде...). О. Э., пока не знал причины, был так раздражен, что убрал «Четки» и «Белую стаю», которые мы накануне читали... в бельевую корзину! Выяснилось это случайно, и он смущенно признался».

Анна Андреевна смогла поехать только в феврале следующего года. Уезжала она из Москвы, где провела предварительно недели три. Провожали ее Евгений Яковлевич Хазин и я. Он не догадался сразу при входе в вагон заказать у проводницы постель. Когда я спохватилась, ни белья, ни матрацев уже не осталось. Я с огорчением сказала об этом Анне Андреевне, прямо сидевшей на жесткой скамейке. Она ответила по-королевски небрежно: «Все равно». Между тем дорога от Москвы до Воронежа в ту пору длилась чуть ли не 36 часов.

Приезд ее описан Рудаковым. Передаем ему слово. Выдержки из его писем даются с сокращениями.

Э. Г. ГЕРШТЕЙН

* * *

5 февраля.— Основное событие дня — приезд Анны Андреевны. Весь день ждали из Москвы отмены приезда, сопровождая эти догадки всяческими ругательными выступлениями о низости друзей etc. Все это, то есть предыстория,— очень смешной материал...

Приезд таков. О. оставили дома... а мы с Н. поехали на вокзал.

Перрон. Толпа. Анна Андреевна — в старом-старом пальто и сама старая. Вид кошмарный. Сажаю их на извозчика, сам — трамваем. Приезжаем почти одновременно. Вхожу: она еще не разделась. О. полупомешанный от переживаний.

Она снимает шляпу и преображается. Это то, о чем говорил тебе на пушкинодомской встрече, когда она оживлена, лицо прекрасно и лишено возраста. Чудные волосы. Очень похудела, что дает стройность...

А. стала переодеваться, а мы с О. пошли в магазин. Выйдя за дверь, он стал ахать и стонать, что ее, а не его надо лечить — «Сергей Борисович, чем помочь ей тут?».

...Сейчас добролюбовский карнавал. Чтобы дать А. отдохнуть, мы с О. пошли в музыкальный техникум на добролюбовский вечер...

6 февраля.— Уже нет и тени натянутости. Мы с Анной Андреевной просматривали куски моей текстологии. Она вроде Оксмана в смысле авторитета. Она, кажется, не ждала увидеть то, что нашла.

...Она говорит, что пушкинисты ее дразнят по поводу ее дома, его историчности:

А мы живем, как при Екатерине —

Дальше вышло весело. Я говорю:

Многоэтажный на Фонтанке дом...

А оказывается, О. ее раньше коверкал —

Целует мне в гостиной руку
И бабушку на лестнице крутой.

Много смеялись.

7 февраля. ...Вечер: чтение Данта, разговоры, шуток много. Вместе они очень веселые. Между прочим, в полемике со мной О. запутался и прутковское «В соседней палате поет армянин» приписал Лермонтову. Хохот. Он, смутясь, выдал в этом А. А. расписку: «7.II. открыл у Лермонтова такие-то стихи — О. М.». Огорченье: А. А. уже собирается домой. Может быть, задержится, но неопределенно.

8 февраля. — День замороченный. Анна Андреевна уже собирается ехать. Это вчера дало трещину в спокойствии. Сегодня хуже — все переволнованы... Она страшная умница. Сегодня мы с ней обед готовили: варили щи, вышло очень вкусно. Минус тот, что много времени и сил уходит на Осины политики и планы. А с другой стороны, его жаль, он тоже скис, предчувствуя ее отъезд.

9 февраля.— Сегодня О. (дополнительно) читал стихи 1930 etc, причем дамы его ублажали; просили еще, расточались в хвалах...

Едет А. А., очевидно, 11-го, сперва в Москву.

С О. обсуждаем ее молчание стиховое.

Он — «Она — плотоядная чайка. Где исторические события, там слышится голос Ахматовой, и события — только гребень, верх волны: война, революция. Ровная и глубокая полоса жизни у нее стихов не дает, это сказывается, как боязнь самоповторения, как лишнее истощение в течение паузы...»

Ей сказал, что вреден Пастернак, что он раньше, целостнее других натворил то, во что другие пустились массово, всем скопом, безвкусно. Это почти все, что кто-либо писал за 15 лет. Это и «Грифельная ода» О. Э., в этом и ее боязнь (т. е. А. А.). Может быть, это было бы слишком резко: там и дружба и уваженье к Пастернаку.

Она ругает Брюсова, Блока... да и всех почти.

...Теперь главнейшее. Сижу на диване с А. А. И думаю, как сформулировать вопрос о работе над Гумилевым. Мы об этом еще не говорили. Так сидели молча минут 40. Она оборачивается и говорит: когда будете в Ленинграде, я ознакомлю вас со всеми etc... Это — гипноз.

10 февраля.— С А. А. много говорил о работе. Доверие беспредельное, только время и Ленинград, и все задуманное будет сделано. Мы друг друга с полуслова понимаем, будто я с ними в Цехе поэтов был... даже мелочи: называет в какой-то связи Комаровского, начинаю о нем говорить, о «Франческе», пополам, или, вернее, вместе читаем вслух друг другу слово в слово:

Или под самым потолком,
Где ангел замыкает фреску,
Рисую вечером тайком
Черноволосую Франческу.

Она: «Да, знать Комаровского — это марка. А знаете, Коля говорил: «Это я научил Васю писать, стихи его сперва были такие четвероногие...» И правда, он, конечно...»

Еще: «Когда Коля приехал из Парижа, я сказала ему, что мы будем разводиться. Мы поехали к Левушке в Бежецк. Было это на Троицу. Мы сидели на солнечном холме, и он мне сказал: «Знаешь, Аня, я чувствую, что я останусь в памяти людей, что жить я буду всегда».

...Лина, познанный О., все с ним связанное, это очень много, но спокойная, вечная гениальность Ахматовой мне дала столько, сколько мог я сам придумать. Высшая награда — получить ожидаемое, желаемое. Так, как с ней, говорил впервые в жизни. Это необъяснимое сочетание: я говорю, сообщаю, понимаю силу этого, и одновременно знаю, что она все это понимает сама. Говорит она, мне все ясно до глубины: а весь разговор — и неожиданность и новизна. Удивительная форма: о любви так можно говорить с любимой, как мы о поэзии.

Боже, как бы со мной говорил и он. Анна Андреевна завтра едет.

11 февраля.— Сегодня уехала Анна Андреевна. Киса, всякие поклонения великим — вещь глупая и безвкусная. Об Ахматовой известно, что это адресат целого культа. И что же? Шесть дней знакомства сделали так много... Я сделал покражное преступление. Взял у сестры Толмачева «Anno Domini», дал А. А., а она сделала мне надпись, книга останется у меня, никакие черти ее не отнимут. Карандашом:

«Сергею Борисовичу
Рудакову
на память
о моих Воронежских
днях
Ахматова
11 февр. 1936. Вокзал».

...Билет, как и тебе, через Таллера, сидячий в вагоне «Москва — Воронеж». Сидели в буфете, поезд опаздывал на 2 часа. Как подали вагон, безумные Мандельштамы усадили ее где-то на 4-м пути, и домой. Одному мне оставаться было неловко. И чувство, что она так и сейчас не уехала, а с чемоданчиком и сумкой для провизии сидит в своем вагоне, что вагон так и стоит вне состава. Звериная нежность. У О. так пусто стало, просто до слез. Утешенье — надпись...

С. В. Шервинский

АННА АХМАТОВА В РАКУРСЕ БЫТА

В первый раз Анна Ахматова приехала к нам в Старки в 1936 году. До этого мы были знакомы[1], но мало. Я посещал Ахматову, приезжая изредка в Ленинград, был у нее однажды в Москве, когда она нашла приют в доме, принадлежавшем Академии наук, на набережной Москва-реки. Там жили престарелые литераторы, среди них племянник Достоевского, разбитый параличом, катаемый в кресле.

Впоследствии знакомство углубилось, и это дало мне возможность пригласить Ахматову в нашу «коломенскую аномалию»[2]. Приглашение было принято без лишних слов.

Жена моя, мало встречавшаяся с Ахматовой, не без смущения ждала приезда гостьи. У Ахматовой еще продолжалась тяжелая полоса ее жизни, нам хотелось дать ей покой в условиях деревенского гостеприимства.

Гостья была предупреждена, что доехать до Старков не просто. В то время надо было преодолеть три часа езды в «местном» — рязанском — поезде до станции Пески («дачные» туда не доходили), потом идти пешком версты полторы до Москва-реки, а там переправиться на другой берег, мост у села Черкизово был выведен из строя уже несколько лет назад. Наша усадьба стояла на берегу, но в полуверсте от парома, и мы предпочитали переправляться на своей лодке прямо против нее. Приглашая Ахматову к себе, я был уверен, что ее такими трудностями не смутишь.

Вагон, где мы ехали, наполнен был, как все тогдашние «местные» поезда, толпой тех деревенских баб и девок, как сами они себя называли, которые в ту пору носили нивелирующее прозвание «мешочниц». Мешки по-разному обнаруживали свое содержимое, в них главным образом были пустые или чем-нибудь набитые в Москве бидоны. Усталые от рыночной толкотни, но, в общем, веселые женщины раздирали руками селедку, откусывали колбасу «от цельной», запивали по очереди водой из бутылок и бидонов. С этой однообразно серой женской толпой Ахматова контрастировала сильно. Но на нее никто не обращал внимания, местные жители привыкли видеть подобные вкрапления в свою среду чужеродных единиц из отходящего в прошлое класса. Чужеродные единицы тоже привыкли и сами уже не чувствовали себя чужеродными.

После Бронниц, не видных с железнодорожного полотна,

уже простиралась луговая равнина — до Коломны и дальше, к Рязани. В вагоне начиналось оживление. «Мешочницы», почти все, «вылезали» на маленькой безымянной и бесперронной остановке, откуда им предстояло идти верст тридцать до своих деревень. Женщины разувались и уже босые спрыгивали с подножек на придорожную луговину. В первый раз следя за этой высадкой, Ахматова не без удивления сказала:

— Невероятное множество босых ног!

Потом уже в полуопустевшем, облегченном от всяких запахов вагоне приходилось еще ждать целых полчаса в Воскресенске, где по расписанию должен был простоять наш «местный».

Ахматова с легкостью проходила расстояние до реки, потом мы шли по берегу влево, где среди ивняка, без каких-либо признаков причала, нас ждал кто-нибудь из семьи на тупоносой плоскодонной лодке. Царственная горожанка не совсем уверенно ступала по короткому, несколько крутому склону, потом приходилось одним широким шагом преодолевать лодочный борт, колыхая при этом всю неуклюжую посудину. На нашем берегу были мостки.

Однажды, провожая уезжавшую Ахматову, я как-то не успел вовремя подать ей руку помощи, и она, выходя на крутой бережок, чуть-чуть оступилась; на лице ее мелькнула на секунду тень испуга, но я уловил, что Ахматова испугалась не падения, а возможности оказаться в смешном положении. Подобной возможности она допустить не могла.

В дому у нас к приезду Ахматовой не делалось никаких особых приготовлений. Ей предоставлялась небольшая квадратная комната с окошком в сад. Прямо под окном поднимались каменные, с боков замшелые ступени на каменную террасу, открытую, с украшенными латунью и бронзой решетками по рисункам Бовэ. Вид на яблоневый сад прегражден был большим кустом белой сирени. Все в комнате обеспечивало гостье тишину — единственную роскошь, которую мы могли ей предоставить. Дом был одноэтажный, каменный, со скромным, но классическим фронтоном и нишами по сторонам главной двери. Стены дома были чуть ли не в метр толщиной.

Ахматова никогда не говорила о своем помещении. Вообще она была неприхотлива. Может быть, сказывалась и многолетняя привычка гнездиться на случайных ветках,— комната, где она обычно подолгу жила в Москве, была меньше любой монастырской кельи.

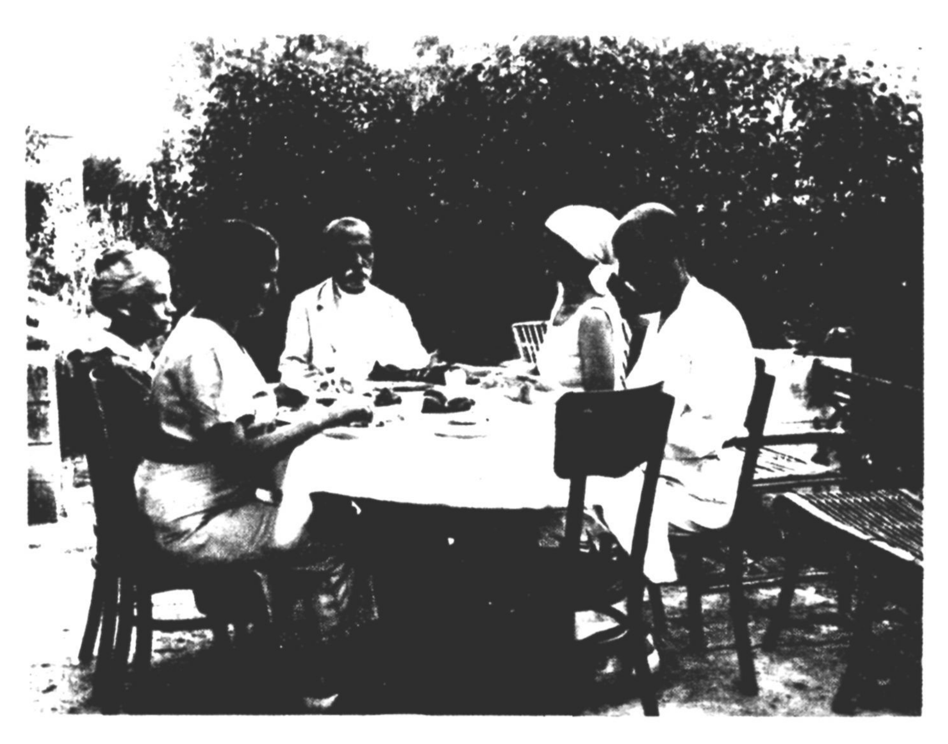
Не могу не остановиться на одном недоумении. Среди стихов тех лет у Ахматовой есть одно, посвященное нашей семье и говорящее о Старках,— «Под Коломной». Все стихотворение ставит акцент на «деревянность» усадьбы — «Все бревенчато, дощато, гнуто...». Образ деревянной стройки мог возникнуть у Ахматовой только от некоторых побочных впечатлений: у нас

во дворе имелся второй, маленький деревянный домик о двух комнатах. Там во время одного из пребываний у нас Ахматовой жила В. И. Жмурова, наш присяжный врач и многолетний друг. Ахматова заходила к ней часто, они подолгу беседовали. Мне не ясно, что именно могло сблизить эти два совсем разные существа. Мне думается, что беседы с В. И. были для Ахматовой некоторой «форточкой», где многое чисто женское находило выход и соответствующие отклики. Слишком скупая в беседах с теми, кто по той или иной причине ее связывал, Ахматова с В. И., по-видимому, чувствовала себя раскрепощенной от самой себя.

Кстати, и сени, вводящие в каменный дом, были действительно деревянными, так же как и вторая крытая, заплетенная виноградом деревянная терраса на другой стороне дома. Так или иначе, меня удивляет, что Ахматова прошла мимо той каменной стихии, которой отмечены многие, если не все, строения Коломенского района, обильного белым песчаником. Не менее удивительно, но и показательно, насколько Ахматова не принимала во внимание непосредственно окружающую обстановку.

За несколько долгих пребываний у нас, а также неоднократных посещений в Москве Анна Ахматова — Сафо нашего времени — для нашего дома постепенно перерождалась в «Анну Андреевну». Ее ждали уже не как владычицу, не как недосягаемую, почти абстрактную величину, а как человека почти «своего». Впрочем, при всей простоте, подсказываемой искренностью и бытом, между нами и ею оставалась некая непереходимая черта. Жена моя, почти на двадцать лет моложе Анны Андреевны, ощущала эту черту более, чем другие, острее осознавая свою несоизмеримость с носительницей мирового имени и трагической, приглушенной славы на родине. Она своим чутким инстинктом избрала единственно верный путь: не пытаться беседовать с Анной Андреевной «на равных», а вместе с тем сохранять то спокойное достоинство, которого требовало положение хозяйки и матери семейства. Между ней и величественной гостьей образовалось особое взаимное уважение, постепенно крепнувшее вне каких-либо общих оценок. Смею думать, что Анна Андреевна ценила этот уместный такт,— во всяком случае, за недели и месяцы каждодневного общения между двумя женщинами, столь различными по своему жизненному пути и духовным привычкам, ни разу не промелькнуло никакой тени. Да ее и не могло быть. На такт моей жены Анна Андреевна отвечала таким же тактом.

Как-то Анна Андреевна и моя жена были, как обычно в Старках, вместе в бане,— баня у нас была своя, отдельная, бревенчатая, в углу парка. С Еленой Владимировной наедине Анна Андреевна утрачивала долю своей величавости, и обе женщины, при значительной разнице лет, вели себя непринужденно. В



Е. В. Шервинская, А. Д. Позднякова, В. Д. Шервинский, Анна Ахматова, С. В. Шервинский, Старки. Фотография Л. Горнунга. Лето 1936 г.

тот раз Елена Владимировна решилась откровенно признаться своей гостье в том, что ее тяготило: она жаловалась на себя, сетовала, что не может быть интересной для такой собеседницы, как Анна Андреевна,— словом, высказала все, что мучило ей душу. Вдруг Анна Андреевна резко повернула голову в сторону своей добровольной банщицы, своим мокрым лицом прижалась к ее лицу, крепко поцеловала и сказала:

— Милая, что вы? То, что вы даете мне,— это самое лучшее. Мне так тягостны нарочитые разговоры, какие обычно ведут вокруг меня...

Вообще трудно оценить ту необычайную скромность, которую Анна Андреевна проявляла в обыденной обстановке. Не могло быть гостьи более нетребовательной, более уживчивой. Она умела вливаться в быт еще недавно далекой ей семьи без всякого насилия над собой и над теми, с кем ее свела судьба. Это не значит, что жить рядом с ней было легко: Ахматова несла, как нелегкий груз, окрепшее бессознательно и сознательно величие, которое никогда не покидало ее...

Когда утром все сходились в столовую, Анна Андреевна

никогда не запаздывала, являясь по первому приглашению из своей комнаты, соседней со столовой, считая неприличным хоть сколько-нибудь нарушить режим, установленный в доме. Диета ее была довольно строга, но это требовало не каких-либо изысков, а только внимания к ее здоровью. В первый же из приездов к нам Анны Андреевны мой отец избавил ее от тяжелых сердечных приступов, угадав своей врачебной интуицией, да и долголетним опытом, что причина нездоровья — в заболевании щитовидной железы. С моим отцом у Анны Андреевны сложились отношения взаимного уважения, которые, однако, при сдержанности и воспитанности обоих характеров так и не допустили раскрытости.

Дети мои, девочки шести и трех лет, просто любили Анну Андреевну, но никогда не называли ее «тетей Анютой» или чем-нибудь подобным.

Что касается меня самого, то у нас с Анной Андреевной были отношения совсем не подчиненные тем нормам, какие бывают обычно у людей, причастных к одному творческому цеху. Мы редко и мало касались литературных тем. Анна Андреевна вообще была неразговорчива. Более того, у нее была тягостная манера общения. Она произносила какую-нибудь достойную внимания фразу и вдруг замолкала. Беседа прерывалась на какие-то мгновения, и восстановить ее бывало трудно. Тема не подхватывалась, приходилось делать новое усилие, и эта «прерывность», противоречащая самому существу «беседы», была тяжела. Лишь изредка Анна Андреевна оживлялась как собеседница. Иногда — после нескольких глотков вина. Может быть, подобные уходы в себя во время разговора были следствием долгих, год за годом, тяжких переживаний. Может быть, выработавшаяся, тоже годами, величавость поведения сдерживала свободное излияние мысли. Может быть, наконец, ей были недостаточно интересны собеседники, однако это менее вероятно: одного моего отца было бы довольно для содержательных бесед.

Крайне редко Анна Андреевна не выдерживала чего-нибудь и вспыхивала. Так, однажды за обедом в Старках одна наша родственница, большая любительница поэзии, позволила себе с ненужной авторитетностью что-то высказать о Пушкине. Анна Андреевна тут же наложила на нее руку, и бедная любительница Пушкина затрепетала, как мотылек на ладони. Хорошо, что божественный гнев прорывался не часто, его суровость ставила жертву в трудное положение. Трогать Пушкина при Анне Андреевне было небезопасно.

Ритм жизни Ахматовой в Старках был однообразен. Первое, о чем мы заботились,— чтобы ничто ее не тревожило. Поэтому ей не оказывалось подчеркнутого, нарочитого внимания. Ей предоставлялась свобода без проявлений обычного в России тяжеловесного гостеприимства. Утром после кофе

она обычно уходила к себе читать. По ее собственным словам, она в эти годы поневоле одолела целую литературу по древнейшей истории Средней и Восточной Азии, отбирая книги для посылки сыну, трудившемуся тогда в условиях ссылки над своим обширным трудом о гуннах[3].

Чаще, при теплой июньской погоде, она отправлялась на гамак, устроенный для нее в парке. Я приносил ей подушки, и она часами лежала с книгой или старыми журналами в руках. Проходившие, даже поодаль, старались ее не беспокоить.

В предобеденное время, в жаркие часы, Анна Андреевна шла купаться на Москва-реку; иногда играла с моими дочками, сидя на лугу. С «деревянной террасы» виднелось ее простое холщовое платье и головной платок светло-розового цвета, шелковый, без рисунка. После обеда полагался сон.

Я ни разу не заметил, чтобы Анна Андреевна получала письма, сама тоже, по-видимому, никому не писала.

Когда Анна Андреевна гостила в Старках второй раз, в 1938[4] году, около красно-белой Баженовской церкви избу снимали близкие нам люди: поэт А. С. Кочетков с женой и старая годами, но молодая душой поэтесса Меркурьева. Они привнесли с собой тот поэтический дух, который сближал их до этого во Владикавказе, у небезызвестного провинциального литератора-дилетанта Архиппова, в доме которого в те же годы бывал и сам Вячеслав Иванов, останавливавшийся во Владикавказе по дороге в Баку, куда был приглашен в качестве профессора. Он парил, как орел, над этой легко воодушевлявшейся талантливой стаей перелетных птиц...

Кочетков много работал в то лето над переводами Шиллера. Он часами сидел, нагнувшись над письменным столом у окошка. Влетали галки и садились ему на голову, на плечи. Он не мог их не замечать, но отогнать не решался: всякое живое существо в его кругу считалось если не священным, то, во всяком случае, требующим нежности и опеки. У Веры Александровны Меркурьевой был свой прирученный галчонок, где-то повредивший лапу, а у Инны Григорьевны, жены Кочеткова,— молодой кот, почти котенок, остаток мощного кошачьего коллектива, постоянно осложнявшего жизнь Кочетковых в Москве. И вот в этот круг чистых сердец и романтических умов должна была впервые появиться гостьей Анна Ахматова. Едва ли когда-нибудь в крестьянской избе истовей готовились к прибытию чудотворной иконы, чем у Кочетковых к визиту Анны Андреевны. Вера Александровна, издавна питавшая пиетет к Ахматовой, не на шутку обеспокоена была тем, что входили в их скромное обиталище через незастеленные сени. Она волновалась, как же быть, откуда взять красное сукно, по которому могла бы прошествовать светозарная посетительница. Красного сукна так и не достали, и Анна Андреевна, проследовав

Анна Ахматова. Коломна. Фотография Л. Горнунга. Лето, 1936 г.

до погоста через пересохший пруд, в назначенное время без всякой помпы наклонила голову, переступая порог. После почтительных приветствий беседа у стола перемежалась стихами Веры Александровны и красным вином в граненых деревенских стаканах. Тут между прочим Александр Сергеевич рассказал, как трудно бывает сбалансировать галочьи и кошачьи интересы. Оказалось, что Вера Александровна и Инна Григорьевна вынуждены ходить гулять со своими призреваемыми в разных направлениях: Вера Александровна обходила церковь слева, а Инна Григорьевна справа, чтобы галчонок и котенок не повстречались... Зверолюбивый мир дома, очевидно, поразил Анну Андреевну. Возвращаясь к нам на дачу, она спросила:

— У них всегда это безобразие?

При этом в реплике ее не было ни ноты раздражения.

Я не замечал ни в поведении, ни в высказываниях Анны Андреевны особого пристрастия к животным, подобного рода чувствительность была ей чужда. Да и в творчество свое она не впускала «животнолюбия». Только птицы удостоились внимания поэтессы, и их «Белая стая» приобрела значение символа.

Очевидно, в душе у Анны Андреевны накопилось столько тяжелого, что оно не могло не обнаружиться в любом разго-

воре. В молчаливости Ахматовой таилось нежелание открывать себя перед людьми, знающими ее еще недавно и мало. Все же иной раз можно было уловить в словах Анны Андреевны горькую ноту. Однажды она сказала, разумеется без всякой аффектации, что дома на Фонтанке она принуждена проводить все время «за примусом», причем дала понять, что эти обязанности хозяйки без прислуги ей приходится исполнять уже давно и придется, наверное, еще долго. Между тем ее обременяли и близкие ее тогдашнего мужа, Николая Николаевича Пунина.

О нем мне вспоминается слишком немногое. В одно из моих ранних, тогда еще робких посещений квартиры на Фонтанке мы сидели вечером за столом с Анной Андреевной. Она разливала чай. Вошел довольно высокий черноволосый мужчина с бородкой, в руке у него была раскрытая книга. Нас познакомили. Пунин сел по другую сторону стола, наискось от меня, и тотчас погрузился в прерванное чтение. Читал, не поднимая лица от книги и не обращая ни малейшего внимания ни на присутствие Анны Андреевны, ни на ее гостя. В этой изолированности за домашним чайным столом была доля демонстративности, он словно хотел показать,— что ее жизнь — вовсе не его жизнь, что ее гость не имеет к нему никакого отношения. Мы с Анной Андреевной проговорили еще с добрый час, а Николай Николаевич так и не изменил своей позы, потом вышел, не простившись. В тот раз, когда Анна Андреевна позволила себе сказать о примусе, она сделала такое признание не без легкой иронии:

— Когда я напишу новые стихи и сообщу об этом Николаю Николаевичу, он обычно говорит: «Молодец, молодец!..»

Это выражение с невеселым обертоном потом стало ходячим в нашей семье.

Я не имею никаких оснований судить о жизни Анны Андреевны с Пуниным. Но у меня осталось впечатление, собиравшееся больше из мелочей, оттенков и чужих слов, что брак с Пуниным был ее третьим «матримониальным несчастием».

Второе изживалось медленно: после расхождения с Гумилевым и его гибели Анна Андреевна несколько лет была женою замечательного человека, Владимира Казимировича Шилейко, ученого, читавшего, как простые письма, вавилонскую клинопись. Кроме того, он писал стихи, впрочем не очень интересные. Шли самые трудные годы, предшествовавшие нэпу. Мы с Владимиром Казимировичем встречались в Музее изящных искусств, где оба тогда работали. Голодный и холодный, болеющий чахоткой, очень высокий и очень сутулый, в своей неизменной солдатской шинели, в постоянной восточной ермолке, он влачил свое исхудавшее тело среди обломков древнейших азиатских культур. Он жил в Москве, жена его, то есть Анна Андреевна,— в Ленинграде (тогда еще Петрограде).

Анна Ахматова. Коломна. Фотография Л. Горнунга. Лето, 1936

Слыхал, что письма, которыми они обменивались,— драгоценные образцы эпохи и личного стиля ⟨...⟩.

Вторично Анна Андреевна гостила в Старках в 1938 году. Лето снова отличалось редкой жарой. Анна Андреевна, как южанка, переносила ее легко и даже любила. Во всяком случае, мы никогда не слышали от Анны Андреевны жалоб на знойную погоду. Вообще она не допускала малейшего, хотя бы намеком или интонацией, недовольства Старками.

По второму разу Анна Андреевна и мы все взаимно привыкли друг к другу. Ее посещение перестало казаться неким чудом, выпавшим нам на долю. В то второе лето мы с Анной Андреевной

ездили в Коломну. С нами был третьим наш летний сосед и друг Лев Владимирович Горнунг. Анна Андреевна была легка на подъем, охотно согласилась на этот аусфлуг*,— Коломна от Старков в тринадцати километрах. Ехали поездом, опять «местным», но уже без разувшихся «мешочниц», их сфера кончалась у Бронниц.

Наше общение с Анной Андреевной укреплялось тем, что оба мы были хорошо осведомлены и воспитаны в вопросах искусства. Я очень ценил в Анне Андреевне то, что она хорошо чувствовала архитектуру. В этом смысле она отражала и увлечение века, открывшего архитектуру для русских интеллигентных профанов, а отчасти и ее личное окружение зодчеством Петербурга,— впоследствии, уже под старость лет, Анна Андреевна в вызывающем стихотворении о Царском Селе открыто декларировала свое утомление от восхищения петербургскими красотами.

Коломна не богата памятниками старины. Но для таких склонных ко всему исторических умов, как Анна Андреевна, в Коломне была привлекательность: здесь до сих пор ютится полускрытая землей церковка, где венчался сам Дмитрий Донской. Под Коломной собирал он войска для битвы на поле Куликовом. В одной из кирпичных кремлевских башен заточена была, по преданию, Марина Мнишек. Вряд ли это было так, но имя Марины Мнишек всеми повторялось в связи с этой круглой и стройной башней, реставрированной еще Археологическим обществом.

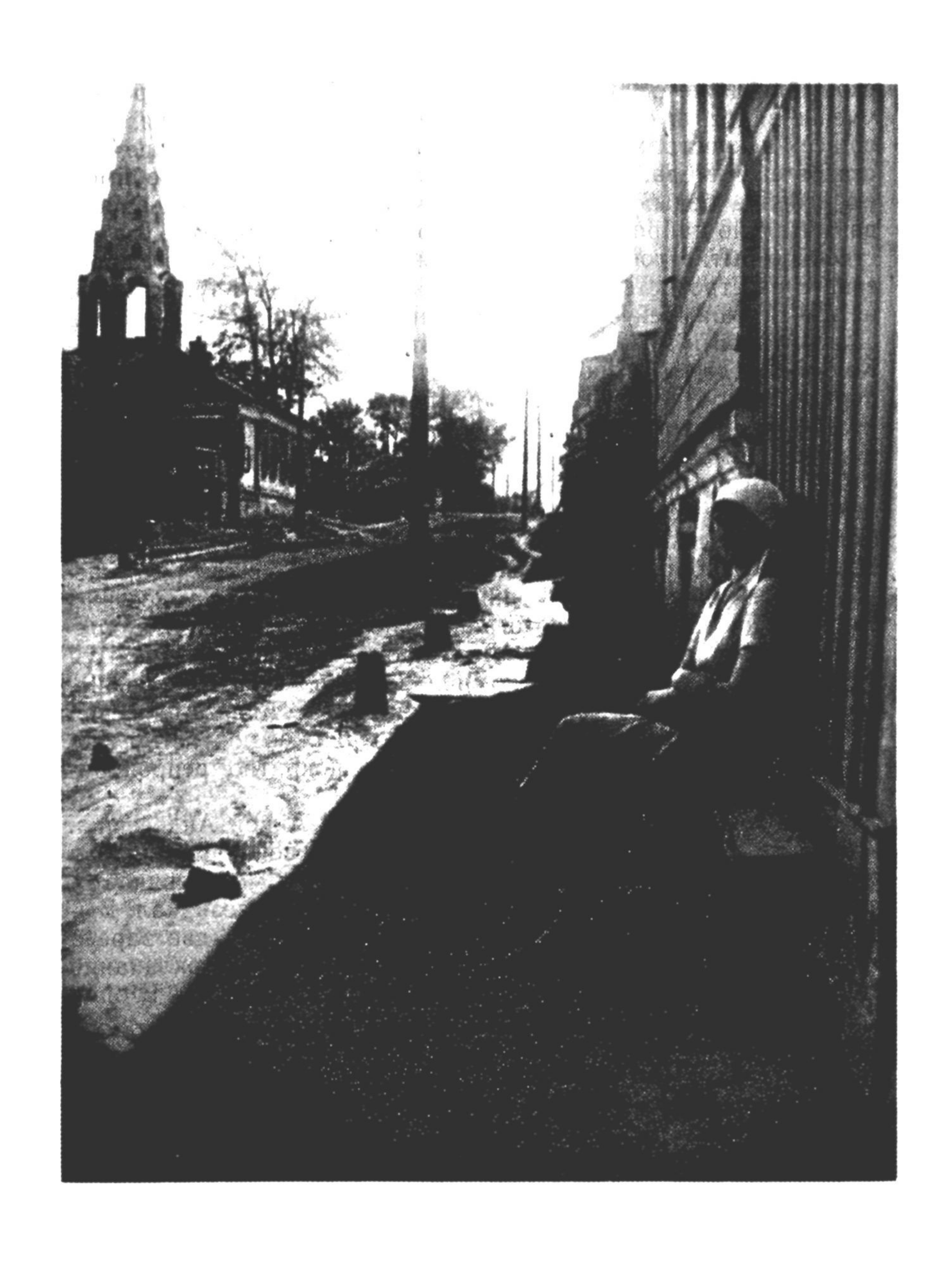
У меня сохранилось несколько бегло сделанных Горнунгом фотографий — на одной Анна Андреевна сидит на скамеечке возле какого-то ничем не примечательного домика, просто отдыхает, был жаркий день. На другой наши совсем миниатюрные облики запечатлены на фоне Троицких ворот, с которых тогда еще не была содрана большая надвратная икона в барочном обрамлении. На третьей фотографии Анна Андреевна сидит на траве под деревом, за которым виден старый «уездный» особнячок; по одному изгибу прекрасной руки легко можно узнать величественную модель. Снята она как раз в светло-розовом платке, том самом, который стал, для меня по крайней мере, неким ее «старковским» атрибутом.

Во время хождения по Коломне мы всматривались в дома, в церкви, в монастырские стены с худосочными башенками, отражавшими баженовский «empire gothique»**. О литературе, о поэзии — не говорили. Ни Анна Андреевна, ни я не любили таких поглощенных литературными интересами подвижников, которые, выйдя за деревенскую околицу или перед закомарами древней церкви, тут же начинают говорить о Чехове или Белин-

---

* Прогулка, поездка (Ausflüg — *нем.*). — *Ред.*

** «готический ампир» (*франц.*).— *Ред.*



Анна Ахматова. Коломна. Фотография Л. Горнунга. Лето, 1936 г.

ском, или даже о Пушкине. Я высоко ценил в Анне Андреевне уменье видеть и охоту смотреть. Она не только в поэзии, но и во всех искусствах была знатоком. Как в одной-двух строчках стихов она умела, еще смолоду, сказать так много о любимом ею «городе беды», так беглым замечанием или даже просто внимательно направленным взглядом могла оправдать художественное бытие того или иного памятника. Сама Анна Андреевна с ее строгостью и стройностью внешней и внутренней, с не изменявшим ей чувством России замечательно сочеталась с памятниками древнерусской архитектуры, и наше посещение Коломны, где мы выполнили, кстати, и мелкие хозяйственные поручения, осталось в воспоминании драгоценной страницей. Жаль, что фотографий было снято мало, притом мимоходом и при ярком свете,— я, привыкший к каждодневному общению с Анной Андреевной и по праву считавший ее другом нашей семьи, как-то не учитывал в должной мере, что эти любительские снимки станут еще при моей жизни уникальными свидетельствами образа Ахматовой в быту, в русской культуре.

Через несколько дней Горнунг попросил у Анны Андреевны разрешения сделать ее фотографию леге артис*. Анна Андреевна охотно дала согласие. Она любила «запечатлевать» себя[5]. Тем более мне приятно подчеркнуть, что фотография, снятая Горнунгом в той самой комнате, где Анна Андреевна жила в Старках, оказалась одним из лучших ее портретом второй половины тридцатых годов и неоднократно репродуцировалась.

Следующая полоса наших отношений с Анной Андреевной относится уже к послевоенным годам. Всю войну мы были в разобщении. В Старках долгие месяцы болел мой девяностолетний отец. Об эвакуации вопрос для нас и не возникал. Выходя за ворота усадьбы, мы видели одновременно два зарева справа — над Москвой, слева — над Коломной. По окончании войны Анна Андреевна возвратилась из Средней Азии. В один прекрасный день — ибо он в самом деле был прекрасен — раздался у нас в Москве телефонный звонок, и знакомый, давно не слыханный голос, как всегда громкий и мужественный, произнес привычную фразу: «Говорит Ахматова. Привет вашему дому».

Летом 1951 года Анна Андреевна снова была в Старках. Отца моего уже не было в живых. Мы совсем почти не говорили с ней о всем свершившемся с родиной и с миром. Мы не умели, да, пожалуй, и не могли раздроблять эпопею на отдельные эпизоды, знали, что обобщать — дело грядущих поколений. Ужас эпохи и подвиг народа были слишком очевидны и переживались в молчании.

Жизнь в Старках, где опять собирались летом, принима-

---

* По всем правилам искусства *(шутл.-ирон.)* — lege artis *(лат.)*. — *Ред.*

ла в основном прежние внешние формы. Устойчивость быта заявляла свои права. Анна Андреевна в 1951—52-м годах гостила у нас три раза,— как и раньше, подолгу.

В эти годы она сблизилась с моей старшей дочерью Анютой. Близость поддерживалась долгими сеансами на «деревянной террасе» — дочь писала портрет Анны Андреевны. Модель была исключительно терпелива. Задача была трудна не только потому, что Анну Андреевну не раз писали большие художники, а еще и потому, что портрет писался в условиях зыбкого летнего освещения, под кровлей, куда вливалась зелень тополей, нигунд, сирени. Анна Андреевна должна была уехать, но через некоторое время возвратилась, сеансы возобновились. Ей самой портрет нравился, но художница была им недовольна и законченным его не считала. Этот портрет, теперь уже двадцатипятилетней давности, так и хранится у его автора среди ранних произведений. Вскоре, уже в Москве, Анюта написала еще один портрет Анны Андреевны, в манере, приближающейся к Петрову-Водкину, с лицом крупным планом в условном цвете. Этот портрет тоже был одобрен Анной Андреевной и тоже хранится у чрезмерно строгого к себе художника. Однажды, получив из-за границы просьбу прислать свой графический портрет для какого-то журнала, Анна Андреевна заказала его той же Анюте. Портрет был нарисован карандашом и отослан Анной Андреевной по назначению. Был ли он опубликован — не знаю. По-видимому, не знала этого и сама Анна Андреевна. Эпопея с недовершенными портретами происходила на фоне все более крепнувшей дружбы, несмотря на разницу возраста.

В один из ближайших годов Анна Андреевна позвонила Анюте в канун третьего февраля (старого стиля) и сказала:

— Анюта, завтра ваши именины, мои тоже. Давайте проведем их вместе. Разрешите, я приду к вам.

И она пришла.

В те приезды пятидесятых годов Анна Андреевна совсем вошла в повседневный быт нашего дома. Однажды, видя, что Анна Андреевна несет на «каменную террасу» поднос с чайной посудой, я упрекнул ее и хотел помочь, но она сказала с неповторимой прелестью:

— А разве со мной не приятно накрывать на стол?..

Иной раз можно было видеть Анну Андреевну на кухне, за некрашеным столом, рядом с кем-нибудь из моих домашних, с маленькими ножницами в руках,— была пора сбора ягод и варки варенья, процесса, происходившего у нас в масштабах давнего времени. Анна Андреевна стригла черную смородину со спокойной серьезностью, сама, видимо, не понимая, как запечатлевается она со своим всегда величественным обликом у каждого проходящего мимо.

К этому же лету относятся ее занятия с моей младшей до-

черью Катей, которой тогда было лет семнадцать. Анна Андреевна терпеливо совершенствовала ее в французском языке. У меня хранится карандашный набросок Анюты, зафиксировавший такой урок с Катенькой. Анна Андреевна нарисована со спины в труа-кар*. У нее к этому времени была уже грузная фигура, совсем не та, что на известной фотографии Горнунга.

Как-то вернувшись домой уже в темноте предосеннего вечера, я не застал Анну Андреевну ни в столовой, ни в ее комнате. На вопрос, где же она, я получил ответ неожиданный:

— Анна Андреевна ушла в кино.

— В кино?.. С кем?

— С детьми.

Ни жена моя, ни я местного кино не посещали. Анна Андреевна называла его «киношка». Оно было устроено в здании бывшей церкви, когда-то домовой церкви князей Черкасских. В красивом классическом храме был разрушен алтарь со скромными его беломраморными колоннами, колокольня со старой липой у входа была разобрана более чем наполовину. Сельская молодежь веселилась в этом на редкость неуютном «сарае» — клубе. Туда-то и ходила развлечься, особенно после нескольких часов позирования, наша величавая гостья,— Анна Андреевна называла вообще кино «театром для бедных». Возвращались, уже опоздав к вечернему чаю. Ее причуду встречали весело.

Иногда, если погода была теплой, мы гуляли с Анной Андреевной вдоль реки, по моей любимой тропинке, и тут разрешали себе поговорить и о поэзии.

В эти приезды Анны Андреевны мы увлекались литературными забавами с отгадыванием автора той или иной поэтической строки. Загадывающий должен был не только знать сам, из какого стихотворения заданный стих, но в случае, если никто не опознавал автора, процитировать стихи целиком. Иногда я сам придумывал стих в стиле какого-нибудь общеизвестного поэта, а потом к общей веселости меня выводили на чистую воду. Я, в притворном смущении, пытался скрыться под обеденный стол, тогда Анна Андреевна с каким-то сочувствием говорила: «Только не под стол!..» В подобных играх на лице Анны Андреевны бывала улыбка, вообще-то редко когда освещавшая ее лицо.

Я очень любил смешить Анну Андреевну. Однажды по дороге в Москву я в вагоне «местного» сочинял невероятные по глупости шарады в стихах и примерно на полдороге достиг того, что Анна Андреевна наконец откровенно рассмеялась. Подобные детские забавы были средством отвлечения Анны Андреевны от постоянно тяготевших над ней дум.

В пятидесятых годах, когда я перестал робеть перед Ан-

---

* в три четверти — trois-quarts *(франц.)*.— *Ред.*

ной Андреевной, наша литературная связь стала теснее. Анна Андреевна читала мне и в Старках, и в Москве недавно или только что сочиненные стихи, всегда наизусть, всегда наедине. Я сам никогда не надоедал Анне Андреевне просьбами что-нибудь прочесть. Она сама, без особого предупреждения, говорила: «Я вам прочту новые стихи» — и читала. Я бывал искренне восхищен строками, какие она щедро предлагала моему вниманию. Но от громких похвал воздерживался: во-первых, они были излишни, Ахматова знала лучше кого бы то ни было достоинства своих удач; во-вторых, потому, что я никогда не умел находить для своего одобрения нужные слова. Мне кажется, что Анна Андреевна ценила эту мою сдержанность. Так прослушал я, наряду со стихами, только что сочиненными, и стихи военных лет, те, что прозвучали на весь мир.

Один раз за все наше долгое знакомство у нас с Анной Андреевной возникло несогласие, довольно крупное. Она прочла мне, в раннем варианте, свою «Поэму без героя». Я потерялся в необычной для Ахматовой безудержной образности. На вопрос Анны Андреевны, как я понимаю поэму, я ответил каким-то смутным, головным построением, от которого тут же готов был отказаться. Поэма до меня «не дошла». Это не помешало Анне Андреевне потом читать мне поэму еще, с дополненными вставками. Затем я высказал суждение, уже не касавшееся поэтического приема. Я сказал всегда внимательному к моим замечаниям автору, что поэма, выросшая на основе трагического эпизода личной жизни, написана слишком по горячим следам. Отсюда и еще не совсем опоэтизированное, еще находящееся в состоянии кипения, жизненное, а не поэтически претворенное чувство. Анна Андреевна задумалась. Потом сказала, по-видимому не без горечи, несколько слов, из которых было ясно, что мое замечание, касавшееся самой сути произведения, не прошло мимо ее чуткости и ума. Впоследствии мы не возвращались больше к «Поэме без героя», но не раз, встречаясь со мною, Анна Андреевна говорила вскользь: «Ведь вы моей поэмы не любите...» Не могу скрыть, что она называла меня «лучшим слушателем».

Я тоже иногда делился с Анной Андреевной своими стихами. Они ей не нравились. Не то чтобы она находила их просто плохими, но в них, при всем совершенстве внешнем, она не ощущала подлинно поэтического пульса. Только один раз, когда я прочел Анне Андреевне свой цикл «Барокко», она сказала: «До этого надо было дожить». Это позднее одобрение датируется шестидесятыми годами,— больше мне читать, да и слушать ее уже не пришлось.

Последние лет пятнадцать жизни Ахматова много занималась поэтическим переводом. В этой области творчество ее неровно. Мне много раз приходилось высказывать ей замечания, большею частью по деталям, к ее стихотворным перево-

дам главным образом из наших национальных литератур. В этой области Анна Андреевна доверяла мне всецело и даже дала разрешение вносить в ее переводы поправки по моему усмотрению. Этим доверительным правом я никогда не пользовался, но поправок требовал. Однажды только я заметил, что моя редакторская настойчивость показалась Анне Андреевне слишком решительной, и после этого стал очень осторожен, боясь ее обидеть.

За годы частого и длительного общения с Ахматовой у меня все же накопилось несколько отдельных ее высказываний, навсегда запомнившихся. Так, в одной из наших большей частью кратких бесед Анна Андреевна сказала, что в юные годы любила Некрасова, в частности его поэму «Мороз, Красный нос».

Конечно, каждый из нас прошел, кто раньше, кто позже, через увлечение поэзией Некрасова. Но все же неожиданно было услышать это признание из уст Ахматовой. Неужели пристрастия юности могут отступить настолько, что не оставляют и следа в зрелом творчестве?

Однажды, гуляя по берегу Москва-реки, я позволил себе сказать, что мне никогда не была близка поэзия Гумилева. Я тут же понял, что этой темы лучше не касаться. Анна Андреевна реагировала на мое замечание бурно, почти резко. Она горячо и, как всегда, кратко и определенно высказалась о Гумилеве как о первоклассном поэте. Больше мы этой темы не затрагивали.

Иногда Анна Андреевна умела одной фразой охарактеризовать то, чего другие вовсе не примечали. Так, однажды на мой вопрос, любит ли она стихи Есенина, ответила только: «Но ведь он не сумел сделать ни одного стихотворения...» Я мог угадать в этом, насколько была требовательна Анна Ахматова к поэзии как мастерству, к тому — *как* говорит поэт, а не только — *что* он говорит, требовательна и к другим, и к себе.

Примерно так же прозвучал и ее ответ на вопрос, который я поставил наедине и с большой опаской: «Как вы относитесь к поэзии Марины Цветаевой?» Осторожность моя была вызвана тем, что в послевоенные годы Марина Цветаева стала кумиром молодежи и ее имя упоминалось наравне с именем Ахматовой. Анна Андреевна, реабилитированная во всех отношениях, всеми признанная и у нас, и за рубежом, не могла не чувствовать болезненно, что у нее появилась соперница, притом в области, посторонней женской ревности. Поэтому нечего удивляться, что ее ответ был холоден. В нем обнаруживалось непримиримое противоречие двух поэтических темпераментов: здорового духа поэзии Ахматовой и сугубо женственной и нервозной одаренности Цветаевой.

Несколько подробней разговаривали о Пастернаке. Анна Андреевна и Борис Леонидович были с юности друзьями[6].

Затем, примерно с пятидесятых годов, обозначилось некоторое их расхождение. Я не берусь судить, были ли у этого «конкретные» причины и какие? Но смею думать, что на склоне лет эти два громадные дарования просто перестали нуждаться друг в друге. Оба они к этому времени наряду с нарастающей популярностью стали все более и более углубляться сами в себя, и это привело, во всяком случае Анну Ахматову, к некоторому «величественному эгоцентризму». Суровое барокко подступившей старости стало искажать ее обаятельный образ. Правда, Анна Андреевна была слишком умна, чтобы воображать себя Анной-пророчицей или мечтать о славе Семирамиды. Но все же она, как мне представляется, в те годы не отказалась бы от мечты о памятнике на гранитной набережной Невы. Борис Леонидович переживал затянувшийся душевный кризис, что не мешало ему оставаться на вершине мировой славы. Он был окружен поклонением на своей переделкинской даче. Ахматова тоже к этому времени утвердилась на своей вершине. Сначала ее почтили в Италии, там произошло нечто похожее на увенчание Петрарки средневековым Римом. Потом она торжественно въехала в Лондон и по возвращении в Москву не без улыбки рассказывала нам, как она шествовала по Оксфорду в мантии Ньютона.

Невозможно винить гениев за то, что они подвержены законам природы. Горько вводить такие строки в текст, который по замыслу автора должен не умалить драгоценный образ Ахматовой, а лишь дать его в ракурсе житейской перспективы. Примечательно, впрочем, что и в поздние свои годы она сохраняла присущую ей мудрость и свежесть своих стихов.

Последняя, правда, мимолетная, но ответственная встреча состоялась у нас с Анной Андреевной в 1965 году. Это был год юбилея Данте. Известно, что Данте, рядом с Пушкиным, был для Анны Андреевны и учителем, и любимым поэтом, и чистейшим отдыхом души. Можно представить себе все ее волнение, когда она получила предложение выступить на торжественном юбилейном заседании в Большом театре. Это было и отечественное признание, и резонанс на все культурные страны. За несколько дней до заседания Анна Андреевна неожиданно, после длительного перерыва, позвонила ко мне и попросила заехать к себе. Ее временное гнездо было тогда в Сокольниках[7], у кого-то из близких знакомых. Я незамедлительно поехал и был немало удивлен, зачем Анна Андреевна меня вызвала. Дело было в следующем. Она подготовилась к своей речи о Данте[8], написала ее, пока от руки, пожелала выслушать мое мнение об ее речи и, если окажется желательным, кое-что выправить. Я с готовностью взялся пособить Анне Андреевне чем могу. Выслушав, я предложил сделать только одно, но существенное изменение — переставить две части местами. Она

легко была убеждена моей логикой, и предложение было принято.

Я присутствовал на торжественном заседании. Анна Андреевна явно волновалась в золоте и славе этого непривычного для нее зала. В том, как она с пафосом и подчеркнутой весомостью произносила речь, чувствовалась некоторая непреодоленная смущенность. Но голос ни разу не изменил ей. Ахматова была Ахматовой, и мои опасения потонули в громе аплодисментов многоязычного форума. Ахматова была, при всей своей грузности и отяжелевших чертах прекрасного лица, все той же, как всегда, казалась выше других людей ростом физическим и ростом духовным.

Больше мы не встречались. Вскоре мы уже обходили понурой вереницей гроб с телом Анны Ахматовой в мрачном отделении морга больницы имени Склифосовского, куда переносят умерших в больнице. Царственной, величественной покоилась Анна Андреевна, полузанавешенная темной шелковой тканью, опускавшейся на лоб, но не скрывавшей орлиного профиля. При выносе из морга говорились полные чувства речи, Л. Озеров и А. Тарковский распоряжались скупым церемониалом. Друзья и поклонники приглашались ехать в Ленинград. Среди них была и моя дочь Анна, столь связанная с Анной Андреевной в молодые годы.

Дубулты,
март 1976 года

Н. Я. Мандельштам

Рукопись, выдержки из которой печатаются в настоящем сборнике, представляет собой первоначальную редакцию второй книги воспоминаний Надежды Яковлевны Мандельштам, написанную вскоре после смерти Анны Ахматовой, в 1966—1967 годах. Впоследствии Н. Я. Мандельштам отказалась от этой редакции воспоминаний, переработав ее в совершенно другую книгу, напечатанную в 1978 году парижским издательством «ИМКА-ПРЕСС». Однако один экземпляр ранней редакции, содержащей подробные и чрезвычайно ценные сведения об отношениях О. Э. и Н. Я. Мандельштамов с Анной Ахматовой, сохранился в Воронеже у Н. Е. Штемпель (1908—1988). Незадолго до смерти Наталья Евгеньевна подарила эту рукопись исследователю творчества О. Э. Мандельштама П. М. Нерлеру. Он любезно предоставил выдержки из этой рукописи для настоящего издания.

Составители

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ

I

. . . .

Надпись на книге: «Другу Наде, чтобы она еще раз вспомнила, что с нами было». Из того, что с нами было, самое основное и сильное, это страх и его производное — мерзкое чувство позора и полной беспомощности. Этого и вспоминать не надо, «это» всегда с нами. Мы признались друг другу, что «это» оказалось сильнее любви и ревности, сильнее всех человеческих чувств, доставшихся на нашу долю. С самых первых дней, когда мы были еще храбрыми, до конца пятидесятых годов страх заглушал в нас все, чем обычно живут люди, и за каждую минуту просвета мы платили ночным бредом — наяву и во сне. У страха была физиологическая основа: хорошо вымытые руки с толстыми короткими пальцами шарят по нашим карманам, добродушные лица ночных гостей, их мутные глаза и покрасневшие от бессонницы веки. Ночные звонки — «пока вы мирно отдыхали в Сочи, ко мне уже ползли такие ночи и я такие слышала звонки», топот сапог, «черные вороны» — а кто там? — болван, дежурящий на улице не для того, чтобы узнать что-нибудь дополнительное о нас, а просто с целью пугнуть и окончательно запугать.

...В 38-м мы узнали, что «психологические методы допроса» отменены и «там» перешли на «упрощенный допрос», то есть просто пытают и бьют. А. А. сказала: «Теперь ясно — шапочку-ушаночку и — шасть!» И мы почему-то решили: раз без психологии, больше бояться не надо — пусть ломают ребра... Но вскоре она передумала — как так не бояться? Бояться надо — мы же себя не знаем: а вдруг нас сломают и мы черт знает чего наговорим, как такой-то и такой-то, и по нашим спискам будут брать, и брать, и брать... В самом деле, откуда людям знать, как они будут вести себя в нечеловеческих условиях? Я многому научилась от нее и этому тоже: Господи, помоги, ведь я даже за себя поручиться не могу...

Больше всего А. А. боялась «непуганых». В наших условиях это самые опасные люди. «Непуганый» лишен сопротивляемости. Если «непуганый» попадает в их лапы, он по глупости может загубить всех родных, знакомых и незнакомых. Родители, охраняя детей, растили их в неведенье, а потом могли сесть родители, оставив «непуганого» на произвол судьбы, или садился сам «непуганый», милый человек с открытой душой, или, наконец,— никто не садился — повезло ж людям! — и «непуганый» ходил по улицам и по домам, разговаривая по своему разумению, а иногда даже писал письма или вел дневник, а расплачиваться за его идиотизм приходилось другим. Для нас «непуганый» был хуже провокатора: с провокаторами хитришь, и он понимает, в чем дело, а «непуганый» смотрит голубыми глазами, и его не заткнешь. В наши дни только страх делал людей людьми, но только при условии, что он не влечет за собой низкой трусости. Страх был организующим началом, а трусость — жалкой сдачей позиций. Этого мы себе позволить не могли, да, правду сказать, такого искушения у нас не было.

В самые страшные годы А. А. всегда первая приходила в дома, где ночью орудовали «дорогие гости». Это про них: «И всю ночь напролет жду гостей дорогих, шевеля кандалами цепочек дверных». Недавно я спросила у Таточки[1], дивной красотки, отстукавшей, на свое счастье, только пять лет без повторных приговоров, но со всеми последующими изъятиями, капканами и лишениями: «А она пришла?» «Конечно,— ответила Таточка.— Сразу же... Первая... Мы еще не успели убрать...» — «А кто сказал, что теперь надо иметь только пепельницу и плевательницу — ты или она?» «Конечно, она»,— удивленно ответила Таточка.

Эта прелестная женщина, вдова Лившица, символизирует для меня бессмысленность и ужас террора — нежная, легкая, трогательная, за что ей подарили судьбу? Вот уж действительно, женщина как цветок,— как смели отравить ей жизнь, уничтожить ее мужа, плевать ей при допросах в лицо, оторвать от маленького сына, которого она уже никогда не увидела, потому что и он погиб, пока она гноилась на каторге в вонючем

ватнике и шапочке-ушанке. За что? Это жертва в угоду идеи о том, что мир надо переделать, чтобы сделать всех людей счастливыми, и такая великая задача посильна только сверхчеловеку, окруженному сильными людьми,— это вариант сверхчеловека, только по второму сорту, которым все можно. Чего только не сделаешь из любви к людям.

А с другой стороны, моя Тата, оставшаяся прелестной даже в старости,— это символ женской силы, невиданного пассивного сопротивления тем, кто превратил «сильных мужчин» в покорную и дрожащую тварь с хорошо организованным коллективным разумом. Кто сказал, что коллективный разум всегда тварный? Это Таточка ответила прокурору, когда он сказал ей, что она может вторично выйти замуж — так у нас иногда, в виде особой милости, сообщали о расстреле, гибели или другой форме уничтожения мужа: «Я с мертвыми не развожусь». Женщины выходили из испытаний не такими изломанными, как мужчины, среди них было меньше психозов, они не так легко сдавались, хотя их тоже морили голодом, бессонницей и били. Даже свою каторгу они выносили с большей стойкостью, чем мужчины. Шаламов[2] мне сказал, что женщины иногда приезжали к своим мужьям на Колыму, чтобы хоть чем-нибудь облегчить им существование. Они шли на невероятную муку, их насиловали, над ними издевались... Но они приезжали и жили там. Но он никогда не слыхал, чтобы хоть один мужчина приехал к своей жене или возлюбленной — «дорогая, я за тебя жизнь отдам»...

Что дала нам эта проклятая эпоха звериного страха? Что могу я сказать в ее оправдание? Может, и смогу, если подумаю, а пока: все же были отдельные люди, которые оставались людьми, единицы, капля в море, но не все превратились в нелюдь. И еще: в таких условиях человек познается быстрее и легче, чем там, где, спрятавшись под условные формы приличных фраз и приличного поведения, нелюдь может гримироваться под человека. И, наконец, острые болезни если не приводят к полной гибели, то дают более полное выздоровление, чем хронические, медленно протекающие и оставляющие навсегда пагубные следы. Все три найденных мною наспех оправдания относятся скорее к отрицательному, чем к положительному ряду чисел.

. . . .

Нас с А. А. очень интересовал вопрос о том, что такое храбрость. Во-первых, мы сразу выяснили, что храбрость, смелость и стойкость не синонимы. Во-вторых, жалкие трусы в повседневной жизни — блюдолизы, чиновники, поедающие глазами начальство, не смеющие не только высказать, но даже хранить в душе собственное мнение, оказывались во время войны храбрыми офицерами, настоящими, несокрушимыми воинами. Что укрепляло в них воинский дух? Уж не то ли, что они просто выполняли приказы, снимая с себя всякую ответственность за

происходящее? То, что происходило у нас, можно назвать кризисом духа, и так называемые настоящие сильные мужчины, «химены», как говорят англичане, первые сложили с себя ответственность за все, что делается, и покорно построились в ряды, голосующие «за». А те, что послабее, из тех, про которых говорят: «Что он за мужчина», проявили наибольшую сопротивляемость. В слабом теле неожиданно оказался клочок духа. Не бог весть какой силы, но по нашим грехам и то хорошо. Они вместе с женщинами кое-как барахтались, поддерживая веру в человека, что он еще может возродиться, покаяться и начать новую жизнь. Сильные лезли наверх по социальной лестнице, слабые застревали на нижних ступеньках. Новое время принесло огромную категорию молодых, которые сознательно отказываются от благополучия и карьеры. Это первый признак выздоровления, и мы успели с А. А. отметить его как прекрасный симптом. Впрочем, нельзя поручиться, что молодые, у которых еще все впереди, не свернут на старый путь. Кто их знает. С ними как с «непугаными» — все зависит от обстоятельств. К счастью, ее уже нет, а мои дни сочтены.

. . . .

Деревенские бабы по утрам рассказывали друг другу свои сны. Я расскажу про то, что А. А. называла «мой сон» — в нем сгустилось время — три десятка лет сгустились, слились в один комок, и нестерпимая боль за двух людей, к которой примешивалось, вероятно, чувство вины, получила символическое оформление.

Коридор пунинской квартиры, где стоит обеденный стол, а в конце за занавеской спит Лева, когда его пускают в этот дом... В коридоре «они», ей предъявляют ордер и спрашивают, где Гумилев. Она знает, что Николай Степанович спрятался у нее в комнате — последняя дверь из коридора налево. Она выводит из-за занавески сонного Леву и толкает его к чекистам: «Вот Гумилев». Остается неизвестным, которого из двух они ищут: ведь старший уже убит. «Меня мучит, что я отдала им Леву»,— сказала она мне, когда в первый раз рассказывала «мой сон». А что, в сущности, ей оставалось делать? Они ведь могли бы забрать обоих. Выхода не было даже во сне.

Разные эпохи — разные сны. Первая эпоха — в ней сплющилось много лет и несколько десятилетий с однотипными снами увода и гибели. Следующая пошла на постепенное преодоление страха. К ней относится тот сон, который я видела в Пскове. В нем тоже участвует тот, которого уже не было. Отчаянный стук в дверь. Меня расталкивает О. М.: «Одевайся, это за тобой»... «Нет,— отвечаю я,— тебя ведь уже нет, за тобой не придут. А если за мной, то плевать. Пусть хоть ломают дверь, мне какое дело? Надоело... Хватит...» И, повернувшись на другой бок, я снова во сне засыпаю.

Смешное последствие этого сна — меня нельзя разбудить

стуком и звонками: я не желаю просыпаться. Однажды в Тарусе приехавшие за чем-то шоферы грузовика — их послал хозяин дачи — так стучали во все окна и двери, что чуть не разнесли дом, но я не позволила себе проснуться. Проснуться и открыть — это своеобразное «сотрудничество», а сотрудничать в этом деле я с ними не собираюсь. Если меня пожелают затоптать и уничтожить, это будет сделано без моего согласия.

Итак, я преодолела страх. Это случилось не рано и не поздно, а тогда, когда следовало, то есть когда распространились в списках стихи О. М. и я перестала над ними дрожать: теперь их уничтожить и стереть с лица земли, как человека, уже нельзя. Мое дело сделано. С Анной Андреевной было сложнее: во-первых, Лева, во-вторых, еще не написанные стихи. Иногда я ей говорила: «Чего вы боитесь? Нам уже терять нечего», а она отвечала: «Нет, мне еще есть что терять». В новую эпоху страх сменился тем, за что ее хвалил Сурков: «Исключительно тактично себя ведет...» На моем языке это называлось «чрезмерная осторожность». В какой-то момент ее уговаривали послать «Реквием» в редакции журналов, например, в «Новый мир». Она ведь огорчалась, что ее стихи мало циркулируют в списках, но в редакции она их послать отказывалась. «Что вы хотите, чтобы опять весь удар упал на меня?» — сказала она мне. А вот стихи О. М. она раздавала со всей силой, всячески содействуя их распространению. «Наденька, все с Осей благополучно. Он в Гутенберге не нуждается»,— говорила А. А., когда я огорчалась, что книги упорно не выходят. Это действительно так. Купив книгу, можно ее потерять или не прочесть. А кто забудет стихи, которые он раздобывал с огромным трудом, а потом тайком переписывал на машинке? С такими стихами не так просто расстаться. В этом преимущество нашей догутенберговской эпохи.

Во второй период новой эпохи А. А. почувствовала почву под ногами и рассчастливилась — к этому времени «Реквием» уже вырвался из-под ее опеки и куда-то улетел. В эти дни исчезла ее обычная ожесточенность, и она даже раз сказала мне: «Довольно об этом думать — есть в жизни еще что-то, кроме политики...» Разве мы могли подумать, что доживем до того, что сейчас? Ведь нам казалось, что «он — вечный». Так и было. Новая эпоха началась с того дня, когда мы шли с ней по улице — в церковный садик, куда я водила ее гулять,— и заметили на улице множество шпиков. Они торчали из всех подворотен, всюду и везде. «Это за нас, а не против нас,— сказала А. А.,— вы не бойтесь — там что-то делается хорошее». Иначе говоря, это шло какое-то совещание, предваряющее знаменитый съезд[3]. Но успокоились мы лишь в шестидесятых годах, и успокоение длилось один миг. Совет А. А. «думать о другом» означал только, что она поддалась старческой иллюзии. В старости бывает такой период благодушия, когда все

видится в розовом свете; этим благодушием страдает и ранняя молодость. Молодой дурью болела и я. А. А. напомнила мне, что в начале нашего знакомства я была вполне «просоветски» настроена, то есть почти равнодушно слушала ее рассказы про очередные аресты и верила, что «так» продолжаться не может и рано или поздно все войдет в свою колею. Это одна из бесчисленных ошибок молодости, исправить которые нам не дано. И мне, и ей пришлось снять розовые очки. Страх вернулся к ней перед самым концом.

Последние месяцы жизни А. А. провела в Боткинской больнице. До этого она жила у Ардовых ...она все хотела приехать посмотреть мою новую квартиру, уже было собралась, но ей стало плохо. Отложили на два дня, но она очутилась не у меня, а в больнице. В испуге я помчалась к ней. Меня провожал Шаламов. Он остался ждать в раздевалке, а я поднялась наверх. Такой страшной я ее никогда не видала. Она лежала в полузабытьи, уже отрешенная от жизни, но все же узнала меня. Изредка, открыв глаза, она делала над собой явное усилие и обращалась ко мне. Меня поразило, как тщательно она подбирает, о чем заговорить — о самом добром, о том, что нас связывало, о прошлом... «Надя, я так болела в Ташкенте, а вы были со мной... мне так хотелось к вам приехать... вы берегите мои «листки»[4], и я напишу еще...»

Я спустилась к Шаламову в полном ужасе: конец, как быть без нее? (Это и сейчас непонятно — ведь она была всегда.) Но она, как всегда, сделала то, чего никто не ожидал,— воскресла. Меньше всего этого ожидали врачи, как она мне сказала, уже сидя в коридоре и готовясь переезжать домой. (Какой там дом! Никакого дома у нее не было, а я побоялась взять ее к себе: как быть без телефона — вдруг что-нибудь случится и надо вызвать «неотложку».) В тот день ее смотрела врачиха и удивлялась, как это она выкарабкалась. «Вероятно, вам еще что-то надо сделать»,— сказала я. «О Господи, сколько ж еще делать»,— ответила она.

Откуда у нас взялась вера, что человек покидает этот мир, лишь завершив то, что ему полагалось сделать на земле? Государство доказывало нам совсем обратное: ведь О. М. ушел в самом расцвете, полный сил и замыслов. Уходя, он был крепким и спокойным человеком. Во что они превратили его в несколько месяцев? Он из тех, кто органически не переносил насилия. Запертый, он так метался, что переставал быть собой. И у него всегда было предчувствие насильственной смерти: «...еще немного, оборвут простую песенку о глиняных обидах...» Именно оборвут, а не что иное. Вот что у нас умели без промаха. Теперь вроде и полегче: один видный писатель очень точно сказал про дело Даниэля и Синявского[5]: чего подняли шум? В двадцатых годах мы за это ставили к стенке, и никто не шумел... Что правда, то правда, но лагерная пыль

все равно остается лагерной пылью: «...до самой могилы, попадья...»

В привилегированном отделении, где лежала А. А., простых смертных не было, только тещи и матери номенклатурных работников, деятельницы двадцатых годов, случайно уцелевшие от разгромов, твердо помнящие, как и за что ставили к стенке, чтобы сохранить достижения революции. Они читали в газетах про дело С. и Д. и громко его комментировали: «Вот так подонки!.. В наши дни». «Каково мне это слушать?» — жаловалась А. А. И шепотом: «Пусть Д. и С. потеснятся — мое место с ними». «В инфаркте шестой прокурор»,— процитировала я. Она замахала руками: тише, услышат... И вдруг я увидела, что к ней вернулся страх. «Что вы, Ануш, вас не тронут...» — «А «Реквием»? Ведь это то же, что у них...» Я не могла ей сказать прямо в глаза, что у нас действительно произошла перемена к лучшему и умирающих не стягивают с больничной койки, чтобы отвезти на допрос. Та эпоха кончилась. Наступила новая: открытый суд по приглашениям, общественные обвинители, прокурор, защитник и небольшая горсточка лагерной пыли за преступное печатанье неподходящих литературных произведений. А чтобы литературные произведения не удирали в другой мир, писателям предлагается забирать их из редакции, где отказались их печатать, и получше прятать дома, а то и уничтожать. Второе даже патриотичнее: зачем писать и держать вещи, которые нельзя у нас напечатать? Но вас, Ануш, не тронут, право же, не тронут... Вам простят «Реквием»... В крайнем случае вы сами попросите прощения. Это был последний приступ страха — перед самой смертью.

Она вышла из больницы, и ее действительно никто не тронул. Умерла она на второй день по приезде в санаторий. Три дня тело держали в морге — праздник 8 марта — Международный женский день. Люди звонили в Союз за справками, но им отвечали, что она уже в Ленинграде: боялись толпы на похоронах. 9 марта тело выставили в маленьком зале морга, с ней простилась небольшая кучка народу, а потом тело отвезли на аэродром и погрузили на самолет. Несколько человек, в том числе и я, провожали ее тем же самолетом.

Тело из Москвы, в сущности, выкрали — такова российская традиция. Какие-то женщины устроили по этому поводу скандал на партийном собрании в Союзе[6]: почему не дали проститься с Ахматовой? Некто из важных руководящих работников, как рассказывают, объяснил: «Мертвых, товарищи, нам бояться не надо...» Так ли это? А самое замечательное, что боимся мертвых и живых не только мы, но и они. У них есть что терять, и они боятся еще больше, чем мы, которым терять нечего. Страх душил и душит нас. Освободившихся от страха мало, но среди них — я. Меня уже не застращают, потому что мое дело сделано.

* * *

«Мы даже не подозревали, что стихи так живучи»,— сказала мне А. А., успевшая дожить до дней, когда люди снова вернулись к стихам. А в двадцатых годах Тынянов успел предсказать конец стихов[7] и переход к прозе. В течение нашей долгой жизни несколько раз возникали, а потом исчезали читатели стихов. Первая волна интереса к стихам поднялась в десятые годы. Это символисты воспитали нового читателя. Как ни отрекались потом от символистов, они провели огромную воспитательную работу и разбудили тягу к поэзии в узких, правда, кругах. Резкий спад интереса начался в тридцатых годах. «Никто не знает теперь Мандельштама,— сказал как-то Катаев.— Разве только я или Евгений Петрович[8] где-нибудь напомним о нем...» Я подумала: вот нахал, тоже нашелся посредник, но О. М. меня успокоил: «Сейчас так и есть...» И действительно, так и было, хотя имя находилось под запретом не более десяти лет, а публикации стихов и прозы проскользнули еще в 31—32-м годах. Самое удивительное, что О. М. легко переносил это забвенье. Оно его не беспокоило. Его бесил лишь запрет печататься, а то, что читатель забыл его, он приписывал, вероятно, непечатанью, или, скорее всего, вовсе о нем не думал. А на самом деле все обстояло гораздо серьезнее.

Новый подъем читательского интереса начался во время войны. Тот же Катаев — в отличие от прочих писателей этот человек всегда узнавал меня и, бросив очередную девку среди улицы, подбегал ко мне даже в центре Москвы и Ташкента — приехал в Ташкент и сообщил мне: «Ахматова переживает вторую славу, надо обязательно зайти к ней посмотреть, как это выглядит...» Боюсь, что то, что А. А. считала новым подъемом, захватило лишь старых читателей типа Катаева. В Среднеазиатском университете моя сослуживица Усова[9] уговорила меня послушать молодого поэта из эвакуированных. Это был сверхмодный юнец из Одессы, и его набор поэтических авторитетов не включал ни одного поэта, кроме тех, кто печатался в толстых журналах, зато он обзавелся мироносицами, верившими в него как в Симонова грядущих дней. Я нечаянно произнесла имя Ахматовой, и поэт вместе с мироносицами оскорбился: что за старье!

Там же, в Ташкенте, я присутствовала еще при одной пикантной сценке — словоизвержении Миши Вольпина[10], характерного для неблагодарного читателя двадцатых годов. Свежие, подтянутые, в военной форме Эрдман[11] и Вольпин явились в дом на Жуковской, куда расселили часть эвакуированных писателей. Они зашли к моему брату[12] Е. Хазину. Эрдман, по обыкновению, молчал, а держал речь Вольпин. Он рассуждал о том, что из поэтов ему, Вольпину, интересны Есенин и Мая-

ковский: «улица корчится безъязыкая», «барам в баре», волосы как пшеница, мало ли что... Ахматову ему читать скучно — зачем ему Ахматова? Подумаешь тоже: любит — не любит... В своевольной атмосфере двадцатых годов появился своевольный читатель, который желал, чтобы ему чесали пятки. Этот читатель жаждал «новаторства» и, кроме новаторства, не признавал ничего. Это слово означало ломку формы и всех представлений в духе сегодняшнего дня: любовь? — дайте мне девочку, и на три дня с меня хватит...

Ахматова, пробуя объяснить подъемы и спады читательского интереса, как-то сказала: «Стихи такая вещь,— если раз проглотишь суррогат, потом уж до них не дотронешься». В этом есть какая-то доля истины, но далеко не вся. Суррогата полно и сейчас, но читатель отлично знает, что ему надо, и что стоит переписывать, и за чьими книгами стоит поохотиться. А в эпоху культа силы и отказа от ценностей читатель искал в поэзии укрепления своих позиций и оправдания своей циничной веры в приспособление. Этому читателю был чужд весь пафос отречения Ахматовой, и они замечали в ней только то, что становилось легкой добычей для хулителей, и совершенно игнорировали ее лучшие качества: строгую сдержанность, точность и силу ее прямых попаданий. Избалованный читатель не искал настоящей правды, он не утруждал себя поисками ради крупиц духовного преображения, а желал, чтобы его оглушали и поражали, «не отходя от кассы», как выражалась А. А. ... Этот читатель даже не заметил, что Ахматова поэт не любви, а отказа от любви ради высокой человечности.

Еще хуже обстояло дело с Мандельштамом. Требовалось усилие, чтобы его понять, и еще большее усилие, чтобы, поняв, избавиться от его власти, от того, что он называл «сознанием своей правоты» у поэта. В борьбе с властью поэта хороши все средства — от клеветы и анекдотов, от всяческой внеполитической компрометации до постановлений высших органов власти и ордеров на арест.

В нашем обществе во все эти годы была очень точная градация человеческого материала — два полюса, а между ними целая гамма промежуточных нот. На крайних полюсах стояли деятели двух противоположных типов: с одной стороны — глашатаи «нового», волюнтаристы, отказавшиеся от всех ценностей, теоретики силы и сторонники диктатуры; с другой — те, кто противопоставлял силе свою правоту, основанную на ценностных понятиях. Эти две полярные группы понять друг друга не могли, да и не хотели. Для полюса силы полюс духа казался смешным, глупым, нелепым. Один мой знакомый юнец, тайный любитель поэзии, женатый на женщине из противоположного лагеря, в конце пятидесятых годов осмелел и повесил у себя в наемной комнатке — он приехал с женой из одной из окраинных республик в Москву — портрет Ахматовой. А жену

его посещали сыновья могучих отцов, выгнанных в отставку после съездов. Их призвали учиться в каких-то тайных академиях ремеслу отцов, чтобы они их поскорее заменили. Приходя к подруге своих детских игр, они с недоумением смотрели на портрет Ахматовой и громко над ним издевались. Изображенная на нем женщина была им физиологически чужда. Ее красота казалась им уродством. Я слышала, что их теперь называют «одноклеточными», а иногда «хунвейбинами», хотя те действуют в более трудных условиях — на улице, а не в закрытом помещении, называемом по-русски застенком. Одноклеточные не понимают сложный состав человеческой природы, а в эпохи, когда именно они являются знамением «переоценки ценностей» и к ним тяготеет большинство людей, читатели стихов исчезают с лица земли.

Духовная победа над одноклеточной структурой вызвала подъем любви к поэзии в конце пятидесятых годов. Для русской культуры в поэзии заключено, очевидно, освободительное начало.

Мой друг К. В. однажды сказал мне: «Я не сомневаюсь, что любой наш поэт согласился бы быть русским поэтом». «Со всеми биографическими последствиями?» — спросила я. «Да,— сказал К. В.— У вас это серьезное дело...»

Все же мне кажется, что К. В. недооценил «биографические последствия», и в этом со мной согласилась А. А., но она заметила, что обратное явление, то есть желание русского поэта стать иностранным,— немыслимо. Такого не может быть, несмотря на «биографические последствия». От них никуда не уйдешь. Работать в русской поэзии — великая честь, и вместе с честью приходится принимать и последствия.

Надо прибавить, что К. В. приезжал к нам в самый цветущий период нашей жизни, когда уже не сажали и еще не сажали в массовом, по крайней мере, масштабе, а против дела С. и Д. ополчился весь мир, и даже мы что-то вякали. Впрочем, если б он приехал в дни гробового молчания, он, как и все, кто тогда приезжал, ничего бы не понял, и никто бы ему ничего не объяснил, так что и тогда ему могло бы показаться, что хорошо быть русским поэтом. А я предпочла бы быть сапожником любой национальности, а еще лучше — женой сапожника: сапоги целые и муж при деле.

* * *

Ленинград. Церковь. Панихида. Многотысячная толпа кольцом окружала церковь Николы Морского. Внутри была давка. Щелкали киноаппараты, но у фотографов отняли потом пленки: вредная пропаганда церковных похорон, да и женщина не совсем та: постановления ведь никто еще не отменил[13]. Пленки запрятаны в каком-то архиве, а у фотографов были не-

приятности, хотя они запаслись всеми возможными разрешениями.

После службы я вышла из церкви и села в автобус, приготовленный для перевозки гроба. Из церкви непрерывной лентой лился поток выходящих, и так же непрерывно вливались в нее толпы людей, еще не успевших пройти мимо гроба. Шло медленное прощание. В толпе были старухи-современницы, но больше всего молодых незнакомых лиц. А обычные посетительницы церкви — измученные старые женщины в допотопном тряпье — отчаянно прорывались внутрь, ругая тех, кто пришел сюда по экстренному случаю — похороны — и оттеснил их, всегда посещающих службы... Организаторы похорон волновались: прощание затягивается — кто мог думать, что набежит такая толпа? — и нарушается график.

Второе прощание и гражданская панихида состоялись в Союзе писателей. Там давно уже ждала толпа и внутрь больше не пускали. Швейцар стоял у дверей, отгоняя рвущихся туда людей. Нас с Левой тоже не пустили, и мы попробовали улизнуть за угол, чтобы там, спрятавшись, переждать всю эту официальщину. Но кто-то из администрации узнал Леву и водворил нас на место. Академик толстенького типа нес несусветную чушь про золотого петушка, от которого А. А. давно отказалась[14]. Поэтические дамы с волосами разных цветов истерически клялись в верности Ахматовой, прогудел какой-то поэт, и церемония кончилась. В толпе — в церкви и в Союзе — я замечала неподвижное и сосредоточенное лицо Кушнера и отчаянные глаза Бродского. Москвичи — их было немного — резко отличались от ленинградцев: они вели себя так, будто Ахматова, которую они привезли на самолете, принадлежит им. В Ленинграде Анна Андреевна жила гораздо более изолированно, чем в Москве, где к ней непрерывно ломилась толпа друзей и в квартире, где она проводила очередные две недели, происходило то, что называлось «ахматовка». Лишь в последнее время в Ленинграде она сблизилась с кучкой молодых поэтов. «Они рыжие»,— сказала мне А. А. и показала «главного»— рыжего с бородой, очень молодого Бродского. Я рада, что эти мальчишки скрасили ленинградское одиночество А. А.

Снова двинулись автобусы. В нашем, где гроб, были Кома[15], Володя, Томашевская[16], влезла на минуту Аня, и Лева назвал ее племянницей... После короткой остановки у Фонтанного Дома машины двинулись в Комарово, а впереди бежала милицейская машина. От чего она охраняла мертвую? Ведь, как известно, «моя милиция меня бережет»...

Добиться места на кладбище стоило немалых усилий. Это тоже дефицитная площадь, и сюда тоже врывается идеология. Пока тело было в церкви, шли непрерывные переговоры с Москвой, где через Суркова добивались куска земли. Началь-

ник кладбища в Комарове наконец сдался, поставив условием, чтобы над могилой не было церковной службы. Жить у нас трудно, почти невозможно, а умирать тоже не легко. Даже этот последний путь осложнен тысячами приказов и постановлений, не говоря уж о том, что даже гроб почти что дефицитный товар. И все же счастье, что А. А. легла в родную землю без бирки на ноге. Могло быть и иначе — путем всея земли.

Последние впечатления: на кладбище небольшая кучка народу, кое-кто из них живет в Комарове. Почти все лица знакомые. Вдруг возник, произнес речь и исчез какой-то Михалков[17], направленный сюда московским Союзом после скандала. Разъезд. У нее на даче служба. Присутствующие не умеют перекрестить лоб — отвыкли. Священник прекрасно служит, но ему трудно — кругом непонимающие люди... Накрытый поминальный стол. Квартет — тот самый, что приезжал играть ей в Комарово. Бледный Тарковский, и кто-то увозит меня и его в город. Конец. Я ее больше на этой земле не увижу. Она дорожила каждым днем жизни и оттягивала смерть изо всех сил. Под конец тьма слегка рассеялась, стало гораздо легче, и она как бы увидела будущее. Даже последняя книга не так обглодана, как другие, но и в ней она стилизована под поэта любви, а не отречения. Эта жизнелюбивая женщина смолоду отказалась от всех земных благ.

II

Как случилось, что трое своевольцев, три дурьих головы, набитые соломой, трое невероятно легкомысленных людей — А. А., О. М. и я — сберегли, сохранили и через всю жизнь пронесли наш тройственный союз, нашу нерушимую дружбу? Всех нас тянуло на сторону — распустить хвост, достать крысоловью дудочку, «проплясать пред ковчегом завета»; все мы дразнили друг друга и старались вправить другому мозги, но дружба и союз были неколебимы. Мы стояли друг около друга, как я стояла около ее гроба, где она лежала чужая, грозная, уже узнавшая, что будет дальше. Для того чтобы сохранить эту дружбу, надо было иметь стойкость и волю. Откуда мы их взяли? Как преодолевали мы кризисы, неизбежные и в любви и в дружбе? Мы что-то понимали с самого начала; немного, конечно, но и этого хватило, чтобы зацементировать нашу связь.

Казалось бы, что жизненная ставка А. А.— любовь, но эти дела рушились у нее, как карточные домики, от самого первого кризиса, а напряженно-личное, яростное отношение к О. М. выдержало все испытания. Первый кризис произошел незадолго до моего появления. Где-то в году восемнадцатом она решила охранять О. М., чтобы он в нее не влюбился, и попросила его пореже у нее бывать. Сделала она это, наверное, с обычной своей неуклюжестью, во всяком случае, О. М. смертно на нее

обиделся. Влюблен он в нее не был, по крайней мере он мне так говорил, а он умел различать градации отношений и врать или скрывать что-нибудь органически не умел. К тому же он ощущал А. А. как нечто равное или даже высшее, то есть созданное только для товарищества, а не для любви, которая была для него длительной или мгновенной вспышкой, игрой, беснованием, но всегда направленной на слабейшего. В «Путешествии в Армению» есть скрытая формула его вожделений: «Персидская миниатюра косит испуганным грациозным миндалевидным глазом... Как наслаждались ими завоеватели...» Эпитеты «грациозный» и «миндалевидный» прибавлены для приличия, а вся суть в испуганных глазах. Этим можно было его взять в одну секунду, и он часто мне жаловался на меня, что у меня больше нет удивленно-испуганного взгляда. Его юношеские увлечения Саломеей Андрониковой и Зельмановой — это дань красоте с большого расстояния, которого между ним и А. А. не могло быть, к тому же эти петербургские красавицы воспринимались как нечто созданное для восхищения, а А. А. была своим братом — поэтом, с которым нужно идти рядом по трудному пути. Во влюбленности же его в Марину кроется нечто совсем другое, свойственное именно ей: прекрасный порыв высокой женской души — «в тебе божественного мальчика десятилетнего я чту»... Я Марину встречала, но не знаю ее, однако по всему, что она о себе сказала, мне кажется, что у нее была душевная щедрость и бескорыстие, равных которым нет; а управлялись они своеволием и порывистостью, тоже не знающими равных. Она из тех русских женщин, которые рвутся к подвигу и, наверное, обмыли бы раны Дон Кихота, если б в нужную минуту не были заняты чем-нибудь другим. А. А. не великорусской, а южнорусской, да еще петербургской породы. В ней было больше самопоглощенности и несравненно меньше самоотдачи, чем в Марине. Взять хотя бы ее отношение к зеркалам. Когда она смотрелась в зеркало, у нее как-то по-особенному складывались губы. Это она сказала: «...над столькими безднами пела и в стольких жила зеркалах». Она именно жила в зеркалах, а не смотрелась в них, поэтому это не имеет никакого отношения к замечанию Розанова о том, что писатели делятся на два типа — одни смотрятся в зеркало, а другие нет. Розанов здесь имеет в виду оглядку на читателя, заигрывание с ним, актерский элемент в писателях, которого в подлинных поэтах почти никогда не бывает. Предельно этот элемент отсутствовал у О. М. Когда-то в Крыму умный и странный человек Рож. сказал О. М., что провел утро с кем-то, кто по профессии своей является антиподом О. М. и вообще поэтов. Знает ли О. М., что это за противоположная профессия? О. М. кивнул. Я пристала к обоим, не поняв, о чем они говорят и почему посмеиваются... Но их объяснение, что речь идет об актере, стало мне понятным только через десятки лет. Какой-то не-

большой элемент актерства можно было заметить только у Пастернака, и то он появился лишь в старости; правильно считать актерством желание нравиться. У поэтов актерства не было и в помине, даже у Маяковского, хотя половину жизни он провел на эстраде, ни у Клюева, несмотря на то что он старался скрыть свой блеск и образованность под личиной мужика.

Актер смотрится в зеркало, чтобы знать, как он должен улыбаться, двигаться и говорить перед зрителем. Ахматова вступала в глубоко личные отношения с неслыханным количеством людей (когда людям перестало грозить тюремное заключение за дружбу с Ахматовой) и гляделась в них, как в зеркало, словно ища свое отражение в их зрачках. Это совсем не эгоцентризм, а тоже высокий дар души, потому что она со всей щедростью дарила себя каждому из своих друзей, жила в них, как в зеркалах, искала в них отзвука своих мыслей и чувств. Вот почему, в сущности, безразлично, к кому обращены ее стихи, важна только она сама, всегда остающаяся неизменной и развивающаяся по собственным внутренним законам. Например, я была когда-то уверена, что стихи про «застывший навек хоровод надмогильных твоих кипарисов» написаны в память Недоброво, тем более что в первой редакции нарциссы были не белоснежными, а царскосельскими. Это стихотворение 28-го года, то есть в тот год, когда О. М., вернувшись из Ялты, рассказал ей, что нашел могилу Недоброво в Ялте. Однако А. А. мне сказала, что стихи не в память Недоброво, а другого человека. (Я знаю про балетмейстера из Мариинского театра, который тоже умер от туберкулеза в Ялте.)

Иначе складывались отношения А. А.— без зеркал — с немногими людьми, прежде всего с О. М., со мной, с Харджиевым[18] и, вероятно, с Эммой Герштейн. Тут было не до зеркал.

Еще несколько слов о зеркалах... О. М. заглядывал в зеркало в те трудные минуты, когда мы ссорились, а это бывало всегда в одной форме: он изобличал и честил меня, не жалея сил и красноречия, а я, изловчившись, кусалась. Иногда среди обличительного потока слов я брала инициативу в свои руки и поминала Розанова... Но это было обычной женской несправедливостью: О. М., вкладывавший всю душу в наши перебранки, поглядывая в зеркало, проверял, вероятно, достаточно ли у него убедительный вид... По существу-то, он бывал обычно прав, но я пользовалась его слабостями вроде зеркала, чтобы сбивать его с толку и переводить разговор на другие рельсы. Женщины, как известно, не любят признаваться в своей неправоте, и я, хоть и не из «настоящих женщин», но все же кой-какие уловки своей касты знала. Как я ни люблю женщин, но все же страшно, что они непогрешимы, как римский папа. Ведь «поток доказательств несравненной моей правоты» тоже основан на этой непогрешимости. И я понимаю О. М., который всегда знал, какая хорошая вещь в человеке сознание не-

правоты, ошибок, глупостей, которые он наделал и не мог не наделать. Человек не модель, не кукла, не автомат. Кто до ужаса не запутал свою бестолковую жизнь? А может, эти ошибки и придают нашей жизни ее теплоту и человечность? Это наши хозяева живьем канонизировали друг друга, но мы-то ведь не портреты, а люди. О. М. мне как-то сказал, что если бы я выбрала себе мужа по своему вкусу, это был бы такой ханжа, что свет не видел... Но это относится только «к потокам доказательств», а все-таки выбрала я его, а не умозрительного ханжу, и мне ни одной секунды в жизни не было тошно, уныло и скучно. Пусть Ахматова глядится в людей, как в зеркала, пусть Пастернак очаровывает собеседниц, пусть Мандельштам рвется к людям и получает щелчки по носу от своих умных современников: «...тянуться с нежностью бессмысленно к чужому», пусть Клюев хорохорится в мужицкой поддевке, а Клычков шатается «от зари до зари по похабным улицам Москвы». Ни один из них «крови горячей не пролил», все они люди, а не людье, сложная многоклеточная структура с удивленными глазами, глядящими на Божий мир. Их убили, а они не убивали.

Самый факт сочинительства вызывает тягу к людям, усиливает связь с людьми. Стихотворный поток идет от людей (живых и мертвых) и к людям. Для людей. А каждый человек — избранный сосуд, если он не отказался от своей человечности, не объявил себя высшим разумом, который вправе распоряжаться судьбами человеческой мелюзги. Если он не порвал с заветами живых и мертвых, не нарушил священных ценностей, добытых людьми в ходе исторического процесса.

Думая об А. А., я почему-то возвращаюсь к собственной своей жизни, о которой не думала, когда писала об О. М. Его судьба такова, что сметает все личное и интимное, к которому меня возвращают мысли о нашем друге — Анюте, Аннушке, Ануш, Анне Андреевне.

О. М. повел меня к ней на Казанскую или в квартиру на Неву[19] — я была в обоих местах, но не могу вспомнить, где состоялась первая встреча. И там, и здесь она жила с Оленькой Судейкиной, и Оленька, размахивая тряпкой — она прибирала квартиру и украшала ее чем могла,— сказала, что за Аничкой нужен глаз да глаз, не то она обязательно что-нибудь натворит... О. М. сразу растаял и улыбнулся...

Когда он вел меня, он топорщился. Недавно он взял да дважды напал на А. А. в печати[20], а теперь боялся посмотреть на свою бывшую союзницу и подружку. А еще он беспокоился, как она меня встретит, и вспоминал Марину: с этими дикими женщинами можно ждать всего на свете. Марина действи-

тельно приняла меня «мордой об стол». Дружески протянув руки О. М., она сказала, что сейчас отведет его к Але[21], а мне, еле взглянув на меня, бросила: «Подождите здесь — Аля терпеть не может чужих...» О. М. позеленел от злости, но к Але все-таки пошел, оставив меня в чем-то вроде прихожей, заваленной барахлом и совершенно темной. Раньше там была столовая — это мне сказал потом О. М., с верхним светом, но фонарь, не промытый с начала революции, так зарос многослойной пылью, что не пропускал ни одного луча. Визит к Але длился несколько минут, и, вернувшись, О. М. тотчас увел меня и больше к Марине не заходил. Я же ничуть не рассердилась, и напрасно Марина выдумала, что я ревнива. Именно отсутствие ревности всегда было моим главным женским дефектом. В сущности, это показатель вульгарно-поверхностного отношения к людям, и О. М., как и другие мои друзья, в частности А. А., всегда ставили мне это в вину. Единственный раз, когда я по всем правилам разбила тарелку и произнесла сакраментальную формулу: «Я или она», вызвал у О. М. припадок восторга: «Наконец-то ты стала настоящей женщиной!» Но это произошло гораздо позже.

А в несостоявшихся отношениях с Мариной сейчас меня интересует совсем другое: почему люди не умеют вовремя сказать друг другу просто человеческое слово? Почему так затруднены отношения между людьми? Почему они скованы какими-то идиотскими преградами — ложным самолюбием, позой, самыми модными правилами поведения, законами того стиля, в котором в данную эпоху протекает роман, любовь, дружба, приятельство, вообще черт знает чем, что мешает им с открытой душой подходить друг к другу и создает между ними вечную преграду. А. А. с большой точностью сказала: «Есть в близости людей заветная черта...» Эта черта или преграда существует не только во влюбленности и страсти, а в любых человеческих отношениях — всюду, всегда, везде... Почему я, например, не сказала тогда Марине, что я совсем не такая чужая, как ей показалось, что нас осталось слишком мало, чтобы из-за каприза отказываться друг от друга? Почему я предпочла злорадно хихикнуть — вот дура! — и отсидеться в темной прихожей? Насколько легче обидеть человека или поднять его на смех, чем нарушить эту вечную преграду. И с О. М., несмотря на подлинную нашу близость, мы все же далеко не во всем переступили «заветную черту», и по моей, а не по его вине. Он-то умел гораздо глубже и честнее открываться, чем я. Ведь у него было сознание и вины, и ошибки, а у меня, главным образом, потребность доказывать свою непогрешимость и «несравненную правоту». Моя затаенность, которую я когда-то считала своим главным козырем, много мне повредила: ведь я не успела сказать О. М. самого главного и задать ему много вопросов, на которые теперь я уже никогда не получу ответа,

даже если будет та встреча, в которую я втайне не перестаю верить.

Нечто подобное произошло у меня и с А. А. Она годами упорно добивалась у меня ответов на некоторые вопросы, направленные на суть вещей, но я столь же упорно уклонялась от ответов, отшучивалась, дурила, хотя, ответив, могла бы ей в чем-то облегчить жизнь, помочь ей понять себя и некоторые особенности в ее отношениях с Гумилевым. Но я в отношениях с таким другом, как она, сохраняла ту же невидимую черту, преграду, стену, о которую разбиваются человеческие отношения. И я заметила, что, чем крупнее человек, тем он легче открывает себя, тем глубже его отношение к другим людям — даже до такой степени, что преграда иногда становится прозрачной. Это я видела и в А. А. и в О. М., но прочие всегда хотят прихорошиться и для этого запрятать собственную душу. Чтобы признаться в этом, понадобилось тридцать лет ночных раздумий, горького одиночества и конечной потери А. А., голубки и хищницы, самого ревнивого и самого пристрастного друга из всех, кого я знала.

О. М. напрасно боялся первой встречи с А. А. Никаких неприятных казусов не произошло. А. А. приняла меня отлично, с той приветливостью, которую придерживала для новых друзей. Вскоре разрешился и основной вопрос: настало время читать стихи и А. А. сказала: «Читайте первый, я люблю ваши стихи больше, чем вы мои...» Это называлось «ахматовские уколы» — невзначай как будто сказанное слово, а оно ставило все на место. Потом мы несколько раз навещали ее, и она раз пришла к нам без зова на Морскую, но застала меня одну — О. М. уехал в Москву за вещами,— больную, в пижаме. Она потом при мне рассказывала Нине Пушкарской[22], как я сразу погнала ее за папиросами и она тут же покорно сбегала: «Вы же знаете, какая я телка»... Может, моя бесцеремонность в какой-то степени растопила лед: ведь она не очень любила и ценила почтительное и восхищенное отношение к себе. На такое были падки чужие, а у своих хороша некоторая грубоватость. Так с ней обращались ее товарищи по цеху: Нарбут и О. М., и она этому радовалась. Близких и равных людей становилось все меньше. Последним из них пришел Харджиев. Она узнала о разговоре Харджиева с Чуковским и повеселела, словно с нее сняли десяток лет. Корней изливал потоки патоки, говоря об А. А. Харджиеву это надоело, и он сказал: «Она славная баба, я люблю с ней выпить». А. А. всегда повторяла: «Не хочу быть «великим металлистом...» «Великий металлист» — это фарфоровая статуэтка Данько, где Ахматова стоит во весь рост со всеми полагающимися ей атрибутами: ложноклассическая шаль, фарфоровые складки и тому подобное...

И все же настоящая дружба началась не в первые наши встречи, а в марте 1925 года в Царском Селе. Это было трудное время единственного серьезного кризиса в наших отношениях с О. М. В январе 1925 года О. М. случайно встретил на улице Ольгу Ваксель[23], которую знал еще девочкой-институткой, и привел к нам. Два стихотворения говорят о том, как дальше обернулись их отношения. Из ложного самолюбия я молчала и втайне готовила удар. В середине марта я сложила чемодан и ждала Т.[24], чтобы он забрал меня к себе. В этот момент случайно пришел О. М. Он выпроводил появившегося Т., заставил соединить себя с Ольгой, довольно грубо простился с ней (я в ужасе вырвала у него трубку, но он нажал на рычаг, и я успела только услыхать, что она плачет). Затем он взял меня в охапку и увез в Царское Село. Меня и сейчас удивляет его жесткий выбор и твердая воля в этой истории. В те годы к разводам относились легко. Развестись было гораздо легче, чем остаться вместе. Ольга была хороша «как Божье солнце» (выражение А. А.) и, приходя к нам, плакала, жаловалась и из-под моего носа уводила О. М. Она не скрывала этих отношений и, по-моему, форсировала их. (Я видела страничку ее воспоминаний об этом, но там все сознательно искажено: она, очевидно, сохранила острое чувство обиды.) Ее мать ежедневно вызывала О. М. к себе, а иногда являлась к нам и при мне требовала, чтобы он немедленно увез Ольгу в Крым: она здесь погибнет, он друг, он должен понимать... О. М. был по-прежнему увлечен и ничего вокруг не видел. С одной стороны, он просил всех знакомых ничего мне об этом не говорить, а с другой — у меня в комнате разыгрывались сцены, которые никакого сомнения не оставляли. Скажем, утешал рыдающую Ольгу и говорил, что все будет, как она хочет. В утро того дня, когда я собралась уйти к Т., он сговаривался с ней по телефону о вечерней встрече и, заметив, что я пришла из ванны, очень неловко замял разговор. Откуда у него хватило сил и желания так круто все оборвать? Я подозреваю только одно: если б в момент, когда он застал меня с чемоданом, стихи еще не были написаны, очень возможно, что он дал бы мне уйти к Т. Это один из тех вопросов, которые я не успела задать О. М. И при этом он болезненно переживал всякое стихотворение, обращенное к другой женщине, считая их несравненно большей изменой, чем все другое. Стихотворение «Жизнь упала, как зарница...» он отказался напечатать в книге 28-го года, хотя к тому времени уже все перегорело и я сама уговаривала его печатать, как впоследствии вынула из мусорного ведра стихи в память той же Ольги и уговорила его не дурить. Честно говоря, я считала, что у меня есть гораздо более конкретные поводы для ревности, чем стихи если не живым, то уж, во всяком случае, умершим. Мучился он и стихами к Наташе Штемпель[25] и умолял меня не рвать с нею, а я никак не видела основания в тех стихах для

разрыва с настоящим другом. Второе стихотворение «К пустой земле невольно припадая...» он вообще скрыл от меня и, если бы была возможность напечатать его, наверное бы, отказался. Он об этом говорил: «Изменнические стихи при моей жизни не будут напечатаны» и «Мы не трубадуры»...

Должно быть, здесь чего-то не понимаю я, считая, что стихи — это уж не так важно. Есть таинственная связь стихов с полом, до того глубокая, что о ней почти невозможно говорить. Это знала А. А., и ей хотелось и меня выпотрошить на этот счет. Знает об этом и Шаламов, который сердится на О. М. за то, что он писал стихи другим женщинам; он тоже пытался убедить меня, что все остальное мелочь перед стихами... Я знаю, что есть несколько форм этой связи пола и стихов. Самый обычный случай — это порыв к женщине, и если страсть удовлетворяется, стихи сразу иссякают. Все эти Лауры и Беатриче, недоступные и прекрасные дамы, не мода и не выдумка своего времени, а нечто более глубокое, лежащее в физиологии и в природе поэзии. С «прекрасными дамами», кажется, вообще не живут, и семейная драма Блока в том, что он женился на «прекрасной даме». Так и А. А. не писала стихов тем, с кем жила, пока не наступало кризиса. О. М. несколько раз осторожно мне об этом говорил, и я с его слов и по собственному наблюдению знаю и другую связь стихов с полом, более сложную, особый объект любопытства А. А. Это то, о чем говорил О. М.: «Я с тобой такой свободный...» — когда исступленный аскетизм сменяется совсем другим исступлением. Это я узнала только в тридцатые годы, а обычную регулярную и нудную семейную жизнь испробовала только в тот период, когда О. М. не писал стихов. А. А. многое знала по себе и по своему опыту и, расшифровывая судьбы поэтов прошлых эпох, наталкивалась на следы тех же особенностей. Мне кажется, ни у художников, ни у музыкантов такой прямой связи их искусства с полом нет. Особое напряжение поэзии, ее чувственная и профетическая природа гораздо больше меняет человека, чем другие искусства и наука.

Есть еще одна особенность, которая не перестает удивлять меня в О. М.,— это то, как ясно и сразу он определял роль каждой женщины в своей жизни. Этим он резко отличался от других людей, у которых путь от любви до разлуки с разными женщинами всегда в основном совпадает. И от Анны Андреевны — у нее течение романа в основном было однотипным. Это ясно заметно даже по скупым высказываниям О. М. и в стихах и в прозе. С первой минуты, когда у нас началось то, что я считала легким романом в стиле первой четверти века — «от недели до двух месяцев без переживаний» (это была моя формула, очень забавлявшая О. М.), он уже назвал в стихах свадьбу. Потом, думая обо мне в Крыму во время нашей первой невольной разлуки, он определил мою участь: исчезнуть

в нем, раствориться. Теперь я понимаю, что это лучшее из того, что я могла сделать со своей жизнью, но тогда вряд ли такая перспектива могла меня прельстить, и он разумно объяснил это мне через много лет. Автопризнания О. М., как я уже говорила, рассыпаны в самых неподходящих местах и изрядно закамуфлированы, и я уверена, что в последних стихах о Чарли Чаплине, которые я до сих пор ненавижу, и не только потому, что они вообще неудачны, в строчке «и твоя жена — слепая тень» О. М. тоже имел в виду меня, хотя для того периода это было явной несправедливостью.

Из его признаний, пожалуй, самое интересное то, что он засунул в «Юность Гёте»: «Нужно твердо помнить, что... дружба с женщинами при всей глубине и страстности чувства была твердыми мостами, по которым он переходил из одного периода жизни в другой». Не только дружба с женщинами, но и отношения со мной, его «слепой тенью», тоже были резко периодизированы. Подобно тому как в стихах у О. М. резко чувствуются «этапы», «возрасты поэта», так и такая обыкновенная вещь, как отношения с женой, тоже делятся на вполне точные и отделенные друг от друга этапы — здесь тоже видно структурное начало психики О. М. Первый этап — это насильственно увезенная девчонка, с которой трудно возиться, но женолюб должен это терпеть. В те годы О. М. не подпускал меня к своей жизни, мало со мной разговаривал и, в сущности, только кормил и держал при себе. Он всегда считал, что жена должна быть одна — ему очень, видно, надоели разводы и случайные связи современников, но сначала это вовсе не значило, что мужу не мешает иногда и поглядеть на жену. Правда, уже в эти дни он постепенно приучил меня к стихам, показывал что-то, но, главным образом, следил, чтобы я куда-нибудь не удрала. Настоящая близость началась только после «умыкания» (как ни смешно умыкать собственную жену) в Царское Село. Это письмо в Ялту, где я лежала больная, это огромная воля, проявленная им для того, чтобы сохранить наш союз или брак. Я перестала быть девчонкой, которую он таскал за собой,— нас стало двое. Третий период нашей жизни — это тридцатые годы, когда он сделал меня полной соучастницей своей жизни. Это началось с путешествия в Армению и с возвращением к нему стихов. Странно, что стихи начались, как и потом в Воронеже, с обращения ко мне. И каждый период отношений начинался с того, что он определял такой фразой: «Я опять в тебя влюбился». Мне кажется, что к концу мы подошли еще к какому-то периоду, может, даже к разрыву, но мы этого не узнали, потому что нас насильственно разлучили.

Нашему сближению после его разрыва с Ольгой Ваксель очень способствовало возобновление дружбы с Анной Андреевной, которое произошло, как она часто мне говорила, благодаря мне. Это случилось в Царском Селе.

* * *

А. А. сказала, что, вероятно, писала бы прозу, а не только стихи, если б жизнь сложилась иначе. Мне не очень верится: в исследованиях о Пушкине звучит ее жесткий голос и чувствуется сила анализа, в отдельных же автобиографических отрывках она как-то все смягчает, осторожничает, стушевывает. Писем же, по которым можно судить о свободной прозе, она никогда не писала, чтобы неосторожным словом не выдать в них себя. У нее был хороший предлог отказаться от писем: противно писать, когда знаешь, что твое письмо вскроют и прочтут не те, кому оно адресовано, но и в юности она на этот счет была сдержанна. Откуда-то с самых ранних лет у нее взялась мысль, что всякая ее оплошность будет учтена ее биографами. Она жила с оглядкой на собственную биографию, но неистовый характер не допускал ни скрытности, ни идеализации, которой бы ей хотелось.

«Все в наших руках»,— говорила она и: «Я, как литературовед, знаю...» Иначе говоря, одной частью своей души она желала канонического портрета без всей той нелепицы и дури, которые неизбежны в каждой жизни, а тем более в жизни поэта. Красивая, сдержанная, умная дама, да к тому же прекрасный поэт — вот что придумала для себя А. А. Она призналась мне, что в Петербурге, когда она приехала туда с Гумилевым, ее поразил не успех ее первых книг, а женский успех. К литературному успеху она сначала отнеслась равнодушно и верила Гумилеву, что их ожидает судьба Браунингов — при жизни известностью пользовалась жена, а после смерти она сошла на нет, а прославился муж. А женский успех вскружил ей голову, и здесь кроется тайна, почему ей захотелось казаться приятной дамой. Первые свои уроки, как должна себя вести женщина, А. А. получила от Недоброво. Какая у него была жена, спрашивала я; оказалось, что его жена очень выдержанная дама из лучшего общества. Сам Недоброво тоже был из «лучшего общества», и его влияние здорово сказалось на некоторых жизненных установках Анны Андреевны. А сам Недоброво, влияя и сглаживая неистовый нрав своей подруги, вероятно, все же ценил ее необузданность и дикость. «Аничка всем хороша,— говорил он,— только вот этот жест», и А. А. показала мне этот жест: она ударила рукой по колену, а затем, изогнув кисть, молниеносно подняла руку ладонью вверх и сунула ее мне почти в нос. Жест приморской девчонки, хулиганки и озорницы. Под легким покровом дамы, иногда естественно любезной, а чаще немного смешноватой, жила вот эта самая безобразница, под ногами которой действительно горела земля.

А. А., равнодушная к выступлениям, публике, овациям, вставанию и прочим никому не нужным почестям, обожала ауди-

торию за чайным столом, разновозрастную толпу друзей, шум и веселье застольной беседы. В этом она была неповторима: люди падали со стульев от хохота, когда она изволила озорничать. В роли дамы она долго выдержать не могла, но всегда, получив приглашение в приличный дом, готовилась к ней. Что же касается до приглашений, то она их принимала все, сколько бы их ни было, потому что обожала бегать по гостям, приводя в ужас и меня и Харджиева: куда она еще побежит?

В гости ей всегда приходилось брать с собой какую-нибудь спутницу — ведь она боялась выходить одна. Мне случалось с ней ходить — только в Ташкенте, да и то очень редко. В Москве же мы никуда вместе не ходили. Причин этому было много, а главная — она при мне не могла разыгрывать даму, боялась встретить мой насмешливый взгляд. А кроме того, ей хотелось быть в центре внимания, а в последние годы она боялась, как бы ей не пришлось разделять это внимание со мной. Общих друзей у нас почти не было. Из всей толпы ее гостей за многие годы я подружилась только с несколькими людьми, которых она сама мне подарила: Юля[26], Ника[27], и, кажется, больше никого. А мои друзья часто становились и ее приятелями и даже друзьями. Однажды утром, не спрашиваясь, я привела к ней Рожанского[28]. Она упорно называла его академиком, не веря мне, что он просто служит в Академии, и с восторгом ездила к нему на званые обеды. Рожанские, вежливые люди, всегда приглашали и меня, но я им откровенно объяснила, что они этим испортят все удовольствие Анны Андреевны, и все пошло как по маслу. Хуже было с Виленкиным, театроведом, про которого О. М. когда-то шутил: «Как оторвать Ахматову от Художественного театра?» Она мне сказала, что приглашена к нему на ужин. И, к своему ужасу, узнала, что он пригласил и меня. Ужаса она не скрывала: что нам теперь делать?! Чтобы успокоить ее, я позвонила Виленкину и сказалась больной. Ужин прошел великолепно, а наутро Виленкин явился к Шкловским, где я тогда жила, навестить больную. Я же в халате и шлепанцах подметала коридор. Он опешил: что это значит? И мне пришлось объяснить этому милому человеку про свою ревнивицу-подругу и про то, что она стеснялась при мне буйствовать и изображать из себя даму.

А как же с биографией? Какой она будет в своей биографии? Прозы у нее почти нет, а в стихах зрелого периода она слишком много о себе сказала, чтобы позировать там дамой. И я люблю ее неистовый голос: «Не с лирою влюбленного иду прельщать народ — // Трещотка прокаженного в моей руке поет. // Успеете наахаться, и воя, и кляня. // Я научу шарахаться всех «смелых» от меня.// Я не искала прибыли и славы не ждала, // Я под крылом у гибели все тридцать лет жила...»

Я думаю, что за эти стихи сам Недоброво простил бы Аничке ее манеру при споре хлопать себя по коленке.

Юлю и Нику она мне подарила, а Николая Ивановича Харджиева я забрала себе без всякой санкции с ее стороны. Впервые это случилось в те дни, когда она приезжала для встречи со мной в Москву и мы устраивали «пиры нищих», а О. М. ночью звонил нам по телефону из Воронежа. Николай Иванович стал участником наших пиров, и А. А. с тревогой заметила, что между нами налаживаются отличные отношения. «Наденька,— говорила она,— вы все-таки осторожнее: Николай Иванович терпеть не может навязчивых женщин...» «А вас?» — наивно спрашивала я. «Я — другое дело»,— отвечала А. А. Это была, конечно, чистая клевета на Николая Ивановича, и мы дружили с ним всю жизнь, хотя были женщинами. Когда вернулся О. М., он тоже разговаривал с Николаем Ивановичем и сам сказал мне, что у Николаши абсолютный слух на стихи и он хотел бы, чтобы именно такой человек издал его стихи,— уже стало ясно, что ему предстоит только посмертное издание. Такой редактор, по словам О. М., настоящая удача для поэта. Он даже передал ему через меня «Неизвестного солдата», сказав, что Н. И. может что угодно делать с композицией этой вещи, потому что сам О. М. устал и не может из нее выкарабкаться; впрочем, эти стихи — что-то вроде оратории, как говорил О. М.,— сразу же после этого приступа усталости устоялись в теперешнем своем виде.

Когда О. М. исчез и потом пришла весть о его смерти, я уже была зачумленной, и все от меня шарахались. Единственное место, куда я могла спрятаться, была маленькая комнатка в деревянном доме в Марьиной Роще. Именно туда я пришла, узнав на почте, что ко мне вернулась посылка «за смертью адресата». Я лежала пластом на матраце Николая Ивановича, а он варил сосиски и заставлял меня есть. Иногда он тыкал мне конфету: «Надя, ешьте, это дорогое...» Ему хотелось, чтобы я улыбнулась. В ту пору из Ленинграда приезжала Анна Андреевна с передачами для Левы или хлопотать, то есть стоять в очередях у прокуроров, которые ничего не отвечали ни на один вопрос и только запугивали и так обезумевшую от страха толпу. Во всей громадной стране у нас был один друг, он единственный от нас не отказался. И эта единственность Н. И. всегда выделяла его из возникшей впоследствии толпы знакомых — они появились, когда прошел страх и выяснилось, что за знакомство с нами они не поплатятся головой. «Он был с нами, когда мы были совсем одни»,— повторяла А. А. и: «Он единственный от нас не отказался...»

В эвакуацию он попал в Алма-Ату. До нас дошел слух о его неудачной женитьбе и разводе. Анна Андреевна возмущалась и С. Н. и Шкловским: «Вот мразь... Как она могла так предать Н. И.!» Ведь и С. Н. он поддерживал в те страшные годы и фактически спас ее в начале войны, когда вывез в эвакуацию. Вот тогда-то мы и взвесили, что такое храбрость... Ведь среди

всех не поддался низкой трусости только «наш черный»... Мы так называли его только за глаза — при нем мы бы не осмелились на такую фамильярность. «Хозяин строг, но справедлив»,— говорила А. А., и обе мы держались с Н. И. весьма почтительно, хотя он был среди нас самым младшим. А. А. морщилась: почему он для нас Николаша? Я всегда называю его Николай Иванович...

Одно время она задумала отдать меня замуж за Н. И. Этим она хотела убить двух зайцев: пристроить меня и не дать Н. И. вторично жениться, не то жена поступит как все жены: отдалит от нас «нашего черного». Я, к ее огорчению, отказалась от этого ее проекта: ни ему, ни мне этого не нужно. Она же призналась, что, будь она богатой — с дачей, это у нас называется богатой, или хоть с квартирой, она бы обязательно поселилась с Н. И.— и пусть люди говорят что хотят... Действительно, люди бы много говорили о разнице в возрасте... «Наш черный» тем временем жил и очаровывал людей, не подозревая о наших кознях. И вдруг А. А. нашла выход: «Пусть он будет нашим общим мужем!» — предложила она, и на это я немедленно согласилась. Мы известили его телеграммой о своем решении. Они шли тогда почти пешком, ответ не приходил, и А. А. серьезно забеспокоилась: вдруг «черный» рассердился! Ответ пришел в мое отсутствие. А. А. встретила меня на пороге — мы жили с ней на Жуковской в Ташкенте,— размахивая телеграммой: он не рассердился, он подписал «общий»...

Харджиев сыграл большую роль в жизни А. А. Все трудное время она не делала ни шагу, не посоветовавшись с ним: как «черный» или «общий» (невзирая на положение настоящей жены, она продолжала называть его «общим») скажет»... И многие стихи появились в связи с ее разговорами с ним. Так возникла и тема прокаженного. Она жаловалась ему, что ее считают любовным лириком, не замечая в ней ничего другого. Н. И. ответил: какая там любовь и лира, скорее, трещотка прокаженного...

За тысячи верст от Н. И. А. А. соглашалась делить со мной дружбу «черного», но в Москве она относилась к ней далеко не так снисходительно. Здесь, когда он был рядом, она все же старалась оттеснить его от меня и меня от него. Но все же для нас всех было настоящим праздником, когда удавалось побыть втроем и вспомнить «пиры нищих». Только уж никто не звонил нам из Воронежа по междугородному телефону. А мы трое молодели, смеялись и радовались украденной у жизни радости.

Как Анна Андреевна ни дружила с Харджиевым, одной вещи она ему никогда не прощала: «Молчите, иначе он вас отлучит от ложа и стола»,— но как он смеет любить не только Мандельштама, но и Хлебникова! А. А. даже подозревала, что он любит Хлебникова больше Мандельштама, и это приводило

ее в неистовство. Никто не смел ей признаться, что любит какого-нибудь поэта больше Мандельштама. «Он пастернакист»,— предупреждала она меня, то есть такого стихолюба надо отлучить от стола, поскольку к ложу он никакого отношения не имеет... Пунин, со всеми его лефовскими штучками, все-таки разразился когда-то влюбленной статьей про Мандельштама, поэтому ему прощалось многое. Забавно, что к своим стихам она любви не требовала или, во всяком случае, за равнодушие к ним никого ни от чего не отлучала. А к Харджиеву она старалась и во мне возбудить нетерпимость за его преступную любовь к Хлебникову...

Ревность и нетерпимость — близнецы. Это чувства сильных, а не слабых. Н. И. тоже говорил, что его суждениями управляют пристрастия. И у Герцена я нашла слово в похвалу пристрастиям. Только равнодушие порок. Слава пристрастиям!

Меня поразила пронзительная и отчаянная интонация девчонки-поэта, которая покончила с собой где-то в Англии: она узнала, что за всякую каплю радости надо расплачиваться собственной шкурой. Еще в ранней юности, до встречи с О. М., я поняла, что любовь — это вовсе не голубое облачко. Мне хотелось избежать общей участи, то есть отнестись ко всему этому приблизительно так, как молодые женщины второй половины двадцатого века. Отсюда теория двух месяцев «без переживаний». Но на первой серьезной встрече — с О. М.— все сорвалось, и я попала в жены, а дальше все пошло как обычно, плюс все трудности наших дней. А. А. подарила меня необычайной любовью О. М[29]. Я поддалась соблазну и не уговорила ее снять это место. Разве можно назвать любовью, если двое, окруженные хунвэйбинами, хватаются за руки? Любовь проверяется не в катастрофической ситуации, а в мирной жизни. Не знаю, выдержала бы такое испытание наша... Откуда мне знать? У нас не было почти ни одного человеческого года — в невероятных условиях нашей жизни каждый период приносил свои жестокие испытания. Здорово мы жили, надо сказать, по первому классу. Если страдания — то, чего нам нельзя простить, то, клянусь, мы их не выдумывали.

* * *

В те годы мы часто говорили о гибели. В 1938 году, когда О. М. и Лева уже находились в заключении, мы поднимались с ней по лестнице высокого дома на Николаевской улице. Теперь она, кажется, называется улицей Марата. Там в крошечной и темной каморке большой квартиры умирала от рака моя сестра Аня. «Как долго погибать»,— сказала Анна Андреевна. Это она позавидовала Ане, которая уже приближалась к тому берегу. А у нас с ней еще лежал впереди огромный путь. Если бы мы тогда знали длину этого пути, мы, быть может, свернули бы в сторону — в реку, в трясину, в смерть.

Хорошо, что человек не знает своего будущего,— от такого знания никому бы не поздоровилось.

Через несколько дней А. А. провожала меня на вокзал с похорон Ани. Опять переполненные залы, одичалые люди на мешках, развороошенный человеческий муравейник — последствие раскулачиванья. «Теперь только так и будет»,— сказала А. А. Какую-то часть предстоящего нам пути она все-таки видела, а я предпочитала жить текущей минутой — передача, похороны, вернувшаяся посылка, борьба с голодом, эвакуация, опять голод — много всякой горькой беды и заботы, и все время возня со стихами — отнести в один дом, перенести в другой — и все время наизусть: столько-то строчек в этом, столько-то в том, я здесь, видимо, спутала, надо проверить; а потом прописка — пропишет меня здесь милиция или нет, куда же мне ехать со своим стихотворным богатством? Главное — все помнить наизусть, не то двинут в лагерь, с чем я там останусь, если забуду стихи?

Если оглянуться назад, кружится голова — как мы могли это вынести? Но ведь вынесли, выдержали, вытерпели... «Кто думал, что мы до этого доживем?» — не уставала повторять А. А.

Сейчас ее нет, и я спрашиваю себя: а мне-то до чего еще придется дожить? Уж не все ли лучшее, что было отпущено на нашу долю, теперь уже позади? Кто его знает... Но свои обязательства я выполнила, а все остальное мне безразлично. Впрочем, не все. Для себя я готова на все, но я не могу больше смотреть, как терзают других людей, я не хочу больше слышать про тюрьмы, лагеря, допросы, суды и прочие беды. Я твердо помню слова Герцена, что в России всегда считалось преступлением то, что нигде в мире преступлением не считается.

Мы живем сейчас в новом мире, где люди, проснувшись — мы были «рано проснувшимися», а может, и не засыпавшими,— начинают думать и жить нашими мыслями, и нашими горестями, и нашими радостями. Но главное — нашими ценностями. А. А. когда-то сказала: «Ваши дети за меня вас будут проклинать...» Она ошиблась только в одном. К нам пришли не дети наших современников, а внуки. Мы с ней говорили о том, что в нормальных условиях, то есть в тех, которые мы себе могли представить не в настоящем двадцатом веке, а в самом его начале, старость оказалась бы совсем другой. Вокруг нас кипели бы литературные страсти, молодые люди собирались в кружки, общества, цеха, они выпускали бы манифесты и совсем не замечали давно канонизированных и всеми признанных поэтов: кому нужны они, когда всего дороже сегодняшний день? И она, обиженная и благополучная, негодовала бы на эти новые школы и не знала бы, куда себя девать.

Жизнь сложилась иначе. Освободительная сила поэзии ощущается не только нами, но и нашими внуками. Тысячи

людей на ее похоронах не случайность. Списки стихов Мандельштама, распространяющиеся по всей стране и формирующие сознание новой, только нарождающейся культурной прослойки — новой интеллигенции внуков, тоже не случайность. Очевидно, мы не напрасно жили. И наше счастье, что, дожив, мы смогли заглянуть в будущее. Происшедшие у нас процессы необратимы. Эпоха сверхчеловека кончилась. Эпоха воли к власти кончена, исчерпалась. Произошел какой-то качественный сдвиг сознания, и мы его видели. Это не значит, что новое отменит старые привычки — внукам еще много придется заплатить за право на свободу мысли, за все, что им придется заново отвоевывать у жизни. Но главное совершилось, и не зря мы жили.

Что еще вспомнить про мою подругу? Как она вдруг сосредоточенно посмотрит на меня и вдруг скажет что-нибудь, и я раскрою от удивления глаза: она поймала мою мысль и ответила на нее. Или как я говорю: «Ануш, там идут к нам», а она спросит: «Что, уже пора хорошеть?» И тут же — по заказу — хорошеет. Или как она прочла в каких-то зарубежных мемуарах — женских, конечно,— что она была некрасивой — писала, очевидно, одноклеточная женщина — и Гумилев ее не любил. «Надя, объясните мне, почему я должна быть красивой? А Вальтер Скотт был красивым? Или Достоевский? Кому это в голову придет спрашивать?» Я уже думала, что обойдется и она забудет про эти мемуары, но не тут-то было. С этого дня началось собирание фотографий. Все знакомые несли ей фотографии: помните, Анна Андреевна, мы у вас вот эту выпросили... Нужна она?.. Анна Андреевна собирала фотографии, там, где она красивая, разумеется, и выклеивала их в альбом. Их собралось столько, что и счесть нельзя: груды, груды, груды... А записать стихи не успела — времени не хватило. Масса стихов осталась незаписанная. И еще могу вспомнить, как она боялась, что после ее смерти вокруг ее наследства начнется драка. Ей противно было думать, что эти бедные тетрадки станут предметом купли-продажи. Она показала мне надписи, сделанные ее рукой,— куда и в какой архив сдать папки и тетради? Я боялась архивов: случалось ведь, что там уничтожали рукописи по спискам — бумаги такого, такого и этого — уничтожить... Книги-то ведь жгли. Но Анна Андреевна твердо решилась сдать в архивы: Лева живет один, в коммунальной квартире — это не годится. Надо все отдать в архивы. Я не возражала... До конца жизни она оставалась бездомной, бесприютной, одинокой бродягой. Видно, такова судьба поэтов. И она не переставала удивляться своей судьбе: «У всех есть хоть что-то — муж, дети, работа, хоть кто-нибудь, хоть что-нибудь... Почему у меня ничего нет?..»

А все-таки мы устояли и сделали все, что могли. Спасибо и за это, что хватило сил и стойкости. Мы вспомним незаписанные стихи, мы соберем их, мы их не забудем.

Д. Н. Журавлев

АННА АХМАТОВА

...Чем ближе я узнавал Ахматову, тем более значительным событием становились для меня каждая встреча и беседа с ней: дар высокой поэзии, огромные знания, абсолютно свободное общение с мировой литературой — она читала в подлинниках Данте и Шекспира, страстность и пытливость исследователя...

Мы говорили, главным образом, о поэзии: о Пушкине, Блоке, Лермонтове, Маяковском... Но чаще всего темой наших разговоров был Пушкин. Его жизнь, творчество были предметами глубочайшего интереса и исследований Анны Андреевны.

Меня поразило чувство неприязни, с каким Анна Андреевна относилась к Наталье Николаевне Гончаровой и ее сестрам! Для нее тенденция облагораживания образа Натальи Николаевны, появившаяся в последние годы, была неприемлема. Она так страстно восставала против нее, что порой мне казалось, что ею владеет просто чувство женской ревности.

Анна Андреевна охотно рассказывала о своих работах о Пушкине, например, о разборе «Каменного гостя». Это был совсем новый взгляд на Дон Жуана, опровергающий его канонический образ. Ахматова утверждала, что в «Каменном госте» есть нечто автобиографическое: Дон Гуан — поэт, а Дона Анна — его первая настоящая любовь. Для нее подтверждением служил тот факт, что Пушкин при жизни не опубликовал это сочинение.

Очень огорчало меня холодное отношение Анны Андреевны к творчеству Чехова. Однажды, помню, я даже спросил у нее: «За что вы не любите Чехова?» — «Вы давно не видели Бориса Пастернака?» — вместо ответа спросила она, не пожелав даже продолжить тему.

Я уже говорил, что в 1937 году приготовил новую программу: «Кармен» Мериме в переводе одного из лучших переводчиков — поэта Михаила Леонидовича Лозинского, к которому я относился с любовью и огромным уважением.

Анну Андреевну связывали с Лозинским дружеские отношения. Она высоко ценила его переводы, называя Михаила Леонидовича — «наш Василий Андреевич Жуковский»...

Однажды Анна Андреевна и я были приглашены к Лозинским. Я просил разрешения зайти за ней. Весь длинный

путь от Фонтанного Дома до конца Каменноостровского проспекта, где жили Лозинские, мы прошли пешком. И я не заметил расстояния. Встретивший нас Михаил Леонидович сказал: «Дмитрий Николаевич! Поздравляю вас. У вас сегодня счастливый день: вы с Анной Ахматовой шли по улицам ее любимого города».

Для меня в строгом облике Ахматовой всегда было нечто от классической красоты Ленинграда.

В эпилоге «Поэмы без героя», который я читаю, есть такие строки, обращенные к Ленинграду:

Разлучение наше мнимо:
Я с тобою неразлучима,
Тень моя на стенах твоих,
Отраженье мое в каналах,
Звук шагов в Эрмитажных залах,
Где со мною мой друг бродил,
И на старом Волковом Поле,
Где могу я рыдать на воле
Над безмолвием братских могил.

Я бывал не только в Фонтанном Доме, но и в двух последних квартирах, где жила Ахматова. А иногда она сама заходила в гостиницу, где я останавливался, уютно устраивалась на диване, и мы часами говорили, как всегда, о литературе, о музыке... Как-то зашел разговор о Моцарте. «Почему говорят, что Моцарт умер так рано? — сказала Анна Андреевна.— Но ведь он начал выступать чуть не с трех лет, а писать музыку — с пяти, значит, он прожил большую жизнь!»

Я читал ей мои программы: пушкинскую лирику, «Пиковую даму», «Шинель» Гоголя. Позже я узнал от одного из ее друзей, как она отозвалась об этой моей работе: «Прослушав Журавлева, я поняла всю многослойность повести «Шинель».

Однажды Анна Андреевна рассказала о том *особом самочувствии,* какое предшествует у нее рождению стихов. Неясный еще для самой себя внутренний шум, внутренняя музыка и ритм возникают сначала невнятно, в каком-то звучании-мычании, выливаясь потом в поэтический образ.

Бывает так: какая-то истома;
В ушах не умолкает бой часов;
Вдали раскат стихающего грома.
Неузнанных и пленных голосов
Мне чудятся и жалобы и стоны,
Сужается какой-то тайный круг,
Но в этой бездне шепотов и звонов
Встает один, все победивший звук.
Так вкруг него непоправимо тихо,
Что слышно, как в лесу растет трава,
Как по земле идет с котомкой лихо...
Но вот уже послышались слова

И легких рифм сигнальные звоночки,—
Тогда я начинаю понимать,
И просто продиктованные строчки
Ложатся в белоснежную тетрадь.

Это похоже на пушкинское:

И забываю мир, и в сладкой тишине
Я сладко усыплен моим воображеньем...

И на блоковское:

Жду, чтоб спугнул мою скуку смертельную
Легкий, доселе неслышанный звон...

Иногда Анна Андреевна читала свои стихи — давние или только что написанные, неспешно, чуть торжественно, низким голосом:

Одни глядятся в ласковые взоры,
Другие пьют до солнечных лучей,
А я всю ночь веду переговоры
С неукротимой совестью своей...

В один из вечеров в Фонтанном Доме у Анны Андреевны встретились известная ленинградская балерина Татьяна Вечеслова, ее подруга, и я.

Мы весело ужинали. Все как-то «разнежились», и Анна Андреевна вдруг сказала, что ей хочется подарить мне экземпляр «Поэмы без героя», написанный ее собственной рукой. Я пришел в неописуемый восторг и с благодарностью принял драгоценный подарок. Проснувшись утром, «по размышлении зрелом» решил, что такой подарок мною не заслужен, тем более что это был авторский экземпляр, и тут же позвонил Анне Андреевне, попросил разрешения зайти. Я вернул ей поэму, сказав, что такая драгоценность должна оставаться в руках автора. В своей обычной спокойной манере Анна Андреевна сказала: «Пожалуй, вы правы. Положите ее на стол». Вместо этого она подарила мне свою фотографию с надписью:

«Дм. Журавлеву

На память о встречах в Ленинграде.

Анна Ахматова
6 февраля 1945. Фонтанный Дом».

Приезжая в Москву, Анна Андреевна подолгу жила на Большой Ордынке в квартире писателя Виктора Ефимовича Ардова и его жены Нины Антоновны Ольшевской, бывшей в те годы режиссером театра Советской Армии. Наши встречи продолжались там.

В доме Ардовых было многолюдно, весело. Обилие дру-

зей — артистов театров и эстрады, шум и гам, как ни странно, казалось, абсолютно устраивали Анну Андреевну. Видно было, что здесь ей уютно, что здесь она хорошо себя чувствует. Я ощущал это, когда приходил к Ардовым, с которыми давно был дружен.

Анна Андреевна жила в маленькой уютной комнате старшего сына Нины Антоновны — ныне известного артиста Алексея Баталова. В ней работала и принимала людей, приходивших к ней по делу.

Бывал в этой комнате иногда и я. Читал что-то из своих работ. Всегда просил почитать Анну Андреевну.

Помолчав, словно входя в какой-то одной ей ведомый мир, она строго, торжественно, очень низким голосом медленно читала:

И, как всегда бывает в дни разрыва,
К нам постучался призрак первых дней,
И ворвалась серебряная ива
Седым великолепием ветвей.

Нам, исступленным, горьким и надменным,
Не смеющим глаза поднять с земли,
Запела птица голосом блаженным
О том, как мы друг друга берегли.

А было и так. Как-то Анна Андреевна пригласила меня с дочкой к Ардовым. За вечерним чаем веселились, шумели. Мы с Виктором Ефимовичем, перебивая друг друга, рассказывали всякие забавные истории. Каждому хотелось блеснуть. Кругом хохотали. Окрыленные успехом, мы забыли о времени. Опомнившись, я сообразил, что уже поздний час, надо уходить. А где же стихи Ахматовой, ее прекрасное чтение?! Я страшно огорчился. Анна Андреевна, вышедшая проводить нас в переднюю, заметила это, а я растерянно сказал: «Анна Андреевна! Вечер прошел, а ничего не состоялось... Что же это?» «Пойдемте»,— сказала она и, улыбнувшись, повела меня в свою комнату. Прочла несколько своих последних переводов японских стихотворений. «Ну, теперь состоялось?» — ласково спросила она.

Бывала Ахматова и у нас в маленькой квартире на улице Вахтангова, где «комнатой для приемов» была кухня (довольно большая), а в ней «красный угол» — наиболее удобное место между столом и буфетом, куда мы усаживали самых дорогих, почетных гостей. Кого-кого только не видел этот «красный угол»!.. Если же собиралась вся наша семья, а число гостей превышало 5—6 человек, то вдоль стола ставились две табуретки, на них клалась доска, и гости усаживались на ней в ряд.

Однажды к нам пришли Анна Андреевна с Ардовыми. Кроме них, мы никого не ждали.

Внезапно позвонили в дверь: сверху спустилась наша соседка по дому — дочь Антокольского Наташа со своим другом, поэтом Борисом Слуцким. И уж совсем неожиданно появились Нина Дорлиак и Святослав Рихтер. Очень обрадовавшись пришедшим друзьям, мы кое-как разместились. В середине общего разговора Рихтер робко спросил: «Анна Андреевна, а нельзя вас попросить?..» — «Что? Прочесть стихи? Пожалуйста...» И в своей неповторимой манере, спокойно, низким голосом начала:

Я не любила с давних дней,
Чтобы меня жалели,
А с каплей жалости твоей
Иду, как с солнцем в теле.
Вот отчего вокруг заря.
Иду я, чудеса творя,
Вот отчего!

И это:

В ту ночь мы сошли друг от друга с ума,
Светила нам только зловещая тьма,
Свое бормотали арыки,
И Азией пахли гвоздики.

Она читала много, охотно. Такие вечера редко повторяются.

Встречались мы с Анной Андреевной и у Пастернака в Лаврушинском переулке или на даче в Переделкине.

Анна Андреевна, особенно по контрасту с Борисом Леонидовичем, всегда оживленным, «распахнутым», выделялась своим спокойствием. Не очень активно принимая участие в общих разговорах, она больше слушала и смотрела. Вспоминаю ее в такие вечера: красивое строгое лицо, особенно стройная, прямая спина, покойно сложенные руки...

Одна из последних наших встреч с Ахматовой состоялась в Ленинграде вскоре после возвращения Анны Андреевны в 1964 году из Италии, куда она ездила для получения присужденной ей международной премии.

Нас провели в ее комнату в новой квартире. Вслед за нами вошла и Анна Андреевна. До этого мы довольно долго не встречались. Поразила перемена, происшедшая с ней. Она очень пополнела. Ее прекрасное лицо изменилось. Такой особенный «ахматовский» нос с горбинкою почти тонул в лице. Давно исчезла знаменитая челка. Седые волосы были заколоты небрежным пучком.

В первый момент мы с Валентиной Павловной даже несколько растерялись. Анна Андреевна предложила нам сесть и сама опустилась в кресло. Потом, мельком взглянув в зеркало, что-то как бы «поправила» в своем лице, и вдруг перед нами оказалась прежняя Ахматова!

Она начала рассказывать о своей поездке в Италию, о старинном замке, где должна была состояться церемония вручения премии.

Здесь я позволю себе небольшое отступление. Не так давно прочел я в сборнике «Встречи с прошлым»* в статье Е. И. Лямкиной «Вдохновение, мастерство, труд» (записные книжки Ахматовой) об отношении Ахматовой к мемуарам. В одной из записных книжек Анна Андреевна пишет:

«...Что же касается мемуаров вообще, я предупреждаю читателя, 20 % мемуаров так или иначе фальшивки. Самовольное введение прямой речи следует признать деянием, уголовно наказуемым, потому что оно из мемуаров с легкостью перекочевывает в почтенные литературоведческие работы и биографии. Человеческая память устроена так, что она как прожектор освещает отдельные моменты, оставляя вокруг неодолимый мрак. При великолепной памяти можно и должно что-то забывать».

Боюсь, что я то и дело попадаю в число «уголовно наказуемых», потому что все время пытаюсь передать прямую речь Ахматовой. Но как бы то ни было, я помню хорошо, что Анна Андреевна рассказывала, как, увидев рыцарские ступени замка, куда ее вели, она вспомнила о предупреждении врачей: лестницы опасны для ее сердца. Но делать было нечего. «Что же? — подумала я.— По крайней мере, я умру на земле Данте! И, представьте себе, я даже не очень задохнулась...».

Войдя в зал для церемоний и заняв предназначенное ей место, она обратила внимание на мраморный бюст Данте, стоявший поблизости. «Мне показалось, что на его лице было написано хмурое недоумение — что тут происходит? Ну, я понимаю — Сафо, а то какая-то неизвестная дама...»

Ей вручили конверт и большую фигуру в рыцарском одеянии, что-то вроде великолепно оформленной куклы-игрушки. (Она показала нам эту красивую куклу.) Она отложила конверт в сторону и занялась разглядыванием оригинального подарка. Кто-то из членов юбилейного комитета, наклонившись, сказал: «Синьора! В этом конверте ваша премия!».

В последние годы Анна Андреевна часто похварывала, и, к великому огорчению, свидания наши становились все реже.

Как-то мы узнали от Нины Антоновны, что они вместе собираются ехать в Домодедово в кардиологический санаторий. И вдруг через несколько дней телефонный звонок: голос Анны Андреевны — веселый, бодрый. Она звонила уже из санатория. Была очень довольна условиями жизни, радовалась тому, что она вместе с Ниной, приглашала приехать навестить их.

А через несколько дней Анны Андреевны не стало...

---

* Встречи с прошлым. Вып. 3-й. М., «Советская Россия», 1978, с. 411.

В. Г. Адмони

ЗНАКОМСТВО И ДРУЖБА

1

Познакомились мы в самом конце 30-х годов. Много раз пытались установить дату знакомства точнее. Но это не удавалось. Зато мы знали точно, где познакомились: в Пушкинском Доме. Очевидно, на заседании Блоковской комиссии.

Знакомство это было странное. Полузнакомство. Ахматова меня к себе не звала, к нам не приходила, с моей женой, Тамарой Исааковной Сильман, знакомиться не хотела. Это было знакомство прогулок. И началось оно с того, что я пошел провожать Ахматову домой в тот день, когда нас в Пушкинском Доме познакомили. А затем, совсем изредка, Ахматова звонила мне, мы договаривались о встрече — и подолгу ходили по городу.

Я знал тогда, что Ахматова часто болеет. Но даже не догадывался, какой больной и слабой она в то время была. Теперь я понимаю, что звонила мне Ахматова в те нечастые дни, когда она чувствовала себя лучше и в ней просыпался неутомимый ходок, каким она была, по ее собственным словам, прежде.

Говорили мы о самом разном. В первые встречи Ахматова была молчаливой. Затем стала словоохотливой. И наконец начала читать стихи из того нового лирического потока, который обогатил Ахматову на рубеже 40-х годов. Вплоть до отрывков из «Поэмы без героя». Впрочем, этот заголовок поэмы в наших беседах Ахматова ни разу не упомянула. И поэма называлась просто «Поэма».

Когда мы встретились в первый раз, я передал Ахматовой стихотворение, посвященное ей. Сложилось оно у меня еще раньше, до нашего знакомства. И было навеяно, как я теперь понимаю, незадолго до того написанным стихотворением Ахматовой Пастернаку. Позднее оказалось, что листок с этим стихотворением нашел приют в папке (или в коробочке — я не помню точно, но, может быть, одно время это было коробочкой, а затем стало папкой) под названием «В ста зеркалах». Туда складывались стихи, посвященные Ахматовой. В середине 40-х годов этой папки (или коробочки) не стало. Но в 1955 г. Ахматова снова попросила меня записать это стихотворение, и оно вновь очутилось в «Ста зеркалах». Приведу мои строки конца 30-х годов:

За то, что мучительных лет вереница
Нанизана Вами на строгую нить,
За то, что Вы с Дантом решились сравниться
И, смерти отведав, умеете жить,

За то, что шумят липы пушкинских парков
В поэзии русской и в наши года —
За царскую щедрость крылатых подарков
Труд нежный Ваш благословен навсегда.

2

Пришла война. После первой ленинградской блокадной зимы меня эвакуировали в Пятигорск. Туда ко мне приехала Тамара. В сентябре мы оказались в Ташкенте, и едва только нашли там пристанище, ко мне явился гонец от Ахматовой. Она настоятельно просила меня навестить ее. А когда я пришел, прочитала мне законченную (но потом еще множество раз переделывавшуюся) «Поэму без героя». И сказала: «Теперь приведите ко мне Тамару».

И все изменилось. Мы стали нередко бывать у Ахматовой, а она подчас заглядывала к нам, в наше своеобразное жилище в общежитии Академии наук в Ташкенте. Полузнакомство стало знакомством, затем превратилось в дружбу. Она продолжалась до смерти Ахматовой. С перерывом на тот год, который мы провели в Москве, раньше Ахматовой уехав из Ташкента.

Я никогда ничего не записывал о наших встречах. А их было много. И они сливаются теперь в моей памяти. И так же неотчетливы, лишь приблизительны слова Ахматовой, которые запомнились мне на этих встречах. Я легко могу оказаться неточным. Но еще начиная с наших первых прогулок, а затем во время наших бесчисленных встреч во мне стал постепенно, все полнее и полнее, все точнее и точнее вырисовываться внутренний, душевный облик Ахматовой, и вот о нем-то я и хочу здесь рассказать. А потом добавить воспоминания о нескольких эпизодах, которые явственнее других сохранились в моей памяти — наверное, не случайно, потому что очертания душевного строя Ахматовой, каких-то важных сторон этого строя сказались в них с полной очевидностью.

Разумеется, я буду субъективен. Может быть, не прав. Но у меня самого сомнений нет. Для меня Ахматова именно такова.

Есть широко распространенное, общепризнанное и совершенно верное представление о том, каким был внешний облик Ахматовой. Невозмутимость, величественность, царственность — вот какие слова обычно звучат, когда говорят о том, какой была Ахматова. И такие же слова звучали при ее жизни. Вспоминаю, как Наум Яковлевич Берковский[1], с прису-

щей ему красочностью и выразительностью, в 1958 году писал нам летом: «По Комарову ходит Анна Андреевна, imperatrix, с развевающимися коронационными сединами и, появляясь на дорожках, превращает Комарово в Царское Село». Да, все это верно. Так это и было. Но было не только это. Душевный облик Ахматовой был совсем другой, чем этот общеизвестный внешний. Более того, по-настоящему оценить этот внешний облик, воздать ему должное можно, лишь заглянув за внешние черты, всмотревшись глубже. А непосредственно скрывалось за внешним обликом вот что.

Как у многих женщин, но несравненно сильнее и неотступнее, в душе Ахматовой жила стихия боязней, испугов и страхов, постоянное ожидание беды — ожидание, обостренное до предела. «Со мной только так и бывает»,— говорила Ахматова, когда с ней случалось что-нибудь плохое. Говорила, впрочем, совершенно спокойно, невозмутимо. Притупились боязни, испуги, страхи лишь в последние годы жизни Ахматовой.

Но вот что самое главное: эти боязни, испуги, страхи были лишь вторым, но не последним, не окончательным слоем облика и душевного строя Ахматовой. За ним таился еще третий, глубинный слой, самый главный и самый значительный. Этим внутренним слоем была твердость, мужественная твердость и гордость. И сила, не исключавшая, правда, и гибкости.

Чрезвычайно важно еще, что все три слоя душевной жизни Ахматовой были связаны в прочную цельность. При всей своей сложности, душевный строй Ахматовой был единым. И определяющим началом в этом единстве, в этой цельности была сокровенная твердость. Она всегда держала в повиновении, как бы никогда не выпускала из рук все боязни, испуги, страхи. Это-то и позволяло ее внешнему облику быть таким невозмутимым, величественным, каким он был, и делало этот облик подлинным выражением душевной сути Ахматовой. В двух из тех эпизодов, о которых я далее расскажу, твердость Ахматовой проявится в полной мере.

А наружу проступали боязни, страхи, испуги Ахматовой лишь совсем изредка и в мелочах. Порой даже трогательно. Так, Ахматова боялась (даже очень боялась) переходить улицу, по которой сновало много транспорта. Знаки светофора и приглашения милиционера, регулировавшего движение, ее не убеждали. Не доверяла и уговорам спутников. Надо было взять ее под руку и уверенно повести. Чем увереннее это делалось, тем успешнее. Любопытно, что, пройдя так несколько шагов, Ахматова совершенно успокаивалась и даже могла продолжить начатую беседу.

3

Цельности многослойной душевной природы Ахматовой соответствовала и цельность в развитии ее духовного мира. Это развитие было необычайно органическим и было отмечено чрезвычайной устойчивостью. Ничего застывшего в Ахматовой не было. Она была крайне отзывчивой на все, что происходило в стране и мире. Поэзия Ахматовой была открыта всему колоссальному историческому опыту XX века. И в жизни, и в творчестве Ахматовой отчетливо вырисовывается несколько этапов. Но крайне существенно, что на переходе от одного этапа к другому прежний этап, прошлый период внутренней жизни Ахматовой не угасал в ней, а продолжал жить. Особенно прочными, особенно устойчивыми из периодов жизни Ахматовой были те, которые оказались самыми важными, решающими в годы ее молодости.

Это, прежде всего, зима 1913/1914 года, зима, которая принесла Ахматовой славу. Затем конец 10-х и начало 20-х годов — период, когда было создано столько новых ахматовских стихов, а жизнь Ахматовой была ознаменована тяжкими переломными событиями, когда умер Блок и был расстрелян Гумилев. И когда жизнь Ахматовой стала до крайности горестной, в годы брака с В. К. Шилейко. Оценки людей и явлений искусства, которые сложились у Ахматовой в те годы, почти никогда не изменялись в последующие десятилетия. Пересматривала эти свои оценки она лишь изредка и неохотно. И память об этих, по сути дела, сформировавших ее периодах она хранила неотступно. Особенно тема «последней зимы перед войной», тема кануна первой мировой войны, никогда не покидала Ахматову.

Свое самое главное, самое сверкающее воплощение эта тема нашла в «Поэме без героя». Именно величайшая органичность этой темы для Ахматовой делает понятной и ту легкость, с которой Ахматова писала поэму (эту легкость Ахматова иногда называла колдовской), и владевшее Ахматовой ощущение, что поэма сама пришла к ней и как бы сама себя пишет, и постоянные возвращения к поэме, дополнения и вычеркивания, вообще переделки в течение свыше двадцати лет, с 1940 г. до начала шестидесятых годов. Как говорила Ахматова, поэма все это время не оставляла ее, заставляла все снова и снова к себе обращаться, хотя Ахматова не раз зарекалась и торжественно провозглашала, что больше к поэме никогда не притронется.

Живут в поэме и люди предвоенной эпохи, и ее атмосфера, вообще все то, что Ахматова так остро запомнила в канун первой глобальной катастрофы XX века. И кажется закономерным, что решающий толчок для создания поэмы Ахматова получила в канун нового эпохального и трагического

события XX века, Великой Отечественной войны, в дни, когда вторая мировая война уже началась.

Сложная и неблагодарная задача подыскивать для каждого персонажа поэмы его конкретный прототип. Тем более что от варианта к варианту приметы многих персонажей меняются. И у них, несомненно, есть и общее, типическое значение. Но все же решусь утверждать, что в некоторых из этих персонажей, притом в самых главных из них, есть черты конкретные и устойчивые, притом те черты, которые восприняла Ахматова еще в дни, изображенные в поэме. Потому что характеристика этих людей в поэме полностью соответствует тому, как их очертила Ахматова в наших беседах первых лет знакомства и как рисовала их в беседах более поздних лет.

Особенно примечателен образ героини поэмы — Ольги Афанасьевны Глебовой-Судейкиной. Героини, потому что в «Поэме без героя» героя действительно нет, но героиня есть, вернее, даже две героини. Одна героиня сюжетная — актриса Глебова-Судейкина (в вводной ремарке ко второй главе сказано прямо: «Спальня Героини»). Другая, подлинно смысловая или, проще говоря, вообще подлинная героиня поэмы — изображенная в поэме эпоха.

Глебова-Судейкина, Оля, как называла ее Ахматова, показана в поэме, во всех ее вариантах, лишь слегка видоизменяясь, именно такой, какой она ожила чуть ли не во время нашей первой довоенной прогулки. Мы шли по Фонтанке, и, когда поравнялись с каким-то домом (не помню каким), Ахматова сказала: «А вот здесь мы жили с Олей», назвала год или годы, когда они здесь жили (даты я тоже не запомнил). И была поражена, что я не понимаю, о какой Оле идет речь, а затем еще более удивилась, узнав, что я вообще никогда не слыхал о Глебовой-Судейкиной. Она стала мне о ней рассказывать, и меня поразило сочетание восхищения и глубокой сопричастности с какой-то затаенной отчужденностью и горечью, которых сама Ахматова, наверное, даже не замечала. В «Поэме без героя» такая двойственность отношения Ахматовой к Глебовой-Судейкиной присутствует явственно. А в какой-то мере эта двойственность воспроизводит ту двойственность, которой окрашена оценка всей изображенной в поэме эпохи. В этом смысле обе героини поэмы даны в одном ракурсе, хотя акценты при показе каждой из них расставлены иные.

...Пронизывающее поэму смешение чего-то очень страшного, рокового, граничащего с дьявольским, и чего-то очень блистательного, завлекающего, значительного можно найти в нашей литературе середины века, хотя и в совсем другом преломлении, в «Мастере и Маргарите» Михаила Булгакова. И может быть, не случайно, что Ахматова прочитала этот

роман, как она сама нам как-то сказала (впрочем, по другому поводу), незадолго до обращения к поэме.

...И столь же двойственным и в поэме, и во всем строе мыслей Ахматовой было отношение к эпохе, о которой повествуется в стихах «Поэмы без героя». Здесь дано и несомненное ее осуждение. Недаром она врывается к Ахматовой сорокового года как бесовский маскарад. Недаром приговор ему уже вынесен историей, приближением «настоящего, не календарного двадцатого века». Недаром в поэме так силен мотив метели — мотив, который, впервые прозвучав в «Двенадцати» Блока, затем стал лейтмотивом революции в таких различных произведениях советской литературы, как «Голый год» Пильняка и пастернаковское «Мело, мело по всей земле». Но эпоха, как и вторая героиня поэмы, Оля Судейкина, не только осуждена и не только греховна. Она еще пленительна и влекуща. Ее очарование и утонченность пронизывают поэму — и без этой двойственности «Поэма без героя» не была бы тем, что она есть. В ней отсутствовала бы чарующая, колеблющаяся двуплановость, придающая ей особую глубину, емкость, неисчерпаемость. Столь модное теперь в литературоведении (и вообще в науке) слово «амбивалентность» именно здесь можно применить без всякой натяжки.

Я пишу здесь подробно о поэме, хотя этими или иными словами подобные мысли уже были высказаны теми, кто исследовал ее, потому что сходная двойственность проступала и в тех — редких и скупых — замечаниях Ахматовой, касавшихся предвоенной эпохи. Ахматова была очень сдержанна в этих замечаниях. Но все же тональность восхищения, пожалуй, преобладала здесь над тональностью осуждения.

4

Крайняя стойкость самых различных впечатлений, самых различных приятий и неприятий Ахматовой демонстрируется ее отношением к Льву Толстому. Это отношение было подчеркнуто неприязненным. Она говорила о нем настолько нелестно, что я был ошеломлен, когда она упомянула имя Толстого впервые. Особенно возмущалась Ахматова «Анной Карениной». Вернее, тем пристрастно-враждебным отношением Толстого к Анне Карениной, которое Ахматова находила в романе и которое казалось ей жестоким и несправедливым. В этом неоднократно высказывавшемся мнении Ахматовой ощущалось, однако, совсем не историко-литературное или общеэтическое осуждение, а что-то глубоко личное. Лишь постепенно я стал понимать, что для Ахматовой Лев Толстой — это не прошлое, не историческая даль. Для нее он был современником и современностью, потому что в своей молодости она существовала в мире с тем же, хотя и несколько сдвинув-

шимся укладом жизни, который был изображен в романе о Карениной, приблизительно в тех же, хотя опять-таки не совсем тождественных, формах бытия. И юная Ахматова, гордая и непреклонная, увидела в романе Толстого покушение на свое достоинство, на свою свободу. Тем более что героиня романа носит имя самой Ахматовой — то имя Анна, которое Ахматова любила и чтила. И восприятие Толстого, сложившееся в годы молодости Ахматовой, она сохраняла всю жизнь.

5

Необычайно устойчивым было отношение Ахматовой к поэзии, к стихотворению. Во всех наших бесчисленных разговорах о стихах, при оценке услышанного стихотворения, всегда, среди прочих замечаний, возникала оценка двух его сторон.

Первую из них можно было бы назвать тематической, потому что сама Ахматова нередко, но не постоянно, употребляла, касаясь этой стороны стихотворения, слово «тема». Точнее, может быть, здесь было бы слово «постижение» — слово, которое использовала в наших общих беседах и потом сформулировала в своей книге «Заметки о лирике» Тамара. И Ахматова порой тоже употребляла это слово, но оно все же не было ее словом, в отличие от слова «тема». Иногда, с прямым вызовом, Ахматова употребляла, впрочем, вместо слова «тема» даже слово «содержание» — слово, отвергнутое новейшей во времена Ахматовой поэтикой, как слишком внешнее и грубо противопоставлявшее смысл стихотворения и его форму. Но Ахматова считала исключительно важным, чтобы стихотворение что-то о чем-то говорило, чтобы оно открывало что-то читателю, притом открывало правильно, касаясь сути того, о чем в стихотворении было сказано. Это относилось в полной мере и к пейзажным стихам.

Я запомнил это особенно хорошо потому, что почти каждое мое стихотворение, которое я читал ей, она оценивала, в частности, «правильное» это стихотворение или нет. И если ей казалось, что оно «правильное», верно говорившее о чем-то читателю, она была удовлетворена. Сначала она объясняла такой свой подход теми соображениями, о которых я уже сказал. Затем перестала это делать и просто говорила, верно ли то, что сказано в стихотворении.

А второе соображение, постоянно принимаемое Ахматовой в расчет при формулировке своего отношения к стихотворению, это мера его лаконичности. Чем сжатее, короче было стихотворение, тем больше ценила его Ахматова и не раз говорила, что сама всячески стремится, хотя и тщетно, к сконцентрированности. На наши восклицания, что она всегда была великим мастером краткого стихотворения, Ахматова

отвечала, что прежде ее поэзия была действительно такой, но что теперь (это «теперь» прозвучало в первый раз в конце сороковых годов) такая лаконичность порой не дается ей и что порой в таких случаях она предпочитает оставить стихотворение фрагментом.

Конечно, говорилось не только о теме и краткости стихотворения. Более того, говорилось об этом лишь тогда, когда — молчаливо или явно — стихотворение считалось состоявшимся, когда оно звучало как подлинная поэзия. Но это не разбиралось, как не разбираются в самом факте чуда, если ему поверили, Ахматова разбиралась, скорее, в том, не злоупотребил ли поэт этим чудом и был ли он достаточно строг к себе.

Впрочем, в отношении к моим стихам у Ахматовой были сначала значительные сомнения. Они ей нравились, но ей казалось, что что-то в них не в порядке. «Так никто не пишет»,— говорила она мне, «таких стихов не бывает», «вы пишете словно наперерез». Смущали Ахматову присущие моим стихам с самого начала черты дисгармоничности и утяжеленности, хотя они, как мне казалось и кажется, «снимались» в общем движении стихотворения. Как мне представляется теперь, дисгармоничность и утяжеленность были присущи моим стихам, как их эпохальная примета, хотя я сам этого первоначально не понимал и теоретически не обосновывал. Были присущи из-за того, что у поэта, ставшего писать, когда «не календарный» XX век уже начался, чисто гармонической и кристально упорядоченной поэзии быть не может. Трагедийная суть эпохи делает это неосуществимым. Но если у многих «левых» (в эстетическом смысле) поэтов из такого ощущения возникало полное разрушение классических форм стиха, то у других поэтов, продолжающих классическую традицию, дисгармоничность вносится во внутренний строй гармонического стиха, придавая ему тот терпкий привкус, без которого он был бы невозможен. К таким поэтам принадлежал и я.

Однако и без всех этих соображений восприятие моих стихов Ахматовой вскоре изменилось. Это произошло в Ташкенте, осенью сорок второго года. Когда мы там встретились, Ахматова сразу же захотела заново прослушать и прочитать мои стихи. И когда прослушала и прочитала, сказала: «Пишите так, как вы пишете».

Любопытно, что много лет спустя, говоря с Марией Сергеевной Петровых о моих стихах, Ахматова, очевидно, забыла, как она их сначала воспринимала. Потому что в письме ко мне, приведенном в послесловии Д. С. Лихачева к моему сборнику стихов «Из долготы дней», Мария Сергеевна пишет: «Мне нужно было какое-то время, чтобы привыкнуть к Вашей (завидной!) свободе в отношении к рифме. А для Анны

Андреевны такого вопроса не существовало. Она целиком принимала Вашу поэтику».

Но мне первоначальное отношение Ахматовой к моим стихам всегда было памятно. И я не мог обойти его — затронув лишь намеком, введением слова «наперерез»,— когда писал в начале 60-х годов свое второе стихотворение Ахматовой. Вот эти стихи:

Это, верно, одно из чудес,
Что живым стало мне Ваше имя,
Что, отправившись наперерез,
Мы совпали путями своими.

И в отсеке тридцатых годов,
И над чуждыми маками юга,
И под сенью сосновых лесов —
Мы везде узнавали друг друга.

Верно, встретимся мы поутру
Даже самого главного лета.
А когда я и вправду умру,
Я и там не забуду про это.

Это стихотворение также нашло свое пристанище в папке (или коробке) под названием «В ста зеркалах».

6

Вопреки всей своей внутренней цельности и устойчивости, Ахматова, когда мы познакомились, весьма неодобрительно относилась к поэзии своих молодых лет, которая сделала ее знаменитой. Ахматовой казалось, что эта ее прежняя поэзия заслоняет поэзию новую, более значительную, более мощную. Ахматовой представлялось необычайно несправедливым, что она все еще слывет — и у нас, и за рубежом — автором преимущественно любовных и камерных стихов. Я постоянно спорил с Ахматовой и защищал от нее ее собственные стихи. Я отмечал не только внешние причины незнания ее поздних стихов — ведь тогда большинство из них еще было не опубликовано. Я говорил еще, что если бесспорно прекрасна ее новая поэзия, поэзия эпохального размаха и эпического звучания, то прекрасными были и остаются наполненные величайшей лирической сконцентрированностью и конкретностью стихи ее ранних сборников, от «Вечера» до «Подорожника» и «Anno Domini». Я напоминал, что ведь именно на основе стихов ее молодости Николай Владимирович Недоброво когда-то определил ее творчество как созданное непригнетенным, гордым, гуманистическим человеческим духом, предсказав ей дальнейший творческий путь. Все было напрасно. Ахматова со свойственной ей твердостью стояла на своем, была чуть ли не врагом своего собственного прошлого поэтического творчества. Лишь в 60-е годы, когда началась вторая,

теперь уже подлинно мировая слава Ахматовой, она смягчилась и стала справедливей к стихам своей молодости.

Итак, удивительная устойчивость духовного мира Ахматовой совсем не исключала и сдвигов — большего или меньшего масштаба. Обладая огромным поэтическим и историко-литературным кругозором, Ахматова с интересом относилась и к таким литературным явлениям, которые до того были ей менее знакомы. Так, она не раз сводила наш разговор на Жан-Поля Рихтера, очень примечательного немецкого писателя, которым я много занимался и которого она ранее не читала. Не помню, когда именно я дал ей опубликованный в 30-е годы перевод одного из главных созданий Жан-Поля — романа «Зибенкэз». Думаю, что это было в Ленинграде, в середине 40-х годов, потому что Ахматова однажды показала мне в очередном варианте «Поэмы без героя» новый эпиграф. (Эпиграфами поэма была богата с самого начала, и они нередко сменялись.) Это были слова, взятые из жан-полевского предисловия к роману: «...в такую эпоху, как наша, когда оркестр всемирной истории еще только настраивает инструменты для будущего концерта, а потому все они пока звучат вразброд, невероятно визжат и свистят...» «Как он точно написал и о своем, и о моем времени»,— сказала Ахматова, подразумевая эпоху, изображенную в поэме. Я ответил, что это похоже, скорее, на годы той войны, о скором наступлении которой повествует поэма,— войны 14-го года. Ахматова, соглашаясь, кивнула головой. Но потом этот эпиграф из поэмы исчез — может быть, потому, что он уж слишком прямо и обнаженно говорил об эпохальном смысле поэмы. Но уже то, что одно время он все же существовал, подтверждает всю важность для Ахматовой этого эпохального смысла.

Однако обрывок из нашей беседы о жан-полевском эпиграфе отнюдь не принадлежит к тем эпизодам из жизни Ахматовой, о которых я обещал рассказать. К ним я теперь и перехожу.

7

Май 1944 года. Ахматова возвращается из ташкентской эвакуации в Ленинград, а по дороге на несколько дней останавливается в Москве. Ей удается разыскать нас. Мы тоже собираемся в Ленинград, но еще не насовсем, а чтобы привести в порядок наши квартирные дела. Ахматова приглашает нас ехать вместе.

Поезд в Ленинград идет долго. Он отправляется днем, часа в четыре или в пять. Но мягкие вагоны с двухместными купе уже есть. Мы берем билеты — Ахматова с Тамарой едут в одном купе, я в соседнем. На вокзал и Ахматова, и мы приезжаем рано — минут за сорок до отъезда. Вносим вещи в вагон и стоим на перроне — в Москве теплый, почти

летний день. Ахматову провожает несколько человек. Среди них запомнились мне Фаина Раневская и одна благостная старушка. Прощаясь с Ахматовой, задолго до отхода поезда, старушка несколько раз обняла и перекрестила ее, даже прослезилась. Когда она ушла, Ахматова подошла к нам (мы стояли немного поодаль) и сказала: «Бедная! Она так жалеет меня! Так за меня боится! Она думает, что я такая слабенькая. Она и не подозревает, что я — танк!»

В поезде мы проговорили до глубокой ночи. Ведь мы не виделись больше полугода. Первое, что нам сказала Ахматова, было: «Я еду к мужу!»

О своем муже, известном ленинградском медике Владимире Георгиевиче Гаршине, Ахматова не раз говорила нам в Ташкенте. Волновалась, когда от него долго не было писем, радовалась, когда письма приходили. Затем снова начинала волноваться. И теперь, в поезде, во время беседы несколько раз повторила, радостно и гордо, что возвращается в Ленинград — к мужу.

Побеседовав о разных новостях, мы стали читать стихи. У Ахматовой за эти полгода накопилось много нового. Все, что нам прочитала в поезде Ахматова, потом было напечатано. Все, за исключением одного четверостишия, которого я не нашел ни в одной публикации. Может быть, Ахматова вообще не записала его или потеряла свою запись и забыла о нем. Не знаю, но хочу привести здесь это четверостишие, потому что оно, несмотря на свою простоту, кажется мне очень ахматовским и очень важным:

Отстояли нас наши мальчишки.
Кто в болоте лежит, кто в лесу.
А у нас есть лимитные книжки,
Черно-бурую носим лису.

Лимитные книжки, лимиты — так назывались в ту пору повышенные пайки, которые во время войны стали выдаваться ученым с высокими степенями и видным деятелям искусства. Получила «лимитную книжку» и Ахматова. И хотя это было лишь самой элементарной справедливостью, что Ахматову избавили от тяжкой военной нужды и лишений, сама Ахматова не могла спокойно пользоваться причитавшимися ей благами, потому что не могла забыть о тех, кто погиб и кто все еще погибает на войне. Она была полна сострадания, и обостренная совесть не оставляла ее в покое.

Отмечу попутно, хотя это уже не раз делалось в воспоминаниях об Ахматовой, ее величайшую непритязательность. Долгие годы она прожила в скудости, на которую никогда не жаловалась. Аскетом, принципиальным аскетом Ахматова, однако, совсем не была. Она была рада, когда могла предложить своим гостям чего-нибудь вкусного и рюмочку водки. Но была поистине независима от внешних условий существования.

В Ленинград поезд приходил часов в одиннадцать утра. Мы знали, что Ахматову будет встречать Гаршин. И действительно, когда мы вышли из вагона, на перроне стоял человек типично профессорского вида (я редко видал людей, о которых с такой определенностью можно было сказать, что это профессор в старом, как бы петербургском смысле этого слова). Он подошел к Ахматовой, поцеловал ей руку и сказал: «Аня, нам надо поговорить». Они стали, разговаривая, ходить по перрону. Мы поняли, что уйти нам нельзя. Ходили они не очень долго, минут пять или восемь. Потом остановились. Гаршин опять поцеловал Ахматовой руку, повернулся и ушел. Мы почувствовали, что он уходит, окончательно вычеркивая себя из жизни Ахматовой.

Ахматова подошла к нам. Она сказала совершенно спокойно, ровным голосом: «Все изменилось. Я еду к Рыбаковым».

И. Рыбаков был известный коллекционер, с семьей которого Ахматова дружила. Жили Рыбаковы на набережной Невы, недалеко от Дома писателей. Я побежал искать случайную машину. Вскоре нашел левака (тогда, впрочем, этого слова, кажется, еще не было). Я привел его на перрон, чтобы он помог нести вещи. Когда мы подошли к Ахматовой и Тамаре, они оживленно о чем-то говорили и продолжили разговор, идя к машине. Разговор был об английской поэзии,— если я верно помню, о поэтах ирландского Возрождения. Шофер уложил вещи, мы уселись, поехали. По дороге говорили о тех улицах, по которым проезжали, отмечали изменения в облике Ленинграда. Ахматова пристально смотрела на город, была, как всегда, необычайно точна и метка в своих словах.

Все время, когда мы ехали, меня мучила мысль: знают ли Рыбаковы, что к ним едет Ахматова. Потому что сами мы были в Ленинграде тогда бездомны, должны были искать пристанище у друзей — и не знали бы, где приютить Ахматову. Но боялся я зря. Рыбаковы были предупреждены и радостно встретили Ахматову.

Когда Ахматова прощалась с нами и с легкой улыбкой благодарила нас за помощь, мы оба вспомнили о ее так недавно сказанных словах: «Она и не подозревает, что я — танк...»

8

Второй эпизод несравненно мельче. Он бытовой. Но все же он представляется мне поучительным.

В сентябре 61-го года мы зашли к Ахматовой на комаровскую дачу — «Будку». Ахматова собиралась в город, на «зимний сезон» в новой квартире, предоставленной ей вместе с

семьей дочери ее покойного мужа Н. Н. Пунина — после длительных переговоров — в только что построенном писательском доме на ул. Ленина. Вещи были уже сложены. Ахматова ждала машину. Мы остались, чтобы помочь ей «погрузиться». Ждали мы долго. Машины все не было. Наконец она пришла, какая-то очень новая, сверкающая. Но вышел из нее человек, которого Ахматова не знала, и кратко передал ей от имени Пуниной, что комнату Ахматовой залило водой из верхней квартиры и что ехать Ахматовой некуда. Ахматова восприняла это известие совершенно спокойно. Ничего не сказала. Не произнесла даже своей любимой формулы: «Со мною только так и бывает!»

Мы повезли Ахматову к нам (теперь мы были не бездомными). За те дни (или недели?), что Ахматова жила у нас, Тамара, любительски занимавшаяся лепкой, сделала скульптурный портрет Ахматовой. Закончить его Тамара не успела. Но Ахматовой он нравился таким, каким он был.

А пребывание Ахматовой у нас было отмечено еще тем, что я именно тогда стал уговаривать ее составить «канонический» список своих стихов, особенно начиная с 20-х годов, после «Anno Domini», как основу для того полного собрания стихотворений Ахматовой, которое когда-нибудь будет издано. После нескольких дней колебаний Ахматова согласилась и через какое-то время передала мне наброски такого списка. Пригодились они сравнительно скоро. В конце 60-х годов В. М. Жирмунский использовал их, готовя к изданию том Ахматовой в Большой серии «Библиотеки поэта».

И тогда же Ахматова не раз просила Тамару почитать ей свои переводы из Рильке. (Это были годы, когда мы с помощью С. Я. Маршака и по его инициативе боролись за «реабилитацию» Рильке и за издание сборника его стихов в Тамарином переводе). В первый раз, послушав переводы, Ахматова сказала: «Словно кислороду глотнула». В середине 60-х годов она как-то сказала нам, что ей нравятся и переводы Рильке, выполненные К. Богатыревым[2].

9

И вот еще один эпизод — совсем из другой сферы, но тоже демонстрирующий пренебрежение Ахматовой ко всей внешней, несущественной стороне своего существования. Речь пойдет здесь о переводах. Ахматова переводила много. Но лишь малая часть ее переводческих работ по-настоящему привлекала и захватывала ее.

В середине 50-х годов мне довелось составлять и редактировать в издательстве «Искусство» четырехтомное собрание сочинений Генрика Ибсена. Переводы стихов для этого собрания должны были быть выполнены заново. Я предложил

Ахматовой выбрать любые ибсеновские стихи, какие она захочет, и дал ей том с немецкими переводами стихов Ибсена. Ахматова остановилась на четырех стихотворениях. Сразу же были изготовлены подстрочники, и я вручил их Ахматовой. Прошло несколько недель. Ахматова попросила меня заехать. Протягивая листки с готовыми переводами, она сказала, притом безапелляционным тоном: «И чтоб я их больше не видела... Делайте с ними что хотите».

Из четырех переводов один оказался замечательным и впоследствии перепечатывался во всех собраниях ахматовских переводов. Один перевод был просто хороший. А в двух было немало слабых мест, и я основательно переработал их.

Когда том Ибсена с его стихами вышел, я немедленно отправился к Ахматовой. Она полулежала. Я протянул ей книгу, но Ахматова ее не взяла, а, указав широким жестом на полку, сказала: «Поставьте туда...» И я убежден, что она этот том так никогда и не раскрыла.

10

А теперь, в заключение, об одном сне Ахматовой.

Этот сон был подробно записан ею. Текст записи будет опубликован как часть дневниковых заметок Ахматовой в «Литературном наследстве».

Здесь я могу лишь пересказать этот сон — и добавить к пересказу некоторые соображения о его истоках.

Конечно, эти мои соображения отнюдь не обязательны. Сон может быть понят и истолкован без них. Но полностью отрицать возможность влияния на сон тех элементов действительности, о которых я расскажу, тоже нельзя.

Вот вкратце содержание сна.

Кто-то встречается с Ахматовой и говорит ей: «Вас ищет Адмони». Вскоре она встречает меня. Я говорю ей: «Мне надо прочитать вам одно стихотворение». Мы идем и оказываемся на великолепной наружной лестнице какого-то здания, спускаемся на несколько ступеней, садимся, и я начинаю читать Ахматовой стихотворение. В нем попадаются строки на незнакомом языке. Постепенно таких строк становится все больше. Потом строки на русском языке вовсе пропадают. Но Ахматова все понимает. Я кончаю. Ахматова потрясена, плачет — и уходит.

Профессиональные толкователи снов, с которыми я связался через моих друзей, сказали, что этот сон однозначен и легко расшифровывается. Сон этот хороший, благоприятный. И спуск по лестнице, и понимание незнакомого языка — мотивы, часто встречающиеся в снах и означающие, что видящий сон переживает период освобождения от чего-то тяжелого, период подъема сил.

Такое толкование вполне отвечает действительности. Этот сон выпал на дни, когда Ахматова выздоравливала от очередной болезни. И завершает она свою запись замечанием, что потом все было хорошо, она выздоровела и уехала в Москву.

Но все же при таком подходе остается неясным, почему эти мотивы сна приобрели у Ахматовой именно такую форму, какую они приобрели, связались именно с такими лицами и явлениями, с которыми они во сне сопряжены. Об этом-то я и попытаюсь здесь рассказать.

Общий фон, обусловливающий реальное содержание сна,— это то, что как раз в конце 50-х годов наши встречи с Ахматовой были чрезвычайно частыми и что я часто читал ей в это время мои новые стихи. А кроме того, возможно, здесь некоторое значение имеет и одно давнее событие.

Летом и первой военной зимой, в блокадном Ленинграде, я писал для 7-го отдела политуправления Ленинградского фронта множество пропагандистских стихов на немецком языке — для распространения, разными средствами, среди немецких войск. Писал я их с полной отдачей, как подлинные стихи, потому что видел в них мой непосредственный вклад в войну. Любопытно, что в это время я полностью перестал писать русские стихи. Некоторые из моих немецких стихотворений потом были опубликованы в ГДР, несколько я перевел и включил в книгу «Из долготы дней». И когда осенью 1942 г. я оказался в Ташкенте и встретился с Ахматовой, я стал читать ей не только мои русские стихи, но и эти — агитационные немецкие. Немецкий язык Ахматова к этому времени знала значительно хуже, чем французский и английский. Она говорила, что прежде знала его хорошо, но затем позабыла, потому что ей совсем не приходилось по-немецки читать. Очень трудно ей было воспринимать немецкий язык на слух, особенно стихи. И когда я стал читать ей мои немецкие стихотворения, я сначала тут же переводил их. Но затем Ахматова сказала: «Не надо переводить. Я не понимаю слов, но все же понимаю стихи. Целиком». Не отсюда ли идут строки на незнакомом языке, которые Ахматова все же понимает?

А что касается спуска по открытой лестнице, то мне вспоминается, что как раз в это время мы часто говорили о Царском Селе, о дворцах, о Камероновой галерее и о ее совершенной лестнице, ведущей в парк. Может быть, это и навеяло Ахматовой мотив с лестницей во сне.

Как и полагается в толковании (по крайней мере, в любительском толковании) снов, все здесь гадательно. И ни на чем настаивать нельзя. Но все же запись Ахматовой об этом сне мне дорога, потому что она является своеобразным следом нашей дружбы — и поэтому мне захотелось этот сон прокомментировать.

ИЗ КНИГИ «ГОВОРИТ ЛЕНИНГРАД»

И вспоминается мне еще одно выступление в передаче «Говорит Ленинград» — в конце сентября 1941 года, в дни жесточайших артиллерийских и воздушных налетов, выступление Анны Андреевны Ахматовой. Мы записывали ее не в студии, а в писательском доме, так называемом «недоскребе», в квартире М. М. Зощенко. Как назло, был сильнейший артобстрел, мы нервничали, запись долго не налаживалась. Я записала под диктовку Анны Андреевны ее небольшое выступление, которое она потом сама выправила, и этот — тоже уже пожелтевший — листок я тоже до сих пор храню бережно, как и черновичок выступления Шостаковича. И если до сих пор, через два десятка лет, звучит мне глуховатый и мудро-спокойный голос Шостаковича и почти клокочущий, то высокий, то страстно-низкий голос Вишневского, то не забыть мне и того, как через несколько часов после записи понесся над вечерним, темно-золотым, на минуту стихшим Ленинградом глубокий, трагический и гордый голос «музы плача». Но она писала и выступала в те дни совсем не как муза плача, а как истинная и отважная дочь России и Ленинграда.

Она говорила:

— Мои дорогие согражданки, матери, жены и сестры Ленинграда. Вот уже больше месяца, как враг грозит нашему городу пленом, наносит ему тяжелые раны. Городу Петра, городу Ленина, городу Пушкина, Достоевского и Блока, городу великой культуры и труда враг грозит смертью и позором. Я, как и все ленинградцы, замираю при одной мысли о том, что наш город, мой город может быть растоптан. Вся жизнь моя связана с Ленинградом — в Ленинграде я стала поэтом, Ленинград стал для моих стихов их дыханием... Я, как и все вы сейчас, живу одной непоколебимой верой в то, что Ленинград никогда не будет фашистским. Эта вера крепнет во мне, когда я вижу ленинградских женщин, которые просто и мужественно защищают Ленинград и поддерживают его обычную, человеческую жизнь... Наши потомки отдадут должное каждой матери эпохи Отечественной войны, но с особой силой взоры их прикует ленинградская женщина, стоявшая во время бомбежки на крыше с багром и щипцами в руках, чтобы защитить город от огня; ленинградская дружинница, оказывающая помощь раненым среди еще горящих обломков

здания... Нет, город, взрастивший таких женщин, не может быть побежден. Мы, ленинградцы, переживаем тяжелые дни, но мы знаем, что вместе с нами — вся наша земля, все ее люди. Мы чувствуем их тревогу за нас, их любовь и помощь. Мы благодарны им, и мы обещаем, что мы будем все время стойки и мужественны...

Тут я сообразила, что не сказала, что передачи на эфир одновременно слушал и Ленинград, и вот почему Анна Ахматова обращалась и к ленинградкам. Но прежде всего это были передачи для Родины, и не только для нее — эти передачи мог слушать весь мир,— ведь они же шли в эфир. Было очень важно, чтоб наряду с голосами рядовых защитников города звучали голоса и тех людей, которых знала вся земля. Слушали, конечно, и фашисты. Слушали и записывали, как потом выяснилось, фамилии выступавших, мечтая, что рассчитаются с ними...

* * *

Из стенограммы траурного митинга у гроба Анны Ахматовой 10 марта 1966 г.

Анна Андреевна Ахматова! Она учила меня любить поэзию XX века. Поправляла меня. Она была моей любимейшей дорогой учительницей.

Анне Андреевне Ахматовой пришлось пережить на своем веку много горького и несправедливого. Я была рядом с нею и видела то безграничное мужество, с которым она все переносила. В ней не было озлобленности и уныния. В ней жила вера в поэзию, в величие человеческой души.

Ее поразительный талант расцветал вплоть до самого последнего времени. Последняя ее книга «Бег времени» поражает мужественностью и, самым драгоценным в поэзии,— человечностью.

Дорогая Анна Андреевна!

Мы прощаемся с Вами как с человеком, который смертен и который умер, но мы никогда не простимся с Вами как с поэтом, с Вашей трагически-победоносной судьбой.

Маргарита Алигер

В ПОСЛЕДНИЙ РАЗ

...Она была не такая, какой можно было ее себе представить, и не такая, как на портретах, и уж совсем не такая, как все остальные. Она была прекрасная и великолепная и впечатление производила ошеломляющее. У меня сперло дыхание, и я почти ничего не помню о нашей первой встрече, помню только ее одну. Она увела меня в маленькую комнату, где обычно жила у Ардовых,— только спустя несколько лет я заметила, какая она крошечная, эта комната, но тогда я ничего не замечала — ведь здесь была Ахматова! Ее одну я видела, комната была наполнена только ею.

Наверно, я читала стихи — ну, разумеется, читала и могу даже сейчас догадаться, какие стихи я бы тогда решилась прочесть. Что она о них говорила, я не помню, несмотря на то что это было бесконечно важно для меня. Но я отчетливо помню ее голос, холодный, отчужденный какой-то голос, горький голос. Горький,— а каким еще мог он быть в ту пору, в начале сорокового года, когда уже не было с ней сына... «И упало каменное слово на мою еще живую грудь...» Читая эти стихи, я не понимала их истинного смысла, вероятно, по привычке относя «каменное слово» к любовному лексикону. А речь шла совсем о другом. «Ничего, ведь я была готова. Справлюсь с этим как-нибудь». Сквозь какой строй испытаний надо было прогнать свою душу, чтобы так просто и трезво сказать об этом? Простота и трезвость ахматовские, именно они драгоценны в ее стихах, неизмеримо больше впечатляя, чем любые эмоции, любой пафос, любая мудреность...

...Если ехать от Камского устья вверх по Каме, на высоком левом берегу стоит под горой деревянная пристань Берсут. Гора покрыта густым смешанным лесом, в лесу рассыпаны голубые домики профсоюзного дома отдыха Татарской АССР. Туда Союз писателей вывез в первое военное лето женщин с детьми.

Мы жили в одной комнате с Ниной Ольшевской, актрисой театра Красной Армии, женой писателя В. Е. Ардова, близким другом Ахматовой,— в их доме мы и познакомились с нею. Мы жили в одной комнате, Нина с двумя младшими сынишками (старший Алеша — нынешний актер Алексей Баталов — жил в лагере) и я с дочкой, и чем могли помогали друг другу. Уставали мы за день отчаянно, но вечером, уложив

детей и убедившись в том, что они заснули, мы спускались к Каме и, стирая пеленки, читали на память любимые стихи, вспоминали интересные и смешные истории, отдыхали душой как умели — это было необходимо, как еда, как сон. Нина много рассказывала мне об Анне Андреевне, читала на память строфы из поэмы, которую пишет Ахматова. Летним вечером у камской воды я впервые услыхала несколько странных, безукоризненно отточенных шестистиший, не очень понятных и словно бы произносимых тем запомнившимся мне с первой встречи далеким, холодным, отчужденным голосом. Это начиналась «Поэма без героя».

Нина тогда ничего не знала об Анне Андреевне, кроме того, что она в Ленинграде. «И никуда она оттуда не уедет. Ни за что не уедет»,— убежденно твердила она. Однако, слава богу, получилось по-другому.

Время шло, минул июль, в последние дни свои принеся нам тревожную весть о первой бомбежке Москвы. Немыслимо тяжко было в это время находиться с ребенком на руках в сосновом лесу над Камой. В конце августа я отвезла свою мать и дочку, которой еще и года не было, в город Набережные Челны, к родственникам, и уехала в Москву! ...Москва была незабываемо хороша в ту трагическую осень.

...Из Ленинграда приходили тревожные вести. Было известно, что оттуда стараются вывезти как можно больше народа. В конце сентября кто-то приехал на аэродром встречать Шостаковича и, вернувшись, рассказал, что в тот день, часом раньше, прилетела Анна Ахматова.

...Мне непременно нужно было до зимы, до конца навигации, съездить к своим в Набережные Челны, отвезти туда теплые вещи. В начале октября я начала собираться, но выехать из Москвы оказалось не просто. И тут я узнала, что через несколько дней Союз писателей отправляет эшелон в Казань и в Чистополь, где обосновались на зиму писательские семьи. ...Эшелон отправлялся 14 октября, и вот на сырой платформе Казанского вокзала, в мутном осеннем рассвете, в невеселой толпе отъезжающих, я во второй раз в жизни увидела Анну Ахматову...

В том памятном эшелоне, в том жестком вагоне, Ахматова и Пастернак ехали в одном отделении. Оба были спокойны, приветливы, о чем-то своем негромко беседовали. Они умели держаться просто и естественно, оставаться самими собой и такими, как всегда, независимо от того, что происходило вокруг,— наверно, это и значит быть истинно воспитанным человеком. Многие из нас были в смятении, в тревоге о будущем, в хлопотах о своих тюках и чемоданах, и это, собственно говоря, тоже было вполне естественно в тот момент, и никого

тут осуждать не приходится, но эти двое были вне всего окружающего. Они были чем-то отличны от других, спокойнее, свободнее, независимее, и их присутствие рядом с нами как-то неуловимо помогало.

...В Казани мы переехали с вокзала на пристань, погрузились на пароход, и вот тут-то мы с Анной Андреевной очутились в одной каюте.

Весь вечер у нас было людно, без конца пили чай из большого синего чайника, который я везла своим. Чай был без сахара, и хлеб был черный и сыроватый, но это было вкусно. Кто-то из женщин обратил внимание на дымчатые бусы на шее у Анны Андреевны. «Это подарок Марины»[1],— сказала она, и все вдруг замолчали, и в тишине стало слышно, как работает машина и как шумит река. Волга или Кама?.. Кама... Елабуга... Марина Цветаева... Не прошло еще двух месяцев с тех пор, как мы узнали о ее трагическом конце. «Нет в мире виноватых»,— сказал когда-то Шекспир. Но, может быть, тот великий, который скажет когда-нибудь, что все виноваты, будет не менее прав.

Наконец гости наши разошлись, и вот мы остались вдвоем и, устроившись на ночь, погасили огонь. Сразу стала слышна река за стенкой каюты и ритмичные сотрясения машины. Не помню, сколько мы пролежали молча, чувствуя, однако, что обе не спим, и вдруг Ахматова заговорила. Совсем по-другому, чем говорила она при свете дня и при людях. Совсем другим голосом, другим тоном. И совсем о другом. И словно бы не начав внезапно, а продолжая давно начатый разговор.

— Такая огромная страна... Такая огромная война... Человечество еще не знало войны такого великого смысла, такого всеобщего смысла... Она перевернет мир, эта война, переделает всю нашу жизнь... Да, да, и нашу жизнь — я именно это хотела сказать... Смотрите, как она срывает все покровы, стирает все камуфляжи, обнажает все безобразное, чтобы люди его увидели, поняли, возненавидели, уничтожили... И как это вдруг оказалось возможным, вдруг вылезло... Вдруг вспышка давно забытого, давно, казалось бы, побежденного антисемитизма. Откуда она снова взялась — этакая мерзость, столь неожиданно вновь вспыхнувшая в эту недобрую осень. Ведь сколько пережито вместе... Вместе голодали, каждым куском делились, вместе сыпняком болели, пережили вместе такие годы... Сколько страшных часов провели, недель и месяцев в очередях в Кресты... И хоронили, и оплакивали вместе, и поддерживали друг друга. И вдруг, вот в такую годину, изволите ли видеть, опять эта мерзость. Как же она могла где-то притаиться и снова вылезти наружу? Нет, не верю, невозможно это, стыдно это. Сейчас, когда впереди еще такие испытания... Такая война! Она откроет двери тюрем и выпустит на волю всех невинных... И как она трезво и точно определяет,

что к чему и кто кто... Нет, нет, поверьте мне, это самая великая война в истории человечества... И уверяю вас, никогда еще не было такой войны, в которой бы с первого выстрела был ясен ее смысл, ее единственно мыслимый исход. Единственно допустимый исход, чего бы это нам ни стоило. Мы выиграем войну для того, чтобы люди жили в преображенном мире. Все страшное и гнусное в нем будет смыто кровью наших близких...

Я лежала, почти не дыша, боясь что-то пропустить, что-то не расслышать. Я понимала ее порыв — все, что она говорила, она говорила мне, она ведь знала, что мой муж убит. Но не только ко мне и не только к собственной душе была обращена ее взволнованная речь, полная внутренней убежденности и душевного жара. Она говорила с временем, с историей, с будущим.

За окном каюты шумела Волга, а может быть, уже и Кама, и шум воды удивительно сочетался с ночным голосом моей спутницы. В каюте было темно, и мы не видели друг друга. И хотя мы отнюдь не были ближе друг к другу, чем тогда, зимой сорокового, в крошечной комнате на Ордынке, но голос ее наполнял все вокруг, и я словно дышала им, и он был горячий, живой, близкий, неотделимый от нашей жизни, от нашей общей судьбы. В ту ночь мы и познакомились по-настоящему.

С той ночи я понимаю, сколь горячо и кровно жила она всем, чем жили все мы, ничем не защищенная от жизни, ничем не отгороженная от страдания людей...

В Ташкенте Анна Андреевна не была одинока, рядом были близкие и приятные ей люди — замечательная актриса Фаина Георгиевна Раневская, Елена Сергеевна Булгакова[2]... Раневская всегда и без конца вспоминает о своих встречах с Ахматовой — они много времени проводили вместе. Я просила Раневскую написать все, что она помнит, но она вместо этого написала письмо мне, и я разрешу себе процитировать некоторые строки этого письма:

«...Вы просили меня написать об А. А. — я не умею, не могу. Но Вам хочу сказать то, что вспомнилось буквально сию минуту, потому что я все время о ней думаю, вспоминаю, тоскую... Мы гуляли по Ташкенту всегда без денег... На базаре любовались виноградом, персиками. Для нас это был nature morte,— Анна Андреевна долго смотрела на груды фруктов, особенно восхищалась гроздьями фиолетового винограда. Нам обеим и в голову не приходило, что мы могли бы это купить и съесть.

Когда мы возвращались домой, по дороге встретили сол-

дат, они пели солдатские песни. Она остановилась, долго смотрела им вслед и сказала: «Как я была бы счастлива, если бы солдаты пели мою песню...»

Я никого не знала, кто был бы так доступен, прост с теми, кто чтил и любил ее. Однажды я сказала, что представляю ясно, как швея, крутя ручку машины, напевает: «Соседка из жалости — два квартала, старухи, как водится,— до ворот, а тот, чью руку я держала, до самой ямы со мной пойдет. И станет совсем один на свете, над рыхлой, черной, родной землей, и громко спросит, но не ответит ему, как прежде, голос мой». Спела я ей это на вульгарный мотив песен шарманки. Она смеялась и все просила меня спеть «швейкину песню» (нисколько не обиженная, и все повторяла: «На это способны только вы... Ну, еще, еще швейкину песню»).

Из ближайших друзей она очень любила Е. С. Булгакову и часто говорила мне: «Она умница, она достойная! Она прелесть!»

...В Ташкенте я часто у нее ночевала — лежала на полу и слушала «Мастера и Маргариту» Булгакова[3]... Она читала вслух, повторяя: «Фаина, это гениально, он гений!»

...В Ташкенте узнала она о великих переменах в судьбе сына. Он просил отправить его на фронт, и просьбу его удовлетворили[4]. Лев Николаевич проехал через Москву в воинском эшелоне в действующую армию. Он стал солдатом, его могли каждый час убить, но он стал солдатом, защищающим родину от врага, а она стала матерью солдата. Оставалось только молиться за него и гордиться им. Выходит, в ее судьбе все-таки сбывалось что-то из ее собственных предчувствий и предсказаний той ночью на пароходе...

...Еще одно ташкентское воспоминание Фаины Георгиевны Раневской: «...Был знойный полдень, невыносимый зной, нестерпимое пекло удержало меня дома, я боялась выйти на улицу и вдруг увидела из окна бегущую, не идущую, а бегущую А. А. Она задыхалась, долго не могла начать говорить. А потом сказала, что ей было трудно усидеть дома,— сейчас услышала по радио, что Муссолини свергнут народом, и что это событие такой важности, что ей захотелось поделиться со мной радостью. «Вы понимаете, ведь это уничтожена колыбель фашизма»,— повторила она несколько раз. «Это надо отпраздновать, Фаина!» И я принесла кувшин разливного, дешевенького вина. Я никогда не видела ее такой радостной».

...И я никогда не видела ее такой радостной, как в третью нашу встречу, когда весенним московским вечером я пришла к Ардовым повидать Ахматову, только что приехавшую из

Ташкента. Она была оживленная, преображенная, молодая и прекрасная. Подняла свою знаменитую челку, открыв высокий, чистый, удивительный лоб, и все лицо ее стало открытее, доступнее, покойнее. Все было замечательно — она прямо говорила об этом,— ее сын был жив и здоров, ее город был свободен, и ее там ждали... Война шла к концу, к победе, и жизнь словно начиналась снова и по-новому. Больше я никогда не видела ее такой откровенно счастливой.

В Москве она не задержалась, через несколько дней уехала в Ленинград. Уехала, как улетела, полная добрых надежд. И близкие люди радовались за нее. Недолго, однако.

...Весной 1946 года я некоторое время прожила в Ленинграде — репетировалась моя пьеса. Жила я в «Астории», где неизменно встречались знакомые москвичи, ежевечерне приходили друзья-ленинградцы, и было интересно и весело. У Ахматовой я бывала часто и чувствовала себя с ней все свободнее и проще. Она охотно читала новые стихи — они у нее в ту весну писались и печатались,— готовила большую книгу, была деятельна и бодра. Лев Николаевич вернулся с войны целым и невредимым, жил с матерью. Казалось, жизнь наконец потекла нормально.

Бывая у Ахматовой и днем, я несколько раз заставала ее за работой — большой стол посреди комнаты, скорее обеденный, чем рабочий, был завален папками, тетрадями, бумагами. Разбирая бумаги, Анна Андреевна иногда протягивала мне какую-нибудь фотографию или страницу, на которой подчас было записано всего несколько слов, а то читала вслух отдельную выписку или заметку. Помню поразившие меня строки о полной обнаженности и незащищенности лирического поэта, о том, что в этой-то обнаженности и заключена суть лирики, что лирик сам подставляет себя под удар, обнажая самое личное и сокровенное. Мне запомнились эти слова. Их мудрость впоследствии не раз помогала мне пережить равнодушно-холодную критику моих собственных стихов. А то, бывало, взяв какую-нибудь книгу, читала вслух строки, показавшиеся ей замечательными. Словно брала за руку и вводила в мир, где жила.

Я спросила как-то раз, что она сейчас читает. Вместо ответа, взяв со стола открытую книгу, она прочитала мне по-латыни, переводя с листа, басню Катулла, написанную от лица раба, который жалуется на свою тяжкую долю и поносит своего господина. Этот беспутный господин каждый вечер напивается как свинья, возвращается под утро пьяный настолько, что слуге приходится бороться с ним, чтобы раздеть и уложить в постель, получая при этом пинки и брань. После полудня господин просыпается, разбитый и больной с пере-

поя, и слуга долго приводит его в чувство, отпаивая всякими снадобьями и выслушивая при этом упреки за то, что он, слуга, недоглядел за ним, отпустил из дому, дал напиться и вот теперь он по его вине совсем болен и жить ему не хочется. Слуга долго возится и хлопочет, и ему наконец удается помочь бедняге, который клянется, что никогда не возьмет в рот ни капли. Когда он совсем приходит в себя, уже наступает вечер,— и что же! — господин снова уходит из дому, изругав слугу, на сей раз за то, что тот пытается его не пустить. И все начинается сначала.

— Как видите, этот сюжет даже в тысячелетиях мало меняется,— улыбнулась Анна Андреевна.— Разве что в роли раба выступают бедные жены.

Как-то она протянула мне старую фотографию прелестной, совсем юной девушки, почти девочки. «Это я в Царском,— сказала она,— еще в гимназии...» Я поинтересовалась, знала ли она Иннокентия Анненского — он, как известно, долгие годы преподавал в Царскосельской гимназии. Нет, им не пришлось познакомиться, но она, разумеется, знала его в лицо, часто встречала на улице...

Анненского-поэта она ставила очень высоко и в одном разговоре с присущей непререкаемостью однажды заявила, что вся поэзия начала XX века вышла из Анненского:

— Во всяком случае, мы: Мандельштам, Пастернак и я. И может быть, даже Маяковский.

Иногда я встречала у нее кого-нибудь из общих друзей. Часто мы приходили к Ахматовой вместе с Александром Кроном[5]— он тоже жил в ту весну в «Астории». По некоей незаметно установившейся традиции Александр Александрович приносил обычно бутылку шампанского, и Анна Андреевна была весела и рада нам, начинала хлопотать, собирать на стол, шутила, болтала, вспоминала... И оживали за нашим столом Петроград и Петербург, и ощутимой и живой становилась драгоценная и безмерная глубина — великая русская поэзия начала XX века...

Длинной была та весна, первая послевоенная... В начале мая ленинградские поэты приехали выступать в Москву, и среди них была Анна Ахматова, и вечера ленинградцев превратились в вечера ее триумфа. Те, кто любили поэзию, разумеется, не забывали стихи Ахматовой.

На вечере в Колонном зале, в антракте, спускаясь со сцены в зал, я столкнулась лицом к лицу с женщиной средних лет, которая старалась заглянуть за кулисы, туда, где отдыхали участники вечера. Она виновато улыбнулась и, словно оправдываясь, сказала:

— Хочется на Ахматову поближе посмотреть... Какая она замечательная! Эти ее «Чечетки»...

— Великолепно! Такого и не придумаешь! — рассмеялась Анна Андреевна, когда я рассказала ей про «Эти ее «Чечетки». Она была на диво отзывчива на юмор и любила посмеяться даже над собой.

«Чечетки»-то ее позабавили, но она терпеть не могла, когда кто-нибудь, познакомившись с ней, произносил с придыханием: «Сжала руки под темной вуалью...» — или что-нибудь в этом роде. Она давно отошла от этих стихов, хотя впоследствии неизменно печатала их в своих книгах, считая существенным этапом своей поэтической судьбы, но сердилась, если о них напоминали. Она была уже бесконечно далека от них.

Во время прогулок по Ташкенту, вспоминает Фаина Георгиевна Раневская, ее, Раневскую, часто узнавали и даже окликали, называя «Мулей» в связи с последним предвоенным фильмом «Подкидыш». Фильм был милый и забавный, но роль для Раневской не больно интересная, и Фаину Георгиевну раздражало, что именно в этой роли ее запомнили люди.

— Ничего, Фаина, терпите,— успокаивала ее Ахматова.— У каждого из нас есть свои «мули».

К своим молодым стихам она относилась безжалостно, судила их жестоко, как людей: они и недобры, и неумны, и даже бесстыдны. Разъяснила мне природу такого отношения. Когда после долгого непечатания держала корректуру сборника «Из шести книг», увидела их вдруг совсем другими глазами, другим зрением, из другого времени, из другой жизни, из другой себя. И безжалостно осудила. Если кто-нибудь заговаривал о них или, не приведи господи, из самых добрых намерений, обмирая от восторга, произносил какие-нибудь общеизвестные строки, у нее делалось отчужденное, замкнутое лицо и она торопливо произносила: «Да, да, благодарю вас!» — торопясь оборвать разговор и повернуть его в другое русло.

— И это уже непоправимо,— сухо говорила она.— И я решительно не могу понять: чем, почему они так нравились людям?

Тут-то и становилось ощутимо, сколь долгая и непростая жизнь прожита ею и физически, и духовно.

Я спросила как-то, с какого возраста она начала писать стихи. Оказалось, что с одиннадцати лет. Я не решилась расспрашивать о тех детских стихах, но она сама заговорила о них с той же жестокостью и безжалостностью:

— Ужасные были стихи! Я их как-то перечитала и чуть не сгорела со стыда. Ни одной своей мысли, ни одной своей интонации, все чужое и какое-то убогое. Решительно непонятно, как я выбралась из этого срама и все-таки стала поэтом. Да покажи мне какое-нибудь дитя подобные стихи, я бы его

заклинала и близко к поэзии не приближаться. Вот и суди потом о начинающих, отвечай им на неизбежный вопрос, получится из них поэт или не получится.

Но раз уж она их перечитывала, стало быть, они сохранились, стало быть, она сберегла их.

— Нет, нет, что вы! Перечитывала еще до войны — наткнулась случайно. А теперь, разумеется, ничего не осталось, пропало в блокаду. Сожгли, наверное, в печке, и слава богу.

Вернемся, однако, к той первой послевоенной весне тысяча девятьсот сорок шестого года.

Затем москвичи поехали с ответным визитом в Ленинград, и мы снова встречались с Анной Андреевной не только у нее, но и на выступлениях. Она была бодра и спокойна. У нее просили стихи, печатали их, платили деньги.

— Да, да, и деньги,— говорила Анна Андреевна.— Это хорошо, что деньги. Они ведь так нужны людям.

Деньги нужны были ей прежде всего для того, чтобы раздавать их людям. Ей самой нужно было очень немного из того, что оплачивается деньгами.

Как передать сложное и неизменно волнующее чувство, всегда сопутствующее моему общению с Ахматовой? При всей простоте и даже обыденности наших отношений она все-таки была для меня воплощением поэзии, современницей Блока, непосредственно участвовала в истории русской поэзии, и я неизменно воспринимала ее через поэзию, как через толстый пласт воды, и неизменно удивлялась и радовалась, когда она оказывалась рядом, живая и понятная женщина. Однажды мы болтали о том о сем с ней и с балериной Татьяной Вечесловой. Зашла речь об одной ленинградской балерине, которая нравилась моему приятелю-москвичу и которую недолюбливала Татьяна Михайловна.

— Хоть бы он увез ее в Москву! — в сердцах пожелала Вечеслова.

— Едва ли,— усомнилась я.— У него там жена...

— Ох уж эти жены! Кто их только выдумал! — от души воскликнула Анна Андреевна.

Уже начинались белые ночи, и мы часто незаметно засиживались до утра. Ах, какая стояла весна! Какой был Ленинград! Как верилось в лучшее будущее... Судьба Ахматовой, ее столь естественное возвращение к нормальной литературной жизни было для меня еще одним поводом для этой веры.

...Ахматовой писалось. Ее печатали, слушали, любили. Сын был с нею. Жизнь наконец-то потекла нормально. Как бы не так!

Счастливое лето завершилось доныне памятным Постановлением ЦК о журналах «Звезда» и «Ленинград», безобразно грубо обрушившимся на двух замечательных писателей: Анну

Ахматову и Михаила Зощенко. Постановление это, в сущности уже давно отмененное[6] самой жизнью, ударило на много лет по всей нашей литературе.

...В середине октября я уехала в Ленинград. Повод был — шли к концу репетиции моей пьесы в одном ленинградском театре,— но, разумеется, прежде всего мне хотелось увидеть Ахматову. Для нее после чудесной весны наступила нелегкая осень. Я волновалась — захочет ли она меня видеть? Известно было, что она мало кого звала к себе. Подойдет ли она к телефону? Она подошла к телефону и, как всегда, спокойно ответила, что будет рада меня повидать. Да когда хотите. Хоть сейчас.

Было около двенадцати часов дня, когда я пришла в тот же Фонтанный Дом, где нам бывало так весело еще совсем недавно, минувшей весной. Казалось, с тех пор минула целая вечность. Я знала, что Анна Андреевна чувствует себя неважно, не выходит, полеживает, но меня она встретила на ногах, спокойная, ровная, как всегда. Только бесконечно грустная.

Мы говорили о чем угодно, кроме самого главного. Она спрашивала об общих друзьях. Я старательно передавала приветы и поклоны. Она расспрашивала меня о лете, о моей работе, о моих детях. Дети мои были в том возрасте, когда о них можно рассказывать много забавного. Я спросила, кого она видает.

— Да все тех же,— пожала она плечами.— Вчера заходил Михаил Леонидович Лозинский...

Замечательный переводчик Данте был ее другом с юности и на всю жизнь. В те годы он уже был целиком погружен в работу над комментариями к своему переводу «Божественной Комедии» и в трудных случаях часто советовался с Ахматовой.

— Разобрались с ним, кажется, в одном очень уж усложненном образе. Один ум — хорошо, а два — лучше... Тяжелая у него работа, но какой это праздник каждая победа... Хотите послушать Данте в подлиннике? — неожиданно спросила она и с ходу прочитала на память несколько великолепных терцин.

Потом она взяла книгу и продолжала читать с листа, и было что-то молитвенное в торжественном звучании Дантовых стихов, в ее глубоком, гордом голосе, во всем ее глубоко значительном облике. Словно бы она обращалась к великой поэзии за помощью, за новыми силами, которых так много требуется для того, чтобы жить, для того, чтобы быть поэтом... И великая поэзия совершенно очевидно не отказывала ей.

Часа в три, собираясь уходить, я что-то сказала насчет погоды.

— Ах, да, в мире еще существует погода,— усмехнулась

Дом, где жила Анна Ахматова в 50-е годы. Ленинград, ул. Красной Конницы, д. 4.

Анна Андреевна.— Я так давно не выходила из дома, что забыла об этом.

Плохо, подумала я. Господи, неужели же нет близких людей, с которыми она могла бы выйти погулять, подышать свежим воздухом? И вдруг Анна Андреевна сказала, что проводит меня. День был хотя и без дождя, но под ногами хлюпала обычная ленинградская осенняя сырость. Свернув с Фонтанки на Невский, мы поравнялись с Книжной лавкой писателей, и меня что-то остановило у витрины. Анна Андреевна предложила зайти, я с радостью согласилась. Но едва мы вошли, нас остановила гардеробщица и попросила снять калоши. Это относилось только к Анне Андреевне — я была в толстых башмаках на резине, у нее же на ногах были старые ботики, и она сказала, что их трудно снимать и уж лучше, пожалуй, и вовсе не заходить. Мне бы догадаться, вызвать кого-нибудь, попросить сделать исключение, но я растерялась. Впрочем, поступи я иначе, Анна Андреевна, может быть, была бы и недовольна. И вот мы снова идем по Невскому в дневном его потоке.

— Можете ли вы, пройдя в такое время дня по улице Горького, не встретить ни одного знакомого лица? — вдруг спросила Анна Андреевна.— Едва ли, правда ведь? А я вот

никого хоть отдаленно знакомого не встречаю. Никого нет на свете. Все умерли.

Что могла я сказать в ответ?

Мы молча шли по Невскому, еще отчетливо помнящему блокаду, мимо нас в два потока торопились ленинградцы, не обращая внимания на красивую пожилую печальную женщину, истинную ленинградку, в старом пальто и старых ботиках, которая не торопясь шла среди них. А это была Анна Ахматова.

...Когда в конце 1953 года я снова приехала в Ленинград, Анна Андреевна уже переехала из аристократического Шереметевского дома на Фонтанке на улицу Красной Конницы, в обыкновенный желто-коричневый ленинградский доходный дом, в обыкновенную питерскую чиновничью квартиру. На углу Суворовского помещалась аптека, и Анна Андреевна рассказала мне, что аптека называется Слоновьей,— в ней некогда приготовили лекарство для слона, привезенного в Питер каким-то заморским цирком. Удивительно знала она свой город, помнила множество мелочей и подробностей, делающих его живым и близким. Мне не много раз в жизни доводилось гулять с ней по ее городу, но каждая прогулка открывала мне что-то новое, что-то живое.

Иногда вечерами у нее бывали гости, ее ленинградские друзья и знакомые, всегда интересные люди, разные люди, отнюдь не только литераторы — помню океанолога, помню знатока восточных языков,— но странное дело, эти люди не запоминались, а память на людей у меня отличная. Таково уж было свойство Анны Андреевны: без всякого намерения, помимо своей воли, она вытесняла, затмевала всех окружающих, они тушевались, стирались из памяти. Их словно не было, когда была она.

И в разговоре с интересными людьми, с учеными и специалистами в разных областях, она была бесконечно интересна, неожиданно много и глубоко знала и замечательно умела слушать других — свойство драгоценное и отнюдь не столь распространенное. Помню, как слушала она, когда десять лет спустя я, вернувшись из Латинской Америки, рассказывала о чилийских индейцах племени мапуче.

— Удивительно интересно! Я этого не знала,— сказала она, внимательно выслушав меня, и стало ясно, что теперь она уже крепко и навсегда это знает. И тотчас продолжила мой рассказ ценнейшими сведениями об ацтеках и инках.

Она знала все на свете. Иногда совсем неожиданные вещи.

— Память у меня стала совсем худая,— как-то пожаловалась я.— Никак не могу вспомнить, как называется чилийская река, та, самая главная... Мы проезжали ее, когда

ехали в Консепсьон... По ней еще во время колонизации проходила граница...

— Био-био,— небрежно бросила через плечо Анна Андреевна, словно речь шла о Мойке или о Карповке.

Человек огромной эрудиции и образованности, она была в курсе новейших научных течений, открытий и дискуссий. Если речь заходила о политике, совершенно лишенная всякого дамского жеманного невежества, она могла вдруг заговорить о каком-либо далеком политическом деятеле как о своем добром знакомом. Я уже не говорю об истории — там у нее были попросту близкие и до деталей знакомые друзья и враги. И бесконечно много помнила — память у нее была удивительная, умная память, умеющая отделять мелкое от крупного. Всю жизнь она много читала на разных языках и никогда, по-моему, просто беллетристику и развлекательную литературу. Читала она тоже по-своему: всегда одновременно несколько книг и никогда не подряд, страницу за страницей. И удивительно помнила прочитанное. Однажды, увидев у меня четырехтомную «Золотую ветвь» Фрезера, стала вспоминать почти наизусть целые страницы.

А когда она лежала в больнице с первым инфарктом, В. Ардов заказал для нее специальный пюпитр, на который ставились книги, большие, тяжелые, серьезные книги. Иногда английские или французские.

В конце 1955 года, став членом редколлегии одного московского альманаха[7], я попросила стихи и у Анны Андреевны. Она долго отбирала, заменяла, раздумывала и передумывала, но в конце концов мы все-таки опубликовали несколько стихотворений и отрывок из «Поэмы без героя». Эта вещь значила для Ахматовой гораздо больше того, что мы можем понять, полная дорогих ей смыслов и замет, сбереженных памятью сердца и запечатленных в строгой, порой почти скованной, порой торжественной и торжествующе свободной поэтической форме.

— А я еще кое-что к поэме приписала, знаете, меня поэма держит, как «Демон» держал Лермонтова,— сказала она Раневской еще в Ташкенте.

Наконец вышла небольшая книжка в вишневом переплете, которую так долго и взволнованно она собирала, так долго и тревожно ждала. Сколько лет этой книгой настойчиво и терпеливо занимался Алексей Сурков. Анна Андреевна, естественно, была рада книге, дарила ее людям, вытаскивая из глубокой старой сумки, но нельзя было не почувствовать, что книгой она недовольна.

Вот передо мной эта книжка, выпущенная в 1958 году, с надписью: «Маргарите Алигер в долготу дней. Ахматова. 16 апреля 1959». Поблагодарив ее, я взяла книгу и стала ее листать.

— Надо все-таки оправдывать свою репутацию,— с суховатой горечью сказала Анна Андреевна. И в ответ на мой недоумевающий взгляд пояснила: — Представьте себе, что некто, отродясь не читавший моих стихов, берет в руки и читает эту книгу. Что он почувствует? Ничего, кроме разочарования и недоумения. Столько пережито, столько горя, столько потрясений, а она все о себе и о своих любовях. Я бы сама только так подумала.

И то сказать: в книжке и всего-то 127 страниц, да из них 32 страницы — т. е. четверть книги — переводы: старые китайцы, корейцы, отрывок из Гюго, стихотворение какого-то осетина, Перец Маркиш, неведомый мне румын Александр Томá, белые стихи Рабиндраната Тагора... Горько и неловко, и ничего не скажешь в утешение.

И все-таки положение изменилось. К ней все чаще обращались, ее все чаще публиковали. Но в последние годы она стала относиться к любому редакторскому требованию с совершенно несвойственной ей в отношениях с людьми нетерпимостью и раздражительностью. Помню, как мучительно проходила публикация в «Новом мире» стихов из цикла «Тайны ремесла». Ахматова ни за что не желала выполнить просьбу Твардовского и заменить в стихотворении «Читатель» английское слово «лайм-лайт»*. А ему оно казалось очень уж чужим для русского уха. Она волновалась и негодовала и опубликовала стихи в другом журнале, но «лайм-лайт» остался на месте, и Ахматова торжествовала победу. Ей очень были нужны победы и очень нужно было торжествовать. Это было острой потребностью души, долго лишенной праздников и торжеств.

Александр Трифонович неизменно относился к ней с глубоким вниманием и трогательной почтительностью. Однажды Ахматова предложила «Новому миру» несколько отрывков из новой поэмы. Твардовский был озадачен — ему казалось странным при жизни автора печатать в журнале отрывки. Он просил заведующую отделом поэзии Софью Григорьевну Караганову: «Уговорите ее дать нам что-нибудь другое и не в отрывках, а целиком. А уж если она очень огорчится... тогда... тогда, так и быть, напечатаем отрывки». Знающие Твардовского-редактора поймут, чего стоила ему подобная уступка, даже в перспективе. Ахматова поняла главного редактора «Нового мира» и обещала новые стихи.

...С годами она все дольше жила в Москве, иногда целую зиму, потому что часто уезжать и приезжать ей стало трудно — она перенесла два инфаркта.

Лучше всего было, разумеется, в крошечной комнатке на Ордынке, где над постелью был приколот кнопками ее порт-

---

* Огни рампы.

рет, нарисованный давным-давно в Париже безвестным тогда художником Амедео Модильяни. Когда же на Ордынке становилось тесно, Анна Андреевна без труда находила в Москве другие пристанища. Я тоже не раз приглашала ее к себе, и вот зимой 1963 года она приехала к нам...

Творческая работа происходила в ней всегда и принимала подчас неожиданные формы. Никто не знал и не видел, когда она писала стихи,— это естественно и нормально. Но иногда она говорила:

— Сегодня всю ночь не спала и совершенно придумала сценарий. Ну до того придумала, что остается только сесть и записать.

Мне было удивительно это слышать: Анна Ахматова — и сценарий! Вот уж не вяжется! А она, значит, думала и о кино.

Рассказывала о написанной во время войны пьесе о летчике. Опять странно: Анна Ахматова — и авиация! Но все это влекло ее, присутствовало в ней.

В последние годы — вот и у нас на Лаврушинском — работать ей, очевидно, было трудно, почти невозможно, писала она не много и совсем неприметно — между телефонными разговорами, многочисленными посещениями. Читала она тоже мало, сама говорила, что уже не столько читает, сколько перечитывает. Даже любимый томик Шекспира в подлиннике лежал подолгу раскрытый на одной странице. Главным содержанием ее жизни стали люди, общение с людьми. Телефонных звонков было не счесть, что же до визитов, то если их бывало в день три-четыре, день считался очень спокойным и даже пустоватым. А выпадали дни, когда число посетителей переваливало за десять! И Анна Андреевна переносила такое количество людей с завидной легкостью — день был прожит полноценно.

Она любила знать с утра, что вечером кто-то придет. Не забежит мимоходом, а придет в гости на целый вечер, сидеть, пить чай, беседовать. Нервничала, если редко звонил телефон. Однажды случилось, что днем всем понадобилось уйти одновременно и Анна Андреевна на некоторое время должна была остаться одна. Меня это встревожило, и я стала соображать, как выйти из положения, но Анна Андреевна решительно заверила меня, что тревожиться нечего, что для нее это нормально и привычно, что она даже любит побыть одна. Мы собрались уходить, но в последнюю минуту я замешкалась и вернулась к себе в комнату, а дочка моя убежала, не став дожидаться. Едва за ней захлопнулась дверь, как я услышала, что Анна Андреевна звонит по телефону. Она вызвала одну свою молодую приятельницу и стала настойчиво просить ее немедленно приехать, потому что она одна, совершенно одна... Она с таким отчаянием повторяла «совершенно одна»,

что чувствовалось: для нее это невыносимо. Я дождалась, пока она ушла к себе, и постаралась выйти как можно тише, чтобы не смутить ее.

Друзей у Анны Андреевны было много и в разных сферах — ученые, художники, артисты. Она знала и любила актера Алексея Баталова с его детских лет. Алексей Владимирович, на досуге занимающийся живописью, написал ее портрет.

— Так писали крепостные художники,— оценила его Анна Андреевна.— Неграмотно, но похоже!

Баталов еще учился в школе-студии МХАТ, когда Ахматова переводила «Марьон Делорм» Гюго, и она часто просила его прочитать ей тот или иной монолог, ту или иную сцену и вслушивалась, проверяя свою работу...

Раньше она существовала в стороне, чтобы не сказать в вышине, отдельно и отрешенно от литературной жизни, и казалось, что ее ничто там и не интересует, а волнует нечто совсем другое, чем нас, и по-другому, чем нас. В последние годы многое изменилось. Может быть, потому, что ее стали печатать и ею стали горячо интересоваться разные люди, все происходившее вокруг живо интересовало и волновало ее. Она остро почувствовала новый подъем интереса к поэзии, который стал особенно ощутим в конце пятидесятых — начале шестидесятых годов и был, несомненно, вызван серьезными переменами, свершившимися в обществе. С напряженным и даже несколько ревнивым интересом следила она за успехом некоторых бурно входящих в моду молодых поэтов, считая явления подобного рода преходящими и временными и абсолютно противопоказанными истинной поэзии.

— Все это было, все это уже было, я сама видела, я отлично помню,— говорила она.— Были знаменитые писатели, модные, известные, богатые... У них были красивые жены и роскошные дачи... И все это, казалось, навечно... А теперь и имени их никто не помнит... Нет, нет, поверьте мне,— взволнованно повторяла она,— я-то знаю, я-то помню. То же самое происходило с Северяниным. Головокружительный успех, громкая слава... Никому из нас и не снилось ничего подобного. Но продержалась она года два, а там стала утихать, из Петербурга и Москвы отхлынула в провинцию и там постепенно совсем заглохла... То же самое будет и с ними, поверьте мне. Сегодня в Ленинграде и в Москве истинные любители поэзии и думать о них забыли, их интересует совсем другое... Уверяю вас!..

Это было несправедливо, я была не согласна с ней, но спорить не умела. Думаю, она относилась бы к новым поэтам по-другому, если бы лучше и ближе узнала их, если бы их отношения сложились иначе и приняли более простой и ес-

тественный характер. Но это почему-то не получилось. Белле Ахмадулиной нелепо не повезло: она пригласила Ахматову на дачу и заехала за ней на машине, но едва они отъехали, как машина сломалась и Белле пришлось заняться ремонтом, а Анне Андреевне возвращаться домой. Не знаю уж, кто виноват, но больше они так и не встретились. Приходил к ней однажды при мне Андрей Вознесенский, и разговор у них был добрый и дружеский — Анна Андреевна даже захотела сделать ему надпись на своей книге. Но и они почему-то больше не встречались. Убеждена, что ничего рокового и преднамеренного тут не было, просто так уж как-то нелепо и неудачно складывались обстоятельства.

Но истинного ее отношения к стихам известных молодых поэтов я, в сущности, не знаю, и это не случайно. Думаю, что она никак не относилась к их поэзии, не воспринимала, да, собственно, может быть, и не знала ее. Но именно от нее я впервые узнала стихи Арсения Тарковского, который долгие годы был известен только как замечательный переводчик,— первая книга его собственных стихов вышла только в конце пятидесятых годов. Когда в семидесятом году я увидела на книжных прилавках книгу стихов Марии Петровых, первой моей мыслью было: «Как жаль, что Анна Андреевна об этом не узнает». Она высоко ценила этого поэта, как и Юлию Нейман[8], чья книга тоже только недавно вышла.

Она бережно хранила и показывала друзьям стихи молодых поэтов, принадлежащих к ее близкому окружению,— большинство из них были ленинградцы...

Истинная поэзия, все высокое, как бы далеко это ни прозвучало, неизменно доходило до нее. Она залпом прочла Габриэллу Мистраль[9], переведенную О. Савичем и только что вышедшую в серии «Жемчужины мировой лирики».

— Какая гордая, горькая, победительная поэзия! Какая высокая душа! — горячо радовалась она...

Она была из того мира, из той эпохи, где женщин начинали считать старыми гораздо раньше, чем сейчас, где рано начинали носить старящие одежды, и весь ее незабываемый внешний облик был оттуда. На деле все, оказывается, было вовсе не так.

Однажды мы с дочкой куда-то уходили, и дочка задерживала меня, долго собираясь.

— Вы ведь небось смолоду не красили ресницы? — воззвала я к Анне Андреевне.

— Я всю жизнь делала с собой все, что было модно,— с некоторым вызовом призналась Анна Андреевна.— И всю жизнь умела выглядеть как хотела — красавицей или уродкой...

Она никогда не относилась к жизни как старый человек, никогда не была равнодушной, безучастной и безразличной

к тому, что было ей дорого. В последние годы она, казалось, стала моложе, чаще выходила из дома. Примерно за год до ее смерти мы встретились на каком-то литературном вечере. Я сказала, что собираюсь ее навестить — жила она тогда у старой приятельницы в Сокольниках[10].

— Буду рада вам,— сказала Анна Андреевна,— но не будет ли вам трудно? Это пятый этаж без лифта.

— Но ведь вы поднимаетесь,— ответила я.

— Ну, я! — бесшабашно отмахнулась она...

Она была удивительно человечна и подчас неожиданно для своего величественного облика внимательна к мелочам, что всякий раз изумляло и трогало меня. Однажды мне пришлось внезапно положить в больницу близкого человека. Я уехала из дому рано утром, а днем примчалась, чтобы собрать и отвезти в больницу необходимые вещи и кое-что из продуктов. У Анны Андреевны кто-то был, она лишь на минутку заглянула в кухню, где я собиралась, и я ничего не стала ей говорить, а рассказала о случившемся лишь вечером, когда мы остались одни.

— Я поняла,— сказала она.— Я догадалась. Когда набивают маслом баночку из-под майонеза, значит, уж непременно ее повезут в больницу...

Мне всегда хотелось расспросить ее об их отношениях с Блоком, но я все не решалась, не могла преодолеть неловкости. И все-таки однажды я решилась. Она отвечала охотно, даже с явным удовольствием:

— Нет, нет, все это нелепые выдумки. Ничего никогда не было. Кому-то понравилась идея: роман Блока с Ахматовой. Красиво получается. Нет, нет, я никогда не была в него влюблена. Ничего похожего...— И, помолчав, продолжала уже другим, доверительным тоном: — Только однажды... Мы выступали вместе на благотворительном концерте в пользу нуждающихся студентов. После концерта какой-то студент пошел нас провожать, усадил в пролетку и сам уселся на откидную скамеечку. Блок стал его уговаривать не провожать нас: «Не тревожьтесь, молодой человек, мы сами доедем». Но тот настаивал: «Нет, что вы, как можно! Я обещал вас проводить! Я обязан».— «Зачем же? Не беспокойтесь. И как бы вы не простудились»,— не унимался Блок, хотя дело было летом и вечер стоял душный. Было ясно, что он не прочь избавиться от провожатого. Студент, однако, не отступился, и так мы и доехали... Отвяжись он, и — кто знает, как бы все обернулось. Видно, не судьба!..

Зашла как-то речь о Горьком. Анна Андреевна с негодованием относилась к тому, что люди подчас разрешают себе недостаточно почтительно говорить об Алексее Максимовиче.

— Постыдились бы, право,— говорила она резко и сухо.— Если бы не он, многие из них просто бы не выжили. Горький

спас петербургскую интеллигенцию в трудные годы. Стыдно забывать такое.

Она была глубоко благородна и умела быть благодарной...

Осенью шестьдесят пятого года она заболела и надолго слегла в Боткинскую больницу. Ее друзья составили жесткий график посещений, и каждому желающему повидать Анну Андреевну следовало заранее подать заявку. Иначе едва ли удалось бы справиться с «ахматовкой» — так она сама называла коловращение людей вокруг себя. Но мне, по правде говоря, на таких жестких условиях не захотелось включаться в поток посетителей, который и без меня был нескончаем. Но я-то что! — случилась неизмеримо более горькая накладка. Лев Николаевич Гумилев после долгой разлуки приехал в Москву повидать мать, но, придя в Боткинскую больницу, не смог получить разрешения на свидание, не был предусмотрен, не подал заранее заявки. Ему удалось только передать записку. Соседка по палате рассказывала, как взволнована была Анна Андреевна этой запиской и тем, что сын не был к ней допущен. Настолько взволнована, что, вопреки своей обычной сдержанности, целый вечер вслух возбужденным голосом говорила о том, как ужасно все получилось.

— Как же не понимают мои друзья,— сетовала она,— что это сын мой единственный, самый близкий мне человек, наконец, единственный мой наследник...

Наследник? Какое странное в устах ее слово! Значит, уже задумывалась о конце? Ощущала его приближение? Готовилась к нему?

Мы встретились после выхода ее из больницы на Ордынке, у Ардовых. Она была спокойна, хорошо себя чувствовала, собиралась в санаторий, полна была планов на будущее. И так хотелось быть с ней заодно, ни о чем не тревожиться, ничего не загадывать. И, как чаще всего случалось и в прошлые наши встречи, я все-таки о многом из того, о чем собиралась ее спросить, спрашивать не стала. Не успела или подумала: не стоит сегодня, в другой раз... Куда торопиться? Увидимся еще. Успею еще. Не успела.

Она уехала в санаторий с Ниной Ольшевской. Ехать туда ей не хотелось, не любила она санаториев, но поехала потому, что врачи настаивали, потому, что хотела, очень хотела поправиться и жить дальше и жить долго. «А там,— рассказывала Нина Антоновна,— ей вдруг все понравилось, и она обрадовалась и на другое утро проснулась радостная, с охотой собираясь отдыхать, лечиться, гулять, поправляться». Вот и все. Тут оно и грянуло.

Анна Ахматова. Ташкент. 1943 г.

Светлана Сомова

АННА АХМАТОВА В ТАШКЕНТЕ

Прежде чем я в Ташкенте увидела Анну Андреевну, мне принесли ее стихи, написанные на тетрадных листках четким, с наклоном вправо, детским почерком. Подумалось, что стихи переписывала школьница, но это был ее неповторимый почерк, не такой уж детский, если приглядеться. Кто принес, не помню, но произошло это потому, что я работала в Союзе писателей консультантом и собирала стихи для альманахов.

Побежала к Ахматовой.

Это был ноябрь сорок первого года. Поздняя осень или зима по-ташкентски, схожая с осенью, когда голые деревья, мокрые листья в грязи, серый свет, пронизывающие сквозняки...

Дом на улице Карла Маркса около тюльпановых деревьев, посаженных еще первыми ташкентцами. Двухэтажный дом, в котором поселили эвакуированных писателей. Там были отдельные комнаты, не общежитие, как пишут в примечаниях к книге Ахматовой 1976 года. Непролазная грязь во дворе, слышный даже при закрытых окнах стрекот машинок. Во дворе справа лестница на второй этаж, наружная. Вокруг всего дома открытый коридор, и в нем двери. Дверь Ахматовой.

На кровати — Анна Андреевна, закрытая чем-то серым: она болела. Белые, невероятной чистоты линий открытые руки, усталые глаза, а на губах — легкая улыбка. Она заметила, что я смутилась, и, как бы ободряя меня, сказала: «Ничего, сейчас все пройдет». Протянула свою нежную руку — и огонь в печке загорелся. Я не помню уже, о чем говорили, не помню ни дыма, ни холода, ни тревоги, ни бедности, а только ее глаза. Они не светились, но в них был внутренний огонь такой силы, что, кроме ее глаз, ничего не существовало. Своим негромким, чуть ироническим голосом, медленно произносящим обычные слова, а иногда особенно звеневшим, она читала стихи.

Да, в тяжкие дни войны, в тревоге, в бедности, в холоде и болезни она читала стихи впервые увиденной неизвестной женщине! Звучали слова «И в пестрой суете людской...», «Легких рифм сигнальные звоночки...», «Ноченька! В звездном покрывале...». Тогда же она мне их дала, и мы с Луговским

включили их в сборник «Родной Ленинград», который тогда выпустили.

Помню зал Военной академии имени Фрунзе. Запах натертого пола и новых гимнастерок, яркий свет. Ахматова читает стихи. Строгая, стройная, в чем-то темном. Тогда не было микрофонов, и мы все перед аудиторией старались усилить голос, почти кричали. Но Ахматова читала тихим голосом. И благоговейная тишина сразу ее окружала при первых словах: «Мы знаем, что́ ныне лежит на весах...» Такова емкость ахматовского слова. Передо мной встают лица офицеров, вначале официальные, а потом как бы согретые душевным теплом. Гул одобрения, гром аплодисментов. Ахматова не кланялась в ответ, она слегка наклоняла голову, рукой как бы отстраняла шум особым жестом, снимающим аплодисменты, и читала стихи дальше.

В годы войны Ахматова жила жизнью активной и патриотической.

На этом вечере в Военной академии были Гафур Гулям и Иоганнес Бехер, Хамид Алимджан и Якуб Колас, Шейхзаде и Эмиль Мадарас, Владимир Луговской и Иосиф Уткин, Николай Ушаков и Николай Погодин.

Писатели часто шли со своими стихами, рассказами в госпитали. Ахматова тоже ходила.

В госпиталях тогда лежали изувеченные больные, нередко без рук и без ног. Санитарки и сестры самоотверженно за ними ухаживали, называли их, по русской привычке не поддаваться горю, «самоварчиками». И вот в одной большой палате (бывший класс школы, занятой госпиталем) лежал такой горько страдающий молодой человек. Мы боялись к нему подходить, чтобы не задеть своим сочувствием; он все время молчал, не отвечал на вопросы, сестры по глазам догадывались, что ему бывало нужно.

Ахматова сразу подошла к нему, молча села около кровати. Я не видела ее глаз, но, верно, они были горькими. А потом она стала тихим голосом читать стихи о любви — «Годовщину последнюю празднуй...», «Я с тобой не стану пить вино...», «Как белый камень в глубине колодца...» и другие.

Непонятно было, как и зачем читать такие стихи полуживым людям. Но в палате стало тихо. Лица разгладились, посветлели. И этот несчастный юноша вдруг улыбнулся. Тело-то ранено, жизнь висит на волоске, а душа — живая, отзывается на любовь, на правду... Анна Андреевна часто приходила к этому юноше, которого полюбила. Как она рассказывала потом, одна из молоденьких и хорошеньких сестер, потерявшая на войне всех близких, взяла его к себе после госпиталя, вышла за него замуж. Анна Андреевна, которую он почему-то называл своей спасительницей, бывала у них в гостях, помогала им. Так одно горе, столкнувшись с горем

других, пережитые совместно, становятся чем-то даже крепче счастья.

Ахматова заболела, как оказалось, брюшным тифом. Она металась по кровати, лицо было красным и искаженным. «Чужие, кругом чужие! — восклицала она. Брала образок со спинки кровати: — На грудь мне, когда умру...» И какие-то бледные беспомощные женщины были вокруг...

Я бросилась к Бусселю. Буссель Григорий Аронович — чудесный черноглазый человек с ироническим лицом, известный терапевт, тогда уже доктор медицинских наук, руководил больницей в Ташми.

Он немедленно пошел со мной на улицу Карла Маркса, осмотрел Ахматову и взял к себе в больницу. Анна Андреевна в больнице написала такие трудные стихи:

Где-то ночка молодая,
Звездная, морозная...
Ой, худая, ой, худая
Голова тифозная.
Про себя воображает,
На подушке мечется,
Знать не знает, знать не знает,
Что во всем ответчица,
Что за речкой, что за садом
Кляча с гробом тащится.
Меня под землю не надо б,
Я одна — рассказчица.

Наверное, одно из главных слагаемых в характере Ахматовой — сила сопротивления.

Она поправилась довольно быстро и, худая, с черными четками на шее и сохранившейся челкой, которую хотели остричь, а она не дала, улыбалась мне и Григорию Ароновичу в коридоре больницы.

Затем наступил сорок третий год, вышла книжка в «Советском писателе» — это был филиал издательства, с главным редактором Александром Николаевичем Тихоновым и милейшим секретарем Раисой Альбертовной. Руководил издательством художественный совет во главе с Алексеем Толстым.

Не могу не вспомнить с нежностью и благодарностью Александра Николаевича Тихонова[1] (он писал воспоминания под псевдонимом Серебров), сыгравшего большую роль в русской литературе. Редактор Чехова и Горького, скромнейший и благороднейший работник, он с уважением относился к Анне Андреевне, дружил с нею, редактировал ее книжку, и она относилась к нему с полным доверием.

В добрых отношениях Ахматова была и с Владимиром Луговским, ее рыцарем и почитателем; он целовал ей руки, провожал, поддерживая за локоток, но такова была сила воздействия Ахматовой, что, когда они шли рядом — хрупкая

немолодая женщина и широкоплечий мужественный мужчина, казалось, что он опирается на нее, а не наоборот.

Когда они с Ахматовой читали стихи на Жуковской у Елены Сергеевны Булгаковой, которая много помогала им обоим,— это был эстетический праздник.

Появилась Ксения Некрасова в своем лохмотьевом пальто и с котомкой, полной интереснейших стихов, пришла к Ахматовой, сказала: «Я буду у вас ночевать». Вы, мол, на кровати, а я на полу, только дайте мне свой матрасик. Потом она попросила одеяло, потом — подушку, и Ахматова ей все отдавала. «Ну что ж,— говорила Анна Андреевна,— Ксения считает, что если она поэт — ей все можно. А она — поэт». Потом Ксения покусилась на кровать Анны Андреевны, и не знаю, чем бы все это кончилось, если бы она не нашла себе более удобного жилища. Ксения Некрасова посвятила Ахматовой удивительные стихи: «И ложатся под ноги ей тени облачками, львами с гривами цветов».

Как-то я попросила ее поговорить с девушкой, начинающей поэтессой, талантливой, но не признающей никаких моих замечаний (я работала консультантом). Ахматова отказалась. «Разве можно научить писать стихи? Надо показать неудачные строки, сказать — вот тут. Если человек поэтически одарен, сам поймет, а не поймет, значит, и не надо ему понимать». Вот так. И категорично. Она умела быть резкой.

В те годы в Ташкент привозили эшелоны детей, оставшихся без близких и без крова, сиротские эшелоны. Узбеки брали детей к себе в семью, многих вырастили. Интересные выросли люди, знающие узбекский язык, как родной, настоящие интернационалисты. Тогда Гафур Гулям написал свое известное стихотворение «Ты не сирота», и до сих пор печатающееся в моем переводе:

Разве ты сирота?.. Успокойся, родной!
Словно доброе солнце, склонясь над тобой,
Материнской, глубокой любовью полна,
Бережет твое детство большая страна.

Ахматова любила эти стихи и внимательно относилась к их автору, считая его одним из лучших поэтов Востока.

Рассказывая об Ахматовой на узбекской земле, интересно вспомнить один характерный и, пожалуй, уникальный день.

Это было раннее лето, вероятно, май 1944 года. Здание Союза писателей на Первомайской в Ташкенте. По коридору идет Ахматова в сером костюме и туфлях на низком каблуке. К ней подходит Гафур Гулям. Гафур Гулям был легендарной личностью... Узбеки называли его «Гафур удивительный». И красив он был красотой особенной, умными, проницательными, какими-то мгновенными глазами и темно-смуглым лицом с бронзовой медали. Так вот, подходит Гафур к Ахмато-

вой и говорит ей: «Вас зовут Анна, а по-узбекски ана — мать. Поедем со мной в кишлак на янги ер — новую землю, там завтра пускают первую воду на пустынные поля». Ахматова сделала отрицающий знак рукой, но Гафур взял эту руку за локоть: «Как мать, вы должны...» Она благодарно улыбнулась: «Но я не знаю по-узбекски. Как же?..» Гафур Гулям подозвал Саиду Зуннунову: «Вот вам переводчик, она будет помогать вам и все рассказывать».

Ехали по летнему городу, сквозь пух цветущих тополей, по шоссе, окруженному молодыми ивами и поющими арыками, изредка сквозь эту свежесть как бы прорывалось сухое марево Голодной степи, которая веками не знала воды и только теперь, несмотря на все тяжести войны, кое-где начинала дышать влагой. Степное марево, приближаясь, опаляло щеки, как пламя из открытой печи.

А Гафур веселился (он всегда веселился и поражал), нараспев, очень музыкально, читал на фарси Омара Хайяма; Ахматова попросила перевести. Гафур прочел еще раз, а Саида, строку за строкой, как подстрочник, переводила на русский, объясняя что-то по пути. Вдруг я заметила, что губы Анны Андреевны безмолвно шевелятся, Саида заметила, замолчала, и Гафур, обернувшись, заметил и замолчал. Это было чудо — три поэта своей особой интуицией почувствовали поэтическую волну поэта четвертого. Она пошептала что-то и внезапно прочла вслух:

Если пьешь ты вино, только с умным дели его, друг.
Иль с красавицей тюльпаноликой, стыдливою, друг.
Много лучше не пей и грехов своих не открывай,
Пей один, пей тайком эту чашу счастливую, друг.

Это было удивительным примером сотворчества, того, что я называю дружбой вдохновений. Ритмичная, прелестная по своей певучей пластике мелодия персидского рубаи, русский с узбекским акцентом язык Саиды Зуннуновой и, наконец, мягкий, удлиненный по-восточному, на нежном русском языке перевод Ахматовой, точный по смыслу и с редифом, как было у Хайяма.

А потом был узбекский глиняный домик с плоской крышей на краю пустыни Мирзачуль. Поперек шоссе, с которого мы сворачивали, висел транспарант, на узбекском и русском языках было написано: «Комсомольцы, с карты родного края сотрем название «Голодная степь»!» Тополевая аллейка, по которой мы подъехали, упиралась прямо в домик из глины и камыша, перед ним был хауз, такой небольшой четырехугольный пруд, обсаженный тополями, а рядом — чайхана, строение на балках, без стен, с камышовой крышей, дощатый пол застелен выцветшими коврами, а на них — курпача, подстилки типа узкого матрасика, с подушками. На них сидели люди вокруг огромного, горевшего начищенной медью самовара.

Гафур что-то сказал, хозяин поднялся, поздоровался с Ахматовой, пожимая ее руку двумя руками и говоря: «Салям алейкюм, Анахон». «Здравствуйте, матушка»,— перевела Саида. Нас повели в женскую половину дома — в ичкари. Тут нас обступили женщины, тоненькие, в платьях из ханатласа, с выгнутыми черными бровями, усадили на курпача, разложили дастархан — скатерть-самобранку — с урюком, солеными жареными фисташками, персиками, сушеной дыней, с восточными сладостями, которые в моем детстве узбеки продавали возле школы... А утром начался праздник пуска воды, в котором принимало участие множество народа, ведь это была народная стройка.

Утро это началось приближающейся со всех сторон музыкой: гремели бубны, пели узбекские свирели — наи, ревели, как тигры, карнаи — огромные трубы с длинным узким горлом и большими раструбами, шли и ехали нарядные люди. Приехали артисты, гости. Нас посадили в грузовик, на Ахматову надели белый прозрачный домотканый шелковый платок.

В честь окончания такой работы устраивалось всенародное празднество — знатные люди, победители в соревновании, кетменями срывали перемычку, и вода с шумом текла в новое русло, на новую землю.

...Потом был праздничный дастархан, праздничный плов. Сидели уже вместе и женщины, и мужчины. Гафуру предоставили слово, он сказал, что вот, мол, женщина, она шаирашункар (это значит поэт-орлица, причем он сказал не «езучи» — писатель, а «шаира», что означает «народный певец»), она прилетела к нам из борющегося города Ленина для того, чтоб в нашу пустыню вести воду. Саида, растерявшись, не перевела этого Ахматовой, а та поняла, что надо читать стихи. Читала она медленно, очень певуче и проникновенно, а колхозники, большинство которых не знало русского языка, качали тихо головами в такт ее певучей речи.

Ахматова читала:

Все опять возвратится ко мне,
Раскаленная ночь и томленье
(Словно Азия бредит во сне),
Халимы соловьиное пенье
И библейских нарциссов цветенье,
И незримое благословенье
Ветерком шелестнет по стране.

...Помню вечер Ахматовой в Москве в дубовом зале клуба писателей. У входа в клуб стояла толпа, была милиция, я еле пробилась. Ахматова шла навстречу, высокая и торжественная, вокруг нее были Фадеев, Берггольц, Федин, Чуковский, Сурков, Маршак, Алигер.

...Голос ее, читающий стихи, звучал как траурный марш Шопена.

Я. З. Черняк

ИЗ ТАШКЕНТСКОГО ДНЕВНИКА

14.VI.42

Здесь Анна Ахматова.

К ней паломничество. В. Волькенштейн[1], живший одно время, вскоре после приезда сюда, рядом с нею, одно время даже в одной комнате, жалуется:

— Люди идут к ней — стаями; она вывешивает записку на двери: работаю. Не помогает.— Это выражение любви не кажется ему искренним: идут, потому что Ахматова в чести, признана властью, кажется влиятельной.

Артистка Ф. Раневская рассказала: записки с ее двери исчезают, потому что — автограф.

Ахматова человек исключительной духовности, строгости, чистоты. От всех благ и преимуществ, щедро предлагаемых ей местным руководством, отказывается. «Как я возьму это, когда все мои близкие погибли в Ленинграде». От квартиры тоже отказалась. Живет намеренно трудно.

Поза? — Нет, схима.

Я вспомнил, как в 1922 году схлестнулся с Маяковским на так называемой «чистке поэтов» из-за Ахматовой. Когда он на мотив «Ухаря-купца» издевательски спел:

Слава тебе, безысходная боль!
Умер вчера сероглазый король...—

я вскипел и выступил с речью.

Я говорил, что Маяковский оборотень. Что поэт, написавший «Скрипка и немного нервно», «Мама и убитый немцами вечер», «Послушайте, если звезды зажигают...»,— не может не любить Ахматовой... Я требовал оставления Ахматовой в числе первых поэтов наших...

Маяковский ответил язвительно...

— Есть такие р-р-революционеры: говорят, все можете разрушать, разрешаю... только Тургенева не трогайте, я его очень люблю.— И дальше: — Ахматова разрушена революцией — ее вычистить приходится — хочешь не хочешь.

Раневская подтвердила мою догадку. Ахматова говорила, что Лиля Юрьевна показывала ей письма Володи, переполненные ее стихами[2].

Точно. Любил, очень любил.

Вл. Волькенштейн рассказал:

Ахматову вывезли из Ленинграда на самолете. Ночью, по пути, самолет сел на секретном аэродроме. Ахматова в полной тьме вышла из самолета. «Где мы?» — обратилась она к еле уследимым силуэтам, возившимся около машины. Естественно, ей никто не ответил: аэродром был секретный. «Где же мы?» — повторила она потерянно и отчаянно. Снова молчание. Ахматова заплакала.

Раневская говорит: Ахматова написала замечательную «Поэму без героя». 1913 год. Обещала устроить чтение.

14.VII.42

Вчера вечером с Дмитрием Ивановичем Ереминым у Анны Ахматовой. Раневская. Вдруг — Надя Мандельштам. Почему-то очень обрадовался. Удивительный вечер. Комнатка крошечная. Окошко чердачное. Раскалено за день под чердачной крышей. Окно открыто, а духота не уходит. Лежит — два дня нездорова. Между двумя стенками угол занят висящими на палке платьями. Жилище зашедшего сюда на день, на вечер... А она здесь с 11 ноября 1941 года. Из Ленинграда 28 сентября была вывезена «в брюхе летучей рыбы», как сказано в неоконченных стихах — «Эпилоге» Анны Андреевны. Через фронт — в Москву. До октября в Москве. 12—13 октября позвонил Фадеев и сказал — должна уезжать. Уехала в Чистополь — к Лиде Чуковской [3]. Та в сборах в Ташкент. Уехала с нею в вагоне Маршака. Доехали через месяц до Ташкента. Маршак уговаривал остаться в Алма-Ате — хотел за нею приехать в Ташкент — не приехал. Так и осталась. «Самое трудное произошло, когда меня увезли из Ленинграда, а остальное неважно».

Но главное — стихи! Какой поэт! Весь в музыке, в сдержанной музыке, которой искусаны губы, измучены прекрасные руки. Сдержанный, закованный порыв. Извержение, остановленное чеканщиком. Читала поэму «1913 год, или Поэма без героя». Посвящение. Вступление. Первая глава, вторая. Третья — «Решка» — послесловие. Написана в самом конце 1940 г. Тема — спор с временем, горький обман Коломбины, восставшей схимницы, гибель Пьеро (корнет — гусар, положивший себя на пороге изменницы). Эпиграфы из Байрона, Аббата да Понте (либретто к «Дон Жуану») — ко всей вещи. Из пушкинского «Домика в Коломне» — «Я воду Леты пью, // Мне доктором запрещена унылость»; из Хлебникова — ко второй главе. Это поэма о том, как жизнь шла вне жизни и становилась трагическим звуком.

Еремин говорит: как старинная постройка — с башенками, пристройками, балконами. Нет — как лирические поэмы Байрона. Как первые — байронические — Пушкина. Вместо сюжета — музыкальные наплывы, боренье тем — желающих

вместиться в лирику, вернуться к ней. Удивительным является возвращение к этому — в позднем творчестве. Напомнил Анне Андреевне «Спекторского». Сказала: очень верно.

Читала лирику. Стихи о Ленинграде. О погибшем ребенке, о закопанных в землю статуях Летнего сада. О дальнобойном ленинградском — громе орудия. Удивительные восьмистишия. Лаконизм потрясающий. И сила поэтическая необыкновенная. Слово — как молния, как меч, как старинная важная дверь, закрывающаяся тяжко, как бы навсегда.

Я напомнил — японские танки.

Сказала очень нежно: «Здесь мы узнали простые и важные вещи. Как прекрасен звук льющейся воды и что древесная тень ничем не заменима... Все, о чем мы читали в восточной поэзии и не очень верили...»

Как я счастлив, что жизнь подарила мне в душном и знойном городе, переполненном скрежетом войны и бедствий, эту чистую, прекрасную встречу. Еще один высокий взлет души, уже, кажется, разучившейся летать.

Г. Л. Козловская

«МАНГАЛОЧИЙ ДВОРИК...»

Всходя по изношенным ступеням старого дома, я думала: неужели я сейчас увижу ее, ту, что написала — «И дикой свежестью и силой мне счастье веяло в лицо»?

Когда Женя постучала в дверь, на которой краской было выведено: «Касса» — вокруг окошка для выдачи, я подумала, что она ошиблась. Но из-за двери послышался голос, низкий и слегка глуховатый, голос Анны Андреевны Ахматовой, ее живой, неповторимый голос.

Я впервые увидела ее сидящей на стуле, освещенную тусклым светом лампочки вверху, зябко кутающуюся в серую старую шубку. В первые минуты я напряженно вбирала в себя все приметы ее облика, ее осанку, сдержанные движения рук, тихие интонации ее голоса. Сразу, одновременно поразили — гордость и сиротство. И тут же словно от нее исходило веление — «Не сметь жалеть».

Ее внутренняя сила сразу поражала ясно ощутимым присутствием духовной несломленности, непокоренности, и ее словно не касались бедность и неустроенность личного существования.

Когда я взглянула ей в глаза, я прочла в них ту же муку, что таилась в глубине большинства женских глаз тех дней, но у нее еще была та особая печаль, которая хранила в себе познание беды, блокадных испытаний.

Память о них и о тех, кто «там погибать остался», никогда ее не покидала, и мне тогда казалось, что она все еще хранила в себе всю стужу ленинградских дней и ночей и не оттает никогда.

Всю жизнь ее стихи были любимы, душа всегда знала их бесценность, и вот теперь она была передо мной.

Куда-то отошли все клише ее изображений — блистательные и прекрасные.

Лишь потом, как бы очнувшись, я оглядела конурку, в которой ей было суждено первое время жить. В ней едва помещалась железная кровать, покрытая грубым солдатским одеялом, единственный стул, на котором она сидела (так что она предложила нам сесть на постель). Посередине маленькая нетопленая печка-«буржуйка», на которой стоял помятый железный чайник и одинокая кружка на выступе

Г. Л. Козловская. Ташкент. 40-е годы

окошка «Кассы». Кажется, был еще ящик или что-то вроде того, на чем она могла есть.

В каморке было холодно, тусклая лампочка лишь усиливала тоскливость этого одинокого угла, его нетопленость и случайность. Я вспомнила, что эта «Касса», загнанная на задворки черного хода, являлась частью здания, которое раньше занимало учреждение — «Управление по делам искусств», выходившее своим фасадом на Красную площадь.

Здесь, в прежних приемных и отделах, разместились эвакуированные писатели, и Анне Андреевне досталась «Касса». Было что-то глумливо-ироничное, но совершенно единое с гофманианой ее жизни и судьбы, что ей, самой безденежной из всех людей, суждено было жить в помещении, где до войны шелестели купюры и выдавались суммы, часто немалые, преуспевающим писателям.

Я почти ничего не помню из того, о чем говорила Анна Андреевна с Женей и что она говорила мне в тот первый день. Но на всю жизнь запомнились слова, когда она, прощаясь с нами, протянула мне руку и неожиданно сказала: «Вы будете приходить ко мне?» У меня радостно дрогнуло сердце, и она, вероятно, прочитала на моем лице то, что не нуждалось в словах подтверждения.

Когда я шла домой, шел дождь. Холодный ветер косил его в лицо. Небо было совсем не среднеазиатское, а нависло тоскливой хмурью над землей.

Я возвращалась в ту жизнь, где мы жили со сжатыми сердцами. Шла война. Там, далеко от нас, совершалось самое страшное, что может совершаться на земле. Наши глаза не видели той страшной яви, но она врывалась кошмарами в наши сны, пока мы спали в тишине далекого надежного тыла. Но люди, жившие в тылу, знали великое напряжение, великие усилия. Люди знали, что и от них зависит участь победы.

Помочь выстоять, не дать погибнуть другим и выстоять самим. Ожили самые сильные чувства сострадания, доброты, любви, помогавшие преодолеть слабеющие физические силы. Нужна была духовная крепость.

У тыла было свое мужество и свои подвиги.

Я дружбой был как выстрелом разбужен.

Осип Мандельштам

В первый раз Ахматова переступила порог нашего дома в новогодний вечер, чтобы вместе с нами встретить свой первый в Ташкенте Новый год.

Снимая с нее ее негреющую шубку, Алексей Федорович[1] воскликнул: «Так вот вы какая!» Вероятно, что в его веселом молодом голосе было что-то, что заставило ее улыбнуться и, разведя руками, в тон шутливо ответить: «Да, вот такая. Какая есть». И исчезла вся напряженность первого мгновения знакомства.

Алексей Федорович поцеловал ей руку, сначала одну, потом другую, и так уж затем повелось навсегда, что при встрече и прощании он целовал ей обе руки. Она направилась к печке, стала к ней спиной и начала греть руки. И тут мы увидели, что она по-прежнему стройна и прекрасна. В тот вечер глаза у нее были синие. В иные дни они бывали и серыми, иногда голубыми. Еще не седые волосы, цвета соли с перцем, мягко и легко обрамляли ее патрицианскую голову, и вся ее фигура в светло-сером костюме обрисовывалась необычайно изящной, стройной и почти воздушной.

Во все времена своей жизни она была прекрасна. Ее красота была радостью художников. Каждый находил в ней неповторимые, пленительные черты характера. Даже в старости, отяжелев и став тучной, она обрела особую благородную статуарность, в которой выявилось отчетливо и покоряюще величие великолепной человеческой личности.

В те дни все мы жили сводками с фронта, и, верно, не было тогда в Советском Союзе человека, который бы не замирал перед репродуктором, откуда звучал голос Леви-

тана. В этот вечер вести были неутешительные. Все примолкли, каждый ушел в свою печаль, стало тихо. Я взглянула на Анну Андреевну. Она стояла прямая и словно застывшая. Должна сказать, что я редко встречала человека, который мог бы сравниться с ней в ее целомудренной и глубокой любви к России. Она оберегала ее от расхожих слов и стереотипных выражений, на которые были в то время многие тороваты. В ее присутствии такая болтовня о войне была невозможна. Ей это чувство было так же свойственно, как дыхание, глубокое, сильное и оберегаемое. Прикасаться к этому походя никому не дозволялось.

Нарушив молчание, она вдруг сказала: «Хотите, почитаю последние стихи?» И прочла нам пролог из «Поэмы без героя», начинающийся словами: «Из года сорокового, как с башни, на все гляжу».

Затем, что, к чаянному близясь страстно,
Наш ум к такой нисходит глубине,
Что память вслед за ним идти не властна.

Данте. Божественная Комедия

Впечатление от пролога осталось навсегда.

И с этой ночи началось одно из самых удивительных событий нашей жизни. Судьбе было угодно одарить нас чудом, сделав свидетелями того, как в течение двух лет росла и творилась поэма.

С того новогоднего вечера Анна Андреевна стала приходить к нам часто. Иногда это бывало каждый день, иногда через 2—3 дня. И мы знали, что она спешит к нам, чтобы прочитать написанное и получить от нас отклик сердца.

Поэма росла и развивалась как дерево, прорастая все новыми побегами. Мы видели, как поэт ломает одно, заменяя другим, и поэма, разрастаясь, становилась все фантастичней, загадочней, призывно притягательной в своей энигматичности.

Многое в ней было непонятно. Иногда просто потому, что многие реалии были неведомы и не могли быть ведомы нашему поколению. Другое же вследствие того, что автор уходил в такие темные подземелья памяти, где только он один не шел на ощупь.

Ошеломляли неустанность творческого напряжения, появление и оттачивание все новых граней, форм. От одних эпиграфов захватывало дух и кружилась голова. Начиная от итальянского текста моцартовского Дон Жуана — «Смеяться перестанешь раньше, чем наступит заря» — и кончая Хемингуэем — «Я уверен, что с нами случится самое ужасное» — из «Прощай, оружие».

С годами их становилось все больше и больше. Сотни

отблесков чужой мысли врастали в поэму. И мне кажется, что если бы собрать всю их многочисленность, то в своем множестве они выросли бы в поэму сами по себе.

Ее чтение придало этой ночи какую-то особую торжественность.

И когда часы пробили полночь и мы подняли бокалы, был произнесен один-единственный тост — «За всех, кто там». А про себя каждый молился, прося спасения и победы.

Юмор! Какой бесценный дар отпущен человеку!

В отношениях Анны Андреевны и моего мужа юмор сразу стал цементирующей основой их симпатии, а затем прелестной чертой их дружбы. По мере того как Анна Андреевна оттаивала, росла и взаимная доверчивость, понимание, и чудесный дар веселого смеха становился все искренней.

Могу засвидетельствовать, что у обоих этих людей чувство юмора было неповторимым и блистательным. Оно, конечно, присутствовало всегда, при всех общениях с разными людьми и всегда по-разному. Но когда два этих человека встречались, они становились словно катализаторами друг для друга. Юмор срабатывал мгновенно и был чем-то плодотворным в дальнейшем общении, высоком и увлекательном.

Искусство высокого собеседничества, а это действительно ныне утраченное искусство, у Ахматовой было ослепительным.

Из множества блистательных собеседников, встреченных мною в моей жизни, ей был равен, пожалуй, только композитор Михаил Фабианович Гнесин. Он был златоуст, мудрец, художник, и все, что он говорил, было поразительно по глубине охвата жизни и искусства.

Анна Андреевна была полным выражением двух стихий — поэзии и женственности.

Постепенно ее жизнь и быт как-то налаживались. Писательская братия, жившая с ней в одном доме, о ней как могла заботилась.

Она не знала больше голода.

Нужно сказать, что республика делала все и заботилась о том, чтобы облегчить жизнь измученным блокадой и войной людям.

Вообще война, разрушив столь многое, обнажила с необыкновенной беспощадностью добро и зло человеческих сердец и натур. Как часто приходилось видеть, что люди, которых до войны знала и считала красой и образцом всего, что было интеллигентного, гуманного и высокого, вдруг в трудные дни обнажали какой-то звериный оскал, низость, полное бессердечие и равнодушие ко всему, кроме своего утробного существования.

Как-то я с грустью заговорила об этом с Анной Андреевной. И она мне сказала: «Да, есть люди, у которых

вместе с подошвой и душа отваливается». Слова, на всю жизнь хранимые памятью.

Позднее Анна Андреевна переехала на улицу Жуковского, 54.

С тех пор начались долгие провожания с Хорошинской улицы на Жуковскую. Это было довольно далеко, и эти, обычно ночные, прогулки вместили много чудесных бесед. И Азия, по которой мы ступали, порой перемогала ее ностальгическую тоску по Ленинграду.

Алексей Федорович не раз водил ее гулять и днем. Уводя ее в дебри Старого города, он пытался приоткрыть ей все, что он смог сам полюбить, всю прелесть и очарование узбекской народной жизни. Приводил он ее в узбекские дворики, иногда знакомые, иногда незнакомые. О них же тогда художник Александр Николаевич Волков[2] писал в своих стихах — «И за каждым дувалом неожиданный Рай».

Привел он ее однажды в тот «рай», где мы прожили три года до войны. Два дома, два сада с черешнями и персиками, которые то цвели, то плодоносили. У стены серебристая джида, у которой одно из самых благоуханных цветений на земле. Урючина и огромный тополь укрывали половину сада и мангал в углу, где почти всегда тлел огонек. Там было все — и виноградная лоза, и розовый куст, и арык, бегущий вдоль дорожек, где притаилась душистая мята всех оттенков и ароматов. Все чисто, все полито. С приходом гостя — сразу вскипающий самовар и на подносе дастархан — угощение, сушеный урюк и изюм. Все солнечно, все приветливо. И добрая тень в жаркий день, и добрые руки для приветствия.

В тот же день Алексей Федорович показал ей свои фотографии, сделанные там в те годы. Среди них была и одна моя, которая ей очень понравилась. Она попросила ей ее подарить, но Алексей Федорович из-за суматохи военных лет не сдержал слова.

Зато через три дня она принесла мне листочек со стихами, которые я бережно храню. Подарила и поцеловала. На листочке написано — Галине Герус*:

Заснуть огорченной,
Проснуться влюбленной,
Увидеть, как красен мак.
Какая-то сила
Сегодня входила
В твое святилище, мрак.
Мангалочий дворик,

* Примечание: я долго носила свою девичью фамилию — Герус. Иногда писала Апостолова-Герус. Апостолова — фамилия матери.

Как дым твой горек,
И как твой тополь высок.
Шехерезада
Идет из сада...
Так вот ты какой, Восток.

За глаза, другим, Анна Андреевна называла меня «моя Шехерезада», а мужа «козликом», как называли его друзья.

Дом на Жуковского, 54 состоял из нескольких построек — направо, налево главный особняк и строение в глубине двора. К нему была словно прилеплена снаружи деревянная лестница, ведшая наверх, на балахану (вероятно, наше слово «балкон» пришло с Востока, как и множество других). Еще до переезда Анны Андреевны туда там уже жили писатели — Иосиф Уткин, Луговской, Погодин и другие, кто еще, не вспомню, вероятно, потому что их не знала. Всегда, как, бывало, войдешь во двор, справа дымились мангалки, сделанные из старых ведер, а вокруг них топтались женщины, неумело варившие на них еду. В жаркие, томительные ночи почти все обитатели этого дома выносили свои постели и спали во дворе.

Однажды Ахматова озорно скаламбурила: «Все спят во дворе. Только мы с Луговским не спим на дворе».

На балахане некоторое время жила Елена Сергеевна Булгакова, и, когда она уехала, эту жилплощадь предоставили Ахматовой. Это была длинная большая комната, с окном почти во всю длину. О ней Анна Андреевна написала два стихотворения. Одно из них называется «Хозяйка», и в печатных изданиях оно всегда издается в цикле «Новоселье».

Посвящено это стихотворение Елене Сергеевне Булгаковой.

Долго я не могла понять, почему Ахматова назвала ее колдуньей. Лишь много позднее я узнала, что в Ташкенте, вместе с Фаиной Георгиевной Раневской, она читала роман «Мастер и Маргарита» Булгакова. И кто знает, быть может, читала в этой самой комнате на балахане. Поэтому для меня память об этом жилище наполнена двойной поэзией о двух женщинах, прекрасных женщинах, в ней обитавших.

Однажды Алексей Федорович спросил Ахматову: «А как дела со славой?» «О,— ответила она,— тут план перевыполнен.— Но тут же грустно добавила: — Но она влечет за собой зависть и клевету. Мне их досталось с избытком».

Не могу не рассказать о том, какая была удивительная жизнь у нее со своими читателями. Она получала множество писем, просто от читателей и письма с фронта. Помню, как однажды она прочитала мне поразительное письмо от командира воинской части.

Они должны были через полчаса идти в бой, и он писал ей слова любви, благодарил за радость, которая приходила с ее стихами, за то мужество, которое он от нее получал. Кончалось письмо словами: «Анна Андреевна, благословите нас, дорогая». (Помню дословно.)

И таких писем было много, и они доказывали, что нельзя искусственно разлучить поэта с его страной и его народом.

Голод был, прошел и забылся. Но есть два дня, которые я не могу вспоминать без душевного волнения.

Как-то мы ушли. Никого не было дома, но окна были открыты. Когда мы вернулись, на подоконнике лежала плитка шоколада. Это приходила Анна Андреевна, положила и ушла. Это она — блокадница, это видение из другого мира, это она, знавшая голодные грезы, принесла эту шоколадку и, верно, радовалась, что нас нет дома.

И все же, несмотря на очень тяжелую обстановку, в доме нашем шла интенсивная творческая жизнь. Писалась музыка, ставилась наша опера «Улугбек». Люди шли к нам во множестве, самые разные. Шли те, кто ничего не уступал и не отступался от своей духовной сущности. И даже гофманиана нашей порой фантастической жизни не принижала, не уничтожала нас, а лишь усиливала и обостряла наше чувство времени, что тоже дар, который надо хранить.

Вот в эти трудные времена привела к нам Анна Андреевна Фаину Георгиевну Раневскую. Привела послушать только что написанную Алексеем Федоровичем музыку к прологу «Поэмы без героя». Он много раз обсуждал с ней порядок и отбор стихов. Получил ее благословение, и когда закончил, то она написала своей рукой на первой странице строчки начала Пролога.

Пела я ей также и романсы «Ива» («А я росла в узорной тишине...») и «Царскосельскую статую», написанные Алексеем Федоровичем несколько позднеи. На них также на первых страницах написаны оба эти стихотворения. Она любила эту музыку, и не раз, когда приходила, просила ее петь. Сначала я волновалась и боялась ей петь. Но она всегда была очень ласкова ко мне и добра, и постепенно я поборола эту робость, и даже присутствие Раневской меня не смущало.

Кстати, о робости. Всегда у людей, впервые знакомившихся с Анной Андреевной, случалось почти всегда одно и то же. В первые минуты и люди почтенного возраста, и молодые, знаменитые и не знаменитые, почти каждый, знакомясь с ней, робел и лишался обычной непринужденности. Пока она молчала, это бывало даже мучительно. Могу вспомнить одного только Алексея Федоровича, который не оробел

при первой встрече. Потом мы как-то об этом с ней заговорили, и она сказала (помню почти дословно): «Да, вот почти всегда так, но это случается только с теми, кто слыхал мое имя. Когда же я еду, скажем, в поезде и никто меня не знает, все чувствуют себя со мной легко, свободно. Бабы потчуют меня пирожками и рассказывают, сколько у них детей и чем они болеют. Мужчины запросто рассказывают анекдоты и всякие истории из своей жизни. И никто никого не стесняется, и никто не робеет».

В результате многие, кто дальше первого знакомства не пошел, говорили, что Ахматова надменна и неприступно горда. Мне же кажется, что это был тайный защитный плащ — она совершенно не терпела фамильярности и амикошонства, и при жизни ее это было невозможно. Она хорошо знала, как легко и часто люди склонны это навязывать при первой же встрече.

Вот, вероятно, почему ею ставился заслон, как самозащита.

Как хорошо слушала она музыку!

Она почти каждый раз просила Алексея Федоровича играть ту или иную вещь, что он, при своей редкостной памяти, делал легко и просто.

И когда появилась Раневская, музыки не убавилось, но смеха прибавилось, словно в доме стало в три раза больше людей.

Алексей Федорович скоро выяснил для себя, что Анна Андреевна не очень хорошо знала поэзию Хлебникова, хотя хорошо знала его отношение к себе. В годы революционных поэтических манифестов, деклараций, ниспровержений и отрицаний он, назвавшийся Председателем Земного Шара, относился к Ахматовой с чувством какой-то бережливой нежности. Она это знала (а мы это знали от других). Вероятно, он видел в ней женщину с голосом птицы, существо родственной породы. Она же относилась к нему как все женщины — с подобием робости перед явлением сверхъестественным. Она чутьем угадывала в нем присутствие пророческого начала, нечто такое, к чему она боялась и не хотела приблизиться.

Алексей Федорович любил порой огорошить Ахматову неведомой ей строкой, образом или стихом, и она, как гончая, вдруг настораживала ушки и переспрашивала: «Что? Что?» И хоть она не полюбила Хлебникова и не приняла, она иногда не могла побороть свое восхищение. Помню, как однажды Алексей Федорович вышел к нам с томиком Хлебникова в руках. И вдруг прочел, что на Кавказе орлы, парящие в небе, это «Лермонтова медленные брови».

Я просто задохнулась. Взглянув на Анну Андреевну, я увидела одно из ее выражений, которое я так любила. Поч-

ти по-детски поднялась верхняя губка, а глаза стали голубыми.

Алексей Федорович ушел в другую комнату и, сев за рояль, сыграл какую-то замечательную кантилену.

Помню я один холодный февральский день. Дул ветер, и вести с фронта были печальными. Анна Андреевна пришла почти в сумерки. Войдя, она сказала почти повелительно: «Сядьте, я хочу прочесть то, что написала вчера». Это было стихотворение «Мужество». Она понимала, что мы не могли заговорить обычными словами восхищения. Не хотелось говорить, и мы сидели какие-то притихшие. Этот стих был как отлитый колокол, и его судьба была — будить стойкость и гордость в сердцах миллионов людей.

Алексей Федорович поцеловал ей руки и сидя рядом молчал.

Время от времени он опять подносил к губам ее руки и снова молчал. Потом, присев перед ней и глядя ей в лицо, спросил: «Что вы сегодня хотите?» Она ответила: «Давайте сегодня побудем с Шопеном». Он много в тот вечер играл, больше всего этюды, эти самозабвенные порывы славянской гордости и любви. Играл хорошо, словно в концертном зале. Как часто бывало в те времена, погасло электричество, и Алексей Федорович играл при свете старого индусского светильника, который давал больше теней, чем света. И мы знали, что в это время ей надо было много музыки.

Вообще Алексей Федорович ей почти всегда играл, когда она приходила. Всегда после бесед и разговоров все кончалось музыкой, и чем больше мы узнавали Анну Андреевну, тем больше она хотела оставаться в этой стихии.

Должна сказать несколько слов об Алексее Федоровиче как о музыканте и о его многогранной человеческой личности. Он был обладателем легендарного слуха и не менее уникальной музыкальной памяти. Он помнил все, что когда-нибудь слышал, и дирижировал всегда наизусть. Он мог напомнить о себе другу юности, который его не узнал, написав ему страницу партитуры его симфонии, которую тот ему сыграл один раз более тридцати лет назад.

Память его не ограничивалась музыкой.

Он всегда мог читать наизусть целые главы любимой прозы и великое множество стихов. Но это была не только память. Это было необыкновенно тонкое и точное понимание сути искусства. И слух его с необычайной чуткостью воспринимал малейшие погрешности стиха и стиля.

Поэты послабей боялись его суда, настоящие ценили. Анна Андреевна не могла остаться равнодушной к этим свойствам, и они часто углублялись в дебри, которые я не всегда понимала.

Однажды она его поддразнила: «Вот вы так любите «Мед-

ного всадника», а знаете ли вы, что там у Пушкина две нерифмованных строки?»

Алексей Федорович был сражен, и, едва она ушла, он ринулся к своему Пушкину и, лежа на диване, занялся поэтическим следопытством. И вскоре обнаружил очень искусно запрятанные нерифмованные строчки.

Примечательными были отношения Ахматовой и Алексея Федоровича.

Ахматова, художник и человек трагической судьбы, очень скоро разгадала всю глубину скрываемой печали и гордыни у своего молодого друга. Она, как никто, поняла его великое одиночество художника, вырванного насильственно с корнями из родной почвы. И для этого не надо было слов — он это чувствовал по флюидам нежности и понимания. Взаимное понимание отличало их общение особым очарованием. У них появились какие-то слова и свой язык. Ее глубоко трогала сила неугасимого его художественного горения. Понимая, через что должен пройти большой художник, пересаженный на иную национальную почву, она втайне преклонялась перед творческой силой его личности, перед той распахнутостью, влюбленностью в музыкальные и духовные родники открывшегося ему Востока.

Ей нравился тот порыв, с каким он создал свой неповторимый мир, и та поэзия, которой он его наполнил. Друзьям она говорила: «Наш Козлик — существо божественного происхождения». О степени ее доверия и желания поведать нечто глубоко потаенное может служить один день исповеди.

Однажды меня не было дома, и она, придя вдруг, сказала Алексею Федоровичу: «Хотите, почитаю страшненькие стихи?» И она прочла ему пять стихотворений Гумилева, обращенных к ней. Это были стихи великой муки о неразделенной страсти.

Алексей Федорович слушал их потрясенный. Кончив читать, Анна Андреевна сказала: «Эти стихи никто не знает. Их знаю только я одна».

При каждой их встрече они что-то дарили друг другу от себя, то, к чему другому не дано прикоснуться. Бывали у них и споры. Однажды он начал спорить, доказывая, что лучше заменить одно слово другим в одном знаменитом ее стихотворении. Она отрицала, упиралась, но, когда вышла книга, стояло его слово. Он, довольный, повторял: «А все-таки она сдалась».

Постепенно мы узнавали ахматовские вкусы и пристрастия. Их, конечно, невозможно все перечислить, слишком широк был охват явлений. Это было бы смешно делать. Но все же мы поделились тем, кто что перечитывает всю жизнь.

У Анны Андреевны было три великие любви, которые она

перечитывала каждый год. Это были — дантовская «Божественная Комедия», которую она читала по-итальянски, Шекспир — все трагедии, в подлиннике, и конечно же Пушкин целиком.

Я заметила, что она почти никогда не вспоминала театр, то есть постановки и актеров (хотя сама в ту пору писала пьесу). Она так хорошо знала Шекспира, что ей не нужны были ни театр, ни актеры. Лучшим театром было ее воображение.

Но английским произношением не владела, и было трудно ее понять, в то время как трудностями и архаизмами она почти не смущалась. Ей нравился мой английский язык, и она часто просила ей читать вслух Шекспира. Помню, что особенно мы любили перечитывать начало 5-го акта «Венецианского купца» с дивными стихами Лоренцо и Джессики — «В такую ночь». Я потом иногда думала, не откликнулись ли годы спустя в творчестве Ахматовой строчки Шекспира — «В такую ночь печальная Дидона с веткой ивы стояла на пустынном берегу». Хотя Энеида всегда была при ней. Образ Дидоны не раз возникал в ее стихах.

Анна Андреевна довольно равнодушно слушала мои воспоминания о шести великих Гамлетах, виденных мной в Англии, но зато с интересом расспрашивала о моем американском детстве, довольно причудливом.

Данте она любила особенно сильно — он был мерилом глубины и высоты. Однажды, когда мы были у Ахматовой, пришла телеграмма от Лозинского — «Сегодня кончил Рай». Она просветила нас и сказала о нем много дружеских слов, полных любви и почитания. Не без грусти вдруг сказала: «Такой блистательный переводчик для всех вас, а ведь был поэт, писал свои хорошие стихи, так жаль». И вдруг неожиданно: «Вот и Пастернак стал много переводить. Все это нужно, но опасно. Переводы часто становятся пагубой для поэтов».

Я не понимала слов, когда она читала Данте, но меня завораживала музыка слов и ее низкий чарующий голос. Я глядела, как чудесно поднимается ее верхняя губка и как ее удивительная рука, маленькая и изящная, иногда отмечает в воздухе ритмы терцин.

Ее руке характерен не жест, а я бы сказала выражение. Его чуть наметил Модильяни на ее портрете. Три полусогнутых от мизинца пальца, чуть поднятый указательный и слегка опущенный большой. И в спокойном состоянии, и в разговоре руки в движении были красноречивы, ахматовски прелестны и неповторимы. Это были удивительные руки!

Читая свои стихи, она довольно часто, не соразмерив высоты, начинала читать на низком звуке, так что порой чуть задыхалась. В своих суждениях о писателях она не

была чужда некоторого максимализма и непостоянства. Так, когда ей дали впервые прочесть «Прощай, оружие» Хемингуэя и спросили, что она о нем думает, она сказала: «Просто обыкновенный гений». Говорят, годы спустя она его невзлюбила и отказывала ему в достоинствах. Хотя этому противоречит множество эпиграфов, которые она из него брала.

Она была удивительно пристрастна к Толстому. Она не могла простить ему его отношения к Анне Карениной. Для нее словно не он создал этот женский образ во всей пленительности и правде, она упрямо не могла простить ему его внутреннего осуждения ее. И ни эпиграф к роману и никакие доказательства не могли убедить ее. Она считала, что в глубине души моралист и человек Толстой, Толстой-ревнивец, был врагом женщины, ушедшей от мужа. Она говорила: «Да, он, конечно, гениален, но...» — и она продолжала защищать создание Толстого от него самого.

Не любила она и Чехова. У нее был странный угол зрения на его творчество. Несправедливый и непонятно почему очень пристрастный. Она говорила: «Была великолепная жизнь, как прекрасна всякая жизнь, дарованная, чтобы ее прожить. А Чехов словно закутывает все в пепел. Все у него скучно, и люди серые, и носятся они со своей скукой и тоской неизвестно почему. И живут, не зная жизни».

Зато как она была забавна и неистощима, разнося в пух и прах Брюсова: «Скажите, разве это поэт, который говорит себе: «Сегодня я должен написать два сонета, три триолета и один мадригал. Завтра мне надо написать балладу, романс и три подражания древним»?» Эти *надо* и *должен* обыгрывались ею очень смешно. Ее не трогали его эрудиция и ум. Она предпочитала образованность иного склада, как, например, Вячеслава Иванова.

К женщинам-поэтам была строга и говорила, что за всю жизнь встретила двух настоящих — Марину Цветаеву и Ксению Некрасову. Некрасову, трудную и непохожую на других, она очень ценила, верила в нее и бесконечно много ей прощала. Так было в Ташкенте, что было потом, не знаю. Бедную, голодную, затурканную, некрасивую и эгоцентрично агрессивную Некрасову легко было пихать, высмеивать и отталкивать. Но Анна Андреевна была самой прозорливой и самой доброй. Она прощала ей все ее выходки, грубости, непонимание, словно это было дитя, вышедшее из леса, мало знавшее о людях и еще меньше о самой себе.

В противоположность Толстому, она с какой-то петербургской страстью любила Достоевского. В особенности сферу его города, квартир, площадей, домов, всю его ауру — как-то почти сценически.

К Гоголю она часто возвращалась и видела в нем обладателя самого фантастического, самого фантасмагорического взора на жизнь и людей, когда-либо бывшего в России.

О Блоке говорила редко. Он был для нее бесспорной очевидностью. А в своих стихах она назвала его «трагический тенор эпохи». Но было еще что-то неуловимое, скрытое в ее отношении к нему. Однажды я была свидетельницей сцены, когда Ахматова, как говорится, «взорвалась». Одна ее посетительница рассказала, что только что прослушала лекцию в университете, где лекторша среди прочего рассказала о романе Ахматовой и Блока. «Боже! — почти закричала Ахматова.— Когда кончится эта чушь и вздор! Никогда не было никакого романа, ничего похожего на него!!» Посетительница лепетала: «А как же стихи?» «И поэтам свойственно писать стихи»,— с убийственной иронией сказала Анна Андреевна, и разговор был окончен. И вдруг, какое-то время спустя, она неожиданно сказала: «У него была красная шея римского легионера».

Одной из великих ее привязанностей был Осип Мандельштам. Она была беззаветно предана ему. Любила его стихи, а его веселье и дружбу ценила как счастливый дар судьбы. Как-то, заливаясь смехом от какой-то шутки Алексея Федоровича, она проговорила: «Только с Мандельштамом я так смеялась». Она никогда не называла его по имени. Говоря о нем, она вспоминала его как самого блистательного, самого верного, самого беззащитного человека, горького и трагического поэта нашего времени. Не было у него бóльшего друга, и он это знал.

К Пастернаку было особое отношение, очень дружественное, с оттенком порой, я бы сказала, восхищенного изумления. Она неизменно радовалась его стихам, часто вспоминала их как музыку. Они всегда были при ней, в ее памяти. И если жизнь сложилась так, что встречи не были так часты, как, скажем, с Мандельштамом, бывали все же времена, когда она жила в Москве, то Борис Леонидович прибегал к ней налегке почти каждое утро. Эти встречи для обоих были потребностью сердца.

Не забуду ее лица, когда она получила от него письмо, где он писал ей о том, что только что прочитал «Поэму без героя» и как она его взволновала. Это было удивительное пастернаковское письмо, полное хвалы и восхищения, и она читала его, растроганная, гордая и счастливая.

К моему удивлению и огорчению, высказывания Анны Андреевны о Тургеневе носили оттенок той самой снисходительности, полууважительности, которые отмечают отзывы о нем именно русских, как современников, так и многих потомков.

Я высказала Анне Андреевне свои огорчения и сказала,

что всю жизнь удивлялась тому, что ни один литературовед не написал книгу-исследование — «Тургенев глазами русских и глазами великих деятелей европейской культуры».

Когда разговор зашел о Дебюсси [3], Анна Андреевна сказала: «А я была с ним знакома». Только много лет спустя, в Москве, при встрече с Анной Андреевной мы узнали, как однажды во время банкета, который давал в честь Дебюсси Кусевицкий, рядом с ней весь вечер сидел Дебюсси. В конце он подарил Ахматовой музыку своего балета «Мученичество Святого Себастьяна» с дарственной надписью. И вдруг Анна Андреевна, повернувшись к Алексею Федоровичу, сказала: «Я вам ее подарю». И, улыбаясь, подошла к телефону, набрала номер своей ленинградской квартиры и, указав Ирине Николаевне, где лежат ноты, велела ей их немедленно выслать в Москву Ардовым. Муж мой был счастлив, но как же опечалились они оба, когда на следующий день из Ленинграда ответили, что ноты не нашлись.

Если говорить о музыкальных пристрастиях Ахматовой, надо в первую очередь отметить ее особую склонность к полифонистам XVII и XVIII веков. Она любила Вивальди, но больше всех Баха.

Вообще на всю сферу чувств и эмоций Баха Ахматова откликалась живо и глубоко.

У Моцарта из того, что она знала, она больше всего любила Реквием и часто просила играть ей Масонскую Траурную музыку. Всегда узнавала музыку «Дон Жуана».

Но должна отметить, что к опере как к жанру она, по-моему, была довольно равнодушна. Явно отдавала предпочтение балету. Она с юности до поздних дней дружила с блистательными балеринами Мариинского театра. И вся атмосфера балетных подмостков навсегда была окутана особой поэтической аурой.

Всю жизнь она оплакивала смерть Лидии Ивановой [4], которую она считала самым большим чудом петербургского балета.

Из русских опер она знала и любила по-настоящему «Хованщину» и «Пиковую даму». Зато печалилась и кляла Модеста Чайковского за ужасающе плохие стихи. И все повторяла, как мог Чайковский писать такую музыку на такие бездарные слова.

Ахматова часто удивлялась тому, как многие композиторы были невзыскательны в отношении художественных достоинств стихов, на которые писали музыку. «Что Тютчев, что Ратгауз — все равно».

Лучшим русским романсом она считала «Для берегов отчизны дальней» Бородина, прекрасными — «Пророк» Римского-Корсакова и «Сирень» Рахманинова. «Многое уйдет, а сирень останется»,— говорила она.

Ей нравилась музыка Стравинского, и когда Алексей Федорович рассказал, что когда Скрябина спросили, как ему понравился «Петрушка», и Скрябин сказал, что «Это совершенное выражение хамства»,— она ужасно возмутилась.

Из всех видов искусств, кроме поэзии, наиболее близким и наибольшего охвата и понимания была для нее живопись. Здесь она знала все, все оценила, все любимое пронесла через жизнь. Она хранила в себе поистине огромное богатство. Жизнь подарила ей встречи с великим множеством художников. Для многих она сама стала объектом художественного воплощения.

Но ни на одном портрете, писанном художником, не запечатлено самое ее удивительное выражение. Это выражение появлялось на ее лице только тогда, когда упоминались два имени. Это были Иннокентий Анненский и Михаил Булгаков. Сколько у нее было более близких друзей, скольких людей она любила, но лишь эти двое, вспоминаемые ею, были единственными, которые вызывали нечто в ее душе, что порождало это чудесное, нежное, слегка отрешенное выражение лица. Мне почему-то казалось, что в основе лежало особое чувство преклонения, которым она больше никого не почтила.

Приблизительно через полгода после знакомства я успела присмотреться к тайне возникновения ее стихов. И хотя тайна всегда оставалась тайной, но были приметы жизни, которые чудесным законом поэзии вписывались, включались в стихи. Было удивительно наблюдать, как реалии жизни вдруг преображались в ее поэзии.

Иногда было достаточно одного слова, какого-нибудь впечатления, нечто случайное и неожиданное — и совершалось магическое преображение. Она сама точно об этом рассказывала: «Когда б вы знали, из какого сора растут стихи, не ведая стыда».

Так, прогулка в Старый город, в сад, где дымился мангал и рос большой тополь, и моя фотография с кувшином в этом саду — вдруг собрались в стихотворение «Заснуть огорченной, проснуться влюбленной...».

Когда вечерами Анна Андреевна обычно сидела на своем любимом месте, ее профиль необычно четко возникал на белой стене. Однажды Алексей Федорович обвел, сначала карандашом, а затем углем, ее великолепный профиль. Мы с ней шутили, что когда она уходит, то профиль ее живет своей странной ночной жизнью.

И вот однажды она принесла довольно большое стихотворение, начинавшееся словами:

А в книгах я последнюю страницу
Всегда любила больше всех других...

В жизни двух домов не было. Был только наш. Потом, после ее отъезда, когда профиль начал исчезать, я завесила это место куском старой парчи. При встрече в Ленинграде я об этом рассказала ей. И она воскликнула: «Боже, какая роскошь, и всего-то для бедной тени!»

Есть в этом стихотворении такие слова: «И даже «вечность поседела», как сказано в одной прекрасной книге...» Сколько мы ни гадали, никак не могли вспомнить, в какой книге «вечность поседела». Наконец Ахматова сказала, что это из «Тома Сойера». Это в том месте, когда Том и Гек, сидя на чердаке мызы старого валлийца, подслушивают разговор Индейца Джо. И тут же прибавила: «Коля Гумилев называл книги «Том Сойер» и «Гекльберри Финн» «Илиадой» и «Одиссеей» детства». Мы вспомнили, что Эрнест Хемингуэй считал 90 страниц плавания по Миссисипи лучшими страницами американской прозы.

Но он все-таки настал, день ее отъезда. Душа долго не могла смириться с возникшей пустотою.

Но она все-таки пришла к нам таинственно и чудесно. Пришла на Новый год, словно чуя нашу тоску по ней. За четверть часа до Нового, 1945 года я обнаружила на полу прихожей белый листок. Это была открытка со стихами «Явление луны». Как будто она загадывала, чтобы они пришли к нам в полночь, чтобы снова в новом году быть, как раньше, вместе с нами. Стихи пришли как знак соприсутствия.

Начиналась открытка прямо со стиха. Выписываю ее полностью. Очень берегу.

«Явление луны
Из перламутра и агата,
Из задымленного стекла,
Так неожиданно покато
И так торжественно плыла,—
Как будто «Лунная соната»
Нам сразу путь пересекла.

Поздравляю с Новым годом и желаю вам много радости. Эти стихи ташкентские, хотя и написаны в Ленинграде. Посылаю их на их родину. Жду вестей.

Не забывайте
Вашу Ахматову.

15 декабря 1944 г.»

Потом «Явление луны» стало названием цикла ее ташкентских стихов.

Потом она не раз поздравляла нас с Новым годом в разное время, но первое навсегда осталось весточкой особого смысла.

Она всегда откликалась, если мне было грустно. Однажды я получила от нее открытку. Она помечена 2 августа без года.

«Милая Галина Лонгиновна!

Ваша телеграмма встревожила меня. Хочется думать, что сейчас Вы уже вышли из тоскливого состояния.

Я с неизменной нежностью вспоминаю Вас и Вашу доброту ко мне. Еще одно стихотворение является свидетельством этих слов. Книга моя в производстве, оно в ней последнее по времени. Не грустите, дорогая моя. Если бы Вы знали, как меня тянет в Ташкент.

Целую Вас крепко.

Ваша Ахматова».

Что это было за стихотворение, я так по сей день и не знаю.

И знаем, что в оценке поздней
Оправдан будет каждый час.

Анна Ахматова

Первая встреча в Ленинграде была незабываема. Война кончилась. Великое мученичество блокады, не отпетое, не воспетое еще, постепенно уходило в святая святых народной памяти.

Мы пришли к ней в Фонтанный Дом, тот самый дом, где родилась и жила Ее поэма.

Когда мы поднялись на площадку, перед дверью Ахматовой стоял куст великолепной белой сирени. Она открыла нам дверь и, обняв нас и взглянув на сирень, воскликнула: «Боже мой, опять цветы!»

Когда мы очнулись от первой радости встречи, то увидели великое множество прекрасных тюльпанов. Она рассказала нам, как почти каждый день неведомые люди ставят цветы перед ее дверью. Иногда с краткими записками от каких-то военных, иногда просто неведомо от кого.

Это было время, когда Ахматова была в ореоле славы и любви.

В «Ленинградской газете» только что была напечатана статья «В гостях у поэта» с ее портретом. Она получала письма от множества людей, говоривших ей о своей любви к ней и ее поэзии. Она вполне пережила ту радость сокровенной любви читателя к поэту.

В конце стихотворения «Читатель» она написала:

Наш век на земле быстротечен
И тесен назначенный круг,

А он неизменен и вечен —
Поэта неведомый друг.

Это был счастливый, но, как оказалось, короткий взлет в ее судьбе.

Никто не мог предвидеть тогда, что через два месяца грянет страшная беда.

Но он настал, тот день, когда в газетах было напечатано знаменитое постановление об Ахматовой и Зощенко. Несправедливое, оскорбительное и позорное. Произведя длительный шум и разрушив здоровье у многих писателей, не аннулировав официально возведенную напраслину[5], потом тихо свели все на нет, словно ничего и не было. Такое же пережил и Шостакович.

Все это трудно вспоминать. А вспоминать надо, а не стыдливо молчать.

Но время и читатели не отдали Ахматову на вечное поругание. Они остались, а гонители ушли в забвение, и никто их не вспоминает добрым словом.

Мы были в это время снова в Ленинграде, и увидеть ее не пришлось. Она лежала за закрытой дверью. Лежала неподвижно, глядя в потолок, безмолвная, как бы лишившись речи. Так было долго-долго.

А вокруг бушевал литературный шабаш, и в клочья летели репутации и разбивались сердца. А люди, неведомые ей, в то ужасное для нее время стали вместо цветов посылать ей еще не отмененные хлебные и продуктовые карточки, которые она неукоснительно сдавала в домоуправление.

А мы, любившие ее, пытались утешить не ее, а себя ее давними стихами, такими, как оказалось, пророческими:

А здесь, в глухом чаду пожара,
Остаток юности губя,
Мы ни единого удара
Не отклонили от себя.
И знаем, что в оценке поздней
Оправдан будет каждый час...
Но в мире нет людей бесслезней,
Надменнее и проще нас.

И какое счастье для всех нас, что она и этот циклон беды пережила, осталась жить и не замолк ее прекрасный голос.

За всю жизнь Анна Андреевна была со мной только раз сурова и строга. Мы пришли к Ардовым, когда там уже была Раневская и еще один писатель. Алексей Федорович рассказал, что в этот день он получил госзаказ на написание оперы о Пушкине, а мне предложено написать либретто. Почти все присутствующие были люди театральные и отнеслись к этому шумно одобрительно. Взглянув на Анну Андреевну, я окаме-

нела. Лицо ее было гневно, и дальнейшая ее речь была полна возмущения. Когда мы уходили, она подошла ко мне и тихо сказала: «Завтра приходите в пять — одна».

По дороге домой Раневская, обычно благоговейно слушавшая Анну Андреевну, вдруг разошлась и говорила, чтобы я не слушалась ее и обязательно писала.

Когда я пришла на другой день, Ахматова сидела на диване, важная и строгая, с томиком Пушкина в руках. «Сядьте и слушайте»,— сказала она и прочла мне критику Пушкина на пьесу Виктора Гюго «Кромвель». В ней Пушкин осуждает дерзость Гюго, осмелившегося оскорбить «Великую тень». «А вы хотите заставить его петь. Это нельзя, это нельзя»,— повторяла она.

Сложные чувства метались в моей душе. В самой глубинной глубине я была согласна с ней. Но чувство драматурга захлестывало и было сильней. Помню только, что я дала ей клятву, что ничем не оскорблю Великую тень. Она постепенно смягчалась и советовала воспользоваться опытом Булгакова — Пушкин только что был, Пушкин только что вышел. Я ей сказала, что в опере это невозможно. И рассказала ей, что этот замечательный прием был впервые введен в русскую драматургию посредственным автором, отпрыском царствующего дома Романовых, который печатался под буквами К.Р.[6]. Он написал драму «Царь Иудейский», где в стихах были последовательно рассказаны страсти Христа, начиная со входа в Иерусалим, на Страстной неделе. Условия цензуры не позволяли вывести Христа на сцену, и К. Р. обыграл этот запрет, создав прием. Кажется, пьеса была поставлена в придворном театре, и Глазунов написал к ней очень хорошую музыку — единственное, что от этой затеи осталось в искусстве.

Постепенно Анна Андреевна теплела, вновь стала ласковой и доброй и на прощание обняла и поцеловала меня.

Судьба этого начинания в какой-то мере поучительна. Полтора года я ничем, кроме Пушкина, не занималась и, как мне кажется, ничем не погрешила. Но вот настал день, когда в Ташкент приехал чиновник из Министерства культуры СССР и попросил меня познакомить его с моим Пушкиным. Когда я ему прочла, он сказал, что все очень хорошо, но совершенно обязательно «отразить близость Пушкина к народу. Напишите еще сцену,— сказал он докторально,— где Пушкин в красной рубахе пляшет вприсядку на ярмарке, среди народа». Вероятно, чиновник прочел в моих глазах нечто, что заставило его ретироваться. Я закрыла рукопись, чтобы никогда к ней больше не возвращаться.

При первой же встрече в Ленинграде я все это рассказала Ахматовой, прибавив, что во время работы меня все время подспудно тревожила ужасная мысль: а что, если Пушкина будет

Далеким друзьям
храня им всегда верность
Ахматова

СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ • МОСКВА • ЛЕНИНГРАД • 1965

15 октября
1965
Москва

Дарственная надпись Анны Ахматовой на книге «Бег времени»
Г. Л. и А. Ф. Козловским

петь глухой человек? Ахматова улыбнулась и сказала: «Я пощадила вас тогда, но я подумала именно это».

Так что все обошлось к лучшему.

В последний раз я видела Анну Андреевну впервые не на квартире Ардовых. (Там кто-то родился.)

Это было вскоре после ее возвращения из Италии, где в Сицилии она получала литературную премию Таормина. Она рассказывала о поездке, но как-то без обычного оживления и показалась мне уставшей. Не помню, была ли у нее книга ее стихов, переведенных на итальянский язык, но хорошо помню, что она поставила пластинку, на которой была запись чтения ее стихов какой-то знаменитой итальянской актрисой. Звучали они непривычно странно на русский слух.

Я, как всегда, стала уговаривать Анну Андреевну приехать к нам погостить. Она с грустью покачала головой и сказала, что теперь это совершенно невозможно. Сердечные приступы, знакомые по Ташкенту, усилились, самолеты ей категорически запрещены, и она призналась, что даже пере-

езд из Ленинграда в Москву ей труден и она почему-то стала бояться поездов.

Но она, как всегда, с пристрастием расспрашивала о саде, о прудике, о деревьях. Пришлось еще раз нарисовать ей планировку дома и усадьбы. Она в нем никогда не была, но ей нравилось, что вся ограда из жасминов. Вдруг она положила свою руку на мою и сказала: «Вот и Шехерезада моя поседела. Хотя все такая же»,— поспешила она меня утешить. И мы, грустно улыбаясь, глядели друг на друга тем взглядом, который ведом только женщинам, когда они знают, что тень времени упала им на лицо.

Читала она мне и стихи, и низкий голос звучал с какой-то новой интонацией утомления.

Когда я уже уходила, она вдруг меня остановила. Порывшись в бумагах на столике, вблизи машинки, она вынула три машинописных листка, подписала их и протянула мне. Это были «Вот она, плодоносная осень!..», «Говорит Дидона» (сонет-эпилог) и «Последняя роза». Именно их она мне читала в этот вечер, последний вечер.

Но нам было суждено услышать еще раз ее голос. 15 октября 1965 года мужу моему исполнилось 60 лет. Гости уже ушли, и вдруг раздался телефонный звонок, и мужской голос сказал, что человек этот прилетел из Москвы по поручению Анны Андреевны. И он принес нам от нее бесценный дар — только что вышедшую книгу «Бег времени». На ней была надпись: «Далеким друзьям, храня им вечную верность. 15 октября 1965 г. Ахматова. Москва».

В книгу была вложена записка, такая характерная для нее. Вот она:

«Дорогие мои!

Вот Вам что-то вроде моей книги. В ней есть и период, который мы прожили вместе, есть и спутница моя поэма. Вообще же многого не хватает.

Записку передаст Вам мой соавтор по переводу Леопарди, молодой поэт, драматург Анатолий Найман. Помогите ему советом в ташкентских делах.

Всегда помню и люблю.

Ахматова.

15 октября 1965 г. Москва».

Но не пришлось давать советы милому ее посланцу. Толя заболел, и надо было его лечить.

Улетал он через неделю, все еще с высокой температурой. Мы взяли с него слово, что по приезде Ардовы позвонят и сообщат нам о его самочувствии.

Действительно, в срок из Москвы был звонок. Нам сообщи-

ли, что Найман долетел и все благополучно. И вдруг милый женский голос сказал: «А сейчас с вами будет говорить Анна Андреевна». Ах, какой это был радостный, прежний, бодрый, полный жизни голос Анны Андреевны! У нас в доме в двух разных комнатах были телефоны, и мы вдвоем разговаривали с ней. Это был восхитительный, незабываемый разговор, полный счастливых восклицаний и торопливых объяснений в любви. Мы благодарили ее за книжку, а она отвечала, что она ее не любит. «Вас люблю, а книгу не люблю»,— отвечала она. (Ей не нравилась подборка стихов.) «Собираюсь в Париж,— сообщала она.— Пишу прозу, смешно, не правда ли? Там и о вас будет». И вдруг услышала голоса в доме — из сада пришел наш журавль Гопи и громко закричал. Она, услышав журавлиный крик, ужасно обрадовалась и все повторяла, какой он, должно быть, милый. А наш египетский красавец, словно зная, что речь идет о нем, распахивал крылья, кланялся и делал совсем балетные арабески.

Мы все это рассказывали Анне Андреевне, и она смеялась так весело и по-молодому хорошо. Быстро, торопясь, она говорила еще и еще. Но, наконец, там, далеко, опустилась трубка и перестал звучать ее голос, и, как оказалось для нас, он умолк навсегда.

А. Г. Тышлер

Я ПОМНЮ АННУ АХМАТОВУ

С Анной Андреевной Ахматовой я периодически встречался начиная с 1930-х годов.

Примерно в 1930 году Анна Ахматова посетила мою мастерскую вместе с поэтом Осипом Мандельштамом и его женой Надей. Они смотрели вещи по-разному. Анна Андреевна все виденное как бы вбирала в себя с присущей ей тишиной. Мандельштам, наоборот, бегал, подпрыгивал, нарушал тишину... Я подумал: как это они сумели мирно и благополучно дойти до меня?

Анна Ахматова привыкла к тому, что художники ее рисовали. Может быть, поэтому она охотно согласилась посидеть, или, как у нас говорят, попозировать мне. Это было уже в Ташкенте в период эвакуации в 1943 году. В Ташкенте мы общались чаще, и, может быть, потому у меня появилось желание сделать с нее несколько рисунков.

Так и уговорились.

Часам к двенадцати дня я, захватив с собой папку и карандаши, пришел к Анне Андреевне. К работе я не приступал. Мы говорили о поэзии. Анна Андреевна читала свои новые стихи. Я вслушивался, всматривался и все думал, что же я должен еще передать, нарисовать, кроме «носа с горбинкой»? Ведь рисунок, линия, которые создают образную гармонию лица, должны содержать и еще один очень важный компонент, который все скрепляет,— определенное состояние.

Вот этим состоянием и была та тишина, которую так излучала Анна Андреевна... Я как бы вполз в эту тишину и начал рисовать.

Мы сидели в маленькой комнатке на расстоянии одного метра друг от друга. Анна Ахматова читала свои новые ташкентские стихи. Я рисовал и слушал.

Тишина, которая так помогла мне увидеть Ахматову, тут же нарушилась стуком ее соседа в дверь: «Анна Андреевна! Нет ли у вас одного кусочка сахару?» «Пожалуйста,— говорит Анна Андреевна,— зайдите на кухню, там на столе лежит сахар».

Через секунду снова стук:

«Анна Андреевна! Но там всего один кусок сахару...»

Ахматова: «Ведь вы просили один кусок, ну и берите его».

После небольшого перерыва я снова проникаю в эту оча-

Анна Ахматова. Портрет А. Г. Тышлера. Ташкент. 1943 г.

ровательную тишину и продолжаю рисовать и слушать стихи...

Снова стук в дверь:

«Анна Андреевна! Нет ли у вас яичка?»

«Зайдите на кухню, там, кажется, лежит яичко»,— отвечает Ахматова...

Так мое рисование периодически прерывалось стуком в дверь. Анна Андреевна делала небольшую передышку и снова, набравшись сил, продолжала сидеть и читать свои стихи.

Соседи по квартире обращались к Ахматовой не потому, что еды у нее было больше, чем у других, а потому, что она никому в такой просьбе по возможности не отказывала...

Анна Андреевна читала свои стихи эпически спокойно, тихо, выразительно, так, что между нею и слушателем словно бы возникала прозрачная поэтическая ткань. Создавалось своеобразное мягкое звучание тишины... Это помогло мне увидеть и нарисовать Ахматову. Первый рисунок получился не в образе. Было все, кроме Ахматовой... Я уже хотел разорвать лист, но Анна Андреевна остановила меня, посмотрела на рисунок и сказала: «А вот если я опущу челку, все встанет на свое место». И действительно. Рисунок нашел свой путь. Такая небольшая «архитектурная» деталь позволила мне приблизиться к более точному образу Ахматовой...

Примерно в 1964 году я с моей женой Флорой посетили Анну Андреевну, которая гостила тогда в Москве у литературоведа Западова[1]. Располневшая, она сохранила свой эпический образ, свой «ахматовский» стиль с прибавлением некоторой тревоги и внутреннего беспокойства.

Эдуард Бабаев

«НА УЛИЦЕ ЖУКОВСКОЙ...»

В Ташкенте Анна Ахматова жила в доме № 54 по улице Жуковской. Этот дом она упомянула в стихах о Блоке: «И белый дом на улице Жуковской». Нужно было пройти в глубину двора и подняться «по шаткой лесенке» на «балахану»...

Днем горлинки сидели на ступеньках, ведущих на балахану, темный плющ укрывал стены и окна. Вечером лесенка обрывалась во тьму.

На балахане у Анны Ахматовой не было ни книжных полок, ни украшений. Простота и строгость «монастырские». Поэтому и комната, где стоял стол, называлась «трапезной»:

Как в трапезной — скамейка,
стол, окно
С огромною серебряной луною...

Справа от стены, если идти от ворот в глубину двора, возвышался серебристый тополь. Это было удивительное дерево. Днем тополь как бы сторонился, старался быть незаметным. Но по вечерам, когда разжигались мангалы, тополь начинал расти на глазах, сливаясь с тонким дымом, восходящим к небу. Анна Андреевна говорила, что она никогда не видела такого высокого тополя.

Во дворе дома на улице Жуковской я в первый раз увидел веселого, перебирающего свои костыли, сухонького и маленького Михаила Салье, переводчика арабских сказок «Тысяча и одна ночь».

Шехерезада
Идет из сада...
Так вот ты какой, Восток!

Ксения Некрасова пришла «с гор» и читала свои стихи о первой бомбежке в начале войны: как вражеские самолеты,

Тяжелые смерти
с стеклянными лбами,
Торжественно плыли
на жестких крылах...

Анна Ахматова. Портрет А. Г. Тышлера. Ташкент. 1943 г.

В доме на улице Жуковской жил Абдулла Каххар и некоторые другие писатели тех лет.

В Ташкенте Анна Ахматова долго и тяжело болела тифом. Ее поместили в одну из клиник медицинского института. ТашМИ — это целый город с лабиринтом узких асфальтированных дорожек и крутыми подъездами к клиникам. После выздоровления Анна Андреевна уехала в Дурмень, в дом Литфонда в предместье Ташкента... Место тихое, затерянное в садах, речка неподалеку... В стихах, написанных в то время, сохранились обрывки больничных воспаленных воспоминаний:

Там, за речкой, там, за садом,
Кляча с гробом тащится...

И это было, пожалуй, единственный раз, когда она сама сравнила себя с Шехерезадой:

Меня под землю не надо,
Я одна рассказчица...

И это тоже был Восток. «Так вот ты какой, Восток!»

Я переписывал по рукописям Анны Ахматовой ее «Поэму без героя» в тетрадь, которую называл «Моей антологией». Мне и сейчас кажется «ташкентский вариант» поэмы более совершенным и «чистым», чем его позднейшая версия, с дополнениями и пояснениями. Однажды я сказал об этом Анне Андреевне. Она кивнула и ответила, как мне показалось, с пониманием:

— Все мои ташкентские друзья так считают...

Не могу утверждать, что тогда мне была ясна сама поэма. Но ветер, шевеливший листочки плюща за окном, казался мне ветром истории.

Нина Пушкарская[1], ташкентская поэтесса, услышав начало поэмы:

Из года сорокового,
Как с башни, на все гляжу,—

сказала:

— Это как набат!

Анна Андреевна согласилась. В некоторых списках поэмы, в том числе и в моей тетради, пролог имеет название «Набат». Но это название не удержалось.

Зоя Туманова простояла у двери Анны Ахматовой целый час, не решаясь войти, потому что там Владимир Луговской читал свои белые стихи из «Середины века». Дослушав до конца, Зоя ушла потрясенная и написала замечательные белые стихи, начинавшиеся строкой: «Там было все, чем полон этот мир...»

Мне казалось странным, что Анна Ахматова нигде не называет Музу по имени. Я сказал ей об этом. Она удивилась и спросила, каким именем ей следовало бы, по моему мнению, назвать ее Музу.

Я ответил:

— Клио!

Клио — муза истории.

Много лет спустя Анна Андреевна говорила, что из всех статей, написанных о ее «Поэме без героя», ей дороже всего была статья Корнея Чуковского[2], напечатанная в журнале «Москва», где он назвал ее «мастером исторической живописи».

Ритм поэмы завораживал, становился неотделимым от облика Анны Ахматовой:

Ты сбежала ко мне с портрета,
И пустая рама до света
На стене тебя будет ждать...

То, что эти «старинные строфы» были написаны только что, сегодня, вчера, сейчас, казалось неправдоподобным.

Я и сам не заметил, как сложились первые строки «Посвящения» в ритме «Поэмы», эхо ее голоса:

Знаменитая Ленинградка,
Я смотрел на тебя украдкой,
Вспоминая твои портреты...

За окном был «мангалочий дворик», и он тоже попал в ритм поэмы:

За окном мангалочий дворик,
Низко стелется сизый дым.

И я оставил листок со стихами на краю ее рабочего стола. На другой день она вдруг заговорила о Николае Асееве:

— Однажды ко мне подошел Николай Асеев и сказал: «Не враг я тебе, не враг...» Я не сразу поняла, что это стихи: «Не враг я тебе, не враг, мне даже подумать страх...»

Она раскрыла тонкую пеструю папку и положила в нее мое «Посвящение». В этой папке все посвященные Анне Ахматовой стихи были расположены в алфавитном порядке имен их авторов.

Так что мои детские стихи оказались рядом (по алфавиту!) со стихами Николая Асеева.

Переболев и перестрадав и термезский зной, и чаткальские ледяные ветры, Анна Ахматова полюбила Ташкент.

Один заезжий поэт назвал Ташкент «чужбиной». Ахматова обиделась:

Кто мне посмеет сказать, что здесь
Я на чужбине?!

Отношение к Ташкенту было романтическое, чистое и благодарное:

И в этом сладость острая была,
Неповторимая, пожалуй, сладость.
Бессмертных роз, сухого винограда
Нам родина пристанище дала.

Анна Андреевна затеяла пешие хождения по Ташкенту. И я стал ее проводником. Она не знала Ташкента. Читала названия улиц по-русски и по-узбекски. И удивлялась затейливой круговой планировке города. Благодаря такой планировке одна сторона улицы всегда находилась в тени, а перспектива уклончиво уходила вдаль.

— Такая же планировка в Москве,— сказала Анна Андреевна.

— И в Мекке,— добавил Абдулла Каххар.

Мы выходили обычно ближе к вечеру. Но улицы хранили жар прошедшего дня. Один местный корреспондент сфотографировал нас на улице Гоголя. Анна Андреевна шла, опираясь на мое плечо. Эту фотографию в шутку называли «Велизарий». Не знаю, сохранилась ли она в архиве Анны Андреевны.

Анна Ахматова своей осанкой, странным обликом неизменно привлекала внимание прохожих. Некоторые раскланивались с ней. Часто у нее спрашивали дорогу.

Старик на белом ослике с поклажей, видимо приехавший из деревни, почтительно спросил у нее, как проехать на Туркестанский базар.

— Ну, чудеса...— говорил Алексей Федорович Козловский.— Всего можно было ожидать, но чтобы у Анны Ахматовой в Ташкенте спросили, где тут Туркестанский базар, этого ожидать было невозможно. Признание! Доверие!..

Анна Андреевна смеялась и говорила, что это ее призвание, что у нее и в Ленинграде, и всюду, где бы она ни была, всегда спрашивали дорогу.

— Однажды я видела,— говорила она,— как человек нарочно перешел площадь, чтобы спросить, как ему проехать на Пески.

Она выбирала меня в провожатые, может быть, потому, что я, как все подростки, хорошо знал город, а может быть, и потому, что я не донимал ее литературными разговорами.

После тифа Анна Андреевна долго носила косынку, закрывавшую голову. Когда мы проходили мимо нашей новой школы, построенной перед самой войной, где теперь был расположен госпиталь, она всегда останавливалась и подолгу смотре-

ла на высокие окна, в которых мелькали лица молодых солдат. Мне и до сих пор кажется, что во время одной из таких остановок под окнами ташкентского госпиталя возникли ее стихи о мальчиках-солдатах 40-х годов:

Вот о вас и напишут книжки:
«Жизнь свою за други своя»...

В классах нашей школы теперь были солдаты со всех концов страны: «Незатейливые парнишки...» — «внуки, братики, сыновья...».

Наша школа переехала в помещение детской технической станции, но мы считались шефами госпиталя. Поэтому мне и поручили передать Анне Ахматовой приглашение на литературный вечер в госпитале. Для раненых. И в то время, когда мы готовили для нее зал, она взяла халат и в сопровождении главврача прошла в палату.

Сержант Еремеев, никогда прежде не слышавший ее имени, весь в белом, руки на растяжках, как серафим, все приподнимался на койке, чтобы взглянуть на нее.

Потом он сказал:

— Эх, ребята, жаль, что вы опоздали. Тут сестра приходила...

— Какая сестра?

— Нездешняя... Вы ее не знаете. Песни рассказывала...

Я повторил эти слова Анне Ахматовой. Она говорила, что ничего лучше никогда не слыхала.

И переспрашивала:

— Сестра?

— Нездешняя!

— «Песни рассказывала...»

Еще я спросил ее, какие стихи она читала там, в палате.

— Новые, «Постучись кулачком — я открою...» — ответила она.— Потом старые: «Пахнет гарью...», «Далеко в лесу огромном...»

Абдулла Каххар переводил «Войну и мир» на узбекский язык. Когда у него возникали затруднения, он обращался за разъяснениями к Анне Ахматовой. И она всегда подробно отвечала на его вопросы. Он спрашивал, откуда пошло слово «ополчение», что такое «глухая исповедь», кто такой «старый кавалер»... На многие его вопросы никто не мог ответить, кроме Анны Ахматовой. Она прекрасно помнила и знала «Войну и мир», которую тогда читали заново на всех языках... «Час мужества пробил на наших часах...»

С Толстым мы вступали в область современной истории. И он встречал нас повсюду, чуть ли не на каждом шагу.

Мы пришли на вокзал, когда там гремели трубы ополчения, идущего с Востока. Народ толпился у теплушек. Усман

Юсупов говорил речь с трибуны, сколоченной из шпал. Говорил сразу на двух языках: по-русски и по-узбекски. Говорил перед микрофоном, и динамики усиливали его голос так, что слышно было по всем платформам.

— История,— говорил Усман Юсупов,— смотрит на ваши часы.

С вокзала мы возвращались по улице Самаркандской. И там был длинный старый одноэтажный дом с двускатной черной крышей и глубокими нишами окон. Возле самого дома — трамвайная остановка, шум, вечное движение... Мы уже прошли мимо, когда вдруг Анна Андреевна сказала:

— Вернемся!

Там, за пыльным золотом листвы, она увидела в сумерках мемориальную доску. Это была доска в честь Веры Комиссаржевской, которая умерла в Ташкенте в 1910 году от черной оспы.

— В 1910 году,— сказала Анна Ахматова.— До всего!.. И дом — как глухая исповедь.

Мы уже свернули на Жуковскую, когда увидели, что нам навстречу идет полковник Крылов в новом плаще с полевыми погонами. Из-под фуражки сверкала серебряная седина.

Анна Андреевна познакомилась с ним в госпитале, где он был на излечении после ранения. Он был человеком ее поколения, и она называла его «старым кавалером», потому что он заслужил Георгиевский крест еще на первой мировой войне. Крылов знал и любил стихи Анны Ахматовой. У него был сборник «Из шести книг», побывавший с ним на фронте.

— Завтра в шесть утра я улетаю,— сказал полковник Крылов.— Я не мог уехать, не простившись с вами.

Крылова лечил мой родной дядя, старый, опытный военврач. И Крылов бывал у нас дома. Он удивился, увидев меня рядом с Анной Андреевной. Но Анна Андреевна нисколько не удивилась тому, что я знаю Крылова. В те годы мир был особенно тесен.

Он приложил руку к краешку лакированного козырька своей пехотной фуражки.

Вернувшись домой, я разыскал то место в романе Толстого «Война и мир», где шла речь о часах истории, те строки, которые переводил Абдулла Каххар. Там говорилось о «медленном передвижении всемирно-исторической стрелки на циферблате истории».

Когда Анна Ахматова переселилась с балаханы в комнату кирпичного дома на первом этаже, она сказала, указывая на свой стол:

— Беспорядок переселился вместе со мной...

Но беспорядка на столе не было и на балахане.

Среди книг, которые я видел у нее на столе в Ташкенте, особенно запомнился томик стихов Китса по-английски с дарственной надписью Георгия Шенгели[3].

Анна Андреевна записывала стихи на полулистах с обеих сторон. Так что рукописей было немного... Могло даже показаться, что она ими и не очень дорожила. Так, перед отъездом из Ташкента она подарила мне рукопись поэмы «Путем всея земли» («Китежанка»). А это был единственный экземпляр. Впоследствии именно по этому списку на разноцветных листах и готовилась к печати «Китежанка».

В моей записной книжке сохранились отдельные ее высказывания о поэзии, непохожие на афоризмы, но имеющие законченную форму, благодаря которой они и запоминались как стихи:

— В стихах главное, чтобы каждое слово было на своем месте.

— Писать надо по крайности. Если этого нет, то лучше воздержаться.

— Многописание не делает поэта...

— Молодые поэты любят читать свои стихи вслух. И стараются прочесть как можно больше...

— Самое трудное испытание — это испытание славой. И Гоголь, и Толстой, и Достоевский — все впадали в грех учительства. Все, кроме Пушкина.

— У Лермонтова самое драгоценное — то состояние, когда «смиряется души моей тревога», «расходятся морщины на челе».

— «В комнате нашей, пустой и холодной, пар от дыханья волнами ходил». Так, кроме Некрасова, писать никто не умел.

— Пушкин был непостижимо точен. «А далеко, на севере — в Париже...» Париж — север по отношению к Мадриду.

— Символизм шел от Жуковского. «Розы расцветают — сердце, уповай...» Это была допушкинская поэзия.

— Название «акмеизм» возникло случайно. Мы искали новое слово, которое могло бы стать в одном ряду с «символизмом». Раскрыли словарь наудачу — вышло «акмэ». Слово понравилось.

— Маяковский раскрылся еще до революции и даже до войны. Хлебникова мы узнали позже...

— Марина Цветаева много обо мне думала. Наверное, я ей очень мешала.

— Федор Сологуб говорил, что в России поэты образуют некий хор. Ведь Россия — страна многоголосого пения.

— Николай Клюев был ловец душ. Он каждому хотел подсказать его призвание. Блоку объяснял, что Россия его «Жена». Меня назвал «Китежанкой».

— Лучшие стихи пишут «на случай», как «Вчерашний день, часу в шестом...» Некрасова...

У Анны Ахматовой были еще устные рассказы, которые изредка повторялись в разговоре точно так же, как они были «сказаны» однажды. Из этого можно было заключить, что и они имеют свою форму. Но почему-то этих рассказов она никогда не записывала, предоставляя их памяти своих слушателей. Некоторые из них мне удалось воспроизвести довольно точно.

ГУВЕРНАНТКА

Я взялась учить соседского мальчишку французскому языку.

Пошла в гувернантки!

Мальчишка был сорванец и никак не мог выговорить слова le singe*.

Я обещала ему купить плюшевую обезьянку, если он скажет слово правильно. Это была моя педагогическая ошибка...

Покоя больше не было.

Он врывался в мою комнату с криком: «Лисаныч! Годится?»

Я говорила: «Нет...»

И он убегал к своим приятелям. Потом, вспомнив обещанную обезьянку, снова врывался ко мне с криком: «Люсаныч! Годится?»

Но я говорила: «Нет!»

ВЕСНА В ПЕТРОГРАДЕ

Это было весной в Петрограде.

Очень хотелось курить, а спичек в доме почему-то не было.

Тогда я вышла на улицу.

Там, на мосту, стояли солдаты, но это были какие-то некурящие солдаты.

И вдруг я заметила, что от трубы паровоза, проходящего под мостом, летят большие искры, падают на гранитный парапет и медленно гаснут.

Я нацелилась на одну такую искру и прикурила от нее.

Солдаты, видевшие это, засмеялись, и один из них сказал:

— Ну, эта не пропадет!

НА ДАЧЕ

На даче кто-то разорял грядки с ягодами.

И никак не удавалось поймать разбойника.

Но как-то раз я встала раньше всех, открыла дверь и увидела, как с грядок поднялась целая стая перепуганных птиц.

Я их застала врасплох.

Они удирали изо всех сил.

И одна старая ворона, которую я очень хорошо знала, ковыляла за ними следом и кричала:

— Я говорила! Я говорила!

(Этот рассказ относится к более позднему времени, когда Ахматова жила в Комарове.)

---

* Обезьяна *(франц.)*. — *Ред.*

Но я не все запоминал, а иногда не успевал спросить главное.

Однажды мы сидели у открытого окна за столом. И Анна Андреевна перелистывала томик Фета. На столе горела коптилка. Керосину было на самом донышке флакона. Света коптилка давала не много, но жаркая тень скользила по углам, по рукам, по страницам книги.

Анна Андреевна прочла, как она сказала, «дивное фонетическое начало» стихотворения «Зеркало в зеркало, с трепетным лепетом...». Дважды читала, глазами и вслух, «Моего тот безумства желал...», заметив, что слово «завои» удивительно сливается с «воющей» интонацией всего стихотворения.

Очень нравились ей стихи «с киевским лукавством» про «чернобровую вдову» — «Чуть вечернею порою осыпается трава...».

На память читала «Alter ego»* и другое стихотворение с «толстовским психологическим содержанием»: «Ты не вспыхнешь, ты не побледнеешь...»

Но самым удивительным для меня было чтение малоизвестного стихотворения Фета «На корабле». Оно мне очень напоминало отрывок из стихов, написанных в Дюрмене,— «Смерть»:

На этом корабле есть для меня каюта
И ветер в парусах — и страшная минута
Прощания с моей родной страной.

Я хотел спросить, есть ли связь между этими ее стихами и стихами Фета:

Ей будто чудится заране
Тот день, когда без корабля
Помчусь в воздушном океане
И будет исчезать в тумане
За мной родимая земля.

Но в это время в открытое окно заглянула соседка Анны Андреевны и сказала:

— Анна Андреевна, я тут вам керосинчику купила. И совсем недорого...

И так это было удивительно, что я забыл то, что хотел спросить. Впрочем, Толстой в одном из писем к Фету отметил, что разговор о цене на керосин нисколько не мешает настоящей поэзии. И даже, напротив, служит подтверждением ее подлинности.

Меня тогда совсем не тревожил вопрос: надо ли записывать? И что записывать? Записывать ли, например, рассуждение Анны Ахматовой о Чехове и Иннокентии Анненском?

---

* «Второе я» *(лат.)*. — *Ред.*

— Чехов изобразил русского школьного эллиниста как Беликова. Человек в футляре! А русский школьный эллинист был Иннокентий Анненский. Фамира-кифаред!

Записывать ли, как ташкентский букинист Дивов принес Ахматовой книгу «Домик под грушевым деревом» и читал нараспев стихи:

Я прибежала из улиц шумных,
Где бьют во мраке немые крылья,
Где ждут безумных
Соблазны мира и вся Севилья!

Ахматова сказала:

— Бежим!

И мы свернули на боковую пустынную улицу.

А Дивов кричал нам вслед:

— Куда же вы? Я покажу вам домик под грушевым деревом, где жила Черубина де Габриак[4]. Это совсем недалеко отсюда.

— Боже! — сказала Ахматова.— Если бы он знал, как это далеко отсюда.

Мы шли вдоль цветущей ограды дома офицеров, и вышли к Анхору, и долго сидели на мостках над водоемом с чистой водой, в которой отражались не отдельные звезды, а сразу весь «звездный кров».

Записывать ли то, чего сама Анна Ахматова не записывала?

Словно по чьему-то повеленью,
Сразу стало в городе светло.

Стихи, которые потом были опубликованы под названием «Ташкент зацветает», тогда не имели названия. Они были не то что написаны «по случаю», а как бы по случаю сказаны. Эти стихи запомнил Валентин Берестов, который так же, как я, впервые услышал их в каком-то разговоре на улице Жуковской.

Точно так же было «сказано» однажды и никем не записано стихотворение «De profundis*... Мое поколенье». Я воспринял эти стихи как комментарий к словам — «старый кавалер» — «герой двух войн»: «Две войны, мое поколенье, освещали твой страшный путь».

И прошло много лет.

Мы встретились в Москве у Варвары Викторовны Шкловской[5]. Стали вспоминать Ташкент и как-то напали на стихотворение «De profundis...»

Ахматова сказала:

— Это потерянные стихи...

---

* Из глубины... *(лат.)*.— *Ред.*

— Как потерянные?

— Я не записала их. А потом не могла вспомнить.

А когда я прочел на память все стихотворение от начала до конца, она сказала:

— Как? Вы помните? С тех пор?

И велела принести бумагу и чернила.

Я переписал все стихотворение набело и вручил его с поклоном автору.

— Царский подарок! — сказала Анна Ахматова.— Раз вы его сохранили, пусть ваш автограф останется в моем архиве.

Одна наша общая знакомая, присутствовавшая при этом и помнившая меня и В. Берестова школьниками в Ташкенте, сказала:

— Мальчишки недаром ходили в дом поэта!

Стихотворение было впервые опубликовано В. М. Жирмунским.

Но записывание разрушает прелесть непосредственного общения. Нет, я никогда не вел дневника и ничего не записывал. Разве только то, что неизгладимо запечатлевалось в памяти.

В тот вечер, когда Анна Ахматова уезжала из Ташкента, комната ее была полна провожающими. Абдулла Каххар, Хамид Алимджан, Владимир Липко, Алексей Федорович Козловский — все пришли проститься.

У ворот стояла машина, присланная из Союза писателей, которая должна была отвезти Анну Ахматову на аэродром. Она шла к машине, накинув плащ на руку. Было совсем темно. И, как это бывает весной в Ташкенте, пахло пылью, сиренью, грозой. Большие тучи наплывали на высокие тополя.

Я приблизился к дверце машины и сказал:

— Прощайте, Анна Андреевна!

— До свидания! — ответила она.— Храни тебя Господь!

Я никогда не слыхал таких слов.

Утром пошел дождь. Я собирался в школу, но меня тянуло еще раз взглянуть на окна опустевшей комнаты на улице Жуковской.

Дождь был проливной, громыхал водосток от самой крыши до земли.

И вдруг я увидел сквозь пелену дождя лицо Анны Ахматовой. Я не верил своим глазам.

Но окно отворилось.

И я услышал ее голос.

— Войдите! — сказала она.— Скорее! Зачем вы стоите под дождем?

Оказалось, что вылет самолета был отложен, и она вернулась ночью в белый дом на улице Жуковской.

Никто этого не знал.

И мы снова сидели за столом у окна, и пили кофе, и слушали, как гремит гроза.

Он прочен, мой азийский дом,
И беспокоиться не надо...
Еще приду. Цвети, ограда,
Будь полон, чистый водоем.

Воспоминания всегда начинаются с рассказа о первой встрече. Да будет мне позволено таким рассказом окончить мои записки.

Возвращаясь воинским эшелоном из Самарканда после окончания работ в геодезической экспедиции, я услышал, как артиллерийский офицер в тамбуре читает своим друзьям стихи из маленькой белой книжечки:

Где видел я персидскую сирень,
И ласточек, и домик деревянный!

Это была книжечка избранных произведений Анны Ахматовой, изданная в Ташкенте в 1943 году. Прямо с вокзала, не заходя домой, я отправился на поиски этой книги. Сборник стихов Анны Ахматовой продавали вместе с утренними выпусками газет. И всюду я слышал одно и то же: «Распродано, опоздал...»

Оставался один последний киоск на углу Первомайской улицы. Это был киоск Паны Семеновны. Она раньше работала почтальоном. Но у нее сердце разболелось, и она не могла больше разносить письма. И стала продавать газеты. Ее все знали. И по фамилии — Охрименко.

— Тебе очень нужна эта книга? — спросила меня Пана Семеновна.

Я ответил, что уже обошел полгорода.

— Тогда вот что,— сказала она.— Иди вот в тот дом, видишь? Там Союз писателей. Найди Тихонова-Сереброва и попроси у него книгу. Он только что взял у меня сто экземпляров, все, что было. Его зовут Александр Николаевич.

И я вошел в тот дом, который был виден издалека. Отыскать Александра Николаевича не составило большого труда. Он сидел за письменным столом и что-то писал толстой ручкой, окуная ее в большую чернильницу.

Не отрывая пера от бумаги, он вежливо спросил:

— Для кого?

Я ответил:

— Для меня...

Не знаю, услышал ли он мой ответ, но он отложил перо, встал из-за стола, открыл шкаф и вытащил один экземпляр из большой пачки книг. Потом он подвинул мне листок бумаги, лежавший на столе, где уже под номерами значились различные подписи.

— Надо записать здесь ваше имя,— сказал Тихонов-Серебров.

Я взял перо и разборчиво записал свою фамилию, с ужасом соображая, что она дерзко возникла вслед за именем Алексея Толстого. Моя подпись была одиннадцатая.

Сейчас Тихонов-Серебров спросит, кто я такой. Но он молча рассматривал мою подпись и наконец спрятал бумагу в ящик стола. Он оглядел меня с некоторым любопытством. Шляпу с круглыми полями тропической формы я держал в руках. Башмаки мои покрывала толстая пыль. На боку чернела полевая сумка — подарок отца.

— Вы издалека приехали? — спросил Тихонов-Серебров.

— Издалека,— ответил я.

— А сколько вам лет? — спросил он.

— Пятнадцать,— ответил я.

— В таком случае,— вдруг что-то решив про себя, сказал Тихонов-Серебров,— вам нетрудно будет исполнить мою просьбу и отнести, если вам по дороге, вот эти десять экземпляров Анне Андреевне.

— Кому? — переспросил я.

— Анне Андреевне Ахматовой. Она живет здесь совсем рядом, если вам, конечно, не трудно...

— С радостью! — ответил я.

В это время в комнату вошел Хамид Алимджан и спросил, отправлены ли книги Анне Ахматовой.

— Вот,— сказал Тихонов-Серебров, указывая на меня,— я хочу послать его к Анне Андреевне Ахматовой с книгами...

Хамид Алимджан мельком взглянул на меня и усмехнулся.

— На Востоке,— сказал он,— доверяют только тем, у кого на башмаках есть пыль людских дорог.

И вот я иду по улице с пачкой маленьких книжек в полевой сумке.

Как удивительна жизнь!

На углу Жуковской я увидел Наилю Назимову. Она была медицинской сестрой в госпитале, где работала моя мать.

— Ты что? — спросила Наиля.

Я объяснил. Наиля удивилась. У нее было круглое прелестное лицо, крепкие маленькие ладони. Она была чистая, ловкая, привыкла повелевать.

— Снимай рубашку! — сказала она и потащила меня к себе.— Ты похож на дервиша! Посмотри на себя. Наклоняй голову, бери мыло в руки!

На голову и на шею мне уже лилась вода из кувшина с узким горлышком.

— Ахматова — европейский поэт,— говорила Наиля Назимова,— а на тебе вся пыль Азии.

— Это ничего,— сказал я, утирая лицо полотенцем.— Хамид Алимджан говорит, что на Востоке доверяют только тем, у кого на башмаках есть пыль людских дорог.

— Пусть будет так,— сказала Наиля,— но рубашку надень чистую.

Она бросила на стул мою пропыленную ковбойку и достала из шкафа чистую рубашку с отложным воротничком.

Почему-то я воображал, что застану у Анны Ахматовой множество народу. Думал, что мне, может быть, удастся найти для себя место где-нибудь в углу, где можно, оставаясь незамеченным, видеть и слышать ее.

Моя мама, говоря об Анне Ахматовой, всегда вспоминала слова мадам де Сталь о том, что в России только то истинно, что величаво.

Я шел и думал: о чем я буду говорить с Анной Ахматовой? Что я скажу ей? О чем? О мадам де Сталь?

Анна Ахматова была одна.

Уже смеркалось, когда я поднялся по шаткой лесенке и постучал в ее дверь. Сначала я увидел сквозь занавешенное стекло приближающийся огонь и не сразу догадался, что это был огонь свечи.

Дверь отворилась, Анну Ахматову нельзя было не узнать. Она стояла, полуобернувшись к свету, заслоняя огонь рукой.

— Кто вы? — спросила она.

Я назвал свое имя, второй раз за этот день.

— Я вас не знаю,— сказала Анна Андреевна.

— Меня прислал Тихонов-Серебров,— объяснил я.— Вот я принес вам книги...

— Войдите,— сказала Анна Ахматова и, заслонив ладонью огонь свечи, взглянула на меня пристально.

Я успел заметить про себя, что она говорит только необходимое, самое простое, ничего лишнего.

— Садитесь,— сказала Анна Андреевна.

Она поставила свечу на стол и села напротив меня на стул с высокой спинкой.

Плющ, закрывавший окно, хлопал по стеклу. Я положил рядом с собой на скамью свою черную тегеранскую сумку и достал книги.

Анна Андреевна сказала:

— Рассказывайте.

И вдруг, неизвестно по каким соображениям, я стал рассказывать, как однажды, положив сумку под голову, уснул вблизи обсерватории Улугбека под деревьями средь бела дня. Рядом шла шоссейная дорога. И по дороге мчались студебеккеры, обгоняя ревущих верблюдов, кричали погонщики, шли солдаты, и летела пыль от самого Персидского залива. И меня никак не могли разбудить. Тогда кто-то вытащил из моей полевой

сумки томик стихов Пушкина, раскрыл наудачу и прочел первую строчку: «В младенчестве моем она меня любила...» И я проснулся.

Рассказывая все это, я думал, как все смешалось: студебеккеры, Персидский залив, Пушкин, война...

Анна Ахматова тихо засмеялась, отодвинула свечу, еще раз взглянула на меня и сказала:

— Теперь я понимаю, почему у вас такие пыльные башмаки, но объясните мне, ради Бога, откуда у вас такая чистая рубашка?

Когда мы встретились снова в Москве, на Ордынке, Анна Андреевна сразу заговорила о Ташкенте.

— Теперь,— сказала она,— я знаю, что такое тоска по солнцу Туркестана. Мне иногда снится Ташкент.

На книге, которую она подарила мне тогда, при первой нашей московской встрече, было написано: «Эдуарду Бабаеву. На память о моих годах в Ташкенте. Дружески. Ахматова. 12 мая 1959 года».

А. В. Любимова

ИЗ ДНЕВНИКА

И кто-то приказал мне:
«Говори, припомни все»...

Леон Фелипе
(испанский поэт XX в.)

1 сентября 1944. Хочется записать подробно свои первые встречи с А. А. Ахматовой. Анну Андреевну я впервые увидела на «Устном альманахе» в Доме писателей 19 июня 44-го года. Накануне я увидела афишу об этом вечере, захотелось пойти. Когда вошла в зал, читали другие поэты: Рывина, Полонская, Берггольц. Ахматова уже читать кончила, сидела в президиуме за красным столом, в середине, в черном платье, с гладкой прической, без челки. Сразу же, как вошла, я увидела ее, узнала, стало как-то страшно даже, точно увидела человека из другого мира, так она была хороша и не похожа на других: выше, лучше. Она гармонична в каждом жесте, и это, помимо красоты, придает ей что-то совершенно особое.

Мне вдруг неотступно захотелось ее написать. Начала мерещиться композиция, образ. Когда все кончилось, ее, конечно, окружили, а я стала мучиться, сомневаться, колебаться, стесняясь подойти, заговорить, очутиться в роли поклонницы. Но все-таки кое-как решилась, подошла, начала, и Анна Андреевна как-то очень быстро, рассеянно и просто согласилась. Спросила: «Где вы учитесь?» (Я потом над этим несколько раз принималась смеяться в душе — хороша ученица, 45 лет сравнялось.)

Потом спросила, или сказала с раздумьем: «А может быть, уже не стоит?» «Стоит!» — отрезала я сразу. Прибавила, что только что вернулась из эвакуации, из Ташкента (действительно, лицо у нее было очень загорелое, темное), что ее комната пока не устроена, живет у знакомых,— «Но у меня есть комната».

Второй раз я увидела ее в столовой Дома писателей в конце июня. Она была в летнем простом коричневом платье с мелкими белыми пятнышками, без чулок, очень красиво причесанная, с едва начинающей седеть прядью над виском...

Мы шли по набережной Жореса (бывшей Французской), где в доме № 12, квартира 5 она тогда жила у Рыбаковых. Но когда потом в полубеспамятстве я оттуда вышла, то помнила

только, что входная дверь была черная с каким-то рельефом. Даже номер дома забыла посмотреть, пришлось опять идти в Дом писателей, узнавать адрес.

В небольшой комнате с двумя окнами, куда привела меня Анна Андреевна, был теплый желтоватый отсвет от солнца (было после трех часов дня). Направо во дворе была желтая пожарная стена (брандмауэр), ярко освещенная солнцем, откуда и попадали в комнату теплые рефлексы. Мне там все понравилось — отсвет солнца, и простота, и порядок, и несколько старинных вещей из мебели. Круглый стол, покрытый маленькой четырехугольной голубоватой салфеткой, большой букет полевых цветов, простая металлическая кровать, два-три кресла, что-то вроде комода, на стене небольшое зеркало и небольшой четырехугольный стол в углу, на котором, должно быть, лежали тетради,— она к нему иногда подходила и что-то быстро записывала. Это место мне стало казаться каким-то необычным, и я избегала смотреть, что она там делает.

И тогда же показалось мне, что сочиняет она всегда на ходу. Сразу, как пришли, я сказала, что меня полгода назад исключили из Союза художников, может быть, она не захочет меня принимать, но она в ответ только махнула рукой.

Сеанс она назначила на следующий день, на 12 часов. Я как-то несколько замедлила с уходом, она сделала неуловимый жест нетерпенья, я поскорей ушла. И так всегда, после каждого сеанса надо было очень быстро собираться; все расставив по местам, убегать, раз окончено дело. Мне понравилось это: «Бойся гостя стоячего...»

На следующий день я пришла с большим холстом, этюдником и большим красивым пионом неопределенного сиренево-бело-розоватого цвета, сожалея, что ничего лучшего не могла найти, но она уверила, что очень любит пионы.

Анна Андреевна сказала, что я двадцать второй художник, которому ей приходится позировать. Но следующие затем дни показали, что двадцать второму и, видимо, самому нелепому из всех ее художников, кроме обычного внешнего позирования, важно еще что-то другое — просто нужно быть около нее, смотреть, следить, ощущать и запоминать, чтобы хоть немного уловить тот образ, который тогда начинал мне видеться.

Она курит. Мне как-то не приходило это в голову. Но делает это, как и всё, что делает, красиво. Должно быть, привычка появилась от среды или от работы по ночам. Платье сначала установили белое, в котором она была в то утро, когда я вошла к Рыбаковым, но Анна Андреевна вспомнила, что в белом на подоконнике Шереметевского дома ее писал Осмеркин и вообще платье это уже стало очень старым. Поэтому она подумала позировать в халате («так не писал никто»), в шелковом, китайском, сделанном из целого куска с драконом на спине, который должны были принести с ее квартиры на

другой день; он, впрочем, тоже старый, даже порванный.

Мне же больше всего хотелось писать в черном, эстрадном, стоя, так, как увидела ее в первый раз. Но стоя позировать тяжело. И об этом я просить, конечно, не стала. В коричневом мне тоже казалось хорошо, да и вообще в любом, лишь бы только суметь. Разве это в портрете главное?

В самый первый день позирования, в перерыве, она спросила: «У кого вы учились?» — «У многих, но последним был Карев». После сеанса в тот день повела меня по всей квартире Рыбаковых, показала их коллекцию, где было огромное количество вещей Алексея Еремеевича Карева. Некоторые из этих вещей я видела еще в 1927 году на великолепной его выставке в Русском музее.

Часов ни у нее, ни у меня тогда не было, и, конечно, мы пересиживали. Она, наверно, уставала и однажды в перерыве с таким усталым и красивым жестом с размаху бросилась на кровать, что я, совершенно обалдев, смотрела и думала: вот как мне надо ее написать.

На третий день она спросила, почему я делаю ее несколько похожей на мужчину? Неужели я так вижу ее? «Правда, я постарела, но все-таки...»

Я в испуге отвечала сбивчиво и сумбурно, что всегда, начиная, очень резко беру отношения, что потом постепенно резкость уйдет. Но для меня эти слова ее были настоящим горем. Я почувствовала, что нужно не торопиться писать: надо некоторое время подумать, опомниться, прийти в себя, освоиться с этим вдруг свалившимся на меня событием — изображением Ахматовой. На какое-то время отойти от натуры и, может быть, даже немного поработать одной, по памяти. Действительно, во время сеансов я вела себя совершенно по-дурацки: не смела на нее смотреть, боясь потревожить, особенно в те моменты, когда она подходила к тому столу в углу и что-то записывала. Словом, почувствовала, что сеансов, наверно, не будет, но как я буду теперь жить? Работу бросить я не смогу, а что делать сейчас — не знаю. Но Анна Андреевна и в этот раз проводила меня, как всегда, хорошо, серьезно и приветливо, уже на лестнице дала телефон этой своей квартиры, чтобы возобновить сеансы. Сказала, что, должно быть, скоро переселится в свою квартиру на Фонтанку, дала и тот телефон.

Потом, в конце июля, я смотрела и слушала, как она читала на своем вечере в Доме писателей, делала наброски с нее в альбоме, стоя. В черном длинном платье. Раза два случайно видела в Доме писателей. Однажды я писала там Неву с Литейным мостом из окна; она вошла, с кем-то разговаривая, до меня донеслось, что чувствует себя неважно. Вид у нее был усталый. Я поздоровалась. Уходя, она положила мне руку на рукав халата (я была в синем рабочем халате и белом джем-

пере: был пасмурный день), сказала: «Мы еще поговорим». Я рванулась вслед, пробормотала: «Ладно» — и много дней потом все ругала себя за неуменье держаться по-людски.

В последний раз в это лето увидела ее в секции поэтов в Союзе, где слушали двоих: Хаустова и Семенова. Она сказала о их работах: «Это пока эскизы». На следующий день она должна была проводить занятие в нашей группе начинающих поэтов, куда я ходила учиться с января 44-го года, со дня снятия блокады. Но сказали, что заболела: ночью был сердечный приступ, утром снова повторился. Возвращалась домой пешком, мимо Русского музея, в самом отчаянном настроении.

22 июня 1945. 20 мая была у Анны Андреевны. Дошла до двери и не вернулась назад, как в прошлые разы, потому что, наконец, всячески удержала себя от этого. Перед тем как позвонить, долго стояла, и только чьи-то шаги на лестнице заставили нажать звонок. Дверь открыли сразу. Поднимаю глаза — Анна Андреевна. И встретила просто, так, как будто постоянно прихожу. А я, чуть не заикаясь, начала что-то объяснять, почему без предупреждения, что-то про телефон и т. п.

Когда сели, кое-как сказала про стихи, которые давно, тогда еще, собиралась показать. Когда я дала ей эти три-четыре бумажки, она спросила, как я хочу: чтобы она посмотрела сейчас или оставить их, а потом зайти. Я попросила посмотреть сейчас. Она сейчас же вышла в соседнюю комнату, быстро вернулась с очками, прочитала про себя первое — «Послеблокадную весну», взглянула на меня, как будто успокоительно, сказала: «Ничего». Потом начала читать «Кактус» и вдруг стала тихо напевать, как свои. Мне показалось это хорошим знаком. Дойдя до середины, попросила прочесть меня: «Я хочу слышать ваш голос. Или не хотите, или не умеете читать?» Я ответила, что, наверное, не умею, но прочту. Прочитала «Кактус», бубнила, конечно, спешила, но все-таки вспомнить могу об этом без стыда. Она сказала: «Вы читаете как нужно, соблюдая ритм, как пишете».

После этого я быстро рассказала, когда, почему и как стала складывать стихи и записывать их, что нашло это на меня в длинные зимние ночи 43-го года, в моей темной и холодной комнате, где в самом начале войны были выбиты стекла. Рассказывала о своих похождениях в Союзе писателей, у Левеневского в «Комсомольской правде», про «Группу начинающих поэтов», которой руководил Леонид Борисов[1]. Она вдруг спросила: «А есть вам польза от этого?» Я не поняла — от чего, от стихов? И начала путано и междометиями объяснять, что теперь, кажется, стала свободнее думать и писать в живописи. Но

увидела, что она — о другом: есть ли польза от группы? Да, и от группы есть, была, во всяком случае: во-первых, я там училась, слушая сложившихся поэтов и писателей (Саянова, Прокофьева, Берггольц), кое-кого из историков литературы, например, Эйхенбаума; во-вторых, читала сама, готовясь к этому, переделывая, и, наконец, в-третьих, слушала бесчисленные рассказы Борисова, и передо мной понемногу вставала литературная и художественная жизнь 10-х и 20-х годов, которой всегда очень интересуюсь.

Вставали в нашем разговоре отдельные фигуры писателей — Горького, Блока, стихи которого люблю заучивать наизусть, внимательно читаю теперь его дневники. Рассказала, как Борисов посылал было меня к В. Рождественскому, но я все откладывала, переделывала. Анна Андреевна думает о нем скорее положительно, но говорит, что «мальчики», Дудин и Лившиц, кажется, лучше.

Мы разговаривали быстро, порой «междометиями», сразу понимая друг друга. И мне показалось, что она со мной как будто даже немного подружилась. Потом дала почитать «Поэму без героя». Перешли в ее комнату (до этого были в большой, нежилой), и она стала читать свою прозу: «Возвращение в Ленинград»[2]. Мне давно уже хотелось спросить, почему она не пишет и прозу. Казалось, что она должна писать ее как-то особенно хорошо, как-нибудь по-пушкински, по-лермонтовски. И действительно, пишет прозой исключительно хорошо — просто, ясно, коротко. И, несмотря на то что в этой вещи говорится о послеблокадных днях, блокада встает гораздо явственней, чем у других писателей, живших здесь и видевших все.

Потом к ней пришли. Я ушла, унося с собой поэму. На улице был дождь. Я спрятала ее под пальто, чтобы не намокла, и все время чувствовала ее. На улице несколько раз принималась смеяться вслух, разговаривала сама с собой и снова была самым счастливым и самым неспокойным человеком в городе в эту среду.

28 июня 1945. 25 июня была у Анны Андреевны. Она лежала. Накануне был ее день рождения. Рассказала про Ташкент, как через город — вполне европейский — проходят караваны. И люди, и верблюды равнодушно проходят, ни на что не обращая внимания, «из пустыни в пустыню». Анна Андреевна прочла «Эпилог» и, когда я сказала, что эта вещь мне нравится своим «расширенным содержанием», спросила: «А что такое, по-вашему, «расширенное содержание»?» Я ответила, что это определение пришло ко мне несколько лет назад и теперь временами думаю об этом и подбираю примеры тому в искусстве: это второе, внутреннее, большое содержание, которое глубо-

ко кроется в изобразительном языке и в словах. Это то, благодаря чему произведение искусства долго живет и делается необходимым людям, и каждый черпает из него то, что ему необходимо для его жизни. Но, вероятно, этим свойством наделяют свои вещи только авторы, обладающие большим чувством.

Говорили немного про блокаду. Я люблю с ней об этом говорить — она единственная, кто понимает это время, как надо и как тогда все это было и могло быть, хотя она здесь, к счастью, в самые страшные месяцы не была. Согласилась со мной, что Вера Инбер написала в своей поэме нехорошие слова: «Чтоб ты ослеп... чтоб потерял ты карточки на хлеб...» По-моему, так написать мог только человек, не видевший голода в его настоящем страшном виде, хотя и проживший блокаду в Ленинграде.

Сказала я о своих мыслях, что прожить здесь блокаду — не заслуга, а особое проклятие, что огрубела душа и, наверно, испорчена навек, хотя и нет как будто преступлений, за которые ссылают на каторгу, что нас, оставшихся в живых, надо как-нибудь, хоть немного, наказать. Анна Андреевна сказала: «Наложить покаяние».

Прощаясь, прибавила: «Заходите». Зайду, конечно. Здесь для меня оазис в пустыне, с пальмами и родником. В Союзе художников к этому времени я была восстановлена Оргкомитетом после моего письма туда о несправедливых действиях по отношению ко мне председателя Союза художников Серова.

1 августа 1945. Сегодня была у Анны Андреевны. Опять она лежала, шесть дней была больна и только сегодня первый день чувствует себя ничего, слабость, и температура 35,5.

Была опять долго. Показала свои литографии этого года, говорит, что нравятся, что я «чувствую героя». Когда окончательно напечатаю, подарю ей.

Читала мне Бодлера по-французски. «Гармонию вечера» и «Художники»[3], где изображается Рембрандт, в его характеристике употреблено слово «госпиталь». Прочитала по-английски Китса, сразу переводя на русский, стихотворение «К Рейнольдсу»... Посоветовала, изучая английский (я сейчас учу его снова, уже в третий раз), не читать хороших и трудных вещей, как Китса, например, книжку которого мне в прошлый раз давала, а что-нибудь ерундовое, «чего не жалко», и обязательно выбросить словарь.

Спросила, написала ли я что-нибудь. Я ответила, что все это время переделываю написанное. Да, читать в этом доме было мне трудно решиться. Даже никогда не представляла себе, что будет такое чувство, ведь весь этот год так хотелось читать именно ей, Ахматовой, а когда теперь могу это делать

совершенно естественно, не могу оторваться от земли, нахожу все новые недостатки в себе и все бо́льшую необходимость переделывать сделанное.

Говорили о гибели Яхонтова[4] — все это правда.

Показала письмо читательницы в редакцию журнала «Знамя» из какого-то южного города по поводу нескольких стихотворений А. Ахматовой. И опять по этому поводу пришлось вспомнить о «теме». Я спросила, права ли я, думая, что художник, поэт пишет всегда себя и о себе, даже если берет такую внешнюю тему, как война, блокада, какое-либо историческое событие. Его душа, характер его жизни — основное содержание произведения искусства и основная причина его написания. Но вся эта внешняя окружающая жизнь неизбежно отразится в этом произведении, потому что она формировала характер художника. И хочет или не хочет этого сам автор или редакция, но век и год создания мы всегда узна́ем из самой вещи. Так что напрасно притягивать художников к теме дня, а еще хуже к «злобе дня» и постоянно давать им заказы на отражение современности, она все равно отразится помимо нашего желания.

«Зажгут фонари — напишут стихи, потушат фонари — напишут стихи»,— ответила Анна Андреевна. «Бытие определяет сознание» — да, но и сознание формирует и совершенствует бытие. Это как два цвета, лежащие рядом, взаимно влияют друг на друга и стирают резкие грани собственными рефлексами. Поэтому пишешь себя и о себе, но вся внешняя жизнь — и страна, и война, и политика — все изменяет, влияет и расцвечивает душу, вливается в твое создание, которое будет тем самым всегда современно.

«Не забывайте меня»,— сказала на прощание Анна Андреевна и дала свою рукопись для готовящегося издания ее книги[5], попросила отнести в Гослитиздат для передачи художнику Дзораковскому, который будет оформлять эту книгу.

4 октября 1945. Сегодня была у Ахматовой. Но сначала запишу то, что было 28 сентября, раз уж стараюсь помнить все свои встречи с ней. Тогда пошла на другой день после приезда из Старой Ладоги, с букетом последних цветов, с альбомом набросков, но так их и не показала: сначала разговаривали, а потом кто-то пришел из соседей, ей нужно было обедать, да и было уже поздно.

Разговаривали мы о дорогах войны. Я рассказала о дороге на Ладогу, «Дороге жизни», по которой на днях ехала в грузовике, о лесах в виде гребенки, о торчащих трубах и каркасах на месте заводов и ряда поселков по правому берегу Невы, о пустом месте на месте Мги. (Надо написать «Дорогу войны»

с теми деревьями, которые видела вдоль шоссе и которые немного набросала.)

Потом почему-то заговорили о Детском Селе и о домах, где она жила там, еще в Царском. В детстве жила на Широкой улице, второй дом от вокзала, это был дом купчихи Шухардиной, а с 1911 года — напротив мужской гимназии, в доме своего мужа.

Я рассказала о своей приятельнице Тамаре Белозеровой, с которой училась в академии, бывала с ней в Детском Селе, в 34-м году написала ее портрет, который был тогда же на выставке в Русском музее, и художники — наши знакомые — находили в нем сходство с Ахматовой. Анна Андреевна сказала, что ей знакома эта фамилия, и стала припоминать, где помещалась в царскосельском Гостином дворе лавка Белозеровых. Стала думать, у кого бы могла она спросить, но оказалось, что осталась от того времени только одна какая-то знакомая.

Я обещала показать свой этюд из окна комнаты Тамары — двор последней квартиры Пушкина с бироновскими конюшнями. И так неожиданно вновь заволновалась всем этим воспоминанием (Т. Белозерова погибла в блокаду), что больше ничего не могла говорить.

Анна Андреевна все так понимала и, прощаясь, дольше обычного держала мою руку в своей. Убежала я быстро, не оглядываясь. Сегодня пошла с красными кленовыми листьями, с этюдами Летнего сада, двором последней квартиры Пушкина, с литографиями, которые подарила ей. Наверно, от доброты говорила, что все нравится. Сначала была у нее знакомая, потом пришла женщина, типа работницы, с мальчиком, занять денег. Анна Андреевна дала в один момент. С этим мальчиком она занимается, так же как с Аней, внучкой Пунина, которую очень любит, взаимно. Здесь всегда вереница посетителей — людей к ней тянет.

Говорили о действительности, о настоящей правде и как эту действительность иногда изображают: что-то сюсюкают в стихах о цветочках и бабочках на полях сражений, о цветущих яблонях среди разгроханных домов и т.д. Это называется оптимизмом. Правда и натура кажутся пессимизмом. Рассказала, как в Ташкенте инвалиды на каждом шагу и ночью слышен особый костяной стук их деревяшек по тротуару, «на трех человек — три ноги, и это еще хорошо». Напротив ее квартиры был госпиталь, и в жаркие дни раненые выползали на улицу и прямо на тротуарах сидели и лежали голыми обрубками.

«В Ташкенте в последнее время нам было уже хорошо, от литера оставалось, мы это отдавали другим, более голодным»; «Это не заслуга (почти крикнула), и ни один грех с меня не снимется». «У вас их и нет»,— сказала я.

Продолжила чтение своей прозы «Воспоминание о днях возвращения». Мне нравится — современно, правдиво и просто.

Анна Андреевна пишет очень просто, как говорит, обходится без всяких украшений, как и в одежде, которой у нее, кстати, почти нет. А красота и даже дендизм во всем присутствуют. Значит, вложенное от рождения это свойство развилось и укрепилось от неизменной гордой жизни и ее профессии.

Прочла наконец ей свои «Недели». «Мне нравится это»,— сказала она. О Теофиле Готье и Леконте де Лиле сказала, что это (влияние?), если совпадает со своим, тогда это — развитие.

10 февраля 1946. 24 января была у Ахматовой, и было особенно тепло и хорошо. Стали топить печку: «Вы мне поможете растопить». А сразу как вошла и мы сели, прочла свои последние стихи. «Cinque», «Пятерка», которые мне понравились, кроме всего, хорошо подобранными эпиграфами из Бодлера и И. Анненского. Я показала маленькие рисунки-заставки к ее пяти книгам — взяла себе, сказав: «Это для посмертного издания».

Потом сели к печке, которую я растопила, тихо спросила, наклоняясь и заглядывая в глаза (я люблю этот жест и этот вопрос): «Как живете?» Ответила: «Рисую с утра до ночи».— «Вы счастливая, значит, не суетитесь».

Когда я сказала, что хочу рисовать ее сад с заснеженными кленами, ответила: «Так что же, надо спросить разрешения у этих «архаровцев» (то есть у Арктического института, через вестибюль которого к ней все проходили с неизменным пропуском, который она потом отмечала, для чего, наверно, и появились на столе часы домиком). А когда выяснилось, что рисовать хочу из ее окна, моментально, едва успела я встать, покатила туда кресло и усадила меня. Потом начали приходить гости, но мне бросила: «Не прерывайте вашей работы». Я, конечно, всем им мешала, и, как мне показалось, разговор не очень клеился из-за меня, но уйти было неудобно. Все-таки постаралась поскорее уйти и, уходя, открыла дверь не кому иному, как своему двойнику (детской писательнице Дилакторской)[6]. На прощанье Анна Андреевна сказала: «Приходите скорее».

2 апреля 1946. Вчера была у Анны Андреевны. Весь март сидела дома с воспалением легкого, соскучилась и сразу после амбулатории позвонила, чтобы узнать, когда можно зайти. «Я уезжаю в Москву».— «Надолго?» — «Не знаю. Заходите сегодня. Я буду занята, но мы поговорим, попрощаемся».

Сечас же пошла домой переодеться и в начале четвертого была у нее. На мой звонок открыла сама. Еще за дверью

услышала ее шаги, неторопливые и неслышные, и тихий напев (когда здорова, все время что-то напевает, какой-то ритм — значит, сочиняет). Красиво причесана, с хорошим цветом лица, со слегка подкрашенными губами, в синем шерстяном джемпере, коричневые туфли на низких каблуках с языками (заграничные), светлые чулки. Подняла с полу маленький черный чемодан, уложенный и перевязанный белым шнурком (видимо, со сломанным замком). «Вот так я ехала и в Ташкент».

В комнате горела небольшая настольная лампа, она горит теперь почти всегда. Сидели у письменного стола. Ежеминутно стучали в стену или в дверь — звонил телефон. Сын, видимо, готовил на кухне, она приносила и обедала: яйца, картошка в кожуре, хлеб ломала от большого куска,— «нож тупой» — показала. Я стала точить этот ножик о чайное блюдце. Потом пили чай, и я — «У меня сервировка такая же».

В шесть часов должен был заехать на машине А. Прокофьев. «Стрела» уходит в 7 часов. Отсюда едут пять поэтов[7]: Ахматова, Прокофьев, Саянов, Дудин, Браун; Берггольц уже там. 2-го они будут вместе с московскими поэтами читать в Колонном зале. «Ехать не хочется. Волнуюсь. Не люблю выступать».

В прошлый раз в конце января, когда я была у нее здесь, у окна стояла корзина с цветами — выступали в Доме ученых. Сказала тогда: «Выступать больше не буду, нет, нет, и то платье отдала перешивать». Когда же я начала приводить «разумные» доводы, что «вы обязаны читать, это ваш долг, а платье для этого не обязательно до полу», категорически ответила: «Мой долг — писать, а выступать вовсе нет, я не актриса».

Но оказалось, что после этого читала в политехническом институте, в Доме кино. «А как же платье?» — «Платье не перешито».

Показала первый номер «Звезды» за 46-й год, где напечатано несколько ее вещей, очень хороших, в том числе «Хозяйка», про которое Пастернак сказал: «В средние века за это стихотворение вас бы сожгли на костре». Она ответила тогда: «Я думаю, еще до этого стихотворения». Я добавила: конечно, давно сожгли бы за всю вашу деятельность. Посмотрела на меня и засмеялась. В этом же номере я обратила внимание на ее стихотворение Иннокентию Анненскому и спросила, знает ли она «Два паруса лодки одной»? — «Ну, еще бы!»

Говорили о старших символистах, я спросила про З. Гиппиус. Из ее вещей Анне Андреевне нравится «Единый раз вскипает пеной...». Она прочитала строфу из этого стихотворения, сказав: «Вот, это замечательно». Рассказала, что когда ей был 21 год, она хотела пойти к Гиппиус показать свои стихи, но ей кто-то сказал: «Не ходите, она очень зло пробирает молодых поэтов». Анна Андреевна не пошла, а когда в 17-м

году З. Н. Гиппиус звонила ей и приглашала, тоже не пошла. Прибавила: «Я этот случай запомнила раз и навсегда, и теперь, когда ко мне приходят что-нибудь показывать, то, какое бы настроение ни было, стараюсь относиться с добротой».

Потом я припомнила свой список вопросов к ней, который часто бывает заранее составлен, но про который так же часто забываю. Спросила, что за явление поэзия Симонова, мне показалась она несколько прозаичной. Анна Андреевна совсем не стала об этом говорить. Нет, и все. Зато о Пастернаке говорила со всей душой. К какой школе или группе его можно причислить? — «У него своя собственная школа.— И прибавила:— Хотели бы вы иметь свою школу?..» Я слегка обалдела. Она спросила еще: «Как, по-вашему, что мне читать?» Тут уже я моментально начала перечислять: «Мужество», «Мальчика», «Cinque», «Тот город, мной любимый с детства...» и т. д. «Что вы, два, не больше; там будут читать чуть ли не двадцать человек».

Потом пришел на минуту Д. Н. Журавлев. «Лучший чтец в Ленинграде»,— сказала о нем, когда он ушел. Он недавно читал ее вещи в композиции под названием «Творчество». Он посоветовал обязательно прочесть «Дыню»[8]. Вот, кажется, все.

6 мая 1946. Вчера открылась выставка Тырсы[9] в Союзе. Позвонила Анне Андреевне. Она попросила зайти за ней на следующий день в половине первого. Зашла. Лежит. Был небольшой сердечный приступ, не пошла. Рассказывала, что в Москве, когда вошла ленинградская группа поэтов в зал Дома писателей, все встали. Ахматова шла первая; когда она стала читать, тоже все встали и так и слушали ее стоя. Когда рассказывала, на глазах были слезы. Выступала в Москве восемь раз. Позировала Сарьяну[10], шесть сеансов.

4 июля 1946. 21 июня приехала из Дома творчества из Хосты, сразу окунулась в художественное болото. Вчера была у Анны Андреевны после двухмесячного промежутка. Было исключительно хорошо. (Если бы не было на свете Анны Андреевны, можно было бы повеситься от «прекрасной жизни».)

Читала ей свои «дорожные наброски», «Черное море» и «Закат над морем». Сказала, что они лучше других. Она прочла три стихотворения. «Надпись на портрете» (Вечесловой), «Подражание Блоку». Все понравилось. Дала прочесть, и я списала три вставки в поэму и новый эпиграф из «Макбета». У нее всегда замечательно хорошо подобраны эпиграфы, так умел только Пушкин. Скоро Анна Андреевна останется од-

на — все куда-то уедут на лето. Взяли маленького котенка, так как в квартире крысы. «Останемся я и крысы». Я с удовольствием точила ей карандаши — они всегда поломаны, да и нету их, один-два, и те ужасные. Я как-то не раз оставляла свои хорошие, но они быстро куда-то исчезали, и снова появлялись плохие. Чернил хороших тоже нет. Говорит: «Мы точим химический карандаш и эту пыль разводим на чернила». Вообще неизвестно, чем пишет — «исключительно одной силой воли». Теперь принесу и чернил: я уже давно их сделала и все носила в портфеле, стеснялась отдать. Ей очень трудно что-нибудь давать.

Показала недавно вышедшую книгу Есенина, однотомник, с надписью от С. Толстой-Есениной[11], его жены. Спросила, чем нравится мне Есенин и нравится ли? Мне — нет. Я ответила, что люблю многие его стихи за очень большое и ясное чувство, но у него как-то нечему учиться, а содержание брать нельзя. Конечно, он самостоятелен, хотя что-то есть от Блока, даже немного от Маяковского, но голос его свой, собственный, особенный. Он... по чистоте чувства — звезда, упавшая с неба, как и она, и за это их обоих любят и помнят, хотя книги их редки, да и вообще их нет в продаже.

Ходили вместе в Дом писателей за карточкой на белый хлеб. Шли, все время делая крюки по рассеянности: сначала по Моховой — там оказалось все разрыто, а потом по Фонтанке. При переходе через улицу Анна Андреевна брала меня под руку. По дороге показывала дома, в которых жила: на Фонтанке, дом 18, «в глубине четвертого двора»[12], жила там в 1921 году. Потом угловой дом на Французской набережной и набережной Фонтанки, шестое окно от угла. Там жила во время наводнения 1924 года. В квартире всплыл паркет, а старые липы в Летнем саду водой залило до крон. Наводнение застало ее на Смоленском кладбище, «за панихидой по Настеньке Сологуб»[13]. В 1918 году жила в Шереметевском доме, во флигеле напротив своей теперешней квартиры, со своим вторым мужем В. К. Шилейко, который болел тогда туберкулезом, все время страшно кашлял. У нее тогда была цинга и зубы свободно вынимались руками. Был голод. «О том голоде говорить не принято. Хотелось есть и хотелось почему-то быстрой езды на моторной лодке или на машине». В доме ничего не было, так как «из дома первого мужа, из Царского Села, пришла сюда, имея только два платья: голубое и желтое, каждую кастрюлю приходилось просить у «злых соседок».

Когда шли вдоль Невы, я рассказала, что чуть ли не всю жизнь учусь плавать, но все равно не умею и боюсь воды. «Если бы мне из-за сердца можно было плавать, я бы научила вас в полчаса».

Она не представляет, как можно бояться воды, с пяти лет плавает как рыба. Однажды на юге пятнадцатилетней де-

вочкой уехала с мальчишками на лодке далеко в море. Они стали дразнить ее, называли ленивой, заставляли грести, тогда она молча перешагнула через борт лодки и поплыла к берегу. «И никто из них даже не обернулся: до того это было обыкновенно и просто», все были уверены, что она не может утонуть. «Так же просто, как встать и перейти на другую скамейку».

На обратном пути шли по Литейному, чтобы купить папирос. Положила их ко мне в портфель. Прощаясь у решетки Фонтанного Дома, как всегда, сказала: «Спасибо, приходите».

22 сентября 1946. Тоска бесконечная. Стыдно смотреть на людей, будто чем-то облили меня, стыдно и не хочется жить в такое время. Рано утром пошла в мастерскую печатать — неудачно. На обратном пути в газете прочла эту погань[14]. Днем был приступ тахикардии, лежала. Когда кончился, захотелось уйти, забыться, пошла в Дом писателей в библиотеку, обедать, потом старалась ни о чем не думать.

28 сентября 1946. Всю эту неделю была почти больна, билось сердце, болела голова, с трудом ходила по музеям, сдавала и оформляла свои вещи.

22-го ходила к Рыбаковым спросить об Анне Андреевне — больна. В субботу 24-го из музея Ленина пошла к ней. Находиться вдали больше не могла. Попала неудачно — в квартире была пожарная комиссия, она ходила с ней. Потом пришли какие-то двое — муж и жена. С ней мы все издали раскланялись, она — с хорошей улыбкой. Я сидела на окне в передней с котенком, ждала, когда уйдут пожарники. Те двое тоже ждали. По уходе комиссии она вышла к нам в переднюю, подала всем руку, «он» стал целовать руку, она с досадой отдернула. Я решила сразу быстро уйти, а Анна Андреевна взяла меня за плечи и почти вытолкнула: «Ко мне нельзя — ну как вы сами не понимаете?»

19 марта 1947. 11-го днем была у Анны Андреевны. Не видела больше двух месяцев. Она немного похудела лицом, но, кажется, стала еще красивее.

Когда я вошла, она только что приехала из «Астории» (туда приехал кто-то из ее знакомых из Москвы), была в красивом темно-синем платье слегка лиловатого тона, вижу в нем впервые. Этот цвет ей идет больше всего. Черные замшевые туфли на высоких точеных каблуках. Она стала прибирать постель на диване, я — затапливать печку.

Потом показала ее портреты в гравюре на картоне — два

варианта,— она взяла себе оба. Я была рада. На этом мои удачи не кончились в тот день: она позировала, и я написала маслом небольшой этюд, фигуру в интерьере. В темно-синем платье, с серебристо-черным мехом, в кресле, спиной к окнам, на фоне серо-зеленой стены и темно-красного туалета. В этот раз писала более уверенно, но все еще целиком не освободилась от той смешной робости, которая охватила тогда, в июле 44-го года, при писании первого портрета. У нее при позировании очень смешная и милая манера постоянно оглядываться на меня, следить, куда я смотрю, как идет дело. Когда она подошла в первый раз, просидев не больше пятнадцати минут, я успела положить всего два-три тона и наметить лишь некоторые точки в построении. Попыталась было закрыть этюд, не дать смотреть, но она легко взяла меня за плечи — пришлось сдаться. Сказала, что ей нравится, есть посадка, идет нормально.

Сеанс длился не больше 1 часа 10 минут с двумя-тремя вставаниями. Когда посмотрела этюд дома, нашла одно-два сбивчивых места, но в общем что-то взято от нее, он — в характере, но сегодня было гораздо легче немного писать по памяти: набросок все-таки помог заучивать наизусть. Если бы она позировала почаще! Нужно собрать всю волю, овладеть собой и уверенно делать свое, хотя бы и под ее контролем. А то уж получается какое-то ребячество.

Перед уходом немного посидели у печки, говорили по поводу моего рассказа, слышанного от монтера, бывшего в конце войны в Германии, о заграничных «удобствах» жизни. Анна Андреевна, как всегда, рьяно нападала на жизненную скуку, царящую в Европе и особенно в Америке, об «отвратительном стиле германских городов», и в первую очередь Берлина, который, «конечно, самый безобразный город». Рассказала, как еще в 1910 году Верхарн, приезжавший в Москву и Петербург, восхищался особой интересностью русской жизни. «Какие характеры!» — говорил он. Сегодня занесла ей давно обещанные спички, много, а то закуривает от печки, совершенно ужасно: таскает головни, как еще не спалила глаза!

19 августа 1947. ...Сегодня была у нее. Открыла дверь сама — только что вернулась из сберкассы — «из банка». Еще похудела, имеет больной вид, всю зиму и лето 37,3—37,5. Просвечивалась. Доктор находит вспышку туберкулеза, велит уехать из города.

В юности у нее был туберкулез в течение пятнадцати лет. Я нелепо и безрезультатно отдавала ей свою карточку на белый хлеб, которой пользоваться мне стыдно, раз этого нет у нее, но разве это удастся?..

. . . .

26 ноября 1965. Узнаю о здоровье Анны Андреевны раз в неделю от Е. Я., которая знает через Л. Ан. Аренс. Часто звонить на квартиру стесняюсь. Недавно разговаривала с Ириной, сказала ей, что, может быть, поеду в Москву, соврала, что по делам, просто к Анне Андреевне. Ответила, что к Анне Андреевне не пускают, но что ей лучше. Безотчетная тоска. Только бы снова увидеться. Вновь и вновь пересматриваю свои портреты с нее и рисунки 60-го года. С набросков фигуры сидящей за столом и стоящей (в сером пальто) хочется сделать офорты. Начала сухую иглу с наброска головы в венецианском кружеве. Но сейчас с удовольствием пишу «Комаровский лес». Немного трогаю и новый портрет Анны Андреевны в кресле, в белой шали у окна, как ее всегда видела, входя в ее комнату. Набросок к этому портрету и портрет начала в Комарове, когда была у нее в сентябре.

27 января 1966. В публичной библиотеке на днях встретила Л. Аренс, сказала, что Анна Андреевна поправляется, но что это был инфаркт (не микро) и одно время было плохо. Тоска недаром. Вчера звонила Ирине Николаевне, говорит, что Анне Андреевне лучше, но в больнице ее еще задержат недели на две. Как будто стало спокойней.

16 февраля 1966. Узнавала об Анне Андреевне. После больницы поедет в санаторий под Москвой, но ей, кажется, больше хочется сюда, в Комарово. Как я не люблю ее поездок в Москву, как всегда жду возвращения.

16 марта 1966.

Над сколькими безднами пела
И в скольких жила зеркалах...

Сколько глаз человеческих отражало ее с любовью и поклонением, в глазах скольких художников она жила. В моих — поселилась давно и навеки.

Анна Андреевна соединила в себе многовековую культуру человечества. Она впитала в себя античную эллинскую поэзию Алкея и Сафо, чей профиль в V и VI веках вырезáли на монетах городов. Любила читать римских поэтов: Горация, Вергилия, элегии Проперция. И в ее наружности было что-то античное, чем-то она напоминала чернофигурную роспись античных ваз.

Она, образованнейший человек нашего времени, читала на четырех европейских языках, любила поэзию читать в подлинниках. Как-то в феврале 1965 года, когда я ездила к ней в Ко-

марово, в Дом творчества, дала мне «Иностранную литературу», велела сейчас же прочесть там стихи Леона Фелипе и сказала, что ей хочется выучить испанский язык: «Чтобы слышать эти стихи в подлиннике». Она вобрала в себя и древнерусскую, славянскую культуру; в наружности и характере ее было что-то новгородское, гордая сила и несгибаемость русской души. Такой, например, я представляю себе Марфу-посадницу и княгиню Ольгу.

Как-то, глубокой осенью, в конце 1963 года, будучи больной, в постели, в своей «будке» она прочла мне наизусть большой отрывок из «Слова о полку Игореве», плач Ярославны, на древнеславянском языке. Разговор зашел о древнеславянском языке и надписях старой Нередицы, которые я, будучи там до войны, не могла прочесть, хотя славянский язык учила в детстве. И еще — по поводу ее креста, который она вынула и показала мне тогда. Оборотная сторона его была вся исписана древнеславянским текстом.

Ахматова принадлежит народу русскому, и, наверно, народ напишет ее биографию, а не тот или иной отдельный биограф...

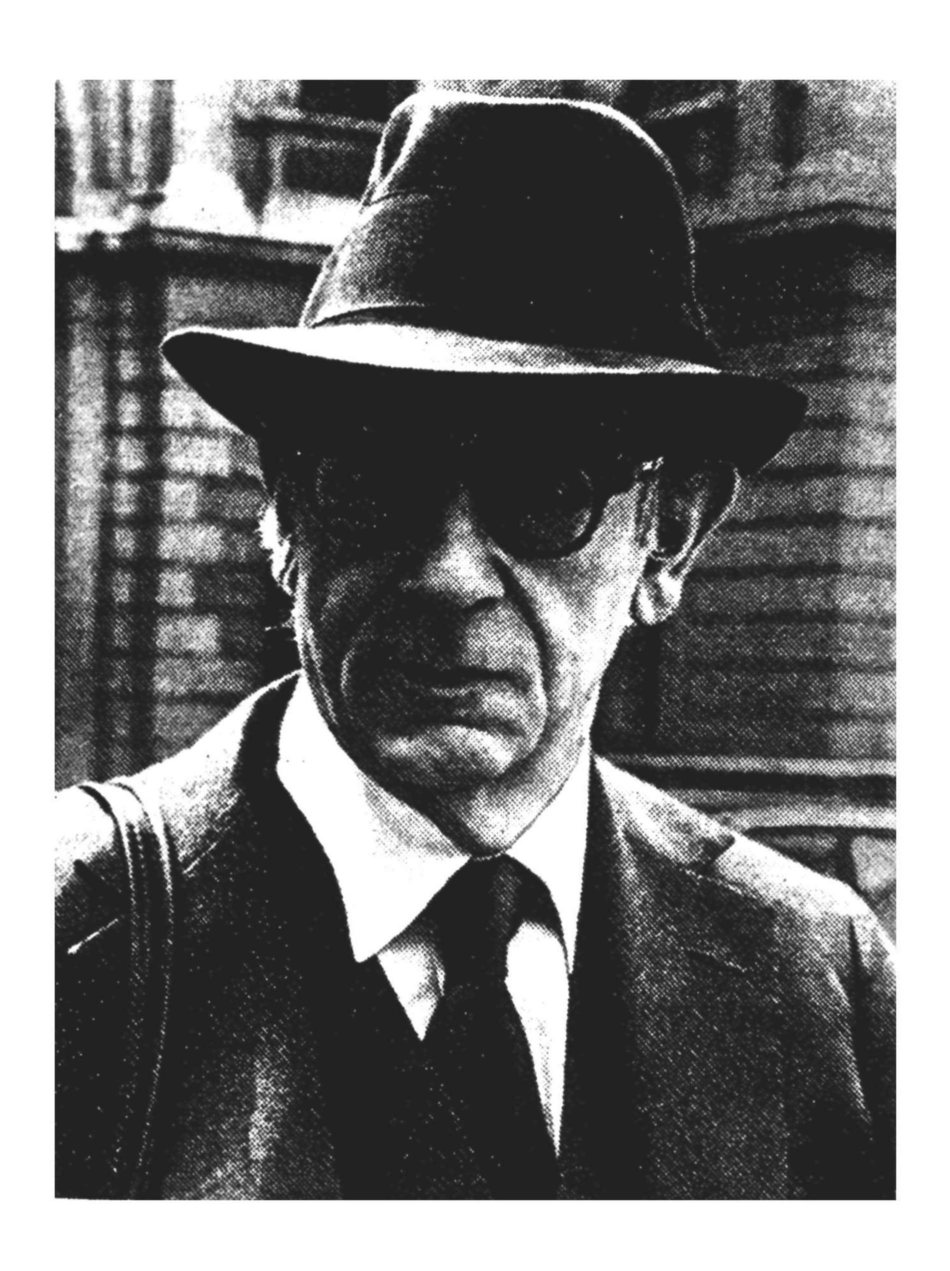
Исайя Берлин

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ «ВСТРЕЧИ С РУССКИМИ ПИСАТЕЛЯМИ»

Летом 1945 года я был временным сотрудником британского посольства в Вашингтоне. В один прекрасный день мне сообщили, что на несколько месяцев меня переводят в распоряжение нашего посольства в Москве. Там не хватало людей, и было решено, что, поскольку я владею русским языком и у меня была возможность на Сан-Францискской конференции (и еще задолго до нее) кое-что узнать об официальном и неофициальном отношении американцев к Советскому Союзу, я смогу оказать помощь в работе посольства. Предполагалось, что я пробуду в таком качестве до Нового года, а там высвободится для работы в Москве какой-нибудь более профессиональный дипломат.

Война окончилась. Потсдамская конференция не привела к открытому разрыву между победоносными союзниками. Несмотря на мрачные предчувствия в некоторых кругах на Западе, общее настроение в официальных сферах Вашингтона и Лондона было осторожно оптимистическое, а широкая публика и пресса и вовсе полны были надежд и даже энтузиазма. Так исключительна была храбрость, проявленная советскими людьми в войне с Гитлером, столь ужасающи принесенные ими жертвы, что колоссальная волна симпатии к России, поднявшаяся в середине 1945 года, заставила замолчать многих критиков советской системы и ее методов. Повсюду было заметно горячее стремление к взаимному пониманию и сотрудничеству во всем. Я выехал в Москву как раз в разгар этого периода добрых чувств, которые, если верить рассказам, равно царили и в Советском Союзе и в Англии...

...Здесь я хочу вернуться в 1945 год и описать мои встречи с поэтом (она ненавидела слово «поэтесса») в Ленинграде. Это произошло так: я прослышал, что книги в Ленинграде в магазинах, называемых в Советском Союзе «антикварными», стоят гораздо дешевле, чем в Москве. Чрезвычайно высокая смертность и возможность обменять книги на еду во время блокады города привели к тому, что много книг, особенно принадлежавших старой интеллигенции, оказались на прилавках государственных букинистических магазинов. Рассказывали, что некоторые ленинградцы настолько ослабели из-за голода и болезней, что у них не было сил относить книги в магазин,



Исайя Берлин

поэтому зачастую друзья раздирали для них книги на отдельные страницы и главы, и в таком виде книги оказывались на прилавках у букинистов, а там их можно было купить. Я бы сделал все возможное, чтобы попасть в Ленинград в любом случае: мне не терпелось своими глазами снова увидеть город, где я провел четыре года моего детства. Книжный соблазн лишь еще сильнее разжигал мое желание. После обычной волокиты мне дали разрешение провести в Ленинграде две ночи в старой гостинице «Астория» в обществе представителя Британского Совета в Советском Союзе, мисс Бренды Трипп, весьма умной и симпатичной барышни, специализировавшейся в области органической химии. Мы приехали в Ленинград серым осенним днем в конце ноября.

Я не был в этом городе с 1919 года, когда мне было 10 лет и моей семье разрешили вернуться в нашу родную Ригу, столицу в то время независимой республики. В Ленинграде воспоминания детства вернулись ко мне с необычайной отчетливостью. Я был невыразимо тронут видом улиц, домов, статуй, набережных, рынков, внезапно знакомых сломанных перил в маленькой лавочке, где чинили самовары,— в подвале дома, где мы жили. Внутренний двор дома выглядел таким же заброшенным и грязным, как и тогда, в первые годы революции. Воспоминания об отдельных событиях, эпизодах, переживаниях как бы стали между мною и окружающей действительностью. Я как будто бы бродил по легендарному городу и сам был частью этой яркой, полузабытой легенды. Одновременно я смотрел на все это с позиции стороннего наблюдателя. Город был сильно поврежден, но тогда, в 1945 году, он оставался еще неописуемо стройным и прекрасным. Когда я посетил его снова через одиннадцать лет, он казался уже полностью восстановленным. Я направился прямо к цели моего путешествия, на Невский проспект, в Книжную лавку писателей, о которой я был много наслышан. В то время (наверное, и сейчас) в некоторых русских книжных магазинах были две половины: одна, внешняя, для общей публики, в которой книги лежали по ту сторону прилавка, и другая — внутренняя, со свободным доступом к полкам, куда допускались писатели, журналисты и другие привилегированные лица. Поскольку мисс Трипп и я были иностранцами, нас допустили во внутреннее святилище. Рассматривая книги, я вступил в разговор с человеком, перелистывавшим книжку стихов. Он оказался известным критиком и историком литературы. Мы разговорились о недавних событиях, и он рассказал мне об ужасной участи Ленинграда во время блокады, о мученичестве и героизме ленинградцев. Он сказал, что многие умерли от голода и холода, другие — особенно те, кто помоложе,— выжили, некоторых эвакуировали. Я спросил его о судьбе писателей-ленинградцев. Он ответил: «Вы имеете в виду Зощенко и Ахматову?» Ахматова была

для меня фигурой из далекого прошлого. Морис Баура[1], переводивший некоторые из ее стихов, говорил, что о ней не было слышно со времени первой мировой войны. «А Ахматова еще жива?» — спросил я. «Ахматова, Анна Андреевна? — сказал он.— Да, конечно. Она живет недалеко отсюда, на Фонтанке, в Фонтанном Доме. Хотите встретиться с ней?» Для меня это прозвучало так, как будто бы меня вдруг пригласили встретиться с английской поэтессой прошлого века мисс Кристиной Россетти. Я с трудом нашелся, что сказать, и пробормотал, что очень бы желал с ней встретиться. «Я позвоню ей»,— ответил мой новый знакомец и возвратился с известием, что она примет нас в три часа дня. Мне надо было прийти обратно в Книжную лавку, откуда мы должны были вместе отправиться к Ахматовой. Я тем временем возвратился в «Асторию» к мисс Трипп и спросил ее, хочет ли она посетить поэта, на что она ответила, что не может, поскольку у нее уже что-то было назначено на это время.

Я вернулся к назначенному часу. Критик и я вышли из Книжной лавки, повернули налево, перешли через Аничков мост и снова повернули налево вдоль набережной Фонтанки. Фонтанный Дом, дворец Шереметевых,— прекрасное здание в стиле позднего барокко, с воротами тончайшего художественного чугунного литья, которым так знаменит Ленинград. Внутри — просторная зеленая площадка, напоминающая четырехугольные дворы какого-нибудь большого колледжа в Оксфорде или Кембридже. По одной из крутых, темных лестниц мы поднялись на верхний этаж и вошли в комнату Ахматовой. Комната была обставлена очень скупо, по-видимому, почти все, что в ней стояло раньше, исчезло во время блокады — продано или растащено. В комнате стоял небольшой стол, три или четыре стула, деревянный сундук, тахта и над незажженной печкой — рисунок Модильяни. Навстречу нам медленно поднялась статная, седоволосая дама в белой шали, наброшенной на плечи.

Анна Андреевна Ахматова держалась с необычайным достоинством, ее движения были неторопливы, благородная голова, прекрасные, немного суровые черты, выражение безмерной скорби. Я поклонился — это казалось уместным, поскольку она выглядела и двигалась, как королева в трагедии,— поблагодарил ее за то, что она согласилась принять меня, и сказал, что на Западе будут рады узнать, что она в добром здравии, поскольку в течение многих лет о ней ничего не было слышно. «Однако же статья обо мне была напечатана в «Дублин ревью»,— сказала она,— а о моих стихах пишется, как мне сказали, диссертация в Болонье». С ней была ее знакомая, принадлежавшая, по-видимому, к академическим кругам, и несколько минут мы все вели светский разговор. Затем Ахматова спросила меня об испытаниях, пережитых лондонцами во время

бомбежек. Я отвечал как мог, чувствуя себя очень неловко,— веяло холодком от ее сдержанной, в чем-то царственной манеры себя держать. Вдруг я услышал какие-то крики с улицы, и мне показалось, что я различаю свое собственное имя! Некоторое время я пытался не обращать на них никакого внимания — ясно, что это была галлюцинация, но крики становились все громче и громче, и можно было вполне явственно различить слово «Исайя!». Я подошел к окну, выглянул наружу и увидел человека, в котором я узнал сына Уинстона Черчилля, Рандольфа. Похожий на сильно подвыпившего студента, он стоял посреди большого двора и громко звал меня. Несколько секунд я не мог сдвинуться с места — ноги буквально приросли к полу,— после чего я пришел в себя, пробормотал извинения и сбежал вниз по лестнице. Единственно, о чем я мог в ту минуту думать, было — как предотвратить его появление в комнате Ахматовой. Мой спутник, критик, выбежал вслед за мной. Когда мы вышли во двор, Черчилль подошел ко мне и весело и шумно меня приветствовал. «Мистер X.,— сказал я совершенно механически,— я полагаю, вы еще не знакомы с мистером Рандольфом Черчиллем?» Критик застыл на месте, на лице его выражение недоумения сменилось ужасом, и он поспешно скрылся. Я больше никогда не встречал его, но его статьи продолжают печататься в Советском Союзе, из этого я делаю вывод, что наша случайная встреча ему никак не повредила. Я не знаю, следили ли за мной агенты тайной полиции, но никакого сомнения не было в том, что они следили за Рандольфом Черчиллем. Этот невероятный инцидент породил в Ленинграде самые нелепые слухи о том, что приехала иностранная делегация, которая должна была убедить Ахматову уехать из России, что Уинстон Черчилль, многолетний поклонник Ахматовой, собирался прислать специальный самолет, чтобы забрать ее в Англию, и т.д. и т.п.

Я не видел Рандольфа с наших студенческих дней в Оксфорде. Я в спешке вывел его из Фонтанного Дома и спросил, что все это значит. Он объяснил мне, что приехал в Москву как журналист по поручению Североамериканского газетного объединения. Посещение Ленинграда было частью его программы. Первым серьезным делом, за которое он взялся сразу же по приезде в гостиницу «Астория», было устройство в холодильник приобретенной им икры. Поскольку он совсем не знал русского языка, а его переводчик куда-то запропастился, он стал громко взывать о помощи. Эти крики в конце концов донеслись до мисс Бренды Трипп. Она спустилась вниз, позаботилась об икре и в ходе общей беседы рассказала ему, что я нахожусь в Ленинграде. Он сказал, что знает меня и что, по его мнению, я прекрасно смогу заменить ему исчезнувшего переводчика. После чего мисс Трипп довольно неосмотрительно поведала ему о моем посещении дворца Шереметевых.

Остальное было понятным: поскольку Черчилль не знал, где именно меня искать, он прибег к старому испытанному методу, хорошо послужившему ему и в других ситуациях тоже. Этот метод был безотказным, добавил он с обезоруживающей улыбкой. Я поспешил при первом удобном случае избавиться от него и, получив номер Ахматовой от продавца в Книжной лавке, позвонил ей, чтобы объяснить причину моего внезапного и неожиданного бегства и принести свои извинения. Я спросил, смею ли я прийти к ней снова. «Я жду вас сегодня в девять часов вечера»,— ответила она.

Когда я вернулся, у Ахматовой снова сидела приятельница, на этот раз ученица ассириолога Шилейко, ее второго мужа, ученая дама, засыпавшая меня многочисленными вопросами об английских университетах и их организации. Ахматовой это было явно неинтересно, она молчала. Незадолго до полуночи дама-ассириолог ушла, и Ахматова стала расспрашивать меня о судьбе своих старых друзей, которые эмигрировали из России и которых я мог знать (она сказала позже, что была в этом абсолютно уверена, так как в личных отношениях ее интуиция — почти второе зрение — никогда не обманывала ее). И действительно, с некоторыми из них я был знаком. Мы поговорили о композиторе Артуре Лурье, которого я встретил в Америке во время войны. Лурье был когда-то другом Ахматовой и положил на музыку некоторые из ее стихов и стихов Мандельштама. Она вспомнила поэта Георгия Адамовича, мозаичиста Бориса Анрепа (с которым я никогда не встречался); я знал о нем очень мало — только то, что он украсил пол вестибюля Национальной Галереи в Лондоне фигурами знаменитостей, среди них Бертран Рассел, Вирджиния Вульф, Грета Гарбо, Клайв Белл, Лидия Лопухова. Через двадцать лет я смог рассказать Ахматовой о том, что Анреп добавил к этим портретам и ее собственный мозаичный портрет и назвал его «Сострадание». Она ничего об этом не знала и была глубоко тронута; тут она показала мне кольцо с черным камнем, подаренное ей Анрепом в 1917 году. Ахматова принялась расспрашивать о Саломее Гальперн, урожденной Андрониковой (находящейся, к счастью, среди нас в момент написания этих строк). Ахматова была с ней хорошо знакома в Петербурге еще до первой мировой войны. Саломея Андроникова была одной из самых известных светских красавиц той эпохи. Она славилась своим умом, обаятельностью и остроумием. В числе ее друзей были многие знаменитые русские поэты и художники того времени. Ахматова рассказала мне то, что я уже знал до этого: влюбленный в Андроникову Мандельштам посвятил ей одно из самых замечательных своих стихотворений. Я был хорошо знаком с Саломеей Николаевной (и с ее мужем Александром Яковлевичем Гальперном) и смог рассказать Ахматовой о их жизни, круге друзей и взглядах. Она спросила о Вере Стравин-

ской, жене композитора, с которой я в то время не был знаком. Я смог полностью ответить на эти вопросы лишь в 1965 году в Оксфорде. Она рассказывала о своих поездках в Париж до первой мировой войны, о дружбе с Амедео Модильяни; ее портрет пера Модильяни висел над печкой (у нее было много таких рисунков Модильяни, но все они пропали во время блокады); она рассказывала о своем детстве на берегу Черного моря; она называла эти места языческим, некрещеным краем; там она чувствовала близость к какой-то древней, полугреческой, полуварварской, глубоко нерусской культуре; о своем первом муже, знаменитом поэте Гумилеве, который внес большой вклад в ее формирование. Ему казалось нелепым, что и муж и жена — поэты, и иногда он сурово критиковал ее стихи, хотя никогда не унижал ее перед другими. Однажды, когда он возвращался из одного из своих путешествий в Абиссинию (тема его наиболее экзотических и великолепных стихотворений), она встречала его на вокзале в Петербурге (через много лет она снова рассказывала эту историю — в тех же самых словах — Дмитрию Оболенскому и мне в Оксфорде). Гумилев хмурился. Первый вопрос, который он ей задал, был: «Писала?» — «Да».— «Прочти». Она прочла. «Да, неплохо, хорошо!» — сказал Гумилев, перестав хмуриться, и они отправились домой. С этой минуты он признал ее как поэта. Она была убеждена в том, что он не принимал участия ни в каком монархическом заговоре, в чем его обвиняли и за что он был расстрелян. Горький, которого многие писатели просили похлопотать за Гумилева, не любил его и, согласно некоторым сведениям, не вступился за него. Она не виделась с Гумилевым в течение уже некоторого времени перед его арестом — они развелись за несколько лет до этого. У нее были слезы на глазах, когда она рассказывала об ужасных обстоятельствах его смерти.

После некоторого молчания она спросила меня, хочу ли я послушать ее стихи. Но до этого она хотела бы прочесть мне две песни из «Дон Жуана» Байрона, поскольку они имеют прямое отношение к последующему. Даже несмотря на то что я хорошо знал поэму, я не мог бы сказать, какие именно песни она выбрала, поскольку, хоть она и читала по-английски, ее произношение было таким, что я не мог понять ничего, за исключением одного или двух слов. Закрыв глаза, она читала наизусть, с большим эмоциональным напряжением. Чтобы скрыть свое замешательство, я поднялся и выглянул из окна. Позднее я сообразил, что, может быть, именно так мы декламируем классическую греческую или латинскую поэзию. И ведь нас неизъяснимо волнуют эти слова, которые в нашем произношении, может быть, были бы совсем непонятны их авторам и слушателям. Затем она стала читать собственные стихи из сборников «Anno Domini», «Белая стая», «Из шести книг».

«Стихи, похожие на эти, только лучше, чем мои, явились причиной гибели лучшего поэта нашей эпохи, которого я любила и который любил меня...» — я не мог понять, шла ли речь о Гумилеве или о Мандельштаме, потому что она разрыдалась и не могла продолжать. Затем она прочла еще не оконченную в то время «Поэму без героя». Сохранились звукозаписи ее чтения, и я не буду пытаться описать его. Уже тогда я сознавал, что слушаю гениальное произведение. Не буду утверждать, что тогда я понимал эту многогранную и совершенно волшебную поэму с ее глубоко личными аллюзиями в большей степени, чем понимаю ее теперь. Ахматова не скрывала, что поэма была задумана как своего рода окончательный памятник ее жизни как поэта, памятник прошлому ее города — Петербурга, которое стало неотъемлемой частью ее личности, и — под видом святочной карнавальной процессии переодетых фигур в масках — памятник ее друзьям, их жизни и судьбам, памятник ее собственной судьбе, своего рода художественное «ныне отпущаеши», произнесенное перед неизбежным и уже близким концом. Строки о «Госте из будущего» еще не были написаны, как и третье посвящение. Это таинственная вещь, полная скрытого смысла. Курган научных комментариев неумолимо растет над поэмой. Скоро она, пожалуй, будет совсем погребена под ним.

Затем Ахматова прочла по рукописи «Реквием». Она остановилась и начала рассказывать о 1937—1938 годах[2], когда и муж, и сын ее были арестованы и сосланы в лагерь (этому суждено было повториться), о длинных очередях, в которых день за днем, неделя за неделей, месяц за месяцем женщины ждали вестей о мужьях, братьях, сыновьях, ждали разрешения послать им передачу или письмо. Но новостей никогда не было, никакие известия не доходили до них. Гробовой покров повис над городами Советского Союза, где миллионы невинных подвергались истязаниям и казням. Она говорила совершенно спокойным, бесстрастным тоном, иногда прерывая свой монолог замечаниями вроде: «Нет, я не могу, все это бесполезно. Вы живете в человеческом обществе, в то время как у нас общество разделено на людей и...» Затем, после долгого молчания: «И даже теперь...» Я спросил про Мандельштама. Она не произнесла ни слова, глаза ее наполнились слезами, и она попросила меня не говорить о нем: «После того как он дал пощечину Алексею Толстому, все было кончено...» Ей нужно было некоторое время, чтобы успокоиться, затем совершенно другим тоном она сказала: «Алексей Толстой меня любил. Когда мы были в Ташкенте, он ходил в лиловых рубашках à la russe и любил говорить о том, как нам будет вместе хорошо, когда мы вернемся из эвакуации. Он был удивительно талантливый и интересный писатель, очаровательный негодяй, человек бурного темперамента. Его уже нет. Он был способен

на все, на все, он был чудовищным антисемитом; он был отчаянным авантюристом, ненадежным другом. Он любил лишь молодость, власть и жизненную силу. Он не окончил своего «Петра Первого», потому что говорил, что он мог писать только о молодом Петре. «Что мне делать с ними всеми старыми?» Он был похож на Долохова и называл меня Анушкой,— меня это коробило,— но он мне нравился, хотя он и был причиной гибели лучшего поэта нашей эпохи, которого я любила и который любил меня».

К этому времени было уже, мне кажется, три часа утра. Она не подавала никакого знака, что мне надо уйти. Я же был слишком взволнован и поглощен, чтобы сдвинуться с места. Отворилась дверь, и вошел Лев Гумилев, ее сын (сейчас он профессор истории в Ленинграде); было ясно, что они были глубоко привязаны друг к другу. Он рассказал мне, что учился у знаменитого ленинградского историка Евгения Тарле и что областью его занятий является история древних племен центральной Азии (он не упомянул о том, что был там в лагере). Его интересовала ранняя история хазар, казахов и более древних племен. Ему разрешили пойти добровольцем на фронт, где он служил в зенитной части, состоявшей из бывших заключенных. Только что он вернулся из Германии. Он производил впечатление человека в хорошем расположении духа и был уверен, что сможет снова жить и работать в Ленинграде. Гумилев предложил мне блюдо вареной картошки — все, что у них было. Ахматова извинилась за скудость угощения. Я стал умолять ее позволить мне записать «Поэму без героя» и «Реквием». «Не нужно,— сказала она,— в феврале должен выйти томик моих избранных стихов; и все это уже есть в корректуре. Я пошлю вам экземпляр в Оксфорд». Как мы знаем, партия судила иначе, и Жданов выступил с публичными поношениями Ахматовой, назвав ее «полумонашенкой, полублудницей» (выражение, которое он не полностью выдумал)[3]. Эти обвинения были частью более широкой кампании, направленной против «формалистов» и «декадентов» и против двух журналов, в которых печатались их произведения. После того как ушел Лев Гумилев, она спросила меня, что я читал. Прежде чем я смог ответить, она обрушилась на Чехова, обвиняя его в том, что его мир покрыт какой-то ужасной тиной, что его пьесы тоскливы, что в его мире нет героев и мучеников, нет глубины, нет темного, нет духовных высот. Это была та самая страстная обвинительная речь, о которой я позднее рассказывал Пастернаку, когда она заявила, что у Чехова «не блещут мечи». Я сказал что-то по поводу того, что Толстой любил его. «А зачем надо было убивать Анну Каренину? — спросила она.— Как только она оставляет Каренина, все меняется, сразу же она становится в глазах Толстого падшей женщиной, травиатой, проституткой. Конечно, там есть гени-

альные страницы, но основная мораль — омерзительна. Кто наказывает Анну? Бог? Нет, общество. То самое общество, чье лицемерие Толстой всегда так усердно разоблачает. В конце он пишет, что она становится отвратительной даже Вронскому. Толстой лжет. Он-то сам знает правду. Мораль «Анны Карениной» — это мораль жены Толстого, его московских тетушек. Он сам знает правду, но заставляет себя, совершенно безо всякого стыда, приспособляться к мещанским условностям. Мораль Толстого — это прямое выражение его интимной жизни, всех перипетий его брака. Когда он счастливо женат, он пишет «Войну и мир», в которой воспевает семейную жизнь. После того как он возненавидел Софью Андреевну, но не решался развестись с ней, поскольку развод осуждался обществом, а может быть, и мужиками, он написал «Анну Каренину» и наказал ее за то, что она ушла от Каренина. Когда он состарился и перестал испытывать такое грубое вожделение к деревенским девкам, он написал «Крейцерову сонату» и вообще запретил всякую половую жизнь».

Кто знает, возможно, этот приговор и не был полностью серьезным, ясно одно — Ахматова искренне не любила проповедей Толстого. Она считала его невероятно тщеславным эгоцентриком, врагом любви и свободы. Ахматова боготворила Достоевского (и, как и он, презирала Тургенева), а после Достоевского — Кафку («Он писал для меня и обо мне»,— сказала она мне в 1965 году в Оксфорде. «Джойс и Элиот — прекрасные поэты, но они стоят ниже этого глубочайшего и правдивейшего из современных авторов»). О Пушкине она говорила, что он, конечно, понимал все. «Как это он понимал все, как он мог? Этот курчавый смуглый отрок в Царском с томом Парни под мышкой?» Затем она прочла мне свои записки о «Египетских ночах» Пушкина. Она заговорила о бледном незнакомце, таинственном поэте, который предложил импровизировать на тему, вытянутую по жребию. Она не сомневалась в том, что прототипом этого виртуоза был польский поэт Адам Мицкевич. Отношение Пушкина к нему было довольно сложным. Их разделял польский вопрос, но Пушкин всегда узнавал в своих современниках гениальность. Блок был таким же, с его безумными глазами и великолепным поэтическим даром. Он тоже мог бы быть импровизатором. Она сказала, что Блоку, который иногда мог и похвалить ее стихи, она никогда не нравилась. Несмотря на это, все школьные учительницы уверены (а некоторые будут так думать всегда), что у нее с Блоком был роман,— «и историки литературы поверят в это тоже, и все это основано, по-видимому, лишь на моем стихотворении «Я пришла к поэту в гости», которое я посвятила Блоку в 1914 году, и еще, может быть, на стихотворении «Сероглазый король», хотя оно было написано более чем за 10 лет до смерти Блока; были и другие стихи, но он

никого из нас не любил». Она имела в виду других поэтов-акмеистов, и прежде всего Мандельштама, Гумилева и себя. Тут же она добавила, что Блок не любил и Пастернака.

После этого она заговорила о Пастернаке, которому она была предана. Она сказала, что на Пастернака находит желание встретиться с ней, только когда он находится в угнетенном состоянии. Тогда он обычно приходит расстроенный и измученный, чаще всего после какого-нибудь любовного увлечения, но его жена появляется вскоре вслед за ним и забирает его домой. Оба они — Пастернак и Ахматова — были влюбчивы. Пастернак время от времени делал ей предложение, но она к этому никогда серьезно не относилась. Они не были никогда влюблены друг в друга по-настоящему; но, не будучи влюблены, они любили и обожали друг друга и чувствовали, что после смерти Цветаевой и Мандельштама они остались одни. Сознание того, что каждый из них жив и продолжает работать, было для них источником безмерного утешения. Они могли критиковать друг друга, но не позволяли этого никому другому. Ахматова восхищалась Цветаевой. «Марина — поэт лучше меня»,— сказала она мне. Но теперь, когда не стало Мандельштама и Цветаевой, она и Пастернак живут одни, в пустыне. Правда, они окружены любовью и бесконечной преданностью бесчисленных читателей, множество людей в Советском Союзе знает их стихи наизусть, переписывают их, декламируют, передают из рук в руки, конечно, это очень приятно, и они гордятся этим, но продолжают пребывать в глухой ссылке. Оба они были настоящими патриотами, но при этом в них не было ни капли национализма. Сама мысль об эмиграции была ненавистна обоим. Пастернак мечтал о поездке на Запад, но ни в коем случае он бы не хотел остаться там навсегда и не иметь возможности вернуться на родину. Ахматова же сказала мне, что она не сдвинется с места: она была готова умереть на родине, какие бы ужасы ни ожидали ее в будущем. Она никогда не покинет свою страну. Оба принадлежали к тем, кто лелеял несбыточные иллюзии относительно богатой художественной и интеллектуальной культуры Запада — о золотом мире, полном творческой жизни, и оба мечтали и стремились увидеть его и войти с ним в общение.

По мере того как уходила ночь, Ахматова становилась все более и более одушевленной. Она задавала мне вопросы о моей личной жизни. Я отвечал ей с исчерпывающей полнотой и свободой, как будто она располагала правом знать все обо мне. Она в свою очередь вознаградила меня великолепным рассказом о своем детстве у Черного моря, о своих браках с Гумилевым, Шилейко и Пуниным, о своих отношениях с друзьями молодости, о Петербурге до первой мировой войны. Лишь на фоне всего этого можно понять смену образов и символов в «Поэме без героя», ее игру в личины и переодева-

ния, весь этот бал-маскарад с отзвуками «Don Giovanni» и commedia dell'arte. Снова она вспомнила Саломею Андроникову (Гальперн), ее красоту, обаяние, острый ум, ее неспособность обманываться насчет второстепенных и третьестепенных поэтов («сегодня они уже четвертого разбора»), о вечерах в кабаре «Бродячая собака», о представлениях в театре «Кривое зеркало», о том, как она взбунтовалась против лжетаинств символизма — несмотря на Бодлера, Верлена, Рембо и Верхарна, которых они все знали наизусть. Вячеслав Иванов был поэтом огромного мастерства и культуры, его вкус и оценки были непогрешимы, как критик он отличался удивительной тонкостью. Однако его стихи Ахматова считала холодными и бесчувственными. То же самое относилось и к Андрею Белому. Что же касается Бальмонта, то его презирали совершенно напрасно. В нем, конечно, было много комической помпезности, и он был о себе преувеличенно высокого мнения, но его одаренность была несомненной. Сологуб был поэтом неровным, но интересным и оригинальным; при этом значительно крупнее всех их был строгий, щепетильный директор Царскосельской гимназии Иннокентий Анненский. Он научил ее гораздо большему, чем все остальные, включая Гумилева, который сам был его учеником. Анненский умер почти совсем не замеченным редакторами и критиками. Великий забытый мастер. Без него не было бы ни Гумилева, ни Мандельштама, ни Лозинского, ни Пастернака, ни Ахматовой. Некоторое время она говорила о музыке, о величии и красоте трех последних фортепьянных сонат Бетховена. Пастернак считал, что они выше, чем его посмертные квартеты, и она была с ним согласна. Все ее существо отзывалось на эту музыку с ее внезапной сменой лирического чувства внутри частей. Параллели, которые Пастернак проводил между Бахом и Шопеном, казались ей странными и удивительными. Вообще ей было легче говорить с ним о музыке, чем о поэзии.

Она заговорила о своем одиночестве и изоляции как в культурном, так и в личном плане. После войны Ленинград был для нее огромным кладбищем, где похоронены ее друзья. Все было как после лесного пожара — несколько оставшихся обугленных деревьев лишь усиливали общее чувство запустения. У нее еще оставались преданные друзья — Лозинский, Жирмунский, Харджиев, Ардовы, Ольга Берггольц, Лидия Чуковская, Эмма Герштейн (она не упомянула ни о Гаршине, ни о Надежде Мандельштам, о чьем существовании я тогда не знал ничего). Однако поддержку она черпала не от них, а из литературы и из образов прошлого: пушкинский Петербург, Дон Жуан Байрона, Моцарта, Мольера, великая панорама итальянского Возрождения. Она зарабатывала на жизнь переводами. Ей долго пришлось просить, чтобы ей разрешили переводить письма Рубенса[4], а не Ромена Роллана, в конце концов

разрешение было дано,— видел ли я это издание? Я спросил, представляет ли она себе Возрождение в виде реального исторического прошлого, населенного живыми несовершенными людьми, или в виде идеализированного образа некоего воображаемого мира. Она ответила, что, конечно, как последнее. Вся поэзия и искусство были для нее — и здесь она употребила выражение, принадлежавшее Мандельштаму,— чем-то вроде тоски по всемирной культуре, как ее представляли себе Гёте и Шлегель,— культуре, которая бы претворяла в искусство и мысль, природу, любовь, смерть, отчаяние и мученичество, своего рода внеисторическая реальность, вне которой нет ничего. Снова она говорила о дореволюционном Петербурге — о городе, где она сформировалась, и о долгой темной ночи, которая с тех пор надвинулась на нее. Она говорила без малейшего следа жалости к себе, как принцесса в изгнании, гордая, несчастная, недоступная. Ее голос звучал спокойно, ровно, слова ее временами были полны трогательного красноречия. Никто никогда не рассказывал мне вслух ничего, что могло бы хоть отчасти сравниться с тем, что она поведала мне о безысходной трагедии ее жизни. До сих пор само воспоминание об этом настолько ярко, что вызывает боль. Я спросил ее, собирается ли она написать воспоминания о своей литературной жизни. Она ответила, что все это есть в ее стихах и в особенности в «Поэме без героя», после чего она снова прочла ее. Снова я попросил ее позволить мне записать текст поэмы, и она снова отказалась. Наша беседа, которая затрагивала интимные детали и ее жизни и моей, отвлеклась от литературы и искусства и затянулась вплоть до позднего утра следующего дня. Я встретился с ней опять, проезжая на обратном пути из Советского Союза через Ленинград в Хельсинки. Я зашел к ней попрощаться пополудни 5 января 1946 года, и она подарила мне один из своих поэтических сборников. На титульном листе было записано новое стихотворение, которое стало впоследствии вторым в цикле, названном Cinque. Я понял, что стихотворение в его той, первой, версии было прямо навеяно нашей предыдущей встречей. В Cinque и в других местах можно найти дополнительные упоминания и аллюзии о наших встречах. Эти намеки были мне совершенно ясны, когда я впервые их прочел. Академик Виктор Максимович Жирмунский, близкий друг Ахматовой, выдающийся литературовед и один из редакторов посмертного советского издания ее стихов, был в Оксфорде через год или два после смерти Ахматовой. Он просмотрел тексты стихов вместе со мной и подтвердил мои впечатления точными ссылками. Он читал эти тексты и с автором, и она рассказала ему о трех посвящениях, их датах и значении их и о «Госте из будущего». С некоторым смущением Жирмунский объяснил мне, почему последнее посвящение в поэме — посвящение мне — должно было быть вы-

пущено в официальном издании. А что это посвящение существовало, было широко известно любителям поэзии в России, как он сам мне объяснил. Я достаточно хорошо понимал эту причину тогда и понимаю ее теперь. Жирмунский был необычайно скрупулезным и честным ученым, храбрым и мужественным человеком, которому пришлось пострадать за свои принципы. Он поделился со мной своим отчаянием по поводу того, что ему пришлось пренебречь прямыми указаниями Ахматовой в этом отношении, однако политические условия сделали это неизбежным. Я попытался убедить его, что это не важно. Верно, что поэзия Ахматовой в существенной степени автобиографична, и поэтому обстоятельства ее жизни могут прояснить значение ее стихов в большей мере, чем у многих других поэтов. Тем не менее мало вероятно, что факты будут забыты полностью. Как и в других странах, где существует строгая цензура, весьма вероятно, что их сохранит устная традиция. Конечно, такая традиция может развиваться в самых разных направлениях, весьма возможно, что она будет включать в себя легенды и небылицы; но если он хочет быть уверенным в том, что настоящая правда останется известной в тесном кругу тех, кому это может быть интересно, он может записать все, что знает, и оставить это у меня или у кого-нибудь другого на Западе до того момента, пока не будет безопасным опубликовать эти сведения. Я сомневаюсь в том, чтобы он последовал моему совету, но он никак не мог успокоиться, что из-за цензуры в его редакторской работе были допущены пробелы. Каждый раз, когда мы встречались во время его визитов в Англию, он снова и снова извинялся.

Тот факт, что мое посещение настолько повлияло на Ахматову, во многом объясняется, как мне кажется, тем случайным обстоятельством, что я явился всего лишь вторым человеком из-за границы, с которым она встретилась после первой мировой войны *. Мне кажется, что я был первым человеком, приехавшим из внешнего мира, который разговаривал на ее языке и смог привезти ей известия о том мире, от которого она была столько лет отрезана. В Ахматовой ум, способность к острой критической оценке и иронический юмор сосуществовали с представлением о мире, которое было не только драматичным, но иногда — провидческим и пророческим. По-видимому, она увидела во мне судьбоносного и, быть может, предрекающего катастрофу провозвестника конца мира — трагическую весть о будущем, которая оказала на нее глубокое влияние и, наверное, послужила толчком для нового всплеска творческой энергии поэта.

---

* До меня она общалась лишь с одним иностранцем — графом Юзефом Чапским[5], знаменитым польским критиком, которого она встретила во время войны в Ташкенте.

Во время моего следующего посещения Советского Союза в 1956 году я не видел Ахматову. Пастернак сказал мне, что, хотя Анна Андреевна и хотела со мною встретиться, ее сын, которого арестовали во второй раз вскоре после того, как я видел его, только недавно вышел из лагеря и она поэтому опасалась встречаться с иностранцами. Особенно потому, что она объясняла яростные нападки партии на себя, по крайней мере частично, моей встречей с ней в 1945 году. Пастернак сказал, что он сомневается в том, что мое посещение причинило ей хоть какой-либо вред, но, поскольку она, видимо, была уверена в обратном и, кроме того, поскольку ей посоветовали избегать компрометирующих связей, она никак не может со мной встретиться. Она, однако, очень хотела, чтобы я сам позвонил ей. Это было не безопасным, поскольку ее телефон наверняка подслушивался, так же, впрочем, как и его собственный.

Он рассказал ей в Москве, что встречался с моей женой и со мной и нашел мою жену прелестной. Он сказал Ахматовой, что ему было очень жаль, что Ахматова не может с ней встретиться. Анна Андреевна будет в Москве недолго, и мне надо позвонить ей сейчас же.

«Где вы остановились?» — спросил он меня. «В британском посольстве».— «Ни в коем случае не звоните оттуда. Позвоните из телефона-автомата. Из моего телефона тоже нельзя».

В тот же день позднее я позвонил Ахматовой. «Да, Пастернак рассказал мне, что вы с женой в Москве. Я не могу увидеться с вами по причинам, вполне понятным вам. Так же мы можем говорить, потому что они знают. Сколько времени вы женаты?» — «Недолго»,— сказал я. «Но когда именно вы женились?» — «В феврале этого года».— «Она англичанка или, может быть, американка?» — «Нет, она полуфранцуженка, полурусская».— «Так». Последовало долгое молчание. «Очень жаль, что вы не можете увидеться со мной. Пастернак говорит, что ваша жена очаровательна». Опять долгое молчание. «Видели ли вы сборник корейской поэзии в моем переводе? С предисловием Суркова? Можете себе представить, насколько я знаю корейский. Стихи для перевода выбирала не я. Я вам пошлю их».

Она рассказала мне о своей жизни отверженного и запрещенного поэта. О том, как от нее отвернулись некоторые из тех, кого она считала преданными друзьями, о благородстве и мужестве других. Она перечитала Чехова, которого когда-то так сурово критиковала. Теперь она считала, что, по крайней мере, в «Палате № 6» он точно описал ее собственную ситуацию и ситуацию многих других. «Пастернак (она всегда так его называла в разговорах со мной, как и многие другие русские, никогда — Борис Леонидович), наверное, объяснил вам, почему мне нельзя встречаться с вами. У него были трудные времена, но не столь мучительные, как у меня.

Кто знает, может быть, мы еще встретимся в этой жизни. Вы мне опять позвоните?» Я ответил утвердительно, но когда я позвонил снова, мне сказали, что она уже уехала из Москвы, а Пастернак настоятельно советовал не звонить ей в Ленинград.

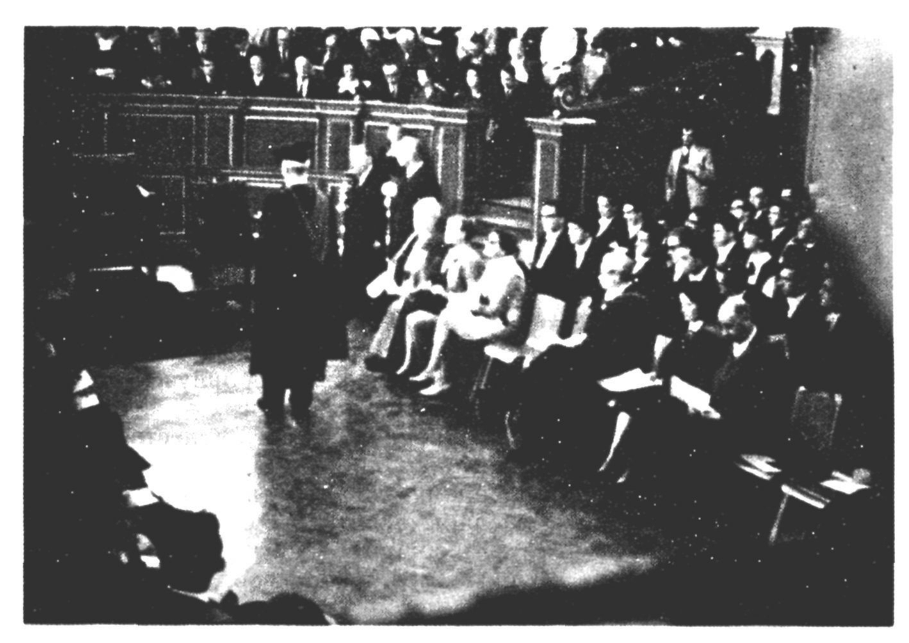
Когда мы встретились в 1965 году, Ахматова в подробностях рассказала о кампании, поднятой против нее властями. Она рассказала мне, что сам Сталин лично был возмущен тем, что она, аполитичный, почти не печатающийся писатель, обязанная своею безопасностью, скорее всего, тому, что ухитрилась прожить относительно незамеченной в первые годы революции, еще до того как разразились культурные баталии, часто заканчивавшиеся лагерем или расстрелом, осмелилась совершить страшное преступление, состоявшее в частной, не разрешенной властями встрече с иностранцем, причем не просто с иностранцем, а состоящим на службе капиталистического правительства. «Оказывается, наша монахиня принимает визиты от иностранных шпионов»,— заметил (как рассказывали) Сталин и разразился по адресу Ахматовой набором таких непристойных ругательств, что она вначале даже не решилась воспроизвести их в моем присутствии. То, что я никогда не работал ни в каком разведывательном учреждении, было несущественно: для Сталина все сотрудники иностранных посольств или миссий были шпионами. «Конечно,— продолжала она,— к тому времени старик уже совершенно выжил из ума. Люди, присутствовавшие при этом взрыве бешества по моему адресу (а один из них потом об этом мне рассказывал), нисколько не сомневались, что перед ними был человек, страдавший патологической неудержимой манией преследования». 6 апреля 1946 года, на следующий день после того, как я покинул Ленинград, у входа на ее лестницу поставили людей в форме, а в потолок комнаты вставили микрофон — явно не для того, чтобы подслушивать, а чтобы вселить страх. Она поняла, что обречена. И хотя официальная немилость последовала позднее, через несколько месяцев, когда Жданов выступил с официальным отлучением ее и Зощенко, она приписывала свои несчастья личной паранойе Сталина.

...Затем она заговорила о путешествии в Италию в прошлом году, где ей вручили литературную премию Таормина[6]. По возвращении, как она мне рассказала, к ней пришли агенты советской тайной полиции, которые принялись ее расспрашивать о римских впечатлениях: сталкивалась ли она с антисоветскими взглядами у писателей, встречалась ли она с русскими эмигрантами? Она ответила, что Рим — это для нее город, где язычество до сих пор ведет войну с христианством. «Что за война? — был задан ей вопрос.— Шла речь о США?» Что ей отвечать, если подобные вопросы будут ей

задавать — а их обязательно будут задавать — об Англии, о Лондоне, Оксфорде? Есть ли какое-то политическое лицо у Зигфрида Сассуна, поэта, которого чествовали вместе с ней в Шелдоновском театре? А другие почетные доктора? Может быть, лучше всего будет ограничиться упоминанием об интересе, который у нее вызвала великолепно украшенная купель, подаренная Мертон Колледжу императором Александром I, когда его так же чествовал Университет по окончании наполеоновских войн? Она — русская и вернется в Россию, что бы там ее ни ожидало. Можно что угодно думать о советском режиме, но это установленный порядок в ее стране. Она с ним жила и с ним умрет — вот что значит быть русской.

Мы вернулись к русской литературе. Она сказала, что непрекращающаяся цепь испытаний, через которые прошла ее родина за время ее жизни, породила поэзию изумительной глубины и красоты. Эта поэзия в большей своей части, начиная с 30-х годов, оставалась неопубликованной. Она сказала, что предпочитает не говорить о современных советских поэтах, чьи стихи печатаются в Советском Союзе. Один из наиболее известных таких поэтов, как раз находившийся в то время в Англии, прислал Ахматовой телеграмму, в которой поздравлял ее с получением оксфордского доктората. Я был у Ахматовой в то время, когда пришла телеграмма. Она прочитала ее и сердито бросила в мусорную корзину. «Они все бандитики, проституирующие свой талант и эксплуатирующие вкусы публики. Маяковский оказал на них всех пагубное влияние». По ее мнению, Маяковский был, конечно, гением, не великим поэтом, а великим литературным новатором, террористом, подкладывающим бомбы под старинные строения. Он был крупной фигурой, у которого темперамент был больше таланта. Он хотел все разрушить, все взорвать. Конечно, это разрушение было вполне заслуженным. Маяковский кричал во весь голос, потому что для него это было естественным, он не мог иначе, а его эпигоны — здесь она назвала несколько имен еще здравствующих поэтов — восприняли его личную манеру как литературный жанр и превратились в вульгарных декламаторов. Ни в ком из них нет поэтической искры. Это краснобаи, и их талант — театральный. Русская публика постепенно привыкла, чтобы на нее орали всевозможные «мастера художественного слова», как их теперь называют.

Единственный поэт более старшего поколения, о котором она отзывалась с одобрением, была Мария Петровых, но было много талантливых поэтов среди младшего поколения; лучшим из них был Иосиф Бродский, которого, как она выразилась, она сама вырастила. Его стихи были частично опубликованы. Это благородный поэт, пребывавший в глубокой опале со всеми соответствующими последствиями. Были и другие замечательно талантливые поэты — их имена ничего



Анна Ахматова, рядом с ней А. Г. Каминская и Аманда Хейт. Фотография Э. Бикер. Оксфорд. 1965 г. Публикуется впервые

мне не скажут. Их стихи также не могут быть опубликованы, но само их существование служит подтверждением неиссякшего творческого вдохновения России: «Они затмят всех нас,— сказала она,— поверьте мне. Пастернак и я, Мандельштам и Цветаева — все мы находимся в конце долгого периода развития, начавшегося еще в девятнадцатом веке. Мои друзья и я думали, что говорим подлинным голосом двадцатого столетия. Но настоящее начало пришло лишь с этими новыми поэтами. Пока они находятся под замком, но придет время — они вырвутся на свободу и изумят весь мир». Она продолжала некоторое время этот пророческий монолог, а затем снова вернулась к Маяковскому. Его довели до отчаяния, друзья его предали, однако некоторое время он был настоящим голосом народа, его трубой, хотя его пример был фатальным для других. Она сама ничем ему не была обязана. Зато многим она обязана Анненскому, этому чистейшему и тончайшему из поэтов, стоявшему в стороне от всех литературных махинаций. Авангардистские журналы его не признавали, и ему, пожалуй, повезло, что он умер именно в то время. При жизни его не читали широко, но ведь такова судьба многих других великих поэтов. Вообще современное поколение гораздо тоньше чувствует поэзию, чем ее собственное поколение. Кому было дело в

1910 году, кому по-настоящему было дело до Блока, Белого или Вячеслава Иванова? Или, если уж говорить всю правду, до нее самой и до поэтов ее группы? А сегодня молодежь знает все эти стихи наизусть. Она все еще продолжает получать письма от молодых людей, конечно, многие из них от глупых восторженных молодых девиц, но само количество этих писем ведь говорит о чем-то. Пастернак получал еще больше писем, и они доставляли ему больше удовольствия.

...Борис Леонидович был волшебным поэтом, одним из великих поэтов земли русской: в каждой фразе Пастернака в стихах и прозе звучал его подлинный голос, не похожий ни на что другое, что она слышала. Блок и Пастернак — божественные поэты. Никто из современных французских или английских поэтов не может сравниться с ними — ни Валери, ни Элиот. Бодлер, Шелли, Леопарди — вот общество, к которому они принадлежат. Как и другие великие поэты, они с трудом могли по-настоящему оценить творчество других. Пастернак часто хвалил слабых критиков, открывал воображаемые скрытые таланты, поощрял всякую мелкоту, порядочных, но бесталанных писателей. У него вообще было мифологическое представление об истории, в котором совершенно ничтожные фигуры могли вдруг играть таинственную значительную роль — как Евграф в «Докторе Живаго» (она яростно отвергала предположение о том, что этот таинственный образ мог хоть в чем-то опираться на Сталина как прототип; для нее это было слишком невероятным). Пастернак вообще не читал современных поэтов, которых он был готов щедро хвалить,— ни Багрицкого, ни Асеева, ни Марию Петровых, ни даже Мандельштама (к которому он вообще не питал никаких чувств ни как к человеку, ни как к поэту, хотя, конечно, сделал для Мандельштама все, что мог, когда тот оказался в беде); он не читал и ее стихов — он писал ей замечательные письма о ее стихах, но на самом деле они были лишь о нем самом, не о ней. Она знала, что все это были небесные фантазии, которые не имели ничего общего с ее стихами: «Возможно, все великие поэты таковы».

Конечно, пастернаковские комплименты делали тех, кому они были адресованы, счастливыми, но это было заблуждение. Он просто был очень щедрым человеком, но творчество других по-настоящему его нисколько не интересовало. Разумеется, его интересовали Шекспир, Гёте, французские символисты, Рильке, может быть, Пруст, но «никто из нас» ему не был интересен. Она сказала, что каждый день жизни ощущает, насколько ей не хватает Пастернака. Они никогда не были друг в друга влюблены, но их взаимная любовь была глубока, и это раздражало его жену. Она заговорила о «глухих» годах, когда официально она не значилась среди советских поэтов,— с середины двадцатых по конец тридцатых.

Анна Ахматова и А. Г. Каминская. Фотография Э. Бикер. Оксфорд. 1965 г. Публикуется впервые

Тогда она, по ее словам, не переводила, а читала русских поэтов: конечно, Пушкина, все время, а также Одоевского, Лермонтова, Баратынского. Она находила «Осень» Баратынского гениальным произведением. Недавно она перечитала Велимира Хлебникова — безумные, но прекрасные стихи.

Я спросил ее, согласится ли она когда-нибудь дать комментарий к «Поэме без героя». Ее многочисленные аллюзии могут остаться непонятными для тех, кто не был знаком с жизнью, описываемой в поэме. Неужели она хочет, чтобы все это так и осталось неизвестным? Она ответила, что когда тех, кто знали мир, о котором написана поэма, настигнут дряхлость или смерть, поэма тоже должна будет умереть. Она будет погребена вместе с поэтом и ее веком. Она написана не

для вечности и даже не для потомства. Для поэта единственное, что имеет значение,— это прошлое, а более всего — детство. Все поэты стремятся воспроизвести и заново пережить свое детство. Вещий дар, оды к будущему, даже замечательное послание Пушкина Чаадаеву — все это чистая декламация и риторика, попытка стать в величественную позу, устремив взгляд в слабо различимое будущее,— поза, которую она презирала.

Она знала, что ей осталось жить недолго. Доктора объяснили ей, что у нее слабое сердце. Поэтому она терпеливо ожидает конца. Она ненавидит саму мысль о том, что ее будут жалеть. Она знала ужасы, самое безысходное горе, и она заставила друзей дать ей обещание, что они не позволят себе выказать ни малейшего намека на жалость по отношению к ней, что они немедленно подавят в себе всякие признаки жалости, чуть только почувствуют ее. Некоторые из ее друзей не смогли противостоять жалости, и с ними ей пришлось расстаться. Она может вынести все — ненависть, оскорбление, презрение, непонимание, преследования, но только не сочувствие, смешанное с состраданием. Могу ли я дать ей честное слово? Я дал ей обещание и сдержал его. Она обладала беспримерной гордостью и чувством собственного достоинства.

Она рассказала мне об одной своей встрече с Корнеем Чуковским во время войны, когда они ехали в эвакуацию в разные города в Узбекистане. В течение многих лет у нее установилось несколько двойственное отношение к Чуковскому. С одной стороны, она уважала его как умного и в высшей степени талантливого литератора и восхищалась его честностью и независимостью, с другой стороны, ей были чужды его невозмутимые, скептические взгляды и ее отталкивал его вкус к русским народническим романам и «передовой» литературе девятнадцатого века, а в особенности к гражданской поэзии; наконец, она не могла забыть его недружелюбно иронических отзывов о себе в двадцатые годы. Все это создало пропасть между ними. Но сейчас их объединяло то, что оба были жертвами сталинской тирании. Он был особенно мил и радушен во время этого путешествия в Ташкент, и, по словам Ахматовой, она уже готова была царственно отпустить ему все грехи, как вдруг он воскликнул: «Ах, Анна Андреевна! Какое это было время — двадцатые годы! Какой замечательный период русской культуры — Горький, Маяковский, молодой Алеша Толстой. Хорошо было жить тогда!» Она немедленно отступилась от своего намерения простить Чуковского.

В отличие от других людей, которые прошли сквозь бурные годы послереволюционного экспериментирования и остались в живых, Ахматова вспоминала об этом времени

лишь с чувством глубокого отвращения. Для нее это был период дешевого богемного хаоса, начало опошления русской культурной жизни, когда настоящие художники должны были прятаться по подвалам и убежищам, из которых они могли высунуться лишь с риском быть убитыми и замученными.

Анна Андреевна рассказывала мне о своей жизни внешне совершенно отстраненным, даже безличным тоном, который, впрочем, лишь частично мог скрыть страстную убежденность и моральные суждения, против которых решительно нельзя было апеллировать. Ее суждения о личностях и поступках других людей совмещали в себе умение зорко и проницательно определять самый нравственный центр людей и положений — и в этом смысле она не щадила самых ближайших друзей — с фанатической уверенностью в приписывании людям мотивов и намерений, особенно относительно себя самой. Даже мне, часто не знавшему действительных фактов, это умение видеть во всем тайные мотивы казалось зачастую преувеличенным, а временами и фантастическим. Впрочем, вполне вероятно, что я не был в состоянии до конца понять иррациональный и иногда до невероятности прихотливый характер сталинского деспотизма. Возможно, что даже сейчас к нему неприменимы нормальные критерии правдоподобия и фантастического. Мне казалось, что на предпосылках, в которых она была глубоко уверена, Ахматова создавала теории и гипотезы, развивавшиеся ею с удивительной связностью и ясностью. Одним из таких примеров *idée*s *fixe*s была ее непоколебимая убежденность в том, что наша встреча имела серьезные исторические последствия. ...У этих концепций, казалось, не было видимой фактической основы. Они были основаны на чистой интуиции, но не были бессмысленными, выдуманными. Напротив, все они были составными частями в связной концепции ее жизни, жизни и судьбы ее народа, основных проблем, о которых Пастернак когда-то хотел говорить со Сталиным [7], в картине мира, которая формировала и питала ее воображение и искусство. Ахматова ни в коем случае не была визионером, напротив, у нее было сильное чувство реальности. Она могла описывать литературную и светскую жизнь Петербурга до первой мировой войны и свою роль в ней с таким ярким и трезвым реализмом, что все представало как живое перед глазами. Я виню себя за то, что не удосужился в свое время подробно записать ее рассказы о людях, движениях и о сложных обстоятельствах.

Ахматова жила в ужасное время и вела себя, по словам Надежды Мандельштам, героически. Все имеющиеся свидетельства говорят об этом. Ни публично, ни частным образом — передо мною, например,— она ни разу не высказалась против советского режима; однако вся ее жизнь может служить примером того, что Герцен сказал однажды почти обо всей

русской литературе,— одним непрерывным обвинительным актом против русской действительности. Насколько мне известно, повсеместный культ ее памяти как поэта и как человека, которого не смогли сломить никакие испытания, не знает себе равных в Советском Союзе сегодня. Ее жизнь стала легендой. Ее несгибаемое пассивное сопротивление тому, что она считала недостойным себя и страны (как в свое время предсказал Белинский по поводу Герцена), создало ей место не только в истории русской литературы, но и в русской истории нашего века.

Вернусь к самому началу этого повествования. В отчете, написанном мною для Форейн Оффиса в 1945 году, я указал, что, каковы бы ни были причины этого — врожденная чистота вкуса или вынужденное отсутствие плохой и пошлой литературы, которая может его испортить,— в наше время не было, по-видимому, другой страны, в которой старую и новую поэзию покупали бы в таких количествах и читали бы с такой жадностью, как в Советском Союзе. Это, конечно, служит мощным стимулом как для критиков, так и для поэтов. Далее я отмечал, что все это привело к созданию публики, чья живая реакция на литературу и культуру может лишь служить предметом зависти западных романистов, поэтов и драматургов. Поэтому, если только каким-то чудом будет смягчен политический контроль сверху и будет разрешена большая свобода художественного выражения, нет никаких причин, чтобы в этом обществе, где существует такая тяга к производительной деятельности, в этом народе, еще жаждущем новых переживаний, еще достаточно молодом и поэтому легко попадающем под обаяние всего, что кажется незнакомым или просто правдивым, и, самое главное, в этом обществе, жизненная сила которого настолько велика, что позволяет ему терпеть и переносить огромный груз ошибок, бессмыслиц, преступлений и катастроф, которые наверняка оказались бы фатальными для более слабой культуры,— чтобы в этой стране не расцвело великолепное творческое искусство. Я написал снова, что, возможно, наиболее отличительной чертой советской культуры того времени можно считать контраст между жадностью до всего, в чем есть хоть малейшая искорка жизни, и той мертвой материей, которой является творчество большинства официально признанных писателей и композиторов.

Я написал эти слова в 1945 году, но, как мне кажется, они сохраняют свою справедливость и по сей день. Было много ложных зорь, но по-настоящему солнце еще не поднялось над русской интеллигенцией. Наверное, даже самый отвратительный деспотизм порождает своего рода непредусмотренный побочный продукт — непричастность лучших людей нации к господствующей коррупции, героическую защиту человеческих ценностей. В России это часто сочетается — при всех

режимах — с необыкновенным развитием чувства смешного, иногда весьма тонкого и деликатного. Это можно наблюдать во всей русской литературе, иногда на самых мучительных страницах Гоголя и Достоевского. Юмор этот — прямой, непосредственный, неудержимый. Он сильно отличается от остроумия, сатиры и всех искусно устроенных развлечений Запада. Я отмечал далее, что именно эта черта русских писателей, даже верных слуг режима, проявлявшаяся, чуть только они забывали следить за собой, придавала их поведению и разговору черты, особенно привлекательные для иностранного посетителя. Мне кажется, что это так и сегодня.

Мои встречи и беседы с Борисом Пастернаком и Анной Ахматовой, знакомство с неподдающимися описанию условиями, в которых они жили и работали, с отношением, которому они подвергались, сам факт, что мне довелось вступить с ними в личные, скажу прямо, дружеские отношения,— все это глубоко повлияло на меня и навсегда изменило мой внутренний кругозор. Когда я теперь вижу их имена в печати или слышу, как их упоминают, передо мной как живые встают они сами — выражение лиц, жесты, слова. Когда я читаю их произведения, то даже сегодня я слышу звуки их голосов.

Т. М. Вечеслова

ОБ АННЕ АХМАТОВОЙ

Где и когда я встретилась с Анной Ахматовой, как это ни странно, не помню. Не хочу, не могу ничего придумывать, прибавлять — не имею на это права.

Если бы, знакомясь с ней, я могла предположить, что доведется об этом писать...

Обычно я робела и затихала в ее присутствии и слушала ее голос, особенный этот голос, грудной и чуть глуховатый, он равномерно повышался и понижался, завораживая слушателя.

Впервые я пришла к ней в гости в 1944 году в Фонтанный Дом. Летом окна ее комнат затеняли старые густые липы. Была глубокая осень, мы сидели в одной из ее двух комнат, обе в пальто, перед электрическим камином: у нее не было дров, но она говорила, что ее это не тревожит, она этого не замечает... Передо мной на стене висел ее портрет — рисунок Модильяни.

Я сидела, смотрела на Анну Андреевну, на ее суровую комнату и думала о том, что такой поэт, как она, и должен жить непохоже на других людей. У нее свой мир, своя, особая судьба, свои герои, свои представления, свои тени...

Походная кровать, застланная простым серым одеялом, две-три старинные редкие вещи, уже разрушающиеся, и она сама — спокойная, тихая, в черном. Гордая, как королева, простая и беззащитная в одно и то же время.

Как-то у меня на Бородинской собрались мои товарищи по балету, драматические актеры, художники... Все уже давно пришли, а Анны Андреевны еще не было. В ожидании ее мы болтали, не садясь за стол. Она появилась в дверях — и вдруг все встали, даже молодежь, которая никогда не видела и не знала ее,— встали, не сговариваясь, и молодые и старые, в едином порыве. Невозможно было сидеть, если она стояла. Это происходило не по обязанности, не по этикету, а вот так просто делалось само собой. Своим появлением она влияла на окружающих. Она была скромна и благородна. Достоинство и деликатность были ее природными качествами. Разве этому научишь? Образованность, эрудиция, высокая общая культура — все это помогает любой профессии. Но нельзя выучиться на поэта, как нельзя выучиться на писателя, на балетмейстера...

Как-то, когда я ближе узнала Анну Андреевну, я спросила ее:

— Анна Андреевна, скажите, как вы пишете стихи?

Мы сидели за столом, было много народу. Она ответила мне тихо, на ухо:

— Это таинство.

Анна Андреевна всегда и во всем была поэтом. Даже в долгие годы молчания. Легко ли это было ей, родившейся поэтом? Но она молчала. Ведь без сердечной искренности это была бы уже не поэзия. И заговорила, когда смогла... Вот истинное достоинство поэта!

Анна Андреевна была такой русской! Как она любила Родину!

С САМОЛЕТА

На сотни верст, на сотни миль,
На сотни километров
Лежала соль, шумел ковыль,
Чернели рощи кедров.
Как в первый раз, я на нее,
На Родину, глядела.
Я знала: это все мое —
Душа моя и тело.

Для нее понятие Россия, Родина было священно. О том, как она любила Россию, чтила русский язык, лучше всего сказано ею самой в стихотворении «Мужество», написанном в тяжелые военные годы, в сорок втором.

Как бы порой ни приходилось ей тяжко, она никогда не жаловалась, не роптала и с присущим ей величием жила, влюбленная в жизнь.

Анна Андреевна умела радоваться, казалось бы, пустякам, незначительным вещам, событиям, явлениям, всему тому, что ласкало глаз, утешало сердце,— запела ли птица, расцвел ли цветок, зажглось ли небо вечерним светом. Она была требовательна в больших делах, поступках, в отношении к людям, к их поведению. Особенно ценила она простое внимание друзей своих.

Помню, шла я навестить ее. Не могла найти в городе цветов и вдруг, зайдя в кулинарию, увидела горячую аппетитную кулебяку. Снесу Анне Андреевне, не обидится она на меня. Я оказалась права. Она по-детски искренне обрадовалась пирогу.

— Вот хорошо! Будем сейчас чай с кулебякой пить...

И так мило, просто, уютно сидели мы за чаем, ели кулебяку, говорили о самом прекрасном высоком искусстве — поэзии.

Такой осталась она в моей памяти.

Был день моего рождения. Собрались друзья. Мы сидели

за столом. Анна Андреевна опаздывала. Не было и Фаины Григорьевны Раневской. В разгар веселья, шума появились Анна Андреевна и Фаина Григорьевна.

— Танюша, вот вам мой подарок,— сказала Фаина Григорьевна.— Прошу любить и жаловать!

И она передала мне в руки небольшую коробочку. Я с любопытством открыла ее: там лежала статуэтка Анны Ахматовой работы Данько. Я ахнула — такой подарок!

— Только у нее отбита голова,— печально сказала Анна Андреевна,— но мы ее приклеили, пока держится.

Как-то Анна Андреевна спросила у меня:

— У вас есть томик моих стихов сорокового года?

— Конечно,— ответила я.

— Дайте мне его, я продатирую все, что там не помечено, может быть, вам будет это интересно, да и память останется...

Под каждым стихотворением Анна Андреевна поставила дату и указала место, где оно было написано. Я часто думала: почему она это сделала для меня? У нее всегда проскальзывала ко мне незаметная нежность, без подчеркивания, как бы невзначай. Мы встречались редко, но, если я звонила ей по телефону, всегда в трубке раздавался радостный ее голос и так же радостно отзывалась она на мое желание прийти к ней. Мне хотелось делать это значительно чаще, чем я делала, но неловко было ее тревожить, старалась не беспокоить ее своими приходами, а теперь жалею: сколько я потеряла! Почти всегда она читала мне свои стихи и при этом спрашивала:

— А вам не скучно?

В ней была застенчивость и скромность, скромность удивительная.

Вспоминаю... Я должна была танцевать Китри в балете «Дон Кихот». Мои друзья собрались пойти в театр. Неожиданно выразила желание и Анна Андреевна. Я страшно заволновалась. Зная, что Анна Андреевна не была в театре много лет, я подумала: вдруг не понравится ей, разочарует ее балет, разочарует и мой танец?

После спектакля все зашли ко мне за кулисы. Помня о деликатности и честности Анны Андреевны, я была уверена, что, если ей не понравилось, она мягко, но скажет правду, а если и скроет, не захочет меня обидеть, я все равно почувствую — артиста ведь не обманешь!

— Таня! Вы жар-птица! — сказала Анна Андреевна.

Я видела, что она была взволнована. Как много своего, ахматовского, вложила она в это слово!

После спектакля Фаина Григорьевна пригласила всех нас к себе в номер в «Асторию», где она жила. Был заказан роскошный по тем временам ужин: бесконечные бутерброды с разной снедью и вино; в ресторане, увы, больше ничего не было, но мне в тот вечер все казалось удивительным и необы-

кновенным. Замечательная хозяйка, ее широкое гостеприимство, ласка и тепло хороших людей.

На огонек, конечно, собрались еще друзья, и сразу стало тесно, оживленно, весело, как часто бывало в то время, в конце войны...

Как сейчас, вижу маленькую комнату «Астории», сдвинутые столы под хрустящей белой скатертью, два огромных блюда с бутербродами и вокруг стола — всех нас.

Анна Андреевна сидела помолодевшая, повеселевшая и говорила о том, как прекрасен наш голубой театр, какое счастье, наверное, танцевать в нем. Часто в тот вечер она повторяла: «Вы жар-птица!».

При этом она вглядывалась в даль: то ли ей вспоминалось что-то, то ли складывался какой-то свой, никому не видимый образ жар-птицы...

1946 год. Прихожу к Анне Андреевне, у нее Фаина Григорьевна Раневская. Давно не виделись. Я тяжело болела. Дружеская встреча, расспросы о моем самочувствии. Замечаю на столике новый томик стихов Ахматовой.

— Анна Андреевна, вышел?

— Вышел,— отвечает она, улыбаясь.

— Анна Андреевна, дайте почитать с собой. Мне надо уезжать сейчас, грузовик уходит, я верну вам в целости и сохранности.

— К сожалению, не могу, это сигнал. Правда, завтра-послезавтра выйдет тираж, но сколько людей приходит ко мне посмотреть на книжку, потрогать ее...

Тут на помощь пришла Фаина Григорьевна:

— Анна Андреевна! Танюша больна, ей, бедненькой, тоскливо в санатории, а ваши стихи осмыслят ее жизнь там. Отдайте ей книгу, ведь завтра сборник будет у вас.

Смотрела на меня Анна Андреевна, улыбаясь своей загадочной улыбкой, и вдруг коротко и просто сказала:

— Берите, Танюша, правда, ведь это сейчас вам нужно.

Она сама подписала мне: «Первый экземпляр этой книги самой Тане. А. Ахматова». Прижав к себе книгу, счастливая, помчалась я к ожидавшей меня санитарной полуторке.

...В 1946 году сборник стихов Ахматовой не был издан.

Кто-то из знакомых Анны Андреевны потом спросил ее:

— Неужели Вечеслова не вернула вам эту уникальную книгу?

На что она спокойно ответила:

— Если бы она это сделала — я оскорбилась бы.

Прошли годы, и мы увидели вновь сборник стихов А. Ахматовой.

Вечер. Звонок по телефону. Беру трубку.

— Таня, это Анна Андреевна. Я только что написала о вас стихи.

— Анна Андреевна, прочтите!

— Не могу, никогда не читаю сразу стихов. Они еще сырые. Должны отлежаться.

— Анна Андреевна, это жестоко,— говорю я, забывая, что слово «жестоко» в данном случае неуместно, и все же это кажется мне жестоким.— Я не дам вам покоя, пока вы не прочтете. Ну поймите, как же я могу ждать? Ну я прошу вас...

— Ну хорошо — слушайте:

НАДПИСЬ НА ПОРТРЕТЕ

Т. В-ой

Дымное исчадье полнолунья,
Белый мрамор в сумраке аллей,
Роковая девочка, плясунья,
Лучшая из всех камей.
От таких и погибали люди,
За такой Чингиз послал посла,
И такая на кровавом блюде
Голову Крестителя несла.

Она написала под моим портретом эти стихи. Позднее они вошли во все ее сборники.

Последний раз я была у Анны Андреевны в Комарове в 1964 году.

Анна Андреевна чувствовала себя тогда уже неважно, жаловалась на сердце. Когда я приехала, она отдыхала. Я побродила около ее дома, дожидаясь, пока она проснется.

Вот она вышла ко мне. «Постарела Анна Андреевна,— подумала я,— давно я ее не видела...»

— Ну как хорошо, что вы приехали, какой молодец, пойдем ко мне, поболтаем, выпьем вина, хотя, правда, мне нельзя, но с вами бокал выпью — оно легкое.

Смеркалось. Анна Андреевна зажгла две свечи на маленьком рабочем столе, принесла бокалы. Рукописи, рукописи...

— Хотите, я почитаю вам свои стихи?

— Конечно.

Была над нами, как звезда над морем,
Ища лучом девятый смертный вал,
Ты называл ее бедой и горем,
А радостью ни разу не назвал.

Днем перед нами ласточкой кружила,
Улыбкой расцветала на губах,
А ночью ледяной рукой душила
Обоих разом. В разных городах.

И никаким не внемля славословьям,
Перезабыв все прежние грехи,
К бессоннейшим припавши изголовьям,
Бормочет окаянные стихи.

Шумели сосны. Казалось, что шумело где-то неподалеку море, легкий ветер шевелил пламя свечей... Светлел «патрицианский профиль», и таинственный голос завораживал...

И. Н. Пунина

СОРОК ШЕСТОЙ ГОД...

1946-й — первый мирный послевоенный год. В нашей квартире в Фонтанном Доме обрели кров вернувшиеся из разных мест ленинградцы. 19 июля 1944 года первым в Фонтанный Дом возвратился Николай Николаевич Пунин со мной и маленькой Аней. Квартира была опечатана. Когда управдом Пересветова сняла печати, мы прошли по комнатам как по заброшенному пепелищу, где все было священно и опустошено: окна без стекол, остатки мебели, электричество и водопровод бездействуют. Предстояло начать новый период жизни.

Через несколько дней, возвращаясь домой, мы застали в саду, сидящими на вещах, осиротевшую семью художника Петра Ивановича Львова: его вдову — Августу Ивановну, дочь Ирину и внука Алешу. Они поселились у нас. Вскоре переехала в Фонтанный Дом Акума — Анна Андреевна Ахматова. В Ленинград она вернулась раньше нас — 1 июня, но жила у Рыбаковых. Долго говорила, что не вернется на Фонтанку, но в конце августа 1944 года все же решилась на переезд. Первую зиму она жила в маленькой комнате, которую с большим трудом удалось привести в состояние, пригодное для жизни в ней. Новый, 1945 год встречали у Акумы в маленькой комнате уютно и дружно. Приходил отпущенный из казармы, но еще не демобилизованный Геня Аренс. В его дневнике сохранилась трогательная запись о том праздничном вечере.

В 1945 году на нашу Фонтанку приехала вдова Александра Николаевича Пунина — Зоя Евгеньевна Аренс с дочерью Мариной, они остались жить у нас.

Постепенно расширялась демобилизация. Осенью 1945 года вернулся с фронта Лева Гумилев. Новый, 1946 год встречали радостно, свободно, окрыленные надеждами. Каждый среди своих друзей.

Первые месяцы сорок шестого года Анна Андреевна много работала. Ее стихи печатали в журналах. Она подготавливала к печати новый сборник «Избранное». В него входили стихи прежних лет и новые, собранные в разделы «Тростник» и «Нечет». Редактором книжки был В. Н. Орлов. 11 марта сборник был подписан к печати.

Мне запомнилось, как в конце весны в солнечный день Акума и я ехали по разным ее делам в такси и под конец должны были заехать в Ленинградское отделение издательства — она должна была посмотреть окончательный макет будущей книги. Машина поворачивала с Адмиралтейского проспекта на Невский. Вдруг Акума обернулась ко мне и спросила: «Как ты думаешь, какая обложка лучше? Если сделать серый холст?» Мне вспомнился серый пунинский учебник, и я согласилась, что будет хорошо.

В начале марта Ольга Федоровна Берггольц, условившись с Анной Андреевной, привела в Фонтанный Дом фотографа. Он сделал несколько фотографий Ахматовой. Одна из них: «Ахматова читает стихи своей внучке» — появилась 8 марта 1946 года в газете «Вечерний Ленинград», в рубрике «Знатные женщины нашего города».

В апреле Ахматову пригласили в Москву. Она выступала в Колонном зале Дома союзов. Москва и вся страна были воодушевлены надеждами. Осенью обещали отменить карточную систему.

* * *

С 15 августа был отменен порядок военного времени, запрещавший свободный проезд граждан по стране. В кассах вокзалов разрешили продавать железнодорожные билеты, не требуя специальные документы для проезда.

Марина Пунина и я, простояв попеременно двое суток у кассы Варшавского вокзала, купили билеты до Риги, где жила наша родственница. Собираться было трудно, но весело. Отпадали военные ограничения, появлялись новые надежды...

Но у нас в квартире было угрюмо, напряженно. Незадолго до нашего отъезда, поздно вечером Акума пришла к папе в кабинет, и они долго сидели на большом диване, разговаривали почти шепотом.

— Понимаете, Николаша, он предполагает... было совещание...

— Ну, а что говорит NN?

— Молчит. Совещание было. Не отрицает... Она говорит: не показывайтесь в Союзе, заболейте...

* * *

В Ригу мы приехали утром. У вокзала стоят извозчики, на площади стаи голубей. Автобусы и трамваи ходят по городу регулярно, они не набиты, не обвешаны людьми. Рынок произвел ошеломляющее впечатление, хотя цены для нас были совершенно недоступны. Даже видеть настоящие продукты в изобилии, красиво и свободно разложенные,— празд-

Анна Ахматова. Около 1946 г.

ник. Город красив. Среди зелени высокие дома с балконами и характерными для модерна большими цельными стеклами в окнах. На маленьких площадках у домов песочницы для детей, аккуратно обрамленные, качели, нарядные дети с ведерками, совочками, мячиками. Следы военных разрушений редки.

Однажды, когда мы стояли утром в тени деревьев на автобусной остановке, маленькая Аня вдруг сказала: «А по радио сегодня говорили: Ахматова и Зощенко». Наша родственница подтвердила: «Да, да». Она тут же купила газету и показала нам... «Вот ваша Ахматова!»

Встретившись вечером с Мариной, мы поняли, случилось непоправимое и мы должны немедленно возвращаться домой. Достать билеты оказалось невозможно, ночевать нам стало негде. Нас приютила семья железнодорожника, но с билетами и они не могли помочь. Мы сумели купить билеты на черном рынке, отдав за них не только все деньги, но и часть своей одежды. В Ленинград вернулись в самые последние дни августа.

Акума лежала в большой комнате, ни с кем не виделась, не разговаривала. Она позвала к себе Анюту, которая после этого стала повторять: «Я знаю один секрет — Зощенко и Ахматова». Убедить ее помолчать и понять, что это действительно секрет, было трудно.

На следующий месяц Акуме в Союзе писателей не дали никаких карточек. Она и не пыталась ни получить их, ни что-либо узнать. Николай Николаевич после очередного разговора с Акумой позвал меня к себе и сказал: «Я сговорился с Акумой, будем теперь питаться вместе на наши карточки. Ты постарайся это организовать, ты сумеешь».

До тех пор в Союзе писателей Ахматовой выдавалась рабочая карточка, лимит на 500 рублей, пропуск в закрытый распределитель на Михайловской ул.*, книжка для проезда в такси на 200 рублей в месяц. За ней было закреплено право на дополнительную комнату.

Дополнительную комнату отнять не могли, так как в то время уже вернулся с фронта Лева Гумилев и жил в маленькой комнате. Все остальное просто не дали на следующий месяц.

В Союзе проходили мрачные заседания. Ахматову исключили из числа членов Союза. Но были люди, чувствовавшие чудовищную несправедливость происходившего и старавшиеся в меру своих сил помочь Анне Андреевне пережить обрушившуюся на нее травлю.

---

* Распределитель на Михайловской был высокого класса. Лимит в 500 рублей был очень ценным. Пунин, как профессор, получал лимит в 300 рублей. Все карточки были у меня. Продукты для Акумы я выкупала отдельно. Она многих «подкармливала».

Анна Ахматова. Около 1946 г.

В начале сентября на несколько дней из Москвы приехала Нина Антоновна Ольшевская. При ней А. А. сжигала свои рукописи * и бумаги. Нина Антоновна, возвратившись в Москву, естественно, рассказывала, в каком положении она увидела Анну Андреевну. И в Ленинграде не все смирились с постановлением. Больше других, рискуя всем, открыто помогала Ольга Федоровна Берггольц.

29-го позвонили из Союза и велели прийти за ахматовской карточкой. Дали рабочую карточку за весь прошедший месяц. Я пошла с ней в «наш» магазин, но там «отоварить» карточку отказались — она не была «прикреплена». Потом мы пошли вместе с Левой второй раз. Снова отказали. Встретили домработницу М. М. Зощенко. Она тоже хлопотала с целой месячной карточкой. Нас направили в дежурный магазин, около Казанского собора. Долго объяснялись. Лева присел на бампер чьего-то автомобиля и отпускал меткие реплики. Наконец вышел заведующий и сказал, что мы можем все получить, но только теми продуктами, которые у них остались, а за хлеб — мукой. Завтра начинается другой месяц. Мы были на все согласны. Лева подхватил мешок с мукой, я — сумки с другими продуктами, попрощались с домработницей Мих. Мих. Она сказала: «Все понесу моему Зощенке».

С тех пор А. А. давали одну рабочую карточку каждый месяц**. Мы продолжали питаться вместе. Лева свою карточку прикреплял к столовой и там обедал.

Шло время. Лева работал в музее Этнографии народов СССР. Летом уезжал в экспедиции. Писал свою первую диссертацию. В конце 1948 года он ее защитил. По этому случаю в моей комнате был устроен праздничный ужин. Птица[1] спекла пирог с капустой. Я готовила. Лева принес водку и закуски. Был короткий период некоторого равновесия и спокойствия для А. А.

Наступил 1949 год. Папу арестовали 26 августа днем***. Во время обыска и ареста дома были только папа и Акума.

Стихотворение «Колыбельная» она пометила этой датой.

КОЛЫБЕЛЬНАЯ

Я над этой колыбелью
Наклонилась черной елью.
Бай, бай, бай, бай!
Ай, ай, ай, ай...

---

* Среди других рукописей она тогда сожгла написанное в прозе свое впечатление о послевоенном Ленинграде — «Моя с ним встреча».

** В условиях послевоенной жизни Ленинграда не дать месячную карточку — значило обречь человека на голодную смерть или самоубийство. Жесткая карточная система давала возможность ленинградцам жить и работать, хотя и недоедая.

*** Н. Н. Пунин умер в лагере 21 августа 1953 г.

Я не вижу сокола
Ни вдали, ни около.
Бай, бай, бай, бай!
Ай, ай, ай, ай.

26 августа 1949 (днем)
Фонтанный Дом

Леву арестовали 6 ноября, когда он зашел домой в обеденный перерыв. Обыск закончили скоро. Акума лежала в беспамятстве. Я помогла Леве собрать вещи, достала его полушубок. Он попрощался с мамой, вышел на кухню попрощаться со мной, его увели. Старший из сотрудников, уходя, сказал мне:

— Пожалуйста, позаботьтесь об Анне Андреевне, поберегите ее.

Я остолбенела от такой заботы. Входная дверь захлопнулась. Я выпустила Аню, которой не велела высовываться из моей комнаты все время обыска. Мы вместе с ней пошли и сели около Акуминой постели. Молчали...

Следующие дни Анна Андреевна опять все жгла.

В пятидесятом году Арктический институт стал претендовать на нашу квартиру. Сначала хотели выселить куда-нибудь меня. Я сопротивлялась *. Тогда меня стали соблазнять: предложили мне с моим мужем Романом Альбертовичем Рубинштейном трехкомнатную квартиру на Театральной площади. При этом комендант Арктического института (Васянович) цинично говорил:

— Вы уезжайте, уж что может быть лучше квартиры капитана Макарова, которую мы вам даем, а старушка без вас долго не проживет.

В попытках нашего насильственного переселения мы чувствовали стремление изолировать Анну Андреевну. От квартиры капитана я тоже отказалась. Тогда (23 августа 1951 г.) Арктический институт вновь под угрозой выселения предложил мне переехать в двадцатиметровую комнату на ул. Красной Конницы.

Наконец в марте 1952 г. после почти трех лет мытарств и постоянных оскорблений со стороны администрации Арктического института, ценой невероятных усилий и большой потери жилплощади мне удалось обменять квартиру на

---

* 8 июля 1950 г. я получила грозную бумагу, в которой дирекция Арктического института предложила мне «в трехдневный срок переехать... в комнату 25,8 кв. м. ... освободив занимаемую комнату в кв. 44» по Фонтанке, 34. Документ кончался словами: «В случае невыполнения настоящего предупреждения Вы будете выселены в административном порядке». Анна Андреевна при этом должна была остаться в старой квартире. Однако я воспротивилась давлению института и не согласилась оставить Анну Андреевну одну. Арктический институт затеял судебное дело против меня. 17 августа 1950 г. суд отказал в иске Арктическому институту.

Фонтанке и комнату моего мужа на четырехкомнатную квартиру по ул. Красной Конницы.

Квартира понравилась А. А. — комнаты анфиладой, второй этаж, хорошая лестница, близко Смольный собор. Эта улица прежде называлась Кавалергардской, здесь, в доме № 20, А. А. много бывала в середине десятых годов.

И никаких пропусков * — свободный вход! К А. А. снова стали приходить ее знакомые. Но все-таки Фонтанный Дом и сад, загражденный последние годы от нас железной сеткой, и все, что случилось в этом доме, где А. А. написала «Поэму без героя», мы покидали с болью. Из родного дома, в котором столько было пережито, мы переезжали в неизвестность.

Прощаясь с Фонтанным Домом, А. А. написала:

Особенных претензий не имею
Я к этому сиятельному дому,
Но так случилось, что почти всю жизнь
Я прожила под знаменитой кровлей
Фонтанного дворца... Я нищей
В него вошла и нищей выхожу...

1952

---

* С конца 1940-х годов в проходной Фонтанного Дома ввели систему пропусков для людей, приходивших в нашу квартиру. Пропуск выписывался вооруженной охраной при предъявлении паспорта, на нем проставлялись часы и минуты входа и выхода.

Вяч. Вс. Иванов

БЕСЕДЫ С АННОЙ АХМАТОВОЙ

Мой отец [1], кажется, уже спустя какое-то время после моего знакомства с Анной Андреевной рассказал, как, вскоре после его приезда в Петроград и напечатания первых вещей («Партизанских повестей»), его остановила на улице незнакомая ему стройная женщина, сказала, что она — Ахматова, что она прочитала его новую вещь (кажется, «Цветные ветра») и рада сказать, что ей эта вещь нравится. Потом я узнал, что Ахматова любит поощрять новичков в литературе (между ней и моим отцом разница в возрасте была небольшая, но в литературу он вступил много позже), а тогда я был удивлен рассказом отца: в самом деле, для чего ей, казалось, были его партизанские повести?

Во время войны в 1942 г. мы жили в эвакуации в Ташкенте. Там, на улице Жуковского, в доме, отданном нескольким писателям, Уткин устроил у себя подобие салона. Меня туда приводила мама. Там впервые я увидел Ахматову и услышал, как она читала стихи (о снаряде, разорвавшемся в Ленинграде).

А через год мы должны были уезжать из Ташкента. Освобождавшееся помещение могли дать Ахматовой и Раневской. Они пришли посмотреть комнату. Я был дома один и довольно долго с ними разговаривал, пока они обстоятельно осматривали ту часть бывшего Сельскохозяйственного банка, где мы жили.

Следующий раз я видел и слышал Ахматову на нескольких вечерах после конца войны, когда ленинградские писатели приехали в Москву и Ахматова вместе с другими выступала с чтением стихов. В Клубе писателей она читала мало, сославшись на то, что наизусть не знает, а то, что записала для чтения, уже прочла. За этим последовал вечер в Колонном зале, превратившийся в чтение двух поэтов — Ахматовой и Пастернака. Их обоих просили читать снова и снова, они не отказывались, успех их был огромен. Первой из них двоих читала Ахматова, потом она ушла из президиума, перешла в правую ложу, где слушала, как читает Пастернак. Прослезилась, когда он читал реквием Цветаевой [2].

Пастернак в разговорах со мной, моими родителями и друзьями не раз упоминал Анну Андреевну, что-то пересказывал с ее слов. Однажды при мне в очень важном для него разговоре целиком прочитал наизусть «Не с теми я, кто бросил землю...», сказав, что в этом стихотворении лучше всего сказано то, что он хотел бы сам выразить. В 1949 г. Пастернаку передали предложение Фадеева отмежеваться от тех, кто его хвалит на Западе. В ответ он прочитал эти стихи Ахматовой.

Летом 1949 г. Пастернак рассказывал: «Как-то мне подарили «Четыре квартета» Т. С. Элиота, и я увидел, что для этого нужно другое знание языка: нужно ходить по улицам, ездить на подножках трамваев. И я подарил эту книгу Ахматовой. Представьте, она все это поняла!»

Другой раз в то же лето, когда заговорили о Хемингуэе, Борис Леонидович заметил: «Хемингуэй — большой, замечательный писатель. Когда я не работаю, я читаю его как обыватель, но когда я работаю, то уже здесь ни при чем Хемингуэй. Вы знаете, это лучше всего раскрылось в разговоре с Ахматовой: «Во время работы такое чувство, как в шахте у спустившихся в нее братьев-«каторжан».

Однажды в 1950 г. мы заговорили с Борисом Леонидовичем о новом варианте его «Импровизации», который я прочитал незадолго до того. Борис Леонидович стал рассказывать, как он вернулся к этому стихотворению. Его заставило это сделать то, что Ахматова взяла полторы строки из «Импровизации» эпиграфом к своему сборнику «Ива» («Из шести книг»):

И было темно. И это был пруд,
И волны...

Только эти строки Пастернак и сохранил из старого варианта. Все остальное было изменено до неузнаваемости.

Осенью пятьдесят третьего года мне попался в библиотеке, откуда я мог брать книги домой по абонементу, незадолго до того вышедший том итальянской истории всемирной литературы, где много говорилось о Пастернаке. Я занес его Борису Леонидовичу. Потом уже он мне говорил, что выписал из него для Ахматовой все то, что было связано с ней (и не выписал относящееся к себе, о чем после пожалел).

По этим разрозненным обрывкам воспоминаний видно, что в те годы Пастернак воспринимал Ахматову как человека себе близкого. Я знаю, что после начала ее травли, в ответ на первые газетные публикации Пастернак послал ей телеграмму, выражающую сочувствие и негодование. Тогда же в поношения писатели включили и его. Я знал, что они видятся часто. Но встретился я с Анной Андреевной у Бориса Леонидовича

Анна Ахматова и Борис Пастернак. 1946 г.

только в самом начале июня 1952 г. В Лаврушинском, до переезда на дачу, Пастернак позвал меня на чтение глав из «Доктора Живаго». Когда приглашенные начали собираться, выяснилось, что их будет меньше, чем предполагалось. Борис Леонидович обратился к Зинаиде Николаевне [3] с вопросом, можно ли ему пригласить еще Ахматову, она здесь рядом, на Ордынке. Получив (как мне показалось, неохотное) разрешение Зинаиды Николаевны, Пастернак тотчас ушел и вскоре вернулся с Анной Андреевной.

Как это бывает после чтения, разговор не клеился. Борис Леонидович спросил Ахматову, умеет ли она читать полностью по латыни название своего сборника «Anno Domini MCMXXI». Она ответила, что когда-то могла это сделать, а сейчас не уверена. Борис Леонидович стал вспоминать многосложные латинские числительные и довольно уверенно произнес полностью все заглавие, явно гордясь своими познаниями латиниста.

Разговор растекся в стороны. Анна Андреевна вернула нас к главной теме, сказав: «Мы только что прослушали замечательную вещь. Надо о ней говорить». Это было сказано тоном решительным и почти бесстрастным. Мне показалось,

что в замечании этом было больше желания сделать приятное хозяину дома, чем искренне взволнованного отклика на услышанную прозу.

Ахматова была в Москве осенью 1953 года. Встретив ее, мама пригласила ее к нам на дачу. Она согласилась прочитать незадолго до того оконченные переводы древнекитайских поэтов. Мой отец, с молодости необычайно высоко ценивший китайскую поэзию, отозвался на переводы восторженно. Кроме нашей семьи, на этой встрече в Переделкине присутствовал Федин. Увидев Ахматову, он начал извиняться (с некоторым смущением, которое мне у него не часто приходилось видеть); как я понял из разговора, за несколько дней до того ему звонил кто-то из друзей Ахматовой — сказать, что она приехала в Москву и хотела бы его видеть. Он несколько сбивчиво объяснял, почему тогда это было для него невозможно. Ахматова заговорила об Алексее Толстом; сказала, что она умеет показать по его роману («Сестры»), как он совсем не знал Петербурга. Потом разговор вернулся к началу двадцатых годов, и Федин с еще тогда присущей ему живописной словесной лепкой стал вспоминать, как Ахматова удивляла всех своей гибкостью: перед собравшейся в кафе литературной компанией показывала свое акробатическое мастерство, сгибаясь кольцом, так что пальцы ее ног касались головы. Обратно в Москву на машине моих родителей (оставшихся, как и Федин, в Переделкине) мы ехали с Ахматовой. Она по дороге мне сказала по поводу этого разговора: «Федин еще помнит. А ведь почти уже никого не осталось, кто помнит».

Ахматова вежливо расспрашивала меня о моих занятиях. Когда я начал ей что-то объяснять о хеттской клинописи, она прервала: «Что вы мне говорите о хеттских табличках? Я же с ними десять лет прожила». И заговорила о Шилейко. Я видел посвящения ему на ее стихах, но не знал, что она была за ним замужем. Рассказав об этом, она назвала его гениальным, вспомнила, как еще юношей он переписывался с Тюро-Данженом[4]. В ее рассказе слышалось только восхищение.

Хотя до осени пятьдесят восьмого года мы не только были знакомы, не раз виделись и у общих знакомых (в том числе у Бориса Леонидовича Пастернака), и у нас дома, никогда не было разговора вдвоем, обычно беседа бывала прилюдной. Но в конце ноября пятьдесят восьмого года — в пору начала травли Пастернака и затеянной против меня в связи с ним кампании в университете — мне передали, что Анна Андреев-

на просит меня позвонить и прийти к ней. У Ардовых, где она обычно останавливалась и где я потом бывал часто, был ремонт, и они жили в каком-то другом месте[5], как мне тогда показалось, очень отдаленном (но тоже в Замоскворечье или дальше к юго-западу от него). Как и много раз позднее, она была среди чужой комнаты (я видел их потом много) самой собой, и об этой случайности обстановки уже забывалось.

В ту первую нашу встречу с глазу на глаз — потом их было очень много, и я дальше расскажу только о части наших бесед — она сразу же завела порядок, потом не менявшийся: она читала стихи, большею частью либо только что написанные (в тот раз — озорное четверостишие: «За такую скоморошину...»), либо воскресавшие из давних лет, иногда ей возвращенные читателями, их запомнившими или записавшими; рассказывала важные для нее эпизоды ее жизни. Тот раз она говорила о встрече с Мариной Цветаевой.

Я спросил Анну Андреевну о своей давней догадке (со студенческих времен, когда прочитал Блейка), что гумилевские строки «Сердце будет пламенем палимо» — перевод-пересказ блейковских. Анна Андреевна ответила, что уже не была с Николаем Степановичем, когда писались эти стихи. Но к тому времени он изучил английский, и поэтому мое предположение казалось ей вероятным.

На память о разговоре по поводу ее разбора «Каменного гостя» Пушкина Ахматова в тот день подарила мне оттиск своего эссе с надписью: «В. В. Иванову, который первый похвалил мою прозу. Благодарная Ахматова. 22 ноября 1958. Москва».

После того как меня в январе 1959 г. изгнали из университета, я по делам приехал в Ленинград и позвонил Анне Андреевне. Она еще жила на улице Красной Конницы. Я увидел старинный комод, полки с книгами, пожалуй, единственный раз (кроме Будки — дачи в Комарове) что-то, что напоминало ее собственную обстановку, или, вернее, ее самое в обстановке. Она стала меня расспрашивать о моих делах, я отвечал по возможности подробнее, по двадцатидевятилетней неопытности полагая свои тогдашние несчастья действительно серьезными. Она угостила меня каким-то пародийным винегретом из разных употребленных мной в рассказе слов, обозначив самой интонацией, что она этому серьезному тону не сочувствует: «Да, я, представьте, все это слышала уже от Холодовича[6]. Он у меня был недавно, рассказывал о вас и употреблял те же выражения: спасти, кибернетика». В самом деле, ей ли, видевшей расстрелы и аресты стольких близких, принимать близко к сердцу то, что меня уволили из университета (всего лишь) и из журнала «Во-

просы языкознания». Это ее ироническое замечание было мне полезней всех тех соболезнований, которые я тогда слышал от пол-Москвы. В тот же вечер Ахматова впервые прочитала мне некоторые стихи из «Реквиема» и другие, тематически и по времени написания к ним примыкающие.

В то время, когда я начал регулярно и довольно часто встречаться с Анной Андреевной, она нередко виделась с Надеждой Яковлевной Мандельштам. Та жила у Шкловских в том же доме и подъезде, что и мы. Бывало, что у Шкловских же мы встречались и все вместе. Помню, как Ахматова раз отозвала меня в сторону и стала читать незадолго до того написанные стихи «Родная земля» («В заветных ладанках...»). Впервые написанное (так было и со стихотворением, где есть строки «Такое выдумывал Кафка[7] и Чарли изобразил») Анна Андреевна читала иногда очень тихо (но обычно наизусть — видимо, последнее написанное помнила хорошо, сбивалась редко). Ей нужна была рецензия, необходимо было удостовериться в качестве только что написанного. Ее заботила реакция того, кто слушал одним из первых. Потом она могла прочитать их и еще — или на следующий раз, или в более широком обществе (первое чтение Анна Андреевна предпочитала при одном слушателе). Так, «Родную землю» вскоре я услышал, когда мы вместе были у Ивана Дмитриевича Рожанского.

Как-то, когда я пришел к Анне Андреевне на Ордынку, она мне сказала, что к ней вернулось раньше написанное стихотворение, которое она забыла. Оно было посвящено Пастернаку — «И снова осень валит Тамерланом...». Ахматова была обрадована случайной находке: из-за того, что она плохо помнила свои стихи и далеко не всегда (из осторожности) их записывала, а архив ее много раз погибал (при обысках, а иногда и когда сама она сжигала часть бумаг), у нее не так много сохранялось из сочиненного после тридцатых годов. Многое хранилось в памяти таких ее слушательниц, как Лидия Корнеевна Чуковская. Но часть стихов пропала навсегда.

Первое чтение стихов на Ордынке, если Ахматова не была уверена, помнит ли она свой текст, обычно начиналось с того, что она его разыскивала в чемоданчике, стоявшем на окне или на столике. Мизансцена всегда была одинаковой: встретив меня и проводив в комнату, где мы оставались вдвоем, Ахматова усаживалась поглубже на свою тахту, я сидел на стуле ближе к двери. Если Ахматовой было нужно что-то из ее вещей, я ей передавал их.

Если поздно вечером из театра возвращалась Нина Антоновна — хозяйка дома (всегда очень оживленная), нас

звали к столу. На людях здесь обычно не полагалось к чаю ни стихов, ни серьезных разговоров. Треп Ардова, зубоскала и остряка, не оскорбляющие цензуру анекдоты. Должен, впрочем, сказать, что Надежда Яковлевна Мандельштам причину серьезности Ахматовой в разговорах со мной видела именно в ее собеседнике. По ее мнению, это моя почтительность и ненастроенность на юмор вынуждали ее так себя вести. Возможно. Действительно, способ обращения Штока[8], называвшего ее в лицо «старуха» и рассказывавшего ей только смешные истории, Ахматовой, по слухам, нравился,— я сам не наблюдал. При мне у Ардовых она так же вежливо участвовала в обмене остротами и анекдотами, как за столом у Рожанских — в разговоре на пушкиноведческие или иные филологические и общенаучные темы. Я слышал и о таких компаниях с участием Ахматовой, где присутствующие в своей словесной невоздержанности далеко шли по пути бахтинского карнавала, но я в них не участвовал. При мне Анна Андреевна просила не договаривать ходившей по Москве эпиграммы, кончавшейся неблагозвучным словом.

Очевидная для меня причина, почему разговоры наедине в небольшой комнате были Ахматовой, во всяком случае в последние годы, легче и проще, заключалась в том, что Анна Андреевна плохо слышала. Поэтому общий гул застолья не мог ей быть необходим.

Но в чем я убежден, так это в важности для Ахматовой юмора как очень существенной части европейской культуры (в отличие от восточной, по ее мнению). Она умела находить смешные черты во многом, что иначе казалось бы непереносимо страшным или неизгладимо скучным. Она могла быть язвительной или изысканно остроумной, но понимала и вкус грубой шутки. Как-то Анна Андреевна сказала мне: «И как мы разговариваем? Обрывками неприличных анекдотов». Один из таких обрывков она любила особенно. Не раз я слышал от нее уместную реплику: «Тоже красиво».

25 апреля 1959 г. Анна Андреевна подарила мне — первую за много лет и оттого для автора важную — тонкую книжку своих стихотворений с надписью «в долготу дней». Она многое изменила и вписала в книжке в датах (под «Стихами разных лет» вместо «1957» — «1958»; «Все души милых...» — 1921 г., а не 1944 г.; 1946 — после «Черную и прочную разлуку...», 1953 — после «И сердце то...») и указаниях места написания — при стихотворении «Пушкин» — «Ц. С.», при «Сказке о черном кольце» после «1917, июль»,— «1936 (Москва)», посвящениях (О. М. в стихотворении «Воронеж»). Ко второму из «Двух стихотворений» было добавлено название «Эпилог» и в конце первого четверо-

стишия и после него поставлены многоточия, а после даты приписано: «Комарово». Исправления касались и отдельных слов («Щедро взыскана дивной судьбою...») и строк («Белым камнем тот день отмечу, когда я о победе пела»). Но главное — это несколько стихотворений, написанных рукой Ахматовой и приклеенных вместо тех, которые ее не устраивали[9]: «Смерть» («Я была на краю...») — на с. 68, «Музыка» — на с. 74, «Нет, это не я — это кто-то другой страдает...» — на с. 75, «Pro domo mea» — на с. 76. Книга ее не устраивала во многом, она была больше огорчена, чем обрадована ее выходом. Ее долго составляли; редактировавший ее Сурков мучил и выбрасывал стихи (Анна Андреевна рассказывала мне о последних этапах этой войны с ним), долго печатали; она дорого обошлась Анне Андреевне. И все же после стольких лет — книга!

Анна Андреевна летом, когда я жил в Переделкине, послала через меня книгу Борису Леонидовичу. Они давно не виделись, и Анна Андреевна предложила, что она может к нему приехать для встречи в Переделкине. Я передал и книгу, и это предложение Борису Леонидовичу. Через несколько дней он собирался по традиции прийти ко мне на день рождения. Если не ошибаюсь, Женя, его сын, предложил, чтобы Анна Андреевна, которая тоже собиралась к нам в гости в тот день, приехала немного раньше и они бы поговорили на даче у Пастернаков друг с другом. На том и сошлись. Вышло все нескладно. Борис Леонидович позвонил Анне Андреевне — поблагодарить за книгу. Она потом мне говорила с раздражением, маскируемым усмешкой: «Хвалит стихи «Сухо пахнут иммортели...» Это же написано сорок лет назад! Он меня никогда не читал».

По этому последнему поводу мне случалось не раз спорить с Анной Андреевной. Она, конечно, знала (и не от меня только), что Пастернак и знал, даже многое наизусть, и читал ее ранние книги. Ее, я предполагаю, волновало больше всего, читает ли он последующие сборники и как оценивает ее попытки «перепастерначить» его.

А встреча у меня на рождении 21 августа 1959 года оказалась «невстречей» из-за нескольких полуслучайностей. За Анной Андреевной должен был заехать шофер моих родителей и завезти ее сперва на дачу к Пастернакам, а потом уже на нашу, соседнюю. Видимо, он не понял или спутал, машина приехала к нам, и Анна Андреевна, тяжело ступая, взошла к нам на крыльцо. Переезды ей уже нелегко давались. Решили, что я схожу и предупрежу Пастернака, что она уже у нас. Очевидно, Бориса Леонидовича задела эта перемена планов. Они пришли с Зинаидой Николаевной вместе довольно поздно, когда уже садились за стол. Его начали усаживать с Анной Андреевной, но он очень решительно

отказался и просил, чтобы его место за столом было рядом с Зинаидой Николаевной. Ахматова была, в свою очередь, удивлена и обижена этим недоразумением. Они оказались за столом друг против друга. Анну Андреевну просили почитать стихи. Она прочла «Подумаешь, тоже работа...» и «Не должен быть очень несчастным...». Первое из них Пастернаку очень понравилось, он повторял (и запомнил наизусть — вспоминал на следующий день) строки:

Подслушать у музыки что-то
И выдать шутя за свое.

Потом Ахматова рассказала, что у нее попросили стихи для «Правды», она послала «Летний сад», но оказалось, что для газеты не подошло. Она прочитала: «Я к розам хочу...» Пастернак в ответ прогудел: «Ну, вы бы еще захотели, чтобы «Правда» вышла с оборочками».

Пастернаки ушли довольно рано. Разговор между ним и Ахматовой так и не состоялся. Больше они не виделись.

Моя жизнь относительно устроилась. Я работал в Институте точной механики и вычислительной техники, начал заниматься с одним из сотрудников китайским языком (в планы группы машинного перевода, которой я заведовал, входил и перевод с китайского). За ужином, который мы устроили Ахматовой в нашем доме в Лаврушинском, я или кто-то еще из семьи упомянул об этом. Она отозвалась очень живо: «Да вас надо на выставке показывать — вы и китайскими иероглифами занимаетесь, и стихи писать успеваете». Ей явно очень хотелось меня ободрить в то время, после незадолго до того обрушившихся на меня невзгод: уже не нужно было учить меня стойкости, можно было и поощрить.

В тот раз я должен был зайти за ней на Ордынку к Ардовым, чтобы потом проводить к нам домой. Это было всего два квартала, расстояние пустяковое, но с Анной Андреевной мы шли очень долго. Она тяжело дышала, поминутно останавливалась, чтобы перевести дух, и я заметил, что ей и психологически трудно было переходить улицу, даже и в отсутствие машин, тогда на Ордынке еще малочисленных.

Когда хоронили Пастернака, Ахматова была в больнице. На другой день после похорон я поехал ее навещать. Она вышла со мной из палаты в коридор, мы нашли место, где можно было разговаривать. Ахматова выслушала мой рассказ о похоронах и сказала: «У меня такое чувство, что это как торжество, большой религиозный праздник. Так было, когда умер Блок». Она рассказала о том, как в этой

же Боткинской больнице навещала больного Пастернака, и прочитала строки из стихов его памяти, где об этом вспоминала:

А одна сумасшедшая липа
В этом траурном мае цвела.
Прямо против окна, где когда-то
Он поведал мне, что перед ним
Вьется путь золотой и крылатый,
Где он вышнею волей храним.

К концу нашего разговора пришел еще один посетитель с букетом цветов, наш общий знакомый из ученых кругов. Ахматова пересказала и ему свое общее ощущение торжества, возникшее от похорон Пастернака.

В 1960 г. вышел третий том сочинений Блока, из которого впервые Ахматова узнала о некоторых вариантах и черновиках обращенного к ней стихотворения. В тот день у Ардовых она говорила только об этом, толкуя разночтения всегда ее занимавших строк: «Не страшна и не проста я...»

Ей, видно, всегда хотелось понять, что стояло за тем блоковским стихотворением 1913 г. И спустя почти полвека каждая новая строка черновика снова помогала ей в любимом занятии — расшифровке того, что стоит за стихотворением. Она возвращалась и к каноническому его тексту, было видно, что она его хорошо знает.

Уже после смерти Пастернака Ахматова показала мне машинописную копию письма, которое ей Пастернак прислал по поводу ее книги 1940 г. В нем говорится о том, как много первые ее сборники значили для него и Маяковского.

Ахматовой было всегда интересно и важно, что о ней говорят и пишут, даже когда это были и люди безвестные, не то что Блок; ей это, во всяком случае, никогда не было безразлично. И не скажу, что всегда устраивали ее похвалы. Как-то, показывая мне льстивое письмо молодой женщины из литературной семьи, Ахматова сказала мне, когда я его прочитал: «Правда, что-то не то? Как будто ко мне заползла змея».

Из суждений о своей молодой поэзии Ахматова с одобрением отмечала те, где говорилось о ее сходстве с последующей прозой вроде хемингуэевской, о ее новеллистичности.

В конце пятидесятых годов, когда все время редактировалась и дописывалась «Поэма без героя», Ахматова спрашивала у каждого, кто ее прочитал, его суждение. Потом некоторые из чужих критических оценок она пересказывала и сопоставляла. Одно время по поводу поэмы ей казалось самым верным замечание того читателя, который увидел в ней точное воспроизведение Петербурга «серебряного века»,

той дивной и короткой поры расцвета искусства, литературы, всей культуры; сжатое выражение всего начала века, столько обещавшего России.

В начале лета 1961 г. я был в Ленинграде и воскресенье провел в Будке у Ахматовой. Она читала мне стихи с эпиграфом из Бодлера, попутно проверяя, знаю ли я, откуда взят эпиграф.

О ту пору (1961) вышло первое издание книги астрофизика И. С. Шкловского «Вселенная, жизнь, разум». Я с увлечением за одну ночь ее прочитал и пересказывал при встрече на Ордынке, у Ардовых, Ахматовой. Она очень заинтересовалась и тут же откликнулась: «Такую книгу я хотела бы прочитать». На следующий раз оказалось, что она уже ее прочла и очень хвалила.

До того когда я зашел к Анне Андреевне на старую ленинградскую квартиру, она сказала, что при разборке старых книг на полке оказалось что-то по теории относительности. Она заговорила о ней с пониманием. Ее эти темы всегда занимали.

Как-то в стихах, которые я ей прочитал, она усмотрела переложение современных физических теорий и, как она умела, в очень отчетливых и прозрачных формулировках пересказала то, что в стихах было неясным и запутанным: «Это что, *имеется в виду представление о потоке частиц?..»*

Такая же ясность и четкость ее прозаических переформулировок чужой стихотворной путаницы мне открывалась еще несколько раз, причем (всякий раз) по поводу стихов, ей понравившихся. Если в них при этом она обнаруживала что-то невнятное, она сама пробовала пересказать неудачную строку, как бы ее редактируя (я обязан ей двумя или тремя такими редакциями).

Когда речь заходила о событиях дня, после возвращения реабилитированных и XX съезда, Ахматова говорила: «Я хрущевской партии».

Когда с ней познакомился А. И. Солженицын — это было накануне публикации «Одного дня Ивана Денисовича», прочитанного ею перед тем,— Ахматова спросила его: «Через несколько дней вы станете всемирно знаменитым. Выдержите ли вы это?»

Мне надо было рано уйти от Анны Андреевны, чтобы успеть попасть в тот же вечер к видному филологу Виктору Владимировичу Виноградову, академику, когда-то написавшему большую работу о ней. За несколько лет до того я работал в журнале его заместителем, но потом видел его редко. В тот раз было необходимо срочно его повидать: от нашей

встречи зависело, станет ли он (как это мне предложил академик Н. И. Конрад) участвовать в совместных хлопотах об освобождении из тюрьмы математика Р. И. Пименова, приславшего мне целую пачку интересных работ по математической лингвистике, написанных в тюремной камере. Зная, что Анна Андреевна встречается по старой ленинградской памяти с супругами Виноградовыми, я рассказал ей о задаче моего предстоящего визита к нему. Она выслушала меня очень серьезно и внимательно и высказала пожелание — надежду — молитву: пусть в этот раз у Виноградова хватит духу сделать доброе дело (она знала, как ему, самому столько раз арестованному и ссылавшемуся, а потом вознесенному еще при Сталине, трудно на это решиться). Это благословение помогло — хотя бы уже придав мне больше сил и уверенности в разговоре с Виноградовым. Когда освобожденный через несколько месяцев Пименов благодарил всех участвовавших в хлопотах, увенчавшихся неожиданным успехом,— он не знал, что к их числу, конечно, надо отнести и Анну Андреевну.

Если Ахматова была в Москве в день большого православного праздника, она всегда мне звонила утром по телефону и поздравляла. Для нее праздники, православная традиция, церковь много значили — специально мы об этом не говорили; как и многое другое, это подразумевалось.

Когда в августе 1963 года умер мой отец, я получил от Ахматовой телеграмму. Она была послана из Комарова 20 августа: «Прошу верить моему глубокому сочувствию. Ваша Ахматова». В ответном письме я пересказал Анне Андреевне сон — или видение? — моего отца перед смертью. В этом сне переплетались Греция и Китай, но главной героиней сна была Ахматова.

28 июня, когда я пришел к отцу в больницу утром, он был в ясном сознании и рассказал мне сон (сказав сначала: «Последние дни мне много чепухи рассказывают, и сны снятся дикие»): «Я видел во сне всемирный съезд писателей в Греции, на котором, представь себе, была Ахматова. Как раз в это время в Пирее нашли домик Сократа. Ее в нем поселили; там его стол, его кресло. А я поселился в верхнем этаже. Утром я спускаюсь вниз и вижу: женщина сидит за столом и плачет. Я спрашиваю ее: «Анна Андреевна, что с вами?» Она отвечает, что она видела в этом столе своего ребенка — только он был розовым, а стол черного мрамора. Так было странно ей увидеть свое дитя среди этих клубящихся плит у моря. Я говорю ей: «Ведь даже Гомера — и того не изображают на каждой вещи, а что же нам, простым людям, ждать». И я сказал ей:

«Когда-нибудь у нас, как в Китае, поэзия будет на каждом шагу, на каждой вещи». Она ответила: «Может быть».

При встрече Ахматова мне сказала, что видит в этом сне отзвуки двух своих стихотворений на античные темы. А Китай, добавлю от себя,— это и отблеск того чтения переводов, о котором говорилось выше. Так Ахматова нас, ее окружавших, с собой вместе погружала в зазеркалье сновидений и пророческих образов, по сравнению с которыми меркли другие восприятия.

Большая часть того, что здесь записано, мной вспоминается по прошествии многих лет, но кое в чем я опираюсь на записи. Их я вел зимой 1963/1964 г., когда Анна Андреевна жила на одной лестничной площадке с нами в писательском доме в Лаврушинском, в квартире М. И. Алигер. Тогда мы виделись чуть ли не ежедневно, но некоторые записи сделаны и много раньше.

Я записал в дневнике слова Ахматовой, сказанные мне 15 июня 1963 г., о Кафке и Модильяни: «Они умерли такими молодыми и успели выговориться».

28 ноября 1963 г. мы были с Анной Андреевной вместе в гостях. Она вспоминала, как читал Блок: «Опускал занавес между собой и слушателями (как другие поднимают его перед чтением) и читал так, как если бы он был один; кроме него — никого». Ахматова говорила о сходстве блоковской «Испанки» («Не лукавь же, себе признаваясь...») и «Эвридики» Рильке. Разговор коснулся поэмы С. И. Липкина, которого Ахматова высоко ценила и часто называла среди четырех-пяти лучших современных поэтов.

В гостях засиделись допоздна, и пока я вез Анну Андреевну обратно в такси, она все волновалась, что хозяева уже легли спать. Я провожал ее до дверей (особенно неприятна была не очень освещенная лестница) и помог ей войти. Она приговаривала: «Потихоньку!» — все боясь потревожить хозяев. И вдруг в этом почувствовалось что-то очень молодое.

В декабре 1963 г. я болел. Ахматова позвонила справиться о здоровье, пошутила по поводу моего улучшившегося давления: «Пионерское!» Кончила разговор для нас с ней непривычно, видно желая меня подбодрить: «Звоните, милуша! Господь с вами!» В предшествующую нашу встречу она дала мне прочесть новый (как почти всегда бывало, окончательный и не подлежавший изменениям, которые она тут же сама начинала в него вносить) вариант «Поэмы без героя» (я был из числа немногих, знавших ее еще в ранней ташкентской редакции, когда-то я переписал ее — еще в 1944 г.— с экземпляра В. Берестова, часто перечитывал и многие части знал наизусть). Когда я сейчас читал новую редакцию, меня

она завораживала колдовским описанием несостоявшегося будущего — тогдашнего, несбывшегося (до того я скорее воспринимал ее как очень точную зарисовку именно тех лет, а сейчас увидел другие, так и не наставшие). Когда я позвонил, чтобы сказать что-то об этом автору, она мне сказала (это было 17 декабря 1963 г., я записал в дневнике): «У меня все очень плохо. Вы не можете себе представить, расскажу, когда приедете. А может быть, приедете — как чудо» (Анна Андреевна в том же бытовом смысле любила говорить: «В порядке чуда»). Конечно, я тут же приехал, по дороге надумав Бог знает что. Когда я приехал и Анна Андреевна рассказала мне о взволновавших ее ленинградских бедах, мне показалось, что это не так страшно. Но Ленинград по отношению к ней оставался провинцией, и глухой, не только со своими литературными чиновничьими дрязгами, но и с самоуправством градоначальников. Это сказывалось в отношении к Анне Андреевне и к близким ей молодым поэтам, таким, как Иосиф Бродский, к изданию (или журнальной публикации) ее стихов, к ее бытовым, прежде всего жилищным делам: она ведь так и не получила себе настоящего жилья, Будка в Комарове была тесной, квартира в Ленинграде многолюдной. Некоторые ленинградцы по отношению к Ахматовой еще полны были страхов сталинского времени. В 1959 г. я приехал в Ленинград по делу ненадолго и вдруг сообразил, что это — день рождения Ахматовой, а у меня нет с собой ее телефона. Чтобы его узнать, я позвонил В. Н. Орлову: до того я слышал, как на отдыхе в Дубулты он читал вслух ее стихи из последних, ходивших еще в списках. В телефонной трубке наступило замешательство. Оказалось, что ни он, ни другие видные литераторы не имели с Ахматовой дела. В 1947 г. одна ленинградка показала мне стихи, посвященные ей Ахматовой. Я ее спросил, видела ли она ее после ждановских поношений. Она мне спокойно ответила: «Нет». Мне казалось, что частота приездов Ахматовой в Москву была связана с затхлостью ленинградского воздуха.

Выговорив дурные ленинградские новости, так ее огорчившие, Ахматова стала вспоминать о Модильяни: «У него в кармане был «Мальдорор», и мы с ним сидели на скамейке и в два голоса читали Верлена, а мимо нас ходили Анатоль Франс, Анри де Ренье — вся эта шушера. Это было в Люксембургском саду». Мне жаль, что в мемуарах, которые она дописала чуть позднее, нет этого раскованного озорства, так поражавшего в лучших ее стихах и в поведении с близкими. В прозе больше акмеистического петербургского хорошего тона. А можно ли о заумном (в Хлебниковском смысле) «Мальдороре» Лотреамона в кармане у молодого Модильяни говорить в академическом духе, не сбиваясь самому на сюрреалистическую нелепицу?

Ахматова заговорила о болгарских и югославских поэтес-

сах, которых ей предлагали переводить. «Наша Марина была не такая. Она была москвичка начала века. Декадентка». Эти слова были произнесены с интонацией явной похвалы: вот, мол, какая она была, не чета вам!

О трех современных поэтах — Тарковском, Петровы́х, Липкине — Анна Андреевна сказала, что им очень не повезло: в другое время у них были бы свои школы, их бы переводили. По этому поводу она заговорила о целом поколении — десятилетии, «которому слишком рано сделали кровопускание».

В ответ на расспросы Анны Андреевны о моих занятиях я стал говорить о клинописных хеттских текстах и удивительности того, как их понял Шилейко. Анна Андреевна заметила: «Я умела когда-то различать эти таблички, когда они жили в одной комнате со мной».

Она говорит: «Я недооценивала Ходасевича. Это к тому, что я не люблю чистые пейзажи. А смотрите, что он делает» (если я правильно понимаю свою запись, тогда же сделанную, она показала мне стихотворение «2 ноября»[10]). О своей нелюбви к чисто пейзажным стихам Анна Андреевна в последние годы говорила часто. Она поясняла, что ей мало просто пейзажа, нужно что-то еще в этом же стихотворении.

Я уезжал в Псков к Надежде Яковлевне Мандельштам вместе еще с двумя молодыми литераторами — мы хотели с ней вместе отметить двадцать пять лет, прошедших со дня гибели О. Э. Мандельштама. Анна Андреевна передала через меня устное послание Надежде Яковлевне: она хотела, чтобы та вместе с ней порадовалась начинавшемуся уже тогда воскрешению ахматовского «Реквиема»[11].

30 декабря 1963 г. я, вернувшись из Пскова, зашел к Анне Андреевне. Она заговорила о Клюеве: большой поэт, страшный человек. В ее рассказе (иносказательном?) он был главой какой-то нехорошей секты (не хлысты, но что-то в этом роде). Необычные вкусы — откуда это у мужика? Дружил с Гумилевым, был с ним на «ты». На одном вечере, где акмеистов ругали, Клюев выступил против них. Гумилев его спросил: «Как же ты, Николай?» Клюев объяснил свое поведение цинически (вскоре, почти дословно повторяя свой рассказ о Клюеве, Ахматова привела его ответ Гумилеву: «Рыба ищет, где глубже, человек — где лучше»). Клюев говорил Ахматовой о Есенине в 1921 г.: «Ему бы хоть в тюрьму попасть. Он понял бы луч солнечный и слово человеческое». У Клычкова было его заявление о помиловании, где сказано, что он был осужден за поэму «Погорельщина» и «за безумные строки черновиков». Это — те его поздние стихи, где Ахматовой нравились обращенные к ней строки (их она поставила эпиграфом к одному из разделов «Поэмы без героя»):

...Жасминный куст,
Где Данте шел и воздух пуст.

Речь шла о стихотворении Клюева «Хулителям искусства», посвященном Павлу Васильеву. Ахматова сказала, что донес на Клюева Яр-Кравченко.

18 декабря Анна Андреевна подписала мне фотографию: «В. В. И. В такой день. А. 18 дек. 1963». С этого дня Анна Андреевна отсчитывала начало все более широкого приобщения читателей к давно написанным стихам, остававшимся почти никому не известными. Другие фотографии (под одной из них: «Фонтанный Дом 1927») помечены на обороте: «25 декабря 1963. Москва» и «В сочельник. Ахматова». Тем же днем подписана и фотография стола с цветами и подсвечниками в «будке», где на раскрытой рукописи чернилами поверх фотографии Ахматова («наискосок», как в стихах о ней И. Бродского, ею поставленных эпиграфом) написала: «Поэма». Ей нравилось, что поэма не прячется, а лежит на столе.

Беседа коснулась Фрейда и отрицательного отношения к нему Ахматовой. Она объясняла мне, что для нее детство не имеет ничего общего с тем, как его изображает психоанализ. Оно не замкнуто домом, семьей. Наоборот, в детстве мир начинался там, за калиткой, вовне.

Подсознание — это то, что нужно для искусства. Ахматова говорила мне, что никогда не стала бы заниматься психоанализом: тогда для нее невозможно стало бы писание стихов. Я на это привел ей слова Рильке в его письме Лу Андреас-Саломе, которая уговаривала своего друга в канун первой мировой войны пройти курс лечения у психоаналитика. Ответ Рильке слово в слово совпадал с тем, что я только что услышал от Анны Андреевны. Ахматова улыбнулась и сказала: «Значит, я не ошиблась». Рассказ о пьесе Анна Андреевна начинала так[12]: «Я лежала в тифозном бараке...».

11 января 1964 г. Анна Андреевна была у нас в гостях в Лаврушинском. Сказала о Блоке: «Не было более ненастного человека».

За столом (было совсем мало людей, среди них В. Н. Топоров, серьезно занимающийся ее поэзией) была весела, много шутила. Анну Андреевну угостили очищенным и разделенным на части апельсином. Она очень обрадовалась, сказав, что это ей напомнило давнее время, «когда мужчины умели делить апельсины на дольки и обувать — это не вернется!».

Посреди застольной беседы она ввернула: «Это не то слово, как говорят в Москве». Такие цитаты из наших (для нее чужих и оттого ей смешных) способов выражения у нее на каждом шагу.

24 января 1964 г. мы были вместе с Анной Андреевной в

гостях у Ивана Дмитриевича Рожанского — физика и универсально образованного человека, которому мы все обязаны лучшими по качеству записями ахматовского чтения стихов. Ахматова заговорила о стихотворении «Последняя» из цикла «Песенки»: «Услаждала бредами...», написанном в тот день; оно, по ее словам, неизвестно как явилось, само собой. Она обратилась ко мне: «А у вас так бывает?» После моего ответа Анна Андреевна продолжает: «У меня есть стихи, о которых я знаю, как я их писала, с обычным человеческим трудом. А другие — как это». Когда мы встретились снова через день или два (уже в Лаврушинском), Анна Андреевна сказала, что хочет снова мне их прочитать, добавив: «Вы, кажется, были пьяны у Рожанских». «Да нет, что вы»,— пытаюсь ее разуверить я. В ответ на мои отрицания виновности «Ах, да, вы пили только содовую воду. Значит, это я была пьяна». И читает стихи уже без этого предлога.

Я уезжал 1 февраля в Малеевку и накануне пришел проститься с Анной Андреевной. Она была не совсем обычна. По поводу предстоявшего итальянского путешествия она шутила, повторяла не очень замечательный каламбур по поводу одной лиры (поэтической) и миллиона лир (денег). У нее — видимо, для какой-то работы — было множество своих фотографий, фотографий с ее портретов; как она говорила: «Фото, фото не с фото, просто не фото». По поводу фотографии с Пастернаком в Колонном зале на вечере поэтов Ахматова повторила обычное: «Это я зарабатываю постановление!» Об одном из портретов: «Это можно послать к изданию в Прагу». Показывала стихи, ей посвященные, и письма. Заговорили о Василии Комаровском, стихами которого (с легкой руки незадолго до того приезжавшего Романа Якобсона) тогда начали увлекаться в Москве. Мне почудилась в ее словах о нем чуть ли не поэтическая ревность (у нее это бывало — или проявлялось — крайне редко). Зашла речь об Эйхенбауме. Ахматова вспоминала, что в двадцатые годы он ценился совсем не так, как теперь, когда его (и других опоязовцев) причислили к зачинателям нового литературоведения. Положительно, в тот вечер Анна Андреевна не была настроена слышать похвалы спутникам первого десятилетия своих литературных занятий.

Она читала нам опыты восстановления стихов из ташкентской пьесы. Зашел разговор об одной из немногих статей Мандельштама, которую она очень не любила,— той, где он хвалил Хлебникова, как казалось Анне Андреевне, в ущерб ей. Она ловила автора статьи на ошибках: он употребил слово «Вульгата» не в обычном смысле. Когда часть гостей простилась, разговор (как часто бывало и в других случаях) стал содержательнее. Анна Андреевна заговорила о том, чем ее не устраивает прочитанное недавно по-французски «Падение».

Камю — это плохо переваренный Кафка. Она добавила: «Нельзя добро изучать теоретически, нужно постараться его делать на самом деле, чтобы увидеть, как это трудно». По поводу «Чумы» Ахматова сказала, что начало прекрасно, а дальше все хуже и хуже; в общем, и этот роман Камю ее не устраивает. О воспоминаниях о Модильяни она призналась, что о главном написать нельзя — как он стоял под окном ночью; «Смотрю в окно ночью — он снова там стоит».

Она сказала, что с Вл. Соловьева начинаются ее сознательные воспоминания, и добавила: «Я играю в них, во всех пяти» — ту «свою» строку из раннего варианта пастернаковского «Гамлета».

Беседа коснулась лыж — это был для Ахматовой второй вид спорта после плаванья (и очень заметный в ее стихах).

16 марта 1964 г. Анна Андреевна читает воспоминания о Модильяни. Я ей говорю, что это мемуары о двадцатом веке. Она в ответ: «Да, уже можно говорить о веке, а ведь был сфинкс». Согласилась она и с тем, что Аполлинер — последний французский поэт, «с кем можно жить». И продолжает: «Я думаю, это оттого, что язык склеротизированный, невозможны инверсии. Все сказано, пересказано на все лады. А поэзия этого не любит». Эти недели Анна Андреевна читает по-английски «Портрет художника в молодости» Джойса: «Это еще совсем не «Улисс». Накануне (когда я еще был в Малеевке) мы узнали о приговоре над Бродским. По этому поводу Ахматова мне сказала: «Мы с вами из-за нашей уникальности не всегда понимаем, что к чему, это наш недостаток». Разговорившись о Модильяни, Ахматова сказала, что если он и пил, то, вероятно, потому, что при такой зверской работе у человека должны быть возбудители, но что они разрушают. Ее заинтересовал в принципе спор о том, мог ли Модильяни читать Лотреамона. Эренбург думал — нет, Лотреамона, мол, открыли в 20-х годах. Но Харджиев это опроверг: «Разница между ученым и журналистом».

23 марта зашел к Анне Андреевне. У нее японский подарок — кимоно. Она его мне показывала. Ахматова в кимоно отражается в трюмо.

30 марта был юбилей «Четок». Я зашел к Анне Андреевне, перечитав предварительно сборник и обнаружив, как много я уже двадцать лет назад из него впитал в себя: он весь полон намеков на будущее, и когда-то я бóльшую его часть знал наизусть. После недавно читанной Саган удивляло совпадение с ней таких стихов, как «Он снова тронул мои колени...». Что-то из этого я сказал Анне Андреевне, прося ее (я в других случаях не делал этого) подписать на память два издания «Четок». На берлинском издании С. Ефрона Анна Андреевна написала: «Им сегодня пятьдесят лет. А. 30 марта 1964. Москва». На девятом петербургском издании 1923 г.: «В. Ива-

нову дружески». Вспоминая дату выхода первого издания, Ахматова заметила: «Не помню, что было в этот день в Царском. Наверное, как всегда».

Ахматова рассказывала снова те истории о Клюеве, которые я уже слушал от нее мельком и даже частично пробовал записать. Клюев ей кажется выше Есенина. Она думает, что это Клюев подсказал Блоку невесту-Русь. Ей нравятся клюевские стихи к ней. «Мне был уготовлен град»,— замечает она с усмешкой. «Я не клюнула. Ходил к Гумилеву». «Человек был темный». Вспоминает опять слова из его прошения о помиловании. О его смерти — упал в бане — рассказывал священник, которого от самоубийства спасла в лагере записка со стихами Ахматовой «И упало каменное слово...».

Анна Андреевна вспомнила по современному поводу, «как Мандельштам звонил на последние деньги из Воронежа в Москву. Он надеялся».

3 апреля Ахматова мне рассказывала, как Мандельштам не любил Блока за парфюмерную красивость. Она находит, что в блоковских стихах о России нет смирения. А смирение есть только в православии. Даже странно — сейчас все стали это забывать.

19 апреля Ахматова о своей жизни сказала: «Глава могла бы называться «Беспокойная старость». По поводу испуга одного из писателей, отказывающегося участвовать в хлопотах, вспомнила, как говорили о другом литераторе в 37-м году: «Превратился в пуделя и спрятался под диван».

3 мая Анна Андреевна вспоминала о вечере у Сологуба в честь Вячеслава Иванова[13], когда он вернулся в Петроград. К Ахматовой подошел Мандельштам, сказавший ей: «Один мэтр — величественно, два — это уже смешно». Ахматова хотела прочитать кусок из пьесы, не могла найти потерявшуюся в хаосе рукопись и волновалась. Ругала Андрея Синявского, чью статью прочитала в итальянском переводе[14]. Заговорили о Владимире Корнилове: «Мне нравятся его опыты современной прямой речи; нужно, чтобы кто-нибудь этим занимался».

9 мая Анна Андреевна обсуждала книгу Рива о русской поэзии[15]. Вспоминала со смехом о встрече с Фростом. Его они назвали «дедуленькой, переходящим в бабуленьку». О том, как актеры читают Верлена — «Срамотища!» — смачно сказала. Ругает сочинение Поджоли о нашей литературе[16].

10 мая зашел к Анне Андреевне, она нездорова, лежит, ей помогают в делах две девицы. Начинает, несмотря на нездоровье, приподнявшись и с жаром, поносить Вячеслава Ивановича Иванова: «Мистификатор! Крупный шарлатан, как в восемнадцатом веке — как те, что говорили, будто жили во времена Христа, как Калиостро». «Он делал так — уводил к себе, просил читать, вытирал слезы, хвалил, оттуда выводил

ко всем — и там ругал. Был предатель». «Рекламизм». «Философию его я не читаю — по серости». «К нам был беспощаден — да и чего нам было ждать от них?»

Очень хорошо Анна Андреевна говорила о Петербурге, который помнит почти со времен Достоевского — «с девяностых годов, десять лет не составляют разницы. Тогда было много вывесок — на Троицкой (теперь Рубинштейна) — каретников. Все дома в вывесках. Потом устроили комсомольский субботник, архитектура города обнаружилась: хорошая архитектура, наличники, кариатиды; но что-то ушло, стало мертвей. Достоевский его видел еще в вывесках».

Потом Ахматова заговорила о том, что снесли дом, описанный в «Преступлении и наказании»: «Его мне показал Томашевский. Человек был там на лестнице и все придумал, как может быть на такой лестнице. Лестница глухая, поэтому красильщики не слышали. Когда я поехала туда второй раз, дом уже снесли».

От Петербурга, по поводу улиц и их названий, перешла к Парижу, где «все названия — Марата и королей — рядом».

Я читал книгу статей искусствоведа М. В. Алпатова, стал ей пересказывать. Ахматова возразила, что ей не нравится, как он недавно писал об Александре Иванове: «встал, пил чай» и т.п.

Я упомянул статью Алпатова о Микеланджело и его поэзии (до того Анна Андреевна коснулась этюда Н. И. Харджиева о «Ночи» Микеланджело, как бы продолжавшего ахматовский этюд). Ахматова, читавшая поэзию Микеланджело по-итальянски, заметила: «Я очень люблю то, что он писал. Густые стихи, как Рильке». Я подхватил это сравнение, заговорив о переводах Рильке из Микеланджело: «Значит, я хорошо сказала. Со мной так бывает».

15 мая Анна Андреевна вспоминала о своем разговоре с Горьким в начале двадцатых годов. Она нуждалась, работала на огороде у Рыковых, ее уговорили пойти к нему попросить работы. Она пошла как была, босая, в сарафане. Разговор был будничный: «Вы босая, а говорят, туберкулезная». С работой не вышло: предлагал переводить прокламации с русского на итальянский.

В другой раз в те же годы Анна Андреевна возмущенно мне говорила, что сейчас принято ругать Горького. А скольким он тогда помог — в двадцатые годы. «Многие бы без него умерли с голода».

Заговорили о Зощенко. Анна Андреевна вспоминала, как он предлагал Стеничу, переводившему «Улисса», находить для него словечки (к тому времени Ахматова переехала из Лаврушинского в Сокольники, к вдове Стенича Любови Давыдовне Большинцовой). По словам Анны Андреевны, он поздно прочел Фрейда. Его суждения казались ей наивными:

«Давал советы читателям, как жить». За две недели до смерти не слышал ничего, что ему говорили, смотрел поверх.

На следующий день после юбилейного вечера Ахматовой 30 мая 1964 г. в музее Маяковского, на котором Анна Андреевна не могла быть (мы слышали только запись того, как она читает стихи; меня вдруг почти испугала эта замена ее механическим прибором), она позвонила мне по телефону. Особенно ее занимало, как я отнесся к докладу, прочитанному В. М. Жирмунским в начале вечера. «Ему кажется, что вам все это не понравилось». Я ответил разуверениями. «Тогда позвоните ему и скажите, что́ вы о докладе думаете, он расстраивается». Замечательно, что и по поводу первого за много лет вечера, где о ней столько говорили, ей хотелось услышать добрые слова не для самой себя, а для оставшихся ей близкими людей из ее окружения: эта степень внимания к другим была чертой, резко выделявшей ее из всего литературного круга.

Ахматова сказала мне по телефону, что устала и полежит в Сокольниках; что кончила перевод Тагора (жаловалась на чуждость ей Востока, на то, что там в литературе нет юмора) и получит деньги. Рассказала (по поводу выступления Тарковского о ней на вечере), что перед этим с ним поругалась. «Он в плохом состоянии, мрачный, пришла известность, но не так, как он ждал». Он ругал ее за прозу и за «Модильяни» целый вечер; она отлучила его от дома и полгода не звонила ему.

23 июня я был у Анны Андреевны, она заговорила о древнеегипетской поэзии: «Великолепно! А когда подумаешь, что потом были Платон, Александр, становится скучно...»

В конце июля и начале августа я оказался в Ленинграде и поехал к Анне Андреевне в Комарово. Она повторяла (с видимым удовольствием) фразу, недавно ею сказанную, очевидно, по собственному поводу: «Поэт — человек, у которого никто ничего не может отнять и потому никто ничего не может дать». Она заговорила о Леопарди, чьи стихи и проза ее поражали, в том числе и ранним его развитием, как у Рембо. «Его даты почти одновременны с Пушкиным — почему поэты родятся почти одновременно?»

Я прочитал первые появившиеся в американских научных журналах статьи об изучении разума дельфинов и был под впечатлением прочитанного. Когда я стал рассказывать о дельфинах Ахматовой, она меня перебила: «Еще бы! Я с ними проплавала и просмеялась все детство». Она с ранних лет хорошо плавала, и дельфины ее сопровождали, играя и улыбаясь ей. Она тут же вспомнила по-английски строки из «Антония и Клеопатры» Шекспира, где сказано, что дельфин живет

сразу в двух стихиях: наполовину в воде, наполовину в воздухе, куда он поднимается из воды. В этом была вся Ахматова: она уже наперед знала то, что науке еще предстояло открыть, потому что с детства умела наблюдать природу, а потом внимательно изучила лучшее, что есть в европейской литературе.

Хлопоты об Иосифе Бродском продолжались. Фрида Вигдорова[17] попросила меня заехать к Анне Андреевне по поводу очередного обращения к Федину. Я позвонил ей, и, хотя была еще первая половина дня, она попросила меня приехать сразу же — это было какое-то из новых ее московских кочевий, не у Ардовых. У нее было несколько человек сразу, она чем-то срочным была занята и, пока дочитывала или доправляла что-то свое, дала мне — до того уже мне встречавшуюся — «Четвертую прозу» Мандельштама в машинописи. Когда я что-то стал говорить о достоинствах этого текста и мандельштамовской прозы вообще, она заметила: «С Осипом все в порядке. Его и читает молодежь». Для нее это было важнейшим критерием: что читает литературная молодежь.

Я оказался в Ленинграде и узнал, что Ахматова с подозрением на инфаркт попала в больницу. Я поспешил к ней. В палате — как и в другие разы, когда я оказывался у нее в больнице,— при всех внешних неудобствах (я никогда ее не видел в больнице, как, впрочем, и вообще в жизни в сколько-нибудь сносных, не говоря уже о привилегированных, условиях) она была в своем духовном мире, вся в мыслях о прочитанных книгах. Тогда это была «Дхаммапада», незадолго до того вышедшая в отличном русском переводе В. Н. Топорова. Она жаловалась, что книга ей, как и многие другие в литературе Востока, совершенно чужда. Что-то серое. Ее раздражало полное отсутствие юмора.

Она рассказала мне о беседе с математиком О. А. Ладыженской[18], приходившей навещать ее в больнице. Она советовалась с Ахматовой, каким из искусств ей заняться — ее увлекали и стихи, и живопись. Ахматова с обычным для нее вниманием к каждому человеку, увлекающемуся искусством, подробно со мной обсуждала план, который она наметила по просьбе Ладыженской: занятия именно одним из видов искусств, не всем сразу. К этому она отнеслась с большой серьезностью.

В разговорах Ахматовой были некоторые излюбленные темы, иногда и повторявшиеся формулы и остроты или целые рассказы. Она сама знала за собой склонность к их повторению и сама над собой подшучивала: «Есть у меня такая пластинка».

Более чем снисходительность, заранее сверхположительное отношение к чужим стихам было у Анны Андреевны установочным, если это были стихи ее современника, особенно не преуспевающего. Не раз, упрекая в разговоре со мной, иной раз и неосновательно (если это касалось ее стихов) Бориса Леонидовича Пастернака в невнимании к поэтам — его современникам, Ахматова противопоставляла ему Пушкина. Она напоминала, как он старался найти хорошие если не стихи, то хотя бы строки у поэтов своего круга. Говоря о современной нам поэзии, Анна Андреевна — с небольшими вариантами — нередко повторяла один и тот же набор имен тех, кого считала самыми одаренными: Петровы́х, Тарковский, Самойлов, Корнилов — о нем от Ахматовой я не раз слышал как о поэте, который сумел ввести в поэзию теперешнюю разговорную речь, язык прозы.

У каждого из окружавших ее молодых поэтов ей хотелось отметить что-то в его пользу: у одного богатство словаря и напор, у другого — тему, раньше не затронутую. О прочитанных ей стихах после по телефону: «Я не могу ни забыть их, ни вспомнить, о них думаю».

Особенно среди самых молодых, за которыми следила пристально, Ахматова в последние годы выделяла и отличала Бродского. Она ставила его в пример еще и в таком отношении: как много у него стоит за стихами: английские поэты-метафизики, старинная камерная музыка. После лета в Комарове, когда Бродский и его друзья приезжали к ней чуть не каждый день, Ахматова, приехав в Москву, рассказывала мне, что как-то Бродский пропал, несколько дней его не было. Когда наконец он появился и она спросила, что с ним случилось, он ответил, что ему не с чем было приехать. И она хорошо это поняла: он каждый раз приезжал или с новым стихотворением, или с новой пластинкой старого композитора, с которым хотел познакомить и Ахматову.

Придя к Анне Андреевне, я увидел стихи Бродского, судя по дате, всего за несколько дней до того написанные в тюрьме («В одиночке при ходьбе плечо...»). Скорость распространения замечательных стихов, даже и написанных в таких условиях, меня поразила.

Ахматова говорила: «Мы живем под лозунгом: «Долой Гутенберга». Она часто повторяла, что стихи читают именно потому, что их не печатают.

К числу поэтов, которых Ахматова никак не хотела признать, принадлежал Есенин. Я давно пережил юношеское увлечение им, но все же в ответ на повторные отрицательные суждения Анны Андреевны возражал, что у него есть и удачи. «Да, вот мне так обычно говорят; я начинаю читать и опять наталкиваюсь на очень плохие стихи».

Как-то Анна Андреевна заговорила о ссылке Лермонтова после «На смерть поэта». «Подумайте! Сослать — и только за то, что написал гениальные стихи...»

Я запомнил очень решительное и категорическое одобрение стейнбековской повести «О мышах и людях». Восхищенно говорила Анна Андреевна о силе этой вещи; повторяла и пересказывала поразившие ее сцены.

За исключением Блока, к отношениям с которым Ахматова постоянно возвращалась без какой-либо враждебности, у нее сохранились устойчивые антипатии (иногда даже личные) ко многим символистам. Это касалось и Вячеслава Иванова, когда-то так рано заметившего ее поэтический дар. Ей он представлялся в черном свете и как человек; впрочем, говоря об этом, она понижала голос, поэтому не кажется нужным повторять те биографические сведения, которыми она подкрепляла свою мысль. Когда мы заговорили об Андрее Белом, Ахматова внезапно сделала исключение для его последней книги «Мастерство Гоголя». «Книга гениальная!» — сказала она убежденно и безоговорочно.

Но другой раз (9 апреля 1964 г.) Анна Андреевна говорила мне: «Роман «Петербург» для нас, петербуржцев, так не похож на Петербург. Человек был лукавый и непрямой; как о нем писал Бердяев: он исчезал, и нужно было ждать потоков ругани. Символисты все были странные, кроме Блока. Книга о Гоголе — чушь и прозрения. Со мной он не разговаривал — для него все делились на посвященных и непосвященных, штейнерианцев и нештейнерианцев; я не могла бы даже притвориться тогда. А Николай Степанович много читал по этой линии, они разговаривали».

26 января 1964 г. Анна Андреевна вспоминала, каким был Бальмонт: «Маленький, с рыжими волосами, очень длинными и растрепанными». Как-то на литературном приеме «заложил ножку за ножку и, когда танцевали, сказал: «Зачем мне, такому нежному, на это смотреть?» Он сидел рядом с Анной Андреевной и импровизировал стихи — такие же, как те, что он печатал. Ахматова продолжала: «На нервной почве он сказал в 1905 году, что Николай II — дурак; его отправили в Париж. Без него был его юбилей».

Верность Ахматовой акмеистским вкусам, казалось, со временем увеличилась. Она о своей поздней поэзии говорила: у меня акмеистское слово; это последнее существительное в ее устах звучало особенно внушительно и полновесно.

О связи безумия с творчеством Анна Андреевна не раз говорила по поводу черновиков пушкинского «Вновь я посетил...» (это видно и из ее напечатанных записей, но в них это сказано осторожнее и сдержанней). По словам Анны Андреевны, в черновиках видно безумие автора, подозревающего всех, ожидающего увидеть доносчика в лучшем друге (я склонен здесь усмотреть автобиографизм исследовательницы: ей и самой случалось быть в таких состояниях, она их в себе опасалась). Но дальше, сопоставляя строки черновиков с окончательной редакцией, мы видим, как Пушкин устранял эту свою болезненную ноту — ее вовсе и не осталось в тексте, который печатается, догадаться о ней можно только по черновикам. «Это зашифровано, но ведь это было тяжелое безумие»,— повторяла она.

Говоря о причинах самоубийства Маяковского, Анна Ахматова исключала чисто личные мотивировки: «Не может быть, чтобы из-за женщины, когда их одновременно было столько!» Ей казались особенно важными для уяснения всех обстоятельств воспоминания Полонской. Между прочим, это послужило причиной взаимного непонимания в ее разговоре с Романом Якобсоном, когда тот приезжал в Москву в 1964 г.

Анна Андреевна мне говорила с возмущением о том, что женщины норовят теперь удостоверить свою связь с покойным. «Во времена Пушкина сжигали любовные письма. А сейчас...» Это старинное нежелание себя скомпрометировать наложило печать и на собственные мемуарные записи Анны Андреевны, и на ее отношение к чужим воспоминаниям, где упоминались и она и Гумилев.

Последую за ней и не буду повторять того, что доводилось слышать от нее о семейных делах больших людей, будь то Вяч. И. Иванов или Б. Л. Пастернак. Ахматова не любила сплетен, но могла давать женщинам безошибочные характеристики, иногда язвительные, но всегда точные. Впрочем, на женщин она склонна была возлагать вину и за то, что ей не нравилось в их мужьях и возлюбленных.

Ахматова не раз повторяла, что жены все и всегда ужасны (одно время делала исключение только для Надежды Яковлевны). Об одной подруге одаренного поэта говорила: «С виду божественное видение, а ведет себя как сатана».

Но иногда доставалось и мужчинам, особенно за нарушение правил приличия. О нашем общем знакомом, переставшем здороваться со своей бывшей возлюбленной: «Ну, это уже — выйти из графика!»

Ахматова в состоянии была пылко ненавидеть и женщину,

жившую полтораста лет назад. О Собаньской она говорила с таким презрением и ужасом, какие достались немногим из ее современниц. Ее поразило и сходство пушкинского письма Собаньской с текстом письма Онегина к Татьяне. Пушкину в период этого его увлечения она сочувствовала, соболезновала; к Собаньской она его ревновала.

В Анне Андреевне никогда не утихали не то чтобы чувства — страсти, одолевавшие ее. Гнев в ней вызвали публикации тех авторов мемуаров, которые писали о том, как она якобы ревновала Гумилева. Она позвонила мне в Переделкино и сказала, что нужно срочно посоветоваться. Через час она уже была у нас. Мама, встретив ее вместе со мной у крыльца, отозвала меня потом в сторону и тихо спросила: «Что, Анна Андреевна собирается у нас пожить? Ты ее пригласил?» Мама не знала, что к тому времени Анна Андреевна уже не расставалась с чемоданчиком, где она обычно держала все бывшие у нее с собой рукописи. Кроме реальных нескольких повторных обысков было и много случаев, когда по косвенным уликам она догадывалась или, во всяком случае, могла заподозрить, что без нее кто-то рылся в ее бумагах. Кончилось тем, что чемоданчик всегда был с ней.

Внеся его в дом и едва присев, Анна Андреевна сразу же приступила к делу. Только что она прочитала одну из тех книг, где, по ее мнению, история ее личных отношений с Гумилевым была извращена. Она переживала это как новое оскорбление, сопоставимое с тем, которое когда-то ей нанес в своем докладе Жданов. Грязь его инсинуаций она никогда не забывала. Ее расстраивало и возмущало то, что в школах отмечалась годовщина постановления о журналах «Звезда» и «Ленинград».

По мнению Ахматовой, появлявшиеся за границей в шестидесятые годы мемуарные книги так же искажали ее человеческий и поэтический образ, как это когда-то сделал Жданов и то постановление сталинского времени. Она вся клокотала от негодования, не могла успокоиться.

Ахматову занимал тот сор, из которого растут стихи («Когда б вы знали...»). Она говорила, что поэзия вырастает из таких обыденных речений, как «Не хотите ли чаю?». И из них нужно сделать стихи. В этом для нее было и чудо поэзии, и невыносимые трудности сочинения стихов.

Она мне признавалась, что у нее бывает страх, что стихов вообще больше не будет. От него даже она не была ограждена (я это слышал — о нем самом — позднее и от Бродского). Я вспоминал о том длинном безстиховье, которое она себе как бы предрекла с другими бедами вместе:

Отыми и ребенка, и друга,
И таинственный песенный дар...

Как-то разговорившись в гостях у нас, Ахматова рассказала, как впервые открыла в себе дар вещуньи-прорицательницы совсем юной девушкой, лет в шестнадцать. По ее словам, внезапному предвидению всегда предшествует состояние расслабленности, граничащей со сном или обмороком. Ахматова говорила: «Нужно быть вялой, никакой сосредоточенности, никакого сознательного усилия». Она чувствовала себя обмякшей, в каком-то полубессознательно-сером состоянии. И, полулежа на диване (на юге, летом, в имении, про которое: «А мы живем как при Екатерине...»), услышала, как ее пожилые родственницы судачат об их молодой удачливой соседке — какая та блестящая, сколько поклонников, красавица. И вдруг, сама не понимая как, Ахматова случайно бросила: «Если она не умрет шестнадцати лет от чахотки в Ницце». Так и случилось.

Другой раз в машине она назвала незнакомые ей имя и фамилию, которые были забыты собеседником. Но иной раз казалось, что и другие в разговоре с ней вовлекались в эту сферу. Мы заговорили об Анненском. Я что-то сказал о нем и потом: прошел как тень. «Вы что, меня цитируете?» Но я не знал этих стихов [19] — они были до того только раз напечатаны в старом номере «Звезды», который я пропустил. Ахматова прочитала эти стихи и рассказала свою версию его смерти, изложенную ею в статье, которая считалась потерянной.

В шестидесятые годы Анна Андреевна была занята восстановлением своей пьесы, написанной в Ташкенте во время войны и сожженной в 1944 году. Пьеса называлась «Энума элиш» — первыми словами вавилонской мифологической поэмы о начале мироздания; Шилейко перевел их «Когда вверху» (у Ахматовой «Там вверху»). Анна Андреевна так мне рассказывала о том, как она ее написала. Она была больна тифом. Тяжелый период болезни кончился, и еще оставалась от бреда горячечность (я это хорошо знаю — сам тогда же и там же, в Ташкенте, болел тифом). И в этом как бы бреду, уже предвещавшем выздоровление, Ахматова увидела стену и грязные пятна на ней, что-то вроде плесени. За этими пятнами открылась главная сцена пьесы: судилище, на котором автора обвиняли во всех возможных и невозможных прегрешениях. Уже после того, как пьеса, увиденная в бреду, была ею записана, Ахматова сама почувствовала, что она в ней сама себе (в который раз! — дурные предсказанья всегда сбывались, как со стихами «Дай мне долгие годы недуга...») напророчествовала беду. И в испуге сожгла пьесу. Позднее убедилась, что предвиденья послетифозного бреда из пьесы сбылись.

Как вспоминалось потом и самой Ахматовой, и тем немногим ее ташкентским друзьям и знакомым, которым она успела

прочесть пьесу, она была предвидением и литературным. До Ионеско и Беккета в ней была предвосхищена и суть, и сценическая форма театра абсурда. Абсурд сбывшихся бредовых видений начинал (хотя и очень медленно и постепенно) рассеиваться, и тогда за реальностью осуществившегося в жизни фантастического сюжета проступила художественная новизна пьесы. За древневосточным названием и мистериальной ее формой Ахматова увидела и то новое, что роднило ее с рождавшимся у нас на глазах и до нас доходившим новым европейским театром. Ей захотелось вернуть сгоревший почти за двадцать лет до того текст. Но и короткие свои стихи она почти никогда не помнила, а такой длинный текст тем более. А Надежда Яковлевна Мандельштам, Раневская и другие ташкентские слушательницы пьесы могли только удостоверить, что производимые Ахматовой опыты восстановления отдельных частей пьесы не имеют почти ничего общего с тем, что было написано в Ташкенте.

Не умея — или не желая при тогда существовавших издательских и редакторских нравах? — заниматься подготовкой стихов к печати, их выбором, правкой корректур, расстановкой знаков препинания, Ахматова поручала это другим. Впрочем, ей не всегда казалось, что это делают хорошо. Во время одного из разговоров по этому поводу по телефону она пожаловалась мне, что собеседник, занятый этой работой, в ее стихах плохо разбирается. Но здесь я касаюсь темы ее отношений с окружающими, для меня столь загадочных, что писать об этом подробно не буду. О некоторых из людей, как будто к ней приближенных, она могла говорить и весьма осудительно, а иной раз с подозрительностью. Считала она их всех крестом, который надо нести? В ее отношении к людям многое объяснялось нравственным императивом. Быть может, в самые тяжелые годы возникла и боязнь одиночества? Теперь она почти не бывала одна, вокруг было множество знакомых, друзей, поклонников и поклонниц, иностранных почитателей и исследователей ее поэзии (у отечественных руки тогда еще не дошли, если не считать всем известных единичных исключений). Этот водоворот людей вокруг Ахматовой Пастернак назвал «ахматовкой».

Ахматова и сама могла иногда посмеиваться над своей способностью (может быть, уже привычкой или желанием?) постоянно быть посреди «ахматовки». Все время кто-то приходил и уходил, один помогал править верстку, другой вычитывал текст с машинки, еще одна поклонница помогала найти затерявшуюся рукопись в чемоданчике. И среди этого ералаша Ахматова непостижимым образом писала стихи и прозу, читала книги и журналы, готовилась к писанию литературоведческой статьи.

Я многое опускаю — то, о чем не пришло по разным причинам время говорить или что не считаю сейчас важным. Из существенного для понимания жизни поэта я мало говорю о бытовых трудностях Ахматовой, обо всех чужих углах и домах, по которым она кочевала в Москве, о годами длившихся и остававшихся безуспешными хлопотах по получению квартиры (в Ленинграде или в Москве), о том, как трудно было с заработком и как устраивались томившие ее, но необходимые для обеспечения семьи переводы. Она была настолько вне быта и над ним, что застревать на всем этом значило бы изменить ее духу.

Ахматова успела увидеть первый том своего американского собрания сочинений и позабавиться, но и возмутиться чудовищностью допущенных в нем ошибок: ей приписали одно стихотворение Прокофьева, в моем экземпляре перечеркнутое ее рукой.

18 января 1966 г. я видел Анну Андреевну и записал в дневнике, что она обрадовала своим видом (казалось, что стала поправляться после болезни) и словами о чуде, ею ощущаемом. Перед тем я подарил ей книгу Выготского «Психология искусства», которую с большими трудностями удалось издать спустя 40 лет после того, как она была написана. Ахматова сказала, что читала ее «немного, но с восторгом» и нашла ее современной (я рассказывал ей об истории рукописи, пролежавшей до того столько лет). Мы говорили о вышедшем за несколько месяцев до того (в августовской книжке «Нового мира» за 1965 г.) «Театральном романе» Булгакова, об Андрее Платонове, о том, как Бродского провожали в ссылку. Анна Андреевна спросила (не меня, себя или третьего, не присутствующего): «Что за страна? Откуда ее величие?» И напомнила, что для Блока Россия — «сначала невеста, а потом свинья, которая съест, как поросенка» (привожу ахматовский пересказ известных слов Блока по сделанной тогда записи).

Последний раз я видел Ахматову в больнице в Москве зимой 1966 г. Мне надо было на месяц уехать в Ленинград читать доклады и лекции, я пришел прощаться, не зная, что навсегда. Только что кончился суд над Синявским и Даниэлем [20]. Мы говорили об их горькой судьбе, о писателях, озабоченных (как и я в то время) их защитой.

В тот именно разговор Ахматова пересказала мне свой рассказ о Блоке, которого она увидела нечаянно на платформе, когда ехала поездом «Москва — Петербург». У нее были в руках листки с записями о Блоке, но она не столько читала мне, сколько рассказывала. Ее забавлял и продолжал шоки-

ровать заданный тогда Блоком вопрос, с кем она едет в поезде. Больше всего ее развлекало восприятие этого ее рассказа о Блоке приезжавшим в Москву известным американским литературоведом. «Вы знаете, что он сделал, когда услышал об этой нечаянной встрече с Блоком на платформе?» После выразительной паузы: «Он свистнул!» Развязность этого дикого ковбоя ее приводила в восторг. Степень ее благовоспитанности была очень большой.

Как-то, придя домой, я нашел у себя на письменном столе пачку перепечатанных на машинке стихов Ахматовой с ее карандашной правкой, среди них «Не стращай меня грозной судьбой...», судя по стоящей на нем дате (15 октября 1959 г.), незадолго до того написанного. Ахматова, уезжая из Москвы в Ленинград, оставила мне эти копии новых стихов на прощанье. Там были стихи, прочитанные у меня в день рождения в присутствии Пастернака, и другие. В машинописной копии ниже заголовка «Третий Зачатьевский» Ахматова зачеркнула подзаголовок «В старой Москве» и вписала карандашом «1918...», а под стихотворением поставила дату его написания — 1940.

Тот дар был нечаянным. Так было и с ее последней книгой. Опять по ее пророчеству «среди морозной, праздничной Москвы» я получил предназначавшийся мне экземпляр (из числа нескольких нумерованных) ее «прощальных песен» — уже после ее смерти. Этот последний подарок и переданные мне на похоронах в Комарове слова обо мне как бы должны были напомнить, что длится чудо, с ней связывавшееся: поэзии, предвидения, заботы и памяти о всех, кто вокруг нее.

Сильва Гитович

В КОМАРОВЕ

Еще война не кончилась, когда я вернулась из эвакуации в Ленинград. Секретарь Союза писателей, Борис Михайлович Лихарев, устроил меня на работу в Бюро пропаганды Союза писателей.

Не помню, по каким служебным делам я должна была пойти к Ахматовой.

Она уже тогда переехала от Рыбаковых с набережной Кутузова в знаменитый Фонтанный Дом, где помещался Арктический институт. К ней домой, как и в институт, можно было проходить только по пропускам.

Я выписала пропуск, миновала проходную и очутилась во дворе. Наискосок вела мощеная дорожка, а слева темнели опавшие деревья Фонтанного сада. Я дошла до парадного, поднялась на 3-й этаж и позвонила.

Мне открыла сама Анна Андреевна — высокая, в темном платье, закутанная в шаль. Она меня быстро провела к себе через холодную переднюю, заставленную ломаными шкафами, насквозь пропитанными стужей. Дверь ее комнаты была плотно заложена одеялами, чтобы не дуло из щелей.

Я много раз бывала в Фонтанном Доме.

Вот мы целой компанией: Саня, Толя Чивилихин, Шефнер и я — идем через кордоны дежурных Арктического института в гости к Анне Андреевне. Молодые и веселые, мы приносили с улицы запах мороза и оживление. Она нездорова, лежит, закутанная в черный шелковый платок с длинными кистями. У нее над изголовьем висят две темные иконы. Одна — Успенье Богородицы, другая, маленькая,— Всех Скорбящих Радости — подарок Гумилева.

Анна Андреевна, не вставая, просит передать ей сумку, достает деньги и посылает Толю Чивилихина за водкой. Когда он возвращается, Анна Андреевна встает, через холодный коридор мы с ней идем на кухню, где стоят немытые кастрюли. Я приношу тарелки, а она хлеб и нарезанную луковицу.

За столом она рассказывает о Гумилеве, о том, как Гумилев был против того, чтобы она писала стихи. Он считал, что стихи — это дело не женское, и говорил: «Если хочешь заниматься искусством, почему бы тебе не заняться пластикой?»

Рассказывала о своем знакомстве и дружбе с Мандельштамом. О. Э. как поэта она чрезвычайно ценила.

«Как это поразительно,— говорила она,— что Мандельштам идет ниоткуда. У него нет учителей. И, знаете, он никогда не был начинающим поэтом, он сразу пришел в литературу зрелым мастером».

В одну из наших встреч она мне подарила свою раннюю фотографию (где она еще с челкой), сделав на ней надпись: «Сильве на счастье — Ахматова 7 мая 1946».

И вот грянула страшная осень 1946 года. Знаменитое собрание в Смольном, выступление Жданова[1], а затем роковое постановление о журналах «Звезда» и «Ленинград».

На другой день после этого собрания А. А., спокойная, статная, плавно поднималась по деревянной литфондовской лестнице. Встречные почтительно и робко жались к стене, давая ей дорогу. Смущенные служащие затаив дыхание сидели потупившись. Аня Капорина, с полными слез глазами, разговаривала с ней. Окончив свои дела, А. А., как всегда, приветливо распрощалась и не спеша направилась к выходу. Лишь только за ней закрылась дверь, как горестный вздох удивления, восхищения и жалости пронесся ей вслед:

«Боже, какое самообладание! Подумайте, какая выдержка!» — поражались работники Литфонда.

Слух о ее приходе, полном спокойствии и царственном самообладании побежал из комнаты в комнату, быстро перекинулся в здание Союза, перекочевывая из отдела в отдел.

О ней говорили с болью, восхищением и грустью. Говорили, что только она одна могла так по-королевски спокойно, с достоинством разговаривать и держаться после всего того, что случилось.

Когда Анне Андреевне рассказали, что ее приход в Литфонд, спокойствие и приветливость с окружающими удивили, всколыхнули и восхитили все учреждение, она сказала:

«Да Боже мой! Мне ровным счетом ничего не было известно. Утренних газет я не видела, радио не включала, а звонить мне по телефону, по-видимому, никто не решился. Вот я и говорила с ними, будучи в полном неведении о том, что обрушилось на мою седую голову».

А постановление росло, ширилось и двигалось семимильными шагами по стране. Все газеты того времени пестрят именами Зощенко и Ахматовой. Постановление изучают, прорабатывают. В народе только об этом и говорят, ничего толком не понимая, за что же их, бедных, так ругают.

Одна сердобольная старушка в очереди говорила, что всем известно, какой Зощенко подлец и мерзавец, а вот за что так ругают его жену Ахматову — это совсем непонятно. «Известно за что,— отвечала другая,— мужья подлецы, а жены бедные за них всегда в ответе».

А газеты не унимались. Вот их исключают из Союза, лишают карточек. Хлеб надо покупать на рынке втридорога. Денег нет. Если бы не друзья, жить было бы совсем невозможно.

Время шло, и вдруг в верхах заинтересовались тем, как живут Зощенко и Ахматова. Их вызвали в Смольный, после чего им были выданы хлебные карточки.

Молоденькая секретарша, отмечая пропуск А. А. на выход из Смольного, вскинула на нее глаза и быстрым шепотом сказала: «А я ваши стихи все равно люблю...»

Мы с Саней уезжали в Карелию, а вернувшись, я узнала, что А. А. переехала на новую квартиру. Арктический институт расширился и выселил всех жильцов из Фонтанного Дома. Итак, с Фонтанным Домом было покончено. А. А. переехала на ул. Красной Конницы, 4, где когда-то, в незапамятные времена, по ее словам, помещался постоялый двор, а весь второй этаж занимал ямщицкий трактир. Тогда двор дома был застроен конюшнями, где отдыхали извозчичьи тройки, пока их хозяева грелись с морозца. Сейчас ничто не напоминало о былых временах. Квартира как квартира, из пяти комнат. В двух комнатах жили Пунины, проходная — столовая — была общей. Из нее вела дверь в комнату А. А., вдвое меньшую, чем ее комната в Фонтанном Доме, а в угловой жила чужая старушка, которая, как тень, в мягких шлепанцах мелькала в коридоре. Здесь как-то заметнее стало, что вся мебель в квартире ломаная. Диван вместо ножки подпирался гигантской катушкой, такой, на которую наматывают пряжу на ниточной фабрике. В комоде рассохшиеся ящики плотно не задвигались, а кровать давно потемнела и облупилась. Но, как всегда, в углу висели иконки и над изголовьем знаменитый рисунок Модильяни. У окна стоял низкий резной ларь, «сундук Флорентийской невесты», как его называла А. А., где лежали папки и рукописи.

На Коннице мы тоже были частыми гостями Анны Андреевны.

В одну из наших встреч Анна Андреевна рассказала, что ей звонили из московского Госиздата и предложили сделать книгу переводов корейской классической поэзии. Составление, вступительную статью, примечания и подстрочники поручались талантливому кореисту, профессору Александру Алексеевичу Холодовичу.

Александр Алексеевич был в восторге от того, что ему посчастливилось работать вместе с Ахматовой. Он любил Анну Андреевну, гордился ее отношением к себе и ревниво относился к этой дружбе.

В один из вечеров я пришла к Анне Андреевне. Мы сидели с ней вдвоем, верхний свет был погашен, горела только настольная лампа с желтоватым абажуром из вощеной бумаги, сквозь

которую просвечивали нарисованные красненькие ягоды и бледно-зеленые листочки. Анна Андреевна рассказывала о своем приезде из Ташкента, о том, как удивительно, что крохотная Анька ее не забыла, а, напротив, увидя, сразу взобралась к ней на колени, крепко обняла ручонками и прошептала в самое ухо: «Акума, ты мне снилась», чем, конечно, сразу покорила ее сердце. Все домашние, с легкой руки Н. Н. Пунина, называли Анну Андреевну Акумой[2], что означает по-японски «нечистая сила», и это прозвище так въелось, что даже крошечная Анька иначе ее и не называла.

Рассказывала, как по улицам Ташкента медленно двигались караваны верблюдов «из пустыни в пустыню», как из госпиталя напротив ее дома выползали на костылях раненые, лежали на траве голыми обрубками и широко и печально пели военные песни, играли в карты, забивали козла, громко хохотали и сквернословили.

Рассказывала, как болела тифом и лежала в больнице, как было тяжело, тоскливо и жарко, как в больничной палате над каждой койкой висели, чуть раскачиваясь, пыльные электрические лампочки, которые не горели, и как в один прекрасный день, топая ногами, вошел больничный завхоз, остановился в дверях и громко спросил: «Где здесь лежит Ахмедова?», после чего подошел к ее кровати и молча включил лампочку. Оказывается, в это время Сталин поинтересовался ею и спросил у Фадеева, как живет Ахматова, а тот позвонил в Ташкент, и в результате была проявлена забота и лампочка над кроватью включена.

Через несколько лет у Анны Андреевны начались квартирные волнения. Дом на Коннице шел на капитальный ремонт, и нужно было срочно куда-то перебираться.

В это время как раз заселялся новый писательский дом на Петроградской[3]. И после долгих разговоров, раздумий и сомнений она с Ириным семейством переехала туда. Ира очень добивалась, чтобы Союз дал им на одной площадке две двухкомнатные квартиры, но номер не вышел, и пришлось довольствоваться обычной квартирой из трех комнат, где в самой меньшей, в конце коридора, поселилась Анна Андреевна.

Итак, городское жилье, по сравнению с Конницей, снова уменьшилось. Нам удалось выхлопотать в аренду маленький домик в Комарове (2-я Дачная, 36), куда мы и перебрались.

В 1955 году Литфонд стал строить в Комарове свои дачи, одна из которых предназначалась Ахматовой.

Летом, когда литфондовские дома еще достраивались, Анна Андреевна жила на даче у нас. Мы старались изо всех сил, чтобы Анне Андреевне было покойно, удобно и хорошо. И ей действительно у нас нравилось. Сидя в саду, она говорила:

«У вас божественно. Цветы не хуже, чем у Федина, а ведь у него какие-то редчайшие заморские розы. Здесь у вас просто чудесно».

Наконец Литфонд полностью закончил комаровское строительство. Осталось только сколотить сараи да убрать строительный мусор, грудами лежавший перед крыльцом.

Не дождавшись полного окончания работ, Ира увезла Анну Андреевну от нас осваивать свою дачу. Не успела она уехать, как я получила душераздирающую записку. «Милая Сильва,— писала Анна Андреевна,— против окна моей комнаты строят дровяной сарай. Взываю к Вам! О! Помогите! Целую. Ваша Ахматова. Привет А. И.».

Я тут же побежала к ним на Кудринскую, дала плотникам на пол-литра, и они не задумываясь перенесли сарай к забору.

В житейских делах она была беспомощна.

Все знали, что Анна Андреевна боится техники, не умеет включить проигрыватель, не умеет поставить пластинку, не умеет зажечь газ.

«Зато,— говорила А.А.,— умею топить печи, штопать чулки, сматывать в клубки шерсть...»

И вот Анна Андреевна плотно поселилась у себя на даче. Постепенно стали засаживать участок неприхотливыми растениями. Притащили из лесу березку и рябинку и посадили у крыльца. Взяли у нас отростки даурской гречихи, которая легко разрастается повсюду. Посадили у веранды чахлые бледно-сиреневые лесные фиалочки, красивый стрельчатый мох и лиловый иван-чай.

В доме и на участке появилось засилие коряг и корней. Причудливые корни стояли на шаткой этажерке и висели прибитые к стенкам. А большие коряги жили разбросанные по участку.

Перед окнами веранды лежала главная большая коряга, «мой деревянный бог», как говорила Анна Андреевна.

Все годы, что А.А. прожила в Будке (так называла она свою дачу), коряга-бог лежала на этом самом месте. Перед ней неоднократно вечерами жгли костры. Тогда обычно выносили большое кресло с высокой спинкой, и А.А. подолгу сидела, глядя, как жарко горят сучья, вспыхивая на ветру.

Когда после заката поливали цветы, она садилась на грубо сколоченную узенькую скамеечку под окнами веранды, и прямо перед ней торчала все та же бесформенная, рогатая коряга.

Дом тоже постепенно обставлялся. Ира откуда-то привезла груду рухляди, расставила ее на даче, и таким образом появились в комнате А.А. кривоногие старинные стулья с порванной обивкой, очень низкий стол, сколоченный из чердачной двери, и матрац на восьми кирпичах.

Впоследствии А. А. говорила: «Я совершенно освоилась со

своими кирпичами, я к ним привыкла. Ну что ж, у Пушкина кровать стояла на березовых поленьях, а у меня на кирпичах».

Анна Андреевна работала за длинным, очень узким столом, каким-то странным гибридом высокой скамьи с узеньким комодом, на котором стояли чудесные голубые фарфоровые подсвечники с чуть отбитой подставочкой и старинная, расписанная незабудками фарфоровая чернильница с бронзовой крышечкой.

Дверь в маленькую комнату (она еще называлась серой комнатой) завесили темно-лиловыми половичками, сшитыми вместе, а у другой стены поставили грубо сколоченный топчан. На столике у кровати был приемник с проигрывателем, взятые напрокат, а у самых дверей примостился выкрашенный в черную краску высокий, очень узкий шкаф, как говорила А.А.— «гроб, поставленный на попа».

Но везде — в вазах, кувшинах и банках, стояло много цветов. И всем нравилась комната Анны Андреевны.

В последние годы на стене появился яркий плакат с нарисованным петухом и четкой надписью: «Гости, если даже А.А. не хочет, все равно идите с ней гулять!»

Обычно под вечер А.А. с гостями ходила гулять в сторону дороги до сдвоенной скамейки, стоящей против бледно-голубой двухэтажной дачи Плоткина [4]. Доходя до Озерной, А.А. указывала на эту дачу, говоря: «Этот фундамент замешен и на моих капельках крови».

Сидели, отдыхали, любовались закатом. Затем медленно шли обратно. Но все это было потом, а в первые годы комаровского житья она легко проходила такое расстояние, как от своей Кудринской до 2-й Дачной, а когда однажды нас на дороге застала гроза и полил крупный дождь, мы, мокрые до нитки, весело бежали мимо шумящих деревьев и, наконец добежав до дому, А. А. ловко выкручивала потемневший подол чесучового платья.

Анне Андреевне было скучновато у себя на даче, и она частенько, гуляя, заглядывала к нам, и мы пили чай, разговаривали и засиживались допоздна.

Недолго удалось пожить нам помещичьей жизнью в благословенном Комарове. Наша веселая, заново отремонтированная дачка, вся в цветах и зелени, очень понравилась какому-то влиятельному работнику торговой сети. С ним тягаться нам было, конечно, невмоготу, и естественно, что Ленгорисполком нам аренду не продлил и дачу передал торговому боссу.

Из-за комаровских астрономических цен снять что-либо частным образом здесь мы не смогли, и нам пришлось со всем своим зверинцем зимой жить в городе, а на лето перебазироваться в поселок Юкки.

В жаркий летний день я приехала из Юкков в Комарово по-

Анна Ахматова с собакой Гитовича. Комарово. 1959 г.

здравить Анну Андреевну с 70-летием. Гостей не было. Мы были вдвоем. Гуляли, пили чай, ели бутерброды с сыром. Вечером из Москвы пришла милая телеграмма от актрисы Раневской, порадовавшая и рассмешившая А.А.: «70 лет любуюсь Вами — Фаина».

Мне не хотелось в этот день расставаться с А.А., и я осталась ночевать. Спала в маленькой серой комнате, а утром пораньше отправилась к своим в Юкки.

Очень странно, что и в 60-летие у А.А. тоже не было гостей. С ней была лишь обожающая ее художница Тоня Любимова, без конца рисовавшая и А.А., и комнаты, где она жила, и комаровскую Будку.

...Но оказывается, все же бывают чудеса. Неожиданно позвонил Боря Лихарев и сообщил, что на последнем заседании Секретариата, без нашей просьбы, было постановлено одну из литфондовских дач выделить нам.

И вот, лишь только стаял снег, а заборы и деревянные стены потемнели от сырости, мы всей оравой водворились в литфондовский дом.

В один из теплых дней из Ленинграда прискакала Ира Пунина, зашла к нам, выражая всяческие восторги по поводу такого милого соседства. Озабоченно говорила, что совершенно не ясно, с кем в это лето будет жить на даче Акума, т.к. Анна Миновна устроилась в богадельню, а другой работницы не найти, а наступают теплые дни, и жаль ее томить в городе, и нельзя ли на недельку подкинуть ее мне, а там кого-нибудь найдут, привезут на дачу, и бразды правления с меня снимутся.

Я, конечно, согласилась, и на другой день прикатил союзный шофер Вася, привез Анну Андреевну и ее чемодан, и она водворилась на летнее житье в свою любимую комаровскую Будку.

Итак, я стала хозяйничать в двух дачах сразу. Я вертелась как белка в колесе, стараясь сделать все как можно лучше. Распорядки дня были разные — Саня вставал в 7 часов утра, Анна Андреевна — в 11. Меню различное, обеды по возможности диетические, а ночами я боялась оставлять ее одну, тем более что она лишь недавно оправилась от инфаркта. И вечером, окончив дела, я брала собак и говорила: «Ну, пошли спать к Анне Андреевне». И вежливые, деликатные псы тихонько отправлялись на ее дачу, а сзади, победоносно задрав хвост, плелась, считавшая себя собакой, пушистая, хорошенькая Муська. И все чинно, с достоинством укладывались в маленькой комнате. Собаки на полу, а Муська у меня в ногах.

Шел день за днем, а к Анне Андреевне никто не приезжал,

и я зря заговаривала со всеми кумушками в надежде найти домработницу для Анны Андреевны.

Прошла неделя, другая, третья, а я все еще была одна. Ни Ира, ни Аня не появлялись, и напрасно Анна Андреевна часами сидела у окна, глядя на дорогу.

Как назло, часто шли дожди, и почему-то без конца перегорали пробки и гасло электричество. Спички отсыревали и плохо загорались, и мы, впотьмах натыкаясь друг на друга, набросив на голову плащи, шлепали по лужам из одной дачи в другую.

Анна Андреевна заметно скучала.

По утрам, если не шел дождь, она, в сером клетчатом пыльнике, медленно двигалась по участку, гуляя и собирая грибы. Рядом с ней, неотступно, шаг за шагом, шел мальчик Алик — сын няни из соседнего детского садика. Чтобы Анна Андреевна не нагибалась, он срывал ей грибы и, захлебываясь от восторга, спешки и гордости, без конца ей что-то рассказывал. Когда она уходила в дом, выставить его с нашего участка не было никакой возможности. Мальчик Алик был пленен Анной Андреевной, очарован ею и не хотел никуда уходить. Он приносил разные веточки и втыкал в землю у ее окна. А у крыльца дачи из сосновых шишек выкладывал замысловатые узоры, говоря: «Это для писательницы, которая живет совсем одна и все выдумывает из головы».

Бывало, днем, подстелив половичок, Анна Андреевна подолгу сидела на ступеньках террасы, или, как она говорила, «на любимой ступенечке», вглядываясь, не идет ли кто по лесной тропинке.

Гремя пустыми ведрами, я пробегала мимо. Зачерпнув до краев и расплескав воду, ставила ведра на досточку у колодца, а сама, разрешая себе маленький отдых, подсаживалась к ней. Дух жадного любопытства не давал мне двинуться с места. Дела мои стояли, а я развесив уши сидела и слушала.

После двух месяцев одинокого житья мне на подмогу стали приезжать москвичи. Сперва приехала милая, хрупкая Ника Глен, потом смуглая черненькая Юля [5], затем красивая длинноногая Нина Антоновна. Ира с Аней появились только осенью, да и то на даче не жили, а лишь бывали наездами.

С утра я уходила за грибами, набирала полную корзину, долго чистила, а потом тушила особым манером, как любила Анна Андреевна, с луком, сметаной и перчиком. «Вы меня балуете,— кокетливо растягивая слова, говорила она,— грибы прелестны».

Еще не наступили настоящие холода, но в комнате Анны Андреевны ежедневно жарко топилась печка и весело потрескивали березовые поленья.

Все понемногу начинали разъезжаться. Дачи пустели.

Уезжать собралась и Анна Андреевна. И вот опять на уча-

стке черная союзная «Волга», и хромой шофер Вася тащит тяжелый чемодан и втискивает его в багажник.

Мы прощаемся, усаживаем ее в машину, и она расстается с комаровской Будкой до следующей весны.

Зимой Анна Андреевна оставалась редко в Ленинграде. Как правило, она уезжала в Москву и жила в разных местах: то у Ардовых, то у Петровых, то у Ники Глен, то еще где-нибудь.

В те редкие случаи, когда она не была в Москве, Ира устраивала ее в комаровский Дом творчества. Так как Анна Андреевна не могла жить одна, то всегда покупались две путевки. На этот раз с ней в комнате жила бывшая жена ее брата Виктора Андреевича, милая пожилая дама, Ханна Вульфовна Горенко [6].

Узнав, что Анна Андреевна приехала в Комарово, мы ранними сумерками, взяв с собой собак, отправились к ней в гости в Дом творчества.

Собаки радостно бросились к Анне Андреевне здороваться.

«Душенька, красавица, лебедь»,— говорила она, лаская Литджи.

Странно, что и Заболоцкий, как будто сговорившись с Анной Андреевной, сказал про Литджи: «Господи, какая красота, настоящая лебедь». Этим летом, когда у нашей веранды буйно зацвел жасмин, мы под цветущим жасмином сфотографировали А.А. с красоткой Литджи. Снимок назывался «две красавицы» и получился настолько удачным, что даже А.А. понравился, а это случалось не часто. Она очень ревниво относилась к своим изображениям и забракованные ею фотографии безжалостно рвала, а негативы требовала уничтожить.

В это лето Ханна с А.А. жила в Будке и вела все хозяйство. Ире все-таки удалось ее уговорить остаться, и проблема этого лета была решена.

На даче Х.В. развернула бурную деятельность. Она готовила вкусные, замысловатые блюда, какие-то необыкновенные салаты с тертым чесноком и кефиром, а в жаркие дни угощала абсолютно дикой, на наш взгляд, смесью пива с лимонадом, которая, как ни странно, оказалась вкусной и чудесно утоляла жажду.

Она работала не покладая рук, стараясь как можно лучше накормить многочисленных гостей, приезжающих на дачу, а вечерами выстукивала на машинке длинные письма родным и знакомым или перепечатывала стихи Анне Андреевне.

Вечерами появлялись молодые поэты, которых Анна Андреевна очень любила. Плечистый рыжеволосый Бродский, с веснушками на круглом лице, и хорошенький, мелкокостный, с глазами, как чернослив, предельно вежливый Толя Найман.

Частенько, в любое время дня, бесцеремонно приезжали проворные молодые люди, пишущие и не пишущие, знакомые

и незнакомые, почитать свои стихи Ахматовой или просто поглазеть на нее, чтобы потом где-нибудь при случае сказать: «Этот вечер я провел у Ахматовой. Было чудесно».

Саня из себя выходил, страшно возмущаясь тем, что она не гонит их в шею. Но последние годы Анна Андреевна уже была не так строга и менее неприступна.

Я помню, как на моих глазах утром явился какой-то болван с гитарой под мышкой. Нахально вперся на веранду, где Анна Андреевна пила чай, и сказал, что ему необходимо прочесть свои стихи только ей.

«Давно вы пишете?» — спросила она. «Уже два месяца»,— ответил гость. Выставить его оказалось совершенно невозможно, и пока он не прокричал две толстых общих тетради, он не двинулся с места.

Приезжала погостить в Комарово подруга юности Анны Андреевны Валерия Сергеевна Срезневская. Ее привез ее сын. В мое окно мне было хорошо видно, как из машины с трудом вылезла согнутая пополам старуха с завитыми буклями и, тяжело опираясь на палку, заковыляла по дорожке.

На крыльцо, высоко неся седую голову, вышла навстречу Анна Андреевна.

Валерия Сергеевна пробыла на даче два дня. Они сидели на открытой веранде, и она, смотрясь в ручное зеркало, бережно поправляла крашеные завитки каштановых волос. Слышен был воркующий смех. Потом Анна Андреевна, слегка монотонно, нараспев читала:

И сердце то уже не отзовется
На голос мой, ликуя и скорбя.
Все кончено. И песнь моя несется
В пустую ночь, где больше нет тебя.

«Аня, прекрасно,— восхищалась Валерия Сергеевна.— Прочти теперь из «Anno Domini»:

«Враг мой вечный, пора научиться
Вам кого-нибудь вправду любить...»

«Нет, Валя, я лучше тебе прочту другое...»

Вечерами на своих машинах заезжали Берковские или Ладыженская и надолго увозили Анну Андреевну кататься.

24 июня, в день рождения Анны Андреевны, я, как обычно, пораньше, пока она еще не проснулась, бегу в сад за сиренью. «Обязательно зайди к Прокопу,— кричит мне вдогонку Саня,— напомни, чтобы поздравил Акуму».

По дороге я делаю крюк и захожу на дачу к Прокофьеву, чтобы сказать ему, что сегодня день рождения Ахматовой и хорошо бы было, если бы и он ее поздравил.

«Да, да, да,— радостно говорит Прокоп,— вот спасибо, что сказала. Пойдешь мимо почты, отправь, пожалуйста, от меня

телеграмму». Затем он на бумажке пишет поздравление, вручает мне рублевку, и я бегу отправлять.

Послав телеграмму, я иду на дачу, где хозяйка торгует цветами. Бледно-лиловые гроздья сирени еще покрыты росой. Мне нарезают огромный букет, и я бегу домой.

Пока я выбирала гроздья попышнее и мне нарезали букет, проворная комаровская почтальонша на велосипеде уже доставила телеграмму по назначению.

По-видимому, почтальонша разбудила Анну Андреевну, потому что, когда я с охапкой сирени направилась к ней, она, уже умытая и причесанная, встретила меня на крылечке.

«Сильва, угадайте, кто первый меня сегодня поздравил,— лукаво спросила она,— вот прочтите»,— и протянула мне телеграмму, которую я только что сама переписала на телеграфный бланк.

«Вот видите, все же начальство шевельнулось»,— иронизировала Анна Андреевна, но втайне была чуть-чуть польщена.

Анна Андреевна любила Саню и чрезвычайно ценила его как поэта.

К его 50-летию она прислала ему две поздравительные телеграммы: одну коллективную от нее и всего семейства Пуниных, другая же была только от нее одной, где она писала:

«Милый Александр Ильич, я, как все, знающие Вас, жду продолжения Вашей вдохновенной передачи великой поэзии Китая, а стихи будут.

Анна Ахматова».

Даря Сане очередную книгу своих стихов, она сделала надпись: «Александру Гитовичу — чудесному поэту и милому другу. Ахматова, 9-го января 1959 г. Ленинград».

Саня и Анна Андреевна ценили и любили друг друга. Но тем не менее отношения у них были сложные и противоречивые. Они то ссорились, то мирились.

Саня, личность яркая, горячая, страстная, людям, которых любил, в которых верил, которыми гордился,— не прощал ничего. Больше всех доставалось мне и Анне Андреевне.

Анну Андреевну он любил за талант, которым светилось все ее существо, за умный скепсис, за то, что она была настоящим, неподкупным рыцарем поэзии.

Она любила его как поэта, как верного друга, на которого можно вполне положиться. Безгранично верила ему. Ей нравилось, что он ею восхищался, но его несдержанность, горячность, полное отсутствие светского лоска, когда, вспылив, ни на кого не обращая внимания, в запальчивости он мог наговорить бог знает что и пошатнуть при других ее пьедестал,— это ее пугало.

Лев Гумилев, Александр Гитович, Сильва Гитович, Анна Ахматова. Ул. Красной Конницы. Фото Е. Ряпасова. 1960 г.

Саня твердо верил в то, что атмосфера искусства должна держать ее на недосягаемой высоте над всем мелким и ничтожным. Малейшее отклонение он считал святотатством и не прощал.

Она это понимала и побаивалась.

Приехала на несколько дней редакторша московского Гослита, Ника Глен, приехала красивая с моложавым лицом Нина Антоновна. Она двигалась легко, носила серые брюки и седеющие волосы сзади, как девочка, завязывала яркой узкой ленточкой.

Из Дома творчества приходила тоненькая, чем-то напоминающая японку, Мария Сергеевна Петровых.

Все шли к нам и сидели допоздна.

Говорили о Мандельштаме, гадали, когда же, наконец, появятся его стихи, издание которых откладывается из года в год.

«Это ничего, что не выходит Мандельштам. Это сейчас уже совершенно не имеет значения,— говорила Анна Андреевна,— не сейчас, так через пять или десять лет, но Мандельштам не пропадет. То, что его теперь не издают, тем хуже для них. Стихи Мандельштама будут жить, будут существовать,

их будут доставать, читать и переписывать. А словесная магия его волшебных стихов сейчас все более и более владеет умами молодежи. Ведь правда?»

28 августа 1963 г. день нашей свадьбы. По-видимому, я об этом кому-нибудь сболтнула, потому что Анна Андреевна как-то узнала. Утром, проснувшись, она призвала меня к себе, сердечно поздравила и заявила: «Теперь сидите и ждите, сейчас я вам что-то напишу, и это будет мой подарок».

Она взяла вечное перо и наверху листа четко написала: «Милым Гитовичам в их день 28 августа 1963 г. Комарово», но на этом чернила в ручке кончились, и все стихотворение «Нас четверо» с тремя эпиграфами из Мандельштама, Пастернака и Цветаевой она писала отвратительным твердым карандашом, попавшимся ей под руку. Я лихорадочно искала пузырек с чернилами, но, пока нашла, пока набирала чернила в ручку, Анна Андреевна успела уже дописать стихотворение, и лишь ярко-синяя подпись весело выделялась на тусклой карандашной записи.

«Неужели уже 31 год, как вы женаты? — удивлялась она.— Вы вторая такая пара, которую я знаю. Саня любит вас так, как Мандельштам любил Надю. Он же без вас не может! Поздравьте от меня милого Гитовича, я попозже зайду и сделаю это сама, а пока передайте ему мой подарок».

Я поблагодарила Анну Андреевну и побежала показывать стихи Сане. У меня были «Четки» и «Белая стая», подаренные мне когда-то Фаиной. Андрюша их переплел, и на этой книжке, не нам двоим, а только мне, Анна Андреевна написала:

«Нашей чудесной Сильве, чьей ангельской добротой я любуюсь уже много лет. С любовью А. Ахматова. 12 сентября 1963 г. Комарово».

Ходили упорные слухи, что над Анной Андреевной маячит Нобелевская премия. Об этом говорили все. Казалось, что это абсолютно достоверно, и даже сама скептически настроенная Анна Андреевна чуть-чуть стала верить в такую возможность.

Без конца, косяком, шли иностранцы, и наши собаки с остервенением бросались на них и старательно облаивали. Анна Андреевна, не вставая, сидела в кресле, у нее был какой-то американец, и вдруг от печки отвалился большой кусок штукатурки и тяжело шлепнулся рядом, густо обсыпав известкой темный костюм гостя.

«Это было чудовищно,— говорила Анна Андреевна.— Мне

показалось, что на меня обваливается потолок. Я еще плохо слышу, но, по-видимому, был ужасающий грохот».

«Видите,— смеялась она,— патриотически настроенная печка не выдержала и обрушилась на голову американца».

Этот печальный случай сделал свое дело. Приехала Ира, наняла рабочих, и печку заново оштукатурили.

В Ленинград приехал Роберт Фрост. Его торжественно принимали в Союзе писателей, возили по городу, показывая Ленинград, а на другой день в Комарове на своей даче академик Алексеев устроил в его честь званый завтрак. Конечно, была приглашена и Анна Андреевна.

Утром Нина Антоновна сделала ей великолепную прическу, красиво зачесала волосы наверх, погладила парадное шелковое платье, называемое «подрясник». В тон платья надели на Анну Андреевну серые туфли Нины Антоновны. И, высоко неся седую голову, в длинном светло-сером платье, она, в ожидании машины, появилась на крыльце.

Скоро приехала алексеевская «Волга» и увезла Анну Андреевну.

Завтрак в честь Фроста сильно затянулся, и Анна Андреевна вернулась усталой. Она сбросила «подрясник», уютно улеглась на кровать и с непередаваемой интонацией, какой-то смесью шутливости и сожаления, сказала: «Я и не представляла себе, что он такой старый. Весь завтрак он мирно спал. Спал, неожиданно просыпался, смотрел поверх голов на верхушки сосен и снова сладко засыпал».

Приезжал в Ленинград Генрих Бёлль и, естественно, захотел познакомиться с Анной Ахматовой.

Он приехал из города, но ему здорово не повезло, т. к. в этот день А. А., как на грех, укатила в Ленинград получать пенсию, и они в дороге разминулись. На даче он тоже никого не застал. В дом попасть не смог. Просто походил по участку, сфотографировал домик и так ни с чем и уехал.

Ранним утром 24 июня 1964 г. в саду мне нарезают особенно большой букет сирени. Здесь сегодня вообще торговля цветами идет бойко и оживленно. Комарово покупает цветы для А. А., которой исполнилось 75 лет.

Дача вся в цветах. Цветы стоят в вазах, банках, кастрюлях и ведрах. Боясь торжеств, она, как всегда, этот день проводит в Комарове, чтобы, как она говорила, «не быть ни в Москве, ни в Ленинграде». Но тем не менее комаровская почтальонша не слезает с велосипеда, доставляя пачками поздравительные телеграммы. Телеграммы идут сплошным потоком: и от Московского Союза писателей, и от различных

издательств, и от друзей, и просто от чужих, незнакомых людей. Единственная организация, которая не поздравила А. А., был Ленинградский Союз писателей.

В сущности, человеком, поздравившим ее от Ленинградского отделения, был только союзный шофер Вася, который 25-го днем заехал в Комарово и привез А. А. все полученные на Союз поздравительные телеграммы. Это было настолько странным, что даже не было обидным.

Так как А. А. не желала отмечать этот день, то пышного торжества не было.

Званых гостей не было. Были только свои. За столом А. А. сидела в парадном платье, все в том же «подряснике», в новой прическе, глаза у нее сияли, и была, по словам Вероничи, «такой красоткой».

Как-то встретясь с Прокофьевым, Саня в очередной раз завел разговор об издании Ахматовой. Прокофьев слушал набычившись. Вяло бубнил себе под нос: «Да, да, да, а вот сколько ей будет лет? Вот если бы у нее была круглая дата, тогда другое дело, тогда бы было к чему прицепиться, а так, без круглой даты, книга не пройдет, ничего не получится!»

Узнав об этом разговоре с начальством, А. А., грустно усмехнувшись, сказала: «Ах, Ахматова кокетка, на самом деле ей 100 лет, а она скрывает, вот потому ее книги и не издаются».

«Когда я в последний раз была в городе,— рассказывала А. А.,— звонила Москва. Я подошла к телефону, и очень приятный мужской голос сказал: «Здравствуйте, А. А., говорит Твардовский.— Потом немного подумал и пояснил: — Знаете, редактор «Нового мира». Он что же, наверное, считает, что я вовсе уже выжила из ума и понятия не имею вообще, кто такой Твардовский? Ну, просил у меня стихи, и я, конечно, обещала».

Саня только что прочитал «Праздник, который всегда с тобой» и был в восхищении. А. А. же эта книга резко не понравилась.

«Я никак не могу себе уяснить, от чего тут можно приходить в восторг? — с вежливым безразличным смешком заявляла она.— Что тут вообще может нравиться? Хемингуэй написал ужасающую книгу, в которой убил своих лучших друзей. По-моему, это просто чудовищно!»

А. А. вспомнила, что 12 сентября 1965 г. будет ровно 20 лет нашей дружбы, и потребовала, чтобы в этот день непре-

менно был пир. Было решено, что 12-го собираемся у нас и отмечаем эту дату.

12 сентября 1965 г. в дождливый туманный вечер ужинали у нас на веранде. Были Македоновы[7], Эмма Григорьевна Герштейн, А. А. и мы с Саней. На Анне Андреевне были надеты, как она говорила, «в честь этого дня», крупные бусы из тусклого желтого янтаря. Она величаво поворачивала свой гордый профиль и была, как всегда, блестяща.

Пили за А. А., за поэзию, за дружбу. Македоновы уехали раньше, т. к. им надо было поспеть на электричку, а мы еще долго сидели вчетвером...

В феврале 1966 г. тяжело заболел Саня — сердце, давление, спазмы мозгового сосуда. Пришлось уложить его в больницу, и лишь в первых числах марта я привезла его из больницы домой. Дома ему был предписан полный покой, ни в коем случае не утомляться, избегать всяческих волнений, полеживать.

Неожиданно 5 марта вечером позвонил не помню точно кто и сообщил страшную весть: утром в санатории Домодедово умерла А. А. Где и когда похороны, толком никто не знал.

Понимая, какой это жесточайший удар для Сани, и очень за него боясь, я решила все от него начисто скрыть. Прятали газеты. Выключали радио.

...Гроб опустили в могилу. Поставили деревянный дубовый крест. Могильный холм утопал в живых цветах. Уже смеркалось. Я торопилась и прямо с кладбища уехала в город. В Будку я не пошла, там собрались родные и близкие и еще раз служили панихиду.

Домой я приехала поздно. Старалась при Сане, чтобы он ничего не заметил, быть веселой и оживленной.

Прошло несколько дней. Откуда-то возвратившись и снимая в передней пальто, я услышала, что Саня разговаривает по телефону. По репликам я поняла, что какая-то скотина со сладострастием ему рассказывает о смерти Анны Андреевны. Я замерла. Саня вышел в переднюю. С искаженным лицом и безумными глазами он подошел вплотную и страшным шепотом сказал:

«Ну, говори, рассказывай, как без меня хоронила Акуму!»

Наталия Роскина

«КАК БУДТО ПРОЩАЮСЬ СНОВА...»

Я познакомилась с Анной Андреевной летом 1945 года. Мне тогда было семнадцать лет, и это определило характер нашего знакомства. Я просто позвонила ей по телефону, сказала, что я московская студентка, приехала в Ленинград на каникулы, пишу стихи, мечтаю показать их ей. «Пожалуйста, приходите. Завтра, в четыре часа». И она положила трубку, не спросив меня, знаю ли я ее адрес. Жила она в то время на Фонтанке, в Шереметевском дворце, и считала, видимо, что это всем известно.

Разумеется, я никогда не забуду минуту, когда она открыла дверь и на шаг отступила назад, давая мне пройти. Как раз в том году она перестала носить челку и зачесала волосы назад, сделав на затылке обыкновенный пучок седоватых волос. Не было уже и худобы, известной мне по портретам. Я увидела полнеющую пожилую женщину, одетую в дешевый халат и домашние туфли на босу ногу. Но ее статность, скульптурность ее позы (в согнутой руке она держала папиросу), ее красота и непередаваемое благородство всего ее облика — все это меня потрясло больше, чем я могла предположить.

Жила Ахматова тогда — даже не скажешь: бедно. Бедность — это мало чего-то, то есть что-то, у нее же не было ничего. В пустой комнате стояло небольшое старое бюро и железная кровать, покрытая плохим одеялом. Видно было, что кровать жесткая, одеяло холодное. Готовность любить, с которой я переступила этот порог, смешалась у меня с безумной тоской, с ощущением близости катастрофы... Ахматова предложила мне сесть на единственный стул, сама легла на кровать, закинув руки за голову (ее любимая поза), и сказала: «Читайте стихи». Теперь, конечно, странно вспомнить, что я стала читать, ничуть не смущаясь. Она одобрительно кивала. Впоследствии я узнала, что Ахматова не в силах была обидеть кого бы то ни было дурным отзывом. Она рассказывала: «Если мне не нравится, я молчу... или говорю что-нибудь вялое, человеческое...» В тот раз она не молчала, но позднее, уже через несколько лет, мои стихи ей справедливо наскучили, и она стала произносить протяжно: «Ну что ж...» Тогда я и перестала писать в рифму.

Анна Андреевна приветливо расспросила меня, кто препо-

дает в Московском университете, как учат. Из моих учителей ей было знакомо лишь имя Н. Л. Бродского[1]. В дверь позвонили, она послала меня открыть и крикнула вдогонку: «Спросите — кто, если разбойник, не открывайте». Я возилась с незнакомым замком. Это пришла дворничиха — вынести мусор. Когда я вернулась, Анна Андреевна спросила: «Хотите, я вам прочту свою поэму?»

Хочу ли я!

«Поэму без героя» тогда еще мало кто знал, а я и вовсе о ней не слыхала. Анна Андреевна прочла мне тот старый, «ташкентский» вариант, который впоследствии много правился. Читала она по тетрадке — и я впервые увидела ее косой, округлый, своеобразный почерк, строчки, загибающиеся кверху, как вьющееся растение. В пустой комнате ее глубокий грудной голос звучал огромно, как в церкви. Поэма произвела на меня потрясающее впечатление, и это впечатление живо до сих пор.

Разумеется, я просила Анну Андреевну дать мне переписать поэму. Она не согласилась, однако с интересом расспрашивала: «Что вы об этом думаете?» Я сказала, что ничего подобного она еще не писала, что я сегодня познакомилась не только с ней, но и с новым для меня великим русским поэтом.

Напряженно выговаривая лестные слова, которые трудно сказать в лицо, я и представления не имела, как нужно было ей слышать именно это. Ведь для многих она оставалась автором стихов «Слава тебе, безысходная боль, умер вчера сероглазый король». В то время (и, кстати, до конца дней) на поэме были сосредоточены все интересы Ахматовой, все линии ее личной поэтической жизни. «Томашевский сказал мне, что о моей поэме он мог бы написать книгу». Томашевский — это было для нее много, очень много, она чрезвычайно ценила пушкинистов и честью для себя считала быть причисленной к их клану. Мое мнение интересовало ее совсем с другой стороны. Я была для нее девочка военных лет, студенточка советская. Меня клонило туда-сюда, я увлекалась стихами своих друзей по литературным студиям. И моя мгновенная реакция на поэму, как на сочинение, ставящее Ахматову в совсем иной ранг поэтов, была ей очень важна. Все это я осознала, конечно, много позже, а тогда просто была пьяна от волнения и счастья.

Вскоре общие друзья передали мне отзывы Ахматовой: «Независимая девочка, не то что некоторые — сразу от двери начинают ползти по ковру» и «не похоже на стихи молодых литературоведов, вроде раннего Эйхенбаума». Я запретила им рассказывать заранее обо мне, так что Ахматова начала так: «Вчера была у меня одна московская студентка». В то время это было для нее большой редкостью. Тут уж они меня назвали своей. «Пусть девочка приходит»,— сказала

им Ахматова на прощанье. И я стала бывать у нее часто, два-три раза в неделю, весь июль и август. Я звонила ей по телефону, она коротко говорила «можете прийти» (по телефону она вообще всегда была односложной, ненавидела его, по-моему), я шла в ее Фонтанный дворец, в эту такую недворцовую комнату. Анна Андреевна всегда спрашивала меня, писала ли я что-то новое; только теперь я в состоянии оценить абсолютную непогрешимость ее вежливости, а тогда я думала, что ей в самом деле интересно. Критика ее всегда была лаконична и локально точна. Потом она читала мне свое, еще неизвестное, и всегда добавляла: «Не запоминайте. Я знаю, у вас память дьявольская. Забудьте». Закончив стихотворение, она как бы — голосом — отодвигала его от себя. Потом мы шли на кухню, Анна Андреевна накладывала в глубокие тарелки вареную картошку и кислую капусту — не помню, чтобы хоть раз у нее было что-то еще. Боже, как неуютна была ее жизнь! Часами молчал телефон, неделями никто не приходил...

Ахматова страдала от одиночества. Я поняла это, когда сама пожаловалась ей на одиночество. Я рано осталась сиротой и с шестнадцати лет жила в Москве одна, в комнате, где когда-то жил мой отец. «Есть уединение и одиночество,— сказала она.— Уединения ищут, одиночества бегут. Ужасно, когда с твоей комнатой никто не связан, никто в ней не дышит, никто не ждет твоего возвращения».

Для самой Ахматовой в ее уединении и одиночестве был неожиданным тот взрыв любви и восхищения, которым ее одарили москвичи на знаменитом вечере в Колонном зале в 1946 году, когда она читала стихи вместе с Пастернаком. Вечер этот описан многими мемуаристами (Н. Я. Мандельштам, И. Г. Эренбургом, В. Я. Виленкиным). Я, конечно, была в числе тех, кто неистово аплодировал ей, требуя продолжать чтение. Я даже послала ей записочку, она легко нашла меня глазами и, улыбнувшись, отрицательно покачала головой. Ахматова была в черном платье, на плечах — белая с кистями шаль. Держалась она на эстраде великолепно, однако заметна была скованность и какая-то тревога. Наконец ей пришлось встать: «Наизусть я своих стихов не знаю, а с собой у меня больше нет». Залу было ясно, что это вынужденные слова. Овации продолжали греметь; проницательная, отнюдь не наивная политически Ахматова сразу же почувствовала, что они не сулят ей добра. Этот вечер вскоре оказался для нее роковым.

Оживление наступило в доме Ахматовой — ненадолго,— когда вернулся с войны, из Берлина, ее сын Лев Николаевич Гумилев. Однажды Анна Андреевна открыла мне дверь в дорогом японском халате с драконом. Она сказала: «Вот, сын подарил. Из Германии привез». Ведь, в сущности, ей всегда

так хотелось простых женских радостей. Очень была она в тот день веселая.

Иногда Анна Андреевна предлагала пойти погулять. Ленинград знала она изумительно, в архитектуре была как дома (говорила: «Люблю архитектуру больше всех искусств»). Знала автора каждого здания, знала историю его перестроек — с той культурой знания и той дотошностью, которую она, при кажущемся отсутствии педантства, вносила во все, чем увлекалась. Она любила подвести меня к красивому месту каким-то новым ходом, чтобы оно открылось внезапно, любила обращать мое внимание на всякие тонкости зодчества и трогательно радовалась моему восхищению.

Однажды она указала на башенку «Кунсткамеры»: «Правда, прелесть?» «Да,— сказала я и добавила: — Ведь так приятно с вами соглашаться». Она улыбнулась лукаво: «Ну, почему же. Вы могли бы, например, сказать: эта башенка могла бы быть чуть-чуть пошире». Ярко помню одну нашу прогулку к Инженерному замку, где ей нравились красиво и обдуманно посаженные цветы. Еще хлеб давали по карточкам (да и все прочие продукты), а ленинградцы послеблокадные украшали свой измученный город, и это ее восхищало. Она была оживлена и несколько раз повторила: «Какие молодцы! Ах, какие молодцы!» Был чудесный солнечный день, и весь облик Ахматовой был так гармонически близок архитектурному пейзажу, и так весело она щурилась на солнце... Боже, как полны ею мои семнадцать лет! А потом я десять лет не видела ее веселой.

За тебя я заплатила чистоганом —
Ровно десять лет ходила под наганом...

Впоследствии Анна Андреевна часто рассказывала всем, как она узнала о касающемся ее и Зощенко постановлении ЦК. Этот рассказ, повторяясь, звучал все менее страшно. Однако когда я слышала его впервые, мороз продирал по коже. Газет Анна Андреевна не получала, радио у нее не было. Она ничего не знала! Кто-то позвонил и спросил, как она себя чувствует. Позвонил и еще, и еще кто-то. Не чуя беды и лишь слегка недоумевая, она ровно отвечала всем: все хорошо, благодарю вас, все в порядке, благодарю вас... И, выйдя зачем-то на улицу, она прочла, встав на цыпочки, поверх чужих голов, газету с докладом Жданова.

Жизнь для нее остановилась. Когда я позвонила ей, приехав в Ленинград через десять дней, она ответила, что чувствует себя, спасибо, хорошо, но что повидаться со мной не сможет. Голос ее был мертвым.

Два месяца после этого я знала об Анне Андреевне только одно — что ее не арестовали. В свой следующий приезд я была более настойчива, сказала, что очень прошу ее со мной

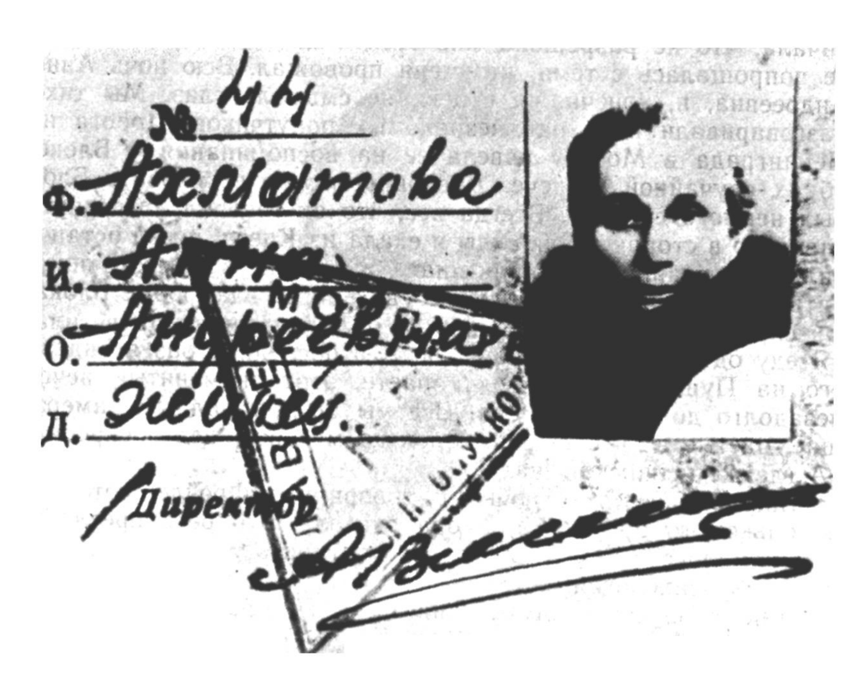
встретиться. Ахматова назначила мне свидание у Русского музея. С ужасным волнением я ждала ее на холодной скамейке в плохую ноябрьскую ленинградскую погоду. Ахматова стала мне говорить, что с ней нельзя встречаться, что все ее отношения контролируются, за ней следят, в комнате — подслушивают; что общение с нею может иметь для меня самые страшные последствия. Нас обеих знобило. Анна Андреевна смотрела в сторону, не на меня. Но как только я почувствовала, что она просто за меня боится, я сразу повеселела и ответила ей, что я совсем и не думаю ни о чем таком и думать не хочу. Анна Андреевна продолжала говорить о необходимости быть осторожной, но я уже поняла, что это говорится по долгу, а не по сердцу. На самом деле она была мне рада, вдруг перестала это скрывать и, взглянув на меня с нежной жалостью, сказала тихо: «Миленький!» Страшный круг обреченности был тогда, и в этом круге был весь этот огромный прекрасный город, и честь наша, и правда, и я сама была в этом круге, но я все это забыла, радуясь, что она сидит рядом со мной и что я тоже ей дорога.

Провожая Анну Андреевну, я взяла с нее слово, что она не будет меня отталкивать. Но когда мы стали прощаться у Фонтанного Дома, на ее лицо вернулась каменная маска, и она едва кивнула мне, проходя в парадное.

Это был не обычный дом, а здание Главсевморпути. У входа сидел вахтер и спрашивал пропуск. Гостям Ахматовой он постоянно делал замечания — почему засиделся или что-то в этом духе. Сама она была обязана предъявлять удостоверение с фотографией. В графе «профессия» было написано — «жилец». Совсем незадолго до смерти она вынула его из сумочки и показала мне со смехом — помните? Я не сумела засмеяться. На меня глянула жуткая фотография тех лет, испуганные широко раскрытые глаза.

Неуют холодной ахматовской комнаты принял тюремный характер. Анна Андреевна дома почти ничего не говорила, а только все показывала на потолок. Однажды, придя домой, она обнаружила на подушке и на полу куски известки и уверилась, что в потолок вставлен микрофон. Обычно мы бесприютно гуляли по безлюдным местам, обмениваясь короткими репликами. Длящийся кошмар разрешался лишь в худшую сторону. Осенью 1949 года был арестован Лев Николаевич Гумилев. Об этом своем горе Анна Андреевна никогда со мной не говорила. Одно только: я приехала в Ленинград, пришла к ней, ничего не зная, спросила запросто: «А где Лева?» Она ответила: «Лева арестован». Звук этих слов — полувскрик, полустон, полушепот — до сих пор стоит у меня в ушах.

Это был третий арест его — первый раз — в начале тридцатых годов, второй раз — в конце тридцатых, с приговором к расстрелу... Такова была судьба Анны Андреевны, каждое



Анна Ахматова. Фотография на пропуске в Фонтанный Дом. Конец 40-х годов

горе приходило к ней не один раз, а повторяясь дважды, трижды... Моя тетка, мамина сестра, была замужем за техническим директором Ленинградского металлического завода М. И. Гринбергом, его фамилия приходилась на ту же букву, что и Гумилев, и в 1938 году тетя частенько встречала Ахматову в многочасовых очередях, описанных в «Реквиеме». Алфавит этот страшный всех выстроил по-своему. В сорок девятом не было уже этих очередей, но все было, пожалуй, еще безнадежней, еще окончательней...

После постановления ЦК и исключения из Союза писателей Ахматову лишили продовольственных карточек. Она получала крошечную пенсию, на которую жить было невозможно. Друзья организовали тайный фонд помощи Ахматовой. По тем временам это было истинным героизмом. Анна Андреевна рассказала мне об этом через много лет, грустно добавив: «Они покупали мне апельсины и шоколад, как больной, а я была просто голодная».

Летом 1950 года Анна Андреевна попросила меня отвезти ее в Москву. Она плохо переносила дорогу и уже не ездила без провожатых. Как я теперь понимаю, главной целью ее поездки были хлопоты о сыне. Перед отъездом она так нерв-

ничала, что не разрешала мне отойти ни на шаг, и я даже не попрощалась с теми, кто меня провожал. Всю ночь Анна Андреевна, и, конечно, я с нею, не смыкала глаз. Мы тихо разговаривали под храп незнакомых попутчиков. Дорога из Ленинграда в Москву навела ее на воспоминания о Блоке, об их случайной встрече. Дословно помню ее слова: «Блок был немного странен. Всегда все, что он говорил, было чуть сдвинуто в сторону. Однажды я ехала из Киева, поезд остановился на станции Подсолнечная. Я вышла в тамбур покурить и вдруг прямо перед собою увидела на платформе Блока. Он спросил: «С кем вы едете?» Я очень удивилась, ответила: «Я еду одна», и поезд тронулся. А в последний раз я видела его на Пушкинском вечере, знаете, этот знаменитый вечер незадолго до смерти Блока. Все мы были голодные, замерзшие, одетые во что попало. Блок ко мне подошел и спросил: «А где же испанская шаль?»

Еще, помню, в ту ночь мы говорили о Фрейде, которого я только что прочитала, и она сказала, что весь пресловутый комплекс Эдипа — это просто ревность наследника, буржуазная психология.

Анна Андреевна была удивительной собеседницей — терпеливой, расположенной; не помню, чтоб она хоть раз дала мне почувствовать мое невежество, а ведь только теперь мне ясно, сколько раз она могла это заметить!

...Прошло несколько лет. Я приезжала в Ленинград, и мы по-прежнему много ходили по улицам и садам, иногда вместе обедали в каком-нибудь кафе; однажды, направляясь в «Квисисану», мы встретили М. М. Зощенко. Он бросился к Анне Андреевне, стал горячо целовать ей руки, она тоже взволнована была этой встречей. И когда он отошел, произнесла задумчиво: «Мишенька...» А потом, смеясь, обратилась ко мне: «Ну, знаете, Наташа, я считаю, что сделала для вас все возможное. В каком это еще городе вам к приезду устроят встречу Ахматовой с Зощенко?» И мы еще долго о нем говорили. Анна Андреевна ведь очень высоко ценила его как писателя, говорила, что «Голубая книга» — это чудо».

Зощенко был в ту пору более спокойный, оживающий, он уже получил высочайшее разрешение зарабатывать переводами. А года за два до этой встречи у нас с Анной Андреевной был о нем такой разговор. Зощенко дали напечатать маленький рассказ. Это, конечно, был уже некий политический акт послабления, но рассказ был плохой, и все это тоже невольно отметили; сказала и я: рассказ-то плохой! Анна Андреевна очень рассердилась. «Да, вот со всех сторон только одно и слышу — Зощенко написал плохой рассказ. А скажите,

Лев Гумилев. 1953 г.

почему они думают, что он должен писать для них хороший рассказ? А они хорошие? А они — что сделали?» Я молчала, благодарная ей за этот урок. К тому же вопрос этот был для Анны Андреевны особенно больным. Ведь она вынуждена была послать в «Огонек» стихотворения о Сталине. Ее сын был заложником в лагере, но, разумеется, стихи не помогли. Представляю себе, как она страдала — она, с ее гордостью, с ее сознанием себя. Дорого доставался ей сын,— а ее недоброжелатели всегда шептали, что она плохая мать... Да за себя она никогда в жизни не стала бы так бороться! Она была замечательно бесстрашной и к тому же верующей христианкой.

Кто чего боится,
То с тем и случится.
Ничего бояться не надо...

Я рано, к счастью, узнала эти стихи, они были всю жизнь одной из моих личных молитв.

Расскажу еще один случай, когда Анна Андреевна на меня сильно рассердилась. В 1953 году Эм. Казакевич напечатал свою повесть «Сердце друга». Там есть такая фраза: «Девочки... увлекались стихами Анны Андреевны Ахматовой». Она была просто вне себя. «Я ему не Анна Андреевна! Я не имею чести быть знакомой с этим господином! Я Анна Ахматова, и никак иначе он не смеет меня называть!» Пытаясь ее успокоить, я стала невнятно оправдывать Казакевича — он, мол, не подумал... Но Ахматова терпеть не могла таких неопределенных высказываний и закричала: «Ах, вот что! Вы, значит, считаете, что можно так поступать? Нет, таких вещей делать нельзя, и если вы этого не понимаете, вы никогда не станете литератором!»

Я молчала, долго молчала и она. После длинной паузы Анна Андреевна сказала: «Расскажите мне что-нибудь про свою дочку».

...Каждый человек не любит, когда о нем говорят неправду, но Анна Андреевна в эти годы стала сердиться и тогда, когда вообще о ней что-то становилось известно, даже если это была правда. Впрочем, правда, прошедшая через чужие руки, перестает быть правдой, и можно себе представить, как надоедало Ахматовой выслушивать свою жизнь из чужих уст.

Я как-то сказала ей, что хорошо представляю себе Ахматову англичанкой. Там, в Англии, есть еще фамильные за́мки и фамильные тайны. Она усмехнулась: «Ну, знаете, у меня есть тайны пострашнее английских».

Но иногда вдруг, отбросив тайны, она могла рассказать

о себе очень откровенно. К сожалению, в последние годы жизни ее рассказы о себе обычно имели определенную цель, утверждение собственной концепции ее жизни, и главная роль в этой концепции принадлежала Гумилеву.

Я, разумеется, никогда не возьмусь судить о том, кто был самой сильной любовью Ахматовой, кто сыграл в ее жизни самую большую роль. Могу высказать лишь свое собственное ощущение, связанное с моим восприятием ее личности. Мне всегда казалось, что через все свои трагические любови и браки она пронесла какое-то неиссякаемое чувство к Гумилеву. Ведь именно с ним было связано и ее материнство, и ее вступление в русскую поэзию, и ее первая слава. «Вся Россия подражала Гумилеву,— сказала она мне.— А я — нет». Рассказывала о своей размолвке с Гумилевым: «Раз мы ссорились — как все люди ссорятся, и я сказала: «А все равно я лучше тебя стихи пишу». И к памяти Гумилева она относилась с ревностью, и чисто женской, и поэтической, и всяческой. Ужасно сердилась, когда читала что-то о нем,— все ей не нравилось, даже похвалы!

Вообще к старости она стала сердиться по всяким пустякам, часто раздражалась без причины. Однажды я была у нее в больнице, где она лежала с первым инфарктом, и спросила, что привезти в следующий раз. Она сказала — боржом. Когда я притащила тяжелую сумку с бутылками, то услышала: «Вы привезли боржом? Он мне совершенно не нужен, можете увезти его обратно». Но любящие ее люди на это не обижались. Она сама умела гасить свое раздражение, ведь по натуре она была добра, деликатна, участлива. Ей можно было все рассказать. Вот и Н. Я. Берковский[2] говорил мне: «Со смертью Анны Андреевны я потерял своего лучшего собеседника... Есть вещи, которые я мог сказать только ей...»

Разумеется, лучше было рассказывать покороче. Ведь она все понимала с полуслова. Однажды какой-то мой рассказ она перебила словами: «Деточка, о мужчинах я знаю все».

Приведу еще два высказывания на женские темы. «Залог семейного счастья — в полной пассивности женщины». «Климакс — это вопрос интеллекта».

Когда в моей жизни происходил серьезный перелом, она мне сказала: «Я много слышала от разных людей, но сама не произнесла ни слова. Я считаю, что в таких случаях роль друзей только в том, чтобы молчать». И когда, мне передали, вопрос обсуждался с позиций другой женщины, она произнесла только одно: «Я — партии Наташи». В те дни она задала мне один вопрос, поразивший меня прямотой и ясностью: «Вы любите его?» Я молчала — ясности-то и не было у меня в душе. Она тут же сказала: «Да, впрочем, вы и сами не знаете». И это было именно то, что мог сказать человек, знавший «все». Она проявила сердечный интерес и никакого любопытства —

само благородство! Поэтому-то с ней и можно было быть по-настоящему откровенным во всем.

Я долго не могла никому рассказать о преследовавших меня ночных кошмарах. Наконец сказала Анне Андреевне: «Мне кажется, что я схожу с ума. У меня галлюцинации». Она перебила меня — угадав: «Вам, наверно, по ночам мерещатся звонки? Не беспокойтесь, это у всех». И я сразу выздоровела. Мерещились телефонные звонки, мерещились звонки в дверь, мерещилась слежка и Бог знает что — всем. Ей тоже.

Сострадание Анны Андреевны к жертвам сталинского террора было вообще очень широко. Без этого чувства она не написала бы «Реквиема»...

...Лет тридцати она, по ее словам, подумала: «Как глупо прожить жизнь и не прочесть в подлиннике Шекспира». Шекспир был ее любимейшим писателем из нерусских. (Из русских — Пушкин и Достоевский.) Она стала заниматься английским языком: первые несколько уроков ей дал Маршак, а потом сама читала всякие грамматики и самоучители, часов по восемь в день. «Через полгода я свободно читала Шекспира».

Она следила и за новой литературой. Между прочим, очень любила детективные романы («Ночь с детективом — это чудесно»); но, кажется, это был единственный род плохой литературы, который она признавала. Чаще всего она читала замечательные книги. Все великое было ей сродни. Я заставала ее за перечитыванием Данте по-итальянски. Когда вышел пастернаковский перевод «Фауста», она сказала: «Всю жизнь читала это в подлиннике, и вот впервые могу читать в переводе». А когда Пастернак пригласил ее на премьеру «Марии Стюарт» в МХАТ (не помню, была ли она — пренебрегла ли ради любви к Пастернаку нелюбовью к Художественному театру и вообще могла ли пойти), она сказала: «Я никогда не могла понять, что находили в этой женщине? Мужеубийца. Почему ее так идеализировали? Помните, в начале ей камеристка говорит — в ответ на ее слова о страшном грехе: ну ничего, ведь вы тогда были еще молоденькая!» И рассмеялась.

О «Процессе» Кафки она сказала мне: «У меня было такое чувство, словно кто-то схватил меня за руку и потащил в мои самые страшные сны». А Андрею Сергееву [3] сказала: «Как, вы не читали «Процесс»? Бегите и прочтите!»

Про «Дон Жуана» Байрона: «Прекрасно, но наш «Онегин» как бабочка выпорхнул из него!»

Про «Тома Сойера»: «Великая книга. Как «Дон Кихот».

Да и вообще она была великолепно образованным человеком. Очень хорошо училась в гимназии и благодаря своей богатой памяти помнила все, чему ее учили. Она сказала:

«Я и физику помню, но ведь при мне ее знали только до телефона». Всем она интересовалась и ценила реальные знания, особенно если они были сформулированы кратко и выразительно. И ее суждения о политике всегда были самостоятельны и интересны. Например, когда японцы напали на Пирл-Харбор и потопили американский флот, она сказала: «Американцы — простодушные дети, но своим зверством японцы превратят их в зверей». Эти свои слова она вспомнила и повторила мне, когда на Японию была сброшена американская атомная бомба.

В 1945 году она говорила мне о невероятно растущей роли женщин в современном мире. «Мужчины скоро вообще ничего не будут делать сами. Скоро они заявят: «Война — это не мужское дело» — и только откуда-то из центров будут руководить отрядами амазонок».

Из своих высказываний Анна Андреевна сама больше всего ценила именно такие, пророческие. Это была ее слабость. Вот одна из ее любимых историй о своих пророчествах. Однажды в ее присутствии дома шел разговор о какой-то девочке, о ее одаренности. Ахматова, совсем еще юная, лежала с книжкой на диване, не участвуя в разговоре. А когда кто-то сказал, что девочке предстоит большое будущее, Ахматова неожиданно для самой себя произнесла: «Да, если в шестнадцать лет она не умрет в Ницце от чахотки». Все были поражены, когда предсказание в точности сбылось.

«Все, что я проклинаю, расцветает,— любила она повторять применительно к своей книге.— Я ее прокляла, только потому она и вышла в свет».

Еще об оккультном. Очень смешно рассказывала она, как в какой-то компании был графолог, и все присутствующие дали ему анонимно свои почерки. Об Ахматовой он сказал, что у нее почерк женщины, занимающейся домашним хозяйством и ведущей домоводческие книги. А в другой раз, другой графолог сказал ей: «В вас есть искра таланта!»

...У нее ничего нельзя было узнать ни о ком. Я знала о ее дружбе с профессором Н. Я. Берковским, и когда вышла в свет его великолепная книга статей, то стала о нем расспрашивать Анну Андреевну, но никак не могла ничего выудить — какой он. Тогда я спросила по-женски: «А какая у него жена?» Она ответила: «Жена... Елена Александровна».

На один мой монолог обвинительный она не ответила ни одним возражением, а сказала только: «Я ее люблю». Ее правилом было не рассказывать о близких людях никаких подробностей.

Но вот одно из редких исключений. Алексей Баталов, еще совсем молодой, в расцвете своей славы, только что вернулся из поездки в Париж, с триумфальной демонстрации фильма «Летят журавли». И тут же собрался ехать на Сахалин.

Здоровье его было в неважном состоянии, и его мать Нина Антоновна очень огорчалась, просила Анну Андреевну отговорить его. Анна Андреевна сказала ему наедине: «Алеша, зачем вам ехать, ведь там такой тяжелый климат, это же каторга». А он ответил: «Мне так хорошо было в Париже, я должен теперь это искупить».

Эта фраза глубоко тронула Ахматову. Она была религиозна, и это, конечно, было весьма существенной стороной ее личности. Основой ее мужества и патриотизма была именно вера. Она верила, как современный человек, со всей широтой философского восприятия жизни и с широким приятием православной церкви.

Своей религиозности она не скрывала, но никогда не афишировала и крайне редко о ней говорила. Фрида Вигдорова рассказывала мне,— быть может, анекдот, выдуманный самой Ахматовой,— что ей как-то позвонили из антирелигиозного журнала с просьбой дать стихи, и она ответила: «Это не мой профиль».

С такой же широтой она относилась и к национальным вопросам. Она была истинной интернационалисткой и говорила мне, что никогда в жизни не умела отличить еврея от русского. «В мое время среди интеллигенции и не было другого воспитания,— рассказывала она.— Вот Ирочка Пунина вышла замуж за Романа Альбертовича и только потом узнала, что он еврей». «То есть как? — изумилась я.— Ведь его фамилия — Рубинштейн». «А она не знала, что это еврейская фамилия. Думала, у одного русского фамилия Иванов, у другого Рубинштейн. Да в мое время только так и было».

Другая важнейшая ее черта — аристократизм. И внешности, и душевному ее складу было присуще необычайное благородство, которое придавало гармоничную величавость всему, что она говорила и делала. Это чувствовали даже дети. Она мне рассказывала, как маленький Лева просил ее: «Мама, не королевствуй!» Страх оказаться рядом с ней мелким сковывал самых близких ей людей. Она это понимала и часто страдала от этого.

У Анны Андреевны были, конечно, свои недостатки, но они как-то ничего в ней не нарушали. Она была очень цельным и крупным человеком и очень ясным — как и ее поэзия.

* * *

Я никогда не записывала ничего после разговоров с Анной Андреевной, хотя сознавала их ценность не для себя одной. Она никогда не говорила зря. Болтливость, суесловие, ломанье — все это было ей, как никому, чуждо. Она говорила интересно — или молчала. Притом ее высказывания были так лако-

ничны и остроумны, что, казалось бы, чего проще донести их до бумаги. Но, во-первых, это только казалось. Речь ее была такой, что теперь, вспоминая ее, я чувствую: на бумаге слишком много слов. Она никогда не употребляла современных словечек, а если употребляла, то иронически, приговаривая: «Знаете, как теперь говорят...» И вместе с тем никогда не выражалась старомодно. Очень терпима она, кстати, была к тому, как говорили при ней.

Сама Анна Андреевна не хотела и не любила, чтобы записывали ее слова. В черные времена она считала это опасным для собеседника. Ей тогда казалось, что само ее имя обладает какой-то силой проклятья. С середины пятидесятых годов, правда, она стала надписывать книги и фотографии очень охотно и уже не думала об этом проклятии, но по-прежнему отрицательно относилась к людям, которых подозревала в том, что они записывают ее слова.

Но главное обстоятельство, почему я не вела записей,— в самом характере отношений моих с Анной Андреевной. Дело в том, что у нее были свои требования к собеседнику, которые не всегда легко было понять. С одной стороны, конечно, предполагалась любовь к ее стихам, знание ее поэзии, а с другой стороны — ее раздражало, что ей смотрят в рот, не осмеливаются ни в чем возразить. Преклонение ведь тоже приедается.

Кое-что случайно все-таки оказалось записано. В 1950—1952 гг. я часто писала об Анне Андреевне одному нашему общему ленинградскому другу.

«Как-то я говорила Анне Андреевне, что горюю о ранней смерти Пушкина, а она мне отвечала, что в истории все делается вовремя. «Пушкин,— сказала она,— был бы немыслим в сороковых годах, его бы все забыли, это было бы ужасно».

...Говорили о Пушкине. У Анны Андреевны теория, что мы все влюблены в Пушкина, от этого нам все про него интересно, и есть даже такой жанр: «Знакомые Пушкина». А вот такого жанра — «Знакомые Достоевского» — нет.

«Достоевский у меня самый главный. Да и вообще он самый главный. Я сейчас как раз перечитывала «Преступление и наказание». Только вот, знаете, мне кажется, что вся линия Мармеладовых — лишняя. Это у него осталось от старого замысла, от «Пьяненьких». Это еще слабость писательская, в более поздних вещах у него этого нет. Нам все время хочется быть с ним, мучиться вместе с ним, а приходится слушать про Мармеладовых каких-то; Соня была ему нужна, но незачем было прицеплять к ней маму, папу, трех детей.

И как это гениально, что Раскольников возненавидел потом мать и сестру, они были связаны для него с «этим», и он их видеть не мог...

А знаете, Томашевский нашел тот дом, где жила старушка. Один только есть такой дом, подходящий к описанию. Он звал меня посмотреть, но я не пошла. — Лукаво: — Мне по лестницам ходить вредно... Да, Достоевский, конечно, самый главный. Томашевский мне рассказывал, что приезжают иностранцы, смотрят дом, где жил Достоевский, дом, где жила старушка, умоляют больше ничего им не показывать и уезжают».

После смерти Сталина Ахматовой сразу стало легче, хотя бы в денежном отношении. Вышел ее перевод пьесы «Марион Делорм» в собрании сочинений Виктора Гюго, она получила первые крупные деньги,— они доставили ей много удовольствия. Правда, она никак не изменила своего быта и не предалась жизнеустройству. Прожив всю жизнь бездомной, она не стала на склоне лет обзаводиться хозяйством. Я как-то спросила Анну Андреевну: «Если бы я стала богатой, сколько времени я получала бы от этого удовольствие?» Она ответила с присущей ей ясностью: «Недолго. Дней десять». Когда у меня завелись деньги, я спросила Анну Андреевну, что мне с ними делать. Она отвечала опять-таки твердо: «Строить жилье. Жилье — это главное». Но сама она по-прежнему просила пристанища,— когда, случалось, у Ардовых не было места, жила у Западовых, у Ники Глен, М. С. Петровых, Л. Д. Большинцовой, М. И. Алигер, Шенгели [4]... А ее ленинградская комната и позднее — комаровская дача являли собой прежнюю неприкаянность...

В 1956 году вернулся из лагеря Л. Н. Гумилев, чуть ли не позже всех. Анна Андреевна мучительно хлопотала о нем. Все вокруг возвращались, а ее хлопоты оставались бесплодными, и мне кажется, она была на пределе всех своих сил, когда Леву наконец освободили.

Лев Николаевич вышел из лагеря с последней волной «реабилитации». Анна Андреевна стала о себе говорить: «Я хрущевка», «Я из партии Хрущева». Долго она продолжала это твердить, настаивая, что Хрущеву можно простить многое за то, что он выпустил из тюрьмы невинных людей. Пожалуй, только процесс Иосифа Бродского оборвал ее симпатии к Хрущеву. Бродского она очень любила[5], очень ценила его стихи. Мне кажется, это был единственный поэт из молодых, кто был ей действительно по душе. Он ей импонировал, в частности, своей образованностью и одухотворенностью. Анна Андреевна редко читала вслух чужие стихи. Для Бродского она делала исключение. Многие его строчки она постоянно

Анна Ахматова. Середина 50-х годов

вспоминала, например: «Вы напишете о нас наискосок». Этот стих, характеризующий ее почерк (строчки загибались у нее вверх), она сделала даже эпиграфом (к стихотворению «Последняя роза»).

Арест Бродского и суд над ним также бросили мрачную тень на последние годы Ахматовой.

И уж конечно горько пришлось ей во время истории с присуждением Пастернаку Нобелевской премии. Казалось бы, постановление ЦК о Зощенко и Ахматовой — в прошлом. И вот снова публичные поношения, гонения, позорные речи людей, которые, казалось бы, только что сами были гонимыми. Мрачные дни травли, когда никому не хочется друг на друга смотреть, глаз не хочется поднимать...

Ахматова не читала романа Пастернака «Доктор Живаго» очень долго, хотя, перед тем как выйти в свет за границей, он, что называется, ходил по рукам. Сам Пастернак охотнейшим образом давал его читать и перепечатывать. Никому тогда и в голову не приходило, что скоро это станет криминалом. Когда я пришла к Анне Андреевне делиться впечатлениями, она, к моему удивлению, сказала, что блуждающая рукопись «Доктора Живаго» до нее не дошла. Я приняла эти слова за чистую монету и спешно постаралась достать ей экземпляр. Когда я, довольная, что так споро исполнила ее желание, привезла ей папки с машинописью обоих томов романа, Анна Андреевна схватилась за голову: «Неужели вы поверили, что я не достала рукопись? Да Борис сам сколько раз мне предлагал, да и кроме него все вокруг предлагали, но я изо всех сил старалась, чтобы эта рукопись меня не настигла. Я не верю, что мне понравится». Я готова была забрать папки назад, но Анна Андреевна остановила меня: «Не увозите. Это судьба. Теперь я прочту». Однако предчувствие ее оказалось верным, роман ей не понравился — «восхитительными» она нашла только пейзажи, особенно восторгалась описанием куста.

Разумеется, стихи из романа она знала и раньше и очень любила их.

Когда я спросила ее о звонке Сталина Пастернаку о Мандельштаме, она ответила: «Мы тогда же подробно все с Надей обсудили и решили, что Борис вел себя на хорошую четверку». Она очень любила Пастернака, называла его часто «Борисик».

Существует известная фотография, сделанная на знаменитом вечере 1946 года,— Ахматова, в своей белой с кистями шали, и рядом — Пастернак. Оба очень хорошо вышли на этом снимке. Оба смотрят вперед, на зрителя, и видно одиночество каждого, и вместе с тем отчетливо проступает их внутреннее сходство.

...В конце пятидесятых годов страна пережила взрыв любви к поэзии. Молодежь узнала десятилетиями скрываемые стихи Цветаевой, Мандельштама, Заболоцкого.

О Цветаевой Ахматова сказала: «Мощный поэт». О Мандельштаме: «Это первый поэт XX века». Когда я сказала, что Мандельштам — это как Баратынский, она возразила: «Мандельштам крупнее Баратынского». Заболоцкого она ценила, но не любила, хотя ценила — некоторые стихи — высоко. О стихотворении «Журавли» она сказала: «Это настоящая классика!» Когда я принесла ей рукопись «Признания», она сказала: «Прекрасное стихотворение! Только уж очень мужское». К Заболоцкому эпохи «Столбцов» она относилась, мне кажется, весьма прохладно, и уж конечно ей совсем не нравились его стихи в духе «Некрасивой девочки» или «Старой актрисы». Она сказала: «Все почему-то считают, что это похоже на Некрасова, а это похоже на Апухтина».

Из рук Анны Андреевны я получила тетрадку не опубликованных тогда еще стихов Арсения Тарковского — поэта, бесспорно, ею чтимого.

Еще — о Блоке. Когда Анна Андреевна прочитала записные книжки Блока и увидела, что не оставила в них следа,— это уязвило ее. Не раз я слышала ее высказывания в таком духе: «Как известно из записных книжек Блока, я не занимала места в его жизни...»

На волне этого взрыва любви к поэзии поднялись и тогдашние молодежные кумиры: Вознесенский, Рождественский, Евтушенко, Ахмадулина. Ей не нравилась их шумность, их сенсационность, жадность до публики — ей и ее кругу представлений о поэте все это было очень чуждо. Она рассказывала мне, что Ахмадулина была у нее три раза, желая почитать ей свои стихи, но все неудачно: каждый раз у Анны Андреевны начинался приступ стенокардии. Был у нее и Окуджава, и вот его стихи и пение ей нравилось (а Новелла Матвеева почему-то нет). Ей он был интересен и интересен секрет его успеха. Она вообще любила шансонье — еще со времен Вертинского. «Вертинский — это эпоха». Позднее она была очарована Галичем. Как-то я пришла к ней, году в 65-м; вместо «Здравствуйте» она сказала мне: «Песенника арестовали». «Какого песенника?» — «Галича». Дома я узнала, что этот слух уже широко гуляет по Москве, но, к счастью, он не подтвердился.

Вообще же про стихи «молодых» она говорила, что все они кажутся ей слишком длинными.

Кто только в эти годы к ней не ходил!

Иностранцев было неистовое количество.

Среди них оказалась масса скучнейших людей. Как-то, еще в сталинские времена, одна женщина, мой близкий друг, попросила: «Сводите меня к Ахматовой». Мне очень не хо-

телось ей отказывать, но я и помыслить не могла, как это я вдруг явлюсь с кем-то. Теперь же я и сама привела к Ахматовой одного уж такого дурака иностранца, что дальше ехать некуда. Так упрашивал меня этот дурак, что ему необходимо посмотреть на Ахматову. Он попросил автограф для своей жены и добавил: «Потому что у нее золотое сердце!» После его ухода я сказала: «Анна Андреевна, вы уж меня простите». Она засмеялась: «Да не знаешь, что ему и ответить. Хочется спросить: а что еще у нее золотое, может быть, зубы?»

...Исключительно высоко и проницательно Ахматова сразу же оценила Солженицына. Когда вышел номер «Нового мира» с «Одним днем Ивана Денисовича» и Солженицын стал необыкновенно популярен, он захотел побывать у Ахматовой, и она была этому очень рада. О свидании с ним она рассказывала в необычных для нее тонах. Ведь она привыкла к тому, что к ней приходят на поклон, а тут пришел человек, которому она сама готова была и хотела поклониться. Он читал ей свои стихи. На мой вопрос — хороши ли они? — она уклончиво ответила: «Из стихов видно, что он очень любит природу». Не удовлетворило ее и то, что Солженицын сказал о ее стихах. Она ему читала «Реквием», он сказал: «Это была трагедия народа, а у вас — только трагедия матери и сына». Она повторила мне эти слова со знакомым пожатием плеч и легкой гримасой. Но сам Солженицын бесспорно произвел на нее великолепное впечатление. Она спросила его: «Понимаете ли вы, что через несколько дней вы будете самым знаменитым человеком в мире, и это, может быть, будет самым тяжелым из всего, что вам пришлось пережить?»

К рассказу Солженицына «Матренин двор» Ахматова отнеслась восторженно. Она дала мне прочитать этот рассказ в рукописи, со словами: «Хочу сделать вам подарок». Другие рассказы Солженицына понравились ей значительно меньше, «Для пользы дела» совсем не понравилось. Также и пьеса; о пьесе она сказала: «Какая-то средневековая». Но в общем, кажется, это был единственный современный советский прозаик, кроме Зощенко, который ее по-настоящему интересовал.

...У Ахматовой был чрезвычайно высок интерес и вкус ко всему современному. Она охотно читала все новое, все, о чем говорили; интересовалась выставками, любила ходить в кино. После инфаркта возможности ее были ограничены, она стала очень грузной и, хотя ела чрезвычайно мало, никак не могла похудеть. Ходить ей было трудно, а по лестницам в особенности, каждый ее выход был осложнен необходимостью иметь провожатого, ловить такси. А до инфаркта она не пропускала хороших картин, и итальянский неореализм увлек ее, как и всех молодых. Она мне рассказывала, как полюбила кино с

самого его детства, с маленького кинотеатрика, когда кино еще совсем не было искусством. Вот в таком кинотеатрике на Петербургской стороне показывали «познавательную ленту» про живопись, и под знаменитой картиной Репина был титр: «Пушкин читает, Державкин слушает». И, вспомнив это, она залилась своим милым смехом.

Современная критика раздражала ее многословием. А что другой раз писали о ней, так и поверить теперь трудно. Я уж не говорю о временах «постановления». Но в 1960 году я, придя вечером на Ордынку, застала Ахматову в сердечном приступе. Оказалось, что утром она прочитала текст статьи Алексея Суркова, назначенный быть послесловием к ее сборнику «Стихотворения» в Гослитиздате. Она рассказала мне, что там были, например, такие выражения: «У Ахматовой не хватило ума...» В печатном тексте послесловия эти слова исключены, но все оно наполнено подобными развязными пошлостями.

Но и более удачные статьи, да и лучшие критические образцы всегда казались Ахматовой излишне подробными. Она так любила все лаконичное. При мне она получила письмо из лагеря от какого-то заключенного, совсем не сведущего в стихах и малограмотного — впервые имя Ахматовой он узнал, прочитав несколько ее стихотворений в журнале, и прислал в редакцию очень своеобразное письмо, где была о ее стихах — помню точно — такая фраза: «И каким-то холодком веет от раненого чувства простоты». Ахматова была в восторге от этого определения: «Ни один критик не сказал обо мне ничего подобного».

Однажды Анна Андреевна узнала от меня, что моей дочке — восьмикласснице — задали в школе сочинение о Пушкине, и она начала его такой фразой: «От поэзии всегда ждешь невозможного, а Пушкин дает нам это невозможное». Эта фраза ей так понравилась, что она велела привести девочку, дала ей в руки свое золотое перо, свою большую записную тетрадку в переплете и сказала: «Вот, пожалуйста, сюда. Вы напишите, а я это сделаю эпиграфом к своей статье о Пушкине». Она говорила моей Ире «вы», хотя знала ее с рождения. Она и Алеше Баталову говорила «вы», хотя знала его с шести лет и очень близко.

Как-то мы с Анной Андреевной говорили о только что вышедшем романе Хемингуэя «За рекой в тени деревьев». Роман ей не понравился, мне тоже. Она сказала: «Дочка, кровавые бифштексы, изуродованная рука — все это безобразно». Я добавила: «У Хемингуэя любовь всегда подразумевалась, а тут все прямо: я тебя люблю, ты меня любишь. Ну, уж так-то мы и все умеем». Это ее очень рассмешило, и она потом часто вспоминала мои слова по другим поводам: «Так-то мы все умеем».

Анна Андреевна была противницей популярного литературоведения и особенно столь распространившегося к середине XX века жанра «vie romanisée»*. Ей были интересны строгие исследования, построенные на документах, она читала их основательно, запоминала. Ее собственные литературоведческие интересы лежали в области пушкинианы. Я была несколько смущена, когда мой товарищ по работе в «Литературном наследстве» литературовед Л. Ланский решил ей послать свою специальную статью — он подготовил к печати письма Натальи Александровны Герцен к ее возлюбленному Георгу Гервегу. Мне показалось старомодным показывать такую работу Ахматовой, словно она международный эксперт по женской любви. Но я ошиблась, статья Ахматовой понравилась, она просила меня поблагодарить автора, а о Наталье Александровне Герцен сказала: «Как хотите, а умереть от любви — это почтенно».

Судя по стихам, сама Ахматова много раз умирала от любви. Но в жизни она умерла после нескольких инфарктов, после бесчисленных приступов тяжелой стенокардии, которые она переносила мужественно, как и все в своей «жестокой жизни». Я навещала ее во многих больницах, где ей пришлось лежать, в Москве и в Ленинграде, и всюду наблюдала, как ее любили окружающие. И Анна Андреевна очень этому радовалась.

Анна Андреевна всегда была очень терпелива и непритязательна. Антонина Петровна Оксман[6] как-то зашла к ней без звонка и — разбудила; огорченная, стала извиняться. Анна Андреевна ответила: «Ничего. Не сахарная». Тем более терпеливой она бывала в больницах, а уж чего там не навидаешься.

Отец Анны Андреевны рано умер — от первого приступа грудной жабы. Когда она расспрашивала врача о причине его смерти, врач сказал: «Вам эта болезнь не грозит. Во-первых, она не передается по наследству, а во-вторых, она почти никогда не бывает у женщин. Это болезнь служебных неприятностей». Судьба, однако, рассудила иначе, у Анны Андреевны была стенокардия.

Анна Андреевна любила путешествовать, бывать в новых местах и советовала мне: «Нет ничего более полезного для нервов, чем побывать там, где никогда не был». Какое счастье, что под конец жизни ей выпало триумфальное шествие по Европе!

В последний раз я видела Анну Андреевну в Боткинской больнице, в середине февраля 1966 года. Она сидела в кресле в коридоре и ждала — не придет ли кто. Посетителей было то очень много, то никого. В тот день, кроме меня, никто

---

* Беллетризованная биография *(франц.)*. — *Ред.*

не пришел, и я провела у Анны Андреевны больше двух часов. Она была окрылена сообщением из «Советского писателя» о том, что ее книгу «Бег времени» собираются переиздать. Ей понравилась идея художника В. Медведева[7] дать на суперобложку не весь портрет Модильяни, а только профиль из него. С большим удовольствием она выслушала мой рассказ, что ее книга уже стоит в десять раз дороже цены. Интересовалась подробностями о процессе Синявского и Даниэля. Рассказала мне, что шофер такси, который вез в больницу Анечку Каминскую, сказал: «Мы за Ахматову молиться будем». Расспрашивала о моем здоровье — я тогда тяжело хворала — и советовала не бояться больницы, говоря, что привыкаешь и ничего страшного.

Потом мы зашли в палату, и я вынула кое-что из сумки. Анна Андреевна посмотрела и обрадовалась: «Сок — вот спасибо! А то все почему-то яблоки приносят». (Яблоки ей было трудно жевать.) Я побежала искать открывалку. Анна Андреевна отпила. Эта старая тучная женщина, сидевшая на высокой больничной кровати, в тапочках на босу ногу, все равно выглядела по-королевски с чашечкой сока в руке, а рядом сияли прекрасные нарциссы, которые накануне принес Кома Иванов[8]. «Вишневый — это мой любимый». От этих слов я ушла в хорошем настроении, и ничто, ничто не подсказало мне, что я больше никогда ее не увижу.

На последней подаренной ею книге — надпись: «Милой Наташе Роскиной на память о многом. Анна Ахматова. 10 декабря 1965. Москва».

Н. В. Реформатская

С АХМАТОВОЙ В МУЗЕЕ МАЯКОВСКОГО

В конце мая 1948 года Анна Андреевна Ахматова приехала в Москву и, как обычно в те годы, остановилась у Ардовых, на Большой Ордынке, 17. Туда я и заехала как-то за Анной Андреевной, чтобы свезти ее в Музей Маяковского, где я работала. Заранее условились, что поедем в выходной день музея, когда там не будет ни экскурсий, ни посетителей, однако, садясь в машину, Анна Андреевна опять повторила: «Только чтобы никому не мешать, чтоб никакого шума...» Я заверила, что так и будет.

Директор музея, А. С. Езерская, встретила ее с обычной для себя приветливостью: «Рада увидеть вас в доме Маяковского». Анна Андреевна величественно поздоровалась с ней, и мы сразу поднялись на второй этаж в квартиру поэта. Маленькие комнаты — столовая и кабинет Маяковского — были залиты солнцем. Щурясь от ослепительного света, Ахматова чуть слышно сказала: «Пришло к поэту...» А потом добавила: «Как хорошо, что это у вас все настоящее, живое,— и не похоже на обычные музеи».

Она спросила, часто ли приходят в музей поэты. Я стала рассказывать про Асеева — он бывает постоянно и охотно выступает на наших литературных вечерах, про посещение музея Василием Каменским и выступление этого веселого и талантливого спутника молодости Маяковского на вечере его памяти. Называя имена других поэтов — современников Маяковского, я вспомнила о Пастернаке и замялась... Не так давно я его приглашала приехать в музей, он отказался наотрез. «Не сердитесь и не убеждайте. Я бывал на Гендриковом у живого Маяковского, был там 14 апреля. Но смотреть *музей* Маяковского (он подчеркнул голосом это слово) я не хочу».

Разговор перешел на тему о смерти Маяковского и трагически сложившихся в последние месяцы событиях его личной и общественно-литературной жизни, о его конфликте с рапповцами, травле «Бани», «непризнанности» поэта. Помню, как Ахматова проронила по этому поводу: «Да, ему это было невыносимо» — и добавила: «Мужчины этого перенести не могут, даже такой, как Маяковский, а может быть, особенно такой, как Маяковский».

Ситуации личной трагедии Маяковского, по-моему, не так волновали Ахматову, она мне только посоветовала погово-

рить с В. В. Полонской[1] и, узнав, что записки ее о Маяковском уже есть в музее, ни о чем больше не спрашивала.

— Кстати о самоубийстве,— сказала она,— одна моя знакомая, близко знавшая Маяковского до революции, рассказывала, что он всегда любил играть с револьвером. Сколько раз она видела револьвер в его руках,— сидит и вертит, пока ему не скажут: «Уберите, спрячьте, это не игрушка, зачем он вам?» Ответ бывал: «Может пригодиться».

Помню день, когда получено было известие о смерти Маяковского. Я вышла на улицу. Иду по Жуковской. И первое, что я увидела,— рабочие ломают «головы кобыльей вылеп» над воротами того самого дома, куда он ходил, где он жил. Помните, у него в поэме «Человек»:

Фонари вот так же врезаны были
в середину улицы.
Дома похожи.
Вот так же,
из ниши
головы кобыльей
вылеп.
— Прохожий!
Это улица Жуковского?

На меня это произвело тогда потрясающее впечатление.

Я попросила Анну Андреевну рассказать о ее встречах с Маяковским.

— Встреч было очень мало. Первая — в «Бродячей собаке». Он был тогда еще совсем юн, выступал вместе с другими футуристами, но запомнился он один. Так было и в другой раз, когда я там его слышала: ново, серьезно и значительно.

Со мной он бывал всегда при встречах внимателен и учтив. Меня удивляло, что он, футурист, знает много моих стихов. Я встречала его у художницы А. Экстер[2],— она писала тогда мой портрет. Маяковский был знаком с Экстер и, узнав, когда я буду позировать, пришел тоже. Встреч было наперечет, но всегда у Маяковского в те ранние годы была заинтересованность в этих встречах и, оставшееся неосуществленным, желание их углубить...

Кстати, о «Бродячей собаке»... Знаете, когда я была там последний раз? В начале войны, летом 1941 года... Я была у Томашевских. Борис Викторович пошел меня проводить домой. Только мы перешли Грибоедовский канал и направились по улице Ракова, опять началась бомбежка. Не переходя площади перед Русским музеем, мы обогнули угловой дом и вошли, как указывала стрелка, во двор, где было бомбоубежище. Когда спустились в него по ступенькам и оглянулись, вспомнили... да это же бывшая «Бродячая собака»!

После революции я как-то встретила Маяковского в Москве,

на улице; кажется, это было в начале 1923 года. Поздоровавшись, он мне сказал, что недавно вернулся из заграничной поездки, а теперь уйму работает...

Последняя встреча была в 1928 году на Кузнецком. Мы шли по разным сторонам. Маяковский, увидя меня, только поздоровался, приподняв шляпу.

Перед дальнейшим осмотром музея Анна Андреевна попросила «пощады», и мы спустились через читальный зал в сад. Еще в цвету была большая старая груша, а вокруг всего забора уже распустилась махровая сирень.

Потом пошли в библиотеку, кто-то попросил Анну Андреевну оставить автограф на одной из ее книг. Она невозмутимо ответила:

— Нет. Я неграмотная и ничего больше не пишу.

В библиографическом кабинете Ахматова очень обрадовала сотрудников возгласом удивления: «Не ожидала, что такая обширная «маяковиана»!»

В отделе фондов задержались довольно долго. Анна Андреевна с большим интересом и вниманием рассматривала записные книжки, рукописи Маяковского, своеобразие процесса его работы над стихом. Ее поразило, «сколько все же осталось у Маяковского сбереженного». О себе сказала:

— Я тоже никогда не относилась к своему архиву так любовно, как Блок. Куда-то все расходилось, кто-то брал, кому-то давала. Но коё-что есть. И никогда не вела дневников...

Анна Андреевна уезжала с большим букетом сирени, который поднесла ей директор музея. Она была явно тронута вниманием. Расставаясь, я спросила Анну Андреевну, очень ли она устала. «Устала? В меру. Вы должны больше устать». И она протянула мне на прощание несколько веток сирени: «Моему шоферу и гиду».

Прошло немало лет... Ахматова вновь получила приглашение приехать в Библиотеку-музей Маяковского, на этот раз — на литературный вечер, посвященный ее собственному творчеству. Он состоялся 30 мая 1964 года. Ахматова была нездорова и присутствовать на вечере не могла. Зал слушал магнитофонные записи — авторское чтение ее стихов. С докладом о поэзии Ахматовой выступали профессор В. М. Жирмунский и критик Л. Озеров. Анне Андреевне был отправлен с приветствием от собравшихся букет сирени из сада музея.

Э. Г. Герштейн

В ЗАМОСКВОРЕЧЬЕ

В самых последних числах мая 1951 года машина «неотложной помощи» доставила Ахматову в 5-ю Советскую больницу с диагнозом «предынфарктное состояние». В приемном покое она была еще на ногах — я с ней разговаривала. На следующий день, в воскресенье, я застала ее в изоляторе. Анна Андреевна лежала на спине, вытянувшись, молчаливая, с ужасной болью в груди. Меня она почти не узнавала. Взволнованная медсестра что-то принесла и быстро побежала за дежурным врачом... Потом мы узнали, что именно в тот час произошел инфаркт миокарда — тяжелый, двусторонний.

Через несколько дней ее перевели в общую шестиместную палату. Анна Андреевна лежала у левой стены, на средней кровати и, по ее настоянию, лицом к окну, выходящему в сад.

Я все еще входила к ней с опаской. Но 5 июня (дата у меня записана) она обрадовала меня своим спокойным и веселым видом.

— А мне здесь представление показывали,— произнесла она беззаботно. Я недоумевала.— «Каменного гостя».

— Где?!

— Там.— Она указала рукой на окно, за которым ветви деревьев почти касались стекла.— Я теперь поняла, как надо играть и как надо говорить. Здесь все дело в Командоре. Монумент стоит на пьедестале по бокам черного цвета, как бы два блестящих черных щита, — она обрисовала руками,— а посредине — серый, переходящий в алебастровый.

Статуя может быть в двух вариантах. Один такой: очень грузный, большой человек. Знаете, бывают такие большие мужчины с длинными усами, грубыми чертами лица, толстыми руками...

А другой вариант такой: тонкая длинная фигура уходит вверх так, что не видно головы. Голова упирается в небо и где-то там теряется.

— Этот вариант лучше,— говорю я.

— Как хотите.

И это вовсе не кладбище, а огромный купленный участок, никаких могил и гробниц здесь нет. А все актеры обычно тычут рукой и показывают, что здесь где-то похоронена «бедная Инеза». Это большой сад.

А дона Анна должна быть вся в белом. Хотя у Пушкина и

сказано: «...под этим вдовьим черным покрывалом», но нам до этого дела нет. Здесь траур был белым.

— Ну а Дон Гуан какой? — спрашиваю я.

— Дон Гуана мне не показывали.

Она помолчала.

— Но когда он говорит с Лепорелло, он гуляет по этому роскошному зловещему саду и нарочно говорит так, как будто здесь очень уютно и ничего особенного.

Придя домой, я сразу записала поразивший меня рассказ Ахматовой. Единственная запись, которую я себе позволила за все время нашего знакомства с 1933-го по 1966 год. Когда, выздоровев, Анна Андреевна пришла ко мне, я показала ей этот листок.

— Это не все. Там еще много было,— задумчиво сказала она.

В неурочное время телефонный звонок: Анна Андреевна просит немедленно приехать, передает медсестра. Встревоженная, я помчалась в больницу. Оказывается, произошло чисто житейское недоразумение. Свой взволнованный рассказ Анна Андреевна начала фразой: «Пришла NN, стукнула на стол боржом и сказала...» Выслушав и обсудив всю историю, я распутывала ее уже в городе. А сама не переставала дивиться памяти Анны Андреевны: задолго до инфаркта я обратила ее внимание на смелость выражения Л. Толстого в повести «Хозяин и работник» —«...молодайка... обмахнув занавеской уходивший прикрытый самовар, с трудом донесла его, подняла и стукнула на стол». Ни перенесенная опасная болезнь, ни чувствительность выздоравливающей не вытеснили из ее сознания это впечатление.

Как-то к слову я спросила Анну Андреевну, помнит ли она то лето и особенно возвращение из больницы.

— Как не помнить? — весело откликнулась она.

А что было? Да ничего. Был прохладный, но ослепительный солнечный день. Машина шла по Б. Калужской улице, рядом с водителем сидел Николай Иванович Харджиев, Анна Андреевна — со мной, на заднем сиденье. С жадностью вглядывалась она в пролетающую мимо улицу. Верхушки деревьев Нескучного. Благородные пропорции здания Первой градской больницы. Блестящий верх мчащихся навстречу машин... Неожиданно наклонившись ко мне, Анна Андреевна прошептала, почти выдохнула по-детски: «...Нравится...» Мы привезли ее на Ордынку, но остановились в замешательстве. В силах ли будет Анна Андреевна подняться на второй этаж? Об этом никто не подумал при выписке ее из больницы. Николай Ивано-

вич предлагал разные способы для облегчения подъема, один другого смешнее. Это так умилило Анну Андреевну, что она весело, хотя и медленно преодолела эту лестницу.

Спустя год после первого инфаркта, Анна Андреевна настолько окрепла, что мы поехали в Коломенское на автобусе. Потом долго еще шли пешком вверх по тропинке, в пыли под солнцем. Церковь Вознесения была открыта. Анна Андреевна вошла, легко осенив себя крестом к удовольствию стоящей вблизи сторожихи. Молча смотрела она на сужающиеся своды уходящего ввысь храма, на «царское место», где, как нам сообщили, сиживал Иван Грозный, и, выйдя на волю, прошептала: «Как страшно!» Она живо представила себе, как царь тут сидел и думал о своих жестоких делах.

Возвращаясь домой, мы подошли к пивному ларьку, где я хотела купить папиросы. Очередь расступилась. Но Анна Андреевна объявила, что хочет пить. Продавец протянул ей полную кружку пива. Она, не отрываясь, выпила ее до дна. И чем больше она запрокидывала голову, тем большее уважение отражалось в глазах окружавших нас рабочих, и она поставила на прилавок пустую кружку под их одобрительное кряканье и сдержанные возгласы удивления.

Несколько лет подряд каждый апрель, а потом опять в июле стояла сильная жара. Ахматовой с ее больным сердцем, конечно, следовало жить за городом, но куда ехать? В домах творчества она не хотела показываться, боясь любопытствующих расспросов и утомительного разглядывания. Гостить на дачах? Но дела складывались так, что ее присутствие в Москве очень часто бывало необходимо.

На Ордынке она прохаживалась по квартире Ардовых в штапельном платье-халате (с красными тюльпанами по синему фону), входила в залитую солнцем, всю в зелени столовую и вздыхала: «Суховей прорвался» (о «суховее» тогда постоянно писали в газетах).

Перед ночными часами она шла с В. Е. Ардовым на угловой сквер — подышать, а на следующее утро рассказывала о говоре «московских просвирен», вспоминая известные слова Пушкина. Блаженное вслушиванье в этот говор началось еще в замоскворецкой больнице, но нередко оно прерывалось возмущением: «Разучились говорить! Не знают, какого рода слово — мужского или женского, путают падежи».

Мы ходили с ней гулять, идя друг другу навстречу. Она выходила из дома № 17 в начале Б. Ордынки, я шла с Б. Серпуховской улицы. Заглядывали во все дворики, отдыхали там. «Переулки, где ходил Островский» полюбились Ахматовой, хотя как писателя она его недооценивала.

Длина ее комнаты на Ордынке равнялась длине тахты. Однажды Анна Андреевна лежала вопреки своему обыкновению лицом к двери, а спиной к окну. Я сидела напротив (или рядом, что в этой комнате-каюте одно и то же).

— Вы слышите? Уже совсем другой звук,— прервала она случайно наступившее молчание.

В квартире никого, кроме нас, не было. Тишина. В недоумении я бросила взгляд на растворенное окно, увидела угол стены, пожарную лестницу, вымахавший почти до второго этажа тополь.

— Лист уже суше,— объяснила Анна Андреевна.— Нет той влаги в шелесте, какая бывает в начале лета.— Дело было в середине июля, и, казалось, ничто еще не предвещало приближения осени.

В другой раз, в той же «каюте» на втором этаже, она прочла мне свое новое стихотворение, а я не сразу уловила, почему оно называется «Мартовская элегия». Она охотно заговорила:

— В марте, когда начинает таять снег, всегда кажется, что кто-то со двора приник к окну.

Меня потряс тогда образ надежды и обновления, завершающий эту «элегию»: «И казалось, что после конца никогда ничего не бывает... Кто же бродит опять у крыльца и по имени нас окликает?» Но когда я навестила Анну Андреевну на Ордынке за пять дней до ее кончины, она внезапно с тоской перебила меня: «Все время кто-то стоит за окном и зовет. Это бывает только в марте, вы не замечали?»

На Серпуховке я жила в больничном саду с выходом на улицу Щипок. Чаще всего Анна Андреевна приходила ко мне в послеобеденное время. Дождавшись звонка на ужин, когда больные разбредались по палатам, мы выходили в опустевший огромный сад. Вначале сидели на скамье посреди лужайки и «дышали озоном», не обращая внимания на близость кухни (впрочем, бездействующей в это время суток).

— Это какое дерево? — указывала Анна Андреевна на большую крону вдали и удивлялась: — Как можно не знать? — Она называла вяз или тополь, не уставала любоваться старым дубом перед нашим домом и разного возраста кленами.

Потом мы шли ближе к выходу на Серпуховку, опять сидели на скамье возле памятника А. В. Вишневскому, вдыхали запах распустившегося к вечеру табака и, так насидевшись, шли к стоянке такси на площадь. А так как ехать до Ордынки было слишком близко и таксисты сердились, я, проводив Анну Андреевну в машине и поднявшись с нею на 2-й этаж до дверей квартиры, возвращалась на той же машине через Люсиновку и весь ночной сад домой. Таков уж был наш ритуал. Вероятно, Анна Андреевна вспоминала и это, когда, даря мне книгу своих переводов из корейцев, надписала: «Другу

Эмме на память о нашей смиренной жизни в пятидесятых годах века в Замоскворечье — с любовью Анна. 13 апреля 1956. Москва».

Нередко мы ездили с Анной Андреевной на Центральный почтамт, где, по ее словам, «витает эпистолярная муза». Она находила свободное место за длинным столом, я становилась в очередь на отправку бандероли, и в этом огромном зале под шум хлопающих дверей и шаркающих ног, под дробный стук почтовых штемпелей и возгласы с названиями городов она писала письмо сыну в лагерь, где он был в заключении.

Однажды, возвращаясь с почтамта проходным двором, мы видели, как из полуподвального помещения к подъехавшему грузовику выскочили работницы в халатах и тут же среди луж и подтаивающего снега стали танцевать друг с дружкой, ожидая разгрузки. Русские девушки пользуются каждой свободной минутой, чтобы поплясать, обратила на них мое внимание Анна Андреевна. «Национальная страсть»,— утверждала она.

Как-то, придя на Ордынку, спросила Анну Андреевну, как ей нравится новое стихотворение Пастернака «Свиданье».

— Дивно! — сказала она.

Я ждала дальнейшей оценки стихотворения, как высокого образца любовной лирики. Но оказалось, что Ахматову прельстил только портрет женщины под снегопадом.

— «Одна, в пальто осеннем, без шляпы, без калош», как это современно! — восклицала она.— «...Течет вода с косынки по рукаву в обшлаг...»

После этого часто, собираясь гулять, она произносила пастернаковскую строку из «Свиданья»: «Пойду размять я ноги», я шутливо говорила: «Наденем пальтецо», и она неизменно подхватывала с нежностью: «Да... пальтецо».

В Москве шел французский фильм «Тереза Ракен» (по мотивам романа Золя, но на материале XX в.). Картина всем нам нравилась. В театральном доме Ардовых много и профессионально говорили об игре актеров, Анна Андреевна охотно присоединялась к похвалам знатоков. И вдруг, понизив голос, обратилась ко мне: «А вы заметили, как она вышла из машины?» Анна Андреевна имела в виду те кадры, где в полицейской машине Терезу (ее играла Симона Синьоре) везут на место преступления. Пустынный пейзаж, железнодорожные пути... Тереза ставит ногу в элегантной туфле на очень высоком каблуке прямо в лужу и даже не вздрагивает. Она идет как сомнамбула... Такие детали всегда волновали Ахматову. Без них искусство было для нее мертво.

Некоторые слушатели не принимали Одиннадцатую симфонию Шостаковича. Но Ахматова горячо защищала новый опус композитора: «У него революционные песни то возникают где-то рядом, то проплывают далеко в небе... как зарницы... Так и было в 1905 году. Я помню».

Она помнила не только первую революцию, но и более ранние времена. Как-то в «каюте» на Ордынке она описывала мне дом, в котором жила с родителями в Царском Селе, и упомянула о местной почтовой станции. Почту там развозили на лошадях. Анна Андреевна рассказала, с каким восторгом она со своей нянькой наблюдала, как ямщики выбрасывали из саней тяжелые тюки с корреспонденцией и с особым стуком кидали на пол станционной избы. «Ямщиков брали из Кирасирского или Гренадерского полков»,— задумчиво припоминала она. Вскоре я узнала этих силачей в «Царскосельской оде», написанной Ахматовой в Комарове в 1961 году:

А на розвальнях правил
Великан-кирасир.

Несмотря на авторский подзаголовок «Девятисотые годы», кажется мне, что и этот великан, и цыганка с постоялого двора, и солдатская шутка забрели в «Царскосельскую оду» из девяностых, когда Аня Горенко расхаживала со своей любопытной нянькой по удивительному городу.

Свои стихи Ахматова читала, легко прерывая беседу и не меняя позы. Она произносила их ровным тихим голосом, как бы сообщая. Только в некоторых местах прорывалось исступление, тотчас умеряемое. Я до сих пор не забыла, как она читала в 1936 г. стихотворение «От тебя я сердце скрыла». Может быть, потому что она читала его не с глазу на глаз, а в присутствии четырех человек в мастерской художника А. А. Осмеркина, волнение начало овладевать ею в строках:

Осторожно подступает
Как журчание воды,—

и, нарастая, достигло апогея в двух следующих:

К уху жарко приникает
Черный шепоток беды...—

слегка вибрирующий голос позволял догадываться о неистовстве, породившем эти строки. Но она тотчас овладела собой и закончила на ровном спаде. Еще больнее ранил меня вырвавшийся у нее возглас «Не забыть!» из трагического стихотворения «Уводили тебя на рассвете», которое она прочла здесь, не боясь.

Поздние магнитофонные записи чтения Ахматовой уже не передают этого впечатления. Голос ее с годами стал ниже и глуше, к тому же магнитофон сам по себе сгущает звук. Главное же в том, что стихи в этих записях текут беспорядочной вереницей, и это нарушает художественный эффект. Сохраняется только строгий ритмический рисунок авторского исполнения.

Большею частью Анна Андреевна читала для одного слушателя, не разрешала запоминать, отказываясь повторить текст. Иногда она говорила: «Здесь надо еще доработать, я еще подумаю». Самый же процесс творчества оставался скрытым. Мне трудно было себе представить, как и когда Ахматова сочиняла.

Я рассказывала Анне Андреевне о своем толковании лермонтовского образа Читателя. Она слабо реагировала на новизну моей трактовки (я считала, что Читатель — это Вяземский). Я предложила перечесть «Журналиста, Читателя и Писателя».

— Это только экспозиция,— небрежно отозвалась Ахматова о литературной полемике первой части.— А вот что замечательно: ведь Лермонтов описывает здесь, как он сам сочиняет стихи. — И она указала мне на кусок из монолога Писателя:

Бывают тягостные ночи:
Без сна горят и плачут очи,
На сердце — жадная тоска;
Дрожа, холодная рука
Подушку жаркую объемлет,
Невольный страх власы подъемлет;
Болезненный, безумный крик
Из груди рвется — и язык
Лепечет громко, без сознанья,
Давно забытые названья...

— Вот для этого все стихотворение и написано,— заключила Анна Андреевна.

Говорили о коварстве лирической поэзии. Поэт как будто открывает читателю свои самые сокровенные переживанья, но ходит как по канату. Один неверный шаг — и сорвешься в мелкое, личное, излишне откровенное. Я пошутила, что писанье лирических стихов, в сущности, занятие неприличное. Анна Андреевна ответила, что как раз недавно она беседовала на эту тему с «Люсей» (Лидией Яковлевной Гинзбург), тоже говорившей о невидимой черте, которую так опасно перейти поэту. Появление перед читателем в образе лирического героя и все-таки самим собой, со своей индивидуальной судьбой, мы сравнили с работой актера: как бы он ни пере-

воплощался, он все же сжигает свои нервы, плачет своими слезами, предстает перед публикой и одетый и раздетый одновременно. Словом, и актер и лирический поэт (больше, чем художники других областей) служит сам для себя материалом искусства. В память этой беседы мне особенно дороги были строки ее стихотворения «Читатель»:

И рампа торчит под ногами,
Все мертвенно, пусто, светло,
Лайм-лайта позорное пламя
Его заклеймило чело.

При первой публикации этого стихотворения редактору показалось бестактным слово «позорное», и, «чтобы не раздражать актеров», Ахматова заменила его словом «холодное». Так это стихотворение и печатается до сих пор. Но у меня есть авторизованная машинопись с первоначальным текстом. Хотелось бы, чтобы этот вариант приводился хотя бы в комментариях. Мне он представляется более верным. Интересно, что Л. Я. Гинзбург, печатая в 1977 г. в «Дне поэзии» свои заметки об Ахматовой, тоже приводит подлинные слова Анны Андреевны, корреспондирующие с первой редакцией «Читателя»: «Стихи должны быть бесстыдными».

В беседе Анна Андреевна любила цитировать поэтов-современников. Иногда к слову, как, например, в тридцатых годах пастернаковское: «Повесть наших отцов, точно повесть из века Стюартов, отдаленней, чем Пушкин, и видится точно во сне». А еще чаще без внешнего повода. Анна Андреевна высоко ценила стихотворение Мандельштама на смерть Ольги Ваксель и часто скандировала:

И твердые ласточки круглых бровей
Из гроба ко мне прилетели
Сказать, что они отлежались в своей
Холодной стокгольмской постели,—

или:

Я трамвайная вишенка страшной поры,
И не знаю, зачем я живу.

Не раз возвращалась к отдельным строкам ее любимого воронежского стихотворения «...кого, как тень его, пугает лай и ветер косит...». Перечитывая «Египетскую марку», восхищалась: «Богат Осип, богат». «Единственное, чего я не принимаю у него,— сказала мне Анна Андреевна,— это, как ни странно, «Стихи о русской поэзии». Здесь он ухитрился не заметить Пушкина».

* * *

Первый полет в космос ошеломил Ахматову. Ее, так любившую Землю, потрясли сообщения о том, как выглядит оттуда наша планета. Она взволнованно ходила по ордынской столовой и повторяла строки Гумилева (из стихотворения «Природа»):

Земля, к чему шутить со мною:
Одежды нищенские сбрось
И стань, как ты и есть, звездою,
Огнем пронизанной насквозь!

— Коля был визионер,— утверждала она.— Он писал это о нашем и еще более далеком времени.

— Самое страшное в космосе — абсолютная тишина,— содрогаясь, говорила Ахматова. Она любила шум, доносящийся со двора: кто-то выбивает ковер, кто-то зовет домой детей, хлопает дверца машины, лает собака... Она смеялась над теми писателями, которые стараются изолировать себя от звуков проходящей рядом жизни. С иронией приводила в пример, кажется, братьев Гонкур, добившихся полной тишины в своем деревенском уединении, но вот ночью лошадь в конюшне переступала с ноги на ногу... Анне Андреевне не мешало ничто.

Как удар подействовало на нее «Дознание» Леона Фелипе. По-видимому, это стихотворение было близко ей конкретностью видений поэта. Он видит «траурные реки», «черные кладбищенские кони» бегут «с рыданьем». Собеседник, поправляя его, переспрашивает: «С ржаньем?» «Все кошмары приводят к морю»,— твердит, не отвечая, поэт. Образ моря Леона Фелипе перекликается с мотивами поэзии поздней Ахматовой. Вот строки испанца:

К огромной раковине в горьких отголосках,
Где эхо выкликает имена —
И все поочередно исчезают.
И ты идешь один... из тени в сон,
От сна — к рыданью,
Из рыданья — в эхо...

Перевод А. Гелескула

— Это я должна была написать,— с силой, даже досадой, сказала мне Анна Андреевна.

Ахматова много думала о большой повествовательной форме. Часто она фиксировала внимание на неиспользованных сюжетах современности. Однажды мы обсуждали судьбу общей знакомой. Десятилетиями она питала душу обманчивыми надеждами.

— Еще один пропавший сюжет,— заметила я.

— Нет,— возразила Анна Андреевна.— Об этом уже напи-

сано.— И она стала излагать содержание рассказа Джона Стейнбека «О мышах и о людях», тогда еще у нас не переведенного.

Как известно, там описан грубый мир американских фермеров, быт сезонных рабочих с их бездомностью и мечтой о собственном хозяйстве. Один из них неумышленно убил жену хозяина. Возмездие совершается тут же. И когда его ведут на казнь, брат, гладя безвинного убийцу по затылку, дурманит его словами надежды: «Мы будем жить в своем доме, у нас будет свой клочок земли... и барашки...» На этом слове Анна Андреевна прослезилась. А это бывало с ней так редко.

Когда рассказ Стейнбека был напечатан по-русски, я сопоставляла его с изложением Ахматовой и не находила пластических сцен, запомнившихся с ее слов, не испытывала пронзительной жалости к убогим и трагическим душам этих людей и не ощущала так явственно сквозной идеи рассказа о безнадежной надежде.

То же самое было с «Процессом» Кафки, который Анна Андреевна прочла по-французски. Она пересказывала содержание романа гостям, собравшимся в ее ленинградской квартире на улице Красной Конницы. Лет через 6—7 «Процесс» вышел у нас в русском переводе. Я начала его читать. Где эти мрачные предзнаменования и предчувствия, набегавшие как волны? Где огненные повороты сюжета? Почему я не чувствую острой новизны будней? Мне виделись два просторных ленинградских окна, большой обеденный стол, за ним мы все — немного чужие друг другу — молча слушаем сдержанный и раскаленный рассказ Ахматовой.

Видимо, эти пересказы были для Ахматовой каким-то вторичным творческим процессом. Отсюда ее живейший интерес к построению сюжета. Каждый новый прочитанный роман подвергался ее придирчивой критике. Она проверяла линии развития сюжета, правильность мотивировок. Если она находила отклонения от истины в деталях, все произведение для нее разваливалось. Она прочла известный французский роман, где завязка строится на уличной сцене, увиденной из окна мансарды. Анна Андреевна проанализировала топографию описанного места и пришла к выводу, что улица не могла быть видна из этого окна. И какой бы острой ни была проблематика или динамичной фабула, после таких ошибок роман уже не мог привлечь ее внимания.

Все это признаки непрерывной внутренней работы, знаменовавшей тяготение Ахматовой к выходу в новые литературные жанры.

Как-то я сделала мимолетное признание, вовсе не ссылаясь на лефовскую теорию «литературного факта» и не цитируя Льва Толстого, хотя можно было тогда привести его известные слова: «Со временем вообще перестанут выду-

мывать художественные произведения. Будет совестно сочинять про какого-нибудь вымышленного Ивана Петровича... Писатели... будут только рассказывать то значительное... что им случилось наблюдать...» Без привлечения этих авторитетов я говорила Анне Андреевне о том же, но как о своей индивидуальной склонности.

— Значит, просто в вас этого нет,— воскликнула Анна Андреевна.— Это — самое главное!

Итак, самое главное — художественный вымысел.

Восклицание Ахматовой — ключ к ее затаенным интересам. Ни занятия Пушкиным, ни мемуарные очерки, ни работа над автобиографией, ни публицистические статьи (а публицистическим темпераментом пронизаны многие работы Ахматовой о Пушкине) — вся эта деятельность не покрывала ее тяги к прозе. Мне кажется, что Ахматовой владело неосознанное стремление создать традиционный психологический роман на широком историческом фоне XX века. Но все это брожение творческих сил впитала в себя «Поэма без героя». Произведение военных лет обрастало в последующие годы множеством вставок и изменений. Последняя редакция «Поэмы» по жанру и по стилю принципиально отлична от первоначального творения. Вероятно, поэтому Анна Андреевна не возражала, когда я поделилась с ней своим замыслом написать работу под заглавием «Две «Поэмы без героя». Она даже обещала предоставить мне для этого необходимые материалы. Но нам не суждено было больше увидеться. Это было в мое последнее свидание с Анной Андреевной — 28 февраля 1966 г. 2 или 3 марта она уехала в санаторий Домодедово, где через два дня скончалась.

Алексей Баталов

РЯДОМ С АХМАТОВОЙ

С самого детства, точнее, с шести лет, когда я впервые увидел Ахматову, ее образ накрепко соединился в моем воображении с Ленинградом...

...Уже само появление Ахматовой в моей мальчишеской жизни было необычайно значительно и впечатляюще. Может быть, отчасти причиной тому послужило и поведение старших и постоянное упоминание ее имени в разговорах о Ленинграде.

Когда вместе с мамой я переехал в дом, где поселились писатели, вокруг нас появилось столько людей, связанных с событиями литературной жизни, с поэзией и непосредственно с Анной Андреевной, что в моем ребячьем сознании она сразу заняла особое, даже несколько таинственное, вроде инопланетянское место.

...Наша квартира помещалась в первом этаже, у самой земли, так что летом я отправлялся во двор не иначе как через окно; комнатки были маленькие, и потому диван, стоявший в главной комнате и занимавший бо́льшую ее часть, являлся в то же время и самым парадным местом. Здесь усаживали особо почетных гостей, а в дни детских праздников даже устраивали сцену.

По-хозяйски, один на всем диване я имел право царствовать только в дни болезни, да и то при условии очень высокой температуры. Но каждый раз, когда из Ленинграда приезжала эта непохожая на московских маминых подруг дама, которую все называли по имени и отчеству, она сразу получала диван. Она забиралась с ногами и так возлежала на нем, когда хотела и сколько хотела. Опершись на подушку, она могла и пить кофе, и читать, и принимать гостей.

Она не только приезжала из Ленинграда, но и сама вся, по моим понятиям, была ленинградская. Ее прическа с длинной аккуратной челкой, какие-то особенно просторные длинные платья, позволявшие легко располагаться на диване, огромный платок, медленные движения, тихий голос — все было совершенно ленинградское.

...Еще до войны мама взяла меня с собой на гастроли в Ленинград, и тогда впервые я увидел его наяву.

...Специально для младшего поколения была устроена

экскурсия и в Царское Село, и Ахматова целый день водила нас по самым таинственным уголкам парка.

Следующий и последний раз я был с ней в этих местах после войны. Никаких особенно выгодных для рассказа событий в тот день не было, и только само согласие Ахматовой отправиться в Царское Село делало нашу поездку совершенно исключительной.

После войны она как бы навсегда рассталась с местами своей молодости. В стихах 1944 года есть такая строка:

На прошлом я черный поставила крест.

Так что ее намерение побывать в Царском Селе десятью годами позже окончания войны было для меня совершенно неожиданно и скорее тревожно, чем празднично. Я и теперь не берусь гадать, что заставило Анну Андреевну после многих лет именно в этот день осени пройти через весь Дворцовый парк, но ни минуты не сомневаюсь, что повод был важным и значительным.

Когда мы приехали, ни одной машины у входа не оказалось, да и посетителей, обычно дожидающихся экскурсии, я не заметил. Я уже собирался ставить машину, когда Анна Андреевна вдруг предложила мне ехать дальше. Мы медленно обогнули всю ограду и оказались у полуразрушенных задних ворот. Тогда реставрация еще только начиналась, и большинство строений носило отпечаток войны. Тут Анна Андреевна попросила остановиться.

Мы вылезли из старенького «Москвича», из той самой первой и любимой моей машины, которая называлась «Аннушка» или «Анечка», за что в свое время я расплатился ужасными днями стыда и угрызений совести, но это было позже и об этом рассказ особый.

Мы долго бродили по неубранным аллеям и заросшим дорожкам, останавливаясь в каких-то, на первый взгляд, ничем не замечательных местах. Редко и очень ровно в осеннем воздухе звучал совершенно спокойный, но невероятно захватывающий внимание, неподражаемо спокойный голос Ахматовой.

Помню, что в тот день голова ее была покрыта большим черным платком. И всё вместе — неяркий тихий день, каких бывает большинство в нашей долгой осени, полуразрушенные перила мостов с разбитыми декоративными вазами, недвижная черная вода в заросших берегах, пустые покосившиеся, словно покинутые своими изваяниями мраморные пьедесталы на перекрестках и темная фигура пожилой женщины в платке,— все это составляло мир какой-то хрестоматийно русской картины, тем более поразительной, что она все-таки оставалась живой и была еще пронизана пахучим сыроватым воздухом, гулкими криками птиц,

неторопливым журчанием переливающейся через запруды воды.

Я помню все это так подробно, потому что мне показалось, что тогда там мог бы быть сделан особенно выразительный и точный портрет Ахматовой послевоенного времени.

...Мы медленно шли по дорожкам. Отдельные фразы и замечания Анны Андреевны нельзя было сложить в последовательный рассказ, хотя она, видимо, просто в силу деликатности старалась что-то пояснять мне во время прогулки. Но, как и в другие сложные минуты жизни, Ахматова тогда была особенно сдержанной в словах и суховато-жесткой в проявлении каких бы то ни было чувств. Она не останавливалась в печальных позах, не припоминала, морща лоб, что было тут, а что там. Она шла, как человек, оказавшийся на пепелище выгоревшего дотла дома, где среди исковерканных огнем обломков с трудом угадываются останки знакомых с детства предметов.

— В жаркие дни он любил прятаться здесь,— с едва уловимым оттенком нежности сказала Анна Андреевна, когда мы проходили буйно поросший зеленью уголок острова.

Я пригляделся: в глубине, за кривыми тонкими стволами, торчал ржавый скелет железной скамьи, поставленной еще в лицейские времена.

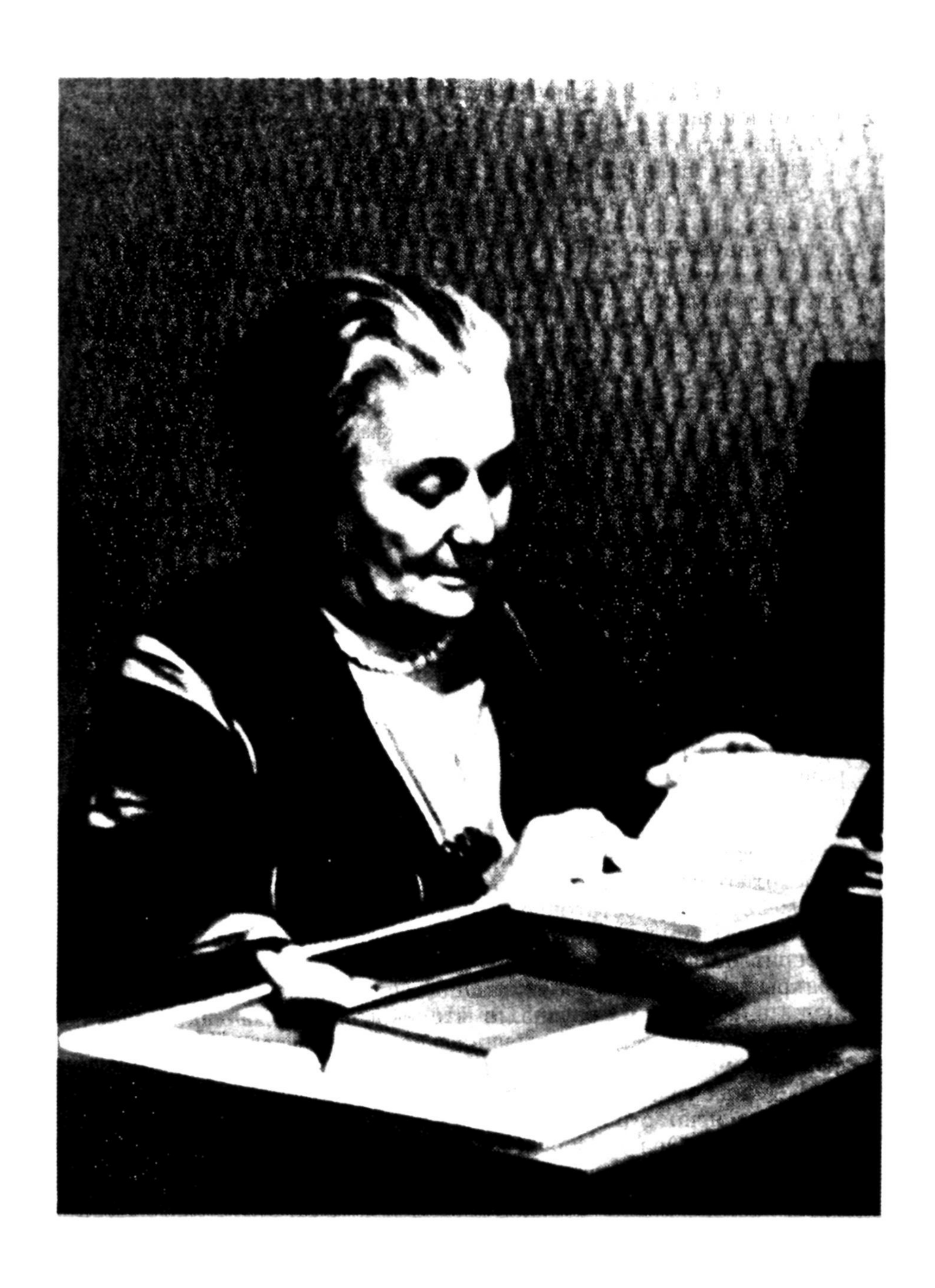
Здесь лежала его треуголка
И растрепанный том Парни.

К островку перекинут только один мостик. Я взглянул на него и вдруг ясно всем существом своим ощутил близость, вернее, реальность пушкинского бытия. Точное указание места как-то выдвинуло и словно материализовало его фигуру. И в самом деле, он мог пройти сюда только этим путем, по этим потертым чугунным плитам, и сидеть только здесь — другого, более укромного уголка на острове нет. А эта почти современная по форме железная скамья, запрятанная на самом берегу в кустах, будто нарочно была избрана Пушкиным, чтобы пережить все и остаться на своем месте даже тогда, когда стоящий в нескольких шагах каменный павильон содрогнулся от взрыва...

Анна Андреевна обогнула изуродованное строение и, взойдя на широкую растрескавшуюся ступеньку, провела рукой по краю кирпичной раны.

— Тут был какой-то секрет,— сказала она,— ведь места совсем мало, а инструменты звучали, как возле органа. Здесь все любили играть...

Видимо, в павильоне музыкальные вечера бывали и при Пушкине, но теперь Анна Андреевна уже говорила о своей юности. Меня поразило не столько то, что интонация, с которой она сказала об убежище поэта, ничуть не изменилась, когда речь зашла о музыке и ее собственных впечатлениях,



Анна Ахматова. Фотография Л. Гинзбург. Конец 50-х годов

сколько то удивительно мудрое, несколько пренебрежительное отношение к варварству, которое она сохранила на протяжении всего дня. Ее светлые внимательные глаза подолгу в упор смотрели на обезображенные, наверняка знакомые ей в каждом изгибе лепные украшения, на обломки статуй, на выгоревшие черные окна тех комнат, где ей не раз приходилось бывать, но в этих глазах не было ни удивления, ни злобы, ни слез. Мне даже почудилось, что сказанное в стихах о Ленинграде было для нее и клятвой, данной перед лицом всех неисчислимых, неоплакиваемых потерь.

Но мнится мне: в сорок четвертом,
И не в июня ль первый день,
Как на шелку возникла стертом
Твоя страдальческая тень.

Еще на всем печать лежала
Великих бед, недавних гроз,
И я свой город увидала
Сквозь радугу последних слез.

Я оторопел перед мужеством и духовной силой этой больной, старой женщины. Память и достоинство — вот и все, что она могла противопоставить всей этой чудовищной реальности.

Может показаться странным, что, вспоминая о поэте, воспевшем тончайшие движения женской души, я то и дело говорю о мужестве, о силе, о ясности взгляда, но — да простят мне настоящие биографы Ахматовой — без этой стороны ее человеческой натуры не могли бы явиться и многие строки ее сочинений, не мог бы возникнуть и тот покоряющий своей сложнейшей гармонией образ «человека на все времена», который и сейчас притягивает множество довольно далеких от поэзии людей. Оборвись жизнь Ахматовой раньше, чему было предостаточно возможностей, не проживи она, вопреки туберкулезу, голоду, тифу, инфарктам, назло всем превратностям судьбы такую полную, а главное, ничем не прикрытую, ни от чего не защищенную человеческую жизнь, люди никогда бы не узнали, что скрывается за ее поэтической маской, чем обеспечиваются строки ее прекрасных стихов.

...Человеческие изменения, происходившие с Ахматовой, довольно ясно отражены даже в самом простом подборе ее фотографий. Она менялась вместе со временем, но оставалась собой, ее голос никогда невозможно было перепутать с другими. Жизнь безжалостно разрушала ее человеческие убежища, оставляя один на один со всем тем, что происходило вокруг, выплавляя из ее души, из ее судьбы все новые и новые строки золотых стихов. Времени было угодно, чтобы она не только пережила войны, выпавшие на долю ее поколения, но еще и оказалась ленинградкой в самой страшной из них.

А не ставший моей могилой,
Ты, гранитный, кромешный, милый,
Побледнел, помертвел, затих.
Разлучение наше мнимо:
Я с тобою неразлучима,
Тень моя на стенах твоих,
Отраженье мое в каналах,
Звук шагов в Эрмитажных залах...

Постепенно, год за годом, обнажалась поэтическая и человеческая суть Ахматовой, та внутренняя целостность и сила, которые позволяли ей до последнего дня оставаться верной своему призванию.

Многие справедливо замечали, что в конце жизни Ахматова была похожа на портреты времен Возрождения. Судя по рисунку Леонардо да Винчи, где он изобразил себя стариком, она действительно вполне могла бы быть его сестрой, но в то же время и переодетым дожем Венеции и генуэзским купцом.

Однако самое интересное в этом наблюдении то, что она действительно и по духу, и по осанке, и по широте своих взглядов, и по разнообразию земных интересов была человеком формации Возрождения со всеми вытекающими из этой принадлежности выгодами, противоречиями, потерями и лишениями. Иными словами, ее уделом был не тихий музейный зал с уже обожествленными экспонатами, а, скорее, сама та раздираемая противоречиями, пронизанная жестоким противоборством жизнь, в круговороте которой поэт оказывался трибуном и борцом, художник — мыслителем, а мореплаватель — ученым.

...Глубочайшая связь стихов Ахматовой с ее личностью, судьбой, со всем, что ее окружало, породила удивительный резонанс. Теперь, когда ее нет, но большинство сочинений стало известно публике, оказалось, что и без пояснения специалистов, а просто из стихотворений, статей, кусочков прозы Анны Андреевны люди легко и верно составляют ее портрет. Для меня несомненно, что эта близость, понятность любых, даже на первый взгляд весьма личных стихов Ахматовой объясняется прежде всего тем, что она до конца разделила и пронесла на своих плечах судьбу современников.

Я была тогда с моим народом,
Там, где мой народ, к несчастью, был.

Очень трудно указать, выявить ту сложную связь, которая пронизывает любые настоящие стихи и впрямую накоротко соединяет их с личностью, с самой будничной жизнью поэта. Но она есть и, по моему глубокому убеждению, не обрывается никогда, оставаясь подлинной даже в самых прозаических обстоятельствах.

Помню, я должен был что-то сделать для Анны Анд-

реевны — не то сбегать куда-то, не то отыскать нужную ей книгу — и потому, вернувшись домой, уже с порога спросил, где Анна Андреевна.

— В больнице,— был ответ.

Я опешил.

— Врач со «скорой» предполагает разрыв сердца.

— Когда это случилось?

— Утром во время завтрака.

— Как же, когда я сам завтракал с ней?!

К вечеру все подтвердилось. Это был обширнейший инфаркт. Жизнь Ахматовой повисла на волоске... Даже говорить с ней было запрещено, и врач допытывался у домашних, как это произошло: не упала ли больная и не ударилась ли как-то при этом, долгой или внезапно короткой была боль, теряла ли она сознание — и все тому подобное. Но ничего «тому подобного», типичного для такого сердечного удара, не было.

Мы сидели за столом и завтракали. Надобно сказать, что под руководством Ардова завтрак в нашем доме превращался в бесконечное, нередко плавно переходящее в обед застолье. Все, приходившие с утра и в первой половине дня — будь то школьные приятели братьев, студенты с моего курса, артисты, пришедшие к Виктору Ефимовичу по делам, мамины ученики или гости Анны Андреевны,— все прежде всего приглашались за общий стол и, выпив за компанию чаю или «кофию», как говорила Ахматова, невольно попадали в круг новостей и разговоров самых неожиданных. А чашки и какая-то нехитрая еда, между делом сменяющаяся на столе, были не более чем поводом для собрания, вроде как в горьковских пьесах, где то и дело по воле автора нужные действующие лица сходятся за чаепитием.

В этом круговороте постоянными фигурами были только Ахматова и Ардов. Он спиной к окну в кресле, она — рядом, в углу дивана. Оба седые, красиво старые люди, они много лет провожали нас, напутствуя и дружески кивая со своих мест, в институты, на репетиции, в поездки, на свидания, а в общем-то, в жизнь.

В то утро все шло обычным порядком, только я выпадал первым и, поскольку нужно было уходить, старался по-настоящему съесть бутерброд и успеть выпить чаю. Дождавшись окончания очередной новости, которую принес кто-то из сидящих за столом, Анна Андреевна не спеша поднялась.

— Я на минуту вас покину,— сказала она. Взяла, как обычно, лежащую на диване сумочку, с которой никогда не расставалась, и направилась к двери.

— Анна Андреевна, я уже должен сейчас уходить, вы просили...— начал было я.

Ахматова повернулась, опираясь на полуоткрытую дверь.

— Бога ради, не думайте об этом, Алеша. Мы все решим вечером,— сказала она примирительно и, не торопясь, спокойно вышла из комнаты.

Я ушел. Через некоторое время, заварив очередную порцию свежего чая, мама заглянула в каморку Анны Андреевны. Ахматова лежала неподвижно, сумка была аккуратно поставлена на стул, туда, где стояла обычно, и только смертельная бледность лица заставила маму войти в комнату.

Врач не верил этому рассказу. Тогда он еще не знал Анну Андреевну, вернее, эта грузная старуха еще не соединялась в его воображении с тем поэтом, который несколькими годами раньше написал, обращаясь к страдающим в осаде людям:

Час мужества пробил на наших часах,
И мужество нас не покинет.

Мужество не покидало Анну Андреевну никогда, и полагаю, что это вполне естественно, поскольку мужество — качество, отличающее людей высшего порядка и по иронии судьбы стоящее на противоположном конце от тех мышечно-звериных признаков, которыми природа наделяет сильный пол. Человеческое мужество представляет собой силу, почти всегда направленную внутрь себя, в то время как звериное — чаще напоказ, в сторону окружающих, главным образом более слабых.

...Анна Андреевна позволяла себе иронизировать по поводу собственных знаменитейших стихов. И это ничуть не противоречило ее внешней царственности, не нарушало ее внутренней поэтической гармонии. Напротив, только дополняло и обогащало ее образ, сообщая ему то четвертое измерение, по которому Мандельштам отличал поэзию от рифмованных строк.

Помню, как однажды, когда «завтраканье» уже перевалило за полдень, в комнате появилась скромная, совсем еще юная поклонница Ахматовой. Оторопев от развязности и сумбурности разговора, который шел в присутствии ее кумира, она после долгого молчания почтительно и скромно попросила Анну Андреевну надписать ей книгу, которую, как святыню, держала в руках. Глубокая искренность и невероятное волнение, прозвучавшие в голосе этой девушки, точно пристыдили сидящих за столом; все как-то почтительно подтянулись, будто разом вспомнили чин, звание, возраст и значение Ахматовой, а еще вернее сказать, приняли на себя те роли, которые должны бы играть в присутствии Ахматовой, по разумению этой поклонницы.

Анна Андреевна извинилась и, забрав свою сумочку, пригласила гостью в каморку... Они удалились, разговор за столом быстро восстановился, но все-таки теперь шел в несколько приглушенных тонах, поскольку никому не хотелось

подводить Анну Андреевну в глазах непорочной представительницы читающей публики. Через некоторое время Ахматова в сопровождении раскрасневшейся и еще более взволнованной поклонницы вернулась в столовую и, предложив ей чашку чая, заняла свое место. Девушка молча глотала кипяток, и даже спокойные слова Анны Андреевны никак не снимали ее напряжения.

Всякий не совсем бессердечный человек, попав в круг такой сцены, невольно покажется себе чуточку развязным — уж слишком явственно все существо этой случайной посетительницы отражало истинное значение Ахматовой. Поэтому, когда, не проронив ни слова, девушка, ко всеобщему облегчению, благополучно проглотила последнюю каплю чая и, молча поклонившись, ушла, никто из оставшихся за столом как-то не решался первым возобновить разговор. Образовалась пауза, в которой все как бы впервые, наново устраивались, рассаживались вокруг Анны Андреевны. А она, ни на кого не глядя, точно не замечая этого замешательства, занималась своей чашкой. Вдруг, так и не отрываясь от чая, а только высоко, чисто по-ахматовски, подняв брови, она подчеркнуто драматично продекламировала, медленно роняя слова:

Сжала руки под темной вуалью...
«Отчего ты сегодня бледна?» —

и подняла лукаво смеющиеся глаза. Вся напряженная, тяжелая холодность минуты треснула, как лед, и живая веселая вода вырвалась на простор. С того дня всех поклонниц Анны Андреевны мы делили по ее стихам и соответственно им легко и весело соблюдали ритуал свидания поэта и читателя.

Но самое безжалостное, публичное издевательство над стихами Анны Андреевны устраивалось в виде представления. Гости, которых Ахматова развлекала таким образом, особенно преданные почитатели, каменели и озирались, точно оказавшись вдруг в дурном сне. Теперь я могу засвидетельствовать, что вся режиссура и подготовка этого домашнего развлечения принадлежат самой Анне Андреевне. Хотя, конечно, тут есть и своя предыстория.

Когда, вернувшись в Москву, на эстраде вновь появился Вертинский[1], кажется, не было человека, который избежал бы увлечения этим артистом.

...Благодаря множеству общих друзей Вертинский скоро появился и в доме Ардова. А на лето наши семьи поселились в дачном поселке Валентиновка, где издавна отдыхали многие актеры театра, певцы, писатели и художники. Таким образом я получил возможность не только часто бывать на концертах Александра Николаевича, но и наблюдать его дома. Необычайно доброжелательный, остроумный и какой-то открыто талантливый человек, Вертинский легко заражал

окружающих своей фантазией и постоянно поддерживал малейшие проблески творческих начинаний, так что ни одно домашнее торжество не обходилось без выдумки и всяческих веселых сюрпризов.

И вот для одного из таких дачных собраний силами молодежи Давид Григорьевич Гутман подготовил Вертинскому ответное представление, в котором я должен был изобразить самого Александра Николаевича.

...Александр Николаевич смеялся больше всех и после подготовленного номера заставил меня спеть еще несколько куплетов из разных песен. Надо сказать, что секрет успеха заключался не столько в самом исполнении, сколько в невероятном знании материала. Кроме слов всего репертуара Вертинского, бывая на концертах, я выучил и все его жесты, притом не только вообще присущие ему, а точно к каждому куплету.

С тех пор номер и остался для разных домашних и студенческих развлечений. Постепенно я настолько приспособился к пластике и характеру интонации, что легко подменял текст, заменяя слова песен нужными к случаю сочинениями. Особенно несуразно и смешно звучали в манере салонного романса стихи Маяковского. Анна Андреевна не раз заставляла меня повторять эти пародии и таким образом прекрасно знала весь мой репертуар.

И вот однажды при большом собрании гостей после чтения стихов, воспоминаний и всяческих рассказов вечер постепенно перешел в веселое застолье. Стали перебирать сценические накладки, изображали актеров, читали пародии и так постепенно добрались до Вертинского. Ничего не подозревая, я изобразил несколько куплетов, в том числе и на стихи Маяковского, и уже собирался уступить площадку следующему исполнителю, как вдруг Анна Андреевна сказала:

— Алеша, а вы не помните то, что Александр Николаевич поет на мои стихи?

Я, конечно, помнил переложенные на музыку строки Ахматовой «Темнеет дорога приморского сада...», но Вертинский в те годы не включал этот романс в программу концертов, и его можно было слышать только в граммофонной записи. На этом основании я и стал отговариваться от опасного номера.

— Но это неважно,— улыбнулась Анна Андреевна,— тогда какие-нибудь другие, как вы берете из Маяковского... Пожалуйста, это очень интересно.

Так я во второй раз оказался лицом к лицу с автором. Только теперь напротив меня вместо Вертинского сидела Ахматова, а вокруг, как и тогда,— несколько притихшие настороженные гости. Отступать было некуда, мой верный аккомпаниатор уже наигрывал знакомые мелодии. Здесь сле-

дует заметить, что даже переложение Маяковского выглядит не столь противоестественно и разоблачающе, как в случае с Ахматовой, потому что у него речь идет все-таки от лица мужчины, в то время как сугубо женские признания и чувства Ахматовой в соединении с жестом и чисто мужской позицией Вертинского превращаются почти в клоунаду.

Я сразу почувствовал это и потому решительно не знал, что же делать. Тогда, как бы помогая, Анна Андреевна начала подсказывать на выбор разные стихи. И тут мне стало совсем не по себе — это были строки ее лучших, известнейших сочинений...

Но она явно не хотела отступать. В такие минуты глаза Ахматовой, вопреки царственно-спокойной позе, загорались лукаво-озорным упрямством и, казалось, она готова принять любые условия игры.

Подсказывая, как опытный заговорщик, каждое слово, она наконец заставила меня спеть первые строки. Я осмелел, и романс стал понемногу обретать свою веселую форму.

Так в тот раз Анна Андреевна публично организовала и поставила этот свой пародийный номер, которым потом нередко «угощала» новых и новых гостей. Думаю, многие из них и сегодня не простили мне того, что я делал со стихами Ахматовой, поскольку не знали ни происхождения этой пародии, ни той лукавой мудрости и внутренней свободы, с которыми Ахматова относилась к любым, в том числе и своим собственным творениям.

Все это можно бы оставить в сундуке сугубо домашних воспоминаний и не связывать с представлениями о поэзии Ахматовой, но в таких, несколько варварских развлечениях, а главное, в том, как относятся к ним сами герои, мне всегда чудится и некоторое проявление скрытой силы, ясности авторского взгляда на мир и на свое место в нем. Будучи совершенно явным исключением среди всех окружающих, Анна Андреевна никогда сама не огораживала свои владения, не исключала ни себя, ни свои стихи из окружающей ее жизни.

Она всегда охотно читала свои новые сочинения друзьям, людям разных поколений и спрашивала их мнение и слушала их противоречивые суждения, а главное, до последних дней действительно была способна слышать то, что они говорили.

...Всегда оставаясь собой, Анна Андреевна тем не менее удивительно быстро и деликатно овладевала симпатией самых разных людей, потому что не только взаправду интересовалась их судьбой и понимала их устремления, но и сама входила в круг их жизни, как добрый и вполне современный человек. Только этим я могу объяснить ту удивительную непринужденность и свободу проявлений, то удовольствие, которое испытывали мои сверстники — люди совсем иного времени, положения и воспитания,— когда читали ей стихи,

показывали рисунки, спорили об искусстве или просто рассказывали смешные истории.

Убеленные сединами солидные посетители, которые навещали Ахматову в Будке, не на шутку смущались, найдя за ветхим забором вместо тихой обители у куста знаменитой бузины настежь распахнутый дом. Во дворе валялись велосипеды, стояли мотоциклы и бродили по-домашнему одетые молодые люди. Одни разводили костер, другие таскали воду, а третьи шумно сражались в кости, расположившись на ступенях веранды. В соответствии с испугом гостя и серьезностью его визита эта публика, конечно, сразу несколько стихала, приобретая необходимую долю приличия, но кипевшая вокруг дома жизнь отнюдь не прекращалась и не теряла первоначального направления. Анна Андреевна очень чинно уводила посетителя в свою комнату, говорила с ним о делах, угощала чаем или «кофием», а потом, если находила это нужным, приглашала гостя на веранду к общему столу.

— Эти молодые люди очень помогают нам,— сказала Анна Андреевна одному весьма важному человеку перед тем, как представить нас по именам.

Гость вежливо улыбнулся, но в глазах его вновь возникло то замешательство, которое появилось, когда он шагнул за калитку, и от этого я вдруг как-то со стороны взглянул на нашу компанию. Наверное, с точки зрения этого почтенного ученого, мы выглядели странновато. За столом, если не считать хрупкой Анечки Пуниной и милой старушки, которая хлопотала с посудой, сидела пестрая компания здоровенных парней, любой из которых вполне мог бы не то что обслужить, но ограбить две такие дачи вместе с зимним запасом дров.

Примерно такие соображения довольно явственно и отразились на лице почтенного гостя. Боюсь говорить за Анну Андреевну, но в ту минуту мне показалось, что она рассчитывала на этот эффект и теперь была вполне довольна.

А кончилось все наилучшим образом. Без малейшего усилия Анна Андреевна взяла на себя роль переводчика, и, хотя переводить ей приходилось не только с языка на язык, но еще и через два поколения, каждое из которых обладало своими симпатиями, она легко находила то, что оставалось живым, понятным и увлекательным для обеих сторон.

Ученый оказался замечательным и очень общительным человеком. Натянутость скоро исчезла, всем стало интересно и весело. Еще и еще раз неистово трещал мотоцикл, прыгавший по сосновым корням на дороге от дачи к магазину. Анна Андреевна всячески поднимала акции каждого из нас, так что к вечеру получилось, что за столом собрались люди, каждый из которых в своей области чуть ли не такого же значения, как и сам профессор.

Вообще на таких «балах» и нечаянных встречах мы представали перед гостями Анны Андреевны более умными, образованными, талантливыми, интересными, чем были на самом деле. Шутя и не шутя Ахматова всегда вроде бы между прочим завышала не только наши достижения и способности, но при удобном случае и чины. И это было бы просто мило и смешно, если бы теперь не оказалось, что многое из того, что сделано подле нее, вернее, в кругу ее внимания, и в самом деле лучше, значительнее, интереснее, чем то, что появлялось в замысле, в черновике или в эскизе.

Кто знает, может быть, люди именно потому так легко, надолго и охотно прикипали к ее жизни, что становились значительнее, талантливее, сильнее самих себя. Думаю, у каждого, кто бывал с Ахматовой, найдутся какие-то примеры, иллюстрирующие этот эффект возвышения, но они будут столь же различны, сколь не похожи характеры и судьбы окружавших ее людей.

Наталия Ильина

АННА АХМАТОВА, КАКОЙ Я ЕЕ ВИДЕЛА

Лето 1954 года я проводила в подмосковном поселке Голицыно, где снимала комнату, а столовалась в Доме творчества писателей.

Уютный дом, всего на девять комнат; обедали за табльдотом на большой веранде, на стол по-домашнему ставилась большая суповая миска, а к пяти вечера появлялся огромный медный самовар. Никакого привкуса казенщины; казалось, что мы в гостях у радушной хозяйки. Этой хозяйкой была Серафима Ивановна Фонская, тогдашний директор дома.

...Ахматова появилась во время обеда, сопровождаемая красивой, смуглой и стройной женщиной средних лет. Оговорюсь: наружность спутницы Ахматовой (ею была Н. А. Ольшевская) я заметила потом, тогда же мой взор был прикован к Анне Андреевне, и владело мною в тот миг чувство, похожее на то, которое я испытала, впервые увидев фальконетовский памятник Петру Первому: «Неужели это тот самый памятник и я, я его вижу?»

Когда она возникла в дверях, я вскочила на ноги. Позже, вспоминая этот день вместе с Анной Андреевной, я уверяла ее, что встали все. Она усмехалась: «Этого не было. Это вам померещилось». Не знаю. Может быть, и померещилось. Видела-то я только ее.

Ни лебединой шеи, ни челки, ни ломаных линий, ничего из ахматовского, по портретам знакомого облика. И все же эта высокая, полная, седая женщина, медленно ступившая на веранду, медленно, без улыбки, отчетливо произнесшая: «Здравствуйте!» — любезно и величаво наклонившая голову в ответ на призывы нервно суетившейся Серафимы Ивановны («Сюда, сюда, прошу вас!»), могла быть только Ахматовой. Она села. Веранда, только что гудевшая оживленными голосами, затихла, замерла.

С тех пор так и пошло. Наши оживленные застольные беседы замолкали с ее появлением. Никто не решался болтать при ней все, что приходило в голову. «Люди часто не слышат, что они говорят!» — сказала мне позже Анна Андреевна. В ее присутствии люди начинали себя слышать — так она действовала на окружающих. И не в том было дело, что они знали ее стихи, ее жизнь. Присутствие Ахматовой сковывало и тех, кто ничего о ней не знал. В ее молчаливости, в посадке голо-

вы, в выражении лица, во всем облике было нечто внушавшее каждому почтение и даже робость.

Шли последние дни августа. Погода стояла ясная, теплая. Был в тот год урожай желтых слив, удивительно сладких... Анна Андреевна и Нина Антоновна сидят в саду, сдвинув плетеные кресла, тихо о чем-то беседуют, едят сливы... Я, идучи мимо, почтительно здороваюсь и убыстряю шаг — из соображений самолюбивых: не навязываюсь, дескать, со знакомством... Но меня окликнули, остановили. Нина Антоновна слышала, что у меня есть английские детективные романы. Не дам ли я какой-нибудь почитать Анне Андреевне? Ахматова молчала. Лишь легким наклоном головы дала понять, что к этой просьбе присоединяется. Я тут же сбегала к себе, принесла две-три книжки. Услыхала медленное: «Благодарю вас».

Через несколько дней я застала Ахматову за столом у самовара в одиночестве. К чаю являлись не все, а Нина Антоновна утром уехала в Москву. Чаепитие наше прошло в совершенном молчании. Ахматова встала. И тут я внезапно, сама своей смелости удивившись, спросила: не хочет ли она погулять?

...Нина Антоновна Ольшевская из Москвы не возвращалась, и вместо нее я стала каждый день гулять с Анной Андреевной. Тем летом ей исполнилось шестьдесят пять лет. Она ходила медленно и, начиная задыхаться, останавливалась. Без провожатого, без руки, на которую можно опереться, Ахматова, видимо, ходить не могла... Мы ходили, сидели на голицынских скамейках, на лесных пнях, мало говорили, много молчали, и я не знаю, о чем думала она, когда молчала.

...Однажды, сидя рядом с Анной Андреевной на какой-то уличной скамейке, я стала рассказывать о писателях, живших в Доме творчества до ее приезда. Слушали меня благосклонно, и, осмелев, я одного писателя изобразила: как он кланяется, как закуривает... Внезапно глаза моей слушательницы блеснули, лицо сморщилось, осветилось, стало домашне-добрым,— она засмеялась, и видела я это в первый раз.

Наступил день ее отъезда. Я спросила: не надо ли помочь уложиться? Надо. И вот она сидит на диване, а я укладываю ее вещи в чемодан... дешевый, черный, потрепанный. Закрылся он легко, там всего очень мало. Королевские манеры — и этот чемодан и вещи в чемодане!

...В декабре того же года мне позвонил Виктор Ефимович Ардов: Ахматова в Москве, приехала делегатом на Второй съезд писателей, живет в гостинице, но в данный момент находится у Ардовых и выражает желание меня видеть. Мне было подробно объяснено, куда идти от метро «Новокузнецкая», куда повернуть, когда я войду во двор: направо — под арку, налево — в подъезд...

И вот я в квартире Ардовых. Передняя образует угол, внутри угла — шестиметровая комната, в которой обычно жила Ахматова. Сколько раз мне предстояло бывать в этом крошечном, с высоким потолком, похожем на шкаф помещении! Прямо из передней — дверь в общую проходную комнату: там большой стол и у стены диван с высокой прямой спинкой. Посторонних в тот вечер, кроме меня, кажется, никого не было, а народу много: Алеша Баталов с женой Ирочкой, сыновья Ардовых Миша и Боря, сам Ардов, Нина Антоновна, Анна Андреевна... Меня сразу включили в обсуждение цвета и фасона нового платья Анны Андреевны (только что окончилась примерка, происходившая в кабинете Ардова), потом вовлекли еще в какой-то разговор, было весело, непринужденно, пили чай... Ардов обращался с Анной Андреевной бесцеремонно, называя ее «мама» (с грузинским акцентом) и «мадам Цигельперчик» (с еврейским акцентом)... Нина Антоновна спрашивала с грубоватой заботливостью: «Лекарство опять не приняли?» Отодвигала масло: «Хватит, вам больше нельзя». Мальчики были весело-почтительны. Анна Андреевна была совершенно другой, чем в Голицыне, смеялась на шутки Ардова, и чувствовалось, что она привязана к Нине Антоновне и к мальчикам и что в этом доме ей хорошо.

Через несколько дней я навестила Анну Андреевну в гостинице «Москва», где Ахматова занимала большой двухкомнатный номер, деля его с какой-то ленинградской писательницей, тоже делегаткой съезда. Эта дама, к счастью, отсутствовала, мы с Анной Андреевной сидели вдвоем. Она сказала: «Чем бы вас угостить? — И, глядя искоса, как бы прощупывая почву, добавила: — Может быть, купить вина?» Я мгновенно вскочила и выразила горячее желание тут же пойти в буфет и принести вино... Какое-то время спустя, вспоминая этот гостиничный визит, Анна Андреевна говорила с усмешкой: «Помнится, вы очень оживились при слове «вино». Это была первая бутылка сухого вина, которую мы распили с Анной Андреевной.

Лето 1955 года она провела в Москве, у Ардовых. Я бывала у нее, она приезжала ко мне на улицу Кирова, где я тогда снимала комнату. Со мною и А. А. Реформатским [1] она провела день своего рождения — 23 июня. Я часто видела Ахматову, однако все еще ощущала скованность в ее присутствии... Помню теплый летний вечер, мы с ней сидим в сквере на Ордынке, куда Анна Андреевна ходила иногда подышать воздухом, и больше молчим, чем говорим. Затем я проводила Ахматову до дверей ее квартиры. Хотела проститься. «Зайдите, посидите со мной немного». В квартире тихо, кажется, кроме домработницы, нам отворившей, дома не было никого. В своей похожей на шкаф комнатушке Ахматова села не на кровать, как обычно, а к столу. Я — на стул около. Она надела очки,

положила перед собой какие-то листочки. «Я вам сейчас почитаю». И стала читать вступление к «Поэме без героя».

Впервые я слышала те мерные, торжественные интонации, с которыми Ахматова читала стихи.

...В октябре того же года за чайным столом Ардовых возник разговор о Голицыне. Нина Антоновна считала, что Ахматовой необходимо побыть на воздухе хоть недели две. Ехать туда одна Анна Андреевна категорически отказалась. Я вызвалась пожить там вместе с ней.

Мы снова в Голицыне. Осень, ранние сумерки, частые дожди, народу мало, не все комнаты заняты. И снова за общими трапезами я вижу Ахматову величественно-строгой, сурово-неприступной. Теперь я знаю, что это броня ее, в которую она облекается в присутствии посторонних. У кого хватит решимости прорваться сквозь эту броню с фамильярностью, с бестактным вопросом? Разве что у безумцев! Такие изредка находились. Подошла как-то к Анне Андреевне одна старушка, числившаяся в членах Союза писателей, но давно ничего не писавшая и явно выжившая из ума, и спросила шепотом: «А как поживает Зощенко?» «Хорошо, благодарю вас»,— ответствовала Ахматова.

В сумерках между чаем и ужином сидели в ее комнате. Как-то речь зашла о Блоке, о мемуарах Любови Дмитриевны. К этим мемуарам Ахматова относилась презрительно и произнесла запомнившуюся мне фразу: «Чтобы остаться Прекрасной Дамой, от нее требовалось только одно: промолчать!» В другой раз был упомянут Герцен. О нем, о жене его Ахматова говорила тем тоном, каким говорят о близких знакомых, а о семейной их драме так, будто она произошла вчера. Ахматова не прощала Наталье Александровне, что она вовлекла Герцена в свои отношения с Гервегом: «Терпеть не могу женщин, которые вмешивают мужей в свои любовные дела». И еще: «Уверяю вас, она умерла от любви к Гервегу...»

Помня, что Анна Андреевна читает по-английски, я дала ей роман Соммерсета Моэма «Бремя страстей человеческих». Роман этот мне нравился, Моэма я знала хорошо и вполне была готова побеседовать об этом авторе. Но я совсем не была готова к той уничижительной критике, которой Ахматова этот роман подвергла. Она издевалась над автором, ловя его на противоречиях, утверждала, что страдания героя смешны, ибо ничтожны. Я пыталась возражать, но логика Ахматовой безупречна, ирония несокрушима, и я замолчала беспомощно... Просто было неловко, что роман этот мне нравился. Слабо утешала себя тем, что читала его давно и не перечитывала...

Впервые тогда я услыхала суждения Ахматовой о литературе — очень страстные, очень личные. Литература была де-

лом, ее близко касающимся, непосредственно задевающим, тут она ничего прощать не собиралась, тут была неумолима. «За такое на Сенной бьют батожьем!» — это гневное восклицание я услыхала от нее позже, в связи с появившимся в газете весьма слабым стихотворением.

Той поздней осенью, когда я проводила наедине с Ахматовой многие часы, моя робость, моя скованность постепенно исчезали. Я ощущала ее дружелюбие, видела, что меня принимают такой, какая я есть, и нечего пыжиться, влезать на котурны, стараясь казаться умнее и начитаннее, чем на самом деле... О дистанции, нас разделяющей, всегда, разумеется, помнила, однако поняла, что с этим человеком говорить можно о чем угодно: о меню обеда, о погоде, о новой блузке, удачно мною купленной в голицынском магазине... Тут уместно добавить, что Ахматова, хотя и называла себя с усмешкой Серафимом Саровским (мирские дела не для нее!), однако украшения любила — ожерелья, броши, перстни,— вопрос «идет или не идет» не был для нее безразличен. Этому, впрочем, важности не придавала. Есть новое платье — хорошо, нет — и так обойдемся. Годами ходила в старой, с потрепанным воротником шубе, что очень беспокоило Нину Антоновну, взвалившую на себя все бытовые заботы Ахматовой. Но эта старая женщина с величавой осанкой украшала все, что бы на себя ни надевала, включая и шубу с потрепанным воротником...

И сплетничать с ней можно было, и новой блузкой хвастаться, и погоду обсуждать — банальнейшие темы! Но ничто не звучало банально в устах Ахматовой...

...Ахматова видела вещи под каким-то иным, непривычным углом: всякие обыденности в устах ее становились значительными — это поражало меня. Той осенью в Голицыне я открыла в ней блестящий сатирический дар, а несколькими годами позже — и дар комический, что тоже поразило меня... Как-то в Москве я зашла за ней к Ардовым, чтобы вместе ехать куда-то. Анна Андреевна стояла посреди комнаты в туфлях на босу ногу, держа в руке чулок. Увидев меня, объявила: «Если вдуматься, одного чулка мало!»

Юмор Ахматовой был мне близок, доставлял наслаждение необыкновенное, я хохотала до слез, она меня останавливала, сама не сдерживая улыбки: «Перестаньте смеяться над старухой!»

У этой величавой женщины, умевшей оцепеняюще действовать на присутствующих, был абсолютный слух на юмор, а основной признак присутствия такого слуха — это, мне думается, умение смеяться над собой, умение видеть себя в смешном свете.

Забегая вперед, расскажу вот о каком случае.

Осенью следующего, 1956 года по зову Ахматовой (обыч-

но говорилось по телефону так: «Не могли бы вы сейчас каким-нибудь чудом ко мне приехать?») я явилась в квартиру Ардовых. Передняя тут образует угол, в углу — холодильник. Гостям он служил местом свалки шапок, шляп, муфт и кашне. На этот раз поверхность холодильника украшала лишь одна дамская шляпа светло-коричневого фетра, пронзенная позолоченной булавкой с желтым прозрачным камнем. Вокруг холодильника витал тонкий запах духов.

Из столовой — смех Ахматовой и чей-то голос, женский, низкий,— где я слышала его прежде?

Седые волосы над подвижным, с нежной кожей лицом, темные насмешливые глаза узкого разреза — Раневская. Я узнала ее с порога. Только что рассмешила Ахматову, чрезвычайно этим довольна, написано на лице, сохраняющем, однако, полную серьезность, лишь в глазах что-то посверкивает... (Ближе познакомившись с Раневской, я узнала, что она, говоря смешное, всегда серьезна, почти печальна, и, лишь доведя собеседника до хохота, внезапно сама усмехается, произнося негромко и хрипловато: «Хэ-хэ-хэ».)

На Анне Андреевне ее любимое одеяние — великолепный, очень ей идущий темно-лиловый халат. И диван, на котором она сидит, старинный, красного дерева, с прямой спинкой, тоже идет ей... Раневская — в кресле, стоящем под углом к дивану. В кино я видела ее в ролях либо комических, либо трагикомических, бог знает во что одетую, а в жизни — элегантна, подтянута, светло-серый костюм, английская блузка... Анна Андреевна познакомила нас, делая это, как всегда, церемонно: «Фаина Григорьевна, позвольте вам представить...» И меня — по имени-отчеству, хотя обычно называла без отчества. Раневская сказала: «Очень приятно». В присутствии хорошо воспитанных людей я вспоминаю все, чему меня учили в детстве и что нередко позволяю себе забывать. Подтянулась, заявила, что и мне очень, очень приятно, села на предложенный стул, привстав, приняла из рук Ахматовой чашку чая и вообще слегка накрахмалилась. Это, однако, скоро со мной прошло, я ослабела от смеха...

Дело в том, что Раневская запела. Она исполняла романс на восточный, ею самой придуманный мотив, закатывала глаза, ломала руки: «Не любишь, не хочешь смотреть? О, как ты красив, п-р-роклятый! И я не могу взлететь, а с детства была крылатой!» Милостивый боже, стихи Ахматовой из сборника «Четки»! В присутствии автора эти строки пародируют, над ними издеваются! «И только красный тюльпан, тюльпан у тебя в петлице»,— прошептала напоследок «восточная» певица уже как бы в изнеможении... Мы тоже изнемогали от смеха — и автор «романса» и я... Ахматова, вытирая глаза (умела смеяться до слез), умоляюще: «Фаина! Теперь — швею».

Восточная дама, томящаяся от безнадежной любви, исчезла. Выглянула было Раневская (седая, насмешливая, в сером костюме) и тут же пропала. Перед нами очутилось существо кроткое, жалкое, запуганное: бедная швея. Отодвинув чашку, швея завертела ручку невидимой швейной машины и запела голосом унылым, монотонным, каким, вероятно, певали городские романсы старорежимные швеи на своих чердаках или в своих подвалах... Однако это не были слова нехитрого городского романса. Это были слова одного из трагичнейших стихотворений Ахматовой: «Соседка из жалости — два квартала, старухи, как водится,— до ворот, а тот, чью руку я держала, до самой ямы со мной пойдет».

Ахматова плакала от смеха. Я тоже плакала. Но не только от смеха. От изумления и восхищения.

Раневская называла Ахматову «рабби» — библейское обращение к учителю. Надо было слышать, как Раневская вопрошала ученически-кротко: «Рабби! Объясните мне, пожалуйста...» — «Фаина, чего не знаю, того не знаю».— «И вы хотите, чтобы я поверила, рабби? Вы мудрейшая! Вы знаете все!»

А я той голицынской осенью 1955 года стала шутливо называть Анну Андреевну «мэм» — не из-за наших ли разговоров об английской литературе? Она не протестовала, ей это нравилось, так это и осталось. С той поры, обращаясь к ней, я уже ни разу не назвала ее по имени-отчеству. И выработался никогда не изменяемый «зачин» телефонных разговоров. Если звонила она, то, узнав ее голос, я вопросительно: «Мэм?» «Она!» — отвечала Анна Андреевна. Когда звонила я, называть себя мне не требовалось. Я начинала: «Мэм...» — и слышала в ответ: «Ну?»

Смесь почтительности и фамильярности, звучавшая в обращении «мэм», придала новую окраску нашим отношениям. Я спрашивала: «Мэм, можно я немного похвастаюсь?» Она отвечала: «Даю вам три минуты».— «Это слишком, мэм, я уложусь в полторы».— «Попробуйте». Свое восхищение ее стихами или радость по поводу того, что она нынче хорошо выглядит, я выражала примерно так: «Вам не кажется, мэм, что вы просто гений?» И: «До чего вы сегодня красивы, мэм!» Она откликалась так: «Не льсти — не люблю, как говорил купец у Островского».

Ноябрь 1955 года Ахматова провела в Ленинграде, а в конце этого месяца вновь приехала в Москву, куда привели ее дела, связанные с выходом книги переводов корейских поэтов. Однажды зимой Анна Андреевна была у меня, на улице Кирова. Собирались обедать, поджидали А. А. Реформатского, задержавшегося на заседании. Он пришел наконец. «А я только что слышал строчку ваших стихов, Анна Андреевна, которых раньше не знал: «Ржавеет золото, и истлевает

сталь...» — «От кого вы это слышали?» — спросила Ахматова таким странным, взволнованным голосом, что я, возившаяся у стола, изумленно обернулась. Александр Александрович перестал улыбаться, почувствовал за этим что-то серьезное, стал рассказывать... Он курил в коридоре, стоя у окна, и борода его (в те годы рыжевато-русая) золотилась на солнце, и проходивший мимо В. В. Виноградов произнес: «Помните, у Ахматовой? «Ржавеет золото, и истлевает сталь...» — «И все? И ничего не добавил?» — «Ничего!» — «Надо немедленно позвонить Виноградову, быть может, он помнит! Или у него записано. Это мои стихи из сожженной тетради[2], я забыла про них! А кому-то читала, кто-то запомнил, записал, быть может!» Анна Андреевна попросила карандаш и бумагу, стала восстанавливать эти утраченные стихи, звонила Виноградову. Стихотворение было восстановлено. В сборнике «Бег времени» опубликована его последняя строфа:

Ржавеет золото, и истлевает сталь,
Крошится мрамор. К смерти все готово.
Всего прочнее на земле — печаль,
И долговечней — царственное слово.

Той зимой к Ардовым приезжала родственница, тоже старая женщина, и Анне Андреевне было негде жить. Уехать к себе в Ленинград она не могла: держали в Москве дела. Бывало так, что день она проводила у меня, в маленькой комнате на улице Кирова, вечером же я провожала ее на ночлег к кому-нибудь из друзей: к Марии Сергеевне Петровых, к Фаине Григорьевне Раневской или на квартиру Шенгели. А. А. Реформатский называл это «бедуинский образ жизни», и Анне Андреевне это выражение понравилось, рассмешило ее, и потом она говорила так: «Когда это было, не помните? Кажется, во время очередного бедуинского образа жизни».

Мы влезаем в переполненный автобус, идущий на Хорошевское шоссе, где живет М. Петровых. Мест нет. Ахматова пробирается вперед, я задерживаюсь около кондукторши. Взяв билеты, поднимаю глаза и среди чужих голов и плеч различаю хорошо мне знакомый вязаный платок и черный рукав шубы. Рука протянута кверху, держится за поручень. Обледенелые стекла автобуса, тусклый свет, плечи и головы стоящих покачиваются, и внезапно меня охватывает чувство удивления и ужаса. Старая женщина в потрепанной шубе, замотанная платком, ведь это она, она, но этого никто не знает, всем все кажется нормальным. Ее толкают: «На следующей выхо́дите?» Я крикнула: «Уступите кто-нибудь место!» Не помню: уступили или нет. Только это ощущение беспомощного отчаяния и запомнилось...

В декабре того же 1955 года Ахматову увезли во Вторую градскую больницу. Приступ аппендицита — еще и это! Оперировать тогда не решились, операцию сделали несколь-

кими годами позже. Ахматова лежала в палате, где было еще четверо больных. Одна из них ночами стонала, бредила, кричала — была не в себе. Уже выписавшись, Анна Андреевна рассказывала, что женщина эта каждое утро, указывая на койку Ахматовой, громко спрашивала: «А та бабка еще не померла?» Рассказывала с юмором, посмеиваясь. А пока была в больнице, куда ее друзья ежедневно по очереди к ней ходили, ни звуком не обмолвилась ни о ночных стонах, ни об утренних вопросах и вообще не проронила ни слова жалобы.

Февраль — март 1956 года. Морозы в феврале до тридцати пяти градусов. Я живу на улице Обуха в очередной снимаемой комнате. Вокруг чужие вещи: легкомысленные, шатающиеся столики, за которыми трудно писать, расстроенное пианино, пыльные ковры, на стенах фотографии в затейливых рамках и расписные, с золотыми ободками тарелки. И все же я довольна. Тихо, толстые стены старого дома, соседей не слышно, можно работать. Хотелось, чтобы друзья за меня радовались, и я была очень огорчена словами своей в те годы близкой приятельницы... Оглядев тарелки и рамки, она воскликнула: «Как вы можете тут жить? Я бы не могла!»

А Анна Андреевна, войдя, сказала: «Здесь божественно тепло!»

Бессмысленных слов (ведь я ничего не могла изменить!) она не говорила никогда. Тем паче слов, которые способны задеть или встревожить собеседника. Английская поговорка: «Воспитанный человек никогда не бывает груб без намерения» — подходила к ней, как ни к кому другому. Так называемых «неосторожных слов» у нее не вырывалось. Она твердо знала, *что* она говорит и *зачем*.

В этой «божественно теплой» комнате Ахматова проводила иногда весь день, видимо, опять был период «бедуинского образа жизни». Я стучала на машинке, она читала. Перечитывала она тогда «Отца Сергия» Толстого, и почему-то у нас называлось это так: «Пэр Сэрж». «Дайте-ка мне пэра Сэржа!» — говорила Анна Андреевна. Я шла за едой в кулинарию у Покровских ворот, обедали. Вечером вызывалось по телефону такси, и я провожала Анну Андреевну в тот дом, где она должна была ночевать.

Ранней весной того года набранное типографским шрифтом имя Ахматовой появилось на титульном листе маленькой книжки: «Корейская классическая поэзия. Перевод Анны Ахматовой».

Вечером 13 мая мне позвонили от Ардовых: завтра приезжает Анна Андреевна, а встретить ее некому. Утром четырнадцатого я отправилась на вокзал. Было ясно, солнечно, уже зелено. Вот я стою на перроне, передо мной медленно плывут вагоны, и в окне я вижу лицо Ахматовой. Оно поразило меня выражением какого-то гневного страдания. Будто ничего доб-

Анна Ахматова и Лев Гумилев. Ул. Красной Конницы. Фотография Е. Ряпасова. 1960 г.

рого не ждет она и от этого своего приезда. Ничего, кроме бед, не ждет и вполне к этому готова. «У меня только *так* и бывает!» — часто слышала я от нее.

Оглушенная «шумом внутренней тревоги» (она любила эти пушкинские слова и часто их повторяла), Ахматова не видела ни перрона, ни людей и увидела меня лишь в тот момент, когда поезд остановился и я подошла к окну вплотную. Лицо ее смягчилось, подобрело, а я подумала: «Неужели, неужели у нее всегда такое лицо, когда она одна?»

В июне того же года я была в Ленинграде и впервые увидела Ахматову дома, на улице Красной Конницы. В квартире этой кроме Ахматовой и И. Н. Пуниной с мужем и дочерью одну комнату занимали люди посторонние.

Незадолго до этого Литфонд выделил Ахматовой маленькую дачу в Комарове (полторы комнаты и кухня), которую Анна Андреевна окрестила «Будкой». В последующие годы я именно там навещала Ахматову, а на улице Красной Конницы была лишь в тот давний приезд, и мне смутно запомнилась эта квартира... На стене комнаты Ахматовой висел

Анна Ахматова. Ул. Красной Конницы. Фотография Е. Ряпасова. 1960 г.

писанный маслом портрет О. Глебовой-Судейкиной (о которой рассказано в «Поэме без героя»), против входа — стеллаж, уставленный книгами и дающий комнате уют, который всегда дают книги, от остального же — впечатление заброшенности, давно не вытираемой пыли... И высокое окно старой петербургской квартиры, сквозь запыленные стекла которого был виден широкий, по-летнему пустынный Суворовский проспект.

Ахматовская беспомощность в быту была мне уже известна. Кто же заботился об Анне Андреевне? В Москве я слыхала, что существует домработница, но видеть ее мне не довелось... Забегая вперед, скажу, что в течение многих лет каждую весну вставал вопрос: кто сможет поехать с Ахматовой в Комарово? Кто будет носить из колодца воду и готовить обед? Эти заботы брали на себя по очереди друзья, и однажды вышло так, что никто не смог поехать, и об Анне Андреевне пеклась жена поэта Гитовича, Сильва Соломоновна, жившая в соседней «будке»...

Тот приезд мне запомнился тем, что Ахматова показывала мне свой город и немного мой, ведь я в нем родилась. Она была еще так подвижна тем летом! Мы ездили в воспетый ею Приморский парк Победы, ходили по Невскому, часто останавливались: Анна Андреевна рассказывала мне чуть не о каждом доме, кто в нем жил и что в нем было...

Еще не кончились белые ночи, а мы с Анной Андреевной, не зажигая огня, ужинали в моем номере «Европейской» гостиницы...

Позже, когда мы с А. А. Реформатским переехали в новый дом на Аэропортовской, Ахматова была у нас и читала «Поэму без героя». «А ведь герой тут есть,— сказал Реформатский.— Герой поэмы — Петербург». Ахматова согласилась с этим.

...В самом конце 1958 года мне удалось привести в исполнение давнюю свою мечту — купить автомобиль, который я стала водить сама. С тех пор повелось: когда Анна Андреевна уезжала в Ленинград, я везла ее на вокзал.

Я не видела человека, который переносил бы переезды так болезненно! А ведь могла бы, казалось, привыкнуть: постоянно ездила из Ленинграда в Москву и обратно, раза по четыре в год ездила. Но каждый раз, уезжая, становилась сама не своя. Выражалось это в застылости, окаменелости, трагически-гневном выражении лица: шествие по перрону всегда проходило в полнейшем молчании — никто не решался его нарушить. Выражалась эта болезнь в том, что Ахматова, внезапно остановившись, начинала судорожно шарить в сумке билет, вытаскивать и засовывать обратно какие-то бумаж-

ки, а лицо белое, а глаза безумные, и ни помочь ничем нельзя, ни сказать ничего нельзя. Провожающие, замерев, испуганно переглядывались, но наконец билет найден, все облегченно двигаются дальше. Войдя в вагон, усевшись, Анна Андреевна приходила в себя и успокаивалась совершенно.

Чего она боялась? Думаю: именно этого шествия по перрону, иногда длинного... Видимо, каждый раз ее мучил страх, что она не дойдет, что ей станет плохо.

Впервые я везла Анну Андреевну на вокзал в дождливый вечер ранней весны, когда водительского опыта было у меня еще очень мало. Щетки едва успевают прочищать стекло, огни светофоров, фонарей, машин отражаются в мокрой поверхности асфальта, я плохо вижу, а кроме того, не знаю, разрешен ли левый поворот на нужную нам улицу. До того вечера я еще ни разу самостоятельно не ездила на площадь трех вокзалов и предвидела дьявольские сложности, как повернуть, к какому выходу подъехать, где оставить машину? А рядом сидит безмолвная, напряженная Ахматова, а сзади чрезвычайно оживленно разговаривают и хохочут две провожающие Анну Андреевну дамы и Боря Ардов. Веселятся напоследок. Знают, что на перроне уже не повеселишься.

Своими сомнениями, опасениями я, разумеется, ни с кем не делюсь, да и кто мне может помочь? Я молчу, но мысленно ропщу. Господи, думаю я, почему не вызвали такси? Всегда вызывали такси, вот бы и сегодня вызвали, я ведь не навязывалась! Это она придумала: «Не нужно такси, меня отвезет Наташа». Вот тут бы мне и сознаться, что я по этим улицам еще в жизни не ездила, а я вместо этого бодренько воскликнула: «Ну конечно, отвезу!» И значит, сама виновата. Значит, вези.

Кончилось все благополучно. И довезла, и оштрафована не была, и машину куда надо поставила, и затем догнала молчаливое шествие на перроне, и простилась с Анной Андреевной, уже посаженной в вагон, уже успокоенной. Радоваться бы! Но слаб человек! Меня огорчало, щемило как-то, что никто моей доблести не заметил, стараний не оценил, слова одобрения не произнес. Все восприняли всё как должное: сел человек за руль и привез куда следовало.

И вот, когда прошло много времени и я давно забыла об этой поездке, Анна Андреевна внезапно говорит: «А вам надо пальмовую ветвь дать за то, как вы меня весной в дождь на вокзал везли!» Оказывается, все оценила, все поняла. Те, кто сзади смеялся и разговаривал, не заметили ничего, а она с ее предотъездным безумием, она, про которую я думала, что она ничего кругом не видит,— она видела все. И все запомнила.

Много раз затем поражала меня ее чуткость, ее полное понимание того, как настроен человек, рядом с ней сидящий,

что он чувствует, что думает... Она сама про себя говорила, что на семь аршин под землей видит. И видела.

Беспомощная, зависимая от окружающих, вынужденная к ним постоянно прибегать (то сопровождать ее надо было куда-то, то купить для нее что-то), она совершенно точно знала, кого можно попросить, а кого нельзя. Она умела не ставить ни себя, ни другого в неловкое положение отказывающего и отказ выслушивающего.

И память ее меня поражала. Бывало, расскажешь ей что-то с тобой случившееся, тебя касающееся, забудешь, а она помнит. Несколько раз у меня были случаи убедиться в том, что мои обиды, на которые я в свое время жаловалась ей и которые потом забывала, она помнила. Она не забывала ничего. Это удивляло меня и трогало.

Ходить ей было трудно, поездки в автомобиле давали ей возможность видеть улицы города, видеть природу. Мы с ней много ездили, и пассажиром она была идеальным. Не вскрикивала, не вздрагивала, не предупреждала о надвигающемся грузовике, не поучала, не давала советов. Она полностью полагалась на человека, сидевшего за рулем, и если бывали минуты испуга, то Анна Андреевна никогда этого не показывала, вела себя так, будто не в машине сидела, а в кресле дома...

...Мы с ней много ездили. Она любила арбатские переулки, улицу Кропоткина (всегда называла ее Пречистенкой), часто просила меня отвезти ее в 3-й Зачатьевский... В этом переулке она жила когда-то, написала о нем: «Переулочек-переул, горло петелькой затянул...» Очень любила церковь Вознесения в Коломенском, куда мы непременно ездили два-три раза в год. Она садилась там на скамью, спиной к воротам, и долго смотрела на церковь. Как-то я сказала: «Здорово, правда, что я купила машину?» — «А я-то вас отговаривала. Говорила: не покупайте, Наташа, машину, купите лучше шубу!» В ответ я долго смеялась. Она выдумала насчет «отговаривала» и насчет «шубы». Это была ее манера шутить.

В октябре 1959 года мы поехали в Троице-Сергиеву лавру, как Анна Андреевна всегда называла Загорск. Была с нами Татьяна Семеновна Айзенман [3]. Погода выдалась теплая, серенькая, моросил дождь. Как всегда, мы то говорили, то молчали, потом Анна Андреевна замолчала надолго, и мы с Т. С. этого молчания не нарушали. Внезапно Анна Андреевна произносит торжествующим голосом: «А я стихи сочинила!» И тут же прочитала их.

Это стихотворение, начинавшееся так: «Не стращай меня грозной судьбой и великою северной скукой...» — было позже опубликовано в «Новом мире». И под стихами написано: «Ярославское шоссе». Анна Андреевна собиралась и номер машины под стихами поставить (дескать, место написания),

но в редакции ее отговорили, справедливо указав, что это звучит таинственно и похоже на шифр... В тот день мы с Татьяной Семеновной услыхали первый вариант стихотворения, ничего толком не поняли и сознались в этом. Анна Андреевна сказала: «Над ним надо еще работать».

Еще она любила березовую рощу, находившуюся недалеко от Успенского шоссе: только березы, все примерно одного возраста, почти без подлеска, без единого другого дерева, занимающие большой участок и дающие впечатление светящейся белизны. Впервые я свезла туда Анну Андреевну осенью, потом была долгая зима, и вот весной мы снова туда приехали, и, увидев рощу, Анна Адреевна сказала: «Так она есть? Она существует? А мне все казалось, что это был сон».

Однажды в автомобиле, рассказав мне случай из своей жизни, Ахматова внезапно добавила: «Вы прозаик. За вами не пропадет». В тот момент я пропустила это мимо ушей, лишь через несколько дней спохватилась. Боже мой, ведь я знаю ее уже пятый год, столько всего от нее слышала и столько всего за мной уже пропало: нет у меня привычки ни дневники вести, ни записные книжки заводить... Вот, видимо, с того момента, спохватившись, я и стала записывать ахматовские, чем-то меня поразившие фразы. Речь Ахматовой была настолько своеобразна, точна, порой афористична, что передавать ее своими словами, восстанавливать в памяти, опираясь лишь на смысл сказанного,— такое было бы бесстыдством. Записывать следовало по горячим следам, в тот же день. Это не всегда удавалось. Поэтому записей мало, и они отрывочны.

«Она проводит время в неустанных заботах о себе самой». (Это об одной нашей общей знакомой.)

«Нет предела их слабости!» (Это — о мужчинах.)

Про себя насмешливо: «С большой прямотой напросилась на комплимент».

«Всегда мне были подозрительны люди, которые слишком любят животных, и те, которые их не любят совсем».

«Хвастовство ослабляет человека. Открываются тысячи ахиллесовых пят».

(Гневно.) «Нельзя писать о войне таким же тоном, каким женщина рассказывает о своих недомоганиях». (Это по поводу статьи одной писательницы.)

«Приходилось видеть, как женщина преследует мужчину...— Пауза, а затем очень убежденно и раздельно: — Из этого никогда ничего, кроме сраму, не получалось».

Выслушав исповедь одной своей знакомой, задумчиво: «Со мной все бывало. И это со мной было».

На мой вопрос, как она относится к стихам одной поэтессы, сказала: «Длинно пишет. Все пишут длинно. А момент лирического волнения краток».

Говорили о прозе, и я — о том, как отражается личность автора на всем, что он пишет. Она: «А в лирике нет. Лирические стихи лучшая броня, лучшее прикрытие. Там себя не выдашь».

Об одной своей молодой приятельнице, много помогавшей ей с бумагами и рукописями, сказала: «Она все делает тихо, как бабочкино крыло».

«Рухнул в себя, как в пропасть!» (Эти слова я слышала от нее не раз. Они произносились по адресу эгоцентриков, и интонация Ахматовой бывала гневной...)

Как-то она сказала, что не любит Чехова. Я: «Почему?» Она: «Подумайте сами». Я стала думать. Придумала вот что: ее стремление к ясности, конкретности, точности не признает недоговоренности, некоей пастелевости... Короче говоря, придумала я нечто шаткое и малоубедительное, однако рискнула ей это сказать... В тот день она приехала из Ленинграда, лежала в маленькой комнате Ардовых усталая, полубольная. В такие дни приглашала к себе так: «Приезжайте, если вам не скучно сидеть с больной старухой...» Итак, я высказала свои мыслишки, а она разгневалась, села на кровати.

«При чем тут это? Совершенно не в этом дело. Поймите: Пушкин и Чехов несовместимы. Чехов и стихи несовместимы!»

Затем она что-то добавила (забыла, что именно) и еще более гневно: «А как он описывал представителей высших классов, чиновника Орлова, его гостей! Он этих людей не знал! Не был знаком ни с кем выше помощника начальника станции. Среди правоведов, лицеистов было сколько угодно мерзавцев, но ведь они были хорошо воспитаны! А тут — идут в спальню Орлова и смеются над дамскими вещами. Разве так бывало? Неверно все, неверно! А как он крестьян описывал... Возьмите крестьян у Толстого — вот тот их знал!» Помолчав, успокоившись, добавила: «Вы только никому не говорите. Для интеллигентов Чехов — икона».

Кажется, в этот же вечер насмешливо говорила о Бальзаке, о его романсе с полькой, разоблачая общепринятый взгляд на длинную, верную, нежную любовь... «Скрывался от долгов, называл себя безутешной «veuve* Мари», в землях польки увидел выход, а она его надула».

Как-то заговорили о Толстом и Достоевском. Она: «Вы делаете ошибку, свойственную многим русским интеллигентам, противопоставляя Толстого Достоевскому. Неверно. Они как две самые высокие башни одного и того же величест-

* Вдова *(франц.). — Ред.*

венного здания. Самые высокие. Вершины. В них лучшее, что есть в русском духе».

И еще о Достоевском: «Преступление и наказание» — единственный его роман, правильно построенный. В остальных действие происходило раньше, а мы присутствуем лишь при развязке, самой последней».

О романе «Подросток»: «Русский большой роман не может быть построен на шантажном письме, зашитом в подкладку. Это ошибка гения... Подросток учился у Тушара, с детства учился, а стеснялся своего дурного французского языка. Это Федор Михайлович себя вставил, как он себя чувствовал, попав в общество... И опять себя, когда подросток рассуждает о любви, о том, что после первой ночи он ее убьет. Не мысли мальчика, а самого Федора Михайловича... И тут же он перепутал из Библии...»[4]

Она сказала, чтó именно перепутал, но, к сожалению, это я забыла.

Жалею и о том, что не записала вовремя ее великолепную гневную речь, посвященную роману «Анна Каренина». Она утверждала, что Толстой в романе этом сказал: женщина, изменившая мужу, пусть по самой страстной любви, становится женщиной потерянной... Она утверждала, что Толстой, в начале романа влюбленный в Анну, в конце романа ненавидит ее и всячески унижает. И доказывала это цитатами. Но невозможно своими словами передавать ее речь... Надо было слушать ее самое, видеть ее гневное лицо. А гневалась она потому, что ненавидела всякую домостроевщину. Не раз я слышала от нее слова: «Я всегда за развод».

Ноябрь, 1960 год. Сидим в маленькой комнате у Ардовых. Анна Андреевна вспоминала прошлое в связи с тем, что в апреле будущего года исполнится пятьдесят лет с тех пор, как стихи ее впервые появились в журнале «Аполлон» и очень быстро был отклик в газете «Новое время» — пародия Буренина... [5]

Я спросила: «Какие именно стихи были тогда опубликованы?»

«Смрадный «Сероглазый король» и еще что-то... Не помню уже что...»

Ее раздражал успех, выпавший на долю «Сероглазого короля». Об этих стихах она говорила тоном оправдания: «Мне же было тогда двадцать лет, и это была попытка баллады».

Между прочим, она очень сердилась, что А. Вертинский пел эти стихи, использовал для своих песенок тексты еще нескольких стихотворений Ахматовой, переделывая и перекраивая их... «Это не в добрых нравах литературы!» — гневно говорила Анна Андреевна. Эту фразу, кстати, я от нее нередко слышала и по другим поводам...

Позже, в тот же ноябрьский вечер, младший сын Ардовых, Борис, ученик театральной студии, рассказал вот что: накануне в студии был какой-то торжественный вечер, и для студийцев играла знаменитая пожилая актриса: Боря Ардов на вечере не был, и товарищи упрекнули его: «Что ж ты не пришел? Неудобно! Старуха так старалась!»

И Анна Андреевна мне: «Не дай вам Бог до этого дожить!»

Я вполне освоилась в ее обществе, свободно молчала, свободно говорила все, что приходило в голову. Последним, быть может, несколько злоупотребляла. Бывало, что Анна Андреевна произносила шутливо-жалобно: «Почему я, такая нежная, должна это слушать?» (она пародировала Бальмонта, который когда-то сказал что-то в этом роде...). В наступившей простоте отношений я временами забывала, *кто* рядом со мной! Ее драгоценное общество неизменно доставляло мне радость, но одновременно я жалела ее — и потому, что она стала глохнуть, и потому, что ей было трудно ходить. Это отношение, однако, надо было тщательно скрывать: «Я не любила с давних дней, чтобы меня жалели...» Если, забывшись, я говорила: «Итак, мэм, я вас привезу...» или: «Я вас отвезу...» — меня строго поправляли: «Вы, видимо, хотели сказать, что мы вместе поедем?»

Весной 1961 года в Гослитиздате вышел сборник «Анна Ахматова. Стихотворения (1909—1960)». Небольшая, изящная книжка с послесловием А. Суркова, а вместо предисловия — автобиография Ахматовой: «Коротко о себе». На моем экземпляре надпись рукой Анны Андреевны: «Наталии Ильиной в хороший летний день, дружественно. Ахматова, 3 июня 1961 года».

Видимо, именно в этот хороший летний день мы с ней ездили в Переделкино: Ахматова везла свою книгу в подарок Чуковскому. Вечер был удивительный — тихий, теплый, розовый. Сев на садовую скамью, Ахматова произнесла: «Здесь хорошо до преступности!»

Как они были прекрасны рядом — Ахматова и Чуковский! Она, полная, седая, величественная, в чесучовом просторном платье, и он, в белом пиджаке, с белой на смуглом лбу прядью, длинный, худой, слегка и почтительно к ней наклонившийся... Я оставила их на скамье вдвоем, любовалась на них издали, прохаживаясь по участку. И странно мне было, что эти два человека, имена которых я знаю всю жизнь, тут, рядом, и я благодарила судьбу, подарившую мне встречу с ними и их доброе ко мне отношение...

Позже мы ужинали на веранде... Вслух вспоминали о том, как в начале пятидесятых годов Анна Андреевна была в гостях у Корнея Ивановича и сюда, на веранду, спасаясь от грянув-

шего ливня, забежал Фадеев. И Анна Андреевна обратилась к нему с трудной личной просьбой. Вспоминая об этом, она сравнила себя с толстовской Анной Михайловной Друбецкой с ее «исплаканным лицом».

— Вы не были исплаканной! — возразил Корней Иванович.

— У меня для этого были все основания. Куда больше оснований, чем у Друбецкой!

Июнь 1962 года. Мы едем куда-то в машине, и происходит такой диалог:

— Мэм, вам нравится летать на самолете?

— Нет. В этом есть что-то преступное. Глядишь на землю, она маленькая-маленькая, нереальная. И легко можно подумать: а почему бы не бросить бомбу? Очень просто!

Затем мы говорили об одном писателе, чей роман кому-то не понравился и был подвергнут ожесточенным нападкам критики...

Анна Андреевна (повествовательным тоном): «...и тогда его знакомые с ним раззнакомились и стали чьими-то чужими знакомыми...»

В августе того же года я была по делам в Ленинграде и два дня прогостила в Комарове у Ахматовой. Утром мы с ней пошли гулять. Прогулка не была длинной, для нее имелись раз и навсегда установленные границы: «Вот до этой скамейки я обычно дохожу». И мы сели на эту скамейку.

В конце минувшего, 1961 года Анна Андреевна лежала в ленинградской больнице, там-то ей вырезали наконец аппендикс. И сейчас она стала рассказывать мне о том, как ее навестил в больнице один швед...

— И была на нем рубашка ослепительно белая, как ангельское крыло. И я думала: пока у нас была война, революция, опять война, пока мы обагряли руки в крови, сидели в блокаде, в Швеции только тем и занимались, что гладили и стирали эту рубашку...

...Позже в тот же день на веранде Будки Ахматова читала мне написанные в больнице стихи «Родная земля» («В заветных ладанках не носим на груди, о ней стихи навзрыд не сочиняем, наш горький сон она не бередит, не кажется обетованным раем»). И затем стихотворение «Комаровские наброски» с эпиграфом из Цветаевой: «О, Муза Плача...»

О двух своих встречах с Цветаевой Анна Андреевна рассказала мне в январе 1963 года... Обе встречи произошли в начале июня 1941 года. До тех пор Ахматова и Цветаева друг друга не видели никогда. Пастернак передал Анне Андреевне, что Цветаева хотела бы встретиться с нею, и сообщил телефон Цветаевой.

«Звоню. Прошу позвать ее. Слышу: «Да?» — «Говорит Ахматова».— «Слушаю». Я удивилась. Ведь она же хотела меня видеть? Но говорю: «Как мы сделаем? Мне к вам прийти или вы ко мне придете?» — «Лучше я к вам приду».— «Тогда я позову сейчас нормального человека, чтобы он объяснил, как до нас добраться».— «А нормальный человек сможет объяснить ненормальному?»

Пришла на другой день в двенадцать дня. А ушла в час ночи. Сидели вот в этой маленькой комнате. Сердобольные Ардовы нам еду какую-то посылали...

О чем говорили? Не верю, что можно многие годы точно помнить, о чем люди говорили, не верю, когда по памяти восстанавливают. Помню, что она спросила меня: «Как вы могли написать: «Отними и ребенка, и друга, и таинственный песенный дар...»? Разве вы не знаете, что в стихах все сбывается?» Я: «А как вы могли написать поэму «Молодец»?» Она: «Но ведь это я не о себе!» Я хотела было сказать: «А разве вы не знаете, что в стихах — все о себе?» — но не сказала.

На другой день в семь утра (она вставала по парижской привычке очень рано) позвонила по телефону — это кухарка мне передала,— что снова хочет меня видеть. Позже созвонились. Я в тот вечер была занята, ехала к Николаю Ивановичу Харджиеву в Марьину рощу. Марина Ивановна сказала: «Я приду туда». Пришла. Подарила «Поэму воздуха», которую за ночь переписала своей рукой. Вещь сложная, кризисная. Вышли от Харджиева вместе, пешком. Она предупредила меня, что не может ездить ни в автобусах, ни в троллейбусах. Только в трамвае. Или уж пешком... Я шла в театр Красной Армии, где в тот вечер играла Нина Ольшевская... Вечер был удивительно светлый. У театра мы расстались. Вот и вся была у меня Марина».

Итак, Ахматова говорила, что лирические стихи — лучшая броня, лучшее прикрытие, там себя не выдашь. А с другой стороны, говорила и так: в стихах все о себе.

Мне казалось, что одно противоречит другому, и я не знала, как это противоречие примирить, пока не наткнулась однажды на слова Гоголя о Пушкине: «Даже в те поры, когда метался он сам в чаду страстей, поэзия была для него святыня — точно какой-то храм. Не входил он туда неопрятный и неприбранный; ничего не вносил он туда необдуманного, опрометчивого из собственной жизни своей; не вошла туда нагишом растрепанная действительность. А между тем все там — история его самого. Но это ни для кого не зримо. Читатель слышал одно только благоухание, но какие вещества перегорели в груди поэта затем, чтобы издать это благоухание, того никто не может услышать».

...Как-то в другой раз, когда я расспрашивала о Цветае-

вой Анну Андреевну, она сказала, что у ранней Цветаевой было много безвкусицы... «Любила Ростана. А эта шкура из «Нездешнего вечера», на которой она сидела! Безвкусица во многом. А сумела стать большим поэтом!»

Помолчав, добавила: «Недостойная поэта тема — богатые и бедные!»

Говоря о характере Цветаевой, Анна Андреевна вспоминала такой диалог между ними. Цветаева сказала: «Я многих спрашивала: какая вы?» Ахматова, поддавшись на эту удочку, заинтересованно: «И что ж вам отвечали?» — «Отвечали: «Просто дама!»

(Черновые наброски этих записок я дала прочитать дочери Цветаевой Ариадне Сергеевне Эфрон [6]. Прочитав, она написала мне письмо, постскриптум которого мне кажется нужным здесь привести. Выделенные слова подчеркнуты автором письма:

«О «безвкусице» ранней Цветаевой: *безвкусицы* не было, было всегда (у М. Ц.!) — «с этой безмерностью в мире мер...» М. Ц. была безмерна, А. А.— гармонична; отсюда разница их (творческого) отношения друг к другу. Безмерность одной принимала (и любила) гармоничность другой, ну, а гармоничность *не* способна воспринимать безмерность: это ведь немножко не comme il faut с точки зрения гармонии».)

Как-то в присутствии Анны Андреевны я спросила Марию Сергеевну Петровых об одной молодой поэтессе. «Она способная!» — ответила Мария Сергеевна. И тут Ахматова гневно: «Способных поэтов не бывает! Или поэт, или нет! Это не та работа, когда, вставши рано поутру, умывшись, садишься за стол: дай, дескать, потружусь. Стихи — это катастрофа. Только так они и пишутся. Если не так,— читатель сразу поймет и почувствует!»

Гневалась она и вступала в споры, лишь когда речь касалась предметов, близко принимаемых ею к сердцу. По другим поводам до споров и опровержений не снисходила.

...Летом 1964 года у меня гостила моя сестра Ольга, жена француза, со своей младшей дочерью Катей. Последние числа августа мы втроем провели в Ленинграде, жили в «Европейской» гостинице. Анна Андреевна всегда была в курсе моих дел, знала, что летом приедет моя сестра, и было условлено, что я привезу ее в Комарово. О дне и часе мы условиться не могли, телефона в Комарове не было, и я всегда являлась к Ахматовой более или менее неожиданно, никогда не зная, что я там застану.

...Зеленая Будка была полна народу. На кухне хлопотала старушка, заведовавшая тем летом бытом Ахматовой. На столе веранды Нина Антоновна чистила ею собранные грибы. Были тут еще какие-то молодые люди. Один из них сообщил, что сейчас отправится на велосипеде в станционный магазин за водкой.

Катя, уверенная, что ее ждет монашеская тишина одинокого жилья старой дамы, и все говорят вполголоса, и никаких детей, и дикая скука, воспрянула духом. Тут же осведомилась: нет ли второго велосипеда. Он был. «Я могу тоже ехать?» На лице сестры отразилось колебание, но я быстро сказала: «Пусть, пусть ее едет!»

Тем временем хозяйку дома, находившуюся в своей комнате, рисовал карандашом ленинградский художник, молодой и мне неизвестный. В лиловом просторном платье, очень ей шедшем, откинув крупную седую голову, Анна Андреевна сидела у стола и выглядела очень величественно. Указала мне пальцем в щеку (целовать сюда!), любезно улыбнулась моей сестре: «Здравствуйте!» Потом осведомилась: «Где же девочка?» Что должна быть девочка, Ахматова помнила. Она всегда все помнила. Я ответила, что девочка уехала за водкой. «Прекрасно!» — сказала Анна Андреевна. Держа на коленях деревянную доску с прикрепленным к ней листом ватмана, художник тем временем делал свое дело. По-моему, делал его плохо. На рисунке Ахматова была похожа не на живого человека, а на статую Свободы.

А с веранды раздавались голоса, а из кухни — шипение жарившихся грибов, и вот их прямо на сковороде поставили на стол. Сеанс окончился, художник исчез, на веранду вышла Ахматова, и весело-беспорядочная трапеза получила официальное название «обеда». После грибов ели суп, тарелок не хватало, их тут же бегали мыть. Из Ленинграда нагрянули новые гости: Боря Ардов с молодыми поэтами и актерами обоего пола. Анна Андреевна удалилась к себе отдохнуть, а мы пили чай, слушали музыку — пришли Женя Чуковский с женой Галей Шостакович и принесли магнитофон с пленкой — новое произведение Дмитрия Дмитриевича... Перед ужином вспомнили, что в доме ВТО живет Раневская, кто-то вызвался сбегать за ней...

Не помню, сколько народу сидело за ужином, что-то много... Раневская была в ударе, много и смешно рассказывала, стоял хохот. Ахматова смеялась до слез, сестра моя, изумленно на нее поглядывая, шептала мне: «Но она совсем не такая, как я думала! Она веселая!» И еще: «Нет, это может быть только у русских!» Под словом «это» разумелось, видимо, то, что мы много часов не вылезали из-за стола, сами мыли тарелки и всех новопришедших независимо от времени их появления тут же кормили...

...Случись это несколькими годами раньше — и я была бы удивлена. Но к тому лету я уже привыкла, что Ахматова постоянно окружена людьми. Последние годы своей жизни она допускала к себе всех, кто хотел ее видеть, и круг ее знакомых расширялся безудержно...

Прежде было иначе... Помню, как поздней осенью 1955 года ко мне на улицу Кирова без телефонного звонка зашла одна моя приятельница и застала у меня Ахматову. На моих глазах Анна Андреевна облачилась в свою непробиваемую броню и уже только на вопросы отвечала, и то кратко, и уж вообразить было нельзя, что она бывает иной. Приятельница моя оробела, не засиживалась, я ее не удерживала, и, одеваясь в передней (а я провожала), она говорила не полным голосом, а шепотом, будто рядом больной. Сильное впечатление умела произвести Ахматова на свежего человека!

Был около нее в те годы узкий круг друзей, дружба с которыми исчислялась десятилетиями. Новых людей допускала к себе с трудом.

Но вот стали выходить ее книги. Сначала переводы корейской поэзии. Затем (1958 год) не только переводы Ахматовой, но и стихи ее. Вскоре Государственное издательство художественной литературы подготовило новую книгу стихов, без переводов. Эта толстенькая, малого формата, изящная книжка появилась весной 1961 года.

Ахматова стала получать письма читателей. Все чаще звонил телефон: редакции просили новые стихи, корреспонденты интересовались творческими планами... Вновь пришла к Ахматовой слава, о которой она когда-то могла отозваться так презрительно: «А наутро притащится слава погремушкой над ухом трещать» — и так равнодушно-надменно: «Отдай другим игрушку мира славу, иди домой и ничего не жди».

А теперь эти игрушки и погремушки стали тешить Ахматову. К материальным благам по-прежнему «без внимания» (ее выражение), в новой ленинградской квартире почти не жила, в Москве скиталась по друзьям, лето — в комаровской Будке, и шуба старая, и с обувью неблагополучно. Но поклонение, и лесть, и оробелые поклонники обоего пола, и цветы, и телефонные звонки, и весь день расписан, и зовут выступать или хотя бы только присутствовать — это стало нужным.

Придешь к ней, сядешь, закуришь, а Анна Андреевна с лицом таинственным и значительным вынимает из сумки (черной, порыжелой, всегда туго набитой) листок. Протягивает. Листок оказывался либо письмом читателя, недавно открывшего для себя Ахматову и свежо этому удивившегося, либо бумагой с грифом какого-нибудь института, где некто занялся изучением творчества Ахматовой и просит добавочных сведений. Иногда из сумки извлекалась газетная вырезка

или страница журнала... Прочитав, следовало что-то говорить, а лучше восклицать. Хвалить читателя за чуткость. Об институте, занявшемся изучением ахматовского творчества, говорить: «Давно пора!» Газетную заметку следовало либо одобрять, либо ею возмущаться.

Я, случалось, путала. Одобряла, а ждали от меня возмущения, ибо в статейке проскользнуло что-то Ахматовой не понравившееся... Я, значит, радостно восклицаю, а по лицу ее, по гневно сузившимся глазам вижу, что попала не в струю, пытаюсь на ходу перестроиться, мечтая, однако, чтобы мне подсказали, чем именно надо возмущаться. Подсказывали: «Вы что ж, не заметили...» Я горячо протестовала: ну конечно, заметила! Только сначала хотела отметить положительную сторону явления, а уж потом...

И она, видевшая на семь аршин под землею, она, мудрейшая, она, всезнающая, всепонимающая,— она перестала чувствовать фальшь!

...Слышу: «Ахматова сказала...», «Ахматова считает...» Спрашиваю: «Откуда вы знаете?» — «От такого-то. Он на днях у нее был». Имя «такого-то» мне знакомо и мною не уважаемо. Думаю: «Господи, его-то она зачем пустила к себе? И зачем ей вообще нужны эти разношерстные толпы?»

Осуждала. Смела осуждать. А ведь дрогнула она лишь в одном: стала менее строга к себе, позволила себе немного расслабиться, молчание и отшельничество утомили ее. И все осталось при ней. Ее «таинственный песенный дар» не покинул ее до смерти. Пронзительный ум (встречала ли я кого-нибудь умнее?), великолепная ирония, умение давать меткие характеристики, точность и взвешенность каждого слова — все было с ней до конца. Но она не была ни святой, ни статуей, ничто человеческое не было ей чуждо... В каком-то из писем Льва Толстого в период его работы над «Анной Карениной» проскальзывает такая примерно мысль: пишешь, пишешь (дело одинокое!), и наступает наконец минута, когда непременно надо, чтобы тебя похвалили. Это, значит, и гению нужно.

Когда-то в моем отношении к Ахматовой было нечто от внимающего учителю робкого ученика. Затем, привыкнув и освоившись, решив, что и она не без слабостей, я стала чрезмерно свободно ощущать себя в ее высоком присутствии. Мало того. Уже мои дела, мои заботы нередко казались мне важнее ее общества. Исчезло постоянно жившее во мне желание что-то сделать для нее, чем-то ей услужить. Боже мой, да вокруг нее столько теперь топчется поклонников, вот пусть они и побегают, их очередь. Бывало, она звонила мне: «Не могли бы вы каким-нибудь чудом...» И чем бы я ни была занята, я все бросала и мчалась к ней. Позже своих дел я ради нее бросать не собиралась. Она это знала. Она знала

все. И последние два-три года своей жизни уже ни о чем не просила меня.

Сейчас, перечитывая ее стихи, написанные в последнее десятилетие, в период моего с ней знакомства, из ее уст впервые слышанные,— сейчас я остро понимаю, *кто* был рядом со мной и как недостаточно я это ценила. Но прошлого не вернешь. Содеянного не поправишь...

Итак: прямо не просила ни о чем. Позвонив мне по телефону, говорила: «Что у вас слышно?» А я немедленно начинала себя чувствовать виноватой.

Почему же? А потому, что мне было известно, как она любит поездки за город, на природу, и я понимала, что могла бы чаще доставлять ей эти невинные радости. За словами «Что у вас слышно?» мне чудились другие: «Куда вы исчезли? Почему не найдете времени покатать меня?»

Я становилась суетливо-говорливой, ибо ложь, как известно, многословна, а полуправда — тем более. Да вот работаю не поднимая головы. Пишу. Прикована к машинке, как каторжник к тачке. Ну и там еще разные бытовые моменты... Однако скоро должно полегчать. Например, в среду. А что, если нам в среду поехать покататься, мэм? В ответ гордое: «Не знаю, что будет в среду. Звоните!» Трубка положена.

Я приезжаю за ней. Она меня ждет, она готова. В передней я помогаю ей надеть пальто, и вот, натягивая перчатки, она говорит тем, у кого в данный момент живет: «Если будут звонить, отвечайте, что я уехала кататься!» И несоответствие этих отдающих девятнадцатым веком слов с ее одеждой, чужой передней и тем, что я не так уж охотно пожертвовала своим рабочим утром, чтобы везти ее «кататься», каждый раз пронзало меня жалостью...

До последних дней своей жизни она оставалась и величавой и красивой, но время не было милосердно и к ней. Она полнела. С ее высоким ростом это не бросалось в глаза, к тому же я часто и регулярно ее видела. Но теперь, глядя на фотографии, я замечаю, как потучнела она за последние три-четыре года, как ее твердо очерченное лицо римлянки эту твердость очертаний утрачивало, расплываясь. Она полнела оттого, что мало двигалась. Двигаться же ей становилось все труднее.

Теперь, когда мы приезжали в Коломенское, я, несмотря на запрет, подводила машину к самым воротам, ведущим к церкви Вознесения: Ахматовой уже не под силу было одолеть расстояние от законной стоянки автомобилей до ворот. Как-то рядом случился милиционер, начал сурово на меня надвигаться, но, увидев с трудом выходившую из машины старую женщину, махнул рукой, отвернулся, ушел.

И уже только в Коломенском выходила из машины Анна Андреевна, иначе не увидеть ей любимой церкви. В других

подмосковных местах, куда мы ездили, оставалась на месте: «Погуляйте, а я тут посижу!»

Мы ездили в Архангельское, воспетое Пушкиным, в березовую рощу неподалеку от Успенского шоссе, в красивое местечко на реке Сходня. Приехали туда однажды в ноябре, когда листья давно облетели, и Ахматова сказала: «Природа готовится к зиме. Взгляните, какой она стала прибранной и строгой». По дороге в Архангельское, если начинать путь с Волоколамского шоссе, есть место, где Москва-река делает поворот, и тут кто-нибудь из нас непременно произносил неизменную фразу: «Там, где река образовала свой самый выпуклый изгиб...»

Все эти подмосковные места навсегда связаны для меня с Ахматовой. А когда я снова вижу любимую ею березовую рощу, в ушах моих звучит медленный ахматовский голос: «Так она есть? Она существует? А мне все казалось, что это был сон».

...В ноябре 1965 года у Ахматовой случился последний инфаркт. Из квартиры Ардовых ее увезли в Боткинскую больницу.

Она долго там пролежала, больше трех месяцев...

Именно там, в больнице, я видела Ахматову в последний раз. Был февраль. Я приехала навестить ее вместе с Еленой Сергеевной Булгаковой. Анна Андреевна сидела в кресле, встретила нас радостно. Была веселой, улыбчивой, сообщила нам, что сегодня не только ходила по коридору, «как большая», но и немного по лестнице. Мы уехали полные надежд.

...И именно тогда, когда все были уверены, что опасность миновала, именно тогда...

Лев Озеров

РАЗРОЗНЕННЫЕ ЗАПИСИ

Люди, которых мы знали, лучшие из них, со временем становятся общей памятью многих, очень многих из нас, памятью зачастую, как выяснилось, недостоверной. Лучшие из лучших переходят в классики, что отторгает их от нас. Сквозь пелену времени, почтительности, славы, кривотолков трудно пробиться к живому человеку, с которым мы общались и разделяли с ним земные радости и беды. Мы подчас сами себе не верим, что это было явью, имело место тогда-то и там-то.

Накапливаются достоверные сведения о примечательном человеке, сперва разрозненные, несистематизированные факты, позднее своды их. Рядом с ними появляются апокрифы, досужие домыслы, подделки, иногда невинные, порой бесстыжие и наглые. Спекуляция на общем интересе к тому или иному примечательному человеку, после смерти которого насчитывается много больше друзей, чем их было при его жизни. Явление получает огорчительную массовость.

Анна Андреевна Ахматова не избежала общей участи.

Я не готов к последовательным, календарно выверенным, написанным с толком, с расстановкой воспоминаниям. Не могу воедино собрать разрозненные записи, находящиеся во многих слоях моего неприбранного архива. Но главная причина — в психологической дистанции, которую умозрительно преодолеть трудно. Уже и «Реквием» напечатан, а мне никак не разморозить те отсеки памяти, которые в свое время были болью, несогласием с властями, бедой.

Думаю в дальнейшем вернуться к ахматовской мемуарной теме во всеоружии. А пока публикую фрагменты будущей работы.

Мой сосед по дому Семен Липкин позвонил, и его медлительный, успокаивающий голос на сей раз зазвенел.

— Приходи, у нас в гостях Анна Андреевна Ахматова.

Видимо, разговор Ахматовой и Липкина уже состоялся, Анна Андреевна собиралась уходить. Она была в темном платье, легко узнаваема, хрестоматийность ее облика подчеркивалась жестами — плавными, исполненными гордой тайны. Другая эпоха. Я всегда чувствовал, что вокруг Ахматовой — сильное магнитное поле.

— Я о вас кое-что уже знаю, Лев Адольфович...

Самая эта фраза до сих пор остается для меня тайной. Я не решался спросить об этом Анну Андреевну. Может быть, такой была форма ее внимания, обходительности. А может быть, фраза пришла ей в голову внезапно, дабы сразу же остановить возможный при первой встрече каскад комплиментов и сентиментальностей.

Действительно, я замолчал. Молчание длилось так долго, что Анна Андреевна сама нарушила его:

— Запишите телефон, позвоните мне завтра же, надеюсь, вы будете разговорчивей.

И на этот раз ее предсказание сбылось.

Мне было важно, насущно необходимо говорить с ней, о ней, писать о ней и о ее поэзии.

Интерес к Анне Ахматовой в молодости начался с эпитета. Она говорит о статуе — «такой нарядно-обнаженной». Этот взрыв смысла — одновременно и «нарядная», и «обнаженная» — пленил меня и озадачил. До чего же это верно, точно, метко! Потом, вчитавшись, понял, что это не прием, это важная черта поэтического мышления. В «Родной земле»:

Хворая, бедствуя, немотствуя на ней,
О ней не вспоминаем даже.

Не раз убеждался я в том, что у Анны Ахматовой не только тонкость и изящество в манере письма, но и сильный аналитический ум, самостоятельная дума, и терпение (долготерпение), и воля. Это явлено в ее статьях, которых могло быть много больше. Это узнал я, беседуя с Анной Андреевной с глазу на глаз или присутствуя на беседах с другими людьми.

В беседах Анны Ахматовой не было ничего от желания удивить, продемонстрировать, показать, ничего от специально заготовленного и уже проверенного на слушателях. Иногда она повторялась (особенно в последние годы), но самый этот повтор диктовался ходом беседы.

В позднюю пору Анна Ахматова разлюбила оседлость. Часто ездила из Ленинграда в Москву, из Москвы в Ленинград. В Москве она жила на разных квартирах.

...Пропала привязанность к Фонтанному Дому, не появилось привязанности к дому писателей на улице Ленина. Вещей при ней не было. Сумочка с блокнотами, с Горацием, с Данте.

Однажды я сказал Анне Ахматовой:

— Вы — король Лир.

Сдержанно-удивленно:

— Откуда вы знаете?!

Это не вопрос, а восклицание. Мол, так и есть, но как догадались?

Из рассказа Анны Андреевны.

В Ташкенте старый узбек носил ей молоко.

Он был почтителен сверх меры. Молитвенно складывал руки при виде ее. Однажды взял со стола зеркало и сперва приблизил его к лицу Анны Андреевны, а потом поцеловал его.

После рассказа пауза. И после паузы:

— Он, очевидно, полагал, что я принадлежу к потомкам хана Ахмата, последнего хана Большой Орды...

Еще рассказ:

— Можно не думать о природе гениальности. Достаточно увидеть и услышать. Выходил Шаляпин. Еще до того, как он начинал петь, у вас появлялась мысль, в которой вы не сомневались. Шаляпин запел. И вы окончательно утвердились в своей мысли — гений.

Разговор о современных сочинителях.

Спрашиваю об Евгении Евтушенко.

— О! И вы на эту тему?

Задумывается. Поднимает голову, опускает веки. Не глядя на меня, в сторону:

— Фельетонист.

О современниках говорила мало, предпочитала молчание.

Ей навязывали вопросники, она от них бежала.

Конец пятьдесят восьмого или начало пятьдесят девятого года. На квартире Ардовых шла речь об Иннокентии Анненском. Приближалось пятидесятилетие со дня его смерти.

— А не попробовать ли нам отметить эту дату в печати? Прошу вас, узнайте в «Литературной газете», не отважатся ли там напечатать хотя бы небольшую заметку об Анненском. Объясните, что не ославятся, напротив, сделают доброе дело.

Пошел, узнал, не захотели, не объяснили, почему не хотят. Возвратился, докладываю Ахматовой. Ничего не сказала. Отвернула лицо и долго смотрела в окно.

Приношу к Анне Андреевне рукопись своей новой статьи о ее творчестве. Надо устранить возможные фактические неточности, посоветоваться. Слушает так, как одна она умела слушать: спокойно, даже отстраненно, напряжение скрыто, с достоинством, словно речь идет о другом человеке. В двух случаях она прерывает меня.

Первый случай:

— Остановитесь, пожалуйста. Вы сопоставляете Ахматову с Цветаевой. Это гимназическая затея. Два разных поэта. Две дамы? Это несущественно. Многие сопоставляют, вам это делать не пристало.

Второй случай:

— Открытым текстом вы говорите о влиянии Пушкина на Ахматову. Прошу вас, остановитесь. Подумаем. Что с вами? Нельзя же так сильно давить на перо. Пригасите сияние солнца. Если уж говорить, то только как о далеком-далеком отсвете («далеком-далеком» произносится подчеркнуто медленно, вразрядку). Будьте осторожны в отношении Пушкина, избегайте прямых подобострастных сравнений, покорнейше благодарю.

Читать дальше было трудно, почти невозможно. После внушительного перерыва, занятого монологом Ахматовой о Пушкине, я с грехом пополам дочитал свою статью, которую, придя домой, начал расшвыривать и марать.

По первым же косвенным признакам я понял, что Анна Андреевна разговаривает по телефону с Борисом Леонидовичем Пастернаком. Вскоре это подтвердилось по той простой причине, что было названо его имя.

— Вас, Борис Леонидович, с большим удовольствием. В любую минуту приму. Тем более что есть много поводов для беседы. Но от спутницы вашей увольте...

После того как была положена трубка, Анна Андреевна с едва сдерживаемой досадой добавила:

— Вы догадались, о ком речь? ... Она доконает его. Авантюристка! Это понимают все, кроме Бориса.— Она с нежностью произнесла это имя, не добавив отчества.

Круг поэтов, имена которых всего чаще фигурировали в разговорах Анны Ахматовой, был невелик. Анненский, Гумилев, Мандельштам, Пастернак. Пожалуй, чаще других — Мандельштам.

— Осип победил,— несколько раз она говорила мне и при мне.

— Что это означает?

— То, что без чужой помощи, не прилагая никаких усилий, кроме тех, что пошли на написание стихов, он победил. Все было против него, но он победил.

Довольно хорошо знала Анна Андреевна тексты Мандельштама. Если в чем-либо сомневалась, неизменно обращалась к Николаю Ивановичу Харджиеву. И он быстро и с энциклопедической полнотой давал ответ.

О Пастернаке, его судьбе и его сочинениях говорила много и охотно. Последнее из высказываний:

— Самый вероятный сосед на Страшном суде...

В 1964 году во Всероссийском театральном обществе удалось осуществить то, что на протяжении многих лет не удавалось осуществить в Союзе писателей. Было положено начало «Устной библиотеки поэта». Среди задач этой необычной библиотеки была и такая: показать слушателям то, что сокрыто в запасниках современной поэзии. Первым выпуском был Арсений Тарковский, в ту пору известный в узких кругах как оригинальный поэт, хотя и широко прославленный как переводчик и отец кинорежиссера.

Одним из ранних выпусков нашей библиотеки стал выпуск «говорящей книги» Семена Липкина. Это сделано по подсказке Анны Андреевны и с ее благословения. Переведший множество книг, в основном поэтов Востока, создавший неповторимый по силе и красоте перевод калмыцкого эпоса «Джангар», о котором с восторгом отзывалась Марина Цветаева, этот поэт оставался грамотой за семью печатями. Его оригинальные стихи в малом количестве напечатал А. Твардовский в «Новом мире», они вышли двумя книжками в урезанном виде в издательстве «Советский писатель». Важно было показать хотя бы незначительному числу слушателей сильного и оригинального мастера.

На этом выпуске присутствовала Анна Андреевна Ахматова. Она скромно села в стороне, ее скоро все узнали и не сводили с нее глаз. Но в выражении лица ее было: «Не занимайтесь мной, будем слушать поэта».

Вступительное слово произнес Борис Слуцкий. Вечер прошел на славу, и Анна Андреевна тихо сказала мне об этом и благословила наши выпуски «Устной библиотеки поэта».

Задолго до выхода книги «Бег времени», суперобложка которой украшена рисунком Модильяни, я спросил Анну Андреевну:

— Существует лишь один этот рисунок — ваш портрет, сделанный Модильяни, или их больше?

— Было около двадцати.

— А где остальные?

Отвечает не сразу. Отвечает спокойно:

— Остальные выкурили солдаты в Царском Селе во время гражданской войны...

Анна Андреевна была у нас в гостях. Она сама предложила почитать новые строки. Мы просить не рискнули. После чтения сказала:

— Читать надо одно стихотворение. Если очень просят — не более трех. Если настаивают и не отпускают — не более пяти. Все остальное — это уже мучительство стихом.

Помню: в гостях у нас тогда был ученый-химик Сергей Сергеевич Воюцкий с женой-красавицей Асей, знаток и истолкователь Гумилева и Ахматовой, и поэт Яков Львович Белинский. По лицам гостей было видно их отношение к Ахматовой. Лица сияли. Чувствовалось, что и Ахматовой было приятно. Не потому ли в тот вечер она прочитала пять стихотворений, а затем сделала стихотворную запись в альбоме моей дочери.

В 1963 году летом я был с дочерью Еленой в Комарове. Мы рады были прекрасному соседству Н. Я. Берковского, Л. Н. Рахманова [1], А. Б. Мариенгофа. Несколько раз к нам приезжала Анна Андреевна, и мы с ней ездили к тому месту в заливе, где была беседка, в которой она выглядела так естественно-царственно. Беседы были легкие, остроумные, беглые.

Помню, однажды в машине Анна Андреевна сказала:

— У нас много написано о деревне, о зеленых зонах земли, о пригородах, а город остается невоспетым. Так ли уж это справедливо?

Несколько раз Анна Андреевна приглашала нас на дачу, которую называла «Будкой». Все было здесь скромно, даже бедно. Но эта бедность не ощущалась. Анна Андреевна, казалось, сидела за клавесином, а это был всего лишь простой стол — узкий и длинный. Присутствие Ахматовой придавало комнате и обстановке значительность и смысл.

Здесь мы слушали отрывки из «Поэмы без героя», здесь был обещан новый список ее (старый у меня хранился — рукопись, скатанная в трубку и перевязанная ленточкой).

Возникшую в Музее Маяковского на Таганке идею устроить вечер Анны Ахматовой долго обсуждали. Уместно? Своевременно? А не повредит ли это ей через десятилетие после доклада А. Жданова? Анна Андреевна сказала мне:

— Я бы не хотела иметь отношение к этому вечеру. Даже не буду присутствовать на нем. Мне это тяжело. Хочу поручить этот вечер Виктору Максимовичу Жирмунскому и вам. Согласитесь?

— Для меня это большая честь.

Вечер был многолюдный [2]. Не попавшие в зал заполнили двор. Из зала слова передавались стоящим во дворе. В атмосфере вечера было все: неловкость, непривычка, восторг, преданность, оглядка, ликование, заждавшаяся тоска по справедливости.

Некоторые из присутствовавших на вечере рассказывали Анне Андреевне о том, «как все было». Рассказывали по-разному. Она умела из разрозненных версий составить единое впечатление. Умение, подсказанное опытом жизни.

Даря книгу «Стихотворения» (1958) — первую после доклада А. Жданова, после «мертвой полосы» и годов презрения, Анна Андреевна говорит:

— На бумаге восемнадцатого века я сделаю в вашем экземпляре необходимые вклейки. Вот, к примеру, стихотворение «Музыка». Строки, которые наскоро пришлось вписать, надо забыть. Они здесь есть...

Анна Андреевна указательным пальцем прикрыла строку, заслонив ее от меня, и сказала:

— Прошу их впредь читать так:

Когда последний друг отвел глаза,
Она была со мной в моей могиле.

Вы уже знаете, что редактировал книгу А. Сурков. Но его ругать не надо, он по-своему защитил книгу.

— Алексей Александрович на запятках вашей кареты намеревается проскочить в вечность...— говорю я.

Анна Андреевна смотрит на меня пристально и после паузы отвечает:

— Изволите изъясняться афоризмами? Едко!

Первая книга Анны Ахматовой «Вечер» вышла в 1912 году, в пору, когда имя Блока было широко известно и любимо. Блок — старший. Блок — лидер символистов, которых акмеисты (круг Ахматовой) будут преодолевать («Преодолевшие символизм» — работа В. М. Жирмунского). Преодолевать или отрицать — и то и другое.

Рисунок отношений Блока и Ахматовой, достаточно сложный, блестяще воссоздан в специальной работе В. М. Жирмунского «Анна Ахматова и Александр Блок». Нет необходимости повторять или варьировать положения этой работы. Тем более что на эту тему писали и Д. Максимов, и Ю. Лотман, и К. Чуковский, и П. Громов, и некоторые другие. Но есть необходимость в частном дополнении к теме.

На моей памяти настойчивые, порой назойливые просьбы многих читателей и исследователей, обращенные к Анне Ахматовой, просьбы рассказать о Блоке. Некоторые из них были так недвусмысленны, что однажды Анна Андреевна сказала мне: «Да объясните же вы им, что я никогда не состояла в так называемом блоковском гареме».

«Воспоминания об Александре Блоке» — страницы, остав-

ленные нам Анной Ахматовой и впервые опубликованные посмертно в двенадцатой книжке «Звезды» за 1967 год. Как известно, эти воспоминания написаны в октябре 1965 года для передачи Ленинградской студии телевидения [3].

Достаточно беглого чтения этого очерка, чтобы почувствовать отношение Анны Ахматовой к великому (ее эпитет) поэту, который воспринимается ею «как памятник началу века». Натура достаточно сильная, она умела восхищаться наиболее достойными из своих старших и младших современников.

...Время от времени — при жизни Анны Андреевны Ахматовой и после ее кончины — возникают недоуменные вопросы, касающиеся ее отношения к Александру Блоку. На один из таких вопросов постараюсь ответить.

В самом начале шестидесятых годов мой ленинградский знакомый позвонил мне и передал привет от Анны Андреевны Ахматовой. Это всегда было празднично — услышать ее или получить от нее привет. Вместе с тем мой знакомый сказал, что ему поручено показать мне несколько стихотворений, которые названы «Из новой книги». «Можете распоряжаться ими по своему усмотрению,— сказал знакомый. И добавил:— Анна Андреевна высказала пожелание, чтобы вы передали эти стихотворения в «Литературную газету».

29 октября 1960 года цикл стихотворений «Из новой книги» был напечатан, хотя и не в полном объеме.

В этом цикле меня сейчас интересует такое стихотворение:

И в памяти черной пошарив, найдешь
До самого локтя перчатки,

И ночь Петербурга. И в сумраке лож
Тот запах и душный и сладкий.

И ветер с залива. А там, между строк,
Минуя и ахи и охи,

Тебе улыбнется презрительно Блок —
Трагический тенор эпохи.

В собрании стихов («Библиотека поэта», Большая серия, 1976) это стихотворение с условной датой (1960?) стоит между двумя другими стихотворениями о Блоке: «Пора забыть верблюжий этот гам» (1944—1950) и «Он прав — опять фонарь, аптека» (7 июня 1946 г.).

По выходе номера «Литературной газеты» иные спрашивали, недоумевая: «Что это значит — трагический тенор эпохи?» Другие негодовали впрямую: «Как это можно — о Блоке! — трагический тенор эпохи».

При первой же встрече с Анной Андреевной у Ардовых на Ордынке встал между нами этот злополучный «трагиче-

ский тенор». Я не возмущался, не протестовал. Мне хотелось понять — в чем дело.

И Анна Андреевна, верная своему обычаю немногословия, сказала мне: «Объясните им, что это не обывательское «душка-тенор»...— И после значительной паузы: — У Баха тенор поет Евангелиста...»

Дома я заглянул в книги о Бахе и узнал, что Евангелист (в «Страстях по Матфею») — партия тенора. Иисус — партия баса, ныне чаще ведомая баритоном. Так вот, думал я, как важно знать то, что имел в виду автор, создавая образ...

Вскоре после этого разговора, перечитывая Блока, я нашел в его цикле «Через двенадцать лет» строки: «И тенор пел на сцене гимны // Безумным скрипкам и весне» (1910). По-новому открылись мне эти строки: тенор пел не романсы и арии, а гимны...

В предисловии к «Избранным трудам» В. М. Жирмунского академик Д. С. Лихачев пишет об авторе книги: «...будучи близко знакомым с А. А. Ахматовой в последние годы и постоянно пользуясь в своих работах устно сообщенными ею сведениями, он никогда не считал возможным ссылаться на слова, сказанные ему Ахматовой, а всегда подыскивал для них документальные подтверждения».

В этой заметке я ссылаюсь на слова Ахматовой, так как у меня (боюсь, что не только у меня) нет документальных подтверждений версии о «трагическом теноре» — Евангелисте. Но они были сказаны, и они равны, с моей точки зрения, документальному свидетельству. Во всяком случае, они проливают свет на определение «трагический тенор эпохи», вызвавшее такие толки и кривотолки.

«Тайна» — нередкое слово в сочинениях Анны Ахматовой. За этим словом скрыт далеко не мистический смысл. Тайна бытия. Тайна искусства. «Тайны ремесла» — цикл стихотворений.

В разговорах слово «тайна» — редкое. Но самый характер разговоров, их краткость, значительность, выношенность внушали мысль о тайне как о самом явлении Анны Андреевны Ахматовой.

Чем чаще пишут о ней как о человеке и поэте, тем большей тайной она остается.

Но я предупреждаю вас,
Что я живу в последний раз.

Что это — игра ума? Владение словом? Изящество? Тонкость? Глубина? Все, вместе взятое. Для краткости это называют тайной.

Анна Ахматова и В. В. Виноградов. Комарово. 1960-е годы
Публикуется впервые

Она не поддерживала разговоры на сугубо злободневные политические темы. Если они происходили при ней, молчала. Но всей своей жизнью, всем своим творческим поведением показывала враждебность к тирании Сталина и его клевретов. Говорила на эти темы редко, как бы вскользь.

— Сборник «Из шести книг», изданный в 1940 году, попался на глаза отцу Светланы. Открыл, увидел стихотворение «Клевета», недатированное. Подумал, видно, что недавнее. А оно написано в 1921 году. За этот год он не отвечает... Запомнил «Клевету» и отомстил. Стихи надо датировать...

Фото 1946 года, на котором запечатлены Анна Ахматова и Борис Пастернак, называла «Ахматова зарабатывает постановление».

Имени Жданова не упоминала. Была удивлена, когда я сообщил ей, что слова из его доклада («блудница» и «монахиня») были без упоминания извлечены из книги Б. Эйхенбаума (1923)[4].

— Референты подвели,— сказала.

— Не впервые подводят. Определение реализма референты похитили у Дмитрия Мирского[5], из «Литературной энциклопедии».

— Чистая работа!

После речи А. Жданова был (очевидно, негласный) указ обкомам, райкомам и соответствующим организациям писателей — всенепременно найти на местах свою Ахматову и своего Зощенко. Разнарядка получена, начались поспешные поиски. И что же? Пострадали многие.

Мне рассказывал мой старый институтский друг Михаил Кочнев, возглавлявший одно время ивановскую писательскую организацию. Рабочий край. Местных подобий Ахматовой и Зощенко не было. Но приказано найти. Нашли. Тонкого лирика, одного из поднятых Горьким писателей, его любимца Дмитрия Семеновского[6]. О нем писал Блок. Он составлял славу края. Им в числе других писателей-ивановцев интересовался Ленин. Ничто не спасло.

Назвали, проработали, перестали печатать. В тяжелую пору, когда поэт переживал потерю единственного сына на войне. Я был в переписке с Дмитрием Николаевичем. Знаю, как мучительно жил он, как пагубно отозвалось на нем это неожиданное и несправедливое проклятие. Мне удалось напечатать в «Труде» статью о Семеновском. Постепенно его возвращали «в ряды». Возвратили, но поздно. Жизни не хватило.

Никогда не слышал я из уст Анны Ахматовой жалоб. Защищая честь рабочего, постоянно мыслящего и творящего человека, она продиктовала мне (заглядывая в блокнот) перечень ее созданий и список невышедших книг. Упомянула среди прочего несохранившуюся поэму «Русский Трианон» с оставшимися отрывками и напечатанным в 1946 году в журнале «Звезда» описанием парка. Этот ее перечень приведен в моей книге «Работа поэта» (1963).

Мысленно суммируя этот перечень, за год до смерти Анна Ахматова скажет не без полемического пафоса: «Я не переставала писать стихи». Она не переставала писать стихи, хотя ее не печатали, особенно после речи А. Жданова. Это наиболее трагический и наименее изученный период ее жизни.

В 1958 году еще продолжалось неловкое, нет, постыдное замалчивание живого поэта. Наконец вышла книга[7]— скупая, процеженная, «красненькая», как ее называли по цвету обложки, или «сурковая».

Я написал об этой книге статью для «Литературной газеты». Она попала к С. С. Смирнову, редактировавшему тогда эту газету. Он почесал затылок и сказал:

— Ну, теперь, перекрестившись, пойду к Екатерине Алексеевне Фурцевой[8].

Пошел. Что случилось? То ли помогла женская солидарность, то ли чувство неловкости, но и она одобрила статью.

И статья появилась. Первой позвонила Мария Сергеевна Петровых:

— По случайности я оказалась днем на главном телеграфе. Корреспонденты иностранных газет, как мне сказали, передали телеграммы о пересмотре отношения большевиков к Ахматовой.

Позднее пришла телеграмма от Анны Андреевны — одобрительно благодарственная.

Ее называли камерной, комнатной, интимной, тихой, тишайшей. Даже такои человек, как Тынянов, говорил о шепотной Ахматовой[9]. Этому отдали дань почти все, вплоть до Твардовского.

— Чем вы объясняете такое явление: выхожу к публике, читаю очень тихо, прекрасно слушают... Кто-то из зашедших в артистическую говорит: «Громкие стихи».

После фразы:

— Сейчас во владениях Мао Цзедуна меня проклинают, словно я нанесла Китаю личное оскорбление. В чем дело?

Камерная, интимная, тишайшая, как оказалось, выразила целую эпоху, громоносную эпоху.

Это сейчас в отношении Ахматовой звучит дико — «попутчица», «внутренняя эмиграция», «идеологический враг», «блудница», «монахиня» и т. д. Но все это, услышанное в свое время и воспринятое как вызов, как осуждение, как знак остракизма, надо было пережить, пропустить через сердце. Жаловаться Анна Андреевна не хотела и не умела. Не желала об этом и говорить. В ее бумагах пока не нашли рассуждений на эти темы, «ответ на критики», как писали в прошлом веке. А стихи? Стихи вывели эти переживания на иную спираль.

И упало каменное слово
На мою еще живую грудь...

Здесь, разумеется, не сказано, почему именно надо было «память до конца убить», зачем желать, чтобы «душа окаменела». Но образы вобрали в себя реальность.

В природе лирического обобщения — безмерное многообразие жизни.

Готовя для Большой серии «Библиотеки поэта» антологию «Литовские поэты XIX века», я пригласил Анну Андреевну участвовать в ней. Она сразу же дала согласие. И добавила:

— Не обязательно подыскивать материал близкий мне, похожий на то, что я сама пишу. Иногда далекое мне понятней и ближе. Странно? Надо проникать в оригинал, в несхожее

Анна Ахматова. Комарово. Фотография Н. В. Фок. Январь 1962 г.
Публикуется впервые

с тобой, жить этим оригиналом, высветлить его, самому оставаясь в тени. Если не желать воспроизвести чужое, а внушать ему только свое, то надо писать собственные стихи.

Не ручаюсь за порядок слов, но смысл здесь передан верно. Ахматова не хотела рассматривать работу переводчика как способ насаждать свои образы, свой образ мыслей.

Я передал Анне Андреевне цикл стихотворений Эгле Малинаускайте. К сроку переводы были мне вручены и, конечно, вошли в антологию.

У старых людей есть потребность в том, чтобы молодые время от времени описывали им значение их для истории. В этом нет ничего неестественного, ущербного или комического. Такая потребность у всех, проживших на этом свете семьдесят и более лет.

Прихожу к Анне Андреевне Ахматовой. Она с первых же слов торжественно жалуется:

— Мне вчера вернули мои стихи из редакции. Со мной обращаются как с сенной девкой.

— Что вы, Анна Андреевна! Как можно?

Она спокойно, не без интереса наблюдает за тем, как во мне нарастает возмущение. Молчит, чего-то ждет.

Наконец говорю:

— Вам это показалось. Все смотрят на вас как на императрицу.

Поправляет шаль на плечах, слегка поднимает голову, опускает веки. Приготовилась слушать. Я не заставляю себя долго ждать.

— Это не только мое мнение.

Не выдерживает:

— А чье же еще?

— Большинства.

— Это ваша доброта множит ваше суждение на множество.

— Могу назвать этих людей.

— Можно без имен, но в чем смысл их суждения?

— Они давно и прочно оставляют за вами первенство в современной поэзии.

Ничего не отвечает. Слушает внимательно, несколько отрешенно. Чувствую, что могу долго продолжать в том же духе. Но в этом нет необходимости. Анна Андреевна пришла в себя. Она избыла свою досаду и взбодрилась.

— Не хотите ли прослушать несколько новых строк?

Читает из блокнота новое стихотворение.

Последние восемь — десять лет жизни Анна Андреевна Ахматова была окружена людьми в большей степени, чем пре-

Анна Ахматова. Комарово. Фотография Н. В. Фок. Январь 1962 г.
Публикуется впервые

жде. Это были старые друзья (Ф. Г. Раневская, Н. А. Ольшевская, Л. К. Чуковская, В. М. Жирмунский, Э. Г. Герштейн, Н. Я. Мандельштам и другие). К ним добавились «друзья последнего призыва». Среди этих последних были люди глубоко преданные ей, понимающие ее, искренно желающие помочь ей. Но приходили и люди чуждые ей, шумные, всего более желавшие обратить внимание общества на то, видите ли, обстоятельство, что и «мы имели честь» общаться с Анной Ахматовой. Они записывали ее голос на пленку, фотографировали, задавали банальные и никчемные вопросы. Интервью и интервьюшки...

Утомленная такого рода посетителями, Анна Андреевна как-то на другой день сказала мне:

— Что-то странное, а подчас и подозрительное вижу в этом вспыхнувшем интересе к бывшей, чудом выжившей акмеистке. Это не по мне. Мне спокойней и привычней в моем одиночестве, я в нем знаю каждый уголок...

Жизнь учила ее недоверию к людям. Было множество случаев в ее жизни, когда она, доверчивая по натуре, обманывалась в людях. Но если уж доверяла, то всецело и навсегда. Такое доверие сестры к сестре было у нее к Фаине Георгиевне Раневской, о которой рассказывала охотно, открыто, с приведением смешных эпизодов из жизни актрисы (скажем, эпизод из фильма: «Муля, не нервируй меня!»).

Фаина Георгиевна держала образ Ахматовой и все с нею связанное в тайниках своей души как ценнейшее достояние. Изредка, в особые минуты разговора и благорасположения к собеседнику или собеседнице, она раскрывалась, вспоминала, делилась впечатлениями. Хотелось записать все это. Но Фаина Георгиевна останавливала собеседника и обещала сама засесть за мемуарный очерк. Намерение откладывалось.

Доверие было у Анны Андреевны к Марии Сергеевне Петровых. Я видел их вместе, присутствовал при их беседах. Последняя была перед самым отъездом Ахматовой в Италию. Анна Андреевна просила меня отвезти ее с Ордынки (Ардовы) на Беговую (Петровых). Мария Сергеевна вышла навстречу. Расцеловались. Пробовали шутить. Но чувствовалась горечь расставания.

Из людей более молодых доверяла Нике Николаевне Глен. Данное ей мною прозвище «лорд — хранитель печати» позабавило Анну Андреевну. «Вы угадали»,— сказала она.

Узнав о кончине Анны Андреевны Ахматовой, я провел день в состоянии глубокой душевной смуты. Я еще не знал, при ка-

ких обстоятельствах, когда и где это произошло. Ночью я читал ахматовские стихи и чувствовал, что должен сказать о ней слово. Это был некий толчок изнутри. Я записывал, записывал, набралось много страниц, которыми я так и не воспользовался.

В полдень во дворе больницы Склифосовского, у морга собралась огромная толпа — тихая, пестрая, недоумевающая, растерянная. Кто и что объявит? Кто скажет? Что делать? Известно было, что руководители Союза писателей находятся в недосягаемости пригородных домов и дач. Почему-то все упоминали Михалкова, который уехал в неизвестном направлении, но позднее, когда его настигла молва, появился в Ленинграде, на похоронах,— по своей или чужой воле.

У входа в морг собралось несколько человек, которые взяли на себя право сказать об Анне Андреевне Ахматовой в скорбный час, до выноса тела. Взобравшись на скользкую ступеньку и поддерживаемые участниками панихиды, говорили трое — Арсений Тарковский, Ефим Эткинд[11] и я. Тарковский так волновался, что у него не попадал зуб на зуб. Но овладев собой, он произнес несколько скорбных фраз. Эткинд говорил об ахматовском Ленинграде и от имени ленинградцев. Я с трудом одолел волнение. То, что я хотел сказать, жило во мне как стихотворение, я чувствовал ответственность этого часа. Эта речь, произнесенная экспромтом, вернулась ко мне через некоторое время, записанная кем-то на пленку.

Вот она — речь моя при выносе гроба Анны Андреевны Ахматовой из морга больницы Склифосовского 9 марта 1966 года.

«Никто не давал мне никаких полномочий для произнесения этой речи. Я произношу ее от своего собственного имени, по велению своего сердца.

Ахматова... Анна Ахматова... Анна Андреевна Ахматова...

Большое имя, большая жизнь, большой путь...

«Ахматова! — Это имя — огромный вздох...»

Пятьдесят лет назад эти слова сорвались с уст Марины Цветаевой. И мы повторяем их сегодня. И мы будем их повторять всегда, потому что у больших художников нет дня смерти, есть только день рождения.

Об Ахматовой говорили и продолжают говорить: тихий голос, камерная тема, интимность... Если это так, то почему же этот тихий голос громовым эхом отзывается в сердцах людей России, всего мира?!

Почему так властно и сильно входили и входят в душу читателя ее волшебные строки?!

Почему любой подорожник, любой стебелек в ее поэтических руках становятся сказочными и волшебными?!

Может быть и должен быть один-единственный ответ:

...«Ты ль Данту диктовала
Страницы Ада? Отвечает: «Я!»

Наступает, еще наступит время для полной и справедливой оценки поэтического наследия Анны Ахматовой, этой хранительницы святого для нее пушкинского начала.

Анна Андреевна Ахматова дожила до часа, когда Россия, весь мир сказал заслуженное ею слово благодарности за ее высокий дар поэта, за ее подвижнический труд, за то, что она приняла на свое доброе, чуткое сердце непомерные страдания и при этом проявила благородство, долготерпение, мужество, имени которому нет.

Анна Ахматова увидела воочью свою мировую славу и умерла, насыщенная днями, как сказано в книге Иова.

Когда погребают эпоху,
Надгробный псалом не звучит...

Умерла Анна Ахматова, великий русский поэт. Она утвердилась в наших сердцах и утвердится еще более в сердцах людей грядущих поколений как наследница русской классической поэзии, продолжатель традиций Батюшкова, Пушкина, Баратынского, Тютчева, Иннокентия Анненского.

Завершилась большая жизнь и большое творчество Анны Ахматовой. Начинается, уже началось ее бессмертие...»

Было зябко, сыро, хмуро.

Вынесли тело Ахматовой и положили его на помост, мимо которого стали двигаться люди — те, кто только что заполнял двор. Это длилось долго. Потом тело унесли, и через некоторое время появился цинковый гроб, в оконце которого я увидел Анну Андреевну в ее знаменитой шали. Это было видение царевны в гробу, возвышенное видение, запомнившееся на всю жизнь.

— Наш долг собрать свидетельства всех, кто знал Анну Андреевну и способен честно рассказать об этом...

Эти слова тихо, но внятно, обращаясь ко мне, произнесла стоявшая рядом со мной Надежда Яковлевна Мандельштам.

Среди версий о дне смерти есть и такая. Анна Андреевна увидела в газете портрет А. Жданова в связи с датой его рождения. Вспомнили о нем со сдержанной почтительностью. Анне Андреевне тоже вспомнились события 1946-го и последующих годов. Цепь ассоциаций возникла в перенесшем тяжелую болезнь сердце. Даже если эта версия не верна, все равно понятны причины

ее появления и бытования. Всякий раз она твердила себе, что надо «снова научиться жить».

Это — если в запасе годы. Дни Анны Ахматовой уже подходили к концу, они исчерпывались трудом, недоеданием, равнодушием и издевками современников, тиранией Сталина, шельмованием Жданова, болезнями, трагической судьбой мужа и сына. Это еще слабо описано у нас, хотя «Реквием» достаточно точно характеризует место и время действия:

Я была тогда с моим народом,
Там, где мой народ, к несчастью, был.

«Тогда», «там», «к несчастью» — все убийственно понятно.

Хочу напомнить положение из статьи Ахматовой «Слово о Пушкине». Автор пишет: настало время «сказать не о том, что *они* сделали с ним, а о том, что *он* сделал с ними».

Трудно точно назвать год, но близится время, когда можно будет эту формулу применить и к Ахматовой.

1979—1988

Игн. Ивановский

АННА АХМАТОВА

Весной 1955 года я впервые отправился к Анне Андреевне Ахматовой.

Капало с крыш. На Невском я купил букет мимозы.

Почему-то я попал на черную лестницу, долго не открывали. На пороге появилась высокая грузная женщина, оглядела меня, держась за ручку двери, готовая ее захлопнуть.

— Я Ахматова. Что вам угодно?

Торопливо и сбивчиво я объяснил, что принес стихи. Если бы для них нашлось время... Несколько минут...

Она оглядела меня еще раз — внимательнее. Как будто смягчилась:

— Голубчик мой, у меня сколько угодно свободного времени, но поймите мое положение. Я не могу вас принять.

Дверь и в самом деле могла захлопнуться. Пришлось пойти на крайнее средство.

— Я ученик Михаила Леонидовича Лозинского, у меня только переводы.

— Ну, это другое дело,— сказала она с облегчением, но все-таки еще помедлила, а потом решилась:— Так и быть, входите. Почему вы с черного хода? Сейчас я зажгу свет. Какая чу́дная мимоза.

Маленький рабочий стол без ящиков. Кажется, это карточный ломберный стол со сломанной крышкой. Он стоит перед окном, на некотором расстоянии.

Стопа бумаги, карандаш.

— Видите, какое совпадение — перевожу. С корейского,— добавила Ахматова как бы с некоторым раздумьем.— Но хорошие подстрочники.

Тогда я не обратил внимания на это слово — «совпадение».

Я стал бывать на улице Красной Конницы. Разговор обычно шел о переводе, вспоминали Лозинского. Из двух любимых тем Анны Андреевны чаще касались Шекспира. Другой ее темой был Пушкин.

Одно время подробно обсуждался проект перевода «Гамлета», построенный на совершенно новых принципах, причем Анна Андреевна соглашалась быть научным руководителем и комментатором, а мне отводилась роль переводчика.

Но, оставаясь на переводческой почве, я невольно боковым зрением наблюдал, с какой убежденностью и тончайшим искусством творила Ахматова собственную легенду — как бы окружала себя сильным магнитным полем.

В колдовском котле постоянно кипело зелье из предчувствий, совпадений, собственных примет, роковых случайностей, тайных дат, невстреч, трехсотлетних пустяков. Было там и многое другое, о чем сказала сама Ахматова:

Когда б вы знали, из какого сора
Растут стихи, не ведая стыда...

Котел был скрыт от читателя. Но если бы он не кипел вечно, разве могла бы Ахматова в любую минуту зачерпнуть оттуда, вложить неожиданную силу в незначительную деталь?

Примет было много. Мне показалось, что одна из них — не заводить чернильных приборов. Однажды потребовалось написать деловую бумагу, домашние куда-то ушли, и отыскать перо и чернила так и не удалось.

Легенда не была умозрительной. Изображение скорби, печали, грусти, этой изнанки человеческих радостей,— органический дар Ахматовой.

Про свою славу Ахматова писала, что она двадцать лет пролежала в канаве. Среди неслыханного революционного подъема действительно странно звучала одинокая скорбная нота. Только через десятилетия стихи Ахматовой вернулись к читателю. Но ахматовской звезде суждено было снова исчезнуть с литературного небосклона.

Теперь она начинала разгораться в третий раз. Недавние беды были еще свежи. Чем и объясняются слова, сказанные в дверях незнакомому молодому человеку: «Поймите мое положение».

Новизна никогда ее не пугала. Сразу, с первых стихов, и на всю жизнь она признала Маяковского — на два десятилетия раньше, чем те самые критики, которые поносили Ахматову за неприятие нового.

Стихотворный перевод Ахматова называла трудным и благородным искусством.

Сама она обратилась к переводу лишь на склоне лет. Пере-

водила по подстрочникам, причем сразу отличала и высоко ценила хороший подстрочник. Но даже хороший подстрочник не удовлетворял Анну Андреевну. Вникнув в него и, если была возможность, послушав чтение стихотворения в подлиннике, Ахматова создавала свой собственный подстрочник и только тогда принималась переводить.

Она не ставила переводы в общий ряд с собственными стихотворениями, как это делали Пушкин и Лермонтов, но никогда не переводила равнодушно. Ее внутренний отклик мог быть сильнее или слабее, но чувствуется он в каждом переводе.

Как-то сказала:

— Рифма в своих стихах помогает, ведет. В переводе это орудие пытки.

Когда Ахматова взялась за переводы с корейского, встал вопрос о стихотворном размере. Русская и корейская системы стихосложения несоизмеримы. Как быть?

По просьбе Анны Андреевны к ней пришли студенты-корейцы. Пели, играли на своих инструментах. Ахматова вслушивалась. На размер она махнула рукой и просто написала стихи, сообразжаясь со смыслом и настроением подлинника. Это был единственно правильный выход.

Однажды сказала:

— У меня нет никакого переводческого честолюбия.— Улыбнувшись, добавила:— Чего нельзя сказать относительно оригинальных стихов.

Трудно сказать, каким было ее честолюбие. Ведь слава не может обойтись без внешних атрибутов. А об одном маститом литераторе, только что получившем степень почетного доктора не то в Кембридже, не то в Оксфорде, Ахматова сказала вполне доброжелательно, но в точности таким тоном, каким говорят о малых детях:

— С ним все обстоит превосходно. У него теперь шапочка с кисточкой, и он каждую секунду летает в Англию.

Ахматова писала Лозинскому: «Над этими стихами я еще поколдую». Или: «В оправдание этого стихотворения могу сказать только то, что оно написано утром».

Настоящей рабочей порой для Ахматовой всегда была ночь.

Писала она наискосок, концы строк загибались вверх. В конце каждого стихотворения непременно стоял год, месяц и место сочинения. Это тоже входило в легенду.

Домашнее прозвище Анны Андреевны было Акума, что по-японски означает ни больше ни меньше, как уличную женщину. Так прозвал ее Шилейко, и Анна Андреевна долго не знала, что значит Акума. Думала — нечистая сила. А о своей любимой «Поэме без героя» она говорила, задумавшись, глядя сквозь стены и поверх голов:

— Гадина.

И в этом слове слышалась как бы далекая жалоба, даже отголосок отчаяния. Уж очень неотступно преследовала Ахматову ее поэма.

Еще одно слово Ахматова произносила на разные лады, иногда насмешливо:

— Беда.

Позже я услышал его в Архангельской области от пожилой телятницы Марии Иосифовны Быковой. Услышал и поразился: точная интонация Ахматовой. А потом понял, что интонация эта — не ахматовская и не быковская, а просто очень древняя, коренная русская.

К старости Анна Андреевна стала проще, сошла с котурнов, когда-то очень высоких. Со мной она была добра и проста — скорее сказочная бабушка, чем злая волшебница. Но не совсем добрая бабушка — с норовом.

Несовместимость тканей. Несовместимость эпох.

Прощаясь, думая о чем-то своем, Анна Андреевна подала мне руку. Очень высоко, почти к лицу.

Мне и в голову не пришло, что я должен эту руку поцеловать. Время, поколение, отношения — все вокруг меня было иным. Я довольно нелепо пожал руку высоко в воздухе и сбежал вниз по лестнице, вероятно приведя Анну Андреевну в недоумение. Ученик Лозинского, переводы английских романтиков,— как тут не смешаться понятиям?

На магнитофон она посмотрела с недоверием: недолюбливала технические устройства. Но была не прочь послушать себя и спросила, что же читать. «Сжала руки под темной вуалью»? Нет.

— Я забыла, как это произносится.

В тот раз она прочла в микрофон несколько стихотворений: «Не оттого, что зеркало разбилось...», «Смуглый отрок бродил по аллеям...» (с вариантом второй строки «У озерных

глухих берегов»), «Я пришла к поэту в гости...», «Когда я ночью жду ее прихода...», «Но я предупреждаю вас...», «Заплаканная осень, как вдова...» и «Мои молодые руки...».

До многочисленных пластинок с записями голоса Ахматовой было еще очень далеко, но и старенький магнитофон лицом в грязь не ударил, Ахматова одобрила запись. Два американца, приезжавшие с аппаратом внушительных размеров, наоборот, записали стихи неудачно, с большими искажениями.

Позже я предложил Анне Андреевне записать «Поэму без героя», что и было сделано в течение двух часов, с маленьким отдыхом после каждой части.

В этой записи — не только ахматовский голос. Там есть шелест переворачиваемых страниц, отдаленные голоса за закрытой дверью, даже нарастающий и удаляющийся шум трамвая (это было уже на новой квартире на улице Ленина). Все это создает удивительное впечатление присутствия при чтении.

Обе записи находятся в Центральном литературном архиве (ЦГАЛИ).

Как читала Ахматова в последние годы жизни?

Голос низкий, ниспадающий. Последняя строка почти пропадает, замирает где-то внизу.

Общее впечатление — сдержанного величия. По манере то, что называется завыванием, но очень в меру. При таком чтении подробности не выделяются, слушатель как бы видит всю строку, становится читателем.

Чтение — не бытовое, не разговорное. Наоборот, священнодействие. Звук полный, глубокий.

И еще одна особенность: последнюю строку стихотворения Ахматова иногда произносила с чуть заметным оттенком какой-то необъяснимой досады.

— Вы-то знаете, что я говорю, как царскосельская дама 1913 года, но я ведь этого не слышу.

Иногда советовалась — редко:

— Послушайте:

И мне показалось, что это огни
За мною летят до рассвета...

Как, по-вашему, лучше — «за мною» или «со мною»?

Я ответил, что лучше «со мною», и потом видел этот вариант

напечатанным. Но мое мнение ни при чем. Ахматовой нужен был слушатель, чтобы самой проверить себя.

Неточность образа не прощала никому.

Александр Прокофьев написал стихотворение, связанное с поездкой по Италии, в котором была строфа:

Всё оливы, оливы
Да лимонные рощи.
Все красиво, красиво,
А нельзя ли попроще?

Анна Андреевна сказала с некоторым осуждением:

— Что может быть проще оливы?

Ахматова говорила, что у поэта непременно должен быть досуг. Время, когда он, по-видимому, ничем не занят.

Конечно, она имела в виду не ленивое и никчемное безделье, а тот досуг сознания, когда открывается полная свобода подсознательной работе мозга.

Легко было представить себе, что Ахматова, беседуя, может перейти на французский или английский язык. Она владела ими вполне, но о своем знании языков всегда отзывалась скептически.

Характер поистине железный.

В давно прошедшие времена некий критик — назовем его Иваном Ивановичем — написал статью, которая могла быть истолкована как обвинение Ахматовой в антисоветских настроениях. Затем, после опубликования статьи, критик «все понял» и просил передать Анне Андреевне, что, если она его не простит, он покончит с собой. Ахматова ответила:

— Передайте Ивану Ивановичу, что это его личное дело.

Конец оказался благополучным, критик с собой не покончил.

Незадолго до смерти судьба послала Анне Андреевне аппендицит. С некоторым опозданием в больничной палате появился представитель писательского Союза, принес цветы,

предлагал переехать в другую, лучшую больницу. Ахматова отозвалась холодно:

— Благодарю. Я уже перерезана пополам.

Характер проявлялся и в телефонных разговорах. Ахматова не терпела лишних слов, в том числе в телефонную трубку. Разговор происходил так:

— Здравствуйте. Ахматова.

— Здравствуйте, Анна Андреевна! Как я ра...

— Вы можете приехать?

— Да, конечно, разумеется. Я...

— До свидания.

Короткие гудки.

Но железный характер проявлялся не только в отрицании, не только в защите больших или малых позиций.

Как-то зимой Ахматова по телефону попросила приехать на такси и машину не отпускать. По дороге купить апельсинов, три пакета по два килограмма.

— Они всюду, город завален апельсинами. У вас есть деньги? Я вам сразу их верну.

Осторожно, шаг за шагом Анна Андреевна сошла по лестнице. Первой садиться в такси не стала: врачи запретили ей движение, которым подвигаются по сиденью машины. Даже такое незначительное, но резкое усилие было опасно для ее сердца.

Адреса оказались недальними, в старой части города. Трижды повторялось одно и то же: медленно, с остановками мы поднимались по лестнице, перед дверью квартиры я вручал Анне Андреевне очередной пакет с апельсинами, нажимал кнопку звонка и спускался площадкой ниже, чтобы не мешать встрече старинных подруг. Наверху щелкал замок, слышались радостные восклицания...

Ахматова только что получила небольшой гонорар за какой-то перевод, и первым ее побуждением было посетить подруг-ровесниц, угостить их апельсинами, хотя эти визиты стоили ей мучительного труда.

Характер помог.

На этой и следующей странице мне не обойтись без упоминаний о собственных обстоятельствах. Иначе становится невыполнимой задача — рассказать о том, как относилась Ахматова к молодым литераторам.

Ахматова никого ничему не учила, но она не отгораживалась от молодых, делала общение возможным. А общение с ней было не меньшей школой, чем ее поэзия. Я знал Анну Андреевну около десяти лет, приходил то довольно часто, то через годы, и продолжительность пауз никогда не имела значения. Ничто не ослабевало и не стушевывалось.

Все было важно — и как она писала, и как жила.

Известны ее слова, сказанные о далекой молодой поре: «Еду мы варили редко — нечего было и не в чем». А в моей памяти появляется стакан чаю, который чаем можно назвать только условно — несколько чаинок в чуть подкрашенном кипятке, и вазочка с тремя печеньями известной марки «Печенье к чаю». Располневшая рука пожилой женщины указывает на все это с неторопливым радушием, и голос Ахматовой произносит:

— Угощайтесь, пожалуйста.

А ведь это уже поздняя пора, последнее десятилетие ее жизни.

Дела могли идти немного лучше или много хуже, но отношение к еде, одежде, утвари всегда оставалось одним и тем же. Все это роли не играло.

Если Ахматова видела в ком-то из молодых хотя бы проблеск дарования, она не раздумывая приходила на помощь. Вернее было бы сказать «бросалась на помощь», если бы речь шла не о женщине преклонного возраста и далеко не прежнего здоровья.

До мельчайших подробностей я запомнил первый приход в ее дом. Но долго не знал, что за этим приходом последовало. А последовало вот что: не теряя времени, Анна Андреевна собралась в дорогу и отправилась к влиятельному лицу, которое тогда распределяло большие издательские заказы,— просить работу для молодого переводчика, не напечатавшего ни единой строки.

Влиятельное лицо, впрочем, оказалось не в духе и встретило просьбу ворчливо. Ахматова настаивала. Произошла размолвка, и поездка окончилась неудачей.

В зимние сумерки на улице Красной Конницы зашел разговор об английских поэтах. О Китсе Ахматова сказала, что это поэт последней стройности, которой после него уже ни у кого не было. Броунинга, с его полной открытостью перед читателем, сравнила с ленинградским многоэтажным домом, в который во время блокады попала бомба: половина дома обрушилась, а

другая стоит, дом виден в разрезе, висят абажуры, и у каждой комнаты свой цвет обоев.

Разговор перешел на Байрона, и я решился рассказать Анне Андреевне о своем заветном намерении. После смерти Лозинского я все время искал для себя крайнего предприятия, предельных трудов и наконец нашел: полный перевод всего стихотворного наследия Байрона. Заложил картотеку сведений о поэте и его эпохе — я тогда знал даже, на какую ногу был хром Байрон,— и перевел первую тысячу строк из общего числа в шестьдесят три тысячи. Четырнадцать лет — вот сколько занял бы этот труд, если не учитывать бедствия вроде влюбленностей и болезней.

Ахматова внимательно выслушала все это, заговорила сама, и с первых ее слов я почувствовал, как раскачивается и грозит рухнуть здание моего проекта — вполне в духе ахматовского блокадного сравнения. Нет, говорила она, переводить всего Байрона не нужно, это было бы ошибкой. Байрон — поэт очень неровный, он автор не только гениальных лирических отступлений «Чайльд Гарольда», но и длинных, скучных, справедливо забытых восточных поэм. А вот перевести и издать том избранных стихотворений — действительно нужное дело, потому что Байрон, которого у нас обычно переводят подражанием Пушкину, все еще ждет своего переводчика.

В какие-нибудь четверть часа Анна Андреевна, словно раскладывая безукоризненный пасьянс, перечислила все то, что я смутно ощущал, но не позволял себе осознать, чтобы не разрушить проект. Теперь он рухнул, освобождая место для других построек, и таким образом Анна Андреевна подарила мне четырнадцать лет работы.

О рекомендации в писательский союз она заговорила сама, избавив меня от душевных мук по этому поводу. Сказала, что даст рекомендацию, как только потребуется.

Потребовалось довольно скоро и, увы, неожиданно спешно. Я приехал к Анне Андреевне и услышал нечто, меня ошеломившее:

— Понятия не имею, что полагается писать. Я только раз в жизни давала рекомендацию, очень давно, одному молодому поэту. Но то был Союз поэтов, и все было по-другому... Сделаем так. Вон там, на стуле, машинка, здесь — бумага и копирка. Садитесь и пишите. Я буду у себя, а вы, когда напишете, постучите.

Переводы мои представлялись мне в виде длинного безрадостного перечня недостатков. Рекомендация, написанная мной самим, просто не имела бы смысла, и я сказал об этом Анне Андреевне.

Анна Ахматова и П. Н. Лукницкий. Комарово. Дом творчества. Зима 1962 г

— А вы вспомните, что я вам говорила о ваших переводах, и напишите все это в точности.

Через полчаса я уехал с рекомендацией. Ахматова подписала ее, наотрез отказавшись прочесть, чем привела меня в настоящий ужас.

В 1962 году дела мои обстояли вполне благополучно. Я служил в хорошей редакции, оставалось время для литературной работы, переводы печатались. Но благополучие было внешним. Становилось все яснее, что жизнь и работа идут по кругу, что я повторяюсь, теряю время и, самое главное, мне все больше не хватает живого русского языка.

Словно почувствовав мои беды, Ахматова именно в этом году дважды пришла на помощь.

В начале года я получил от нее в подарок книгу стихотворений, вышедшую в Гослитиздате, которая хранится у меня и сейчас. Приехав домой, открыл томик на титульном листе и прочел: «Милому Игнатию Михайловичу Ивановскому, самому лучшему переводчику. А. Ахматова. 24 февраля 1962, Комарово».

Была ли это светская любезность или лукавая шутка, но

рукой Анны Андреевны водило такое бесконечное великодушие, перед которым все беды показались обыкновенными неурядицами.

Осенью я уехал в Архангельскую область, якобы для сбора литературного материала, а на самом деле — послушать язык. Работал в школе, районной газете, а вечерами сидел над переводами, преодолевая свои собственные тайные штампы. Это оказалось так трудно, что впору было впасть в полное отчаяние.

Но вот затопали сапоги почтальонки на мосту — так называется дощатая площадка перед крыльцом северного крестьянского дома,— и я получил письмо:

«Милый Игнатий Михайлович,

благодарю Вас за книгу. Ваши переводы, как всегда, точны, изящны и вдохновенны.

От всего сердца желаю Вам провести длинную северную зиму, сохраняя душевный мир, в творческой работе. Я в Москве, чувствую себя неплохо. Все вокруг обыкновенно. Когда Вы предполагаете вернуться в Ленинград?

8 октября 1962 *А. Ахматова»*.

Никогда, ни прежде, ни потом, я не получал письма, которое само наилучшим образом осуществляло бы свои пожелания. Зиму я прожил именно так — сохраняя душевный мир, в творческой работе,— и письмо было моим талисманом. А к весне увидел, что работа моя наконец-то сдвинулась с мертвой точки.

Слушала Ахматова великолепно. Читать ей перевод означало видеть свою рукопись в рентгеновских лучах. Не сказано ни слова, а ошибки на виду. Так же слушал Лозинский.

Анна Андреевна не позволяла записывать по памяти стихи, которые только что прочла. Она либо диктовала сама, либо о записи не могло быть и речи. Поэтому сразу после чтения я торопился проститься и записывал стихи под уличным фонарем или в вагоне электрички. Иногда несколько строк, иногда больше.

Но как-то в разговоре я неосторожно процитировал как раз то, что не было продиктовано. Ахматова заметила это и с тех пор читала лишь те стихотворения, которые затем диктовала.

В Комарове Ахматова жила в маленькой стандартной даче Литфонда, которую прозвала Будкой. Там бывали многие, между прочим — иностранцы. Явился однажды молодой датча-

нин, по нашим понятиям аспирант, с большим запасом глубокомысленных общих мест. Беседа не затянулась. Через четверть часа аспирант откланялся расстроенный, хотя обошлись с ним вполне вежливо.

О западных литературоведах определенного толка Ахматова говорила как бы с головной болью:

— Это такая ложь, такое нежелание и неумение разобраться. Куда лучше честная ругань наших: понимаешь, чего от тебя хотят и почему хотят.

Люди, хорошо знавшие Ахматову, указали мне на некоторые фактические ошибки в этих воспоминаниях, и я с благодарностью внес изменения.

Было у меня написано следующее:

«Юмор в духе Марка Твена был совершенно чужд Ахматовой. Он был слишком «утренним», прочно заземленным, и она от подобного юмора открещивалась».

Н. А. Роскина написала мне: «Ей был близок любой юмор, она была очень смешлива — это во-первых. А во-вторых, она как раз очень любила Марка Твена».

Как же примирить столь разные впечатления?

Есенин признавался, что, когда он смотрел на Блока, с него капал пот, потому что перед ним был настоящий поэт. Примерно так же я относился к Анне Андреевне. Она это видела и, будучи натурой сложной, многогранной, поворачивалась ко мне соответствующей гранью.

Богиня так богиня. Ей для этого усилий не требовалось.

Но уж раз богиня, то и Марк Твен на время остается далеко в стороне. Иначе он оказался бы разрушителем, как его янки при дворе короля Артура.

Только раз я услышал от Анны Андреевны анекдот — образца 1913 года. Весь он состоял из длинной ломаной фразы, сказанной финским шкипером. Рассказано было за смешное, но мне показалось настолько не смешно, что я совершенно растерялся. Анна Андреевна это запомнила и как лишенному чувства юмора слушателю более анекдотов не рассказывала.

Впрочем, нет. До этого рокового анекдота был еще один.

Читателю Публичной библиотеки понадобилась столь сложная справка, что пришлось вызвать главного библиографа. Дама, умудренная необычайными познаниями, появилась из глубины библиотеки, и перед ней почтительно положили некий алфавитный справочник. Она раскрыла его и призадумалась. Все затаили дыхание. И дама спросила:

— После «в» — какая буква?

Это пустяки, наподобие романов о великих людях. На первой странице романист рассказывает нам, о чем думал Гёте, проснувшись поутру. Как будто можно знать мысли гения.

— Если вам скажут, что стихи — занятие для молодых людей, не верьте. Возраст не играет роли.

Она это доказала.

Четыре стандартных зеленых дачи на большом общем участке, обнесенном низкой оградой.

Издали, между соснами, вижу грузную фигуру с лейкой в руке. Анна Андреевна поливает цветы.

Идет по дорожке. Отводит рукой ветку бузины, указывает на нее глазами:

— Письмо от Марины[1].

Откуда прислала весть Марина Цветаева? Не знаю. Но легенда творится ежечасно. И не перестают рождаться стихи.

1968, 1986

Ника Глен

ВОКРУГ СТАРЫХ ЗАПИСЕЙ

Я познакомилась с Анной Андреевной Ахматовой в 1957 году. За год до этого я начала работать в Гослитиздате, занималась там болгарской литературой и из разговоров моих коллег-редакторов с изумлением узнала, что они заказывают переводы Анне Ахматовой,— в моем сознании она жила где-то рядом с Блоком, и то, что ей можно вот просто так позвонить по телефону, казалось мне совершенно невероятным. Позже я поняла, что, переводя для наших изданий, Ахматова не только оказывает нам и переводимым авторам честь, но и сама заинтересована в этих переводах — зарабатывает ими на жизнь. Поэтому когда я начала готовить книгу болгарской поэтессы Элисаветы Багряны[1], я обратилась к Ахматовой. Постепенно знакомство с ней перестало быть «служебным», до конца ее жизни я часто бывала у нее, а примерно с 1958-го по начало 1963 года оказывала секретарские услуги, помогала в литературных делах, в отношениях с издательствами и журналами, в переписке и т. д. (Последние года три эти обязанности, так сказать, частного секретаря в значительной мере перешли к Анатолию Генриховичу Найману.)

Когда я уходила от Ахматовой (часто — к последнему поезду метро), особенно если она перед тем читала мне стихи, я шла, ног под собой не чуя — даже и физически, с ощущением такого ликования, для которого я и сейчас не могу найти слов. Думаю, что-то похожее имел в виду Д. Самойлов:

Я вышел ночью на Ордынку.
Играла скрипка под сурдинку.
Откуда скрипка в этот час —
Далеко за полночь, далеко
От запада и от востока,—
Откуда музыка у нас?

И эта скрипка, это ощущение чуда, особенно острое в первые месяцы знакомства (тогда и «сурдинки», пожалуй, не было), не притупилось, не стерлось до самого конца.

Нередко Ахматова звала меня для того, чтобы продиктовать или вписать самой в подаренный мне экземпляр «Поэмы

без героя» поправки, изменения, новые строки или строфы. И в этих случаях, и в каких-то еще, когда Анна Андреевна рассказывала мне о себе, мне казалось — не всегда, конечно,— что рассказ предназначен не только мне, слушающей ее *сейчас,* что Анна Андреевна, надеясь на мою молодую память, полагает, что я сохраню, донесу что-то до иных времен. Рассказы такого рода бывали обычно внутренне или открыто полемичны по отношению к невежественным или злонамеренным суждениям о ее жизни и стихах. Бóльшая их часть группировалась вокруг таких тем: история акмеизма, отношения с Н. С. Гумилевым и его судьба, поэтическая «продуктивность» Ахматовой во второй половине 20-х — в 30-х годах. С горечью сознаю, что я не оправдала надежд Ахматовой — «Поэму» с поправками я, разумеется, храню, но и комментарий к ним и многие ее рассказы помню плохо — настолько, что воспроизводить их не решаюсь. Записывала я непростительно мало, но если записывала, то сразу и уверена в точности записей. Только в этих случаях — когда сохранилась запись — я привожу прямую речь Ахматовой, хотя она же учила относиться к прямой речи в мемуарах с заведомым недоверием.

Эпизоды, фрагменты рассказов Ахматовой, ее суждения, которые я намерена привести, объединены лишь тем, что у меня есть «опора» — запись того времени, сами же записи были редки и случайны, поэтому мои разрозненные записки не имеют ни малейшей претензии создать хоть сколько-нибудь целостное представление об Ахматовой шестидесятых годов. Все это — отдельные черточки, отдельные штрихи.

— Херсонес — главное место в мире. Когда мне было семь лет, я нашла кусок мрамора с греческой надписью. Меня обули, заплели косу и повели дарить его в музей. Вот какое место — где маленькая девочка прямо так, сверху, находит греческие надписи.

Эту запись можно считать комментарием к пассажу из «Коротко о себе» Ахматовой: «Каждое лето я проводила под Севастополем... Самое сильное впечатление этих лет (речь идет о 1896—1905 гг.— *Н. Г.*) — древний Херсонес, около которого мы жили».

— ...Как двадцатилетняя девочка, зеленая, ничего не вкусившая, очутившись рядом с настоящим поэтом (Гумилев выпустил три сборника и после «Жемчугов» был сложившимся поэтом), оказалась не затронутой его влиянием,— а он в этом отношении сильный, у него были ученики, и до сих пор живут гумилевская строфа и гумилевская интонация.

Среди немногих моих записей — рассказ о двух встречах с Мариной Цветаевой, но я не воспроизвожу его, потому что он есть в воспоминаниях Н. И. Ильиной, при этом моя и ее записи совпадают почти или даже абсолютно дословно — что, кстати, говорит об их точности. Добавлю лишь несколько слов, которых нет у Н. И.: «Она (Цветаева) была очень худа, совершенно седая... Она говорила, что детство прошло в Трехпрудном переулке, у дома рос тополь — «только не надо об этом говорить, а то его срубят».

После паузы Анна Андреевна добавила: «Как она уходила из Москвы и какой царицей вернулась!»

Я спросила, какое у Анны Андреевны впечатление от прозы Цветаевой.

— Как всегда, очень пестрое. Есть прекрасные статьи, изумительные — мне очень понравились, больше всего — «Мать и музыка» — ее мать была музыкантша, а есть такие, как будто писала провинциальная поповна — как Николай II с семейством открывал музей и прочее.

Отрывок из разговора по телефону 5 апреля 1959 года. Я спросила у Анны Андреевны, видела ли она последний номер «Литературы и жизни». «Да, я увлеклась статьей о «порнографическом» романе Набокова и вдруг вижу — совсем другое. Они были у меня в субботу, я им дала четыре стихотворения[2], думала, что это, как всегда, не увидит света, и вдруг — так молниеносно». Я каким-то образом выразила по этому поводу свое удовольствие. «Да, ведь стихи все-таки пишутся для того, чтоб их печатали, правда?»

— Брать двух поэтов — соблазнительно, но неплодотворно. Неизбежно принижается один, а часто и оба. У Марины Пастернак получился, Маяковский — не получился[3].

Под этой записью у меня пометка: «Комарово, август 1962» Я спросила что-то вроде: «Переводы всегда были только необходимостью?»

— Да, конечно, только, это страшная работа, которая изнуряет, сушит и мешает собственным стихам. И прошу никогда, и после моей смерти, их не перепечатывать и не включать в мои книги, ни за что.

Из этого же разговора:

— Говорили: «Ахматова и Гюго — невозможно», а переводить надо именно непохожих, тогда это настоящее перевоплощение. А то Хагеруп похожа на меня, я перевожу Хагеруп — это уже какое-то пищеварение, отвратительно!

Должна тут же повиниться: издавая двухтомник Ахматовой (М., 1986), мы — по всяким издательским, книготорговским

соображениям — нарушили ее волю и включили в состав выбранную, очень небольшую, часть ее переводов. Правда, в комментариях я попыталась объяснить, почему Ахматова переводила, да и приведенный там длиннейший и пестрый список переводившихся авторов достаточно красноречив. Следует, вероятно, оговорить и то, что к некоторым (немногим) своим переводам — например, «корейцам» — Ахматова относилась совсем по-другому.

— Я все-таки очень не люблю эту книгу (речь идет о гослитовском издании Ахматовой 1961 г.), так же как книгу Бориса Леонидовича (тоже речь о гослитовской книге «Стихотворения и поэмы» 1961 г.). Что с ней сделали? Разрезали двумя революционными поэмами, которые он написал и так и не так, как хотел, дали много военных стихов — они ему никогда не удавались. Особенно «Смерть сапера»,— мне кажется, никто так и не узнал, отчего он умер, потому что это невозможно дочитать до конца. И не дали лучшего — «Ирпень...», стихов из «Живаго». Получился пожилой господин, который совершает прогулки для здоровья и великолепно описывает природу — как Левитан. Поэтому пейзажные стихи не хочется читать. Получился не тот поэт. И с моей книгой* так.

— ...Поэзия, особенно лирика, не должна литься непрерывным потоком, как по водопроводной трубе. Бывают антракты — были у Мандельштама, Пастернака.

— Поэму «Русский Трианон» я уничтожила — в ней слишком ощущался «Онегин», это губительно для поэмы.

— Поэту ничего нельзя дать, и у поэта ничего нельзя отнять. Уж у меня так отнимали!.. Всем государством. И ничего не отняли.

Кажется, кто-то эту «формулу» Ахматовой уже приводил, но такое не грех и повторить.

— Человек может быть богат только отношением других к себе. Никаких других богатств на свете нет настоящих.

* Примечание для библиофилов. Эту книгу, с легкой руки Ахматовой, ее друзья стали называть «лягушкой» — за зеленоватую обложку. Увидев, что и обложка ее огорчила, я попыталась уговорить художников и «производственников» издательства выпустить хотя бы часть тиража в другой одежде, но удалось сделать только 100 штук для самой Ахматовой — 75 черных и 25 белых.

— Это я зарабатываю постановление,— говорила Ахматова о фотографии, сделанной на одном из вечеров, проходивших в Москве весной 1946 года (эта фотография датируется 3 апреля 1946 г.). По слухам, Сталин был разгневан пылким приемом, который оказывали Ахматовой слушатели. Согласно одной из версий, Сталин спросил после какого-то вечера: «Кто организовал вставание?»

— ...Простой, умный, добрый — то есть настоящий аристократ...— из рассказа о встрече с кем-то из зарубежных потомков Пушкина.

Уже немало писали о том, как часто Ахматову сердили и огорчали и переводы ее стихов, и зарубежные работы о ней (об этом подробно пишет, к примеру, Л. Озеров). У меня записан такой монолог. Анна Андреевна показывает мне итальянское издание и говорит: «Вот видите, какое это издание — en regard* русский и итальянский текст. Перевод без рифм, без размера — то, что в добром старом Гослитиздате называется подстрочник. «Не бывать тебе в живых...» Вы знаете это стихотворение? Там в переводе так: первая строка — «Тебя нет среди живых». Это не совсем правильно: «нет в живых» — значит ты сам не живой, но бог с ними. Вторая строчка переведена верно, а потом — «двадцать восемь штыковых, огнестрельных пять» — у него получилось вот что: «двадцать восемь человек со штыками, пять — с огнестрельным». Он же не понимает по-русски, ведь «штыковой» может быть только удар или рана. А у него какая-то батальная сцена. Остальные я не смотрела, но это, наверное, на том же уровне. А статья — это что-то страшное. Как может быть в одной фразе три-четыре фактических ошибки? Там, например, так — в 40-м году, в разгар войны, я выпустила две книги — «Из шести книг» и «Иву». И я собиралась ехать в Ташкент. Но ведь «Ива» никогда отдельной книгой не выходила. И 40-й год — какая же это война? У них была война, а у нас нет. И в Ташкент — что ж я, святым духом знала, что будет война и мне придется туда ехать? И все так» (6.IV.1959).

Одно из самых пронзительных моих воспоминаний: по воле случая я оказалась свидетелем таинства — или, по крайней мере, мне так показалось. Зимой, кажется, 1959 года Ахматова жила в Доме творчества в Комарове. Я приехала туда на два дня повидаться с ней. После обеда, который ей принесли в комна-

---

* Параллельно *(франц.)*. — *Ред.*

ту, Анна Андреевна сказала, что полежит, может быть, заснет, но меня просила не уходить. Я сидела на диване, что-то читала, Анна Андреевна ушла за портьеру, отделявшую кровать. Через некоторое время я услышала стон, испугалась, приоткрыла портьеру — Анна Андреевна лежала с закрытыми глазами, лицо спокойное — по всей видимости, спит. Стон повторился, но тут уже он показался мне каким-то ритмически организованным. Потом еще, а потом Ахматова произнесла довольно внятно, хотя слова и не совсем еще выделились из гудения-стона:

Неправда, не медный,
Неправда, не звон —
Воздушный и хвойный
Встревоженный стон
Они издают иногда.

Когда через некоторое время Анна Андреевна проснулась и вышла ко мне, я сказала ей, что произошло. Отозвавшись на мою потрясенную физиономию лишь лукавым взглядом («А вы что думали? Так оно и бывает»,— можно было его истолковать), она заговорила спокойно: «Да, вы знаете, в сегодняшней газете стихи Дудина, и он пишет, что у сосен медный звон, что сосны медные. Это неправда, посмотрите — какие же они медные. Я их хорошо знаю, я всегда их в Будке слушаю. Как там у него? Прочтите, прочтите, это в «Ленинградской правде».

Я прочла:

И доносится сквозь сон
Медных сосен медный звон.

Ахматова повторила свои строчки и сказала: «А дальше будет лучше». Но, кажется, «дальше» не было.

Здесь же уместно, вероятно, привести один записанный «по свежим следам» телефонный разговор. Позвонив, я, видимо, спросила Анну Андреевну, не помешала ли я ей. В ответ услышала: «...вы ничему не можете помешать. Стихи я сочиняю рано утром, перед тем как проснуться, а в остальное время ничего важного быть не может. Да, да, в молодости я сочиняла вечером и потом спокойно засыпала, уверенная, что не забуду. И не забывала. А теперь уже не то, да вечером как-то и не получается, а утром, перед тем как проснуться, иногда еще ничего, выходит».

И еще о том, как ведут себя стихи. В открытке, которую я получила от Ахматовой из Италии, из Катаньи, Анна Андреевна написала: «Стихи — молчат».

С двадцатых чисел сентября 1962 года по январь 1963 года Ахматова жила у меня, на Садово-Каретной, 8 (насколько я помню, примерно с десятидневным перерывом, когда Анна

Андреевна переселялась к М. С. Петровых). По каким-то причинам ни Нина Антоновна Ольшевская, гостеприимная хозяйка дома на «легендарной Ордынке», ни другие друзья, у которых Анне Андреевне случалось останавливаться, не могли в то время предоставить ей кров. Я жила в коммунальной квартире (кроме нашей семьи — еще пять); для того чтобы принять Анну Андреевну, моя мама должна была переселиться на раскладушку в смежную комнату к своей сестре, а я — перебраться в «зашкафье» на мамину кровать, освободив свою тахту для Анны Андреевны. Рассказываю я об этих обстоятельствах потому, что и они, мне кажется, помогают ощутить ужасающую ахматовскую бездомность.

В те месяцы, которые пришлись на мой дом, Ахматова очень много работала: продолжала свои пушкинские штудии — дополняла, перерабатывала, снова и снова возвращалась к тексту и «Александрины», и «Bande и старшие», и «Невского взморья» (эта статья публикуется с датой 23 января 1963). Работала над воспоминаниями о Мандельштаме[4] (у меня сохранился текст «Листков из дневника», где между строк, на полях и на оборотах машинописных страниц сделаны рукой Ахматовой большие вставки). Тогда же Ахматова пристрастно изучала принесенный ей кем-то первый (или первый и второй) том американского издания Гумилева, многое, так сказать, «дезавуировала» во вступительной статье Г. Струве, при этом, в частности, продиктовала мне, какие стихи Гумилева так или иначе относятся к ней (подборка этих стихов, но на основании неполного списка, опубликована в № 9 «Нового мира» за 1986 год). В это же время Анна Андреевна написала рецензию на книгу Арсения Тарковского «Перед снегом» и, наконец, занималась составлением новой книги своих стихов «Бег времени» с подзаголовком «Седьмой сборник стихотворений Анны Ахматовой». В эту книгу Ахматова предполагала включить и «Реквием» (обозначая его обычно в списках буквой R). Издание это не осуществилось, а название «Бег времени» перешло на книгу, традиционно составленную по сборникам и вышедшую в 1965 году.

О том, какой Ахматова казалась иногда величественно неприступной, какой «королевой», писали многие. Я тоже не раз видела ее такой — правда, не по отношению к себе. Со мной Анна Андреевна всегда держалась просто, тон ее был ровно дружеским, а помню я ее даже и домашне ласковой, «доброй бабушкой» — хотя это бывало нечасто. Такой, например, пустяк — но и сейчас перед глазами. Утренний чай-кофе у нас за обеденным столом. Я размешиваю сахар и, не вынув ложки, собираюсь пить. Анна Андреевна быстрым и точным движением вынимает ее, кладет мне на блюдце, смотрит смеющимися

глазами — «Вы не знали? Теперь будете знать». И еще кое-каким правилам хорошего тона учила — писать на конверте не инициалы, а имя и отчество адресата (разумеется, перед фамилией) и не подчеркивать имя и фамилию, не резать заранее сыр, когда подаешь его к столу, комкать свежевыглаженный носовой платок, когда кладешь его в сумочку...

Еще один штрих — он же в каком-то смысле и комментарий к некоторым мемуарам. У Ахматовой в последние годы жизни бывало множество людей. Она и рада была этому, но и уставала, не всегда хорошо себя чувствовала, и потому, вероятно, были выработаны какие-то ритуалы, игры почти, которые помогали ей справляться с наплывом посетителей. «Вы слышали эту «пластинку»? — спрашивала она, обозначив ее сюжет, и затем следовал хорошо отработанный, остроумный рассказ на какую-то интересную для собеседника тему. Или — такая ситуация: посетитель засиживается, как бы и порывается уйти, но все продолжает сидеть. Анна Андреевна говорит: «Посмотрите на часы. Ну вот, посидите еще десять минут». Тем самым визиту ставится наконец предел, а у неискушенного визитера нередко остается впечатление, что Ахматова никак не хотела его отпускать — «ну еще десять минут». В приятное заблуждение такого же рода впадали иной раз и люди, звонившие Ахматовой по телефону. Анна Андреевна не любила говорить по телефону, чаще всего бывала очень лаконична — и из некоторого трогательно старомодного недоверия к технике («Телевизор — это когда голова вытянута и немножко набок»), и, главное, потому, что допускала, что телефонные разговоры прослушиваются. Поэтому она часто прерывала разговор коротким «Приезжайте!» или «Приезжайте скорее!». И опять-таки собеседник иногда полагал, что Анна Андреевна нетерпеливо ждет именно его, а это не всегда соответствовало действительности.

Здесь же, может быть, уместно будет привести кое-что из шутливых словечек, речений, которые были в ходу у Ахматовой и то снимали напряжение или возникшую почему-либо неловкость, то именно благодаря своей повторяемости позволяли друзьям чувствовать себя участниками какой-то общей игры: «Если хотите знать всю правду обо мне...» (обычно перед каким-нибудь не слишком существенным признанием); «Тоже мне занятие для порядочных людей»; «Притворился пуделем и полез под диван» (о ситуации, когда кто-нибудь бывал до крайности сконфужен или уличен в чем-то неблаговидном); «Не надо подавать мне первую помощь — я безутешна»; «Со мной (или — у меня) только так и бывает» (это я, к примеру, услышала, когда прочла Анне Андреевне обратный софийский адрес одного ее болгарского почитателя — улица Жданова;

Анна Ахматова. Голицыно. Фотография Н. Глен. 1959 г.

это же говорилось и по серьезным поводам); «идеал грез» и «с визгом» (т. е. с радостью, с восторгом — в ответ на какое-нибудь пустяковое, но приятное предложение); «милые улики» (о плавающих на поверхности каких-нибудь домашних вещах перед приходом гостя); «ерш» (когда могли совпасть во времени плохо сочетающиеся друг с другом посетители); «золушкин час» («Что, золушкин час?» — когда собирался уходить приятный ей гость).

Многие мемуаристы (и не только пишущие об Ахматовой) не забывают сообщить читателям, какую они сами играли роль — значительную, разумеется,— в жизни своего объекта. Не удержусь — последую и я доброй традиции. Среди многих фотографий, подаренных мне Ахматовой, есть одна, на которой написано: «Главной Нике». Подпись — перечеркнутое строчное «а» — и дата: «26 ноября 1964, Москва». Эта шутливая надпись очень мне дорога. Кстати, я несколько раз фотографировала Анну Андреевну (на фотографии из первой моей «серии», 1958 года, Ахматова написала: «Твоим добром — тебе челом») и один раз снимала ее любительским киноаппаратом (в Голицыне, году в шестидесятом). Кажется, это единственные кинокадры Ахматовой, к сожалению технически очень несовершенные. Записывала я Анну Андреевну и на магнитофон — году в пятьдесят девятом — шестидесятом у меня появился аппарат из первых массовых, громоздкий ящик «Днепр-5» («Смотрит зеленым глазом»,— говорила Анна Андреевна). Однажды, когда она приехала ко мне вместе с Марией Сергеевной Петровых, Анна Андреевна сказала мне: «Вот кого надо записывать» — и попросила отнекивавшуюся Марию Сергеевну прочесть «Осинку» — так Ахматова называла «Дальнее дерево». Про это стихотворение она говорила, что дерево в нем «с каждой строкой все больше похоже» на саму Марию Сергеевну. Запись эту использовал в подготовленной им пластинке Марии Петровых Л. А. Шилов (как и некоторые мои ахматовские записи).

Я уже писала о том, как много работала Ахматова в те месяцы, что жила у меня. Кроме того, к ней почти непрерывной вереницей шли посетители — друзья и почитатели, с рабочими и нерабочими визитами, нередко, несмотря на мои диспетчерские усилия, один визитер наезжал на другого, то есть творилось то самое, что Анна Андреевна давно уже называла «ахматовкой». Я была уверена, что вне этого круга работы и общений Анна Андреевна ничего не замечает. И вдруг: «По-моему, Оля (О. Кутасова, близкая моя подруга и в то время тоже гослитовский редактор) меня боится, потому что не может быть, чтобы она случайно так долго не приходила. Скажите ей, что я так же дружна с ней, как с вами, и пусть она

приходит. А то вы бегаете с ней встречаться за угол, как говорит мне мое второе зрение». Поскольку я действительно бегала и бегала именно за угол, чего Анна Андреевна никак не могла знать, этот маленький эпизод произвел на меня сильное впечатление, и я тут же записала монолог Ахматовой.

И ведь было «второе зрение», было. «В Москве тоже неплохо — Красная площадь, снег, Ахматова»,— лукаво произнесла Анна Андреевна, когда я, вернувшись из туристической поездки вокруг Европы, сразу прибежала к ней. Снег и Ахматова были очевидны, но пешком по Красной площади, как в тот раз, я ходила на Ордынку очень редко.

«Игры»-ритуалы были и другого рода. В течение нескольких лет я помогала Ахматовой отвечать на письма, чаще всего читательские — их становилось все больше. Техника была такая — Анна Андреевна почти без пауз наговаривала текст ответа, я записывала, насколько успевала, с помощью сокращений и условных знаков, потом перепечатывала ответ уже в виде связного текста, и Анна Андреевна подписывала. А игра заключалась в том, что Ахматова, прежде чем усадить меня за это занятие, неизменно говорила: «Давайте отвечать на письма. Только вы меня можете заставить». У меня сохранилось несколько черновиков ахматовских писем и телеграмм. Думаю, что имею право предать гласности один из них, который носит скорее общественный, чем личный характер.

Это — телеграмма Паустовскому (с которым Ахматова была почти или совсем незнакома):

«Глубоким волнением и радостью прочла Вашу замечательную статью «Известиях» Благодарю Вас

Анна Ахматова».

Статья Паустовского «Сражение в тишине», опубликованная в «Известиях» 27 октября 1962 г., была посвящена напечатанному незадолго до этого роману Ю. Бондарева «Тишина», а также кривотолкам некоторых критиков по поводу романа. «Каждая попытка оправдать «культ» — перед лицом погибших, перед лицом самой элементарной человеческой совести — сама по себе чудовищна»,— писал, в частности, Паустовский. Вообще вся статья, которая была, на мой взгляд, одним из самых ярких публицистических выступлений эпохи «оттепели», говорила о народной трагедии, эвфемистически называвшейся тогда «нарушения законности в период культа личности», гораздо более открыто, прямо, гневно, чем сам роман, и Анна Андреевна, которую любые сведения, любые суждения о сталинских лагерях, о репрессиях всегда страстно волновали, не могла на статью не отозваться.

«Я — хрущевка»,— много раз повторяла Ахматова и смысл в это вкладывала именно такой: Хрущев — человек, открывший ворота лагерей.

Самым важным для «ахматоведения» событием тех месяцев, что Анна Андреевна провела на Садово-Каретной, было, вероятно, «раскрепощение» «Реквиема». К сожалению, я ничего тогда не записала и помню все только в самом общем виде: и что Анна Андреевна очень волновалась, и что я, переписывая эти великие стихи на машинке, понимала значительность происходящего — ведь полный «Реквием» впервые из памяти (его знали наизусть Ахматова и несколько ее ближайших друзей) переходил на бумагу*. И в те же дни (вероятно, это был декабрь 62-го) Анна Андреевна сама захотела прочесть «Реквием» на магнитофон. Помню еще, как обсуждалось, предлагать ли «Реквием» для публикации (речь шла о «Новом мире»). Примерно в это же время у «Реквиема» появился эпиграф — «Нет, и не под чуждым небосводом...». Эти ныне знаменитые четыре строки из тогда еще не опубликованного стихотворения Ахматовой предложил сделать эпиграфом к «Реквиему» пришедший к ней в гости Л. З.Копелев[5] , которому она это стихотворение прочла, и Ахматова в ту же минуту согласилась.

В моем ахматовском «архиве», кроме писем, фотографий, списков стихотворений, хранятся разнородные и порой странные материалы. Вот вырезка из «Литературной газеты» от 4 марта 1965 года — кремлевский зал заседаний, привычно чинный (и чиновный) президиум (Второй съезд писателей РСФСР), почти неразличимые лица, и среди них — гордо посаженная голова Ахматовой. Показывая эту газету, Анна Андреевна говорила: «Это не Фурцева, это я».

А вот такая реликвия — узенькая, неровно оторванная полоска бумаги. Рукой Ахматовой: «...хочу оставить у вас мои записн. книги и т. д. Можно?» Это было на квартире Западовых, незадолго до отъезда Анны Андреевны за границу — не помню уже, в Италию или Англию, и речь шла о небольшом потрепанном чемодане с рукописями, который сопровождал Анну Андреевну по всем стоянкам ее кочевья. Мы были в комнате вдвоем, но Ахматова не доверяла стенам, поэтому — записка. В этом случае предосторожность была, скорее всего, излишней, но к такого рода мерам приучил Ахматову горький опыт ее жизни.

---

* Недавно я прочла в хранящейся в ЦГАЛИ рабочей тетради Ахматовой запись о «Реквиеме»: «С первого дня еще на Садово-Каретной, где произошло его второе рождение, все говорили о нем те же несколько очень прямых и сильных слов. Примерно каждый десятый — плакал».

На последнем подарке, который я получила от Ахматовой,— дата: 26 февр. 1966 г.», т. е. до кончины Ахматовой оставалось семь дней. Это — фотография. На обороте — рукой Анны Андреевны: «Моя книга в одном экземпляре на березовой коре». На фотографии — самодельная, с растрепанными краями, сшитая веревкой книжка из бересты. Открыта на странице, где переписано с ошибками стихотворение «Двадцать первое. Ночь. Понедельник...». Книжка эта, которая была Ахматовой дороже любого многотиражного издания, была сделана в лагере. Ахматова и чувствовала всегда — она тоже там.

А за проволокой колючей,
В самом сердце тайги дремучей
Я не знаю который год,
Ставший горстью лагерной пыли,
Ставший сказкой из страшной были,
Мой двойник на допрос идет...—

одна из строф, которые не могли быть включены в прижизненные публикации «Поэмы без героя».

Прочитала, что у меня получилось, и увидела: материал неравнозначный, нет единства тона. То о забавном речь, то о трагическом, то о важном, а то и о пустяках. А может быть, ничего — так ведь оно и в жизни?

Ноябрь 1987

Ю. Г. Оксман

ИЗ ДНЕВНИКА, КОТОРОГО Я НЕ ВЕДУ

13 октября 1959 г., вторник. У нас обедала сегодня Анна Андреевна Ахматова. За те несколько месяцев, что мы не видались, она — чисто внешним образом — очень изменилась. Как-то погрузнела — не то что пополнела, а вся «раздалась» и в то же время окрепла, успокоилась, стала еще монументальнее, чем была. К семидесяти годам исчез последний налет Ахматовой эпохи не только «Четок», но и «Anno Domini». А я ведь помню ее еще по «Привалу комедиантов», по вечерам поэтов в Петербургском университете. Помню совсем юной и гордо изысканной Ахматовой периода ее первых больших успехов, Ахматову, увековеченную Модильяни и Альтманом, в стихах Гумилева и Мандельштама...

Обычно Анна Андреевна очень осторожна в своих политических высказываниях, даже когда говорит о своей страшной судьбе, о пройденных годах нищеты, травли, тревог за Леву. Сегодня была смелее, откровеннее. Читала «Реквием», потом стихи, которые, по ее словам, она даже никогда не записывала.

Сейчас ее со всех сторон тормошат просьбами о стихах. Летом даже «Правда» попросила что-нибудь. Она послала одно стихотворение, но они все же не напечатали его.

Я спросил о состоянии ее архива. Она, оказывается, его уничтожила только в 1949 году, после вторичного ареста Левы[1]. Какая страшная потеря для нашей культуры. Уцелели, по ее словам, только письма к ней В. К. Шилейко — случайно куда-то завалились.

Самое сильное ее впечатление за последние годы — чтение Кафки. Она его прочла по-английски — один томик. Пробовала по-немецки — трудно. (Я не предполагал, что А. А. все же знает и немецкий язык...)

14 января 1961 г. В субботу вечером был у А. А. Ахматовой, привозил ей справку о ней, сданную в «Краткую литературную энциклопедию». Сделала ряд существенных уточнений фактического порядка. Протестовала против утверждения, что М. Кузмин декларировал «прекрасную ясность» акмеизма в предисловии к ее первому сборнику. М. Кузмин был врагом акмеизма, да и все акмеисты его не любили. Ошибка идет еще

от статьи В. М. Жирмунского[2], где Кузмин объединен с акмеистами...

Упоминает о том, что статью о дуэли Пушкина[3] будет переделывать — переписка молодых Карамзиных, только что изданная... черным по белому гласит о том же, что доказывала в своей работе она, полемизируя и со Щеголевым, и с Казанским[4]. Поэтому у нее пропал вкус к этой работе.

С негодованием говорит о западноевропейской критике, которая ее принимает только в масштабах 1912—1924 гг. Все позднейшее ее творчество им не нужно, его просто не замечают. Одни это делают с позиций Хлебникова и Маяковского, другие отвергают ее справа.

Спрашивал ее о Ходасевиче, она его очень ценит...

20 августа 1962 г. Был у А. А. Ахматовой. Завтра уезжаю из Комарова в Москву, зашел попрощаться. В этот свой приезд в Ленинград видел ее очень часто. Она «в хорошей форме», бодра, не хандрит, много пишет, охотно принимает друзей, особенно приезжих...

Быт не очень нормальный. Она часто болеет, ей много лет, но ухаживают за ней только соседи — жена поэта Гитовича ее кормит, гуляет с ней в соседнем лесу, топит печи. Около Анны Андреевны дежурят иногда приезжие поклонницы, часто заходит к ней Мария Сергеевна Петровых, которую она очень любит и ценит...

...А. А. очень тронута моей высокой оценкой вставок в ее статью о дуэли и смерти Пушкина («Александрина», «Граф Строганов», «Друзья Дантеса»). Она уверяет, что не печатает статьи из-за моего старого отзыва, в котором я заметил, что в статье «мало мяса», «кости торчат»...

...Вспоминает, что в молодости часто ссорилась с Н. С. Гумилевым из-за того, что тот делал вид, что очень любит и ценит Случевского. Вспоминает и вечер в их доме, посвященный Случевскому (какая-то дата исполнилась). Собрались какие-то скучные тайные и действительные статские советники, не то почитатели, не то сослуживцы Случевского по «Правительственному вестнику». Читали стихи Случевского и свои вирши, посвященные его памяти. Н. С. сердился, что А. А. тяготилась его гостями.

24 ноября 1962 г. В девятом часу добрался до новой временной квартиры Анны Андреевны. Она ютится сейчас у Ники Николаевны Глен. Большая коммунальная квартира, очень захламленная (Садовая-Каретная, 8, кв. 13). 8-й этаж. Странно, что А. А. Ахматова, проводящая больше половины года в Москве, живет в таких трудных условиях — всегда «на

краешке чужого гнезда», как бедная родственница, без настоящего ухода. Сперва она живет у Ардовых, затем переезжает к Марии Сергеевне Петровых, потом к Нике Глен, потом еще куда-нибудь.

Но Анна Андреевна сейчас очень бодра, в явном подъеме. Вид у нее «победный», блестят глаза, молодой голос, легкие и свободные движения. У нее сегодня были гости из Болгарии, заезжал А. А. Сурков, без конца звонят друзья. Газеты и журналы просят стихов. Правда, Твардовский неожиданно отказался печатать куски из ее поэмы, несмотря даже на специально заказанное К. И. Чуковскому послесловие, но А. А. передает поэму в «Знамя». Журнал этот не очень ей нравится, она презирает и Кожевникова, и Сучкова, но большого значения месту публикации она не придает. Лишь бы печатали полностью, без принудительных вариантов, да скорее... Но в «весну» А. А. верит... Когда же я сказал, что Москва в последние дни похожа на Петербург весною 1821 года, когда все читали IX том «Истории» Карамзина (о зверствах Грозного), А. А. со смехом заметила: «Я ведь подумала об этом же самом».

А. А. показала мне груду фотографий 1909—1957 годов. Вспомнила, что мы познакомились в 1924 году у Щеголевых (она очень дружила с Валентиной Андреевной)...

Потом прочла все то, что написала о Мандельштаме. Разумеется, ничего более значительного о нем я не слышал. Каждая строка этих воспоминаний драгоценна в разных отношениях. Это и мемуары, и остов биографического исследования, и проникновеннейшая характеристика. И как все это «исторично», тонко, умно, конкретно. Много «интимно-бытового» (от перечня женщин, которых любил О. Э., до обстановки его московской комнаты, в которой шел обыск перед первым арестом).

О. Э. был одним из немногих, кто высоко чтил Гумилева не только при жизни, но и после смерти.

...А. А. вдруг перешла к воспоминаниям о Гумилеве. Ей показали в 1930 году место, где были расстреляны все осужденные по Таганцевскому делу (недалеко от Сестрорецка, около ст. Бернгардовка, у артиллерийского полигона, на опушке сосновой рощи). Горький отказался принять делегацию писателей, хлопотавших за Гумилева. Он в это время готовился к отъезду за границу, нервничал, болел, всего боялся. Из тюрьмы Н. С. прислал три письма (с оказиями) — одно жене, другое в издательство «Мысль», третье — в Союз писателей с просьбой о продовольственной передаче. Кстати сказать, я видел на Колыме (или в этапе) каких-то людей, сидевших с Гумилевым на Гороховой. Он довольно долгое время был в общей камере, откуда его и водили на допросы. Он был очень бодр и не верил в серьезность предъявленных ему обвинений, не допускал возможности высшей меры.

Через некоторое время после расстрела Гумилева его родными и друзьями была организована панихида по нем в Казанском соборе. Среди молящихся Анна Андреевна заметила мать и тетку Блока с Любовью Дмитриевной...

9 декабря 1962 г. вечером был у Анны Андреевны, где застал Л. К. Чуковскую. Перед моим уходом пришла Э. Г. Герштейн. Разговор начался с предложения Анны Андреевны посмотреть впервые объединенный в законченный цикл знаменитый «Реквием». Он впервые только вчера и переписан на машинке, снабженный двумя предисловиями — прозаическим и стихотворным. Я очень удивился, прочитав в цикле политических стихов то, что считал прощанием с Н. Н. Пуниным,— «И упало каменное слово...»[5]. А. А. рассмеялась, сказав, что она обманула решительно всех своих друзей. Никакого отношения к любовной лирике эти стихи не имели никогда. (Я все-таки не совсем уверен, что это так.)

Но самое странное — это желание А. А. напечатать «Реквием» полностью в новом сборнике ее стихотворений. С большим трудом я убедил А. А., что стихи эти не могут быть еще напечатаны... Их пафос перехлестывает проблематику борьбы с культом, протест поднимается до таких высот, которые никто и никогда не позволит захватить именно ей. Я убедил ее даже не показывать редакторам, которые могут погубить всю книгу, если представят рапорт о «Реквиеме» высшему начальству. Она защищалась долго, утверждая, что повесть Солженицына[6] и стихи Бориса Слуцкого о Сталине гораздо сильнее разят сталинскую Россию, чем ее «Реквием».

...Я рассказывал о своей последней встрече с Гумилевым в Доме литераторов на Бассейной (в конце ноября 1920 г.)... Из Дома литераторов мы вышли вместе — я рассказывал ему о том, что видел в 1919—1920 гг. на территории, занятой Деникиным, и о том, что слышал от людей, бежавших из Крыма, о Врангеле. Он слушал очень внимательно, хотя, как мне показалось, знал обо всем этом не хуже меня. Он явно был на стороне белых и не придавал значения их преступлениям и ошибкам.

Анна Андреевна, как мне кажется, в последние месяцы чаще думает о Гумилеве, чем в прежние годы. Она ездила на место его расстрела и погребения...

19 января 1963 г. Позавчера А. А. Ахматова позвонила мне, напомнив, что я давно обещал к ней приехать... Застал ее в постели. Она слегка простужена (температура 37,2), но очень разговорчива и явно в большом подъеме. В «Новом мире»

и «Знамени» напечатаны ее стихи. Отклонив отрывки из «Поэмы», оба журнала напечатали очень охотно ее трагические стихотворения последних лет. А. А. ждет ответа из «Москвы», где находится поэма... Несмотря на все мои уговоры, А. А. послала в «Новый мир» весь «Реквием»... Уверяет, что сделала это только потому, что «Реквием» пошел уже по рукам, может попасть за границу и т. п., а потому ей необходимо показать, что она не считает этот цикл нелегальным. Свой подъем объясняет окончанием «Реквиема» и переделкой «Поэмы». Новая ее редакция закончена была еще в сентябре, но сейчас она ее доделала, уточнила ряд мест, которые в новом свете стали предельно ясными. Смеясь, сказала, что самый отрицательный отзыв о первой редакции был мой, что в свое время ее очень огорчило.

Прочла наброски статьи об «Уединенном домике на Васильевском острове». Написано это уже давно, но ее смущал отрицательный отзыв Б. В. Томашевского. Сейчас она вернулась к этой теме (может быть, под влиянием беседы с В. В. Виноградовым и рассказов о его докладе на эту тему в Пушкинском музее).

Работа Анны Ахматовой исключительно тонка по своим конкретным наблюдениям. ...Меня очень удивляет, как А. А. всегда неуверена в ценности своих писаний о Пушкине. Точнее, она-то всегда уверена в главном, но очень опасается тех или иных мелких промахов, могущих подорвать ценность ее основных догадок и разысканий, возможности неправильных толкований, словом, она слишком дорожит своим именем великой поэтессы и боится подорвать свое положение ложным впечатлением читателей от ее научной работы в области биографии Пушкина.

23 февраля 1963 г. В 3 часа дня заехал к А. А. Ахматовой. Она сейчас живет у Маргариты Алигер... А. А. мрачна. Недавно стихи возвращены из «Знамени», «Поэма» из «Москвы», «Реквием» из «Нового мира». Она хочет забрать и сборник свой из «Советского писателя». Два месяца оттуда ни слова. Лесючевский[7] явно не хочет печатать Ахматову...

У А. А. был в гостях недавно Солженицын[8]— приносил рукопись своей поэмы, написанной ямбами. Стихом он владеет плохо. Материал для большой повести, мрачный, как все, что он пишет. А. А. сказала ему, что «бороться за эту поэму не стоит». Он понял и больше ни о чем не спрашивал...

Хочет возвращаться в Ленинград на будущей неделе. Будет работать над статьями о Пушкине. Огорчена просьбой Виноградова изъять страницы об «Уединенном домике на Васильевском острове». Я убеждал ее не соглашаться с В. В. Ви-

ноградовым, хотя Т. Г. Цявловская на этот раз согласна с Виноградовым. В свое время против гипотезы о Голодае резко высказывался Б. В. Томашевский...

29 октября 1963 г. Вечером у А. А. Она у Ардовых в той самой каморочке. Не изменилась с весны. Такая же собранная и уверенная в себе. Привезла новые стихи, восстановленную пьесу в стихах, три статьи о Пушкине (новая — о Строгановых).

В будущем году ей 75 лет, но юбилея не будет... Но книжку обещают издать в Ленинграде. Ей хотелось бы новую книгу, а не сборник.

...Она знает, что у меня отобраны ее «Поэма без героя» (обе редакции) и «Воспоминания о Мандельштаме». Но не хватило духа сказать, что отобраны и некоторые мои дневниковые записи о ней — с 1957 года.

...А суетна Анна Андреевна по-прежнему. Больше всего занимает ее судьба ее стихов, завоевывающих мир медленнее, чем ей хотелось бы. Она считает себя более значительным поэтом, чем Пастернак и Цветаева. Ревнует к их славе и за гробом. Я уж не говорю о наших молодых поэтах.

27 ноября 1964 г. Утром позвонила А. А., приехавшая вчера из Ленинграда... Остановилась у Западовых, то есть в квартире Западовых, так как хозяева уехали в Переделкино... Анна Андреевна очень бодра, очень активна. Предстоящая поездка ее волнует[9], но в то же время и поднимает жизненный тонус...

Занята трагедией в стихах[10] — переработка того, что было написано когда-то в Ташкенте, а потом уничтожено в Ленинграде после выступления Жданова...

А. А. понятия не имеет, почему ей приписывают чепуху о посмертной реабилитации Н. С. Гумилева. Вспоминает мои автографы, где ей посвящена «Русалка»...

А. А. видела блоковский сборник, изданный в Тарту. Смеясь, сказала, что Блок был очень злой и угрюмый человек, без тени «благоволения», а его стараются изобразить каким-то «Христосиком»...

30 мая 1965 г. Вечером был у Анны Андреевны. Опять, как при первых встречах с нею в Москве, она на Б. Ордынке у Ардовых.

В Лондон едет завтра, в 6 часов вечера, через Остенде. Очень ясная, уверенная в себе, настоящая королева... С 1946 года она знакома с Исайей Берлиным — он был у нее в Ленинграде чуть ли не до рассвета. Оказывается, Берлин — референт

Черчилля в то время[11]. В Оксфорд берет только одну рукопись — «Пушкин в 1828 году». Стихи — не в счет. Есть и новые, которые прочла по бумажке (дата: 1958—1964)...

Вспоминали Марину Цветаеву, которую Анна Андреевна видала в 1941 году перед войной. Анна Андреевна ее, конечно, не очень любит, а стихи принимает в самых гомеопатических дозах. В Москве Марина была в полубезумном состоянии (перед их встречей арестованы были у нее муж и дочь). Очень привязалась она к Анне Андреевне, очень тянулась к ней в своей растерянности...

27 июня 1965 г. В 12 часов позвонила Анна Андреевна и попросила приехать к ней в Сокольники. Она переехала от Ардовых к Л. Д. Стенич. В Комарово уезжает 30-го дневным поездом. Она очень устала от Оксфорда, Лондона и Парижа, но победа отражается в каждом слове, в каждом жесте. На церемонию в Оксфорд приехали и некоторые русско-американские слависты во главе с Глебом Струве. Объяснение с ним по поводу того, что он пишет о ней, не привело к примирению. На ее возмущенные слова о том, что он говорит неправду, доказывая, что она «кончилась» в 1922 году, Струве заметил, что у него нет оснований менять свою общую концепцию. По-разному они смотрят и на ее роль в жизни Гумилева. Политика для Струве дороже истины...

Для Надежды Яковлевны она привезла новое издание стихов Мандельштама и «Воздушные пути», для Левы ей вручил Струве второй том Гумилева...

В Оксфорде А. А. очень многое диктовала о себе и своей работе одной англичанке, которая пишет о ней книгу[12]. В Париже виделась с Г. Адамовичем, который произвел на нее очень хорошее впечатление. Умен, не озлоблен, все понимает. Жалкое впечатление произвел Юрий Анненков. По словам Г. Адамовича, Георгий Иванов сознательно фальсифицировал свои мемуары и даже не скрывал этого в разговорах с друзьями...

14 октября 1965 г., четверг. В 3 часа, как просила Анна Андреевна, позавчера приехал к ней за новой книжкой. Сборник называется «Бег времени». А. А. нервничает, всем как будто бы недовольна. Жалуется, что у нее болят ноги, что трудно ходить, что ей негде жить ни в Ленинграде, ни в Москве, но мне кажется, что в основном все это не так уж ее трогает. Книжкой она очень довольна, радуется ее чудесному оформлению. (Художник В. В. Медведев всего добивался сам — и бумаги, и образцового набора, и суперобложки с портретом Ахматовой, написанным Модильяни.)

За границу А. А. не едет. С Нобелевской премией заглох-

ло. В трехтомник своих стихов она не верит, но вчера по телевидению передавали ее комментарий к нескольким строкам о ней в «Записных книжках» Блока. Сурков умоляет ее выступить 19 октября на торжественном заседании памяти Данте в Большом театре.

Она привезла в Гослит переводы Леопарди, сделанные ею с молодым ленинградским поэтом Найманом...

Вспомнила, что фрейлина Бунина[13], первая русская поэтесса, была ее прабабкой. В числе ее предков был и Эразм Стогов, сибирский мореход, впоследствии ставший адъютантом шефа жандармов Бенкендорфа. Не удивилась, узнав, что я читал записки Стогова в «Русской старине».

Вспомнила П. Е. Щеголева, память которого она чтит и сейчас. Рассказывала, как Блок увлекал Валентину Андреевну уехать с ним за границу. Она была очень им увлечена, но П. Е. Щеголев в это время сидел в Крестах, а маленького Павлушу ей не на кого было оставить.

Вспоминала, как безумно ревновал ее В. К. Шилейко. Из-за этой дикой ревности она избегала встреч с Гумилевым в 1919—1921 гг. Видела его редко, больше на людях. Сейчас жалеет об этом. Не понимает, почему молодые акмеисты так не любят (и сейчас!) Гумилева. И Адамович, и Георгий Иванов, и даже Оцуп — за границей все стали его врагами. А. А. думает, что это месть за его высокомерно-пренебрежительное отношение к ним. Николай Степанович был ведь беспощадно откровенен в своих суждениях о стихах.

В «Беге времени» А. А. выправила несколько страниц, в которых издательство (по требованию душегуба Лесючевского) сделало искажения — например, даже стихов «Смерть поэта», посвященных кончине Пастернака... Поэму пришлось раздробить на части, чтобы напечатать хоть что-нибудь из второй главы и эпилога.

Владимир Рецептер

«ЭТО ДЛЯ ТЕБЯ НА ВСЮ ЖИЗНЬ...»

(А. Ахматова и «Шекспировский вопрос»)

Я все чаще перечитываю «Поэму без героя» и вслушиваюсь в запись авторского чтения, невольно отмечая «шекспировские мотивы».

А ведь сон — это тоже вещица,
Soft embalmer*, Синяя птица,
Эльсинорских террас парапет...

Идут на память воображаемые прогулки по этим самым террасам. Голос Ахматовой соединяет времена.

Я оказываюсь отброшенным более чем на полтора десятка лет назад и замечаю себя сидящим напротив Анны Андреевны в небольшой светлой комнате на Петроградской стороне, Окно от меня справа, я — на стуле, у торца, а она — за письменным столом, чуть отодвинувшись, в кресле, лицом к окну, и произносит отчетливо, с большой серьезностью:

— Вы непременно должны об этом написать.

И в следующий мой приход:

— Вы написали об этом?

Я сознаюсь, что нет.

Ахматова выразительно на меня смотрит. Разговор идет на другие темы. И снова о Шекспире. А когда, прощаясь в прихожей, я целую Анне Андреевне руку, она говорит:

— Вам просто необходимо об этом написать.

«Это» — мои импровизации на заданные Ахматовой темы...

Здесь я совершаю попытку передать ахматовский текст и смысл, мне внушенный.

— А вы уверены, что все это написал актер? Что автор был актером?

Признаться, в первый момент я был ошарашен. Да, я читал об «антишекспировских» теориях, но мне и в голову не приходило придавать им серьезное значение.

Я вспомнил имена «кандидатов» на «роль» Шекспира — лорд Ретлэнд, Фрэнсис Бэкон, граф Дерби. Однако университетские преподаватели и авторы-шекспиристы сумели настроить меня вполне определенно: все гипотезы не обоснованы и недостойны обсуждения. А тут я слышу из уст Ахматовой:

---

* Целительный бальзам *(англ.)*. — *Ред.*

— Вы думаете, актер Шекспир мог все это написать?..

«А почему бы нет? — подумал я.— И Мольер был актером...»

Недоумение, продиктованное квасным актерским патриотизмом, видимо, отразилось на моем лице.

Анна Андреевна будто угадала непроизнесенные возражения:

— Ведь он в университете не учился. Имени Шекспира нет в университетских списках...

— Анна Андреевна, но какое это имеет значение? Есть пьесы, их играют, и слава богу, что они остались для нас.

— Вы думаете? (Пауза.) Вопрос авторства не имеет значения? (Снова пауза.) Ему повезло. Ему удалось скрыться.

Фраза Ахматовой взволновала меня надолго. Позже я многое увидел иными глазами. Например, фрагмент из пушкинского «Разговора книгопродавца с поэтом».

П о э т. Блаженны, кто про себя таил
Души высокие созданья
И от людей, как от могил,
Не ждал за чувства воздаянья!
Блажен, кто молча был поэт
И, терном славы не увитый,
Презренной чернию забытый,
Без имени покинул свет!..

«Ему повезло. Ему удалось скрыться».

И сколько раз с тех пор я ни читал диалог со сцены, в этом месте незримо появлялась Анна Андреевна и пушкинские стихи находили знакомую ахматовскую интонацию.

Но тогда, в первый раз на Петроградской, я еще не догадывался, как надолго увязну в необычной игре. Казалось, мне заново предложен известный детективный сюжет, за поверхностью которого скрываются манящие глубины...

Чтобы писать об «этом», нужно было готовиться: обратиться к Ахматовой — и к напечатанному, и к рукописному наследию, восстановить в памяти, как можно более точно, течение разговоров, заняться литературой по «шекспировскому вопросу»*, наконец, самим Шекспиром. Нужно было преодолеть хотя бы часть пути, который предложила мне Ахматова. А меня никак не отпускала театральная повседневность...

С Ахматовой меня познакомил у себя дома В. Я. Виленкин. Все обстоятельства времени были для меня подчеркнуто событийны: в ноябре 1962 года я уже попрощался с Ташкентом и

---

* См., например: Ш и п у л и н с к и й Ф. Шекспир — Ретлэнд. М., 1924; Ф р и ч е В. Вильям Шекспир. М. — Л., 1926; С м и р н о в А. А. Проблема Шекспира. Предисловие к трагедии Макса Жижмора «Шекспир (Маска Ретлэнда)». М. — Л., 1932, а также сборник «Шекспир и русская культура» под ред. акад. М. П. Алексеева. М. — Л., 1965, в котором на с. 766 содержится обширная библиография по данному вопросу.

переезжал в Ленинград. Через несколько дней предстояло начать неизвестную жизнь.

Представляя меня, хозяин дома упомянул о Гамлете и первой книжке стихов, вышедшей летом. Ахматова сказала:

— Надпишите и подарите.

Мне и сейчас страшно подумать, чем это должно было кончиться, но Ахматова была снисходительна. Многим в жизни я обязан Гамлету. Думаю, что ахматовские разговоры о Шекспире адресовались мне оттого, что с самого начала Анна Андреевна меня самого «относила» к шекспировской теме.

— Вы обращали внимание на то, что все подписи на документах разные? Как это могло быть? Он не знал, как пишется собственное имя — «Шакспер» или «Шекспир»?

Анна Андреевна спокойно выдвигала доводы, приводившие в ярость правоверных шекспиристов, и перечисляла документы, на которых остались непохожие одна на другую собственноручные подписи Шекспира: и показания суду, и свидетельство о покупке дома, и закладную, и завещание.

— А завещание вы читали? Он оставляет жене «вторую по качеству кровать», да еще с «принадлежащей к ней утварью». (Пауза.) Нет, вы только подумайте!..

Тут Ахматову покинуло спокойствие, она даже встала из-за стола. Эта строка в духовном завещании сообщала ей нечто такое, что делало совершенно немыслимым соединение в одном лице автора гениальных созданий и этого распоряжения. Анна Андреевна на разные лады повторяла: «Вторая по качеству кровать!» — и смотрела на меня с видом победителя.

Эти доводы приводились и другими. Они оказывались необходимыми всем отрицателям Шекспира, всегда шли в подтверждение их главной мысли, что автор 37-ми знаменитых пьес был человеком глубоко образованным, осведомленным во всех областях знания, сумевшим сказать о мире и человеке с исчерпывающей полнотой («Пусть все сказал Шекспир» — А. Ахматова), в то время как факты биографии актера Шекспира будто бы свидетельствуют о нем как о малограмотном, меркантильном, сильно пьющем человеке, не оставившем после себя ни одной книги, ни одной рукописной строки. Автор пьес, по мнению «антишекспиристов»,— настоящий аристократ, человек, близкий ко двору, по тем или иным причинам должен был скрыть свое имя и воспользовался актером Шекспиром как ширмой или как маской. Но если «у других» все это казалось умозрительными предположениями, то у Анны Андреевны те же доводы приобретали силу личного свидетельства.

— А что вы думаете о портрете? — При новой встрече Анна Андреевна деликатно напоминала (ведь я это знаю, не могу не знать), что знаменитое изображение Шекспира — гравюра Дрюйшота в посмертном издании — похоже скорее на маску, чем на живое лицо, что совершенно четкая линия,

идущая от левого уха, конечно, граница маски, а глаза будто смотрят в прорезанные отверстия. И этот воротник, прячущий шею. А ведь издатели знали автора в лицо. Тут, конечно, кроется тайна, особенно если сопоставить портрет и стихи к нему Бена Джонсона*.

Ахматова передавала смысл стихотворной подписи к портрету на память, получалось, что скрыть подлинное лицо — входило в намерение художника, который боролся с природой, и для того, чтобы понять душу автора, предлагал глядеть не на портрет, а в саму книгу.

— И еще этот запрет вскрывать могилу в Стрэтфорде...

Добрый друг, ради Христа, избегай
Тревожить прах, заключенный здесь,
Благословен да будет человек, который щадит эти камни,
И проклят да будет тот, кто тревожит мои кости.

Как будто делалось буквально все, чтобы тайну сохранить... Меня удивляла легкость, с которой Анна Андреевна подбрасывала мне эти факты один за другим. Каждый «шекспировский разговор» был похож на испытание. Она вела себя как шахматист, на много ходов вперед видящий партию, а я все еще застревал в дебюте.

Между тем следовало догадаться, что все это лишь первый слой общих аргументов, за ними стояли другие, собственно ахматовские, для которых еще не пришло время, а может быть, нужен был другой собеседник.

Впрочем, как я понимаю теперь, это был исходный участок и в то же время главная «развилка»: актер или не актер. Кажется, Анна Андреевна нарочно поддразнивала одного из племени лицедеев, чтобы еще раз убедиться в собственной правоте...

— Часто делают неправильное ударение: говорят «Мáкбет» по аналогии с «Гáмлетом»,— заметила Анна Андреевна,— между тем по-английски — «Hámlet», но «Macbèth»...

---

* ЧИТАТЕЛЮ

Эта фигура, которую ты здесь видишь помещенной,
Она была для (изображения) благородного Шекспира
резана (гравирована).
В ней гравер вел упорную борьбу
С натурою, чтобы схватить жизнь.
О, если бы он только мог изобразить его (высокий) ум
Так же хорошо на металле, как он справился
С его лицом; гравюра превзошла бы тогда
Все, что когда-либо было гравировано на металле.
Но так как не было ему возможности это сделать,
(то), читатель, гляди
Не на (автора) портрет, а на его книгу.

Буквальный перевод, приведенный в издании Брокгауза — Ефрона: Шекспир. Полн. собр. соч., т. V. СПб., 1903, с. 524.

Эти названия она упоминала особенно часто.

За тем и другим трагическим сюжетом Ахматова усматривала совершенно конкретную историческую аллюзию, связанную с именем Марии Стюарт. По ее мнению (об этом, впрочем, пишут многие шекспиристы вне связи с вопросом авторства), трагедии напоминали английскому зрителю таинственное убийство второго мужа Марии — Дарнлея. Анна Андреевна последовательно приводила сцены убийства короля Дункана из «Макбета» и знаменитую «Мышеловку» в «Гамлете» к достоверным фактам и историческим лицам*. Она рассказывала, например, о домике неподалеку от Эдинбурга, расположенном в саду, который послужил «мышеловкой» для выздоравливающего Дарнлея.

— Убийцы вошли ночью, когда Дарнлей спал,— говорила Ахматова.

— «Когда я спал в саду»,— подхватывал я, цитируя слова Призрака, и Анна Андреевна удовлетворенно продолжала, напоминая знакомые мне детали: следы оспы на коже Дарнлея — и язвы, о которых говорит Тень отца Гамлета; смерть первого мужа Марии Франциска от воспаления среднего уха и странное отравление старого Гамлета — влитый в ухо яд...

В «Макбете» Ахматова показала мне явное (может быть, намеренное) противоречие:

— Леди говорит, что кормила грудью. Муж просит ее рожать ему только сыновей. А потом выясняется, что Макбет бездетен...

И это обстоятельство намекало на Марию Стюарт как прототип героини трагедии.

Далее следовали еще какие-то подробности из истории шотландских королей, отразившиеся в тексте, а в итоге выходило, что автор, скрывшийся под маской Шекспира, сам имел право на престол.

Арсений Александрович Тарковский рассказывал мне, что и он слышал от Ахматовой о некоторых сведениях в шекспировских пьесах (хрониках), добытых явно из дворцовых архивов, к которым не имел доступа никто, кроме лиц королевской крови.

Не помню, чтобы Анна Андреевна настаивала при мне на каком-либо имени, но позже я узнал, что имена обсуждались ею, и неоднократно. Она присматривалась и к Вильяму Стенли графу Дерби Шестому — он вслед за своим братом имел право на трон**, и — в конце апреля — начале мая 1965 года — к Кристоферу Марло (в связи с прослушанной ею пе-

---

* Здесь ощущалось серьезное знакомство с историческими сочинениями, например, «Историей Марии Стюарт» Ф. О. Минье.

** Думаю, что Ахматова была знакома с одним из французских изданий книги Абеля Лефрана. Например: Lefranc Abel. A la decouverte de Shakespeare. Paris, 1945.

редачей по Би-би-си). Ахматовой важно было найти «своего» автора во всей неповторимой конкретности его частной судьбы, в трагическом воздухе времени, так, а и не иначе сказавшихся в «безымянном» труде.

— От казни Марии Стюарт до появления трагедии прошло не так много времени,— говорила Ахматова,— событие не слишком отдалилось, примерно так, как от нас — убийство Кирова...

Она вглядывалась в чужое время, как в собственное, смысл беспощадных событий был так прожит и ощутим, что за сюжетом вставала «суровая эпоха».

Меня, как реку, суровая эпоха
повернула...

Что должно было произойти в ее жизни, чтобы судьба «скрывшегося» автора воспринималась как «везение»...

Как в прошедшем грядущее зреет,
Так в грядущем прошлое тлеет —
Страшный праздник мертвой листвы...

«Там» укрылся автор «без имени». Здесь росла «Поэма без героя». Чеканилась «Решка»...

Я не решился позвать Анну Андреевну на своего «Гамлета», но она спрашивала об этом спектакле и однажды сказала, что часто обо мне слышит и что «в правильной тональности говорят».

О «Гамлете» Анне Андреевне подробно рассказывала Т. И. Сильман, позже написавшая статью для «Шекспировского сборника». Задавая вопросы о характере спектакля, его трактовке и т. д., Ахматова не сказала, что знакома со мной. Это было в ее правилах, никого ни с кем не соединять и не влиять на объективность рассказа*. Анна Андреевна внимательно выслушала первые впечатления Анны Каминской, только что вернувшейся с концерта. В. Я. Виленкин тоже передавал ей о том, что увидел на сцене.

К этому времени относилось «Пушкинское поручение» Ахматовой, чтение ее отрывка**.

---

* Об этом мне сообщил В. Г. Адмони.

** Приведу отрывок из сохранившегося у матери моего письма: «Вчера между двумя спектаклями записал на телевидении отрывок «Пушкин и дети» А. Ахматовой для пушкинской передачи. Это было пожелание Анны Андреевны, чтобы я прочел. Девятого февраля я должен быть в Москве, на съемке, поэтому и записали на монитор. В отрывке есть такой текст: «Стихи Пушкина дарили детям русский язык в самом совершенном его великолепии, язык, который они, может быть, никогда больше не услышат и на котором никогда не будут говорить, но который все равно будет при них как вечная драгоценность». Потом идет рассказ о том, как в 1937 году дети не дали увезти памятник Пушкину с Пушкинской улицы в Ленинграде — «охранять Пушкина они считали своей священной обязанностью». Недавно у нас были две замечательно интересные встречи с Анной Андреевной... 7 февраля 65 г.».

Шекспировская тема возникла в стихах Ахматовой едва ли не прежде пушкинской: «Читая «Гамлета» — 1909 год. Интерес к личности автора тоже давнего происхождения. В 1913 году, в связи с выходом книги Дамблона «Шекспир — это лорд Ретлэнд», в журналах, литературных кружках и салонах Петербурга тема активно обсуждалась и не могла пройти мимо внимания Ахматовой.

В 1917 году Анна Андреевна думала об этом уже с оттенком привычности. Вот запись из дневника П. Лукницкого[1] по следам разговора с Анной Андреевной: «Говорит, что, по ее мнению, Шекспира писал не один человек, кто бы он ни был. В этом согласна с Пушкиным. «Макбет» и «Гамлет» произведения одного человека, но не того, который писал «Ромео и Джульетту».

В 1940 году она снова вчитывалась в шекспировскую драму. Комедии в счет не шли. Начиналось то, что она назвала «грозным пиром» (не от пушкинского ли «Пира во время чумы»?).

ЛОНДОНЦАМ

Двадцать четвертую драму Шекспира
Пишет время бесстрастной рукой.
Сами участники грозного пира,
Лучше мы Гамлета, Цезаря, Лира
Будем читать над свинцовой рекой;
Лучше сегодня голубку Джульетту
С пеньем и факелом в гроб провожать,
Лучше заглядывать в окна к Макбету,
Вместе с наемным убийцей дрожать,—
Только не эту, не эту, не эту,
Эту уже мы не в силах читать!

В рукописном отделе Публичной библиотеки имени Салтыкова-Щедрина хранится не подписанный Ахматовой договор с издательством «Искусство» (5 апреля 1955 г.) на перевод «Тимона Афинского» — одной из самых кровавых трагедий Шекспира.

А с И. М. Ивановским она оговаривала основные принципы перевода «Гамлета». Он будет переводить, а Ахматова — комментировать. Эта ориентация на кропотливую работу, позволяющую заглянуть за текст, в предлагаемые обстоятельства шекспировского времени, тоже красноречива...

В 1957 году на даче в Комарове Ахматова составляла план будущей книги. Отдел «Marginalia» открывался шекспировской темой:

«О Шекспире

1. О Макбете.
2. О Фальстафе (находка в Лонд[онском] суде).
3. Найденная мной цитата в Гамлете (Frère Berthold)».

В этом плане нет ни слова об авторстве, но его направленность («цитата», «находка в суде») снова адресует читателя будущей книги — сквозь шекспировский текст к достоверному факту, к самому времени...

Всю жизнь Ахматову интересует живое лицо, которому удалось скрыться под маской актера.

«Иной говорит,— писал Пушкин,— какое дело критику или читателю, хорош ли я собой или дурен, старинный ли дворянин или из разночинцев, добр ли или зол, ползаю ли я в ногах сильных или с ними даже не кланяюсь, играю ли я в карты и тому под.— Будущий мой биограф, коли Бог пошлет мне биографа, об этом будет заботиться. А критику и читателю дело до моей книги и только. Суждение, кажется, поверхностное. Нападения на писателя и оправдания, коим подают они повод, суть важный шаг к гласности прений о действиях так называемых общественных лиц (hommes publics), к одному из главнейших условий высоко образованных обществ».

Позже, как напоминание, будто посланное вдогонку «шекспировским разговорам», пришла публикация фрагментов из ахматовской пьесы: «Пролог» («Сон во сне»). Судя по одному из планов, она могла также называться «Ташкентской драмой».

Позвольте скрыть мне все: мой пол и возраст,
Цвет кожи, веру, даже день рожденья
И вообще все то, что можно скрыть.
А скрыть нельзя отсутствие таланта
И кое-что еще, остальное ж
Скрывайте на здоровье...

И снова вспомнился пушкинский «Разговор книгопродавца с поэтом», тот воображаемый, идеальный для поэта герой, кому «удалось скрыться» и «без имени покинуть свет».

Антагонист приводит возражение:

Но слава заменила вам
Мечтанья тайного отрады.

У Ахматовой тоже нашелся контраргумент:

Довольно нам таких произведений,
Подписанных чужими именами.

Появлялись и другие отголоски, например: «Молитесь на ночь, чтобы вам вдруг не проснуться знаменитым».

Однажды в ответ на мою просьбу прочесть стихи Анна Андреевна сказала:

— Передайте мне, пожалуйста, вот эту тетрадку.

Я передал, и Ахматова долго искала в ней что-то, переворачивая страницы в начале, конце, в середине, потом сно-

ва в начале тетрадки. Наконец, не найдя нужного, вздохнула:

— Не открывается. Тогда дайте вон ту...

В той, другой, были стихи из «Ташкентской драмы», связавшиеся в моем сознании с судьбой «скрывшегося» автора шекспировских пьес.

Должен сознаться, что при всем моем почитании Анны Андреевны, я продолжал внутренне сопротивляться этому повороту. Гораздо больше тайны личности автора меня интересовали сами шекспировские трагедии, возможность сыграть, поставить... Как раз в это время я писал стихи из цикла «Театр «Глобус» (Предположения о Шекспире)», в которых Шекспир — именно актер, накрепко связанный со всеми обстоятельствами театрального быта и театральной жизни; в монологах от лица воображаемого Шекспира содержались мои «домашние» возражения Анне Андреевне.

Но стихи Джонсона под гравюрой Дрюйшота, стихотворная надпись на надгробной плите, стихи под раскрашенным бюстом Шекспира в той же стрэтфордской церкви — все в передаче Ахматовой невольно врезалось в сознание.

Стой, прохожий, почему ты проходишь так быстро,
Читай, если умеешь, кого завистливая смерть заключила
В этот памятник — Шекспира, с которым
Умерла и правда и имя которого покрывает (украшает) эту могилу
Гораздо больше, чем издержки на нее, смотри, все, что он писал...

Удивляла последовательность, с которой Ахматова продолжала «перебирать» при мне «антишекспировские» доводы, как будто моя неготовность к восприятию загадочного сюжета и незащищенность от приводимых ею фактов были почему-то на руку Анне Андреевне. За перечнем обстоятельств угадывалась продолжающаяся работа, может быть, «репетиция» будущей статьи, невидимая часть айсберга...

В ответ на очередную атаку Ахматовой, стараясь быть объективным, я сказал:

— Анна Андреевна, а что, если послушаться всех этих надписей и в поисках автора обратиться не к его изображению (бюст, гравюра), а к тому, что он написал в самой книге? То есть искать в пьесах не биографических совпадений, а саму ситуацию, в которой автор намеренно скрывается?

— Что вы имеете в виду? — спросила Ахматова.

Я стал импровизировать.

— Ну вот хотя бы тот же «Гамлет». Приезжают актеры, и принц предлагает им сыграть пьесу «Убийство Гонзаго». Он даже спрашивает Первого актера: «Скажи, можно будет, в

случае надобности, заучить кусок строк в двенадцать — шестнадцать, который я напишу и вставлю,— можно?» Первый актер соглашается. Таким образом, Гамлет является автором пьесы-спектакля, а Первый актер — только исполнителем, за которого подлинный автор прячется...

— Продолжайте,— сказала Ахматова.

Я продолжал развивать предположение.

— Возникает «ситуация инкогнито», смысл которой заключается в том, что автор «скрыт» от действующих лиц и в то же время «открыт» для зрителя, если это спектакль в «Глобусе», и для читателя, если у него в руках, скажем, издание in-folio, с портретом Дрюйшота и просьбой смотреть «в саму книгу», в то, «что он написал», а не на «чужой» портрет...

В этом случае в «Мышеловке», как в капле воды, отразилось бы действительное положение вещей: какой-то высокопоставленный и имеющий право на престол автор (здесь он — Гамлет) вынужденно скрывается за спиной театральной труппы «Глобуса» (здесь это — бродячие актеры): в этой труппе есть у него особо доверенное лицо — Шекспир (здесь это — Первый актер). Спектакли «Глобуса», таким образом, втягивают в большую игру и королевский двор, и лондонскую публику («Мышеловка»). Гамлет выбирает для спектакля «Убийство Гонзаго», то есть убийство, совершенное в Италии (путая карты, он говорит о «Вене»), а автор показывает убийство, «совершенное в Дании». Между тем ни для кого в Лондоне не секрет, о чем идет речь на сцене «Глобуса»: «ситуация инкогнито» очевидна для современников. Как говорит Гамлет, «актеры не умеют хранить тайн и все выбалтывают»...

Не могу поручиться за точность своего монолога, но смысл аналогии был именно таков. Помню, что я упомянул повторяющийся у Шекспира мотив: театр в театре, когда на сцене появляется группа актеров, хотя бы «самодеятельных» («Сон в летнюю ночь»), и любимую мною «Бурю», где все действие как бы сочинено Просперо. Ведь это он становится автором большого представления с бурей и кораблекрушением.

Он силою искусства своего
Устроил так, что все остались живы,—

а сам, точно так же, как Гамлет, скрывшись, наблюдает за действием. И этот герой имеет право на престол, но «...Просперо — чудак! Уж где ему с державой совладать? С него довольно его библиотеки...».

Тут Анна Андреевна задала мне странный вопрос:

— Вы понимаете, что вы произнесли?

В некотором недоумении я отвечал, что попытался по-актерски стать на ее точку зрения, вообразить себе «шекспировскую ситуацию», увиденную ее глазами.

И тут Ахматова снова меня ошарашила. Последовала реплика очень рассчитанная, к которой и всерьез отнестись нельзя, и не запомнить навсегда невозможно. Вопрос был «наживкой», на которую клюнул бы любой молодой человек на моем месте.

— А вы понимаете, что это звучит впервые за последние триста лет?..

Прием прост: стоит одобрить робеющего ученика (или актера) за первое слабое движение — и все его силы напрягутся; он прикован к трудному предмету.

Тут и последовало поручение:

— Вы непременно должны об этом написать.

Вот и вообразите, что со мной сделалось.

К следующему приходу, понимая, что разговор может коснуться шекспировской темы, и втайне желая этого, я «подготовился». В ответ на вопрос Анны Андреевны, удалось ли мне найти еще какие-нибудь «подтверждения», я сказал, что обратил внимание на повторяющиеся мотивы.

— Какие?

Брат, незаконно захватывающий власть, и лишенный законного владения наследник («Гамлет», «Буря», «Конец — делу венец», «Как вам это понравится»); розыгрыш как театральное представление: с одной стороны, «автор», а с другой — «играющая труппа» своей компанией. Или «Сон в летнюю ночь» с двумя «представлениями»: спектакль «самодеятельного» театра и большое ночное карнавальное действо, которое устраивает скрывающийся Оберон; или «Укрощение строптивой»...

В тот раз Ахматова подарила мне свой «Реквием»...

Моя вина в том, что я не записывал по горячим следам, но убежден, что вряд ли упустил что-либо существенное. За некоторыми исключениями. Ахматова обдуманно выдавала мне традиционный ряд «антишекспировских» доводов.

Может быть, она ставила какой-то особенный, свой «опыт драматических изучений» с участием молодого актера, игравшего Гамлета в ее время и потому невидимой нитью связанного с тем, кто скрывался под маской...

> Блажен, кто посетил сей мир
> В его минуты роковые.
> Его призвали всеблагие,
> Как собеседника на пир...

А может быть, Ахматова закладывала в меня долговременную программу? Она-то знала о себе: «Нам не дано предугадать, // Как слово наше отзовется...» До сих пор я продолжаю разгадывать смысл разговоров, доставшихся мне на вырост и впрок...

И позже, когда Анны Андреевны не стало, я невольно пытался продлить диалог. Теперь это превращалось в «шахматную партию с самим собой», но я уже втянулся в игру и не раз ловил себя на том, что ищу «победы» для Ахматовой...

Еще об одном поручении я узнал совсем недавно. Оказалось, что Анна Андреевна назначала меня исполнителем «Поэмы без героя»*.

Об этом прожекте я услышал от Ирины Николаевны Пуниной и Анны Каминской, расспрашивая их о поездке Анны Андреевны в Лондон и Стрэтфорд и еще раз выясняя для себя круг шекспировских интересов Ахматовой.

Поездка в Англию состоялась в июне 1965 года: Лондон, Оксфорд, Стрэтфорд. Я слушал рассказ Анны Каминской, сопровождавшей Анну Андреевну в этом путешествии, и живо представлял себе этот хроникальный сюжет.

3 июня. Корабль из Дувра подходит к лондонскому причалу. На берегу большая толпа. Анна Андреевна, тяжело опершись на плечо своей молодой спутницы, спрашивает: «Почему я не умерла, когда была маленькой?..»

Отрывок автобиографической прозы:

«Теперь, когда все позади — даже старость, и остались только дряхлость и смерть, оказывается, все как-то, почти мучительно проясняется (как в первые осенние дни), люди, события, собственные поступки, целые периоды жизни. И столько горьких и даже страшных чувств...»

Ахматову встречают с цветами. Заголовки лондонских газет с именем Ахматовой, среди которых выделяется: «Сафо из России»...

В номере отеля очень много цветов, это темно-красные розы, небольшие, еще не раскрывшиеся полностью, твердые. Цветы всё несут. Один букет особенно красив и огромен. Номер

---

* Вечер, посвященный 75-летию Ахматовой, должен был состояться позже юбилейной даты, в марте 1965 года, вероятнее всего, в Москве. Хотя твердого решения о месте и времени юбилея не было и Ахматова говорила о нем не слишком всерьез, тем не менее предварительно обсуждалась его программа.

Анна Андреевна предполагала так.

Сначала парадная официальная часть с докладом о поэзии Ахматовой В. В. Виноградова и выступлением о пушкинской теме в ее творчестве Ю. Г. Оксмана. (Эти ученые выдержали при обсуждении конкурентную борьбу с другими кандидатами, имеющими свои достоинства, но не столь подходящими к условиям официальной торжественной части.) Затем Д. Н. Журавлев, открывая другую половину вечера, должен был читать стихи Цветаевой и других поэтов об Ахматовой из папки «В ста зеркалах» (Анна Андреевна любила книги Л. Кэрролла «Алиса в стране чудес» и «Алиса в Зазеркалье», отсюда название «сборника»); далее предполагалось мое исполнение «Поэмы без героя», а в заключение в магнитофонной записи два-три стихотворения прочла бы сама Ахматова.

становится похож на оранжерею. Анна Андреевна говорит Ане: «Да вынеси ты хоть половину!»...

4 июня. Ахматова осматривает Лондон. Знаменитые места. Вечером, по пути в Оксфорд, машина попадает в дорожную пробку...

5 июня утром. Торжественный завтрак в Оксфордском университете. Присвоение Анне Ахматовой почетного звания доктора honoris causa. В зале — Ю. Анненков, А. Райкин... Ее речь...

Два дня в Стрэтфорде. Комната отеля выходит на террасу. Терраса спускается в великолепный сад. Ахматова спрашивает: «Это сон? Или нет?..»

А ведь сон — это тоже вещица,
Soft embalmer, Синяя птица,
Эльсинорских террас парапет...

По шекспировским местам их везет тяжелая машина. Шофер — в белой рубашке с галстуком, короткая стрижка.

Дом, где родился актер Шекспир. В саду высажены все растения, упоминающиеся в его пьесах. Анна Андреевна не выходит из машины. Ей нездоровится.

Аня быстро осматривает дом и сад и, вернувшись, рассказывает о них Ахматовой.

Дом жены Шекспира. Аня осматривает, Ахматова ждет ее в автомобиле.

Деревянные решетки на окнах, деревянный заборчик. Смоленая солома, высокие трубы — дом дочери Сюзанны в Стрэтфорде, дома на улице Генли, дом дочери Юдифи. Черепичная крыша...

К церкви Святой Троицы указывает дорогу знаменитая аллея. В церкви — могила, надгробная плита с надписью и тот самый знаменитый раскрашенный бюст, который любят описывать «антишекспиристы». Это лицо никак не соответствует нашим представлениям о высокой духовности.

Здесь Ахматова выходит из машины и движется к церкви. Осмотр гробницы. Шекспир — единственный из великих англичан, чей прах не перенесен в Вестминстер. Чтение надгробной надписи. Осмотр раскрашенного бюста...

Вечером следующего дня венцом шекспировской экскурсии должно стать посещение Мемориального театра в Стрэтфорде. Идет «Венецианский купец». Насколько шекспировская тема волнует Ахматову в этой поездке, говорит тревога о том, что ее знание английского языка может оказаться недостаточным для того, чтобы смотреть спектакль. Поэтому еще в Лондоне происходит посещение русского магазина, где совершается покупка третьего тома изданного у нас шекспировского вось-

митомника. В нем «Венецианский купец» — в переводе Т. Щепкиной-Куперник.

Накануне спектакля в отеле две женщины — старая и молодая — читают шекспировскую пьесу.

Не знаю, отчего я так печален.
Мне это в тягость; вам, я слышу, тоже.
Но где я грусть поймал, нашел иль добыл,
Что составляет, что родит ее,—
Хотел бы знать!..

Когда подходит время ехать в театр — он стоит на самом берегу, и белые лебеди Эйвона подплывают совсем близко,— Анна Андреевна чувствует себя хуже вчерашнего. Она не сможет поехать на спектакль.

Аня боится оставлять ее одну, но Ахматова велит ей отправляться: «Это для тебя на всю жизнь...»

И. Н. Пунина

АННА АХМАТОВА НА СИЦИЛИИ

Был декабрь 1964 г., двенадцатое число. Незадолго до полудня Ахматовой подали машину и мы поехали из Таормины в столицу Сицилии — Катанью. От Таормины шоссейная дорога идет серпантином вдоль побережья Ионического моря. Со стороны гор во многих местах дорога укреплена гигантскими квадратами вулканической породы — это циклопическая кладка. Шофер-сицилиец все время старался обратить наше внимание на эти глыбы. Со свойственной южанам темпераментностью он много раз произносил слово «киклоп». Не надеясь, что мы поняли, он оставлял руль и одной рукой показывал направо, на кладку, а другой тыкал себя в середину лба, чтобы напомнить нам об одноглазых циклопах. Автомобиль ехал при этом со скоростью сто километров, и постоянно на пути были повороты почти под прямым углом, там, где выступали скалы. Слева был то крутой обрыв над морем, то дорога приближалась к самой кромке воды. Когда Акума осознала все это, она безумно испугалась и возмутилась, что нас бросили на попечение этого ужасного сицилийца, который ничего не хотел слушать и не понимал наших предупреждений о рискованности такой езды. Акума хотела объяснить ему по-французски, что так нельзя ездить, но он по-прежнему шумно рассказывал нам свое. Когда я стала ему втолковывать, что на нашем языке «циклоп» известен и мы поняли его, шофер невероятно обрадовался, но руки его не легли на руль, лишь слегка прикасаясь к рулю, он уверенно направлял машину.

Позже Анна Андреевна создала целую новеллу о том, как Вигорелли[1] нас бросил, шофер вез над пропастью и все время разговаривал руками, жестами, не управляя машиной, а машина мчалась с бешеной скоростью. Она очень ярко об этом рассказывала всем навещавшим ее после возвращения из Италии.

Машина мчалась вдоль берега моря, а шофер, обрадованный, что ему удалось привлечь наше внимание к следам гигантской работы циклопов, стал рассказывать о следующих легендах этого сказочного края. Он был весел и спокоен, временами ладонью подправлял баранку, нам оставалось только довериться его профессиональной опытности. За всю дорогу мы не испытали ни одного резкого торможения, ни одного неприятного ощущения. Акумин испуг и напряжение постепенно отпали, и

она слушала, как шофер с новым жаром рассказывал синьоре о путешествии Одиссея, показывая обеими руками на море, на скалы, подымавшиеся среди волн. Светило яркое солнце, ласково плескалось лазурное море, при некоторых поворотах виднелась Этна, которая, казалось, неотступно следила за нашим движением у ее подножия. В ложбинках вдоль дороги лежали опавшие перезрелые лимоны. На плоских местах были виноградники, пышно и ярко цвели кустарники. На некоторых деревьях уже зацветала мимоза. По сицилийским понятиям — это преддверие весны. Нам это почти непонятно. Весь южный берег Сицилии в декабре ярко-зеленый: цветут ромашки высотой с человеческий рост, цветут кактусы, которые выше двухэтажных домиков, на цитрусовых висят оранжевые и желтые зрелые плоды и набухают новые почки. Но мимоза это символ весны.

Мы прибыли в Катанью около часа дня. Акума сильно устала от испуга, от дороги, от вчерашнего вечера. Впереди еще были главные торжества. Нас подвезли к гостинице «Эксцельсиор» — многоэтажному небоскребу, столь непохожему на радушный отель святого Доминика в Таормине. Вдоль подхода к гостинице с двух сторон толпились репортеры, фотографы, любопытные и большое количество американских моряков. Решительным гневным жестом Ахматова остановила фотографирование и вопросы. Мы шли медленно, она опиралась на мою руку, опустив лицо, тяжело дыша. Только в самых дверях гостиницы нас встретили, кого-то послали за нашими вещами, я получила ключ от номера, и мы поехали на восьмой этаж. Горничная открыла номер — это была маленькая комната с одной кроватью посередине. Накапливавшиеся в Акуме усталость и раздражение передались и мне, я сказала, что не потерплю такого издевательства, спущусь вниз выяснить недоразумение. Акума, не желая меня отпустить, перешла на крик: «Не смей! Откуда ты знаешь, может быть, у них принято спать на одной кровати!!!»

Я пошла к администратору, все довольно быстро уладилось, нам дали другой номер: с двумя огромными кроватями, с маленькой приемной, с ванной комнатой (в которой был телефон) и небольшой прихожей. Номер был на том же восьмом этаже, но по другую сторону холла и не угловой, а чуть в глубине.

Насколько в Таормино Ахматова была окружена вниманием и почетом, настолько здесь мы были предоставлены сами себе. В четыре часа Сурков и Брейтбурд[2] обещали прийти за Анной Андреевной. Акума прилегла, я дала ей бутерброды, привезенные с собой, и кофе из термоса. Она скоро поднялась, я ее одела, причесала. Ей не понравилась прическа, я пыталась что-то менять. Акуме опять не понравилось, она хотела что-то поправить сама. Наконец, я сделала новую прическу, очень удачную, классическую и скромную. Ее неудовольствие

продолжалось, но как-то внезапно она смирилась. Посмотрели на часы, был уже пятый час. Никто не пришел за нами. Я позвонила Суркову — никто не ответил. Я хотела спуститься вниз — Акума не отпустила. Нельзя было ее оставлять. Наконец, я вышла на балкон. Напротив было огромное административное здание со статуей, напоминающей американскую статую Свободы. Таормино казалось чудесным сном. В Катанье все было чуждое. На площади понемногу собирались роскошные автобусы. Присмотревшись, я увидела Симоновых и еще знакомые фигуры. Я пыталась позвать их, махала, но с высоты восьмого этажа ничто не доходило до шумной площади. Я ходила от балкона до порога, придумывала какие-то мелочи, чтобы отвлечь Акуму. Надо было что-нибудь узнать, но оставить Акуму одну в таком состоянии было невозможно. Я вышла в коридор пригласить горничную.

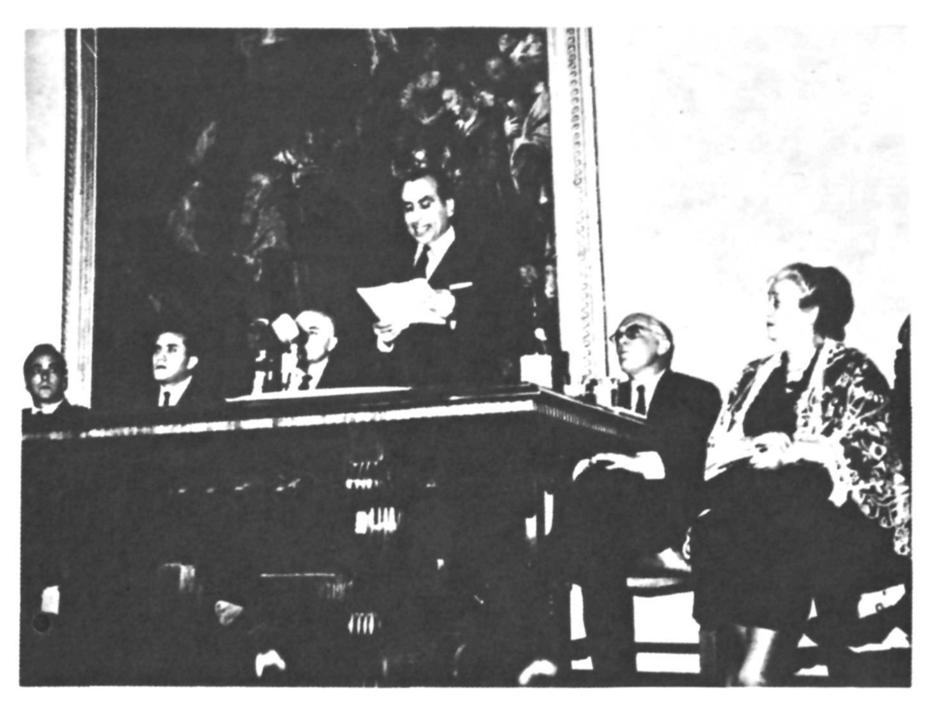
В номер по ту сторону холла (который мы должны были занимать) кулаками стучали Брейтбурд и Симонов. Появился и Сурков с «сине-зеленым от страха лицом» (как потом рассказывала Акума) — они больше получаса стучались в пустой номер. Из этого Акума сделала еще одну новеллу, рассказывая знакомым о том, как Брейтбурд и Сурков, не застав нас в номере, решили, что мы сбежали. «Бедный Сурков»,— иногда заканчивала Акума этот рассказ.

Но в тот день, наспех выяснив произошедшее, все спустились вниз, на площадь, сели в давно нас ожидавшие автомобили и поехали в здание парламента — палаццо Урсино — средневековый замок с глухими стенами и круглыми угловыми башнями. Машина въехала через низкие каменные ворота внутрь прямоугольного замкнутого двора и остановилась около крутой высокой каменной лестницы. Когда я узнала, что никакого другого входа нет, я замерла. Акума меня одернула и, впившись в мою руку, начала подыматься с решительностью, которую проявляют люди, готовые к любому рискованному шагу.

В большой старинной зале было многолюдно. Анну Ахматову провели на сцену. Сначала я присела около нее, потом мне дали место во втором ряду. В первом сидели господа и дамы в мехах и драгоценностях. Под теплым небом Италии меха вызывали удивление.

Людей становилось все больше, скоро уже стояли. В проходах бегали фотографы и репортеры, телевизионщики устанавливали юпитеры и перекидывали провода. Прошло порядочно времени, но торжества не начинались. Наконец посередине сцены появился элегантный человек и произнес извинения, что все вынуждены ждать министра, а он задерживается в самолете. «Il vole...»* — повторил он по-французски и, глядя в

* Он летит...*(франц.)*



Анна Ахматова получает Международную литературную премию «Этна-Таормина». Италия. Катанья. 12 декабря 1964 г.

потолок, сделал движение рукой, как бы показывая, что самолет опускается.

Ожидание было томительным, слепили прожекторы, в зале было тесно, говорили на многих языках, не все знали даже французский, который был как бы всеобщим. Ахматова сидела на сцене, время от времени призывая меня. Русские спрашивали, как чувствует себя Анна Андреевна. Она интересовалась, кто и что спросил. Она успокоилась и наперекор всем стала бодрой и терпеливой.

Наконец появился министр. (Позже в очередной новелле Акума рассказывала: «Я думала, все солидно — европейское сообщество писателей, министр искусств, культуры, просвещения, оказался министр... спорта».) Когда мы вернулись в Рим, нам сказали, что это был министр туризма — самого богатого министерства в Италии. Но Акума продолжала, смеясь, рассказывать: «Вы представляете: во главе всего — министр спорта!»

Министр извинился за опоздание самолета и выступил с приветственной речью к конгрессу писателей и его гостям. Затем было вручение премий.

Анна Ахматова. Италия. Катанья. 12 декабря 1964 г.
Публикуется впервые

Совершенно неожиданно выяснилось, что Ахматова должна что-то сказать. Общие слова приветствия и благодарности от советской делегации (переведенные Г. Брейтбурдом) не удовлетворили присутствующих. Хотели слышать Ахматову. Акума вызвала меня на сцену.

— Что делать? Говорить не буду! Брейтбурд просит прочесть стихи. Сурков говорит — «Мужество».

— Не помню. Есть ли у кого-нибудь книжка?

— Нет.

Твардовский сказал, что напишет, взял мой пригласительный билет и пишет. В это время Акума спрашивает:

— Ирка, что читать?

Я спросила:

— «Ты ль Данту диктовала...» — это хочешь?

— Да, да!

— Помнишь?

— Конечно, но все-таки напиши.

Я взяла у Твардовского билет и начала писать. Анна Андреевна сама докончила.

Она встала и начала читать. Я присела позади Твардовского. Как он слушал! Вполголоса повторял: «Что почести, что

*Mi onoro invitare la S. V. a partecipare alla cerimonia per l'assegnazione del **VI Premio Internazionale di Poesia Edita «Etna-Taormina»**, che avrà luogo il 12 dicembre 1964, alle ore 17, nel Salone dei Parlamenti del Castello Ursino, gentilmente concesso dal Sindaco di Catania.*

IL COMMISSARIO STRAOR. DELL'E.P.T.
Avv. [illegible] Gaetano [illegible]

È prescritto l'abito scuro.

Когда я ночью жду ее прихода
Жизнь кажется висит на волоске
Что почести, что юность, что свобода
Пред милой гостьей с дудочкой в руке.
И вот вошла — откинув покрывало
Внимательно взглянула на меня
Ей говорю — "Ты ль Данту диктовала
Страницы Ада"
Отвечает "Я"

ALBO D'ORO
1951 - Umberto Saba
1953 - Salvatore Quasimodo e Dylan Thomas
1956 - Camillo Sbarbaro e Jules Supervielle
1959 - Jorge Guillén e Diego Valeri
1961 - Tristan Tzara e Leonardo Sinisgalli

Dato l'intervento della televisione in ripresa diretta l'orario verrà scrupolosamente osservato.

Пригласительный билет на чествование в Катанье с автографом Анны Ахматовой. Публикуется впервые

юность, что свобода...» Казалось, он слышал эти стихи впервые, возможно, так оно и было. Он произносил строки с благоговением, лицо его стало просветленным. Я не помню такой глубины восприятия даже среди поклонников Ахматовой.

Что почести?! Что юность?! Что свобода?!
Пред милой гостьей с дудочкой в руке...

На обратном пути из палаццо Урсино в отель нас пригласили в свой автомобиль французы. Уже стемнело. В декабре во всей Италии и на Сицилии готовятся к рождественским праздникам. В витринах магазинов, на балконах домов расставляются евангельские сцены: пастухи, идущие за Вифлеемской звездой, скачущие по склонам гор волхвы, младенец Иисус в яслях и склонившаяся над ним Мария. Все это искусно освещено гирляндами или свечками. В тот субботний вечер город казался особенно нарядным.

Машина притормозила на перекрестке. Акума обернулась ко мне:

— Слышишь, какой роскошный колокольный звон? Как в моем детстве!

Звон разносился со всех сторон из многочисленных церквей, где заканчивалась вечерняя служба. Автомобиль поехал тише, всем казалось, что Катанья приветствует Анну Ахматову колокольным звоном.

В тот вечер многие пришли поздравить Анну Андреевну. Быстро заполнилось все пространство небольшого номера гостиницы. Дверь в коридор не закрывалась. Люди всё приходили, и Анна Андреевна благосклонно принимала поздравления, сохраняя спокойную величественность.

Я достала водку и закуски, в большом количестве данные нам в дорогу; но самое большое оживление и всеобщий восторг вызвал черный хлеб, который я зачем-то купила в Бресте. В тот вечер кусочки этого хлеба вызвали самые оживленные и веселые шутки. Непринужденное, почти озорное веселье особенно чувствовалось после официально торжественного чествования в парадном зале Сицилийского парламента, где за каждым движением Ахматовой следил мраморный римский тогатус, бюст которого стоял в глубине президиума. Когда Анне Андреевне прислали фотографии торжеств, она, показывая их, говорила:

— Посмотрите, он отвернулся от меня, надменно презирает. А здесь он внимательно следит за этой чужестранкой.

Но в номере гостиницы, где поздним вечером 12 декабря 1964 года поздравляли Анну Ахматову с только что состоявшимся вручением ей премии Этна-Таормина, все собравшиеся чувствовали себя свободно, стоя пили водку, гордясь Ахматовой, радуясь свободному общению и заново оценивая великую силу поэзии.

Сначала собралось человек двадцать — двадцать пять. После первых поздравлений и тостов в честь Анны Ахматовой итальянцы скоро ушли. У оставшихся разговор постепенно оживлялся. Обратились к стихам, переводам, изданиям. Постепенно все устроились вокруг стола. Беседа всех увлекла и продолжалась допоздна.

На следующий день была заказана для гостей конгресса поездка в Сиракузы. Анна Андреевна не захотела принять участие в этой поездке. Брейтбурд предложил устроить на другой день парадный обед в ее честь, пригласить нескольких итальянцев. Он условился о том, что наш номер соединят с соседним, таким образом появилась столовая, и Анна Андреевна принимала поздравления писателей, не поехавших в Сиракузы.

Вспоминая впоследствии Катанью, Анна Андреевна чаще всего рассказывала о римлянине, который следил за ней своими мраморными глазами во время торжеств, и о колокольном звоне, которым был наполнен весь город, когда она ехала из палаццо Урсино в свой номер.

Декабрь, 1987

Аманда Хейт

ЧЕЛОВЕК, А НЕ ЛЕГЕНДА

Это очень странно — праздновать столетие человека, которого ты знал. Это как если бы дверь в последний раз закрылась за живым существом, и вдруг оно застыло бронзой. И еще есть соблазн сделать личность сверхчеловеческой, статуей, большей, чем жизнь.

Отсюда следующая стадия — это предположить, что жизнь была каким-то образом более легкой для них, чем для нас, тогда как на деле, в случае поэта, его повышенная чувствительность, возможно, делала ее еще более тяжкой.

Впервые я встретилась с Ахматовой в конце 1963-го года. Я работала нянькой в английской семье, прикомандированной к посольству. Я нашла эту работу после завершения курса русского языка и литературы в школе славянских и восточноевропейских исследований в Лондонском университете, когда я, будучи американской гражданкой в Англии, не могла попасть в Россию по линии обмена аспирантами.

В те дни суметь остаться на длительное время в России было для иностранца страшно трудном делом, и я была благодарна случаю улучшить мой русский язык, пусть даже все контакты с русскими выглядели крайне затруднительными. Однако в МГУ были друзья из Лондонского университета, и мне удавалось ускользать из дипломатического гетто, чтобы видеть их и нескольких русских приятелей, которых я завела на летних языковых курсах. У меня была очень неопределенная идея изучения поэзии Ахматовой: к тому времени я прочла какие-то ее стихи в Англии и была потрясена их тревожной простотой. Я получила читательский билет в Ленинскую библиотеку и начала читать все, что было мне доступно.

Я была еще мало что понимающим исследователем, когда на меня свалилась потрясающая удача. Однажды я шла с английской подругой, учившейся в МГУ, и мы остановились поговорить с ее приятельницей армянкой, с которой она познакомилась прежде. Девушка спросила меня, чем я занимаюсь, и я сказала, что надеюсь что-то написать об Анне Ахматовой. К моему изумлению, она произнесла: «О, а вы хотите встретиться с ней? В данный момент она остановилась у моей тетки». За этим невероятным поворотом событий последовал следующий: когда меня взяли увидеться с Ахматовой, та встретила меня как человека, который может быть ей полезен. Потому что

Анна Ахматова и И Н Пунина. Таормина. Отель св. Доминика. Декабрь 1964 г.

в Америке была напечатана о ней статья, с которой она была несогласна до ярости и хотела через кого-то поправить дело.

Анна Андреевна Ахматова в старости была мало похожа на портреты высокой гибкой молодой поэтессы, которые я видела, хотя в профиль можно было узнать, в самом деле, то самое лицо. Годы полуголодного существования отложились впоследствии некоторой излишней полнотой, но я чувствовала, что она несет ее как царица. И вообще, что-то королевское было во всем, что ее касалось. Она недвусмысленным образом давала аудиенцию — ибо как еще описать способ, которым она терпеливо принимала поток бесконечных посетителей: людей из издательств; людей, расспрашивающих ее о ее творчестве; людей, желающих знать о ее умерших современниках.

Ее тяжким огорчением (в тот первый раз, когда я ее увидела) была статья Сергея Маковского, только что полученная из-за границы. Я не стану входить здесь в подробности этого дела, упомяну только, что по ходу разговора я поняла, что речь идет не о мелких неточностях. Ее ранило, что ее жизнь, так же как жизнь Гумилева, была описана неверно и дурно, и она чувствовала, что это *делает бессмыслицей их творчество.* Для нее было особенно странным обнаружить в Америке людей, мно-

гие из которых не были в России полстолетия, толкующих об ее жизни и ее творчестве так, как если бы она уже была мертвою. Но не это было самым важным. Самым важным было то, что они не были точны.

Большинство аспирантов учатся тому, сколь важна точность, у своих учителей. Мне выпало счастье учиться этому у самого субъекта моей диссертации. Она учила меня этому двояким способом. Во-первых, она просто заставляла меня понимать, как много это значит для нее. Во-вторых, она связала меня с Лидией Корнеевной Чуковской, которая знала ее творчество до последней запятой и которой, сказала мне Анна Андреевна, я могла доверять во всяком текстуальном вопросе.

Другим обвинением, брошенным заграничными писателями Анне Ахматовой, было то, что она долгие годы ничего не писала. Это представлялось ей не просто случайной ошибкой, как могло быть с каким-нибудь западным автором, но оскорблением, которое проникало *до глубины души*. Ибо в продолжение одного из самых тяжких периодов в истории она не прекращала исполнять свою священную работу поэта — не прекращая воплощать свой опыт в слова.

Есть люди, чье творчество достойно изучения из-за красоты их языка, из-за сжатости, с которой они выражают наш опыт, передают те эмоции, которые мы переживаем, но выразить их можем только неадекватно. Анна Андреевна Ахматова была и то, и другое, и третье. Но она была также и кое-что еще. Потому что она умела вытягивать из глубины своего существа, из глубины своего понимания через страдание, нечто такое, что могут лишь очень немногие поэты и писатели,— *наше понимание мира* и нашего места в нем. Когда я перечитываю ее «Поэму без героя», я испытываю сильное искушение представить саму Ахматову более грандиозной, чем жизнь. Но мне хочется оставить ее человеком, а не легендой, потому что именно человеческим существом она остается неизмеримо сильнее, чем чем-либо другим, человеческим существом, из ряда вон выходящим. Мне хочется вспоминать ее полуглухой, с больным сердцем, сидящей в маленьких комнатенках в чужих квартирах, когда она переезжала из дома одних друзей к другим, чтобы не оставаться дольше, чем того бы хотели хозяева,— рассказывающей мне о неправде, которую люди написали о ней, Гумилеве и Мандельштаме. Мне хочется вспоминать, как она посылала меня к своим друзьям «узнать, что в действительности случилось...» и как, хотя она была до чрезвычайности неспособной иметь дело с обычными повседневными житейскими вещами, она храбро путешествовала поездом через Европу, боясь, как она выдержит выход на международную сцену в Оксфорде и что она может самоё себя и всех прочих, ради кого она вышла, подвести из-за преклонного возраста и плохого здоровья. Мне хочется вспоминать то, как бесстрашно приняла она эти странные

встречи с друзьями, которых не видела больше сорока лет.

Но больше всего мне хочется вспоминать то, как использовала она волшебное зеркало своей поэзии, *чтобы вернуть смысл вселенной, чтобы открыть тайный узор за кажущимся смещением и трагедией ее жизни*,— и тогда она снова исправляла и переисправляла в нашем присутствии «Поэму без героя». А я сидела рядом с ней, ожидая, когда она кончит эту работу, и сознавая, что она работает над поэмой, потому что переполнена ее всевластным ритмом.

Когда в нашей жизни что-то случается, это кажется нам обыкновенным. Хотя я знала, что мои встречи с Анной Андреевной необыкновенны, то, ка́к необыкновенны они были, я не понимала до поры, пока она не умерла. Я рассматриваю тот факт, что знала ее и была способна написать о ней, и до сих пор временами могу быть полезной ей (как когда недавно исправляла ошибки в обстоятельном предисловии Роберты Ридер к переводам Джудит Хемшмайер ее собрания сочинений, издаваемого в Америке),— я рассматриваю все это как одну из величайших привилегий моей жизни. В этом смысле она — со мною навсегда.

Кто из знающих ее поэзию может услышать гром и не вспомнить о ней?

1989

А. И. Кондратович

ТВАРДОВСКИЙ И АХМАТОВА

Это было в сентябре 1959 года. Чтобы пополнить редакционный портфель, Твардовский решил обзвонить ряд писателей, особенно ему интересных и близких, и кто-то, сейчас уже не помню кто, сказал:

— Александр Трифонович, позвоните Анне Андреевне Ахматовой, она сейчас в Москве...

Твардовский встретил это предложение с некоторым изумлением:

— Ахматовой? Неожиданная мысль...— Но тут же загорелся:— А впрочем, почему бы и не позвонить? А? Это идея. А ну-ка, дайте-ка ее телефон, если знаете...

Сколько раз я слышал, как Твардовский разговаривает по телефону: спокойно, уважительно, деловито, ласково, заливаясь смехом, пренебрежительно, холодно, гневно, рассерженно, грозно, бросая трубку и прерывая тем всякий разговор... Во всех состояниях видел Твардовского у телефонного аппарата. Но настороженного, внезапно посерьезневшего, чуть ли не оробевшего, лишь только стал набирать номер,— такого не видел.

— Анна Андреевна?..— спросил он. Но телефонную трубку, видимо, взяла другая женщина, потому что Твардовский замолчал. И через несколько секунд напряженного ожидания уже подошла она:— Здравствуйте, Анна Андреевна, с вами говорит Твардовский...

В голосе Твардовского были какие-то не слышанные мной раньше сверхпочтительные интонации. И напряжение: не обронить бы не то слово. И безусловное уважение.

Когда разговор закончился, Твардовский, откинувшись на спинку кресла, сказал, словно исполнил важное, серьезное дело (а оно и было — важное и серьезное):

— Даст!.. Обещала дать цикл стихотворений...

И видно было, что доволен разговором несказанно. Тут-то я и услышал, надо сказать с некоторым удивлением, что это был вообще первый разговор Твардовского с Ахматовой. Первый в жизни.

Странные вещи все же происходят на свете: живут два больших поэта, десятилетиями заочно знают друг друга и за десятилетия — первый разговор, и тот по телефону. При этом я еще во время разговора почувствовал: Твардовский не

очень уверен, что Анна Андреевна знает, с кем разговаривает. Вдруг он сказал: «Твардовский, редактор «Нового мира», как бы предъявил на всякий случай визитную карточку.

— «Ну, боже мой, вы мне это сообщаете»,— царственно ответила она мне,— засмеялся Твардовский, пересказывая телефонный разговор.

Может быть, эта царственность, а вместе с ней и кажущаяся недоступность величия, которые издавна связывались с именем Анны Ахматовой, и мешали Твардовскому раньше позвонить ей, познакомиться?

Может, Твардовский чувствовал, что они слишком разные поэты?

Должно быть, это так: чувствовал и знал, но и отлично понимал истинный вес и значение Ахматовой.

Тогда, после телефонного разговора, он рассказал:

— Об Ахматовой я узнал впервые еще мальчишкой, лет тридцать назад, по антологии Ежова и Шамшурина[1], очень неплохая была книга, я ее от корки до корки прочитал, и, помню, представление об Ахматовой было у меня как о покойнице, такое же, как о Блоке, Брюсове, Гумилеве. В хрестоматии были и Демьян Бедный, и Маяковский, и многие другие, которых я знал как живущих, действующих поэтов: они появлялись в газетах, журналах, Ахматова для меня звучала как поэт минувший, предреволюционный, и только потом я узнал, что она жива и пишет. Перед войной вышел ее сборник «Из шести книг», и по нему я уже узнал ее более полно. А во время войны Тарасенков[2] показал мне как-то ее стихи той поры, и я еще подивился крепости стиха. И все же, когда, позвонив, я услышал голосок слабый, старушечий, то, конечно, подумал — это она! Но это была не она, а она заговорила со мной сразу сильно, уверенно.

И Твардовский покачал головой.

— А я еще тридцать лет назад считал ее всю в прошлом. О боже!..

Как выяснилось тут же, договоренность о стихах была все же условной: Ахматова обещала подумать, после чего она и даст цикл.

— Мне даже показалось, что она вначале не очень поняла, зачем мне ее стихи, почему я и напомнил ей, что являюсь редактором журнала,— объяснил Твардовский.— Обещала подумать. Может быть, вообще не привыкла или давно отвыкла от подобных звонков и просьб. Особая судьба! И знаете, мне нравится, что не согласилась с быстрой готовностью: в этом есть достоинство. И стихи она нам даст. Надо через некоторое время напомнить ей о сегодняшнем разговоре.

Разговор, повторяю, происходил в конце сентября. Анне Андреевне несколько раз напоминали о ее обещании, она твердо повторяла: дам, но, по-видимому, все подбирала, что

дать, и каждый раз откладывала окончательное решение. И только перед самыми Ноябрьскими праздниками мы получили от нее стихи.

Твардовского больше всего тронуло, что это были последние, только что написанные стихотворения. Под первым «Подумаешь, тоже работа...» значилось: «1959 г. Комарово. Лето». «Не стращай меня грозной судьбой...» совсем свежее — «1959 г., октябрь». «Ярославское шоссе» и «Летний сад» (из цикла «Белые ночи») — «1959 г., июль. Ленинград». «Отрывок» — того же года, и лишь под «Воспоминанием» стояла дата «1956 г., 18 августа. Старки».

— Не назвать ли эту подборку именно так — «Новые стихи»? — спросил Твардовский.— Телефон у Анны Андреевны прежний? Дайте я ей позвоню.

И он позвонил. И был, судя по всему, взаимно приятнейший разговор. Твардовский благодарил за стихи, говорил, что поставит их в самый ближайший номер (так оно и было — стихи появились в № 1 за 1960 год). Тут же они договорились и о названии — «Новые стихи».

С тех пор Твардовский нет-нет да напоминал сотрудникам журнала об Ахматовой: не написала ли она новое, нет ли у нее чего-нибудь и из старого?

— Нам надо напоминать ей о себе, о том, что мы интересуемся ею,— говорил он и, когда составлялся очередной проспект произведений и авторов журнала на будущий год, собственноручно включал Ахматову в список поэтов — авторов журнала.

Но Ахматова — и это всем известно — писала стихи с такой взыскательностью к себе, к каждой строке, к каждому слову, с такой постоянной внутренней проверкой необходимости поэтического слова, которое при редкости появления самих стихов кажется, если не пугаться старомодных оборотов — а сама Анна Андреевна их нисколько не боялась,— святым служением слову поэзии. Иногда представляется, что она выращивала стихи, как жемчужница жемчуг,— годами, да так в ряде случаев и было. Потому публикации ее стихов были каждый раз редкостью. Только через три года и тоже в первом январском номере журнала за 1963 год появился новый цикл поэтессы. И тоже из новых стихов — это были стихи 1961—1962 годов.

Твардовскому очень нравился весь цикл, и особенно стихотворение «Родная земля».

Твардовский говорил:

— Как прекрасно и целомудренно такое отношение к родной земле, которая и обычная земля, по ней мы ходим,— и больше, чем земля, почва. И эпиграф из себя же нашла очень точный и все объясняющий: «И в мире нет людей бесслезней, надменнее и проще нас». Как ее только не называли! Эстетст-

Прощание в Комарове. Л. Н. Гумилев, Евгений Рейн, А. А. Тарковский, Э. Б. Коробова, И. Н. Пунина, Иосиф Бродский. 10 марта 1966 г.

вующая — было одним из самых мягких ругательств, а эта «эстетствующая» пишет о земле, как могла бы о ней крестьянская баба написать: «Но ложимся в нее и становимся ею, оттого и зовем так свободно — своею». Вот так вот...

Казалось бы, времена переменились и отношение к имени Ахматовой стало иным, а, однако, и в то время иногда приходилось защищать Ахматову. Однажды я был свидетелем, как Твардовский резко ответил одному товарищу, спросившему с наигранным недоумением: «Зачем вы снова собираетесь печатать Анну Ахматову?» Твардовский холодно взглянул на спрашивавшего и как бритвой отрезал:

— Во-первых, таких поэтов, как она, божьей милостью, было бы счастьем печатать хоть в каждом номере, и, во-вторых, надо бы вам знать, что в июне ей исполняется семьдесят пять лет.

И не посчитал нужным продолжать дальше разговор.

Как раз к семидесятипятилетию в № 6 за 1964 год появились стихи Ахматовой «Из трагедии «Пролог, или Сон во сне». Стихи 1963 года — тоже одни из новых, последних.

Не могу точно сказать, встречался ли до этого Александр Трифонович с Анной Андреевной, думаю, что нет, а почему

нет — все тот же, в сущности, безответный вопрос. Ну, в самом деле, почему большие поэты, даже когда у одного из поэтов давний, не просто редакторский интерес к стихам другого поэта, идут как бы параллельными курсами и порой только случай или стечение обстоятельств могут сблизить эти курсы? Интерес же у Твардовского к поэзии Ахматовой был и в самом деле давний: свою статью о ней «Достоинство таланта» он начал словами: «Имя Анны Ахматовой — одно из немногих имен русской поэзии XX века, отмеченных в десятилетиях неизменностью читательских симпатий...» И ясно было, что множественное число здесь легко меняется и на единственное.

Полагаю, что в первый раз Твардовский встретился с Ахматовой не у себя на родине, а за границей — вот уж один из парадоксов их биографий! — на вручении Ахматовой в сицилийском городе Катанья литературной премии Этна-Таормина. Твардовский поехал в Италию на заседание Руководящего совета Европейского сообщества писателей, вице-президентом которого он являлся. Но знал, что Ахматовой уже присуждена итальянская литературная премия, и перед отъездом говорил: «Наверное, я буду и на вручении премии».

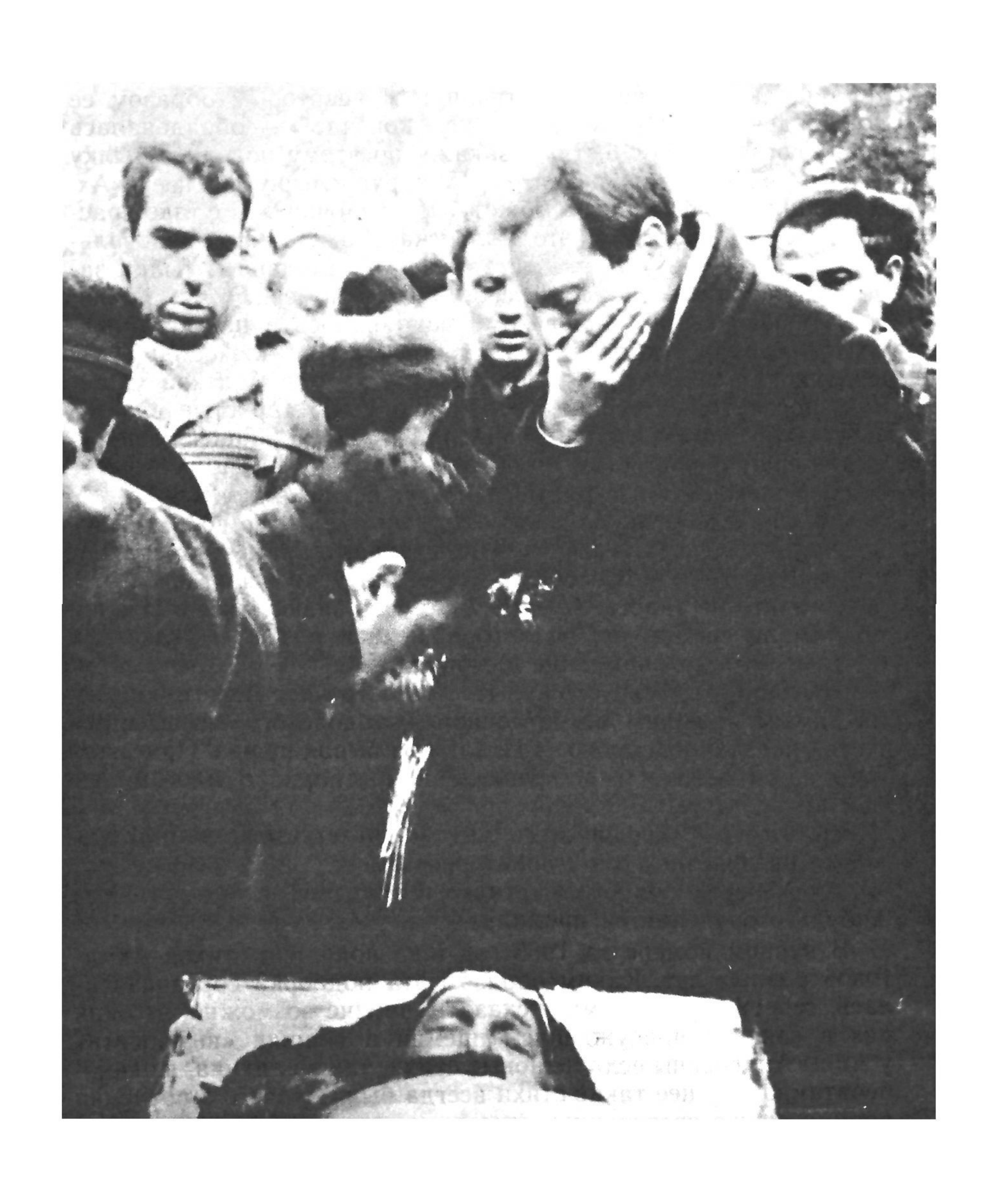
Он не только был на вручении премии в замке Урсино, но и выступил на торжественной церемонии с речью. За редким исключением, Твардовский всегда выступал без «бумажек», и потому эта речь его сохранилась лишь небольшой своей частью, в информационной заметке, опубликованной в «Литературной газете» от 17 декабря 1964 года.

«Первое, что можно сказать о поэзии Ахматовой,— сказал Твардовский,— это подлинность лирического изъяснения, невыдуманность чувств и незаимствованность мыслей. Поэзия Ахматовой — образец высокого мастерства. Она на уровне высших достижений культуры русского стиха, следуя классической, главным образом пушкинской традиции, обладает чертами несомненной самобытности. Ее поэзия немногословна, экономна в средствах и по видимости как бы только традиционна».

Жаль, что больше ничего не было приведено, но приведено, по-видимому, довольно точно: о «невыдуманности чувств», «немногословности», о «пушкинской школе» и мастерстве Твардовский почти в тех же самых выражениях писал спустя год в статье об Ахматовой. Да и размышляя о ее поэзии, он говорил то же.

В Катанье Александр Трифонович, должно быть, и познакомился с Анной Андреевной. Вернувшись из Италии, Твардовский рассказывал:

— Вечером я решил зайти в номер гостиницы, чтобы лично поздравить Ахматову с премией. Она приняла меня так, словно мы были уже давно знакомы. Но я все же с некоторой опаской — женщина немолодая, может быть, сердечница —



Прощание в Комарове. Анатолий Найман, Евгений Рейн, Э. Б. Коробкова, Дмитрий Бобышев, Иосиф Бродский. 10 марта 1966 г.

спрашиваю ее, а не отметить ли нам некоторым образом ее награждение? «Ну конечно же, конечно!» — обрадовалась она. «Тогда, может быть, я закажу по этому поводу бутылку какого-нибудь итальянского?» И вдруг слышу от нее: «Ах, Александр Трифонович, а может быть, водочки?» И с такой располагающей простотой это было сказано и с таким удовольствием! А у меня как раз оставалась в чемодане бутылка заветной, я тут же ринулся к себе, в свой номер...

Больше всего Твардовскому понравилось и навсегда расположило это открытое, неожиданное: «Ах, Александр Трифонович, а может быть, водочки?» Где-то в далекой Сицилии, после торжественной церемонии самые простые слова... «До этого момента,— говорил Александр Трифонович,— я все еще представлял ее себе величественной, а тут у нас сразу пошел самый сердечный и дружеский разговор».

— Она все отлично видела и понимала, — говорил Твардовский.— Казалось бы, премия итальянская, а она спокойно, без какого-либо самообольщения: «А ведь меня, как поэта, здесь никто не знает». А я это и по себе знаю: меня в Италии принимали всегда как редактора, не как поэта. Я сказал ей об этом, и она понимающе улыбнулась...

Не ошибусь, если скажу, что эта встреча с Ахматовой была самым большим впечатлением Твардовского, вынесенным из той поездки в Италию. В Италии он бывал не раз. Приезжая оттуда, он обычно с воодушевлением говорил о многом, что там видел.

На этот раз больше всего он говорил об Ахматовой. И сразу же по приезде домой поинтересовался:

— А перед подборкой стихов Ахматовой у нас есть что-нибудь о вручении ей премии?

В первом номере за 1965 год шла подборка стихов Ахматовой разных лет. Каким образом эта подборка сорганизовалась, теперь я уже не могу сказать, вполне возможно, что как раз в связи с присуждением премии и решили «выпросить» у Анны Андреевны если не новые стихи, так из архива, из ненапечатанного, у нее такие стихи всегда были. Ничего о вручении премии в уже сверстанном номере журнала не было.

— Ну как же так, ведь в жизни Ахматовой это событие немалое, и событие уже состоялось, а мы его словно бы и не заметили. Нельзя...— сказал Твардовский.

Кто-то заикнулся, что уже поздно, номер почти готов.

— Даже если бы номер был подписан — все равно не поздно,— сказал Твардовский.

Анна Андреевна умерла 5 марта 1966 года. Я видел в тот день Александра Трифоновича. Смерть уже давно немолодой, старой женщины, да еще столько пережившей, не могла быть неожиданностью, и все-таки было видно, что Твардовский подавлен. Такое состояние у него обычно выражалось в какой-

Могила Анны Ахматовой

то особой сосредоточенности, тихом и отъединенном спокойствии, даже отрешенности, нелюдимости. В такие часы к нему лучше было не лезть с делами и вопросами. Но он сам спросил:

— А в третий номер мы успеем дать некролог? Мы же опаздываем, а надо дать в третий: в марте умерла, в мартовском номере должно и появиться.

Я не знал, что он сам решил писать этот некролог, и был немало удивлен, когда увидел на следующий день, что машинистка перепечатывает довольно большую статью об Ахматовой с листков, испещренных бегучим почерком Твардовского. Я знал, что Твардовский умеет работать быстро, быстрота эта не сказывается на качестве работы. На этот раз он писал о свежем горе и, должно быть, не писал, а писалось... Хотел сказать последнее слово. Так появилась статья «Достоинство таланта». В ней Твардовский написал многое из того, что мог бы сказать Анне Андреевне и при жизни. О ее нелегкой литературной и жизненной судьбе, о жизни, прожитой «с выдержкой и достоинством, которые не могут не вызывать уважения». О ее поэзии — «лирическом дневнике много чувствовавшего и много думавшего современника сложной и величественной эпохи». Впрочем, может быть, все эти торжественные слова трудно было сказать вслух, да еще о поэтессе, с которой Твардовский так или иначе был мало знаком. Но, однако, поэзию ее он знал и давно выделял из многого не только хорошего, но и отличного. Не случайно статья кончалась твердо уверенными словами:

«Для старой, изнуренной болезнью женщины Анны Андреевны Ахматовой «бег времени» окончен. Для ее чистой и внятной, живо откликающейся в людских сердцах поэзии — долгий путь вместе с «бегом времени».

ОТ СОСТАВИТЕЛЕЙ

Мемуарная литература, посвященная жизни и творчеству Анны Андреевны Ахматовой, по своему объему принадлежит, вероятно, к самым обширным в мемуаристике двадцатого века. Это одно из свидетельств творческого масштаба, духовного влияния и неиссякающей притягательной силы, которой обладала для современников разных поколений личность поэта Анны Ахматовой. Количество воспоминаний о ней, включая хранящиеся в архивах, исчисляются в настоящее время уже не десятками, а сотнями произведений этого жанра у нас и за рубежом. Поэтому принцип публикации «избранного» естественно возник и был положен в основу первой попытки собрать воедино и представить читателю все наиболее достоверное, заслуживающее широкого интереса и, главное, сохраняющее живой облик поэта.

Наряду с воспоминаниями, написанными по нашей инициативе специально для данного сборника, читатель найдет в нем многое из мемуаров об А. А. Ахматовой, рассеянных по страницам периодической печати и теперь объединенных. Включены сюда и главы из некоторых мемуарных книг не монографического, а более широкого охвата (например, из книг Л. Я. Гинзбург, давшей для нашего издания несколько ценных дополнений, М. И. Алигер, Н. И. Ильиной, Т. М. Вечесловой).

Складывающийся таким образом как бы сам собой коллективный портрет побудил составителей в ряде случаев отказаться от полноты воспроизведения первых публикаций, а иногда диктовал и еще более определенную фрагментарную форму нового издания. Необходимость отбора фрагментов, наиболее значительных во всех отношениях, диктовалась при этом и предельно возможным объемом тома, и желанием избежать излишних повторов. То же самое относится и к включенным в наш сборник дневниковым записям.

Составители стремились к тому, чтобы даже и в этих границах был отражен весь жизненный путь великого поэта. Естественно очевидное преобладание свидетельств и отражений последних десятилетий жизни А. А. Ахматовой. Более ранние периоды ее биографии запечатлены преимущественно в публикуемых нами архивных материалах и отчасти в мемуарах ее современников из среды старой русской эмиграции. Фрагменты последних вошли в сборник с учетом отношения к их достоверности самой Анны Андреевны.

Композицию сборника мы старались, насколько возможно, приблизить к хронологической канве ее биографии.

Избегая прямых повторов, мы считали необходимым сохранить в этом собрании воспоминаний об А. А. Ахматовой как внутренние совпадения, так и разительное несходство некоторых характеристик и впечатлений, вынесенных из общения с нею различными мемуаристами. Известно, что Ахматова обладала свойством очень по-разному, в разной степени и в разном качестве открываться в беседах даже с самыми близкими своими друзьями, не говоря уже о знакомых того или иного периода. Длительное, чаще всего многолетнее знакомство и — особенно — дружеские отношения мемуариста с Анной Андреевной, так или иначе подтвержденные ею самой, были для нас одним из существенных критериев отбора включаемых в книгу материалов. Кратковременные общения составляют здесь редкое исключение, обусловленное несомненной ценностью данного свидетельства. С другой стороны, отсутствие хотя бы фрагментов едва ли не самого полного, в своем роде уникального, собрания дневниковых записей Л. К. Чуковской объясняется только волей автора, предпочитающего сохранить их последовательность и целостность в отдельном издании.

Предлагаемые вниманию читателей примечания носят вспомогательный характер и ограничиваются необходимыми фактографическими и библиографическими сведениями.

КОММЕНТАРИИ

В. С. Срезневская. Дафнис и Хлоя

Печ. по рукописи (ГПБ).

Валерия Сергеевна Срезневская (1888—1964) — многолетняя подруга Ахматовой (далее А. А.). Ей посвящены стихи А. А.: «Вместо мудрости — опытность...» (1913), «Жрицами божественной бессмыслицы...» (1910-е), «Памяти В. С. Срезневской» (1964).

[1] *С Аней мы познакомились в Гунгербурге...*— Знакомство состоялось летом 1894 г. В одном из черновиков воспоминаний Срезневской есть запись рукой А. А.: «В Гунгербурге Горенко жили на Меррикюльской ул. и на даче Краббу не помню где». (Об участии А. А. в создании этих воспоминаний см. ниже в восп. И. Н. Пуниной, см. также: Найман А. Г. Рассказы о Анне Ахматовой. М., 1989, с. 89.

[2] *Старший брат* — Андрей Андреевич Горенко (1887—1920).

[3] *Кузина* — Мария Александровна Змунчилла; в ее семье А. А. жила в 1906—1907 гг. в Киеве.

[4] *... я получила извещение об их свадьбе.*— Венчание А. А. и Н. С. Гумилева состоялось в Киеве 25 апреля 1910 г.

[5] *«Синяя звезда»* — имеется в виду Елена Карловна Дюбуше, с которой Гумилев познакомился в Париже в 1917 г., его стихи, вписанные к ней в альбом, были изданы в 1923 г. отдельным сборником «К синей звезде».

[6] *...единственный ребенок* — Лев Николаевич Гумилев (р. 1912), историк и этнограф.

[7] *Мать* — Анна Ивановна Гумилева (урожд. Львова, 1854—1942).

[8] *Отец* — Андрей Антонович Горенко (1848—1915), офицер флота, позже чиновник государственного контроля, общественный деятель (см.: Деятели революционного движения в России, т. 3, вып. 2. М., 1934, с. 904).

[9] *Мама* — Инна Эразмовна Горенко (урожд. Стогова, 1856—1930).

[10] *Слепнёво* — усадьба Анны Ивановны Гумилевой в Бежецком уезде Тверской губ., где А. А. проводила с 1911-го по 1917 г. каждое лето.

[11] *Сидя у меня в небольшой темно-красной комнате... Аня сказала, что хочет навеки расстаться с ним...*— А. А. и Гумилев развелись 5 августа 1918 г., А. А. жила в это время на квартире у Срезневских (Боткинская ул., д. 9).

[12] *...свою юную жену...*— Речь идет о второй жене Н. С. Гумилева Анне Николаевне (урожд. Энгельгардт, 1895—1942).

И. Н. Пунина. Об Анне Ахматовой и Валерии Срезневской

Печ. по рукописи (1987 г.).

Ирина Николаевна Пунина — искусствовед, дочь третьего мужа А. А.— искусствоведа Николая Николаевича Пунина (1888—1953).

[1] *Младшая Акума* — Анна Генриховна Каминская, дочь И. Н. Пуни-

ной. *Акума* — домашнее прозвище Ахматовой, см.: Шилейко Т. Легенды, мифы, стихи...— «Новый мир», 1986, № 4).

[2] *...интересовавшие ее в молодости поэты, друзья, знакомые...*— Ближайшее окружение А. А. в 1910-х гг. составляли Н. С. Гумилев, расстрелянный в 1921 г.; Н. В. Недоброво, скончавшийся в 1919 г. от туберкулеза; В. К. Шилейко, с которым и после развода А. А. сохраняла самые теплые и близкие отношения, умерший в 1930 г.; уехавшие в эмиграцию Б. В. Анреп и О. А. Глебова-Судейкина и погибший в 1938 г. в лагере О. Э. Мандельштам; с М. Л. Лозинским дружба продолжалась до самой его кончины в 1955 г.

[3] *Торгсин* — название специальных магазинов («Торговля с иностранцами»), куда от советских граждан принимались серебро и золото, а в обмен выдавались талоны, на которые в этих магазинах можно было приобрести любые товары (от французских духов и обуви до хлеба и пшена), в том числе и те, которые в обычных магазинах выдавались по карточкам или по специальным талонам. Эти магазины существовали в крупных городах на протяжение первой половины 1930-х гг.

[4] *Роман Альбертович* — муж И. Н. Пуниной Р. А. Рубинштейн (1905—1985), актер, чтец.

[5] *Вера Алексеевна Знаменская* (1895—1968) — Наброски ее воспоминаний хранятся в ГПБ.

[6] *Николай Владимирович Недоброво* (1882—1919) — поэт, критик, адресат многих стихотворений А. А., которая считала его статью о ее творчестве в «Русской мысли» (1915, № 7) «лучшим, что написано о молодой Ахматовой» (дарств. надпись 1964 г. на маш. копии этой статьи, подаренной ею В. А. Знаменской.— ГПБ). Об отношениях А. А. и Недоброво см. в восп. Б. Анрепа в наст. изд., а также: Струве Г. П. Ахматова и Недоброво.— В кн.: Ахматова А. Соч., т. 3. Париж, 1983.

В. А. Беер. Листки из далеких воспоминаний

Печ. по рукописи (ИРЛИ). Опубл. в кн. «Перспектива-87». М., 1988.

Вера Адольфовна Беер (1889—1976) — педагог, соученица А. А. по Киевской Фундуклеевской гимназии.

[1] *Густав Густавович. Шпет* (1878—1937) — впоследствии известный русский философ. В 1922 г. в своей кн. «Эстетические фрагменты» (т. 1, с. 65) Шпет писал: «...Никакое, ничтожное содержание в многообещающей форме есть эстетическая лживость (Ахматова, напр.) — знаменование потери восприятия и чувства мира». (См. также рецензию на эту книгу В. В[ейдле]: «...или об Ахматовой: «Ничтожное содержание...» — нелепое применение банальной формулы, которое он считает, вероятно, блестящим парадоксом...» — Русский современник, 1924, кн. 2, с. 302.)

В. А. Пяст. Из книги «Встречи»

Печ. по кн.: Пяст В. Встречи. М., 1929.

Владимир Алексеевич Пяст — (наст. фамилия Пестовский, 1886—1940), поэт, переводчик.

[1] *Академия* — «Общество ревнителей художественного слова» при

редакции журн. «Аполлон», именовавшееся также Поэтическая Академия, возникшее из домашнего курса лекций Вячеслава Иванова по инициативе А. Н. Толстого, Н. С. Гумилева и П. Потемкина в 1909 г. (см.: Осповат А. Л., Тименчик Р. Д. «...Печальну повесть сохранить...». М., 1987, с. 184).

[2] *Самое слово «акмеизм» ... подсознательно продиктовано ... этим псевдонимом-фамилией...* — В поздних автобиографических записях А. А. подчеркивала отсутствие связи между своим псевдонимом и названием литературного течения.

[3] *Недавно об Ахматовой выпущена книжка...* — Имеется в виду составленная Э. Ф. Голлербахом поэтическая антология «Образ Ахматовой» (Л., 1925).

[4] *...прелестные статуэтки* — работы Наталии Яковлевны Данько (1892—1942).

Г. И. Чулков. Из книги «Годы странствий»

Печ. по кн.: Чулков Г. И. Годы странствий. М., 1930.

Георгий Иванович Чулков (1879—1939) — писатель, литературовед, критик, в 1910-х гг. несколько раз писал об А. А. (в т. ч. рецензию на первую книгу А. А. «Вечер» — Жатва, кн. 3, 1912).

[1] *Вернисаж выставки «Мир искусства»* — состоялся 26 февраля 1911 г.

[2] *Вечер Федора Сологуба* — 1 марта 1911 г.

Н. Г. Чулкова. Об Анне Ахматовой

Печ. по рукописи (ИРЛИ). Опубл. в кн. «Перспектива-87». М., 1988.

Надежда Григорьевна Чулкова (1874—1961) — жена Г. И. Чулкова; в книге «Белая стая» (Пг., 1917) ей посвящено стихотворение «Перед весной бывают дни такие...».

[1] *Сестра Г. И. Чулкова* — художница Любовь Ивановна Рыбакова (1882—1972).

[2] *...у сестры Георгия Ивановича — Ходасевич...* — младшая сестра Г. И. Чулкова Анна Ивановна в 1911—1922 гг. была женой В. Ф. Ходасевича.

[3] *...арестовали ее второго мужа и ее сына.* — Н. Н. Пунин и Л. Н. Гумилев были арестованы 27 октября 1935 г., подробности об их освобождении после писем И. В. Сталину от А. А. и Б. Л. Пастернака см. в наст. изд. в восп. Э. Г. Герштейн.

[4] *...«Черные птицы летают в зените...»* — Очевидно, имеется в виду стихотворение А. А. «Птицы смерти в зените стоят...» из цикла «Ветер войны».

[5] *...летела она вместе с писателем Зощенко...* — М. М. Зощенко был эвакуирован из Ленинграда позже А. А.

[6] *Цявловский с женой* — пушкинисты Мстислав Александрович Цявловский (1883—1947) и Татьяна Григорьевна Зенгер-Цявловская (1897—1978).

Александр Блок. Из дневников, записных книжек и писем

[1] *20 октября 1911 г.*— на квартире у С. Городецкого состоялось первое заседание «Цеха поэтов», возглавлявшегося Гумилевым и Городецким объединения молодых поэтов. На последующих заседаниях «Цеха» Блок не присутствовал.

[2] *Люба* — Л. Д. Блок (1881—1939).

[3] *...его хорошие стихи...*— Имеются в виду строки «И вот мне приснилось, что сердце мое не болит, // Оно — колокольчик фарфоровый в желтом Китае...» из стих. «Я верил, я думал...» Н. С. Гумилева.

[4] *Вячеслав* — поэт Вячеслав Иванов.

[5] *Письмо и стихи от А. А. Ахматовой...*— Письмо, посланное со стих. А. А. «Я пришла к поэту в гости...», опубл. в кн.: Лит. насл., т. 92, кн. 4, с. 576—577.

[6] *...если Вы согласны...*— Стих. А. Блока «Анне Ахматовой» и стих. А. А. «Я пришла к поэту в гости...» были опубл. в журн. «Любовь к трем апельсинам» (1914, № 1).

[7] *«Четки» от А. Ахматовой...*— книга с дарств. надписью: «Александру Блоку Анна Ахматова. «От тебя приходила ко мне тревога // И уменье писать стихи». Весна 1914, Петербург».

[8] *...9 июля... 5 августа... 13 декабря 1913 г...*— Об этих встречах и телефонном разговоре А. А. пишет в своих «Воспоминаниях об Александре Блоке».

[9] *...ответить на посылку Вашей поэмы...*— Поэма «У самого моря» впервые опубликована в 1915 г. в журн. «Аполлон» (№ 3).

[10] *8 мая 1917 г.*— дата дарств. надписи на сб. «Четки» (2-е изд): «А. А. Блоку дружески Ахматова».

[11] *Отказались Пяст, Ахматова, Сологуб...*— Появившаяся после разгона Учредительного собрания поэма «Двенадцать» была встречена в кругах петроградских литераторов крайне враждебно.

[12] *21 января 1919 г.*— ср.: «И снова я уже после революции (21 января 1919 г.) встречаю в театральной столовой исхудалого Блока с сумасшедшими глазами, и он говорит мне: «Здесь все встречаются, как на том свете» (А. А.— «Воспоминания об Александре Блоке»).

Е. Б. Чернова. Слепнёво.

Опубликовано в статье А. Крюкова «Тверское уединенье» — журн. «Волга», 1981, № 3.

Елена Борисовна Чернова — внучка Агаты Ивановны Львовой, сестры Анны Ивановны — матери Н. С. Гумилева.

Корней Чуковский. Из воспоминаний. Из дневника

Печ. по рукописи, подготовленной Е. Ц. Чуковской.

Корней Иванович Чуковский (1882—1969) — автор нескольких работ о творчестве Анны Ахматовой: «Ахматова и Маяковский» (Дом искусств,

1920, № 1— републ. «Вопр. лит-ры», 1988, № 1), «Читай Ахматову» («Москва», 1964, № 5 и др.; ей посвящена глава в книге мемуаров «Современники» (М., 1967).

Публикуем отрывки из статьи, написанной в середине 60-х годов по заказу Лениздата. Статья предназначалась для ахматовского сборника стихотворений и прозы, была принята к печати, но не вышла в свет. Впервые опубликована полностью в сб.: Корней Чуковский. Критические рассказы. М., «Правда» (Б-ка «Огонек»), 1990, т. 2, с. 499—534.

Выдержки из дневника Чуковского печатались в журн. «Новый мир», 1987, № 3, с коммент. Е. Ц. Чуковской, которые в значительной степени использованы в наст. изд.

[1] *Младшая современница* — Лидия Чуковская. В те годы ее «Записки об Анне Ахматовой» были известны К. Чуковскому в рукописи. Теперь они опубликованы (М., «Книга», 1989. Т. 1, с. 176).

[2] *Шилейко Владимир Казимирович* (1891—1930) — филолог-востоковед, поэт, переводчик. Был мужем А. А. в 1918—1921 гг. Подробнее о нем см.: Шилейко Т. Легенды, мифы и стихи...— «Новый мир», 1986, № 4, Иванов Вяч. Вс. Одетый одеждою крыльев (О переводчике В. К. Шилейко).— В кн.: Всходы вечности. Ассиро-вавилонская поэзия. В пер. В. К. Шилейко. М., 1987 (там же стихи самого Шилейко).

[3] *Гржебин Зиновий Исаевич* (1869—1929),— художник, владелец издательства.

[4] *Кристи Михаил Петрович* (1875—1956) — художник, искусствовед, в 1918—1926 гг. уполномоченный Наркомпроса в Петрограде.

[5] *Котляревский Нестор Александрович* (1863—1925) — академик, первый директор Пушкинского Дома (1910—1925).

[6] *Щеголев Павел Елисеевич* (1877—1931) — историк, пушкинист.

[7] *Садофьев Илья Иванович* (1889—1965) — поэт-пролеткультовец.

[8] *Ольга Афанасьевна Судейкина* (1885—1945) — актриса, ближайшая подруга А. А. 1910-х — начала 1920-х гг., умерла в Париже в эмиграции; ей адресованы стихи А. А. «Пророчишь горькая и руки уронила...» (1921) и «Второе посвящение» «Поэмы без героя».

[9] *Коля* — Николай Корнеевич Чуковский (1904—1965), писатель, сын К. И. Чуковского.

[10] *Артур Сергеевич* — Лурье (1893—1966), композитор, адресат ряда стихотворений А. А. (см. восп. Л. Я. Гинзбург в наст. изд.). Ср.: «И еще мне казалось, что это // Я пишу для Артура либретто...» (вариант строки из «Поэмы без героя», ноты музыки для которой Лурье опубл. в альманахе «Воздушные пути», вып. 3 (Нью-Йорк, 1963). В 1919 г. были опубл. ноты его музыки на стихи А. А. «Четки. Десять песен из Анны Ахматовой» (Пг.— М.).

[11] *Анна Николаевна* – см. коммент.[12] к восп. В. С. Срезневской.

[12] *«Звучащая раковина»* — объединение поэтов, которым руководил Гумилев. В кружок входили дочери фотографа М. С. Наппельбаума — Ида и Фредерика (1902—1958).

[13] *...статья Голлербаха...*— Голлербах Эрих Федорович (1895—1942); его статья «Петербургская камена (Из впечатлений последних лет)» — «Новая Россия», 1922, № 1.

[14] *...Книжка о Царском Селе* — антология «Царское Село в поэзии». СПб., 1922.

[15] *..нас было четыре сестры, и вот третья умирает от чахотки.*— Младшая сестра А. А Ия Андреевна умерла в 1922 г.

[16] *Прочитала «Юдифь.* » — Возможно, речь идет о стихотворении А. А. «Рахиль» (1921).

[17] *...получает в Агрономическом институте 4 миллиона...*— О работе А. А. в библиотеке Агрономического института см. восп. М. Зенкевича в наст. изд.

[18] *...после его книжки обо мне...*— Имеется в виду книга: Эйхенбаум Б. Анна Ахматова. Опыт анализа. Пб., 1923.

[19] *Она показывала мне... одно письмо от него...*— письмо Блока от 14 марта 1916 г., см. с. 43 наст. изд.

[20] *Ахматова посвятила ей стихотворение: «Все разрушено...»* — Наталье Викторовне Рыковой (1897—1928) посвящено стих. «Все расхищено, предано, продано...».

[21] *Критик Осовский в «Известиях» пишет, что это стихотворение — революционное, т. к. посвящено жене комиссара Рыкова.*— Н. Осинский, полемизируя с рецензентами эмигрантских газет в своей ст. «Побеги травы» (Заметки читателя), помещенной в «Правде» (4 июля 1922 г.), писал: «...одна беда: рецензенты не сообразили, что Н. Рыкова, коей посвящено стихотворение, является женой «большевистского комиссара» Действительно, многое расхищено, предано и продано всей той мутью, которая поднялась вместе с революцией... Не обругала тут революцию Ахматова, а воспела ее, воспела то прекрасное, что родилось в огне ее...» и т. д. Осинскому поспешил ответить известный «напостовский» критик С. Родов: «...совершеннейший конфуз вышел у тов. Осинского с А. Ахматовой. Не говорим уже о безнадежной попытке, основываясь на посвящении Н. Рыковой, выдать контрреволюционное стихотворение за революционное...» («Молодая гвардия», 1922, № 6—7, с. 308). Жену председателя Совнаркома А. И. Рыкова звали Нина Семеновна.

[22] *Ирина Валериановна Карнаухова* (1901—1959) – фольклористка.

[23] *...критики стали писать... что Ахматова сама ездит с гайдуками...*— Имеется в виду ст. Г. Лелевича в журн. «На посту» (1923, № 2—3). Критик писал: «...поэзия Ахматовой представляет из себя как бы сплошную автобиографию, как бы сплошной дневник... литературные журфиксы у камина с шампанским и черным кофе, прогулки на рысаках с раззолоченным гайдуком. Перед нами — тепличное растение, взращенное помещичьей усадьбой» (с. 179—180).

[24] *Николай Александрович Морозов* (1854—1946) — революционер-народоволец, поэт и писатель, 25 лет находился в заключении в Шлиссельбургской крепости.

[25] *...бывшие придворные прачечные* — набережная р. Фонтанки, д. 2.

Георгий Адамович. Мои встречи с Анной Ахматовой

Печ. по альманаху «Воздушные пути». Нью-Йорк, 1967, вып. 5.

Георгий Викторович Адамович (1892—1972) — поэт, критик. Ему принадлежит рец. на поэму А. А. «У самого моря» («Голос жизни», 1915, № 11). А. А. выделяла Адамовича среди младшего окружения Гумилева, относясь

к Г. Иванову и Н. Оцупу резко отрицательно (см. запись в дневнике П. Н. Лукницкого от 29 января 1926 г.— «Лит. обозрение», 1989, № 6).

[1] *...романо-германский семинарий...*— В числе его участников были и поэты, входившие в «Цех поэтов», М. Лозинский, О. Мандельштам, Василий Гиппиус и др. (см.: Тименчик Р. Д. Тынянов и некоторые тенденции эстетической мысли 1910-х годов.— Тыняновский сб. Вторые тыняновские чтения. Рига, 1986, с. 61).

[2] *Константин Васильевич Мочульский* (1892—1948) — филолог, критик, после революции эмигрант.

[3] *А «вывел ее в люди»... Кузмин...*— Михаил Алексеевич Кузмин (1875—1936) был автором предисловия к первой книге стихов А. А. «Вечер» (1912).

[4] *«Бродячая собака»* — литературно-артистическое кабаре (о нем см.: Парнис А. Е., Тименчик Р. Д. Программы «Бродячей собаки».— В кн.: Памятники культуры. Новые открытия. Ежегодник 1983. Л., 1985).

[5] *Саломея Николаевна Андроникова* (1888—1982) — ей посвящено стих. А. А. «Тень»; об ее отношениях с А. А. см. «Огонек», 1988, № 3.

[6] *...моя младшая сестра* — Татьяна Викторовна Адамович (в замужестве Высотска) (1892—1970).

[7] *Валериан Чудовской* (1891—1937?) — критик, автор ст. «По поводу стихотворений Анны Ахматовой» («Аполлон», 1912, № 4); его жена, художница А. М. Чудовская-Зельманова, написала один из первых портретов А. А. (1913).

[8] *Аким Львович Волынский* (1863—1926) — искусствовед, критик.

[9] *«Сумасшедший трамвай»* — имеется в виду стих. Гумилева «Заблудившийся трамвай».

Юрий Анненков. Из книги «Дневник моих встреч»

Печ. по кн.: Анненков Ю. Дневник моих встреч. Париж, 1966.

Юрий Павлович Анненков (1889—1974) — художник, график.

[1] *Теперь она готовит книгу о поэзии Ахматовой.*— Книга Аманды Хейт «Akhmatova. A Poetic Pilgrimage» («Ахматова. Поэтическое странствие»), изданная в Оксфорде в 1976 г., содержит много материала, практически «надиктованного» автору А. А. (см.: Найман А. Г. Рассказы о Анне Ахматовой. М., 1989, с. 114.).

Борис Анреп. О черном кольце

Печ. (с сокращениями) по кн.: Ахматова А. Сочинения, т. 3. Париж, 1983 (публ. Г. П. Струве).

Борис Васильевич Анреп (1883—1969) — поэт, художник-мозаичист, в 1910-х гг. сотрудник журн. «Аполлон», адресат ряда лирических стих. А. А. Об отношениях Анрепа и А. А. см. также: Найман А. Г. Рассказы о Анне Ахматовой. М., 1989.

М. А. Зенкевич. У камина с Ахматовой

Печ. по рукописи (собрание В. Лаврова).

Михаил Александрович Зенкевич (1891—1973) — поэт-акмеист, переводчик, участник «Цеха поэтов».

[1] А. А. работала в библиотеке Агрономического института в 1921—1922 гг.

Д. Е. Максимов. Об Анне Ахматовой, какой помню

Печ. по кн.: Максимов Д. Е. Русские поэты начала века. Л., 1986.

Дмитрий Евгеньевич Максимов (1904—1987) — литературовед, критик.

[1] *...существуют исключительно подробные, почти протокольные воспоминания о ней.*— Очевидно, имеются в виду «Записки» Л. К. Чуковской (см. коммент. к восп. К. И. Чуковского № 1).

[2] *...ее триумфа на вечере памяти Блока...*— «Вечер в БДТ памяти А. Блока... стихи о Блоке прочитали поэты М. Дудин и Анна Ахматова» («Ленинградская правда», 1946, 8 августа).

[3] *...горестная участь Елены Михайловны...*— Е. М. Тагер (1895—1964) — прозаик, поэтесса, переводчик. В 1937-м она потеряла 18-летнюю дочь, сама была арестована в 1938 г., прошла тюрьму, лагеря, ссылку, в 1956 была реабилитирована и вернулась в Ленинград (см. о ней в журн. «Даугава», 1988, № 8). На сб. «Стихотворения» (1961) А. А. написала ей: «Елене Тагер, чьим стихам я предрекаю долгую и славную жизнь».

Лидия Гинзбург. Ахматова (Несколько страниц воспоминаний)

Печ. по кн.: Гинзбург Л. Я. Литература в поисках реальности: Статьи. Эссе. Заметки. Л., 1987.

Лидия Яковлевна Гинзбург (1902—1990) — литературовед, критик.

[1] *Григорий Александрович Гуковский* (1902—1950) — литературовед, критик.

[2] *...«столпничество на паркете»...*— Мандельштам писал в статье «Vulgata (Заметки о поэзии)», опубликованной в журн. «Русское искусство» (1923, кн. 2—3): «...но это (русские символисты.— *К. П.*), по крайней мере, были аскеты, подвижники. Они стояли на колодах. Ахматова же стоит на паркетине — это уже паркетное столпничество» (Мандельштам О. Слово и культура. М., 1987, с. 284); переиздавая эту статью в сб. «О поэзии» (Л., 1928), он изменил фразу, осталось: «Воистину русские символисты были столпниками стиля: на всех вместе не больше пятисот слов — словарь полинезийца» (там же, с. 69).

[3] *Получила восторженное письмо от Бориса* — письмо от 28 июля 1940 г.; см.: Пастернак Б. Избр. в 2-х т., т. 2. М., 1985.

[4] *Про издание 1958 года... Все остальное выбросил Сурков*.— А. А. Сурков (1899— 1983), от которого зависел окончательный состав книги А. А. «Стихотворения» (М., 1958), свел число стихов к предельному минимуму.

Недовольство книгой отразилось в дарственных надписях, например: «Остались от козлика ножки да рожки», на экз. Э. Г. Герштейн.

[5] *Боря* — Борис Яковлевич Бухштаб (1904—1985), литературовед, текстолог.

П. Н. Лукницкий. Из дневника и писем

Публикация В. К. Лукницкой. Частично опубл. в кн.: Лукницкая В. К. Из двух тысяч встреч. М., 1987 (Б-ка «Огонек», 1987, № 14).

Павел Николаевич Лукницкий (1900—1973) — поэт, прозаик, в 1920-х занимался сбором материалов, связанных с биографией и творчеством Н. С. Гумилева.

[1] *...пошел к Шилейко.*— В 1924—1926 гг. А. А. жила в квартире своего бывшего мужа В. К. Шилейко в Мраморном дворце.

[2] *КУБУЧ* — Комиссия улучшения быта ученых — организована в 1921 г.

[3] *Григорий Венедиктович Шмерельсон* (1901—1940-е?) — поэт-имажинист, член правления и секретариата петроградского отделения Союза поэтов.

[4] *Замятины* — Евгений Иванович (1884—1937) и его жена Людмила Николаевна (1883—1965).

[5] *Николай Валерианович Баршев* (1888—1938) — прозаик.

[6] *Изабелла Аркадьевна Гриневская* (1864—1944) — поэтесса, драматург.

[7] *...выбор названия «*Anno Domini*»* — Полное название книги «Anno Domini MCMXXI» (Год Господень MCMXXI — *лат.*), т. е. «От Рождества Христова 1921» — год смерти А. Блока и расстрела Н. Гумилева.

[8] *6 марта* [1925 г.] *Дневник Блока (1 том) вышел из печати совсем недавно...*— «Дневник Блока», о котором идет речь, был издан в 1928 г.

[9] *Грааль Арельский* — псевдоним поэта-эгофутуриста С. С. Петрова (1888—?).

[10] *...антология Голлербаха...*— Имеется в виду составленная Э. Ф. Голлербахом антология «Образ Ахматовой» (Л., 1925).

[11] *Сверчкова Александра Степановна* (1869—1952) — единокровная сестра Н. С. Гумилева.

[12] *...книги Блока с его надписью «А. А. Гумилевой».*— Четыре надписи Блока на книгах, подаренных А. А. в 1913 г., надписаны «Анне Ахматовой» (см. публ. А. Е. Парниса и В. Я. Мордерер: Лит. насл., т. 92, кн. 3).

[13] *Потом — «Сестра моя жизнь»* — дарств. надпись Пастернака опубл. в «Лит. насл.», т. 93.

[14] *Малая, 63* — адрес Гумилева и А. А. в Царском Селе.

[15] *Вопрос о Давиде* — Давид Жак Луи (1748—1825), французский живописец.

[16] *Статья Блока «Без божества, без вдохновенья* (Цех акмеистов)» — опубл. в кн. «Современная литература» (Л., 1925).

[17] *Зоргенфрей Вильгельм Александрович* (1882—1938) — поэт, переводчик.

[18] *Иванов-Разумник Разумник Васильевич* (1879—1945) — историк русской литературы и общественной мысли, критик, публицист.

[19] *«Письма о русской поэзии»* — составленная Г. Ивановым книга критических статей Н. С. Гумилева.

[20] *9 февраля* [1926 г.] *...извещение о смерти Ларисы Рейснер.*— Л. Рейснер (род. в 1895 г.) умерла 9 февраля, газетное сообщение не могло быть раньше 10-го.

[21] *Рассказывала... о ее выступлении...*— А. А. выступала вместе с Рейснер весной 1916 г. на вечере женщин-поэтесс.

[22] *...статья Мандельштама «Жак родился и умер»* — опубл. в «Красной газете» 3 июля 1926 г. (веч. вып.), посвящена вопросам художественного перевода.

[23] *...двухтомное собрание стихотворений А. А...*— Издание не состоялось.

[24] *Отто Клемперер* (1885—1973) — немецкий композитор и дирижер.

[25] *Николай Николаевич Никитин* (1895—1963) — писатель.

[26] *Вениамин Павлович Белкин* (1884—1951) — художник, автор портрета А. А.

[27] *Рубен Абгарович Орбели* (1880—1943) — профессор, занимался подводной археологией.

[28] *Сергей Владимирович фон Штейн* (1882—1955) — муж старшей сестры А. А. Инны, филолог, адресат юношеских писем А. А. (см. публ. Э. Г. Герштейн: «Новый мир», 1986, № 9)

[29] *Пунина* — Анна Евгеньевна Аренс, первая жена Н. Н. Пунина, врач.

[30] *Елена Яковлевна Данько* (1898—1942) — прозаик, драматург, детский писатель, искусствовед.

[31] *Ольга Михайловна Артамонова* — актриса и драматург, умерла 3 октября 1928 г.

[32] *Лихачев Николай Петрович* (1862—1936) — академик, историк.

Л. В. Горнунг. Записки об Анне Ахматовой

Печ. по рукописи. Частично опубл. в журн. «Лит. обозрение», 1989, № 6.

Лев Владимирович Горнунг (р. 1902) — поэт, переводчик, фотограф, коллекционер. Записки продиктованы им в 1981 г. на основе отрывочных записей, которые он вел с 1920-х гг.

[1] *Александр Ильич Ромм* (1898—1943) — поэт, литературовед, брат режиссера М. Ромма.

[2] *София Яковлевна Парнок* (1885—1933) — поэтесса, познакомилась с А. А. не позднее 1922 г.

[3] *Надежда Александровна Павлович* (1895—1980) — писательница.

[4] *...с Голлербахом он не встречается... не может простить его...* За два дня до сообщения о расстреле Н. Гумилева в газ. «Жизнь искусства» (30 августа 1921 г.) появилась издевательская рецензия Э. Голлербаха на сб. Гумилева «Шатер» под названием «Путеводитель по Африке» (ср.: Голлербах Э. Из воспоминаний о Н. Гумилеве.— «Новая русская книга», 1922, № 7).

[5] *Лена* — Е. Н. Гумилева (1919—1942), дочь Н. С. Гумилева от второго брака.

[6] *Маяковский, Пастернак и Асеев решили устроить... вечер.*— Вечер не состоялся. См.: Лит. насл., т. 93, с. 652.

[7] *Сергей Абрамович Ауслендер* (1886—1937?) — критик, прозаик, его восп., записанные Горнунгом, в том числе о встречах с А. А. в 1910-х гг., см.: Панорама искусств. 11. М., 1988.

[8] *Петр Семенович Коган* (1872—1932) — критик, с 1921 г. был президентом Российской (затем Государственной) Академии художественных наук (РАХН и затем соответственно ГАХН).

[9] *...художники Кардовские* — Дмитрий Николаевич (1866—1943) и его жена Ольга Людвиговна Делла-Вос-Кардовская (1877—1952), автор портретов Гумилева и А. А.; их восп., записанные Горнунгом, см.: Панорама искусств. 11. М., 1988.

[10] *...стихотворение писала не она, а Гумилев...*— Стих. «Мне на Ваших картинах ярких...» было дважды опубл. как стих. А. А.: Панорама искусств, 7. М., 1984, с. 331; Памятники культуры. Новые открытия. Ежегодник 1986. Л., 1987, с. 126.

[11] *...поэт, граф Василий Комаровский...*— Василию Алексеевичу Комаровскому (1881—1914) посвящено стихотворение А. А. «Ответ» («Какие странные слова...» (1914).

[12] *Юрий Никандрович Верховский* (1878—1956) — поэт.

[13] *Иван Алексеевич Новиков* (1877—1959) — прозаик, поэт, драматург.

[14] *Андрей Владимирович Звенигородский* (1878—1961) — поэт, литературовед, друживший с Мандельштамами в 1930-х гг.

[15] *Ахматова ...надеется... помочь Осипу Мандельштаму.*— Мандельштам был арестован 13 мая 1934 г.

[16] *...снова она заговорила об Осипе Мандельштаме...*— Мандельштам находился в это время в ссылке в Воронеже.

[17] *...передала его в очень надежные руки.*— Подробно о судьбе архива Гумилева и Мандельштама, переданного С. Б. Рудакову, см.: Герштейн Э. Г. Мандельштам в Воронеже.— «Подъем», 1988, № 6.

[18] *Александр Сергеевич Кочетков* (1900—1956) — поэт, о его встречах с А. А. см. также в восп. С. Шервинского в наст. изд.

[19] *Вера Александровна Меркурьева* (1876—1942) — поэтесса.

[20] *...готовился новый сборник ее стихотворений.*— Книга А. А. «Избранные стихи». М., «Правда», 1946 (Б-ка «Огонек», № 23). Практически весь тираж был уничтожен, подаренный Тарасенкову экземпляр до последнего времени находился в Спецхране Библиотеки им. В. И. Ленина.

[21] *Анатолий Кузьмич Тарасенков* (1909—1956) — критик, коллекционер изданий русской поэзии XX века. Позже писал о «лишенной исторической перспективы лирике Ахматовой» («Лит. газета», 1947, 2 августа) и нежелании А. А. «объяснить самобытную природу пушкинской сказки» в работе «Последняя сказка Пушкина» («Знамя», 1949, № 10, с. 173).

[22] *...сестры Гиппиус* — сестры поэтессы Зинаиды Гиппиус, жены Д. С. Мережковского,— скульптор Наталия Николаевна (1880—1963) и художница Татьяна Николаевна (1877—1957) Гиппиус.

[23] *...после событий 1 декабря 1934 года были высланы..* — С янв.

1935 г. «в ответ на убийство Кирова» проводилась высылка дворян из Ленинграда.

[24] *С прощальным словом выступили Лев Озеров, Арсений Тарковский и кто-то еще.*— Ефим Григорьевич Эткинд (р. 1918; переводчик, литературовед, автор вступления к кн. В. М. Жирмунского «Творчество Анны Ахматовой»; проф. Парижского университета — с 1974 г. живет во Франции) и Виктор Ефимович Ардов (1900—1976) — см. о нем в восп. Э. Г. Герштейн. Беседы с Н. А. Ольшевской-Ардовой.

Всеволод Петров. Фонтанный Дом

Печ. (с сокращениями) по журн. «Наше наследие» (1988, № 4).

Всеволод Николаевич Петров (1912—1978) — искусствовед, см. также его восп. о художнике Н. А. Тырсе и М. А. Кузмине в кн. «Панорама искусств. 3». М., 1980.

В. А. Мануйлов. Подарок судьбы

Печ. по газ. «Ленинградский университет», 1979, 22 июня, с авторскими дополнениями.

Виктор Андроникович Мануйлов (1903—1988) — критик, литературовед, исследователь творчества Лермонтова.

[1] *...под руководством Вячеслава Иванова...*— Вячеслав Иванов был профессором Бакинского университета с ноября 1920-го до мая 1924 г.

Е. К. Гальперина-Осмеркина. Встречи с Ахматовой

Печатается по рукописи.

Елена Константиновна Гальперина-Осмеркина (1903—1987) — мастер художественного слова.

В. Ф. Румянцева. Из письма к М. Н. Иконниковой

Печ. по рукописи (ОР ГБЛ). Опубл. в журн. «Лит. обозрение», 1989, № 5.

Вера Федоровна Румянцева (1900—1971) — сотрудник Третьяковской галереи, библиограф; их отношения с А. А. продолжались до 1960-х гг., несколько раз А. А. останавливалась у Румянцевой в Москве.

[1] *Сергей Михайлович Бонди* (1891—1983) — пушкинист, с начала 1930-х гг. неоднократно встречался с А. А., сохранились письма А. А. к нему.

[2] *...была я в Эрмитаже, там одно огорчение.*— О продаже за границу «Мадонны Альба» Рафаэля, «Триптиха» Перуджино, «Венеры с зеркалом» Тициана и многих других картин из собрания Эрмитажа см.: Николаев А. Грабеж – «Смена», 1988, № 18—19.

Э. Г. Герштейн. Тридцатые годы

Печ. по рукописи.

Эмма Григорьевна Герштейн — литературовед, мемуарист, исследователь и публикатор статей А. А. о Пушкине.

[1] *Николай Николаевич* — Пунин.

[2] *Надя* — Надежда Яковлевна Мандельштам (1899—1980) — жена О. Мандельштама, мемуаристка.

[3] *«Вы — поэт местного царскосельского значения»* — второй эпиграф к стих. «Царскосельская ода» (вписан от руки вместе с эпиграфом из Гумилева в оттиск из журн. «Новый мир», 1963, № 1 — ЦГАЛИ; см. коммент. в кн.: Ахматова А. Стихотворения и поэмы. Л., 1976, с. 492).

[4] *Борис Сергеевич Кузин* (1903—1973) — биолог, друг Мандельштамов; см. его восп.— Вопр. истории естествознания и техники, 1987, № 3.

[5] *24 июня.*— День рождения А. А. «праздновала, как правило, 23-го и 24-го, прибавляя к дате рождения по старому стилю то 12 дней, поскольку оно случилось в прошлом веке, то 13 — поскольку отмечалось в тот же день уже в новом» (Найман А. Рассказы о Анне Ахматовой. М., 1989, с. 54).

[6] *«Их арестовали».*— Н. Н. Пунин и Л. Н. Гумилев были арестованы 27 октября 1935 г. и освобождены 3 ноября.

Э. Г. Герштейн. Беседы с Н. А. Ольшевской-Ардовой

Печ. по рукописи. Опубл. в журн. «Лит. обозрение», 1989, № 5.

[1] *...письмо из Самарканда* — письмо Н. Н. Пунина к А. А. от 14 апреля 1942 г., опубл. в журн. «Наше наследие», 1988, № 4.

[2] *Татьяна Семеновна Айзенман* — искусствовед.

[3] *Толя написал для «*Moscow News*» мой портрет.*— Статья А. Г. Наймана не была напечатана.

С. Б. Рудаков. В Воронеж — в гости к Осипу Мандельштаму

Печ. по рукописи, подготовленной Э. Г. Герштейн (об отношении А. А. к С. Б. Рудакову см.: Герштейн Э. Г. Мандельштам в Воронеже... (По письмам С. Б. Рудакова).— «Подъем», 1988, № 6—10).

С. В. Шервинский. Анна Ахматова в ракурсе быта

Печ. по кн.: Шервинский С. В. От знакомства к родству. Стихи, переводы, очерки, воспоминания. Ереван, 1986, с. 244—262.

Сергей Васильевич Шервинский (р. 1892) — поэт, переводчик.

[1] *До этого мы были знакомы...*— В 1924 г. Шервинский читал вместо заболевшего Л. П. Гроссмана его вступительное слово на вечере А. А. в Москве.

[2] *«Коломенская аномалия».*— В 1934 г. отцу Шервинского, крупному врачу В. Д. Шервинскому (1850—1941), было предоставлено в качестве дачи его бывшее имение Старки под Коломной.

[3] *...отбирая книги для посылки сыну, трудившемуся тогда в условиях ссылки над своим обширным трудом о гуннах...*— Неточность мемуариста, в 1936 г., во время описываемых событий, Л. Н. Гумилев был на свободе. Начал он свою работу о гуннах действительно в лагере, но уже в 1950-х гг., книги для работы ему стало возможным посылать после смерти Сталина (1953), и эти книги он заказывал для себя сам.

[4] *...Анна Андреевна гостила в Старках ... в 1938 году...*— Описанные события происходили летом 1936 г., весь 1938 г.— после ареста Л. Н. Гумилева в марте — А. А. провела в Ленинграде в хлопотах о сыне.

[5] *Она любила «запечатлевать» себя.*— Ср. выше в «Записках» Л. В. Горнунга, с какой неохотой А. А. дала согласие фотографироваться.

[6] *Анна Андреевна и Борис Леонидович были с юности друзьями.* — Знакомство А. А. и Пастернака произошло, очевидно, в 1922 г.

[7] *Ее временное гнездо было тогда в Сокольниках...*— В октябре 1965 г. А. А. останавливалась в Сокольниках у Л. Д. Большинцовой.

[8] *Она подготовилась к своей речи о Данте...*— Текст выступления А. А. на торжественном заседании, посвященном 700-летию со дня рождения Данте, 19 октября 1965 г. в Большом театре опубл. в кн.: Ахматова А. Соч. в двух т., т. 2.

Н. Я. Мандельштам. Из воспоминаний

Печ. по рукописи.

Надежда Яковлевна Мандельштам (1899—1980) — жена Осипа Мандельштама, мемуаристка.

[1] *Таточка* — Екатерина Константиновна Лившиц (1902—1987), балерина, жена поэта Бенедикта Лившица.

[2] *Шаламов Варлам Тихонович* (1907—1982) — писатель, больше двадцати лет проведший в заключении (1929—1932, 1937—1956).

[3] *...знаменитый съезд* — XX съезд КПСС (1956).

[4] *...мои «листки»...* — Видимо, речь идет о воспоминаниях А. А. о Мандельштаме — «Листках из дневника»; по списку, принадлежавшему Н. Я. Мандельштам, опубликованы в журн. «Юность», 1987, № 9.

[5] *...один видный писатель очень точно сказал про дело Даниэля и Синявского...*— Андрей Донатович Синявский (р. 1925) и Юлий Маркович Даниэль (1925—1988) были арестованы в июле 1965-го и осуждены 12 февраля 1966 г. на 7 и 5 лет лагерей строгого режима за печатание своих произведений за границей. С нападками на них выступил на XXIII съезде КПСС (1966) Михаил Шолохов.

[6] *Какие-то женщины устроили... скандал на партийном собрании в Союзе.*— На собрании в Союзе писателей, посвященном итогам литературного года, вопрос о том, что не дали проститься с А. А., подняла Тамара Владимировна Иванова, ее поддержала Раиса Давыдовна Орлова, а отвечал им Сергей Михалков (см. восп. Р. Орловой и Л. Копелева об А. А.— «Лит. обозрение», 1989, № 5).

[7] *...Тынянов успел предсказать конец стихов...*— Имеется в виду статья Ю. Н. Тынянова «Промежуток» (1924) (см.: Тынянов Ю. Н. Поэтика. История литературы. Кино. М., 1977).

[8] *Евгений Петрович* — брат писателя Валентина Катаева Евгений (Петров) (1903—1942), писатель.

[9] *Усова Алиса Гуговна* (1895—1951) — жена поэта Дмитрия Усова.

[10] *Михаил Давидович Вольпин* (1902—1988) — литератор.

[11] *Николай Робертович Эрдман* (1902—1970) — драматург; они вместе с Вольпиным приехали в Ташкент в составе ансамбля НКВД и пришли к А. А. Несмотря на то что они носили форму НКВД, оба они сидели в лагере в 1930-х и не были еще реабилитированы. А. А. читала им в Ташкенте «Реквием» (см.: Найман А. Г. Рассказы о Анне Ахматовой. М., 1989, с. 95).

[12] *...к моему брату...* — Хазин Евгений Яковлевич (1893—1974), литератор.

[13] *...постановления ведь еще никто не отменил...* — Постановление ЦК ВКП(б) от 14 августа 1946 г. о журналах «Звезда» и «Ленинград» отменено 20 октября 1988 г.

[14] *Академик толстенького типа нес несусветную чушь про золотого петушка, от которого А. А. давно отказалась.* — А. А. на протяжении всей жизни продолжала дорабатывать свою первую статью по пушкинистике «Последняя сказка Пушкина» (впервые опубл. в журн. «Звезда» в 1933 г.). А. А. многим пересказывала восхищенный отзыв О. Мандельштама: «шахматная партия», характеризующий тщательность построения системы доказательств.

[15] *Кома* — Вячеслав Всеволодович Иванов.

[16] *Томашевская* — Зоя Борисовна Томашевская, архитектор.

[17] *...какой-то Михалков* — С. В. Михалков, в то время секретарь правления СП РСФСР, произносил слово у могилы А. А.

[18] *Харджиев Николай Иванович* (р. 1903) — литературовед, текстолог, друг Мандельштама, многолетний друг А. А.; письма А. А. к нему опубл. в журн. «Вопросы литературы» (1989, № 6).

[19] *...повел меня к ней на Казанскую или в квартиру на Неву...* — А. А. в 1922—1924 гг. жила на Фонтанке (д. 18 и д. 2) и на Казанской (д. 3) — см. в наст. изд. в записках К. И. Чуковского. В «Листках из дневника» А. А. пишет: «Летом 1924 года О. Э. привел ко мне (Фонтанка, 2) свою молодую жену».

[20] *...дважды напал на А. А. в печати...* — См. коммент. 2 к восп. Л. Я. Гинзбург.

[21] *Аля* — Ариадна Сергеевна Эфрон (1912—1975), дочь М. И. Цветаевой.

[22] *Нина Пушкарская* — ташкентская знакомая А. А., поэтесса, автор воспоминаний об А. А. «Звездный кров» («Звезда Востока», 1986, № 7—8).

[23] *Ольга Ваксель* (1903—1932) — ей посвящены стихотворения Мандельштама «Я буду метаться по табору улицы темной...», «Жизнь упала как зарница...» и ее памяти — «Возможна ли женщине мертвой хвала...».

[24] *Т.* — Татлин Владимир Евграфович (1885—1953), художник.

[25] *Наталия Евгеньевна Штемпель* (1908—1988) — ее восп. о Мандельштаме опубл. в журн. «Новый мир», 1987, № 10.

[26] *Юлия Марковна Живова* — редактор Гослитиздата, близко познакомилась с А. А. в 1950-х гг.

[27] *Ника* — Ника Николаевна Глен — см. ее воспоминания в наст. изд.

[28] *Рожанский Иван Дмитриевич* (р. 1913) — физик, историк философии, переводчик. В 1960-х сделал магнитофонные записи чтения А. А. и ее разговоров о Пушкине.

[29] *А. А. подарила меня необычайной любовью О. М.*— Имеется в виду фраза из «Листков из дневника»: «Осип любил Надю невероятно, неправдоподобно».

Д. Н. Журавлев. Анна Ахматова

Печ. по кн.: Журавлев Д. Н. Жизнь. Искусство. Встречи. М., 1985.

Дмитрий Николаевич Журавлев (р. 1900) — артист, мастер художественного слова.

В. Г. Адмони. Знакомство и дружба

Печ. по рукописи. Опубл. в кн.: Ленинградская панорама. Л., 1988.

Владимир Григорьевич Адмони (р. 1909) — филолог, переводчик, поэт, критик.

[1] *Наум Яковлевич Берковский* (1901—1972) — критик, литературовед; часто встречался с А. А. в последние годы ее жизни.

[2] *Константин Петрович Богатырев* (1925—1976) — поэт-переводчик; «За чудесные переводы Рильке» А. А. надписала ему в 1961 г. свою книгу «Стихотворения» (1958).

Ольга Берггольц. Из книги «Говорит Ленинград»

Печ. по кн.: Берггольц О. Ф. Говорит Ленинград. М., 1964.

Ольга Федоровна Берггольц (1910—1975) — поэтесса.

Маргарита Алигер. В последний раз

Печ. по кн.: Алигер Маргарита. Тропинка во ржи. М., 1980 (с сокращениями). Впервые публ в журн «Москва», 1974, № 12.

Маргарита Иосифовна Алигер — поэтесса.

[1] *«Это подарок Марины»...*— О встрече А. А. с М. И. Цветаевой см. в восп. Н. Ильиной в наст. изд., с. 587—588.

[2] *Елена Сергеевна Булгакова* (1893—1970) — А. А. познакомилась с Булгаковыми летом 1933 г.

[3] *...слушала «Мастера и Маргариту» Булгакова...*— Роман Булгакова читался в рукописи.

[4] *Он просил отправить его на фронт, и просьбу его удовлетворили.*— Л. Н. Гумилев отбывал ссылку в Туруханском крае.

[5] *Александр Александрович Крон* (1909—1983) — А. А. познакомилась с ним в 1944 г.

[6] *Постановление это, в сущности уже давно отмененное...*— Отменено 20 октября 1988 г.

[7] *...одного московского альманаха...*— «Лит. Москва»; вышел 1-й том (1956); 2-й том был запрещен.

[8] *Юлия Моисеевна Нейман* — поэтесса, переводчица, подруга М. С. Петровых.

[9] *Габриэлла Мистраль* (1889—1957) — А. А. упоминает ее в отрывке из незаконченных воспоминаний: «Год Эйфелевой башни, Крейцеровой сонаты, рождения Чаплина и Габриэллы Мистраль был и годом моего рождения».— См.: Жирмунский В. М. Творчество Анны Ахматовой. Л., 1973, с. 126.

[10] *...у старой приятельницы в Сокольниках.*— У Л. Д. Большинцовой-Стенич.

Светлана Сомова. Анна Ахматова в Ташкенте

Печ. по журн. «Москва», 1984, № 3 (с сокращениями).

Светлана Александровна Сомова — поэтесса, переводчица.

[1] *Александр Николаевич Тихонов* (Серебров) (1880—1956) — писатель, в 20-е годы зав. издательством «Всемирная литература»

Я. З. Черняк. Из ташкентского дневника

Печ. по кн.: Перспектива-87. Советская литература сегодня. М., 1988.

Яков Захарович Черняк (1898—1955) — критик, историк литературы.

[1] *Владимир Михайлович Волькенштейн* (1883—1974) — драматург и театральный деятель.

[2] *...Лиля Юрьевна показывала ей письма Володи, переполненные ее стихами.*— Письма Маяковского к Л. Ю. Брик опубл. в «Лит. наследстве», т. 65. М., 1958.

[3] *Уехала в Чистополь — к Лиде Чуковской.*— См.: Чуковская Л. т. 1, с. 120.

Г. Л. Козловская. «Мангалочий дворик...»

Печ. по авторской рукописи.

Галина Лонгиновна Козловская — либреттист.

[1] *Алексей Федорович Козловский* (1905—1977) — композитор и дирижер С 1936 г находился в ссылке в Ташкенте.

[2] *Александр Николаевич Волков* (1886—1957) — художник, жил в Ташкенте.

[3] *Дебюсси Клод Ашиль* (1862—1918).— В декабре 1913 г. выступал в Москве и в Петербурге по приглашению С. А. Кусевицкого (1874—1951) - дирижера, жившего с 1920 г. за границей.

[4] *Лидия Иванова* (1903—1924) — балерина Мариинского театра, выступавшая с весны 1921 г. до 1924 г.

[5] *не аннулировав официально возведенную напраслину...*— См. коммент. 6 к восп. М. Алигер.

[6] *Константин Константинович Романов* — великий князь

А. Г. Тышлер. Я помню Анну Ахматову

Печ. по сб. «Панорама искусств, 1977». М., 1978, с. 282—285.

Тышлер Александр Григорьевич (1898—1980) — театральный художник, живописец, график. В списке портретов, составленном рукой А. А., значится: «Ал. Тышлер. Серия рисунков. Ташкент. 1943. ул. К. Маркса, 7 (у Л. Гинзбург, Р. Зеленой, Ф. Раневской...)». В восп. о Модильяни А. А. пишет: «Потом я встретила художника — Александро Тышлера, который так же, как Модильяни, любил и понимал стихи. Это такая редкость среди художников!»

[1] *Алексей Васильевич Западов* (р. 1907) — литературовед, критик.

Эдуард Бабаев. «На улице Жуковской...»

Печ. по журн. «Лит. обозрение», 1985, № 7, с. 99—104.

Эдуард Григорьевич Бабаев (р. 1927) — поэт, писатель, литературовед. (См. также его восп. об А. А.: «Новый мир», 1987, № 1, с. 153—166).

[1] *Нина Ивановна Пушкарская* (Татаринова) — см. о ней в прим. 22 к воспоминаниям Н. Я. Мандельштам.

[2] *...статья Корнея Чуковского* — «Читая Ахматову».— «Москва», 1964, № 5.

[3] *Георгий Аркадьевич Шенгели* (1894—1956) — поэт, переводчик, теоретик стиха. Познакомился с А. А. в 1924 г. А. А. собиралась посвятить ему главу в автобиографии. См.: Встречи с прошлым. М., 1987. Вып. 3, с. 408—409.

[4] *Черубина де Габриак* — псевдоним Елизаветы Васильевны Дмитриевой-Васильевой (1886—1928); выпустила сб. «Домик под грушевым деревом». Ташкент, 1928. (См. о ней: «Новый мир», 1988, № 12.)

[5] *Варвара Викторовна Шкловская* — дочь В. Б. Шкловского. В 30—50-е годы А. А. была дружна с ее матерью, Василисой Георгиевной.

А. В. Любимова. Из дневника

Печ. по автографу. Дневник хранится в ГЛМ, ф. 40. Частично опубл. в журн. «Наука и жизнь», 1978, № 2, с. 94—96,— «Как я писала Ахматову (Из заметок художницы)».

Антонина Васильевна Любимова (1899—1983) — художница.

[1] *Леонид Ильич Борисов* (1897—1972) — писатель. См. о нем: Чуковская Л. Записки об Анне Ахматовой. IMCA-PRESS, Paris,1980, т. 2. с. 366, 599.

[2] *«Возвращение в Ленинград».*— Эта проза не сохранилась (См. об этом в восп. И. Н. Пуниной, с. 470).

Читала мне Бодлера по-французски.. «Гармонию вечера» и *«Художники»,*— Стих Бодлера называется «Маяки».

[4] *Владимир Николаевич Яхонтов* (1899—1945) — актер, чтец (см. о нем очерк О. Мандельштама «Яхонтов».— В кн.: Слово и культура. М., 1987, с. 233).

[5] *...дала свою рукопись для готовящегося издания ее книги...*— Эта книга не вышла, набор был рассыпан (см. об этом в восп. Т. Вечесловой).

[6] *Наталья Леонидовна Дилакторская* — приятельница А. А., переписавшая в 1945—1946 гг. собр. стихотворений А. А. под ее диктовку или с автографов.

[7] *Отсюда едут пять поэтов...*— Об этой поездке см. в восп. М. А. Дудина об А. А.: «Книжное обозрение», 1987, № 18 (1 мая).

[8] *«Дыня»* — имеется в виду стих. «Когда лежит луна ломтем чарджуйской дыни...».

[9] *Николай Андреевич Тырса* (1887—1942) — график и живописец; автор серии рисунков А. А., один из которых она поместила в сб. «Из шести книг». В списке своих изображений А. А. отметила: «Н. Тырса. Серия рисунков, 1927, Ленинград. Фонт Дом (у Лозинского, у вдовы, у Зильберштейна)».

[10] *Позировала Сарьяну...*— Портрет А. А. хранится в Гос. Литературном музее.

[11] *Софья Андреевна Толстая-Есенина* (1900—1957) — вдова Есенина, внучка Л. Н. Толстого. А. А. останавливалась у нее в Москве.

[12] ..*«в глубине четвертого двора»* — из стих. «Надпись на книге «Подорожник».

[13] *...«за панихидой по Настеньке Сологуб...»* — Анастасия Николаевна Чеботаревская (1876—1921) — писательница, обществ. деятельница, жена Ф. К. Сологуба. Об отношениях А. А. с ними см. «Ежегодник Рукописного Отд. Пушкинского Дома», 1976, с. 53—58.

[14] *...в газете прочла эту погань* — Постановление о журналах «Звезда» и «Ленинград» от 14 августа 1946 г.

Исайя Берлин. Из воспоминаний «Встречи с русскими писателями»

Печ. по тексту русского перевода (с сокращениями), опубликованному в журн. «Slavica Hierosolymitana», 1981, vol. V—VI.

Исайя Берлин, сэр (р. 1909) — проф. Оксфордского университета, философ, историк литературы, автор многих работ по русской литературе XIX века.

[1] *Морис Баура* (Maurice Cecil Bowra, p. 1898) - специалист и переводчик античной и русской поэзии. Автор книги «The Heritage of Symbolism» («Наследие символизма») и антологии «A book of Russian Verse» («Русская поэзия»). См. о нем: Чуковская Л., т. 2, с. 614.

[2] *Она... начала рассказывать о 1937—1938 годах...*— Ошибка: Л. Н. Гумилев и Н. Н. Пунин были арестованы в 1935 г. См. об этом в восп. Э. Герштейн, с. 256.

[3] *...(выражение, которое он не полностью выдумал).*— «Тут уже начинает складываться парадоксальный своей двойственностью (вернее — оксюморонностью) образ героини — не то «блудницы» с бурными страстями, не то нищей монахини, которая может вымолить у Бога прощенье».— См. Эйхенбаум Б. Анна Ахматова. В кн.: «О поэзии». Л., 1969, с. 136.

[4] *Ей долго пришлось просить, чтобы ей разрешили переводить письма Рубенса.*— Рубенс П. П. Письма. Перевод А. Ахматовой. Л., 1933.

[5] *Юзеф Чапский* (р. 1896) — живописец, литератор, автор воспоминаний «На бесчеловечной земле» (Париж, 1949, на польском яз.).

[6] *...ей вручили литературную премию Таормина.*— В 1964 г. См. об этом в восп. И. Н. Пуниной «Анна Ахматова на Сицилии».

[7] *...основные проблемы, о которых Пастернак когда-то хотел говорить со Сталиным.*— См. об этом «Листки из дневника» и «Новый мир», 1988, № 6 — «Материалы к творческой истории романа Б. Пастернака «Доктор Живаго», с. 205—248.

Т. М. Вечеслова. Об Анне Ахматовой

Печ. по кн.: «О том, что дорого». Л., 1984.

Татьяна Михайловна Вечеслова — балерина.

И. Н. Пунина. Сорок шестой год...

Печ. по авторской рукописи.

Ирина Николаевна Пунина — см. о ней с. 685.

[1] *Птица* — Наталья Васильевна Варбанец.

Вяч. Вс. Иванов. Беседы с Анной Ахматовой

Печ. по рукописи.

Вячеслав Всеволодович Иванов (р. 1928) — филолог.

[1] *Мой отец* — писатель Всеволод Вячеславович Иванов (1895—1963).

[2] *...он читал реквием Цветаевой* — стих. Пастернака «Памяти Марины Цветаевой».

[3] *Зинаида Николаевна Нейгауз* (1893—1966) — вторая жена Б. Пастернака.

[4] *Тюро-Данжен Франсуа* (1872—1944) — крупнейший французский ассириолог, основатель науки шумерологии.

[5] *...они жили в каком-то другом месте...*— на Тульской улице (ср. дарств. надпись Н. А. Ольшевской на кн. «Стихотворения», (1958): «в последний день нашей мирной тульской жизни с кактусятами. 30 дек. 1958».

[6] *А. А. Холодович* — редактор, автор предисловия и примечаний к сб. переводов А. А. и Н. И. Харджиева «Корейская классическая поэзия» (М., 1956; 2-е изд.— М., 1958).

[7] *«Такое выдумывал Кафка...»* — из стихотворения «Другие уводят любимых...».

[8] *Шток Исидор Владимирович* (1908—1980) — драматург.

[9] *...несколько стихотворений, написанных рукой Ахматовой и приклеенных вместо тех, которые ее не устраивали...*— По настоянию А. Суркова в книгу 1958 г. были включены стихотворения из цикла «Слава миру», который был написан в 1950 г. лишь в надежде на облегчение участи арестованного сына. В большинстве экземпляров, которые А. А. дарила, она заклеивала стих. «Песня мира» на с. 76, чаще всего на это место вклеивалось переписанное стих. «Музыка»

[10] *...стихотворение «2 ноября»* — из кн. «Путем зерна» (Пг., 1921), в нем описывается революционная Москва.

[11] *...воскрешение ахматовского «Реквиема».* — «Реквием» был опубликован в Мюнхене в конце 1963 г.

[12] *Рассказ о пьесе Ахматова начинала так...* — Речь идет о неоконченной пьесе А. А. «Энума Элиш».

[13] *...вспоминала о вечере у Сологуба в честь Вячеслава Иванова.* — Видимо, вечер состоялся в конце 1915 г. (см.: Блок А. Записные книжки. М., 1969, с. 280).

[14] *Ругала Андрея Синявского, чью статью прочитала в итальянском переводе.* — Ср. отзыв А. А. о статье Синявского «Раскованный голос» («Новый мир», 1964, № 6) в разговоре с Никитой Струве: «Он ⟨Синявский⟩ знал всю мою поэзию, но так и не понял, а вот Н. В. Недоброво знал только первые мои две книжки, а понял меня насквозь, ответил всем моим критикам, до Жданова включительно» (Струве Н. А. Восемь часов с Анной Ахматовой.— В кн.: Ахматова А. Соч., т. 2. Париж, 1976).

[15] *...обсуждала книгу Рива о русской поэзии.*

[16] *Ругает сочинение Поджоли о нашей литературе.* — Poggiolli Renato. The poets of Russia. 1890—1930. Cambridge, Massachussets, 1960.

[17] *Фрида Абрамовна Вигдорова* (1915—1965) — журналистка; ее стенограмма процесса над Иосифом Бродским (см. «Огонек», 1988, № 49) сыграла важную роль в формировании общественного протеста, приведшего в конце концов к освобождению поэта (ср. дарств. надпись А. А. ей на оттиске из журн. «Новый мир», 1960, № 1: «...на память о трудной зиме 1963—1964 гг и о том, что для нас всех незабвенно»).

[18] *Ольга Александровна Ладыженская* — математик, член-корр. АН СССР, сблизившаяся с А. А. в Ленинграде в 1950-х гг.

[19] *Но я не знал этих стихов...* — Речь идет о строках «Прошел как тень и тени не оставил...» из стих. А. А. «Учитель» (впервые — «Звезда», 1946, № 1).

[20] *Только что кончился суд над Синявским и Даниэлем.* — 12 февраля 1966 г. См. коммент. 5 к восп. Н. Я. Мандельштам.

Сильва Гитович. В Комарове

Печ. по авторской рукописи (1970).

Сильва Соломоновна Гитович (1913—1974) — жена поэта А. И. Гитовича.

[1] *Знаменитое собрание в Смольном, выступление Жданова* — состоялось 20 сентября 1946 г.; Постановление о журналах «Звезда» и «Ленинград» — 14 августа.

[2] *Все домашние, с легкой руки Н. Н. Пунина, называли Анну Андреевну Акумой...* — По другой версии, прозвище Акума дал Ахматовой В. К. Шилейко (ср. дарств. надпись на «Четках»: «Букану от Акумы». Шилейко Т. И.— Легенды, мифы и стихи.— «Новый мир», 1986, № 4, с. 210).

[3] *...новый писательский дом на Петроградской* — ул. Ленина, д. 34.

[4] *Лев Абрамович Плоткин* (1906—1978) — критик.

[5] *Юля* — Юлия Марковна Живова, редактор издательства «Худ. литература».

[6] *Ханна Вульфовна Горенко* — автор неизд. воспоминаний об А. А.

[7] *Адриан Владимирович Македонов* (р. 1909) — литературовед, автор неизд. предисловия к сб. стихотворений О. Мандельштама из серии «Библиотеки поэта».

Наталия Роскина. «Как будто прощаюсь снова...»

Печ. по авторской рукописи. См. также «Огонек», 1989, № 10.

Наталья Александровна Роскина (1928—1989) — литературовед.

[1] *Николай Леонтьевич Бродский* (1881—1951) — литературовед, пушкинист.

[2] *Наум Яковлевич Берковский* — см. коммент. 1 к воспоминаниям В. Г. Адмони.

[3] *Андрей Яковлевич Сергеев* (р. 1933) — переводчик английской и американской поэзии.

[4] *Шенгели* — А. А. останавливалась у Нины Леонтьевны Манухиной-Шенгели в 50—60-е гг. на проспекте Мира.

[5] *Бродского она очень любила...* — И. Бродский посвятил А. А. стихи: «Анне Ахматовой», «Сретенье», а также эссе «Keening Muse» («Муза плача») в кн. «Less than one Selected essays» («Меньше, чем единица». Избранные эссе), 1986.

[6] *Антонина Петровна Оксман* — жена Ю. Г. Оксмана.

[7] *Владимир Васильевич Медведев* (р. 1931) — художник, оформлявший «Бег времени».

[8] *Кома Иванов* — Вячеслав Всеволодович Иванов.

Н. В. Реформатская. С Ахматовой в Музее Маяковского

Печ. с дополнениями по изд. «День поэзии, 1973». М., 1973, с. 169—171.

Надежда Васильевна Реформатская (1901—1985) — литературовед, библиограф.

[1] *Вероника Витольдовна Полонская* (р. 1908) — актриса. Ее восп. о Маяковском впервые опубл. в «Вопросах литературы», 1988, № 3, с. 144—199. В планах автобиографической книги А. А. включила главу о В. В. Полонской — «Невинная жертва».

[2] *Александра Александровна Экстер* (1882—1949) — А. А. упоминает о ней в «Воспоминаниях о Модильяни»; к ней обращено стих. А. А. «Старый портрет».

Э. Г. Герштейн. В Замоскворечье

Печ. по журн. «Лит. обозрение», 1985, № 7 с дополн.

Алексей Баталов. Рядом с Ахматовой

Печ. (с сокращениями) по кн.: Баталов А. Судьба и ремесло. М., 1984, с. 28—51.

Алексей Владимирович Баталов (р. 1929) — киноактер, портрет А. А. его работы опубл. на обложке кн. «День поэзии. 1989» (М., 1989).

[1] *Александр Николаевич Вертинский* (1889—1957) — вернулся из эмиграции в 1944 г.

Наталия Ильина. Анна Ахматова, какой я ее видела

Печ. (с сокращениями) по кн.: Ильина Н. Дороги. Автобиографическая проза. М., 1983. Отрывок из восп. Н. Ильиной см. также: «Огонек», 1987, № 3.

Наталия Иосифовна Ильина — прозаик.

[1] *Александр Александрович Реформатский* (1900—1978) — лингвист.

[2] *«Это мои стихи из сожженной тетради...»* — Стихотворение «Кого когда-то называли люди...» (1945) было восстановлено. См. о нем: Чуковская Л., т. 2, с. 131—132.

[3] *Татьяна Семеновна Айзенман* — см. коммент. 2 к воспоминаниям Э. Г. Герштейн «Беседы с Н. А. Ардовой-Ольшевской».

[4] *«...И тут же он перепутал из Библии...»* — См. об этом в восп. А. Наймана.— «Новый мир», 1989, № 1, с. 183.

[5] *...отклик в газете «Новое время» — пародия Буренина...*— «Новое время», 1911, 29 апреля.— См.: Буренин В. П.. Собр. соч., т. 4. Петроград, 1916.

[6] *Ариадна Сергеевна Эфрон* (1912—1975) — художница, переводчица, автор восп. о Марине Цветаевой («Звезда», 1973, № 3; 1975, № 6).

Лев Озеров. Разрозненные записи

Печ. по авторской рукописи.

Лев Адольфович Озеров (р. 1914) — поэт, переводчик, литературовед, автор статей о творчестве А. А. См. его книги: «Работа поэта». М., 1963; «Необходимость прекрасного». М., 1983.

[1] *Леонид Николаевич Рахманов* (1906—1962) — поэт, драматург, был близок к Есенину.

[2] *Вечер был многолюдный...*— Состоялся 30 мая 1964 г.

[3] *Как известно, эти воспоминания написаны в октябре 1965 года для передачи Ленинградской студии телевидения.*— Передача состоялась 12 октября 1965 г.

[4] *...извлечены из книги Эйхенбаума (1923)* — «Анна Ахматова. Опыт анализа» (ср. с восп. И. Берлина).

[5] *Дмитрий Петрович Святополк-Мирский* (1890—1939) — лит. критик, автор «Истории русской литературы» (на англ. яз), с 1922-го по 1932 г. читал курс по русской литературе в Лондонском университете. Вернулся в СССР в 1932 г., незаконно репрессирован, погиб в лагере.

[6] *Дмитрий Николаевич Семеновский* (1894—1960) — см. о нем: Блок А. О Дмитрии Семеновском. Собр. соч., т. 6. М.— Л., 1962.

[7] *Наконец вышла книга...*— Стихотворения. М., 1958.

[8] *Екатерина Алексеевна Фурцева* — министр культуры.

[9] *Даже такой человек, как Тынянов, говорил о шепотной Ахматовой.* — См.: Тынянов Ю. Н. Поэтика. История литературы. Кино. М., 1977, с. 174 («Промежуток»).

[11] *Ефим Григорьевич Эткинд* (р. 1918) — см. о нем коммент. 24 к восп. Л. В. Горнунга.

И г н. И в а н о в с к и й. Анна Ахматова

Печ. по авторской рукописи. Частично опубл. в журн. «Север», 1969, № 6, с 113—117.

Игнатий Михайлович Ивановский (р. 1932) — переводчик европейской поэзии.

[1] *Письмо от Марины* — см. стих. «Комаровские наброски»: «Темная. свежая ветвь бузины.../Это — письмо от Марины».

Н и к а Г л е н. Вокруг старых записей

Печ. по авторской рукописи.

Ника Николаевна Глен — переводчица, редактор, секретарь комиссии по лит. наследству Анны Ахматовой.

[1] *...книга болгарской поэтессы Элисаветы Багряны* — «Сердце человеческое». М., 1959; А. А. перевела стихи: «Зов», «Виденье», «Расплата», «Вечная», «Судьба», «Забытье», «Безумие», «Не то мое горе», «Сигнал», «Книга».

[2] *...я им дала четыре стихотворения...* — Опубл. два: «Летний сонет», «Музыка».

[3] *У Марины Пастернак получился, Маяковский — не получился.* — Речь идет о ст. М. Цветаевой «Эпос и лирика современной России. Владимир Маяковский и Борис Пастернак». Собр. соч. в двух томах, т. 2. М., 1980, с. 399—423.

[4] *Работала над воспоминаниями о Мандельштаме...* — см. «Вопросы литературы», 1989, № 2.

[5] *Лев Зиновьевич Копелев* (р. 1912) — германист, переводчик, писатель. С 1980 г. живет в ФРГ.

Ю. Г. О к с м а н. Из дневника, которого я не веду

Печ. по авторской рукописи (ЦГАЛИ).

Юлиан Григорьевич Оксман (1895—1970) — историк литературы, пушкинист. Был знаком с А. А. с 20-х гг. См. о нем: Ч у к о в с к а я Л., т. 2, с. 553.

[1] *...в 1949 г. после вторичного ареста Левы.* — В 1949 г. Л. Н. Гумилев был арестован в третий раз.

[2] *Ошибка идет еще от статьи В. М. Жирмунского...* — «Преодолевшие символизм». — «Русская мысль», 1916, № 12.

[3] *...статью о дуэли и смерти Пушкина...* — См.: А х м а т о в а А. о Пушкине. Статьи и заметки. Л., 1977.

[4] *Борис Васильевич Казанский* (1889—1962) — филолог, пушкинист. А. А. дружила с его дочерью Татьяной Борисовной Казанской. (Взяла эпиграфом к «Седьмой книге» строчки из стих. Т. Б. Казанской.)

[5] *«И упало каменное слово...»* — стих. относится к аресту Л. Н. Гумилева.

[6] *...повесть Солженицына* — «Один день Ивана Денисовича». — «Новый мир», 1962, № 11.

[7] *Николай Васильевич Лесючевский* (1908—1978) — председатель правления издательства «Сов. писатель». См.: Ч у к о в с к а я Л., т. 2, с. 559.

[8] *У А. А. был в гостях недавно Солженицын.* — См. об этом же в восп. Р. Я.

Райт — «Лит. Армения», 1966, № 10, с. 61, и Никиты Струве: «Восемь часов с Анной Ахматовой» — в кн.: Анна Ахматова, т. 2, с. 343.

[9] *Предстоящая поездка ее волнует...* — Речь идет о поездке А. А. на Сицилию.

[10] *...занята трагедией в стихах.* — Речь идет о трагедии «Энума Элиш».

[11] *Оказывается, Берлин — референт Черчилля в то время..* — Ошибка: см. восп. И. Берлина в наст. изд.

[12] *...англичанке, которая пишет о ней книгу.* — Речь идет об Аманде Хейт. См. коммент. 1 к восп. Ю. П. Анненкова.

[13] *Анна Петровна Бунина* (1774—1829) — тетка деда А. А. по материнской линии. Его восп. были опубл. в журн. «Русская старина», 1878, т. 22; 1879, т. 24.

Владимир Рецептер. «Это для тебя на всю жизнь...»

(А. Ахматова и «Шекспировский вопрос»)

Печ. по журн. «Вопр. литературы», 1987, № 3, с. 196—210.

Владимир Эммануилович Рецептер (р. 1935) — актер, поэт, очеркист. О теме Макбета у Ахматовой см. ст. Р. Д. Тименчика: «Литературное обозрение», 1989, № 5.

[1] *Запись из дневника П. Лукницкого* — см. «Вопр. литературы», 1978, № 2, с. 202.

И. Н. Пунина. Анна Ахматова на Сицилии

Печ. по авторской рукописи.

[1] *Джанкарло Вигорелли* — итальянский писатель, генеральный секретарь Европейского сообщества писателей. Письмо А. А. к Вигорелли см.: Ахматова Анна. Соч., т. 2, с. 307.

[2] *Григорий Самсонович Брейтбурд* (1921—1976) — секретарь советской секции Европейского сообщества писателей.

Аманда Хейт. Человек, а не легенда

Печ. по рукописи.

Аманда Хейт (1941—1989) — английская исследовательница, автор монографии Akhmatova: A. Poetic Pilgrimadge» (Oxford, 1976).

А. И. Кондратович. Твардовский и Ахматова

Печ. по кн.: Кондратович А. Ровесник любому поколению. М., 1984, с. 262—269.

Алексей Иванович Кондратович (1920—1984) — литературовед, критик.

[1] ...антология Ежова и Шамшурина — «Русская поэзия XX века. Антология русской лирики от символистов до наших дней». Сост. И. С. Ежов и Е. И. Шамшурин. М., 1925.

[2] *Анатолий Кузьмич Тарасенков* (1909—1956) — см. коммент. 21 к воспоминаниям Л. В. Горнунга.

УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН

СОДЕРЖАНИЕ

Составители:
Виталий Яковлевич Виленкин
Вадим Алексеевич Черных

ВОСПОМИНАНИЯ ОБ АННЕ АХМАТОВОЙ

Редактор
Г. Э. ВЕЛИКОВСКАЯ

Художественный редактор
Н. С. ЛАВРЕНТЬЕВ

Технический редактор
Г. В. КЛИМУШКИНА

Корректор
А. В. МУРАВЬЕВА

ИБ № 7561

Сдано в набор 13.10.89 Подписано к печати 26.11.90. Формат 60×90[1]/16. Бумага офсетная № 1. Литературная гарнитура Офсетная печать. Усл. печ. л. 45,0. Уч-изд л. 45,4 Тир. 100 000 экз. Цена 5 р 60 к

Ордена Дружбы народов издательство «Советский писатель», 121069, Москва, ул. Воровского, 11. Диапозитивы текста изготовлены на минской полиграфической фабрике «Красная звезда» МППО им. Я. Коласа. 220079, Минск, 1-й Загородный пер. 3. З. 303.

Минская фабрика цветной печати. 220115, Минск, ул. Корженевского д. 20.
Государственный комитет БССР по печати.

В 77 **Воспоминания об Анне Ахматовой:**
Сборник. — М.: Советский писатель, 1991.—720 с.
ISBN 5—265—01227—3

На всех, кто пишет об Анне Ахматовой, невольно отражается свет ее личности Скромное достоинство, царственность, богатство и цельность натуры. А за личностью поэта возникает ахматовское окружение, атмосфера эпохи. Впервые безбоязненно обнажаются трагические стороны ее жизни, «горьких лет гонений и зла».

Среди тех, кто вспоминает об Ахматовой, а всех мемуаристов более пятидесяти,— К И. Чуковский, Л Я. Гинзбург, П Н Лукницкий, Л. В. Горнунг, Э. Г. Герштейн, Н. Я. Мандельштам, Г. Л. Козловская, Вяч. Вс. Иванов, Н. Н. Глен, Ю Г. Оксман; из зарубежных изданий перепечатываются воспоминания Г. В. Адамовича, Ю П Анненкова, Б. В. Анрепа, И. Берлина.

$В \frac{4603020000-469}{083(02)-91}$ 162—90

ББК 83. 3Р7